

ТАЙНЫ

Бек XVII



Алессандро Мандзони
ОБРУЧЕННЫЕ

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XVII

А. Мандзони
ОБРУЧЕННЫЕ

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

УДК 82/89
ББК 84 (4 Ит)
М23

Перевод с итальянского
под редакцией
Н. ГЕОРГИЕВСКОЙ, А. ЭФРОСА

Послесловие
А. ШТЕЙНА

Мандзони А.

М23 Обрученные: Повесть из истории Милана XVII века / Пер. с ит. под редакцией Н. Георгиевской, А. Эфроса; Послесл. А. Штейна. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 536 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).

ISBN 5-300-02410-4

Алессандро Мандзони — крупнейший итальянский писатель-романист XIX века, классик национальной литературы. Роман «Обрученные» повествует о судьбе двух влюбленных, ткача и крестьянки из Ломбардии, о жизни находившейся под испанским владычеством Италии начала XVII века.

УДК 82/89
ББК 84 (4 Ит)

ISBN 5-300-02410-4

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1999

ВВЕДЕНИЕ

История может, поистине, быть определена, как славная война со Временем, ибо, отбирая у него из рук годы, взятые им в плен и даже успевшие стать трупами, она возвращает их к жизни, делает им смотр и заново строит к бою. Но славные Бойцы, пожинающие на этом Поприще обильные жатвы Пальм и Лавров, похищают лишь наиболее роскошную и блестящую добычу, превознося благоуханием своих чернил Подвиги Государей и Властителей, а также и выдающихся Особ, и навивая тончайшую излою своего ума золотые и шелковые нити, из которых обрывается нескончаемый узор достославных Деяний. Однако ничтожеству моему не подобает подниматься до таких предметов и до столь опасных высот, равно как пускаться в Лабиринты Политических козней и внимать воинственному грому хану Меди; наоборот, ознакомившись с достопамятными происшествиями, хотя они и приключились с людьми худородными и незначительными, я собираюсь оставить о них память Потомкам, сделав обо всем откровенное и достоверное Повествование, или точнее — Сообщение. В нем, на тесном Театре, предстанут горестные Трагедии ужасов и Сцены неслыханного злодейства, перемежаемые доблестными Деяниями и ангельской добротой, которые противостоят дьявольским ухищрениям. И действительно, принимая во внимание, что эти наши страны находятся под владычеством Синьора нашего, Короля Католического, который есть Солнце, никогда не заходящее, а над ним отраженным Светом, подобно Луне, никогда не убывающей, сияет Герой благородного Семени, временно правящий вместо него, равно как Блистательнейшие Сенаторы, неизменные Светила, — и прочие Уважаемые Магистраты, — блуждающие планеты, проливают свет свой повсеместно, образуя тем самым благороднейшее Небо, нельзя, — при виде превращения его в ад крошечных деяний, коварства и свирепостей, во множестве творимых дерзкими людьми, — видеть тому какую-либо иную причину, кроме ухищрений и козней дьявольских, поскольку одного человеческого коварства не хватило бы для сопротивления такому количеству Героев, которые, с очами Аргуса и руками Бриарея, отдают жизнь свою на общее благо. А посему, расска-

зывая о событиях, происшедших во времена цветущего моего возраста, и хотя большинство лиц, действующих в них, уже исчезли с Арены жизни и сделались данниками Парок, я тем не менее, в силу почтительного уважения к ним, не буду называть их имен, то есть имен родовых; равным образом поступлю я так и с местом действия, наименование коего я не буду обозначать. И никто не сочтет это несовершенством Повествования и нестройностью моего незатейливого Творения, разве только Критик окажется лицом, совершенно неискушенным в философии, тогда как люди, в ней сведущие, отлично поймут, что сущность названной Повести нисколько от этого не пострадала. Ведь совершенно очевидно и никем не может быть отрицаемо, что имена являются не более, как чистейшими акциденциями...

— Но когда я одолею героический труд переписывания этой истории с выцветшей и полной помарок рукописи, и когда я, как это принято говорить, выпущу ее в свет, найдется ли тогда охотник одолеть труд ее прочтения?

Это размышление, наводящее на сомнение и зародившееся при работе над разбором каракуль, следовавших за акциденциями, заставило меня прервать переписывание и основательнее поразмыслить о том, как мне поступить.

— Совершенно верно, — говорил я самому себе, перелистывая рукопись, — совершенно верно, что такой поток словесной мишуры и риторических фигур встречается не на всем протяжении этого произведения. Как настоящий сечентист, автор вначале захотел шегольнуть своею ученостью; но затем, в ходе повествования, порою на большом его протяжении, слог становится более естественным и более ровным. Да, — но как он зауражен! Как неуклюж! Как шероховат!.. Ломбардские идиомы — без числа, фразы — некстати употребленные, грамматика — произвольная, периоды — неслаженные. А далее — изысканные испанизмы, рассеянные тут и там; потом, что гораздо хуже, — в самых ужасающих и трогательных местах, при любой возможности вызвать изумление или навести читателя на размышление, словом, во всех тех местах, где требуется некоторое количество риторики, но риторики скромной, тонкой, изящной, автор никогда не упускает случая напичкать изложение той самой своей риторикой, которая нам уже знакома по вступлению. Перемешивая с удивительной ловкостью самые противоположные свойства, он ухитряется на одной и той же странице, в одном и том же периоде, в одном и том же выражении одновременно быть и грубым и жеманным. Не угодно ли: напыщенная декламация, испещренная грубыми грамматическими ошибками, повсюду претенциозная тяжеловатость, которая придает особый характер писаниям данного века в данной стране. Поистине, это — не такая вещь, чтобы стоило предлагать ее вниманию нынешних читателей: слишком они придиричивы, слишком отвыкли

от подобного рода причуд. Хорошо еще, что правильная мысль пришла мне в голову в самом начале злополучного этого труда, — тем самым я просто умываю руки.

Однако, когда я собирался было сложить эту потрепанную тетрадь, дабы спрятать ее, мне вдруг стало жалко, что такая прекрасная повесть навсегда останется неизвестной, ибо как повесть (читатель, может быть, не разделит моего взгляда) она мне, повторяю, показалась прекрасной, и даже весьма прекрасной. «Почему бы, — подумал я, — не взять из этой рукописи всю цепь происшествий, лишь переработав ее слог?» Так как никакого разумного возражения на это не последовало, то и решение было принято немедленно. Таково происхождение этой книги, изложенное с чистосердечием, достойным самого повествования.

Однако кое-какие из этих событий, некоторые обычаи, описанные нашим автором, показались нам настолько новыми, настолько странными, — чтобы не сказать больше, — что мы, прежде чем им поверить, пожелали допросить других свидетелей и принялись с этой целью рыться в тогдашних мемуарах, дабы выяснить, правда ли, что в ту пору так жилось на белом свете. Такие розыски рассеяли все наши сомнения: на каждом шагу наталкивались мы на такие же и даже более удивительные случаи, и (что показалось нам особенно убедительным) мы добрались даже до некоторых личностей, относительно которых не было никаких сведений, кроме как в нашей рукописи, а потому мы усомнились было в реальности их существования. При случае мы приведем некоторые из этих свидетельств, чтобы подтвердить достоверность обстоятельств, которым, в силу их необычайности, читатель был бы склонен не поверить.

Но, отвергая слог нашего автора как неприемлемый, каким же слогом мы заменим его? В этом весь вопрос.

Всякий, кто, никем не прощенный, берется за переделку чужого труда, тем самым ставит себя перед необходимостью отчитаться в своем собственном труде и до известной степени берет на себя обязательство сделать это. Таковы правила житейские и юридические, и от них мы вовсе не собираемся уклоняться. Наоборот, охотно приноравливаясь к ним, мы собирались было дать здесь подробнейшее объяснение принятой нами манере изложения, и с этой целью на всем протяжении нашего труда мы неизменно старались предусмотреть возможные и случайные критические замечания, дабы заранее и полностью все их опровергнуть. И не в этом было бы затруднение, — ибо (мы должны сказать это, воздавая должное правде) нашему уму не представилось ни одного критического замечания, без того чтобы тут же не явилось и победоносное возражение, из числа тех, которые, не скажу — решают вопросы, но меняют самую их постановку. Часто мы

даже сталкивали две критики между собой, заставляли одну побивать другую; либо же, исследуя их до основания и внимательно сопоставляя, нам удавалось обнаружить и показать, что при всей своей кажущейся разнице они тем не менее почти однородны и обе родились из недостаточно внимательного отношения к фактам и принципам, на которых должно было основываться суждение; так сочетав их, к великому их изумлению, мы пускали обе дружески разгуливать по свету. Вряд ли нашелся бы автор, который столь очевидным способом доказал бы доброкачественность своей работы. Но что же? Когда мы пришли к возможности охватить все упомянутые возражения и ответы и расположить их в известном порядке, — увы, их набралось на целую книгу. Видя это, мы отказались от начального замысла по двум соображениям, которые читатель, несомненно, сочтет основательными: одно из них — то, что книга, предназначенная оправдывать другую, и даже, в сущности, слог другой книги, могла бы показаться смешной; другое — то, что на первый раз хватит и одной книги, если только вообще и сама она не лишняя.

Глава первая

Тот рукав озера Комо, который тянется к югу между двумя непрерывными цепями гор, образующих, то выдвигаясь, то отступая, множество бухт и заливов, вдруг как-то сразу суживается, принимает вид реки и несет свои воды между высоким мысом с правой стороны и обширным низменным побережьем с левой; и мост, соединяющий в этом месте оба берега, делает это превращение еще более ощутимым для глаза, словно отмечая то место, где кончается озеро и где снова начинается Адда, дабы дальше опять превратиться в озеро там, где берега, вновь расступаясь, дают воде свободно и медленно растекаться, образуя новые заливы и новые бухты. Побережье, образованное наносами трех мощных потоков, постепенно поднимается, примыкая к двум смежным горам: одна именуется Сан-Мартино, другая на ломбардском наречии — *Резегоне* (Большая Пила), по многочисленным и вытянутым в ряд зубцам, которые придают ей сходство с пилой, так что всякий, при первом же взгляде на нее (только непременно спереди — например, со стен Милана, обращенных к северу), быстро распознает ее по этому признаку в длинной и обширной цепи гор с менее известными наименованиями и менее своеобразным видом.

Берег на изрядном протяжении поднимается со слабым и непрерывным уклоном; дальше он пересекается холмами и долинами, кручами и ровными площадками, в зависимости от строения обеих гор и работы вод. Нижний край берега, прорезанный устьями потоков, представляет собою почти сплошной гравий и булыжник; а затем идут поля и виноградники с разбросанными среди них усадьбами, селениями, деревушками; кое-где — леса, взбирающиеся высоко по горам.

Лекко, главное среди этих селений и дающее имя всей местности, лежит неподалеку от моста, на берегу озера; случилось ему частично очутиться и в самом озере, когда вода в последнем прибывала. В наши дни это крупное местечко, собирающееся стать городом. В те времена, когда разыгрались события, о которых мы хотим рассказать, это местечко, уже довольно значительное, служило также и крепостью и потому

имело честь быть местопребыванием коменданта и пользовалось привилегией содержать в своих стенах постоянный гарнизон испанских солдат, которые обучали местных девушек и женщин скромному поведению, время от времени гладили спину кое-кому из мужей и отцов, а к концу лета никогда не упустили случая рассеяться по виноградникам, чтобы не-сколько пощипать виноград и тем облегчить крестьянам тяжесть уборки.

От одной деревни к другой, с горных высот к берегу, с холма на холм вились тогда, да и поныне вьются, дороги и тропинки, более или менее крутые, а иногда и пологие; они то исчезают и углубляются, зажатые нависшими скалами, откуда, подняв глаза, можно видеть лишь полосу неба да какую-нибудь верхушку горы; то пролегают на высоких открытых равнинах, и отсюда взор охватывает более или менее далекие пространства, всегда разнообразные и всегда чем-нибудь новые, в зависимости от более или менее широкого охвата окружающей местности с различных точек, а также и от того, как та или иная картина развертывается или замыкается, выступает вперед или исчезает совсем. Порой показывается то один, то другой кусок, а иногда и обширная гладь этого огромного и многообразного водного зеркала: тут — озеро, замкнутое на горизонте или, лучше сказать, теряющееся в нагромождении гор, а потом постепенно расширяющееся между другими горами, которые одна за другой открываются взору, отражаясь в воде в перевернутом виде со всеми прибрежными деревушками; там — рукав реки, потом озеро, потом опять река, сверкающими излучинами исчезающая в горах, которые следуют за ней, постепенно понижаясь и тоже как бы исчезающая на горизонте. И место, откуда вы созерцаете эти разнообразные картины, само по себе, куда бы вы ни глянули, является картиной: гора, по склонам которой вы совершаете путь, развертывает над вами, вокруг вас свои вершины и обрывы, четкие, рельефные, меняющиеся чуть не на каждом шагу, причем то, что сначала казалось вам сплошным горным кряжем, неожиданно распадается и выступают отдельные цепи гор, и то, что представлялось вам только что на склоне, вдруг оказывается на вершине. Приветливый, гостеприимный вид этих склонов приятно смягчает дикость и еще более оттеняет великолепие остальных видов.

По одной из этих тропинок 7 ноября 1628 года, под вечер, возвращаясь домой с прогулки, неторопливо шел дон Абондио, священник одной из вышеупомянутых деревень: ни ее название, ни фамилия данного лица не упомянуты ни здесь, ни в других местах рукописи. Священник безмятежно читал про себя молитвы; временами — между двумя псалмами — он закрывал молитвенник, закладывал страницу указательным пальцем правой руки, затем, заложив руки за спину, шел

дальше, глядя в землю и отшвыривая к ограде попадавшие под ноги камешки; потом поднимал голову и, спокойно оглядевшись вокруг, устремлял взор на ту часть горы, где свет уже закатившегося солнца, прорываясь в расщелины противоположной горы, широкими и неровными красными лоскутами ложился на выступавшие скалы. Снова раскрыв молитвенник и прочитав еще отрывок, он дошел до поворота дороги, где обычно поднимал глаза от книги и глядел вдаль, — так поступил он и на этот раз. За поворотом дорога шла прямо шагов шестьдесят, а потом ижицей разделялась на две дорожки: одна, поднимаясь в гору, вела к его усадьбе; другая спускалась в долину к потоку, с этой стороны каменная ограда была лишь по пояс прохожему. Внутренние же ограждения обеих дорожек, вместо того чтобы сомкнуться под углом, завершались часовенкой, на которой были нарисованы какие-то длинные, змееобразные фигуры, заострявшиеся кверху. По замыслу художника и по представлениям окрестных жителей они означали языки пламени; с этими языками чередовались другие, уже не поддающиеся описанию фигуры, которые представляли души в чистилище, причем души и пламя были коричневого цвета на сероватом фоне облезшей там и сям штукатурки.

Повернув на дорожку и по привычке направив взор на часовенку, дон Абондио узрел нечто для себя неожиданное и что ему никак не хотелось бы видеть: двух человек, друг против друга, так сказать, на перекрестке дорожек. Один из них сидел верхом на низкой ограде, свесив одну ногу наружу, а другой упираясь в землю; его товарищ стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Их одежда, повадка, выражение лиц, насколько можно было различить с того места, где находился дон Абондио, не оставляли сомнения насчет того, кем они были. На голове у каждого была зеленая сетка, большая кисть которой свешивалась на левое плечо, и из-под сетки выбивался на лоб огромный чуб, длинные усы закручены были шилом; к кожаному блестящему поясу была прикреплена пара пистолетов. Небольшая пороховница свешивалась на грудь наподобие ожерелья. Рукоятка кинжала торчала из кармана широчайших шароваров. Сабли с огромным резным бронзовым эфесом с замысловатыми знаками были начищены до блеска. Сразу видно было, что эти личности из породы так называемых *брави*.

Порода эта, ныне совершенно исчезнувшая, в те времена процветала в Ломбардии, и притом уже с давних пор. Для тех, кто не имеет о ней никакого понятия, приведем несколько подлинных отрывков — они дадут достаточное представление об основных особенностях этих людей, об усилиях, прилагавшихся к их изничтожению, и об упорной живучести последних.

Еще 8 апреля 1583 года славнейший превосходительнейший синьор дон Карло Арагонский, князь Кастельветрано, герцог Террануовы, маркиз Аволы, граф Буржето, великий адмирал и великий коннетабль Сицилии, губернатор Милана и наместник его католического величества в Италии, *всемерно осведомленный о невыносимых тяготах, какие испытывал прежде и испытывает по сей день город Милан по причине бродяг и брави*, издает против них указ. *Объявляет и определяет, что действию данного указа подлежат и должны почитаться бродягами и брави... все пришлые, а равно и местные люди, не имеющие определенного занятия, либо его имеющие, но ничего не делающие... но безвозмездно или хотя бы за жалование состоящие при особе благородного звания, либо при должностном лице или купце... дабы служить ему опорой и поддержкой, либо, как можно предположить, дабы строить козни другим...* Всем таким лицам приказывает в шестидневный срок избавить означенную местность от своего присутствия, при этом неповиновующимся грозит каторга, а всем судебным чинам предоставляются широчайшие и неограниченные полномочия для выполнения приказа. Однако 12 апреля следующего года, заметив, что град сей тем не менее переполнен означенными брави... *которые вернулись к прежнему своему образу жизни, ничуть не изменили своих привычек и не убавились в числе*, упомянутый синьор издает новый приказ, еще более строгий и выразительный, в котором, наряду с другими распоряжениями, предписывает: *чтобы каждое лицо, как из жителей сего города, так и пришлое, каковое по указаниям двух свидетелей явно окажется и вообще признано будет за браво и так будет называться, хотя бы и не было установлено за ним никакого преступления... в силу только таковой своей репутации, без всяких иных улик, может означенными судьями, а равно каждым из них в отдельности быть подвергнуто пытке в порядке предварительного допроса... и хотя бы таковое лицо не созналось ни в каком преступлении, пусть тем не менее оно отправлено будет на каторгу, на трехлетний срок за одну только репутацию и наименование браво, как выше указано.* Все это, а равно и другое, что мы опускаем, предпринималось потому, что его превосходительство *полно решимости добиться повиновения от всякого.*

Когда слышишь столь сильные и решительные слова такого вельможи, сопровождаемые подобными приказаниями, невольно хочется думать, что от одного грома их всякие брави стигнут навсегда. Однако свидетельство другого вельможи, не менее авторитетного и не менее титулованного, заставляет нас прийти к заключению прямо противоположному. Вельможа этот — славнейший и превосходительнейший синьор Хуан Фернандес де Веласко, коннетабль Кастилии, обер-камергер его величества, герцог города Фриа и граф Гаро и Кастель-

нуово, синьор дома Веласко и дома Семерых инфантов Лары, губернатор государства Миланского, и прочая и прочая, 5 июня 1593 года, в свою очередь, всемерно осведомившись, сколь много ущерба и разорения приносят брави и бродяги и сколь дурное действие этого рода люди оказывают на общественное благосостояние в ущерб правосудию, снова требует от них, чтобы они в шестидневный срок покинули страну, повторяя приблизительно те же предписания и угрозы своего предшественника. Затем 23 мая 1598 года, осведомившись с великим для себя неудовольствием, что... в означенном городе и в государстве количество помянутых лиц (брави и бандитов) все возрастает, и днем и ночью только и слышно, что они учиняют из засады ранения и убийства, а также хищения и всяческие другие преступления, каковым они предаются тем легче, что вполне могут положиться на поддержку своих главарей и пособников, ...вновь предписывает те же средства, усиливая дозировку, как это обычно делают при упорных болезнях. А посему пусть всякий остерегается нарушить в какой бы то ни было части означенный указ, иначе, вместо благорасположения его превосходительства, навлечет на себя его строгость и гнев... ибо его превосходительство твердо решил считать это увещание последним и окончательным.

Этого мнения не разделял, однако, славнейший и превосходительнейший вельможа, синьор дон Пьетро Энрикес де Асеведо, граф Фуэнтес, капитан и губернатор государства Миланского, — и не разделял он этого мнения по разумным основаниям. Всемерно осведомившись о жалком положении, в каком живет помянутый город и государство, по причине огромного числа избыливающих в нем брави ...и решив в корне истребить столь гибельное племя, он издает 5 декабря 1600 года новый указ, в свою очередь наполненный строжайшими угрозами, с твердым намерением всемерного их выполнения по всей строгости и без малейшей надежды на снисхождение.

Приходится, однако, думать, что он взялся за это дело далеко не с тем усердием, какое прилагал к тому, чтобы затевать козни и поднимать врагов на великого своего недруга, Генриха IV; история свидетельствует, как в данной области ему удалось вооружить против этого короля герцога Савойского, которого он и привел к потере более чем одного города; как успешно он заставил вступить в заговор герцога Бирона, который поплатился своей головой; что же касается столь зловредного племени брави, то несомненно одно — они продолжали плодиться. Так было еще 22 сентября 1612 года, когда славнейший и превосходительнейший вельможа, дон Джованни де Мендоса, маркиз Инохоза, кавалер и прочая..., губернатор и прочая... серьезно задумал истребить их. В этих видах он отправил королевским придворным печатникам, Пандольфо и Марко Туллио Малатести, обычный

указ, исправленный и расширенный, дабы они отпечатали его на предмет полного истребления брави. Но последние продолжали действовать до получения 24 декабря 1618 года тех же и еще более сильных ударов от славнейшего и превосходительнейшего вельможи, синьора дона Гомес Суарес де Фигуэроа, герцога Ферийского и прочая..., губернатора и прочая... Однако и это не сжило их со света, а посему славнейший и превосходительнейший вельможа, синьор Гонсало Фернандес ди Кордова, в правление которого произошла прогулка дона Абондио, оказался вынужденным еще раз подновить и еще раз обнародовать обычный указ против брави. Это было 5 октября 1627 года, то есть за год, месяц и два дня до достопамятного происшествия.

Однако и это обнародование не было последним; но мы не считаем себя обязанными упоминать о дальнейших, ибо они по времени выходят за пределы нашей истории. Отметим лишь одно — от 13 февраля 1632 года, в котором славнейший и превосходительнейший синьор, *герцог Ферийский*, вторично назначенный губернатором, осведомляет нас, что *страшные злодеяния происходят от тех, кто именуется брави*. Это в достаточной мере подтверждает нам, что в то время, о котором идет речь, брави не переводились.

Что две вышеописанные личности стояли и ждали кого-то, было более чем очевидно; однако дону Абондио совсем не понравилось, когда он по некоторым их движениям догадался, что они поджидали именно его. Ибо при его появлении они переглянулись и подняли головы с таким видом, словно одновременно сказали друг другу: «Вот он». Сидевший верхом на ограде перекинул через нее ногу и встал на дороге; другой отделился от ограды, и оба пошли навстречу дону Абондио; а он, продолжая держать перед собой открытый молитвенник, делал вид, что читает его; сам же осторожно поднял глаза, чтобы следить за их движениями; и когда он увидел, что они идут прямо навстречу ему, тысяча соображений разом нахлынули на него. Он тут же спросил себя самого, нет ли между ним и брави какой-нибудь боковой дорожки, вправо или влево, и сразу вспомнил, что нет. Он быстро перебрал в уме, не погрешил ли он в чем-либо против какого-нибудь сильного, какого-нибудь мстительного человека; но даже при всем волнении утешающий голос совести несколько успокоил его. А брави тем временем все приближались, зорко вглядываясь в него. Тогда он запустил указательный и средний пальцы за воротник, как бы оправляя его, и, обводя пальцами шею, вместе с тем повернул голову, заодно перекосив рот и стараясь хоть краешком глаза посмотреть, не идет ли кто-нибудь сзади; но никого не увидел. Он заглянул через ограду в открытое поле — никого; бросил более робкий взгляд вперед, на дорогу — никого, кроме брави. Что делать? Возвращаться

назад было поздно; пуститься бежать — значило бы то же, что сказать: «Ловите меня», — если не хуже. Не имея возможности уклониться от опасности, он бросился ей навстречу, ибо мгновения неизвестности стали для него так мучительны, что хотелось лишь одного — сократить их. Он ускорил шаг, громче прочел один стих, постарался сделать возможно более спокойное и веселое лицо и приложил все усилия, чтобы приготовить улыбку; очутившись лицом к лицу с обоими молодцами, он мысленно сказал себе: «Ну, прямо в лапы», — и решительно остановился.

— Синьор курато, — обратился к нему один из них, впиваясь глазами в его лицо.

— Что вам угодно? — быстро ответил дон Абондио, поднимая глаза от книги, которая так и осталась у него в руках раскрытой, словно на аналое.

— Вы намереваетесь, — подхватил другой с угрожающим и гневным видом человека, который поймал своего подчиненного при попытке совершить мошенничество, — вы намереваетесь завтра обвенчать Ренцо Трамальино с Люцией Монделла?

— Собственно говоря... — дрожащим голосом отвечал дон Абондио, — собственно говоря, вы, синьоры, люди светские и отличнейшим образом знаете, как делаются такие дела. Бедняк курато тут ни при чем; они свои пироги сами пекут, ну, а потом... потом являются к нам, так, как ходят в банк за деньгами; ну, а мы — что же — мы, служители общины...

— Так вот, — сказал ему браво на ухо, однако тоном торжественного приказания, — помните — этому венчанию не бывать ни завтра, ни когда-либо.

— Но, синьоры, — возразил дон Абондио кротким и вежливым тоном человека, который желает уговорить нетерпеливого собеседника, — извольте, синьоры, влезть в мою шкуру. Если бы дело зависело от меня... но вы же отлично знаете, что мне тут ничего не перепадет...

— Ну, довольно, — прервал его браво, — если бы дело решалось болтовней, вы бы нас за пояс заткнули. Мы ничего больше не знаем и знать не хотим. Предупреждение вам сделано, — вы нас понимаете.

— Но ведь вы, синьоры, люди достаточно справедливые и разумные...

— И все же, — перебил на этот раз другой, до сих пор молчавший, — и все же венчание не состоится, иначе... — тут он разразился цветистой руганью, — иначе тот, кто его совершит, не успеет в этом покаяться, некогда будет... — и он снова выругался.

— Тише ты, тише, — вставил первый, — синьор курато понимает благородное обращение; мы тоже люди благородные и никакого зла ему причинять не собираемся, если он ока-

жется благоразумным. Синьор курато! Преславный синьор дон Родриго, наш патрон, высоко чтит вас.

Имя это пронеслось в сознании дона Абондио словно вспышка молнии в ночную непогоду, — вспышка, которая на мгновение смутно озаряет все вокруг и только усиливает ужас. Он совершенно произвольно отвесил низкий поклон и проговорил:

— Если бы вы мне хоть намекнули...

— Намекать тому, кто латынь знает! — бесцеремонно и зловеще расхохотался браво. — Дело ваше! Но главное, не проболтайтесь, — ведь мы сделали это предупреждение исключительно для вашего блага, не то... хм... получится то же самое, как если бы вы совершили это венчание... Ну, так что же нам передать от вас синьору дону Родриго?

— Нижайшее мое почтение...

— Этого мало.

— Готов, всегда готов повиноваться!

Произнося эти слова, он и сам не знал, дает ли он обещание, или только говорит любезность. Бравы приняли или по крайней мере сделали вид, что принимают его слова всерьез.

— Превосходно! Покойной ночи, сударь, — сказал один из них, уходя с товарищем.

Дон Абондио, который несколько минут назад готов был пожертвовать глазом, чтобы избежать всяких разговоров, теперь хотел продлить беседу и переговоры.

— Синьоры... — начал было он, захлопывая книгу обеими руками, но те, не вняв его обращению, пошли по дороге в том направлении, откуда он пришел, и удалились, напевая песенку, которую я не стану приводить.

Бедняга дон Абондио на мгновение застыл с разинутым ртом, словно зачарованный, а потом пошел по той из двух тропинок, которая вела к его дому, переставляя с трудом, одну за другой, свои словно одеревеневшие ноги. Что касается его самочувствия, то мы разберемся в нем лучше, если скажем кое-что о его характере и о той эпохе, в какую ему довелось жить.

Читатель уже заметил, что дон Абондио от рождения не обладал сердцем льва, к тому же с детских лет он должен был убедиться, что тяжелее всего в те времена приходилось животному, не имеющему ни когтей, ни клыков. А ему вовсе не хотелось, чтобы его проглотили. Сила закона ни в малейшей степени не защищала человека спокойного, безобидного и не имеющего возможности держать в страхе других. Не то чтобы не хватало законов и наказаний за насилия, совершаемые отдельными лицами. Напротив, законы изливались потоками; преступления в них перечислялись и детализировались с необычайным многословием; наказания, и без того до нелепости чрезмерные, могли, в случае необходимости, еще усили-

ваться чуть ли не в каждом отдельном случае по произволу самого законодателя и сотни исполнителей; судопроизводство направлено было лишь к освобождению судьи от всего, что могло бы ему помешать произнести обвинительный приговор: приведенные нами отрывки указов против бравы являются тому малым, но верным образцом. Вместе с тем, — а в значительной степени именно потому, — все эти указы, повторно объявляемые и усиливаемые каждою новою властью, служили лишь высокопарным свидетельством полного бессилия их авторов. А если и получалось какое-нибудь непосредственное воздействие, то оно выражалось прежде всего усугублением угнетения, которое и без того испытывали мирные и слабые люди от смутьянов, и усилением насилий и козней со стороны последних. Безнаказанность была систематической и покоилась на основаниях, которых указы не затрагивали либо не могли нарушить. Таковыми были право убежища и привилегии некоторых классов, частью признаваемые законом, частью терпимые и замалчиваемые либо впустую оспариваемые, а на деле поддерживаемые этими классами со всей энергией заинтересованности и с ревнивой придирчивостью. Но эта безнаказанность, сделавшись предметом угроз и нападков со стороны указов, бессильных, однако, ее разрушить, естественно, отстаивая себя, должна была при каждой угрозе, при каждом натиске пускать в ход новые усилия и новые выдумки. Так оно и было на деле: при появлении указов, направленных к укрощению негодяев, последние, опираясь на реальную свою силу, изыскивали новые, более подходящие способы, чтобы продолжать то самое, что воспрещалось указами. Указы эти могли тормозить каждый шаг, могли причинять всякие неприятности благонамеренному человеку, бессильному и лишенному чьего-либо покровительства, ибо, задавшись целью держать в своих руках любое отдельное лицо, чтобы предупредить или покарать любое преступление, они подчиняли каждое движение такого лица произвольной прихоти всякого рода исполнителей. Наоборот, тот, кто, приготовившись совершить преступление, принимал меры к тому, чтобы вовремя укрыться в монастырь, во дворец, куда сбирь никогда не посмели бы ступить ногой; кто, без других предосторожностей, просто носил ливрею, которая возлагала на тщеславные интересы какой-либо знатной фамилии или целого сословия обязанность защищать его, — тот был свободен в своих действиях и мог посмеиваться над всеми этими громовыми указами. Да и среди призванных выполнять эти указы одни по рождению принадлежали к привилегированной среде, другие зависели от нее как клиенты, — те и другие в силу воспитания, интересов, привычек, подражания усвоили себе принципы этой среды и очень поостереглись бы нарушить их ради клочка бумаги, расклеенного на углах. Далее, люди, которым

вверено было непосредственное исполнение указов, будь они даже неустрашимы, как герои, послушны, как монахи, и готовы к самопожертвованию, как мученики, все-таки не могли бы довести дело до конца, поскольку они численно были в меньшинстве по сравнению с теми, кого должны были бы подчинить; весьма велика была для них и вероятность того, что их покинут те, от кого отвлеченно, так сказать, теоретически, исходило приказание действовать. А помимо этого они в большинстве случаев принадлежали к наиболее мерзким и преступным элементам своего времени; порученное им дело презиралось даже теми, кто должен был бы бояться их, и самое звание их было бранным словом. Отсюда вполне естественно, что они, вместо того чтобы рисковать, а тем более ставить на карту свою жизнь в таком безнадежном предприятии, продавали власть имущим свое невмешательство и даже попустительство, оставляя за собой возможность проявлять эту гнусную власть и свою силу в тех случаях, когда им не грозила опасность, то есть, попросту сказать, досаждали притеснениями людям мирным и беззащитным.

Человек, который собирается обижать других или ежеминутно опасается, что его самого обидят, естественно ищет союзников и сотоварищей. Отсюда в те времена было в высочайшей степени развито стремление отдельных лиц держаться определенных группировок, образовывать новые и содействовать возможно большему усилению того круга, к которому он сам принадлежал. Духовенство заботилось о поддержании и расширении своих льгот, знать — своих привилегий, военные — своих особых прав. Торговцы, ремесленники объединялись в цехи и братства, юристы составляли лигу, даже врачи — свою корпорацию. Каждая из этих маленьких олигархий была сильна по-своему; в каждой из них отдельная личность, в зависимости от своего влияния и умения, получала возможность использовать в личных интересах объединенные силы многих. Более добросовестные прибегали к этой возможности только в целях самозащиты; хитрецы и злодеи пользовались ею при выполнении своих преступных замыслов, для которых не хватило бы их собственных средств, и чтобы обеспечить себе безнаказанность. Однако силы различных этих союзов были весьма неравны, особенно в деревне: знатный и богатый насильник, окруженный шайкой брави и крестьянами, которые по исконным семейным традициям привыкли и были заинтересованы, а то и просто вынуждены считать себя как бы подданными и солдатами своего патрона, — проявлял такую власть, с которой никакая другая группа в данной местности не могла бороться.

Не знатный, не богатый, еще менее того храбрый, наш Абондио, едва ли не раньше вступления своего в сознательный возраст, заметил, что в этом обществе он подобен со-

суду скудельному, который вынужден совершать путь совместно со множеством чугунных горшков. А посему он довольно охотно послушался родителей, которые прочили его в священники. По правде говоря, он не очень раздумывал об обязанностях и о благородных целях того служения, которому он себя посвящал; добыть средства для безбедного существования и попасть в состав уважаемого и влиятельного слоя общества — вот два основания, которых, как ему казалось, было вполне достаточно для оправдания такого выбора. Но всякий общественный слой лишь до известной степени прикрывает и застраховывает отдельную личность, не избавляя ее от необходимости выработать себе свою собственную систему защиты. Беспрерывно поглощенный мыслями о своем спокойствии, дон Абондио не заботился о таких преимуществах, для достижения которых требовалось приложение больших усилий или некоторый риск. Его система заключалась главным образом в том, чтобы избегать всяких столкновений, а уж если их нельзя было избежать, то уступить. Он держался разоруженного нейтралитета во всех войнах, вспыхивавших вокруг него, начиная со столь обычных в ту пору распрей между духовенством и светскими властями, между военными и штатскими, между знатными и другими знатными, вплоть до споров между двумя крестьянами, вспыхивавших из-за какого-нибудь слова и разрешавшихся врукопашную или поножовщиной. Если крайняя необходимость заставляла его занять определенную позицию между тяжущимися сторонами, он становился на сторону более сильную, однако с постоянной оглядкой, стараясь показать другой стороне, что он нисколько не желает быть ее врагом, — он как бы хотел сказать: «Почему ты не сумел оказаться более сильным, я бы тогда стал на твою сторону». Стараясь держаться подальше от сильных, закрывая глаза на их случайные, вызванные капризом, притеснения и покорно снося более серьезные и заранее обдуманнные, умея вызывать своими поклонами и почтительно-приветливым видом улыбку на лицах более ворчливых и сердитых людей, с которыми он сталкивался на дороге, бедняга ухитрился без больших треволнений перевалить за седьмой десяток.

Нельзя, однако, сказать, чтобы это не оставило в его душе известной горечи. Постоянное испытание терпения, столь частая необходимость уступать другим и молчаливо проглатывать обиды — все это настолько раздражало его, что, если бы он время от времени не давал выхода своим чувствам, его здоровье неминуемо пострадало бы. Но так как, в конце концов, на свете, даже совсем рядом с ним, были люди, неспособные, как он знал, обижать других, то он мог иногда срывать на окружающих долго подавляемое дурное настроение, позволяя себе некоторые причуды и по-

крикая на них без всякого основания. Он любил также быть строгим критиком людей, которые не умели держать себя в узде, но делал это лишь тогда, когда эта критика не грозила ему ни малейшими, хотя бы и отдаленными, последствиями. Всякий потерпевший был в его глазах по меньшей мере неосторожным человеком; убитый всегда оказывался смутьяном. А если кто-нибудь, принявшись отстаивать свои права против человека сильного, выходил из драки с разбитой головой, дон Абондио всегда умел найти за ним какую-нибудь вину, — дело нехитрое, ибо между правотой и виной никогда ведь нельзя провести такой отчетливой грани, чтобы одна целиком была по одну, а другая по другую ее сторону. Больше же всего нападал он на тех своих собратьев, которые на собственный риск и страх принимали сторону обижаемого человека против всемогущего притеснителя. Это он называл «покупать себе хлопоты за наличные деньги» и «желать выпрямить ноги у собаки»; он строго говорил также, что это — вмешательство в мирские дела, несовместимое с достоинством пастырского служения. И он громил таких людей, всегда, впрочем, с глазу на глаз или в самом тесном кругу, с тем большим пылом, чем больше собеседники были известны своей неспособностью возражать там, где дело касалось их самих. При этом у него было любимое изречение, которым он неизменно заканчивал разговоры на эту тему: «У порядочного человека, который следит за собой и знает свое место, никогда не бывает неприятных столкновений».

Так пусть же представляют себе мои немногочисленные читатели, какое впечатление должно было произвести на беднягу все изложенное. Ужас перед этими зверскими физиономиями и страшными словами; угрозы со стороны синьора, который славится тем, что угрожает не зря; налаженное спокойное существование, стоившее стольких лет усилий и терпения, а теперь разом разрушенное; наконец, предстоящий шаг, от которого неизвестно, как избавиться, — все эти мысли беспорядочно кружились в поникшей голове дон Абондио. «Если бы удалось отправить Ренцо с миром, решительно отказав ему, — куда ни шло; но ведь он потребует объяснения, — а что же, ради самого неба, мне ему отвечать? Опять же... у него есть голова на плечах; пока никто его не трогает, он чистый ягненок; зато, если кто вздумает ему перечить, — о!.. А тут еще он совсем голову потерял из-за этой Лючии, влюблен, как... Паршивцы этикие! Влюбляются от нечего делать, затевают свадьбу и ни о чем больше не думают; им и дела нет до тех неприятностей, которым они подвергают порядочного человека. Горе мне! Ведь нужно же было этим двум мерзавцам встать на моем пути и взяться за меня! При чем тут я? Разве я собираюсь жениться? Почему не пошли они разговаривать с...? Ну, вот подите же, — такая уж моя

судьба: хорошие мысли всегда приходят мне в голову задним числом. Что бы мне догадаться надоумить их пойти со своим поручением к...».

Но тут он сообразил, что раскаиваться в том, что не сделался советником и соучастником в неправом деле, пожалуй, совсем уже плохо, — и обратил весь свой гнев на того, другого, лишившего его привычного покоя. Он знал дона Родриго с виду и понаслышке, но никогда не имел с ним никаких дел. Только в тех редких случаях, когда дон Абондио встречал его на дороге, подбородок его сам касался груди, а тулья шляпы — земли. Не один раз случалось ему вступаться за доброе имя этого синьора против тех, кто шепотком, со вздохами и возведением очей к небу осуждал какой-нибудь его поступок: сотни раз он уверял, что это вполне почтенный дворянин. Но в данную минуту он в душе награждал его такими прозвищами, каких никогда не выслушивал из чужих уст без того, чтобы тут же не прервать говорившего неодобрительным оханием. Полный этих тревожных мыслей, добрался он до дверей своего дома, стоявшего на краю селения, торопливо сунул в замок заранее приготовленный ключ, отпер дверь, войдя, старательно запер ее за собой и, стремясь всей душой очутиться в благонадежном обществе, тут же принялся звать: «Перпетуя! Перпетуя!» — направляясь в небольшую гостиную, где она, наверное, накрывала стол к ужину. Нетрудно догадаться, что Перпетуя была служанкой дона Абондио, служанкой верной и преданной, умевшей, смотря по обстоятельствам, когда надо, сносить воркотню и причуды хозяина, а когда надо — заставлять его переносить ее собственные, становившиеся с каждым днем все более частыми, с тех пор как она переступила сорокалетний — «синодальный» — возраст, оставшись в девицах по причине отказа, как она уверяла, от всех сделанных ей предложений, либо, как говорили ее приятельницы, по причине того, что ни один пес не пожелал к ней присвататься.

— Иду! — отвечала она, ставя на стол, на обычное место, кубшинчик любимого вина дона Абондио, и медленно двинулась на зов; но не успела она дойти до порога комнаты, как дон Абондио уже входил тяжелой поступью, с мрачным взглядом и расстроенным лицом. Опытный глаз Перпетуи сразу заметил, что случилось что-то поистине необычайное.

— Милосердный Боже! Что с вами, синьор хозяин?

— Ничего, ничего, — отвечал дон Абондио и, тяжело дыша, опустился в свое огромное кресло.

— Как так ничего? И это вы говорите мне? У вас такой ужасный вид! Не иначе, как случилось что-нибудь!

— Ради самого неба! Когда я говорю — ничего, значит — ничего, либо что-нибудь такое, чего я не могу сказать.

— Не можете сказать даже мне? А кто же будет заботиться о вашем здоровье? Кто вам подаст добрый совет?

— Боже мой! Да замолчите же вы! Не надо мне ничего, а дайте-ка мне лучше стакан моего любимого вина.

— И вы меня будете уверять, что ничего не случилось? — сказала Перпетуя, наполняя стакан и не выпуская его из рук, словно собираясь отдать его не иначе как в награду за тайну, которую она так жаждала узнать.

— А ну, дайте сюда, дайте! — сказал дон Абондио, взяв стакан не совсем твердой рукой и быстро опорожнив его, словно лекарство.

— Так вы, значит, хотите, чтобы я вынуждена была повсюду ходить и расспрашивать, что такое стряслось с моим хозяином? — сказала Перпетуя, стоя перед ним, руки в боки и выпятив вперед локти, пристально глядя на него, словно желая вырвать тайну из его глаз.

— Ради самого неба! Не разводите сплетен, не поднимайте шума, — тут можно ответить... головой.

— Головой?

— Да, головой...

— Вы же отлично знаете, — всякий раз, когда вы со мной говорили о чем-нибудь откровенно, по секрету, я ведь никогда...

— Что уж говорить! Вот, например, когда...

Перпетуя поняла, что задела не ту струну. А потому, тут же изменив тон, промолвила взволнованным голосом, способным растрогать собеседника:

— Дорогой хозяин, ведь я всегда была к вам привязана; если я теперь хочу узнать, то ведь это из усердия, — мне хочется помочь вам, дать добрый совет, поддержать вас...

В сущности говоря, сам дон Абондио, пожалуй, стремился освободиться от своей мучительной тайны так же страстно, как Перпетуя стремилась ее узнать, вот почему, отбивая все слабее и слабее новые и все более напористые атаки с ее стороны и предварительно заставив ее поклясться несколько раз в том, что она никому — ни гу-гу, он в конце концов с многократными перерывами, ахами и охами рассказал ей злосчастное свое приключение. Когда же дошло до страшного имени главного зачинщика, Перпетуя должна была принести новую, особо торжественную клятву, — и дон Абондио, произнося роковое имя, с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла и, вздев руки, как бы приказывая и вместе с тем умоляя, произнес:

— Но ради самого неба...

— О Господи! — воскликнула Перпетуя. — Ах он негодяй, ах тиран! Нет у него страха Божьего!

— Замолчите вы! Или вы хотите совсем погубить меня?

— Да что вы! Мы тут совсем одни, никто не услышит. Но что же вы будете делать, бедный мой хозяин?

— Вот видите, — ответил с раздражением дон Абондио, — видите, какие вы мне умеете давать советы. Только от вас и слышишь, что делать, да что делать, как будто попали впросак вы и мне приходится вас выручать.

— Да нет же, я что? Пожалуй, я бы и подала какой ни на есть совет, только будет ли толк?

— Ну, там посмотрим!

— Мой совет такой: ведь вот все говорят, что наш архиепископ человек святой и влиятельный, и никого-то он не боится, а когда ему удастся проучить одного из этих тиранов и защитить какого-нибудь курато, он так весь и ликует. Так я вот что скажу: напишите-ка вы ему письмо, да хорошее, и разъясните ему, что и как...

— Да замолчите же вы наконец! Вот какие советы даете вы несчастному человеку! Если бы, избави Боже, мне всадили заряд в спину, архиепископ, что ли, стал бы со мной возиться?

— Ну, выстрелами-то зря не сыпят, — это вам не конфетти! Да и псы эти, хоть и лаются, но не всегда же кусают. А я вот заметила: кто умеет показать зубы и заставить уважать себя, тем и почет и уважение; а потому, что вы никогда не хотите высказывать своего мнения, мы и дошли до того, что, с позволения сказать, каждый...

— Замолчите же!

— Что ж, я замолчу! А все-таки правильно, — если весь свет видит, что кто-нибудь всегда, при всякой оказии, тут же готов спустить паруса...

— Замолчите вы или нет? Время ли теперь болтать всякую чепуху?

— Ну, будет! Успеете надуматься за ночь. Только зачем же причинять себе вред и портить здоровье? Скушали бы кусочек...

— Да, я подумаю, — отвечал, ворча, дон Абондио, — конечно, подумаю; есть о чем подумать. — И он поднялся, прибавив: — Есть я ничего не хочу, ничего, — не до того сейчас, я сам знаю, что выкручиваться придется мне одному. Но надо же, чтобы это стряслось именно со мной!

— Вы бы хоть еще глоточек пропустили, — сказала Перпетуя, наливая вина. — Вы ведь знаете, как это всегда помогает вашему желудку.

— Ах, не до того, не до того теперь, совсем не до того!.. — С этими словами он взял свечу и отправился наверх в свою комнату, ворча про себя: «Пустяки, подумаешь! Это с таким-то благородным человеком, как я! Что-то будет завтра?» Уже на пороге комнаты он обернулся к Перпетуе и, приложив палец к губам, медленно и торжественно произнес:

— Ради самого неба! — и скрылся.

Глава вторая

Существует рассказ, будто принц Конде спал крепким сном в ночь накануне битвы при Рокруа. Но, во-первых, он был очень утомлен, а во-вторых, он уже отдал все необходимые распоряжения и окончательно установил, что предстоит ему делать утром. Наоборот, дон Абондио не знал ничего, кроме того лишь, что завтра предстоит бой, поэтому значительную часть ночи он потратил на тревожные размышления. Не придавать значения разбойничьим застрашиваньям и угрозам и совершить венчание, — такое решение он даже не стал и обдумывать. Рассказать Ренцо обо всем случившемся и вместе с ним поискать выхода...

— Боже избави!

«Не проболтайтесь... а иначе...» — сказал один из брави, — и, вспомнив, как угрожающе прозвучало это «а иначе...», дон Абондио не только не посмел подумать о нарушении такого приказа, но, больше того, — его взяло раскаяние, что он позволил себе проболтаться Перпетуе. Бежать? Но куда? И что потом? Сколько будет хлопот! Только и делай, что отчитывайся! Каждое отвергнутое решение заставляло беднягу беспокойно ворочаться на постели. Во всяком случае, наилучшим и самым безопасным, как ему казалось, было следующее: выиграть время, всячески водя за нос Ренцо. Кстати, он вспомнил, что оставалось всего несколько дней до поста, когда запрещено венчаться. «И если я на несколько дней сумею попридержать этого паренька, то потом у меня будет два месяца передышки; ну, а за два месяца много воды утечет». Он обдумывал разные доводы, какие можно было бы привести, и хотя они показались ему несколько легковесными, все же он успокаивал себя мыслью, что его авторитет сообщит этим доводам подобающий вес, а давний опыт даст ему большое преимущество перед невежественным юнцом. «В самом деле, — говорил он себе, — он думает о своей возлюбленной, ну, а я думаю о своей шкуре; я больше заинтересован, не говоря уже о том, что я и похитрее. Дорогой сынок, если уж тебе так приспичило, я тут ни при чем, во всяком случае — расплачиваться за тебя я не желаю». Несколько успокоившись на принятом решении, он, наконец, смежил очи. Но какой сон и какие сновидения! Брави, дон Родриго, Ренцо, тропинки, скалы, бегство, преследование, крики, выстрелы...

Первое пробуждение после случившегося несчастья, когда сознаешь тяжесть положения, бывает очень горьким. Сознание, едва прояснившись, возвращается к привычным представлениям предшествовавшей спокойной жизни, — но вдруг мысль о новом состоянии дел грубо вступает в свои права, и горечь становится еще сильнее от этого мгновенного сопо-

ставления. Пережив эту горькую минуту, дон Абондио быстро перебрал намеченные ночью решения, утвердился в них, привел их в порядок, затем встал и принялся ожидать Ренцо с некоторой боязнью, но в то же время и с нетерпением.

Лоренцо, или, как его все звали, Ренцо не заставил себя долго ждать. Как только, по его мнению, наступил час, когда можно было, не нарушая приличия, явиться к курато, он отправился к нему с радостной поспешностью двадцатилетнего юноши, которому предстоит в этот день вступить в брак с любимой девушкой. Оставшись сиротой с юных лет, он занимался ремеслом прядильщика шелка — ремеслом, так сказать, наследственным в его семье и достаточно доходным в прежние годы; теперь оно уже находилось в упадке, однако не в такой степени, чтобы умелый работник не мог заработать достаточно для безбедной жизни. Работа со дня на день шла на убыль, но непрерывная эмиграция рабочих, которых привлекали в соседние итальянские государства всякими посулами, привилегиями и хорошими заработками, вела к тому, что для оставшихся дома не было недостатка в работе. Кроме того, у Ренцо был небольшой клочок земли, который он отдавал в обработку, а равно обрабатывал и сам, когда прядильня стояла без дела, — так что для своего круга он мог считаться человеком зажиточным. И хотя этот год был еще скуднее предыдущего и уже давал себя чувствовать настоящий голод, все же наш паренек, который сделался бережливым с той минуты, как ему приглянулась Лючия, был достаточно обеспечен и с голодом ему бороться не приходилось.

Он предстал пред доном Абондио в полном параде; шляпа его была в разноцветных перьях, из кармашка штанов торчала красивая рукоятка кинжала; на лице его был отпечаток торжественности и вместе с тем лихости, свойственной в те времена даже самым мирным людям. Сдержанный и загадочный прием, оказанный ему доном Абондио, необычайно расходился с веселым и решительным обращением парня.

«Знать, у него голова чем-то занята», — подумал про себя Ренцо, а потом сказал:

— Я пришел справиться, синьор курато, в котором часу вы прикажете нам явиться в церковь.

— А вы о каком дне говорите?

— Как о каком дне? Разве вы не помните, что венчание назначено на сегодня?

— На сегодня? — возразил дон Абондио, словно услышав об этом в первый раз. — Сегодня, сегодня... нет, вы уж потерпите, сегодня я не могу.

— Сегодня не можете? Что же случилось?

— Во-первых, я не очень хорошо себя чувствую, — вы же видите!

— Очень жаль. Но ведь дело это не столь уж долгое, да и не утомительное...

— Ну, а затем... затем... затем...

— Что «затем», синьор курато?

— Затем... имеются кое-какие затруднения.

— Затруднения? Какие же могут быть затруднения?

— Надо побывать в нашей шкуре, чтобы знать, сколько в таких делах бывает всяких трудностей, сколько приходится нам отчитываться. А я человек слишком мягкосердечный, я только и думаю, как бы устранить с пути препятствия, как бы облегчить все, сделать к удовольствию других, — и из-за этого пренебрегаю своими обязанностями; а потом на меня же сыплются упреки, — а то и того хуже...

— Но, ради самого неба, не томите вы меня, скажите мне просто и ясно, в чем же дело!

— Известно ли вам, сколько надо исполнить разных формальностей, чтобы совершить венчание по всем правилам?

— Уж мне ли этого не знать, — сказал Ренцо, начиная горячиться, — ведь вы мне уже достаточно морочили голову. Но разве теперь не все закончено? Разве не сделано все, что полагалось сделать?

— Все, все! Это вам так кажется! А в дураках-то, с вашего позволения, оказываюсь я, — я нарушаю свои обязанности, чтобы только не заставлять страдать других. Но теперь... хватит! Я знаю, что говорю. Мы, бедные курато, попадаем между молотом и наковальней. Вам не терпится, — что же! я вам сочувствую, бедный молодой человек, — но начальство наше... ну, впрочем, довольно, всего ведь сказать нельзя. А попадает за все нам же.

— Да разъясните мне толком, какую там еще надо выполнить формальность, как вы говорите, — я немедленно ее выполню.

— Вы знаете, сколько существует безусловных препятствий к венчанию?

— А откуда мне их знать, эти ваши препятствия?

— «Ergo, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis...» — начал было дон Абондио, перебирая по пальцам.

— Вы, видно, издеваетесь надо мной? — прервал его юноша. — На что мне сдалась она, ваша латынь?

— Ну, а раз вы ничего не понимаете, имейте терпение и положитесь на тех, кто знает дело.

— Хватит, синьор курато!

— Потихе, милый мой Ренцо, не извольте гневаться, я готов сделать... все, что зависит от меня. Мне очень хочется видеть вас довольным, я желаю вам только добра. Эх, как подумаешь, ведь как вам хорошо жилось, — чего вам не доставало? Влезла же вам в голову эта дурь — жениться.

— Это что еще за разговоры, синьор? — прервал его Ренцо, не то удивленный, не то разгневанный.

— Да нет, я ведь только так. Вы уж потерпите... я так только... Хотелось бы видеть вас довольным.

— Одним словом...

— Одним словом, дорогой сынок, я тут ни при чем; не я составлял закон! И прежде чем совершить венчание, мы действительно обязаны провести кое-какие расследования и удостовериться, что препятствий к этому нет.

— Однако скажите же мне, наконец, какое прибавилось препятствие?

— Потерпите малость, не такие это дела, чтобы их можно было разрешить так просто. Я надеюсь, ровно ничего тут не окажется, но, невзирая на это, мы все-таки обязаны произвести розыск. Текст ясно и отчетливо гласит: «antequam matrimonium denunciaret...»¹

— Я же сказал вам, что не нужно мне никакой латыни!

— Но ведь надо же мне объяснить вам...

— Так разве вы не закончили этих расследований?

— Я же говорю вам, я сделал еще не все, что полагается.

— Почему же вы не сделали этого вовремя? Зачем же было говорить мне, что все готово? Чего же еще ждать?

— Ну вот, вы меня же и попрекаете за мою излишнюю доброту! Я делал всякие облегчения, чтобы поскорее услужить вам... но, видите ли, тут случилось кое-что такое... ну, будет, это уж мое дело.

— Что же мне, по-вашему, делать?

— Потерпеть несколько деньков. Сынок ты мой дорогой, несколько деньков — не вечность! Уж потерпите!

— А долго ли?

«Кажется, дело налаживается», — подумал про себя дон Абондио и с необычным для него жеманством произнес:

— Что же, недельки за две я постараюсь... сделаю, что могу...

— Две недели! Вот это действительно новость! Сделано все по вашему желанию, вы сами назначили день; день этот пришел, — и вот вы мне говорите, чтобы я ждал еще две недели! Две недели!.. — запальчиво повторил он, повышая голос, и, подняв руку, потряс кулаком в воздухе; и кто знает, какой выходкой сопроводил бы он свое восклицание, если бы дон Абондио не прервал его, поспешно и вместе с тем осторожно и ласково схватив его за другую руку.

— Стойте, стойте, — ради самого неба, не сердитесь! Я посмотрю, постараюсь, нельзя ли в неделю...

— А что же мне сказать Лючии?

— Скажите, что это мое упущение.

¹ Прежде чем оглашать брак... (лат.)

— А что станут говорить люди?

— Да вы говорите всем, что это я ошибся, все от излишней спешки, от доброты моей сердечной; валите всю вину на меня. Чего же вам еще? Итак — через неделю.

— А потом уж других препятствий не будет?

— Раз я вам говорю...

— Ну, что ж, я готов обождать неделю. Но помните, после этого никакие уговоры на меня не подействуют. А пока — честь имею.

С этими словами он ушел, отвесив дону Абондио поклон, несколько менее глубокий, чем обычно, и взглянув на него не столько почтительно, сколько выразительно.

Выйдя на дорогу и — впервые за все время — направляясь без всякой охоты к дому своей невесты, Ренцо с возмущением перебирал в уме происшедший разговор и все более и более находил его странным. Холодный и смущенный прием, оказанный ему доном Абондио, его речь, сбивчивая и вместе с тем запальчивая, эти серые глаза, непрестанно бегавшие во время разговора по сторонам, словно боясь встретиться со словами, выходявшими из его уст, это нарочитое изумление, как будто он первый раз слышит о венчании, уже согласованном с ним так определенно, а больше всего — эти постоянные намеки на какое-то важное обстоятельство, без ясного указания, в чем же дело, — все это вместе взятое приводило Ренцо к мысли, что под этим кроется какая-то тайна, непохожая на то, что старался внушить ему дон Абондио. На мгновение юноша остановился в нерешительности, не вернуться ли ему, чтобы прижать дону Абондио к стене и заставить говорить напрямик, но, подняв глаза, он увидел Перпетую, которая шла впереди него и свернула в огородик, находившийся в нескольких шагах от дома. Ренцо окликнул ее, когда она отворяла калитку. Ускорив шаг, он нагнал Перпетую, задержал ее у входа и, с намерением добиться от нее чего-нибудь более определенного, решил потолковать с нею.

— Здравствуйте, Перпетуя, я надеялся было, что нынче мы вместе попируем.

— Что ж поделаешь? Все в Божьей воле, бедный мой Ренцо.

— Скажите на милость: этот непутевый синьор курато говорил мне чепухи про какие-то резоны, которых я так путем и не разобрал; объясните вы мне толком, почему он то ли не может, то ли не хочет обвенчать нас сегодня?

— Ох, неужели же вы думаете, что я знаю секреты своего хозяина?

«Я так и знал, что тут какая-то тайна», — подумал Ренцо. И, чтобы извлечь ее на свет божий, продолжал:

— Вот что, Перпетуя, будем друзьями: расскажите мне, что знаете, помогите бедному малому.

— Плохое дело — родиться бедным, милый мой Ренцо.

— Правильно, — подхватил он, все больше утверждаясь в своих подозрениях, и, стараясь ближе подойти к делу, добавил: — Правильно, но полагается ли священникам плохо относиться к бедным?

— Послушайте, Ренцо, я ничего не могу сказать, потому что... я ничего не знаю; но в одном я могу вас уверить: мой хозяин ни вас, ни кого другого обижать не хочет, — он тут ни при чем!

— А кто же тут при чем? — спросил Ренцо с самым небрежным видом, но сердце его при этом замерло и весь он обратился в слух.

— Но коли я говорю вам, что ничего не знаю... Только вот за хозяина своего я заступлюсь, потому что мне тяжело слушать, когда его обвиняют в желании сделать кому-либо неприятность. Бедняжка! Уж если он грешит чем, так излишней добротой. Хорошо всем этим негодяям, тиранам, этим людям, не знающим страха Божьего...

«Тираны! Негодяи! — подумал Ренцо. — Это никак не относится к духовному начальству».

— Вот что, — сказал он, с трудом скрывая все нараставшее в нем волнение, — вот что: скажите мне поскорей, кто это.

— А! Понимаю — вам бы только заставить меня говорить, а я не могу сказать, потому что... я ничего не знаю: когда я ничего не знаю, это все равно, как если бы я поклялась молчать. Хоть пытайте меня, слова из меня не вытяните. Прощайте, нечего нам обоим зря время терять!

С этими словами она поспешила в огород и заперла калитку. Ренцо, отвесив ей поклон, пошел обратно, потихоньку, дабы она не заметила, куда он идет; но, оказавшись за пределами слуха доброй женщины, он зашагал быстрее, мигом очутился у дверей дон Афондио, вошел в дом и направился прямо в комнату, где оставил старика. Увидя его там, Ренцо вытаращил глаза и с решительным видом приблизился к нему.

— Ого! Это что еще за новости? — сказал дон Афондио.

— Кто этот тиран? — спросил Ренцо голосом человека, решившего во что бы то ни стало добиться определенного ответа. — Кто этот тиран, которому неудобно, чтобы я женился на Лючии?

— Что? Что? Что такое? — пролепетал озадаченный старик; лицо его сразу побледнело и стало дряблым, как тряпка, вынутая из корыта. Продолжая что-то бормотать, он вскочил с кресла и бросился к выходу. Но Ренцо, который, очевидно, ожидал этого движения и был настороже, опередил его — повернул ключ и положил его в карман.

— Ага, теперь-то уж вы заговорите, синьор курато! Все знают мои дела, кроме меня самого. Ну так и я, черт возьми, желаю знать их. Как его зовут?

— Ренцо, Ренцо! Бога ради, поберегитесь, что вы делаете? Подумайте о своей душе.

— Я вот и думаю о том, что хочу все знать немедленно, сию же минуту! — И с этими словами он, может быть без всякого умысла, взялся за рукоятку ножа, торчавшего у него из кармана.

— Пощадите! — сдавленным голосом простонал дон Абондио.

— Я хочу знать!

— Кто сказал вам...

— Ни-ни! Довольно болтовни! Отвечайте, и без уверток.

— Вы что — моей смерти хотите?

— Я хочу знать то, что имею право знать!

— Но если я проговорюсь — то мне конец. Неужели мне жизнь не дорога?

— Вот потому-то и извольте говорить!

Это «потому-то» произнесено было с такой настойчивостью и вид у Ренцо стал таким угрожающим, что дон Абондио даже и думать не смел о дальнейшем сопротивлении.

— Вы обещаете, вы клянетесь мне, — сказал он, — ни с кем об этом не говорить?..

— Я вам выкину такую штуку, если вы мне сию же минуту не назовете его имени...

В ответ на это новое заклинание дон Абондио, с выражением лица и глаз человека, которому зубодер засунул в рот шипцы, произнес:

— Дон...

— Дон? — повторил Ренцо, словно желая помочь пациенту выплюнуть наружу остальное.

Он стоял нагнувшись, наклонив ухо к губам дона Абондио и заложив за спину сжатые кулаки вытянутых рук.

— Дон Родриго! — скороговоркой произнес пытаемый, стремительно вытолкнув из себя эти немногие слоги и проглатывая при этом согласные, отчасти от волнения, отчасти потому, что, применяя оставшуюся у него малую долю внимания на установление некоторого равновесия между двумя одолевавшими его страхами, он, казалось, хотел изъять из обращения и заставить исчезнуть эти слова в тот самый момент, когда его принудили произнести их.

— Ах он пес! — завопил Ренцо. — А как же он сделал это? Что он сказал вам про...

— Как! Как! — почти негодующим голосом отвечал дон Абондио, который после столь тяжелой жертвы, им принесенной, сознавал, что Ренцо теперь до известной степени его должник. — Хотел бы я, чтобы это вас задело так же, как это задело меня, который тут совсем ни при чем, тогда бы у вас всю дурь сразу вышибло из головы!

И он принялся самыми мрачными красками описывать

ужасную встречу, и, рассказывая, он все больше давал волю своему гневу, которому до этой минуты страх не давал излиться наружу. Вместе с тем, видя, что Ренцо, взбешенный и подавленный, стоит перед ним с опущенной головой, дон Абондио довольно весело продолжал:

— Нечего сказать! Хорошенькую же вы затеяли историю! И услужили же вы мне!.. Сыграть такую штуку с благородным человеком, с вашим духовником! В его же собственном доме! В святом месте! Какой, подумаешь, совершили подвиг! На погибель мне, на погибель и себе самому вынудили меня сказать то, что я скрывал из благоразумия, вам же на благо! Но вот теперь вы все знаете! Хотел бы я посмотреть, что вы со мной сделаете... Ради самого неба! Тут не до шуток. Дело не в том, кто виноват, кто прав, — дело в том, кто сильнее. Давеча утром, когда я давал вам добрый совет... как вы сразу взбеленились! А ведь я думал и о себе и о вас... Ну, так что же? Отоприте хотя бы дверь, верните мне ключ.

— Я, может быть, и виноват, — обратился к дону Абондио Ренцо, и голос его зазвучал мягче, хотя в нем и кипела еще ненависть к обнаруженному врагу, — может быть, я и виноват, но, положа руку на сердце, подумайте только, если бы на моем месте...

С этими словами он вынул из кармана ключ и пошел отпирать дверь. Дон Абондио направился вслед за ним, и, пока Ренцо поворачивал ключ в замке, старик приблизился к нему и с лицом серьезным и озабоченным, подняв к глазам Ренцо три пальца правой руки, словно желая в свою очередь помочь ему, произнес:

— Поклянитесь, по крайней мере...

— Может быть, я и провинился, так простите меня, — отвечал Ренцо, отворяя дверь и собираясь уйти.

— Поклянитесь... — повторил дон Абондио, схватив его за плечо дрожащей рукой.

— Может быть, я и виноват, — повторил Ренцо, стараясь освободиться, и стремглав вылетел, взбешенный, прекращая таким способом спор, который, подобно любому литературному, философскому или иному спору, мог бы затянуться навеки, потому что каждая из сторон только и делала бы, что твердила свои доказательства.

— Перпетуя! Перпетуя! — закричал дон Абондио после тщетных попыток вернуть убежавшего. Перпетуя не откликнулась, и дон Абондио перестал понимать, что происходит.

Людам и позначительнее дона Абондио не раз случалось переживать такие неприятные передраги, такую неопределенность положения, при которой лучшим выходом кажется скататься больным и улечься в постель. Этого выхода ему не приходилось даже и искать, он последовал сам собой. Вчерашний испуг, тревожная бессонница минувшей ночи, новый, только

что пережитый испуг, тревога за будущее — все это возымело свое действие. Подавленный и оцепеневший, уселся он в кресло и, почувствовав какой-то озноб во всем теле, стал, вздыхая, разглядывать свои ногти, вызывая время от времени дрожащим и сердитым голосом: «Перпетуя!» Та, наконец, явилась с огромным кочном капусты под мышкой. Лицо ее выражало равнодушие, словно ничего не произошло. Я избавлю читателя от всех жалоб, соболезнований, обвинений, оправданий, от всяких «вы одни только и могли сказать», да «ничего я не говорила», — словом, ото всех обычных в таких случаях разговоров. Достаточно сказать, что дон Абондио приказал Перпетуе запереть дверь на засов, ни под каким видом никому не отпирать, а если кто постучится, говорить через окно, что синьор курато нездоров и лежит в приступе лихорадки. После этого он медленно стал взбираться по лестнице, повторяя через каждые три ступени: «Влип! влип!» Да и в самом деле улегся в постель, где мы пока его и оставим.

Тем временем Ренцо в бешенстве зашагал по направлению к дому. Он еще не решил, что ему делать, но им уже овладело неотступное желание совершить что-нибудь необычное и страшное. Тираны, бросающие вызов, все те, кто так или иначе обижает других, виновны не только в творимом ими зле, но и в том потрясении, в какое они повергают души обиженных ими. Ренцо был юноша смирный, далекий от кровожадности, юноша прямой, чуждый коварных замыслов; но в данную минуту душа его жаждала крови, воображение было всецело поглощено измышлением какой-нибудь ловушки. Ему хотелось мчаться к дому дона Родриго, схватить его за горло и... Но тут он спохватывался, что жилище это было подобно крепости, охраняемой снаружи, а внутри кишевшей всякими брави; что только испытанные друзья и слуги имели в него свободный доступ, не подвергаясь осмотру с головы до ног; что незнакомого скромного ремесленника туда не пустили бы без проверки, а его, которого, вероятно, там очень хорошо знают, тем паче. Потом он подумал было взять ружье, спрятаться где-нибудь за изгородью и подкарауливать, не появится ли дон Родриго как-нибудь в одиночку. Он с жестоким наслаждением тешил воображаемой картиной: вот он слышит походку, его походку; осторожно поднимает голову, узнает злодея, наводит ружье, прицеливается, стреляет, видит, как тот падает и корчится; он бросает врагу проклятье и бежит по дороге к границе, чтобы оказаться в безопасности. А Лючия? Как только это имя прорезало зловещий мир его фантазии, тотчас же туда толпой ворвались и добрые мысли, привычные его душевному складу. Он вспомнил последний завет своих родителей, вспомнил Бога, Мадонну и святых, подумал об удовлетворении, не раз испытанном, от сознания, что за ним не водится никакого преступления, подумал об

ужасе, какой не раз охватывал его при рассказе о каком-нибудь убийстве, — и со страхом и угрызениями совести, но вместе с тем с какой-то радостью опомнился от своих кровавых замислов, радуясь, что все это только игра воображения. Но зато сколько размышлений повлекла за собой мысль о Лючии. Столько надежд, столько обещаний, — будущее, о котором так мечталось, которое казалось уже почти в руках, наконец, этот день, столь желанный. Как же теперь, какими словами сообщить ей эту новость? И далее, какое же принять решение? Как сделать ее своею, назло этому всемогущему злодею. Заодно с этим в уме его промелькнуло не то чтобы определенное подозрение, но какая-то мучительная тень: наглость дона Родриго объясняется не чем иным, как его животной страстью к Лючии. Но Лючия? Неужели она подала к этому хотя бы малейший повод, малейшую надежду, — подобная мысль ни на мгновение не могла возникнуть в голове Ренцо. Но знала ли она хоть что-нибудь об этом? Мог ли он вспылать этой гнусной страстью и она не заметила этого? Посмел бы он прибегать к таким действиям, не испытав ее как-нибудь иначе? А ведь Лючия никогда ни словом не обмолвилась об этом ему! Своему жениху!

Обуреваемый такими мыслями, он прошел мимо своего дома, находившегося посредине деревни, пересек ее и направился к дому Лючии, стоявшему на краю деревни, почти совсем у околицы. Перед домиком этим был небольшой двор, отделявший его от улицы и огороженный невысокой стеной. Ренцо вошел во дворик и услышал несмолкаемый гул голосов, доносившийся из комнаты наверху. Он догадался, что это подружки и кумушки, собравшиеся сопровождать Лючию, и ему не захотелось показываться на глаза этому сборищу с лицом, расстроенным полученной новостью. Девчурка, находившаяся на дворе, кинулась ему навстречу с криком: «Жених! Жених!»

— Тише, тише, Беттина! — сказал ей Ренцо. — Поди-ка сюда, ступай наверх к Лючии, отзови ее в сторонку и шепни ей на ушко... да только смотри, чтобы никто не слышал и ничего не заметил... скажи ей, что мне нужно с ней поговорить, что я жду ее в нижней комнате... да пусть приходит сейчас же!

Девчурка помчалась по лестнице, радостная и гордая данным ей секретным поручением.

В эту минуту мать как раз закончила одевать Лючию, и подруги со всех сторон обступили разряженную невесту и вертели ее во все стороны, чтобы получше разглядеть. А она поворачивалась, отбиваясь со свойственной крестьянкам немножко воинственной скромностью, загораживая локтем лицо, склоненное на грудь, и нахмутив густые черные брови, меж тем как губы ее невольно складывались в улыбку. Черные девичьи волосы, разделенные узкой белой полоской пробора,

собраны были на затылке во множество мелких косичек, свернутых кольцами и заколотых длинными серебряными шпильками, которые расходились веером, образуя как бы сияние ореола, как и поныне причесываются крестьянки в окрестностях Милана. На шее у нее было ожерелье из гранатов, вперемежку с золотыми филигранными бусами. Ее стан облегал богатый корсаж из расшитой цветами парчи, с отдельными рукавами, которые были привязаны красивыми бантами. На ней была короткая юбка из плотного шелка со множеством мелких складок, красные чулки и узорчатые, тоже шелковые, туфли. Помимо этого свадебного наряда, Люцию красила ее скромная красота, еще более расцветшая от множества переживаний, отражавшихся на ее лице: радости, сдерживаемой легким смущением, тихой грусти, которая порой появляется на лице всякой невесты и, не умаляя красоты, придает ей особый отпечаток. Маленькая Беттина пробила в кружок, подошла к Люции и, осторожно дав понять, что хочет что-то сказать, шепнула ей на ушко словечко.

— Я выйду на минутку и сейчас же вернусь, — сказала Люция женщинам и поспешно вышла. Увидя изменившееся лицо Ренцо и его беспокойное состояние, она спросила, охваченная каким-то страшным предчувствием: — Что случилось?

— Люция, — ответил Ренцо, — на сегодня все пошло прахом, и один Бог ведает, когда нам удастся стать мужем и женой.

— Как? — сказала Люция, совершенно растерявшись.

Ренцо вкратце рассказал ей все, что произошло в это утро. Она слушала его с тревогой, а услышав имя дона Родриго, вся вспыхнула, вздрогнула и воскликнула:

— Так вот до чего!..

— Значит, вы знали? — сказал Ренцо.

— Еще бы, — ответила Люция, — так вот до чего!..

— Что же вы знали?

— Не заставляйте меня говорить сейчас, не заставляйте проливать слезы. Я побегу за матерью и отпущу женщин, нам надо остаться одним.

Когда она уходила, Ренцо тихо произнес:

— И вы никогда ничего мне не говорили!

— Ах, Ренцо! — ответила Люция, лишь на мгновение обернувшись к нему на ходу.

Ренцо отлично понял, что имя его, произнесенное Люцией в такую минуту и таким тоном, означало: неужели вы можете сомневаться, что если я молчала, то лишь по честным и чистым побуждениям?

Между тем словечко, сказанное на ушко, равно как исчезновение Люции вызвали подозрение и любопытство доброй Аньезе (так звали мать Люции), и она спустилась узнать, что

случилось. Дочь оставила ее с глазу на глаз с Ренцо, вернулась к собравшимся женщинам и, постаравшись придать полное спокойствие своему лицу и голосу, объявила:

— Синьор курато захворал, и сегодня венчание не состоится.

Сказав это, она торопливо отвесила общий поклон и опять спустилась вниз.

Женщины вышли одна за другой и рассыпались по деревне, рассказывая о происшедшем. Две-три прошли до дверей дона Абондио, чтобы удостовериться, действительно ли он болен.

— Сильнейшая лихорадка, — объявила им из окна Перпетуя; и печальная весть, переданная остальным, сразу оборвала всякие предположения, которые закопошились было у них в головах и таинственным шепотком зазвучали в их разговорах.

Глава третья

Лючия вошла в нижнюю комнату в тот момент, когда Ренцо с тревогой сообщал Аньезе о случившемся, а та с такою же тревогой слушала его. Оба они обратились к той, которая знала обо всем больше их. Они ждали разъяснений, неизбежно мучительных. И сквозь скорбь у обоих, вместе с любовью, которую они по-разному питали к Лючии, проглядывала — опять-таки по-разному — горечь: как могла она скрыть от них что-то, да притом еще такое важное! При всем своем нетерпении поскорее выслушать дочь Аньезе не могла удержаться от упрека:

— Родной матери не сказать о таком деле!

— Теперь скажу вам все, — отвечала Лючия, утирая передником слезы.

— Говори, говори же, говорите! — разом закричали оба — и мать и жених.

— Пресвятая Дева! — воскликнула Лючия. — Кто бы мог подумать, что дело дойдет до этого?

И голосом, прерывающимся от рыданий, она рассказала, как несколько дней назад, когда она возвращалась из прядильни и поотстала от своих подруг, ей повстречался дон Родриго в сопровождении другого синьора, как дон Родриго пытался занять ее всякими разговорами, — не совсем хорошими, как она выразилась; она же, не обращая на него внимания, прибавила шаг, догнала подруг и в то же время услышала, как другой синьор громко расхохотался, а дон Родриго произнес: «Бьюсь об заклад». На другой день те же синьоры опять оказались у нее на дороге; но Лючия шла среди подруг, опустив глаза; тот другой синьор засмеялся, а дон Родриго сказал: «Посмотрим, посмотрим».

— Благодарение небу, — продолжала Лючия, — это был последний день работы. Я сейчас же рассказала...

— Кому рассказала? — спросила Аньезе, выступая вперед, не без некоторого чувства досады по адресу предпочтенного наперсника.

— Падре Кристофоро, мама, на исповеди, — ответила Лючия мягким извиняющимся тоном. — Я все ему рассказала, когда мы в последний раз ходили вместе в монастырскую церковь: если припомните, я в то утро принималась то за одно, то за другое, лишь бы проканителиться, пока не появятся другие деревенские, — кому по дороге, — чтобы пойти вместе с ними; ведь после этой встречи я так боялась появляться на улице...

Как только произнесено было почтенное имя падре Кристофоро, досада Аньезе сразу улеглась.

— Ты хорошо поступила, — сказала она, — но почему было не рассказать и своей матери?

У Лючии имелось на этот счет два разумных соображения: одно — не опечалить и не напугать добрую женщину, которая ведь все равно не могла бы помочь в этом деле; другое — избежать риска широкой огласки всей этой истории, которую ей всячески хотелось похоронить, тем более что предстоящая свадьба, думалось Лючии, оборвала бы в самом начале это гнусное преследование. Из этих двух соображений она, однако, сослалась лишь на первое.

— А по-вашему, — сказала она потом, обращаясь к Ренцо таким тоном, которым хочешь внушить другу, что он был не прав, — по-вашему, мне бы не следовало скрывать этого? Ну, вот, теперь вы знаете все.

— А что же сказал тебе падре Кристофоро? — спросила Аньезе.

— Он сказал, чтобы я всячески постаралась ускорить свадьбу, а пока сидела бы дома; чтобы хорошенько молилась Богу; что тот синьор, как он надеется, не видя меня, перестанет обо мне думать. Вот тогда-то, — продолжала она, снова обращаясь к Ренцо, не поднимая, однако, на него глаз и вся покраснев, — тогда-то я, утратив всякий стыд, сама принялась просить вас поторопиться со свадьбой, назначив ее раньше намеченного срока. Кто знает, что вы обо мне подумали! Но я хотела только добра, ведь мне так посоветовали, и я была уверена... А нынче утром я так далека была от мысли... — Тут сильнейшее рыдание прервало ее слова.

— Ах, негодяй! ах, злодей! ах, окаянный! — кричал Ренцо, бегая взад и вперед по комнате и хватаясь время от времени за рукоятку ножа.

— Господи Боже мой! Вот беда-то какая! — восклицала Аньезе.

Юноша вдруг остановился перед плачущей Лючией; с го-

речью и вместе с тем с нежностью поглядел на девушку и сказал:

— Ну, на этот раз придет конец разбойнику!

— О нет, Ренцо, ради самого неба! — вскрикнула Лючия. — Нет, нет! Ради Бога! Господь печется и о бедных... Как же вы хотите, чтобы он помогал нам, если мы сами будем творить зло?

— Нет, нет, ради самого неба! — повторяла за нею Аньезе.

— Ренцо, — сказала Лючия, с выражением надежды и спокойной решимости, — у вас есть ремесло, и я тоже умею работать; уйдем из этих мест, чтобы он о нас больше и не слышал.

— Ах, Лючия! А что будет потом? Ведь мы еще не муж и жена. Согласится ли дон Абондио выдать нам свидетельство об отсутствии препятствий к венчанию? Такой-то человек! Будь мы повенчаны, о, тогда...

Лючия снова принялась плакать. Все трое молчали, и уныние, их охватившее, было в тягостном противоречии с праздничной пышностью их одежд.

— Вот что, детки, послушайте-ка меня, — заговорила через некоторое время Аньезе. — Я ведь свет божий увидела раньше вас и людей немножко знаю. Не следует так пугаться: не так страшен черт, как его малюют. Нам, бедным, моток шелка порою кажется особенно запутанным только потому, что мы не умеем найти конца. Иной раз совет либо словцо человека ученого... ну, я знаю, что говорю. Сделайте по-моему, Ренцо! Подите-ка в Лекко, отыщите там доктора Крючкотвора, расскажите ему... Да смотрите, ради самого неба, не называйте его так, — это его прозвище. Надо называть его просто «синьор доктор»... Как, бишь, его зовут-то? Вот поди ж ты! Не знаю я настоящего его имени, — все его так именуют. Ну, словом, отыщите вы этого доктора, он такой длинный, тощий, лысый, с красным носом и малиновой родинкой на щеке.

— Да знаю я его с виду! — сказал Ренцо.

— Вот и отлично, — продолжала Аньезе. — Это — голова. Я не раз видала таких, что запутывались хуже цыпленка в пакле, прямо не знали, куда податься, а посидев часок с глазу на глаз с доктором Крючкотвором (смотрите, не назовите его так!), глядишь, становились веселыми, — сама видела! Захватите вот этих четырех каплунов (бедняжки, я только что собиралась свернуть им шею к воскресному пиру!) да снесите-ка их ему: к этим господам никогда не следует являться с пустыми руками. Расскажите ему все, что случилось, и увидите, он, не сходя с места, наговорит обо всем этом такого, что нам никогда не пришлось бы в голову, хоть год думай!

Ренцо чрезвычайно охотно ухватился за этот совет; одобрила его и Лючия; а Аньезе, гордясь тем, что подала его, вы-

нула бедных каплунов, одного за другим, из плетенки, собрала воедино все восемь ног, точно делала букет из цветов, скрутила их, перевязала бечевкой и вручила Ренцо, который, обменявшись с Аньезе и Люцией словами ободрения, вышел из дому садом, чтобы не попасться на глаза ребятишкам, которые бросились бы за ним вслед с криками: «Жених! Жених!»

Пересекая поля, или, как говорят там, «места», он шел тропинками, взволнованно размышляя о своем злосчастье и обдумывая речь, с которой он собирался обратиться к доктору Крючоктвору.

Предоставляю читателю судить о том, как себя чувствовали во время этого путешествия бедные связанные каплуны, схваченные за лапки и висевшие головой вниз, в руках целовека, который, от волнения при столь сильных переживаниях, сопровождал соответствующими жестами все мысли, беспорядочно приходившие ему в голову. Он то в гневе протягивал руку вперед, то в отчаянии поднимал ее вверх, то потрясал ею в воздухе, словно угрожая кому-то, и на все лады изрядно встряхивал каплунов, заставляя болтаться четыре свешивающиеся головы, которые при этом все-таки ухитрились клевать друг друга, как довольно часто случается с говарищами по нечастью.

Придя в город, он справился о местожительстве доктора и направился туда, куда ему указали. При входе им овладела робость, которую малограмотные бедняки испытывают при приближении к господам и ученым, — Ренцо сразу забыл все приготовленные речи; однако, бросив взгляд на каплунов, он приободрился и, войдя в кухню, спросил служанку, нельзя ли поговорить с синьором доктором. Та заприметила каплунов и, привыкнув к подобным подношениям, протянула к ним руку, хотя Ренцо убрал их назад, — ему хотелось, чтобы сам доктор увидел дары и знал, что он пришел не с пустыми руками. Доктор подошел как раз, когда служанка говорила: «Давайте-ка их сюда и проходите к ним».

Ренцо отвесил глубокий поклон; доктор принял его ласково и со словами: «Входите, сынок!» провел за собой в кабинет. Это была большая комната, на трех стенах которой висели портреты двенадцати цезарей; четвертая занята была большой полкой со старинными запыленными книгами. Посредине стоял стол, заваленный повестками, прошениями, жалобами, указами, вокруг него — три-четыре стула, а с одной стороны — кресло с ручками и высокой четырехугольной спинкой, завершавшейся по обоим углам деревянными украшениями наподобие рогов. Кресло было обтянуто коровьей кожей, прибитой гвоздиками с крупными шляпками; некоторые из них от времени вывалились, оставив неприкрепленными углы обивки, кое-где образующей складки. Доктор был одет по-домаш-

нему, а именно: на нем была уже поношенная тога, которая много лет назад служила ему при торжественных выступлениях, когда он отправлялся в Милан по какому-нибудь важному делу. Он затворил за собой дверь и старался подбодрить юношу словами:

— Расскажите мне, сынок, свое дело.

— Я хотел бы поговорить с вами по секрету.

— Я слушаю, — сказал доктор и уселся в кресло.

Стоя у стола и засунув одну руку в шляпу, которую он вертел другой рукой, Ренцо продолжал:

— Я хотел бы у вас, как у человека ученого, узнать...

— Ну, смелей, расскажите мне, в чем дело! — прервал его доктор.

— Уж вы меня извините, мы, люди простые, не умеем говорить складно. Так вот, мне бы хотелось знать...

— Что за народ! Все вы такие: вместо того чтобы рассказать дело, вы все хотите выпросить, потому что уже заранее все решили про себя.

— Извините, синьор доктор, мне бы хотелось знать, подлежит ли наказанию тот, кто с угрозой станет требовать от священника, чтобы он не смел венчать.

«Я понял, — сказал себе доктор (на самом деле он ровно ничего не понял). — Я понял!» — Он сразу принял серьезный вид, но к серьезности этой примешивалось сочувствие и участие; он крепко сжал губы, издав при этом нечленораздельный звук, означавший чувство, более отчетливо выраженное вслед за этим первыми же его словами:

— Серьезный казус, сынок, — казус, предусмотренный законом. Вы хорошо сделали, придя ко мне. Казус простой, о нем упоминается в сотне постановлений и в одном специальном прошлогоднем постановлении нынешнего синьора губернатора. Вот я вам его сейчас дам посмотреть и даже потрогать собственными руками.

С этими словами он поднялся с кресла и, запустив руки в кучу бумаг, стал ворошить их, словно насыпая зерно в мерку.

— И где только оно? Ну, вылезай же, вылезай! И надо же иметь такую кучу! Наверняка оно тут, — ведь это постановление важное. Да, вот оно, вот! — Он взял бумагу, расправил ее, посмотрел на число и, приняв вид еще более серьезный, воскликнул: — Пятнадцатого октября тысяча шестьсот двадцать седьмого года. Совершенно верно: постановление от прошлого года, — свеженькое. Такие больше всего внушают страх. Вы читать умеете, сынок?

— Немножко, синьор доктор.

— Хорошо. Следите за мной глазами и увидите.

И, высоко подняв развернутую грамоту, он принялся читать, бормоча отдельные места скороговоркой и по мере на-

добности прочитывая отчетливо, с большим выражением, некоторые другие:

— *«Хотя распоряжением, обнародованным по приказанию синьора герцога Ферийского сего 14 декабря 1620 года и подтвержденным преславнейшим и превосходительнейшим синьором Гонсало Фернандесом ди Кордова... и прочая и прочая... приняты были чрезвычайные и строжайшие меры против утеснений, вымогательств и тиранических действий, кои некоторыми предерзостно чинятся над преданными вассалами его величества, однако количество этих правонарушений, равно и злокозненность оных... и т.д., и т.д., возросли в такой мере, что поставили его превосходительство в необходимость... и т.д., и т.д. А посему, согласно суждению сената и хунты... и т.д. ...постановили обнародовать настоящее распоряжение.*

В отношении тиранических действий твердо установлено, что многие в данном городе, равно и в селениях... Слышите?... в селениях сего государства насильнически чинят вымогательства и утесняют слабейших всякими способами, принуждая к подневольным торговым сделкам, найму... и т.д., и т.д. Вы следите? Ага, так вот, слушайте: *Принуждая к заключению браков или же расстраивая таковые...* А? Что скажете?

— Как раз мой случай, — сказал Ренцо.

— Слушайте, слушайте дальше, а потом посмотрим, что за это полагается. *«Принуждая к даче показаний либо к недаче оных: к уходу кого-либо с места его пребывания и т.д. ...к уплате долга, или к препятствованию взысканию оногo; к помолу на его мельнице... Все это к нам не относится. А, вот, стойте: ...к тому, чтобы то или иное духовное лицо не совершало возложенных на него обязанностей, либо совершало действия, до него не относящиеся...»* Каково?

— Указ словно нарочно для меня составлен.

— Вот именно. Слушайте, слушайте дальше: *«...и другие подобные насилия, учиняемые вассалами, знатными, людьми среднего звания, худородными и простонародьем»...* Никто не ускользнет: все тут, настоящая Иосафатова долина! Теперь слушайте про наказания... *«Хотя все таковые и им подобные злодеяния воспрещены, однако его превосходительство, имея в виду применение сугубой строгости и не отменяя настоящим предшествующих... и т.д., и т.д... сим предписывает и приказывает всем наличным судьям сего государства преследовать судом нарушителей любой из вышепоименованных статей, равно и им подобных, с наложением денежного штрафа и телесного наказания, равно и ссылкой или каторгой, и до смертной казни включительно... шутка сказать!.. по усмотрению его превосходительства или сената применительно к каждому отдельному случаю, лицу и обстоятельству. И сие не-у-клон-но и со всею строгостью»...* и т.д., и т.д. Ну, как вам это покажется? А? Смотрите, вот и подписи: Гонсало Фернандес ди Кордова, и

далее внизу: Платонус, а вот здесь еще: *скрепил Феррер*. Все как полагается!

В то время как доктор читал, Ренцо медленно водил глазами по бумаге, стараясь проследить связь и уловить точный смысл этих священных слов, в которых, казалось ему, было все его спасенье. Заметив, что новый клиент скорее внимателен, нежели напуган, доктор удивился этому. «Должно быть, парень-то отчаянный», — подумал он про себя, а затем произнес:

— Вот, однако, вы себе чуб-то срезали. Оно, конечно, благоразумно. Но раз вы собрались довериться мне, в этом, пожалуй, не было надобности. Казус серьезный, но вы и не знаете, на что я при случае способен.

Чтобы понять эту выходку доктора, надо знать или припомнить, что в те времена профессиональные бравы и всякого рода преступники обычно носили длинный чуб, которым как забралом прикрывали себе лицо при нападениях на кого-либо, во всех тех случаях, когда считали необходимым замаскироваться, или когда предприятие было из числа тех, где требуется одновременно и сила и благоразумие. Указы не могли обойти молчанием подобной моды. *Его превосходительство* (маркиз Инохоза) *приказывает: кто станет носить волосы столь длинные, что ими прикрывается лоб до бровей включительно, или кто станет носить косу перед или за ушами, тот подвергается штрафу в триста скуди, а в случае несостоятельности — трехгодичной каторге, если провинился впервые, в случае же повторения — сверх вышеуказанного, увеличенному взысканию, денежному и телесному, по усмотрению его превосходительства.*

«Однако при наличии плешивости, равно и иного разумного основания, например, отметины или ранения, таковым лицам, для вящего их приукрашения и здоровья, его превосходительство не возбраняет носить волосы такой длины, какая необходима для прикрытия подобных недостатков, но и не более того, предостерегая вместе с тем не выходить за пределы должного и крайней необходимости, дабы не подвергнуться взысканию, установленному для всех других нарушителей.

Равным образом, его превосходительство под страхом штрафа в 100 скуди или трехкратного публичного вздергивания на дыбу, и даже еще более значительного телесного наказания, по усмотрению, как указано выше, приказывает цирюльникам не оставлять тем, кого они стригут, указанных кос, чубов, завитков, ни волос длиннее обычного, ни на лбу, ни на висках, ни за ушами, но дабы все были уравнены, как указано выше, за исключением случаев плешивости или других недостатков, как о том сказано».

Таким образом, чуб являлся как бы предметом вооружения и отличительным признаком всяких буянов и забияк, вслед-

ствие чего их обычно и прозывали «чубами» Кличка эта уцелела и живет поныне в местном диалекте, правда, в несколько смягченном значении. Думается, среди миланских наших читателей не один припомнит, как, бывало, в детстве родители, или учитель, или друг дома, или кто-нибудь из прислуги говорили про него самого: «Этакий чуб! этакий чубик!»

— По совести говоря, честное слово бедного парня, — отвечал Ренцо, — я в жизни своей никогда не носил чуба.

— Так ничего у нас не выйдет, — ответил доктор, покачив головой и усмехаясь не то лукаво, не то раздраженно. — Если вы мне не доверяете, ничего не получится. Видите ли, сынок, плести ахинею доктору глупо, все равно судье придется сказать правду. Адвокату надо излагать обстоятельства ясно: наше дело потоптать карты. Если хотите, чтобы я вам помог, нужно рассказать мне все начистоту от альфы до омеги, с открытой душой, как на исповеди. Вы должны назвать то лицо, которое дало вам поручение, — разумеется, это особа знатная и в таком случае я сам схожу к нему, это так уж полагается. Понятно, я не стану ему говорить, что узнал от вас про данное им поручение, — в этом вы уж положитесь на меня. Я скажу ему, что пришел умолять его заступиться за бедного оклеветанного парня. С ним вместе я и предприму нужные шаги к тому, чтобы закончить дело похорошему. Поймите вы, — спасая себя, он спасет и вас. Опять же, если вся эта штука — дело только ваших рук, что ж, я не уклоняюсь, мне случалось выручать людей и из худших передрыг... Только бы вы не задели какой-нибудь значительной особы, — об этом надо сговориться заранее, — я берусь выручить вас из затруднения, — ну, разумеется, не без некоторых издержек. Вы должны назвать мне, кто, как говорится, обиженный, — а там, сообразно с положением, званием и настроением нашего приятеля будет видно, можно ли припугнуть его тем, что у нас есть рука, либо найти какой-нибудь способ нам самим впутать его в уголовщину, так сказать, запустить ему блоху в ухо: ведь если кто хорошо сумеет обойти указы, тогда никто не окажется ни виноватым, ни правым. Что касается курато, — если он человек разумный, он не станет брыкаться; ну, а если он окажется упрямым, найдем средство и против такого. Из всякой каверзы можно выпутаться, но для этого нужен толковый человек; а ваш казус серьезный, — серьезный, повторяю, весьма серьезный! Указ гласит определенно. И если дело будет решаться между юстицией и вами, так сказать, с глазу на глаз, вам придется плохо. Говорю вам по-дружески: за шалость приходится расплачиваться. Если хотите отделаться дешево, нужны деньги и откровенность; надо довериться тому, кто вам желает добра, надо слушаться и исполнять все, что будет вам предписано.

Пока доктор исходил всеми этими словами, Ренцо стоял и глядел на него с тем восхищенным вниманием, с каким зевака на базарной площади глядит на фокусника, который, напихав в рот огромное количество пакли, вытягивает потом оттуда нескончаемую ленту. Однако, когда он ясно понял то, что хотел сказать доктор и какая произошла путаница, он оборвал нескончаемую ленту, тянувшуюся из уст адвоката:

— Ах, синьор доктор, да как же вы поняли все это? Ведь все как раз наоборот. Я никому не угрожал. Я такими делами не занимаюсь: спросите хоть всю нашу деревню, все вам скажут, что я никогда никаких дел с судами не имел. Подлость сделали со мной, я и пришел к вам узнать, как мне поступить, чтобы добиться правды. Я очень доволен, что ознакомился с этим указом.

— Черт возьми! — воскликнул доктор, вытаращив глаза. — Что за чушь вы несете! Всегда так, — все вы такие! Не умеете вы, что ли, ясно излагать дело?

— Простите меня, но ведь вы же не дали мне времени. Теперь я вам расскажу все, как есть. Так вот, было бы вам известно, я сегодня должен был обвенчаться, — тут голос Ренцо дрогнул, — обвенчаться сегодня с девушкой, за которой я ухаживал с нынешнего лета; и на сегодня, видите ли, был назначен день самим священником, и все было налажено. И вдруг синьор курато начинает приводить разные отговорки... ну, словом, — не стану вам докучать, — я его заставил говорить как полагается, без уверток; он мне и признался, что ему под угрозой смерти запрещено было венчать нас. Этот тиран, дон Родриго...

— Что вы! — быстро прервал его доктор, нахмутив брови, сморщив красный свой нос и скривив рот. — Что вы! И зачем вы приходите забивать мне голову подобным вздором? Ведите такие разговоры между собой, раз вы не умеете взвешивать своих слов; и не ходите вы за этим к благородному человеку, который знает цену словам. Ступайте, ступайте: вы сами не понимаете того, что говорите! Я с мальчишками не связываюсь; я не желаю слушать подобной болтовни, подобных бредней...

— Клянусь вам...

— Ступайте, говорю вам! На что мне ваши клятвы? Я в это дело не вмешиваюсь, — я умываю руки! — И он принялся потирать руки, словно в самом деле умывал их. — Научитесь сначала говорить, нельзя же так застигать врасплох благородного человека.

— Но послушайте, послушайте! — тщетно повторял Ренцо.

Однако доктор, продолжая браниться, толкал его обеими руками к выходу. Наконец, прижав его к самой двери, он отпер ее, позвал служанку и сказал ей:

— Немедленно верните этому человеку все, что он принес: ничего мне от него не надо, ничего.

Женщине этой, за все то время, что она служила в доме, ни разу не приходилось выполнять подобного приказа, но оно было высказано с такой решительностью, что она не посмела ослушаться. Взяв несчастных четырех каплунов, она вручила их Ренцо, взглянув на него с пренебрежительным состраданием, словно хотела сказать: «Хорошенькую, видно, выкинул ты штучку». Ренцо не хотел было брать птиц, но доктор оставался непреклонным; и парень, изумленный и раздосадованный более чем когда-либо, вынужден был забрать отвергнутые жертвы и вернуться восвояси, чтобы поведать женщинам про блестящий итог своего паломничества.

А в его отсутствие женщины, с грустью сменив праздничный наряд на обычное будничное платье, снова принялись совещаться. Лючия при этом все рыдала, а Аньезе вздыхала. После того как мать обстоятельно высказалась о значительных результатах, которых можно было ожидать от советов адвоката, Лючия сказала, что нужно всячески искать выхода; что падре Кристофоро — такой человек, который не только подаст совет, но и сделает все возможное, раз речь идет о поддержке людей бедных; что очень хорошо было бы дать ему знать о происшедшем. «Разумеется», — подтвердила Аньезе, — и они вместе принялись обсуждать, как это сделать. Пойти самим в монастырь, находившийся от них в двух милях, — на это у них в такой день не хватало духу, и, конечно, ни один разумный человек не посоветовал бы им поступить так. Но пока они прикидывали и так и этак, у входа послышался легкий стук и тут же вслед за ним тихий, но отчетливый возглас: «Deo gratias!»¹ Лючия, догадываясь, кто бы это мог быть, побежала отворять. В дверь вошел, приветливо кланяясь, послушник-капуцин, монастырский сборщик. Через левое плечо у него был перекинут двойной мешок, который он крепко прижимал к груди обеими руками, перехватив его посередине, где было отверстие.

— А, фра Гальдино! — произнесли обе женщины.

— Господь да пребудет с вами, — ответил капуцин. — А я пришел за орехами.

— Сходи-ка принеси орехи для братии, — сказала Аньезе.

Лючия встала и направилась в другую комнату, но, прежде чем войти в нее, она приостановилась за спиной фра Гальдино, который продолжал стоять в прежней позе, и, приложив палец к губам, выразительно посмотрела на мать нежным, умоляющим и вместе с тем властным взглядом, требовавшим сохранения тайны.

¹ Благословен Господь! (лат.)

Сборщик, поглядывая издали на Аньезе, произнес:

— А как же свадьба? Ведь ей бы надо быть сегодня. Я заметил в деревне какое-то смущение, словно приключилось что-то неожиданное. В чем дело?

— Да вот синьор курато захворал, приходится отложить, — торопливо ответила Аньезе.

Не сделай Лючия ей знака, ответ, пожалуй, был бы иным.

— Ну, а как идет сбор? — продолжала она, чтобы переменить разговор.

— Неважно, любезная донна, неважно. Вот только и всего! — С этими словами он скинул мешок со спины и потряс его обеими руками. — Только и всего. А ведь я в десять домов заходил, — вон какое собрал богатство!

— Да, такие уж пошли скудные годы, фра Гальдино; когда на счету каждый кусок хлеба, уж тут и в остальном не расщедриться.

— А чтобы вернуть хорошие годы, что, по-вашему, нужно, донна? Милостыня нужна! Вы слышали про чудо с орехами, которое случилось тому уж много лет в нашем монастыре в Романье?

— По правде говоря, не слыхала... А ну-ка, расскажите.

— Так вот, видите ли, жил-был в этом монастыре один наш падре, святой человек, а звали его падре Макарио. Вот как-то зимой идет он тропинкой по полю одного нашего благодетеля, тоже хорошего человека, и видит он, стоит этот благодетель около своего большого орехового дерева, а четверо поселян, взмахивая мотыгами, принимают его окапывать, чтобы обнажить корни. «Что вы делаете с этим бедным деревом?» — спросил падре Макарио. «Эх, падре, вот уж столько лет оно не приносит ни единого ореха, я и хочу пустить его на дрова». — «Оставьте его, — сказал падре, — знайте, что в этом году на нем будет орехов больше, чем листьев». Благодетель, хорошо знавший того, кто произнес эти слова, тут же приказал работникам закидать корни землей и, окликнув монаха, который уже пошел дальше своей дорогой, сказал ему: «Падре Макарио, половину сбора я жертвую монастырю». Молва о пророчестве распространилась, и все бегали смотреть на ореховое дерево. И в самом деле, весной на нем появилась уйма цветов, а со временем такая же уйма орехов. Доброму благодетелю нашему не пришлось сбивать орехи, ибо еще до сбора урожая он отошел в вечность принять мзду за свою щедрость. Но чудо от этого стало еще большим, как вы сейчас услышите. У человека этого остался сын совсем иного склада. И вот, когда пришло время урожая, сборщик отправился за получением причитавшейся монастырю доли. Но хозяин прикинулся, что знать ничего не знает и ведать не ведает; он имел дерзость ответить, что никогда не слыхивал, чтобы капуцины выращивали орехи. И знаете, что случилось? Как-то раз (вы

только послушайте!) собрал этот непутевый кое-кого из своих приятелей — того же поля ягоды! — и за пирушкой рассказал им историю про ореховое дерево и при этом издевался над монахами. Событьельники выразили желание пойти поглядеть на эту непомерную грудку орехов. Он повел их в амбар. И что же! Отпирает он дверь и со словами: «Вот смотрите», — идет к углу, где у него была свалена эта огромная куча. Что же там оказалось? Огромный ворох сухих ореховых листьев. Каков пример! Монастырь же не только не потерпел от этого никакого ущерба, но даже преуспел, ибо после такого великого события сбор орехов все рос да рос, так что один благодетель, из сострадания к бедному сборщику, пожертвовал монастырю осла, чтобы легче было доставлять собранные орехи. И масла из них выжимали столько, что всякий бедняк приходил и получал, сколько ему требовалось. Ибо мы подобны морю, которое собирает воды отовсюду и потом снова наделяет ими все реки.

Тут появилась Лючия. В переднике у нее было столько орехов, что она с трудом несла их, напрягая вытянутые руки, которыми крепко держала высоко поднятые углы передника. В то время как фра Гальдино, снова скинув с плеч мешок, опустил его на пол и начал раскручивать, чтобы всыпать в него щедрую милостыню, мать удивленно и строго посмотрела на Лючию, как бы укоряя ее за расточительность; но Лючия отвечала взглядом, словно говорившим: «Погодите, я все объясню потом». Фра Гальдино стал рассыпаться в восхвалениях, пожеланиях, обещаниях, благодарностях и, водворив мешок на место, собрался было уходить. Но Лючия остановила его словами:

— Не сделаете ли вы мне одолжение? Не передадите ли падре Кристофоро, что мне очень нужно спешно поговорить с ним? Не окажет ли он милость нам, бедным, не зайдет ли, да как можно скорее? А то нам самим нельзя пойти в церковь.

— Только и всего? Не пройдет и часу, как я передам падре Кристофоро вашу просьбу.

— Так я на вас полагаюсь!

— Да уж будьте покойны! — С этими словами он удалился, пригибаясь уже гораздо ниже и более довольный, чем когда шел сюда.

На том основании, что бедная девушка с такой доверчивостью давала поручение позвать падре Кристофоро, а сборщик без малейшего удивления и так охотно брал на себя это поручение, пусть никто не подумает, что этот падре Кристофоро был совсем заурядным, обыкновенным монахом. Наоборот, он пользовался большим влиянием и среди своих и во всей округе. Но так уж было заведено у капучинов: ничто не казалось им ни слишком низменным, ни слишком возвышенным. Служить слабым и принимать услуги сильных, вхо-

дить во дворцы и в лачуги все с тем же видом смирения и уверенности в себе, быть в одном и том же доме то предметом забавы, то лицом, без которого не решается ни один важный вопрос, выпрашивать милостыню повсюду и подавать ее всем, кто обращался за нею в монастырь, — все это было делом привычным для капуцина. Идя по улице, он одинаково мог встретиться с каким-нибудь князем, который почтительно лобызал концы его вервия, или с толпой сорванцов, которые, притворившись, будто дерутся между собой, забрасывали ему бороду грязью. Слово «фра» в те времена произносилось то с величайшим уважением, то с горчайшим презрением. И капуцины, пожалуй, больше всякого другого ордена вызывали к себе два совершенно противоположных чувства, и самая судьба их была тоже двойка, ибо, ничего не имея, нося странное одеяние, заметно отличающееся от обычного, откровенно проповедуя смирение, они часто становились предметом и глубокого уважения и презрения, которое подобные вещи могут вызывать со стороны людей иного склада и образа мыслей.

Когда фра Гальдино ушел, Аньезе не удержалась от восклицания:

— Сколько орехов отдала, и в такой-то год!

— Простите меня, мама, — возразила Лючия. — Но ведь подай мы милостыню, как другие, фра Гальдино пришлось бы собирать еще Бог знает сколько времени, покуда наполнится его мешок, и Бог знает, когда бы он вернулся в монастырь; а по дороге он стал бы еще болтать со всеми и, чего доброго, позабыл бы вообще про наше поручение.

— А ведь ты хорошо придумала, да к тому же всякая милостыня всегда воздается, — сказала Аньезе, которая при всех своих недостатках была все же очень доброй женщиной и, как говорится, пошла бы в огонь и в воду за свою единственную дочь, в которой души не чаяла.

Тут вернулся Ренцо и, войдя в комнату со злым и вместе с тем расстроенным видом, бросил каплунов на стол. На этом кончились злоключения бедных тварей за этот день.

— Ну и хороший же совет вы мне дали! — сказал он Аньезе. — Послали к порядочному человеку, который действительно помогает бедным! — И он передал свой разговор с доктором. Пораженная столь печальным исходом, Аньезе собралась было доказывать, что совет все-таки был полезный и что Ренцо, должно быть, не сумел сделать дело как следует, но Лючия прервала этот спор, заявив, что нашла, по-видимому, лучшую поддержку. Ренцо разделил эту надежду, как всегда бывает с людьми, попавшими в бедственное и запутанное положение.

— Но если падре Кристофоро не найдет для нас выхода, — прибавил он, — тогда найду его я, тем или иным способом!

Женщины стали призывать его к спокойствию, терпению и благоразумию.

— Завтра падре Кристофоро наверняка придет, — сказала Лючия, — и вы увидите, что он найдет какое-нибудь средство, такое, какое нам, людям маленьким, даже и в голову не приходит.

— Надеюсь, — сказал Ренцо, — но, во всяком случае, я сумею добиться правды либо сам, либо с помощью других. Есть же, наконец, справедливость на этом свете!

В грустных разговорах и хождениях туда и сюда, описанных нами, прошел весь этот день, и уже стало смеркаться.

— Покойной ночи, — печально сказала Лючия Ренцо, который никак не мог решиться уйти.

— Покойной ночи, — еще печальнее ответил он.

— Какой-нибудь святой поможет нам, — сказала Лючия, — не теряйте благоразумия и смирения.

Мать со своей стороны тоже дала несколько подобных советов, и жених ушел со смятением в душе, все время повторяя заветные слова: «Есть же справедливость на этом свете!» Поистине, подавленный скорбью человек не знает, что ему и сказать.

Глава четвертая

Солнце стояло еще низко над горизонтом, когда падре Кристофоро выходил из своего монастыря в Пескаренико, чтобы подняться к домику, где его ожидали. Пескаренико — небольшая деревушка на левом берегу Адды или, лучше сказать, озера, неподалеку от моста, — горсточка домов, населенных по преимуществу рыбаками, с разбросанными там и сям сетями и неводами, развешанными для просушки. Монастырь (его строения существуют и поныне) расположен был за деревушкой прямо против въезда в нее, на полдороге, ведущей из Лекко в Бергамо. Небо было совершенно ясно. По мере того как солнце вставало над горизонтом, свет его заливал вершины противоположных гор и словно быстро сползал вниз по склонам вплоть до самой долины. Легкий осенний ветерок, срывая с ветвей увядшие листья тутового дерева, усеивал ими землю. Справа и слева в виноградниках, на еще подвязанных виноградных лозах, рдели покрасневшие листья разных оттенков; и свежеспаханная земля резко выделялась коричневым своим цветом на белесоватом, блестящем росой, жнивье. Пейзаж этот радовал глаз, но появление всякой человеческой фигуры омрачало взгляд и наводило на грустные мысли. Время от времени попадались нищие, оборванные и исхудалые, то привычные к этому ремеслу, то протягивавшие руку под давлением царившей в ту пору горькой

нужды. Они молча проходили мимо падре Кристофоро, благоговейно глядя на него, и, хотя не могли рассчитывать ни на какую подачку с его стороны, потому что капуцин никогда не прикасался к деньгам, все же отвечивали ему благодарственный поклон за милостыню, какую они уже получили или только еще шли получить в монастыре. Зрелище крестьян, рассеянных по полям, вызывало еще более щемящую грусть. Одни шли, разбрасывая семена пореже, расчетливо и как бы скрепя сердце, словно рискуя чем-то очень для себя дорогим; другие налегали на заступ как бы с огромным усилием и нехотя переворачивали поднятую глыбу. Щупленькая девочка, придерживая за веревку пасущуюся тощую коровенку, худую, как щепка, заглядывала вперед и быстро наклонялась, чтобы стащить у нее для своей семьи какую-нибудь травку, которую голод научил людей употреблять в пищу. Эти картины с каждым шагом увеличивали печаль монаха, который и без того уже шел с тяжелым предчувствием в душе, готовясь услышать о каком-нибудь несчастье.

Но откуда у него была такая забота о Лючии? И почему, по первому же слову, он пустился в путь с такой поспешностью, словно на зов падре-провинциала? И кто был этот падре Кристофоро? На все эти вопросы необходимо дать ответ.

Падре Кристофоро из *** был ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти годам. Бритая голова его, окаймленная, по капуцинскому обычаю, лишь узким венчиком волос, поднималась время от времени таким движением, в котором неуловимо проскальзывало что-то надменное и беспокойное; но она тут же опускалась вниз во имя смирения. Длинная седая борода, покрывавшая его щеки и подбородок, еще резче оттеняла благородные черты верхней части его лица, которым воздержание, давно уже ставшее для него привычкой, придало серьезность, не лишив их выразительности. Глубоко сидящие глаза смотрели большей частью в землю, но порою они вспыхивали с внезапной живостью, словно пара ретивых коней на поводу у кучера, про которого они по опыту знают, что его не одолеть, и все же время от времени делают скачок в сторону, за что тут же и расплачиваются резким одергиванием удила.

Падре Кристофоро не всегда был таким, да и не всегда был он падре Кристофоро — при крещении ему дали имя Лодовико. Он был сыном купца из *** (звездочки эти поставлены моим анонимом из осторожности), который в последние годы своей жизни оказался обладателем изрядного состояния и, имея единственного сына, отказался от торговли, решив зажить по-благородному.

В этой непривычной для него праздности им стал овладевать стыд за все время, потраченное им на то, чтобы сделать

что-нибудь путное на этом свете. Во власти своей причуды, он всячески стремился заставить всех забыть свое купеческое происхождение; он и сам хотел забыть об этом. Однако лавка, тюки товара, весы, локоть неуклонно вставляли в его памяти, как тень Банко перед Макбетом, даже среди роскошного пира и заискивающих улыбок прихлебателей. Никакими словами не передать стараний, какие прилагались этими несчастными, чтобы избежать малейшего слова, которое могло бы показаться намеком на бывшее положение их амфитриона. В один прекрасный день, например, под конец пиршества, в минуту самого оживленного и непринужденного веселья, когда трудно было бы сказать, кто больше наслаждается, — толпа ли гостей или угощавший ее хозяин, — последний принялся дружески покровительственно поддразнивать одного из сотрапезников, величайшего в мире обжору. А этот, желая попасть в тон шутке, без малейшей тени издевки, наоборот, с чисто ребяческим простодушием ответил ему: «Я, как купец, тут на ухо». Сказал, да и прикусил язык, услышав свои собственные слова; неуверенно взглянул он на нахмурившееся чело хозяина. Обоим хотелось скрыть выражение лица, но это было невозможно. Другие гости стали было придумывать каждый про себя, как бы затушить назревавшую ссору и перевести разговор на иную тему, но, раздумывая, они молчали, и это молчание только подчеркивало произошедшее недоразумение. Все избегали глядеть в глаза друг другу; всякий сознавал, что все заняты мыслью, которую каждому хотелось скрыть. День был окончательно испорчен. А неразумный или, лучше сказать, незадачливый гость перестал получать приглашения. Так отец молодого Лодовико провел последние свои годы в вечной тревоге, постоянно опасаясь стать предметом насмешки и ни разу не придя к мысли, что продавать — несколько не смешнее, чем покупать, и что той профессией, которой он так стыдился теперь, он много лет, как-никак, занимался на глазах у всех, не испытывая никакого стыда. Сына своего он воспитывал по-благородному, сообразно с тогдашними требованиями, и, поскольку это допускалось законами и обычаями, нанял для него учителей, чтобы обучать литературе и верховой езде; и вскоре скончался, оставив сына совсем молодым и вполне обеспеченным.

Лодовико усвоил привычки синьора, а льстецы, среди которых он вырос, приучили его требовать большой к себе почтительности. Но когда он попытался завязать связь с наиболее уважаемыми людьми своего города, то натолкнулся на обращение, весьма отличное от того, к какому привык; и он увидел, что стремление войти в их общество, как ему того хотелось, потребовало бы от него новой школы терпения и покорности, необходимости стоять всегда ниже других и ежеминутно глотать обиды. Такой образ жизни не соответствовал ни

воспитанию, ни характеру Лодовико. Задетый за живое, он стал сторониться синьоров. А потом так и держался в отдалении, но уже с горечью, ибо ему казалось, что они-то в действительности и должны были бы составлять его общество, а для этого им следовало бы быть обходительнее. Эта смесь противоречивых чувств мешала ему непринужденно вращаться в желанном обществе. Однако, стремясь так или иначе иметь дело с людьми знатными, он принялся соперничать с ними в великолепии и роскоши, навлекая на себя этим лишь неприязнь, зависть и насмешки. Нрав его, прямой и вместе с тем буйный, со временем втянул его и в другие, более серьезные столкновения. Он питал искреннее и глубокое отвращение ко всякому притеснению и насилию, и это отвращение обострялось в нем тем сильнее, чем выше стояли лица, совершавшие их изо дня в день, — а ими были как раз те самые люди, с которыми он больше всего был не в ладу. Чтобы разом унять или, наоборот, подогреть в себе эти страсти, он охотно принимал сторону какого-нибудь слабого, обиженного человека, хвастливо брался вывести на чистую воду обидчика, ввязывался в ссору, навлекая на себя другую, так что мало-помалу сделался каким-то защитником всех притесняемых, мстителем за поруганную справедливость. Задача оказалась трудной; и не приходится удивляться, что у бедного Лодовико оказалось немало столкновений и забот. Помимо явной войны с врагами он непрестанно терзался внутренними противоречиями, потому что для успешной развязки какого-либо столкновения (не говоря уже о случаях, когда он терпел поражение) приходилось и ему прибегать к хитрости и насилиям, за которые его потом мучила совесть. Он вынужден был держать при себе изрядное количество забияк, притом, как для собственной безопасности, так и для обеспечения себе наиболее сильной поддержки, приходилось выбирать самых отчаянных, а значит, и самых плутоватых, словом, из любви к справедливости жить с мошенниками. Не раз, обескураженному после какой-нибудь неудачи или обеспокоенному нависшей над ним опасностью, измученному постоянной необходимостью быть настороже, чувствуя отвращение к своему окружению, задумываясь над будущим при виде того, как средства его уходят с каждым днем на дела благотворительности и на рискованные предприятия, случалось ему лелеять мысль постричься в монахи. В те времена это был самый обычный способ вырваться из запутанных обстоятельств. Но эта мечта, которая так, пожалуй, и осталась бы мечтой на всю жизнь, стала твердым решением в связи с одним происшествием, наиболее серьезным из всех, приключавшихся с ним до той поры.

Однажды в сопровождении двух брави шел он по улицам своего города в обществе некоего Кристофоро, который был

когда-то приказчиком в их лавке, а по закрытии ее сделался дворецким. Это был человек лет пятидесяти, смолodu привязанный к Лодовико, которого он знал еще с пеленок. Жалованием и подарками Лодовико не только давал средства к жизни ему самому, но и помогал содержать и растить его многочисленное семейство. Лодовико издали заметил некоего синьора, завязтого и наглого забияку, с которым он за всю свою жизнь не сказал ни слова, но который был его смертельным врагом; впрочем, сам Лодовико от всей души платил ему тем же. Такова уж одна из особенностей этого грешного мира, что в нем люди могут питать взаимную ненависть, не зная друг друга. Сопровождаемый четырьмя брави, этот синьор шел прямо навстречу, гордой походкой, высоко подняв голову; губы его были сжаты в высокомерно-презрительную усмешку. Оба шли вдоль самой стены; но Лодовико — заметьте! — приходился к ней правым боком, а это, согласно обычаю, давало ему право (и куда только не суется право!) не уступать дороги кому бы то ни было, — обстоятельство, которому в ту пору придавали большое значение. А тот, наоборот, считал, что это право принадлежит ему, как благородному, и что Лодовико должен идти посредине дороги, — это тоже в силу другого существовавшего обычая. Ибо в данном случае, как это бывает и во многих других делах, рядом действовали два противоречивых обычая, и оставалось нерешенным, который же из них — добрый. Это и служило удобным поводом, чтобы затевать ссору всякий раз, когда чья-либо упрямая голова сталкивалась с другой такой же. Так вот оба шли навстречу друг другу, прижимаясь к стене, словно две движущиеся фигуры барельефа. Когда они столкнулись лицом к лицу, синьор, смерив Лодовико презрительным и хмурым взглядом, повелительно сказал ему:

— Посторонитесь!

— Посторонитесь сами, — ответил Лодовико. — Правая сторона моя.

— Ну, с вашим братом она всегда будет моей!

— Конечно, если бы наглость вашей братии была законом для нас.

Брави той и другой стороны остановились, каждый стал позади своего патрона; взявшись за шпаги, поглядывая друг на друга исподлобья, они приготовились к бою. Народ, подходивший с обеих сторон, держась на почтительном расстоянии, смотрел на это зрелище. Присутствие зрителей еще больше раззадоривало соперников.

— На средину, подлый холоп, не то я научу тебя, как обращаться с благородными!

— Ложь, я не подлый!

— Ты лжешь, что я лгу. — Подобный ответ был в духе того времени. — И будь ты благородный, как я, — прибавил синьор, — я шпагой и плащом доказал бы тебе, что ты лжец!

— Хороший предлог уклониться от того, чтобы на деле подтвердить свои наглые речи.

— Бросьте этого бродягу в грязь, — сказал синьор, обращаясь к своим.

— Посмотрим, — ответил Лодовико, быстро шагнув назад и хватаясь за шпагу.

— Наглец! — воскликнул тот, выхватывая из ножен свою. — Я ее сломаю, когда она обагрится твоей кровью.

Так бросились они друг на друга; слуги обеих сторон кинулись на защиту своих господ. Бой был неравным как по численности, так и потому еще, что Лодовико больше старался парировать удары и обезоружить противника, чем убить его, а тот любой ценой добивался смерти Лодовико. Ударом кинжала один из бравы ранил Лодовико в левую руку, одна щека его была слегка оцарапана. И главный противник обрушился на него со всей силой, стараясь его прикончить. Тогда Кристофоро, при виде крайней опасности, угрожавшей его покровителю, кинулся с кинжалом в руках на синьора. Передний, обратив всю свою ярость на Кристофоро, пронзил его шпагой. Видя это, Лодовико, словно в иступлении, воткнул свою в живот нападающего, и тот упал замертво, почти одновременно с бедным Кристофоро. Бравы, сообщники синьора, увидев, что дело кончено, бросились бежать; спутники Лодовико, тоже израненные и здорово потрепанные, за отсутствием противника и не желая иметь дела со сбежавшимся отовсюду народом, кинулись в противоположную сторону, — и Лодовико оказался в одиночестве посреди толпы людей, с обоими злополучными товарищами по несчастью, лежавшими у его ног.

— Чем кончилось?

— Одного, что ли?

— Да нет, двоих! Как он ему брюхо-то проткнул!

— Кого убили?

— Да вон того тирана!

— Мать Божья, какие страсти!

— А не лезь!

— Раз — да здорово.

— Пришел конец и ему.

— Ну и удар!

— Дело-то будет серьезное!

— А другой-то, несчастный!

— Жалко даже смотреть!

— Спасите, спасите его!

— Ему тоже досталось! Ишь как его отделали! Кровь во все стороны так и хлещет.

— Удирайте, удирайте скорей, а то схватят!

Эти слова, звучавшие над смутным говором толпы, выражали общий приговор; за советом последовала и помощь.

Происшествие случилось по соседству с монастырем капуцинов, как известно, убежищем, в ту пору недоступным для полицейских и для всего круга лиц и обстоятельств, который именовался тогда правосудием. Раненый убийца почти в бессознательном состоянии был не то отведен, не то перенесен туда толпою; и братия приняла его из рук народа, который препоручал его со словами: «Это хороший человек, он проучил наглого насильника; ему пришлось защищаться, его силком заставили взяться за оружие».

До этого времени Лодовико ни разу не проливал ничьей крови; и хотя убийство в те времена считалось делом настолько заурядным, что все привыкли слушать рассказы о нем, а то и видеть его собственными глазами, однако впечатление, полученное им при виде человека, отдавшего жизнь за него, и другого человека, умершего от его руки, было для него новым и невыразимым, — оно раскрыло в нем незнакомые до той поры чувства. Падение противника, его изменившееся лицо, которое от бешенства и угрозы мгновенно перешло к страданию и величавому спокойствию смерти, — это зрелище разом перевернуло душу убийцы. Когда его притащили в монастырь, он почти не сознавал, где он и что с ним происходит; а когда очнулся, то оказался на больничной койке, в руках брата-хирурга (у капуцинов обычно в каждом монастыре было по хирургу), который накладывал корпию и повязки на обе раны, полученные им в схватке. Монах, имевший специальное назначение напутствовать умирающих и не раз отправлявший свое служение на большой дороге, немедленно был вызван на место битвы. Возвратившись через несколько минут, он вошел в больницу и, подойдя к койке, на которой лежал Лодовико, сказал: «Утешьтесь, по крайней мере, он умер по-христиански и просил меня вымолить у вас прощение для него и передать вам его прощение». Эти слова окончательно привели в себя несчастного Лодовико, пробудили и оживили те чувства, которые уже раньше смутно бродили в его мятущейся душе: скорбь об утрате друга, ужас и раскаяние при воспоминании о том, что он поднял руку на другого, и вместе с тем мучительное сострадание к убитому им человеку.

— А другой? — тревожно спросил он монаха.

— Другой уже испустил дух, когда я пришел.

Тем временем окрестности и подступы к монастырю кишели любопытными; однако с появлением сбиров толпа рассеялась, расположившись на приличном расстоянии от монастырских ворот, так, однако, что никто не мог выйти из них незамеченным. Один из братьев убитого, два двоюродных брата и дядя старик явились, вооруженные с головы до ног, в сопровождении целой свиты бравы, и расположились дозором вокруг монастыря, угрожающе жестикулируя и по-

глядывая на любопытных, которые хотя и не смели сказать им «его оттуда не вернешь», однако это было написано на их лицах.

Как только Лодовико удалось собраться с мыслями, он велел позвать брата-исповедника и попросил его пойти к вдове Кристофоро, попросить от его имени прощения в том, что он стал, хотя и совершенно невольной, все же причиной этого несчастья, и вместе с тем — сказать ей, что он берет на себя заботу об ее семье. Раздумывая дальше о своем положении, он почувствовал, как в нем живет чем когда-либо пробуждается не в первый раз уже приходившая ему в голову мысль уйти в монастырь. Ему казалось, что сам Бог указал ему этот путь и явил знамение своей воли, заставив его попасть в монастырь при таких обстоятельствах. И он принял решение. Он попросил позвать настоятеля и поделился с ним своим желанием.

Ответ был, что необдуманных решений следует остерегаться, однако, если он настаивает, отказа ему не будет. Тогда Лодовико приказал позвать нотариуса, продиктовал дарственную на все, что у него оставалось (а состояние оказалось все же довольно изрядным), в пользу семьи Кристофоро, а именно: определенную долю вдове, служившую ей как бы новым приданым, а остальное — восьмерым детям, оставшимся после Кристофоро.

Решение Лодовико пришлось по душе приютившим его монахам, которые попали из-за него в очень щекотливое положение. Отослать его из монастыря и, таким путем, выдать правосудию, то есть, попросту говоря, врагам на расправу, — такого исхода даже и обсуждать не стали; это значило бы отказаться от всех своих привилегий, уронить монастырь в глазах народа, навлечь на себя порицание капуцинов всего мира за допущение подобного нарушения общего права, пойти против всех церковных властей, считавших себя как бы оплотом этого права. С другой стороны, семья убитого, сама достаточно влиятельная и обладающая связями, задалась целью добиться отмщения и объявила своим врагом всякого, кто попытается воспрепятствовать ей в этом. История умалчивает о том, очень ли родственники скорбели об убитом, равно и о том, была ли пролита по нем хоть одна слеза всей его родней, — история говорит лишь о том, что все они помешались на мысли захватить в свои лапы убийцу живым или мертвым. И вот, облакаясь в одежду капуцина, он тем самым улаживал все. Он, до известной степени, расплачивался, налагая на себя покаяние, и тем самым признавал свою вину, уходил от всякого спора, — вообще становился в положение противника, который слагает оружие. Родственники убитого теперь могли, если им было угодно, считать и бахвалиться, что он пошел в монахи с отчаяния, из страха

перед их гневом. Во всяком случае, довести человека до такого состояния, что он отказывается от своих богатств, принимает постриг, будет ходить босым, спать на соломенном тюфяке, жить подаянием, — все это могло показаться возмездием в глазах даже самого задиристого гордеца.

Настоятель с непринужденным смирением явился к брату убитого и, после бесчисленных изъявлений уважения к знаменитейшему дому и с выражением желания по мере сил и возможности угодить ему во всем, заговорил о раскаянии Лодовико и о его решении, причем деликатно намекнул, что родичи могли бы удовлетвориться всем этим, а затем, в словах очень мягких и еще более осторожных, дал понять, что такой исход, угодно это им или не угодно, является неизбежным. Брат убитого пришел в бешенство, а капуцин, переживая, пока тот выдохнется, время от времени повторял: «Горе ваше так понятно». Хозяин дома намекал, что семья убитого так или иначе сумеет добиться удовлетворения, а капуцин, что бы он про себя ни думал, не возражал. В конце концов тот выдвинул определенное требование: убийца его брата должен немедленно покинуть город. Настоятель, который и сам уже решил сделать это, ответил, что так оно и будет, предоставив собеседнику, если ему угодно, видеть в этом проявление покорности. На этом все и кончилось. Все оказались удовлетворенными: и семья, с честью вышедшая из этого дела; и монастырская братия, отстоявшая человека и свои привилегии, не нажив при этом врага; и блюстители дворянского достоинства, свидетели столь похвального завершения дела; и народ, который радовался за хорошего человека, выпутавшегося из беды, и вместе с тем восхищался решением Лодовико постричься, и, наконец, удовлетворен был больше всех, при всей своей скорби, сам Лодовико, вступавший в новую жизнь, полную покаяния и служения, которая могла если не исправить, то хоть искупить содеянное зло и заглушить невыносимую боль утраты совести. На минуту его огорчило подозрение, что решение его станут объяснять страхом; но он тут же утешился при мысли, что и это несправедливое суждение послужит ему карой и средством искупления. И вот, в тридцать лет, облекся он в рубище, и так как, согласно обычаю, ему приходилось отказаться от своего имени и принять новое, то он выбрал такое, которое постоянно напоминало бы ему то, что он должен был искупить, — он назвался фра Кристофоро.

Как только закончился обряд облачения в монашескую одежду, настоятель повелел ему отбывать искуc в ***, за шестьдесят миль, и отправиться туда на другой же день. Послушник низко поклонился и попросил единственной милости: «Разрешите мне, падре, перед уходом из этого города, где я пролил кровь человеческую, где я оставляю семью, жестоко

мною обиженную, по крайней мере, снять с нее бесчестье, высказать мое сожаление о том, что я не в силах исправить содеянное, попросить прощения у брата убитого и, если Бог благословит мое намерение, снять с души его чувство обиды». Настоятелю показалось, что подобный шаг, уже сам по себе хороший, послужит к дальнейшему примирению семьи убитого с монастырем, — и он тут же отправился к обиженному синьору изложить просьбу фра Кристофоро. Услыхав столь неожиданное предложение, тот вместе с изумлением почувствовал новый прилив негодования, однако не без некоторого благожелательства. Подумав мгновенье, он сказал: «Пускай придет завтра», — и назначил время. Настоятель вернулся, принес послушнику желанное согласие.

Синьор сразу сообразил, что чем торжественнее и шумнее совершится вся эта церемония, тем больше возрастет его престиж в глазах родни и всего общества и получится (если выразиться с современной изысканностью) «яркая страница в истории семьи». Он поспешно оповестил всех родственников, чтобы они завтра в полдень соблаговолили (так говорили в то время) прибыть к нему для получения общего удовлетворения. В полдень во дворце теснились господа всякого пола и возраста: люди разгуливали взад и вперед, мелькали парадные плащи, длинные перья, висящие дурлинданы, плавно колыхались накрахмаленные плюсовые воротники, влачились, путаясь шлейфами, пестрые мантии. В прихожих, во дворе и на улице — целый муравейник слуг, пажей, бравы и любопытных. Фра Кристофоро, увидя весь этот парад, догадался о его причине и слегка смутился было, но тут же сказал себе: «Пусть так, я убил его на людях, в присутствии многочисленных врагов, за мое бесчестье — теперь расплата».

В сопровождении отца-настоятеля, смиренно опустив глаза, прошел он в ворота дома, через весь двор, сквозь толпу, разглядывавшую его с бесцеремонным любопытством, взойдя на лестницу и, пройдя через другую толпу — из синьоров, расступившихся при его проходе, — предстал перед главой рода. Сотни глаз были устремлены на него. Окруженный ближайшими родственниками, хозяин стоял посреди залы. Глаза его были потуплены в землю, но подбородок вздернут вверх, левая рука лежала на эфесе шпаги, а правую он судорожно сжимал на груди воротник своего плаща. Бывает порою в лице и во всей позе человека такая безыскусственная выразительность, такое, можно сказать, отражение его души, что в толпе зрителей создается единогласное суждение об этой душе. Лицо и поза фра Кристофоро ясно говорили присутствующим, что не из свойственного человеку страха сделался он монахом и пошел на теперешнее унижение, — и это положило начало общему примирению с ним. Увидя оскорбленного, он ускорил шаги, стал на колени

у его ног, скрестил на груди руки и, низко опустив коротко остриженную голову, произнес: «Я убийца вашего брата; Господь ведает, как хотелось бы мне вернуть его вам ценою собственной крови; но я могу принести вам лишь бесполезные и запоздалые извинения и умоляю вас принять их Бога ради». Глаза всех уставились на послушника и на лицо, к которому он обращался; все напряженно слушали. Когда фра Кристофоро умолк, по всей зале пронесся шепот сострадания и одобрения. Синьор, стоявший в позе деланного снисхождения и сдерживаемого гнева, пришел в смущение от этих слов и, нагибаясь к коленопреклоненному, сказал изменившимся голосом:

— Встаньте... оскорбление... конечно, дело несомненное... но одевание ваше... да не только это... но и ради вас самих... Встаньте, падре... Брат мой... не стану отрицать этого... был рыцарь... был человек... несколько вспыльчивый... несколько горячий. Однако все совершается по Божьему соизволению. Не будем больше говорить об этом... Но, падре, не подобает вам быть в таком положении, — и, взяв под руки, он поднял его.

Став на ноги, но все еще с опущенной головой, фра Кристофоро отвечал:

— Так я могу, стало быть, надеяться, что вы даруете мне прощенье? А если я получу его от вас, кто же еще сможет отказать мне в нем? О, если бы я мог услышать из уст ваших это слово — прощение!

— Прощение? Вы в нем больше не нуждаетесь. Но все же, раз вы так хотите, то, разумеется, разумеется, я прощаю вас от всего сердца, да и мы все...

— Все, все! — в один голос подхватили присутствующие. Лицо монаха озарилось благодарною радостью, сквозь которую все же просвечивало смирение и глубокое сожаление о том зле, исправить которое не в силах было никакое человеческое отпущение. Сраженный этим зрелищем и охваченный общим волнением, хозяин заключил монаха в объятия, и они братски облобызались.

— Молодчина! Отлично! — раздалось со всех концов залы, все сразу двинулись и окружили монаха.

Тем временем появились слуги, неся обильное угощение. Хозяин приблизился к нашему Кристофоро, который явно собирался уйти, и сказал ему:

— Падре, отведайте хоть немного, явите мне этот знак вашего расположения!

И он принялся угощать его первым. Но тот, отступая и дружески отказываясь от угощения, ответил:

— Все это теперь не для меня; однако я нимало не хочу отвергнуть ваши дары. Я собираюсь в дальний путь, так прикажите подать мне хлеба, и я смогу тогда говорить, что

пользовался вашей милостыней, ел хлеб ваш — знак прощения.

Растроганный хозяин так и велел сделать, и через минуту появился слуга в парадной ливрее, неся на серебряном блюде хлеб, и поднес его монаху; тот взял его и, поблагодарив, положил в суму. После этого он попросил разрешения удалиться; еще раз обнявшись с хозяином дома и со всеми, кто стоял неподалеку и успел на мгновение приблизиться к нему, он с трудом вырвался от них; пришлось ему выдержать целое сражение и в передних, чтобы отделаться от слуг и даже от брави, которые целовали края его одежды, вервие, капюшон; наконец, выбрался он на улицу; огромная толпа народа словно в триумфе понесла его на руках и провожала до городских ворот, через которые он и вышел, начиная свой пеший путь к месту послушничества.

Брат убитого и все родственники, собиравшиеся в этот день отведать горького упоения гордыней, вместо этого оказались преисполненными сладкой радости прощения и благожелательности. Общество, с непривычной для него сердечностью и простодушием, провело еще некоторое время в беседе, к которой никто не был подготовлен, идя на сборище. Вместо обсуждения итогов мстительной расправы и восторгов от сознания выполненного долга предметом разговора служили похвалы послушнику, примирение, кротость. И тот, кто в пятидесятый раз собирался рассказать о том, как отец его граф Муцио в знаменитом столкновении сумел образумить маркиза Станислао, всем известного фанфарона, рассказал теперь о покаянии и изумительном терпении некоего фра Симоне, умершего много лет тому назад. А когда общество разошлось, хозяин, все еще взволнованный, с изумлением вспоминал то, что он слышал и что говорил сам; и при этом цедил сквозь зубы: «Ну и дьявол же этот монах (нам приходится приводить точные его слова), — прямо дьявол! Ведь не встань он с колен еще несколько минут, я, чего доброго, пожалуй, стал бы сам просить у него прощения за то, что он убил моего брата». История наша определенно отмечает, что с этого дня и впредь синьор этот стал менее свирепым и несколько более обходительным.

Падре Кристофоро шел по дороге с чувством утешения, какого ни разу не испытал после того ужасного дня, искуплению которого отныне должна была быть посвящена вся его жизнь. И молчание, предписанное послушникам, он соблюдал незаметно для себя, весь погруженный в размышления о трудах, лишениях и унижениях, которые он готов был претерпеть, лишь бы искупить свой грех. Остановившись в час трапезы у одного благодетеля, он с каким-то особым наслаждением вкусил от хлеба прощения, но приберег кусок и спрятал его в суму, чтобы сохранить как постоянное напоминание.

В наши намерения не входит рассказывать историю его монастырской жизни, скажем только, что, отправляя всегда с большой охотой и огромным усердием все обычно на него налагавшиеся обязанности по части проповеди и утешения умирающих, он никогда не упускал случая выполнить две другие, добровольно принятые им на себя: примирение враждующих и защиту угнетенных. В этой склонности каким-то путем, помимо его воли, проявлялись прежние наклонности Лодовико и едва уловимый пережиток воинственного пыла, который никакое смирение и умерщвление плоти не могло окончательно погасить в нем. Речь его была обычно сдержанной и смиренной, но когда дело шло о поправке справедливости, в нем сразу пробуждался прежний его дух, поддерживаемый и умеряемый тем величавым подъемом, который выработался у него от постоянной привычки произносить проповеди; это придавало его речи особое своеобразие. Вся его осанка, как и наружность, свидетельствовали о долгой борьбе пылкого, вспыльчивого темперамента с упорной волей, обычно бравшей верх, вечно настороженной и всегда направляемой высшими соображениями и побуждениями. Один из собратий и друзей падре Кристофоро, хорошо его знавший, сравнил его однажды с теми чересчур выразительными в исконной своей форме словами, которые в минуту разгоревшейся страсти произносятся иными, даже благовоспитанными людьми, в сокращенном виде, с изменением некоторых букв, что не мешает этим словам даже в таком замаскированном виде сохранять некоторую долю своей первобытной выразительности.

Если бы какая-нибудь безвестная бедняжка, очутившись в прискорбном положении Люции, обратилась за помощью к падре Кристофоро, он и тогда отозвался бы немедленно. А раз дело касалось Люции, то он поспешил тем скорее, что давно знал и ценил ее чистоту, не раз уже подумывал о грозящей ей опасности и приходил в благородное негодование от того гнусного преследования, предметом которого она сделалась. Кроме того, он же все время и советовал ей, как наименьшее зло, ничего никому не говорить, держаться спокойно, и теперь боялся, как бы его совет не имел каких-либо печальных последствий; животворящее милосердие, присущее ему как бы от рождения, осложнялось в данном случае щепетильной тревогой, которая так часто мучит людей добрых.

Однако, пока мы рассказывали о судьбе падре Кристофоро, он уже успел дойти и показаться в дверях; обе женщины, бросив ручки мотовила, которые с жужжанием вертелись у них под руками, поднялись с места и в один голос сказали: «А, падре Кристофоро! Да благословит вас Господь!»

Глава пятая

Падре Кристофоро остановился на пороге и, бросив взгляд на женщин, сразу понял, что предчувствие не обмануло его. Поэтому, слегка откинув голову назад, он спросил тоном, который уже шел навстречу неутешительному ответу:

— Что скажете?

В ответ Лючия залилась слезами. Мать стала извиняться за то, что она, мол, посмела... Но монах подошел ближе и, усевшись на трехногий табурет, прервал извинения, обращаясь к Лючии:

— Успокойтесь, бедное дитя! А вы, — сказал он Аньезе, — расскажите мне, в чем дело.

Пока бедная женщина старалась как можно понятнее рассказать ему о своем горе, монах все время менялся в лице: он то поднимал глаза к небу, то топал ногами. К концу рассказа он закрыл лицо руками и воскликнул:

— Боже милостивый! До каких же пор!.. — Но не закончил фразы и снова, обращаясь к женщинам, сказал: — Бедняжки! Взыскал вас Господь. Бедная Лючия!

— Ведь не бросите же вы нас, падре? — спросила, рыдая, Лючия.

— Бросить вас? — ответил он. — А с каким же лицом стал бы я просить у Бога чего-нибудь для себя, если бы бросил вас? В таком-то положении! Да еще когда сам Господь поручает вас мне! Не падайте духом. Он вам поможет, — он все видит, — он может воспользоваться и таким ничтожным человеком, как я, чтобы посрамить какого-нибудь... Посмотрим, подумаем, что можно сделать.

Сказав это, он оперся левым локтем о колено, склонил чело на ладонь, а правой рукой зажал бороду и подбородок, словно желая собрать воедино все свои душевные силы. Однако самое напряженное размышление привело его лишь к тому, что он яснее осознал, насколько срочно и как запутанно это дело и с какими трудностями и опасностями связан выход из подобного положения. «Пристыдить дона Абондию, заставить его почувствовать, насколько он грешит против своего долга? Но ведь стыд и долг для него ничто, когда он во власти страха. Или припутнуть его? Да и есть ли у меня средство, чтобы заставить его бояться больше, чем боится он выстрела? Осведомить обо всем кардинала-архиепископа и прибегнуть к его авторитету? На это нужно время, — а что же пока? И что потом? Даже если бы бедняжка была обвенчана, разве это могло бы послужить препятствием для такого человека? Кто знает, до чего он способен дойти?.. Бороться с ним? Но как? Эх, — подумал несчастный монах, — если бы я мог подбить на это дело свою братию, здешнюю и миланскую! Но что поделаешь? Дело это не представляет общественного ин-

тереса, все равно я бы остался в одиночестве. Ведь человек этот разыгрывает роль друга нашего монастыря, выдает себя сторонником капуцинов, — и разве его брави частенько не приходили искать у нас убежища? Придется все расхлебывать мне одному; да вдобавок прослынешь беспокойным человеком, кляузником и интриганом, — более того: несвоевременной попыткой я бы мог, чего доброго, еще ухудшить положение этой бедняжки».

Сопоставив все, что было за и против того и другого решения, он пришел к выводу, что лучше всего пойти прямо к дону Родриго, попытаться отговорить его от бесстыдного намерения мольбами, угрозой мук в загробной жизни, а то и в земной, если это возможно. Во всяком случае, этим путем удастся по крайней мере точнее узнать, насколько упорствует он в своей гнусной затее, полнее раскрыть его намерения и уж с этим сообразовываться.

Пока монах был занят размышлениями, в дверях показался Ренцо; по причинам, о которых всякий легко догадается, его все время тянуло к этому дому. Однако, увидев монаха, погруженного в размышления, и женщин, которые подавали знаки не беспокоить его, Ренцо молча остановился на пороге. Подняв голову, чтобы сообщить женщинам свои предположения, монах заметил его и поздоровался с обычной сердечностью, усиленной чувством сострадания.

— Рассказали они вам... падре? — взволнованным голосом спросил Ренцо.

— О да! Потому-то я и здесь.

— Что вы скажете об этом негодяе?

— А что же мне о нем сказать? Ведь он здесь меня не услышит, — какой же будет толк от моих слов? А тебе, милый мой Ренцо, я вот что скажу: предайся Богу, и Бог не оставит тебя.

— Святые слова ваши! — воскликнул юноша. — Вы не из тех, кто всегда считает бедного виноватым. А вот наш синьор курато и этот незадачливый адвокат проигранных дел...

— Не надо копаться в том, что ведет к одному лишь напрасному беспокойству. Я скромный монах, но повторяю тебе то, что сказал этим женщинам: насколько хватит моих сил, я вас не оставляю.

— Да, вы не такой, как друзья-миряне. Болтуны! Уж каких только заверений они мне не делали в хорошие времена! Ну и ну! Они-де готовы кровь свою отдать за меня, станут поддерживать меня хоть против самого дьявола. Объявись у меня какой-нибудь враг, — так дай я только знать об этом, — тут же ему и крышка! А теперь, если бы вы видели, как они все отлынивают... — Тут, подняв глаза на монаха, Ренцо по нахмуренному лицу его догадался, что сказал что-то невпопад. Желая поправить дело, он, однако, запутывался все больше и

больше. — Я хотел сказать... я вовсе не думаю... то есть я хотел сказать...

— Что ты хотел сказать? Ну, что? Ты, значит, принялся портить мне все дело, прежде чем оно начато! Тем лучше для тебя, что ты разуверился вовремя... Ведь ты пошел искать друзей... каких друзей? Которые не могли бы помочь тебе при всем своем желании... И чуть было не потерял того, кто и хочет и может помочь тебе. Разве ты не знаешь, что Господь — друг всех угнетенных, уповающих на него? Разве ты не знаешь, что слабый, показывая когти, ничего не выигрывает? И даже если бы... — Тут он крепко схватил Ренцо за руку. Лицо его, сохраняя свою властность, отразило какое-то величавое сокрушение, он потупил взор, речь его замедлилась, голос звучал глухо, словно из-под земли. — Даже если бы... это — страшное дело! Ренцо, хочешь ли ты положиться на меня? Да что я говорю, — на меня, ничтожного человечешку, грешного службу, — хочешь ли ты положиться на Бога?

— О, конечно, — ответил Ренцо. — Он — Господь истинный.

— Так вот, обещай же, что ты не будешь добиваться встречи с врагом, не будешь никому бросать вызова, а всецело доверишься мне.

— Обещаю.

Лючия глубоко вздохнула, словно у нее гора с плеч свалилась. А Аньезе сказала:

— Молодец, сынок.

— Слушайте, дети мои, — снова начал падре Кристофоро. — Я сегодня же поговорю с этим человеком. Если Господь тронет его сердце и придаст силы моим словам, — хорошо, если же нет, он поможет нам найти какой-нибудь иной путь. А вы тем временем держитесь подальше ото всех, избегайте сплетен, не показывайтесь никому на глаза. Нынче вечером либо завтра утром, никак не позднее, я буду у вас.

Сказав это, он ушел, решительно отклонив всякую благодарность и благословения.

Он направился в монастырь, поспел как раз к шестому часу, чтобы принять участие в пении молитв, пообедал и тотчас же пустился в путь к берлоге зверя, которого хотел попытаться укротить.

Небольшое палаццо дона Родриго одиноко высилось наподобие горной крепости на вершине одного из холмов, тут и там разбросанных по всему побережью. К этому указанию анонимный автор прибавляет, что означенное место (лучше было бы ему прямо написать самое название) лежало выше деревушки наших обрученных, на расстоянии примерно трех миль от нее и в четырех милях от монастыря. У подножья холма, с южной стороны и лицом к озеру, стояла небольшая кучка ветхих домиков, населенных крестьянами дона Родри-

го, — это была своего рода маленькая столица маленького его царства. Достаточно было пройти по ней, чтобы составить себе представление об условиях существования и обычаях этого селения. Бросив взгляд в комнаты нижнего этажа, двери которого иногда стояли открытыми, можно было увидеть развешанные по стенам ружья, пищали, мотыги, грабли, соломенные шляпы, сетки и пороховницы — все вперемешку. Люди, попадавшие навстречу, были грубые, приземистые и хмурые, с огромными чубами, покрытыми сеткой; беззубые старики, казалось, всегда были готовы оскалить десны, попробуй только чуть-чуть подразнить их; мужеподобные женщины с мускулистыми руками, которые, казалось, готовы были прийти на помощь языку, если последнего не хватит; даже в наружности и движениях детей, игравших на улице, сквозило что-то дерзкое, вызывающее.

Фра Кристофоро прошел деревушку, поднялся по извилистой тропинке и очутился на тесной площадке прямо перед небольшим палаццо. Двери были заперты, — знак того, что хозяин обедал и не желал, чтобы его беспокоили. Редкие и небольшие окна, выходившие на улицу, закрытые ветхими, изъеденными временем ставнями, защищены были, однако, толстыми железными решетками, а окна нижнего этажа были на такой высоте, что до них едва ли мог добраться человек, вставший на плечи другого.

Внутри царила полная тишина; прохожий мог бы подумать, что дом этот заброшен, если бы четыре существа, два живых и два мертвых, симметрично расположенных снаружи, не свидетельствовали о присутствии в нем обитателей. Два огромных коршуна, с распростертыми крыльями и повисшими головами, один — бесперый и наполовину источенный непогодой, другой — еще целый и пернатый, были пригвождены к обеим створкам ворот; и два брави, каждый растянувшись на одной из скамеек справа и слева от входа, сторожили его, выжидая, когда их позовут насладиться объедками с господского стола. Монах остановился в позе человека, приготовившегося ждать, но один из брави поднялся и сказал ему: «Идите, идите сюда, падре; у нас капуцинов не заставляют ждать, мы ведь в дружбе с монастырем; я сам, бывало, жил в нем не раз, когда пребывание на воле было мне не очень приятно, и плохо пришлось бы мне, если бы ворота монастыря оказались передо мною закрытыми». Говоря так, он дважды стукнул дверным молотком. В ответ изнутри сразу раздался вой и лай овчарок и шавок, и через несколько мгновений с ворчанием вышел старый слуга; однако, увидя монаха, он отвесил низкий поклон, руками и окриками унял собак, пригласил гостя в тесный дворик и запер за собой дверь. Проводив его затем в небольшую комнату и глядя на него не без некоторого удивленья и почтительности, он сказал:

— Вы не падре ли Кристофоро из Пескаренико?

— Он самый.

— Вы — и здесь?

— Как видите, добрый человек.

— Видно, по хорошему делу, по хорошему, — продолжал старик, бормоча себе под нос и идя дальше, — добро везде можно делать.

Пройдя еще две-три темные комнаты, они подошли ко входу в столовую. Здесь их встретил смешанный стук вилок, ножей, стаканов, тарелок, а поверх всего гул нестройных голосов, силившихся перекричать друг друга. Монах хотел было удалиться и заспорил у самых дверей со слугой, чтобы получить возможность переждать в каком-нибудь уголке, пока кончится обед, — но тут дверь открылась, и некий граф Аттилио, сидевший против входа (это был двоюродный брат хозяина, и мы уже упоминали о нем, не называя по имени), увидя бритую голову и монашескую сутану и поняв скромные намерения смиренного старца, заорал: «Эй, эй! Куда же вы, достопочтенный падре? Пожалуйста, пожалуйста сюда!»

Дон Родриго, хоть и не мог в точности догадаться о причинах этого посещения, однако, по какому-то смутному предчувствию, вероятно, не прочь был уклониться от него. Но так как легкомысленный Аттилио уже столь громогласно пригласил гостя, то и хозяину не приходилось отступать, и он сказал в свою очередь: «Идите, идите сюда, падре». Монах подошел, кланяясь дону Родриго и отвечая жестами обеих рук на приветствия сотрапезников.

Честный человек, стоящий перед злонамеренным, обычно представляется нам (не скажу — всем) с высоко поднятым челом, твердым взглядом, выпяченной грудью, хорошо подвешенным языком. Однако в действительности для подобной позы требуется такое стечение обстоятельств, какое случается довольно редко. А потому не удивляйтесь, что фра Кристофоро, при всей чистоте своей совести и твердой уверенности в правоте защищаемого им дела, испытывая смешанное чувство ужаса и сострадания к дону Родриго, стоял перед последним с каким-то смиренным и почтительным видом: перед тем самым доном Родриго, который сидел за столом, в собственном доме, в собственном царстве, окруженный друзьями, изъявлениями уважения и всякими знаками своего могущества, с таким выражением лица, перед которым на устах у любого замерла бы всякая мольба, не говоря уже об увещевании, наставлении или укорах. По правую его руку сидел упомянутый граф Аттилио, его двоюродный брат. Нужно ли говорить об этом его товарище по распутству и насилию, прибывшем из Милана погостить у него несколько дней. По левую руку и по другую сторону стола сидел с великой почтительностью, однако не без выражения некоторого самодовольства, синьор

подеста, тот самый, которому теоретически надлежало бы вступить за Ренцо Трамальино и подвергнуть дону Родриго взысканию, согласно тому, что было упомянуто выше. Напротив подеста, с видом раболепнейшего почтения, сидел наш доктор Крюкотвор в черном плаще и с носом краснее обычного; а напротив обоих кузенов находились два незначительных безличных персонажа, про которых наша история говорит только то, что они все время ели, кивали головами и, усмехаясь, выражали одобрение всему, что бы ни сказал любой из сотрапезников, если это только не встречало возражений с чьей-либо стороны.

— Подать падре стул! — сказал дон Родриго.

Слуга подставил стул, на который и уселся падре Кристофоро, извиняясь перед хозяином за то, что пришел не вовремя:

— Мне очень хотелось бы, с вашего позволения, поговорить с вами с глазу на глаз по важному делу, — прибавил он, понизив голос, на ухо дону Родриго.

— Хорошо, хорошо, позже поговорим, — ответил тот, — а пока подайте-ка падре вина.

Монах хотел было уклониться. Но дон Родриго, возвысив голос среди вновь поднявшегося шума, заорал:

— Нет, черт возьми, уж от этой обиды вы меня избавьте — никогда этого не будет, чтобы капуцин вышел из моего дома, не попробовав вина, или чтобы наглый заимодавец ушел отсюда, не отдав палок из моей рощи.

Слова эти вызвали всеобщий хохот и на мгновение прервали горячий спор, который шел между сотрапезниками. Слуга, принесший на подносе сосуд с вином и высокий стеклянный стакан в форме бокала, подал его монаху. Последний, не желая перечить столь настойчивому угощению со стороны человека, чью благосклонность было так важно приобрести, тут же наполнил стакан и стал медленно прихлебывать вино.

— Авторитет Тассо не поддерживает вашего утверждения, уважаемый синьор подеста; наоборот, он говорит против вас, — орал во все горло граф Аттилио, — ибо этот ученый, этот великий муж, который знал все правила чести, как свои пять пальцев, заставляет Аргантова посланца, прежде чем бросить вызов рыцарям-христианам, испрашивать на то разрешение у благочестивого герцога Бульонского...

— Но ведь это же преувеличение, — вопил не менее зычным голосом подеста, — просто преувеличение, поэтическое украшение, потому что посланец, согласно международному праву, *jure gentium*, является неприкосновенным по самой своей природе; да незачем и далеко ходить, ведь говорит же пословица: «Посол вины на себе не несет». Пословицы же, синьор граф, — сама мудрость рода человеческого. И так как посланец от своего имени не сказал ничего, а только передал вызов в письменной форме...

— Но когда же вы, наконец, поймете, что посланец этот был просто наглый осел, который не знал самых основных...

— С вашего позволения, уважаемые синьоры, — вмешался дон Родриго, которому не хотелось, чтобы спор заходил слишком далеко, — передадим спор на разрешение падре Кристофоро, и пусть будет, как он скажет.

— Хорошо, очень хорошо, — сказал граф Аттилио, которому показалось очень забавным передать вопрос о рыцарской чести на разрешение капуцину, между тем как подеста, горячо принимавший к сердцу этот спор, с трудом утихомирился, а выражение его лица говорило: «Какое же ребячество!»

— Однако же, насколько я понял дело, — сказал монах, — в этих вещах я мало смыслю.

— Это обычные ваши монашеские отговорки, из скромности, — сказал дон Родриго. — Чего там! Мы же отлично знаем, что вы родились на свет не с капюшоном на голове и знавали этот самый свет. Так вот: вопрос такой...

— Послушайте, дело вот в чем, — начал было кричать граф Аттилио.

— Дайте сказать мне, кузен, как лицу нейтральному, — перебил его дон Родриго. — История такова: испанский кавалер шлет вызов миланскому кавалеру. Податель, не застав вызываемого дома, вручает вызов брату кавалера; тот читает его и в ответ избивает подателя палкой. Спрашивается...

— Так и следовало, — заорал граф Аттилио. — Это было подлинное вдохновение!

— ...нечистой силы, — добавил подеста. — Избить посла! Священное лицо! Я думаю, и вы, падре, согласитесь с тем, что это не рыцарский поступок.

— Нет, синьор, именно рыцарский! — кричал граф. — И позвольте сказать это мне, знающему толк в том, что подобает рыцарю. Если бы кулаками, тогда другое дело, а палка ничьих рук не марает. Одного лишь я не понимаю: чего вы так волнуетесь из-за спины какого-то оборванца?

— Да кто вам говорит о спине, синьор граф? Вы мне приписываете глупости, какие никогда мне и в голову не приходили. Я говорил о действиях данного лица, а не о спине. Я имел в виду главным образом международное право. Скажите-ка мне, пожалуйста, разве фециалы, которых древние римляне посылали с объявлением войны другим народам, испрашивали разрешение, прежде чем изложить свое поручение? И найдите-ка мне писателя, у которого упоминалось бы о том, что фециала когда-либо подвергли избиванию палками.

— Какое нам дело до официальных лиц древних римлян? Это люди, которые поступали попросту и в этих вопросах были отсталыми, — да, совершенно отсталыми! Согласно же правилам современного рыцарства, которое является истинным, я заявляю и настаиваю, что посланец, осмелившийся

вручить рыцарю вызов, не испросив на то его позволения, является наглеством, то есть прикосновеннейшим из прикосновенных, и его следует бить да бить, пока сил хватит!

— Да вы мне ответьте на следующий силлогизм...

— Не желаю, не желаю и еще раз не желаю!

— Да вы только послушайте, послушайте! Побить безоружного — поступок вероломный; atqui посланец, de quo был безоружен; ergo...

— Потихе, потихе, синьор подеста!

— Да что потихе?

— Потихе, говорю я вам: что вы мне только что сказали? Вероломный поступок — это поразить кого-нибудь шпагой сзади или выстрелить в спину, да и то могут быть такие случаи... Впрочем, не станем удаляться от предмета нашего спора. Я готов согласиться, что, вообще говоря, это можно назвать вероломным поступком; но ударить раза три-четыре палкой проходимца! Что ж, по-вашему, надо сказать ему: «Берегись, дружок, я тебя отколочу» — так же, как вы сказали бы благородному человеку: «Защищайтесь»? А вы, достопочтенный синьор доктор, вместо того чтобы одобрительно улыбаться по моему адресу и давать понять, что разделяете мое мнение, почему вы не поддерживаете моих доводов своим языком, — благо он у вас хорошо подвешен, — чтобы помочь мне убедить этого синьора?

— Да я... — не без смущения отвечал доктор, — я наслаждаюсь этим ученым диспутом и благодарю счастливый случай, который дал повод к столь изящному поединку умов. Да и не мое дело выносить решение: ваша милость уже назначили судью... вот, в лице падре...

— Верно, — сказал дон Родриго, — но как же вы хотите, чтобы судья говорил, когда спорщики не желают замолчать?

— Умолкаю, — сказал граф Аттилио.

Подеста сжал губы и поднял руку, как бы в знак повиновения.

— Слава тебе, Господи! А теперь слово за вами, падре, — сказал дон Родриго с полунасмешливой серьезностью.

— Ведь я уже извинялся, я же говорил, что ничего не смыслю по этой части, — отвечал фра Кристофоро, отдавая стакан слуге.

— Извинения неуместны, — закричали оба кузена, — мы требуем вашего решения.

— Коли так, — продолжал монах, — по моему крайнему разумению, хотелось бы, чтобы вовсе не было ни вызовов, ни посланцев, ни палочных ударов.

Сотрапезники изумленно переглянулись.

— Это уж слишком, — сказал граф Аттилио. — Простите меня, падре, но это слишком. Сразу видно, что вы не знаете света.

— Он-то не знает? — отозвался дон Родриго. — Позвольте мне сказать вам: знает, милый мой, и не хуже вас. Не так ли, падре? Скажите-ка, скажите нам, разве вы в свое время не куролесили?

Вместо ответа на столь любезный вопрос монах обратился к самому себе: «Это относится уже лично к тебе; но помни, брат, что ты здесь не ради себя самого, и все, что касается тебя одного, в счет не идет».

— Пусть так, — сказал граф Аггилио. — Однако, падре... а как зовут падре?

— Падре Кристофоро, — ответило сразу несколько голосов.

— Но, падре Кристофоро, достопочтеннейший мой покровитель, такими правилами вы, пожалуй, перевернете вверх ногами весь мир. Без вызовов! Без палок! Прощай всякая честь, — проходимцам полная безнаказанность! К счастью, это невозможно.

— Смелее, доктор! — выпалил дон Родриго, которому все больше хотелось вывести из спора двух его зачинщиков. — Смелее! Вы ведь стоите на том, чтобы всех признавать правыми. Посмотрим, как вы ухитритесь в данном случае признать правым падре Кристофоро.

— По правде говоря, — отвечал доктор, размахивая вилкой и обращаясь к монаху, — по правде говоря, я никак не могу понять, как это падре Кристофоро, будучи одновременно и истинным монахом и светским человеком, не подумал о том, что подобный взгляд, сам по себе верный, похвальный и вполне уместный для амвона, — да будет мне позволено сказать, — не имеет никакого значения в споре о вопросах чести. Но падре лучше меня знает, что все хорошо на своем месте, и я думаю, что на сей раз, прибегнув к шутке, он просто хотел отделаться от затруднительной необходимости высказать свое мнение. Что можно было отвечать на доводы, подкрепленные мудростью столь старинной и все же вечно новой? Ничего. Так падре наш и поступил.

А дон Родриго, чтобы покончить с этим вопросом, поднял другой:

— Да, кстати, — сказал он, — я слышал, что в Милане ходят слухи о соглашении.

Читатель знает, что в тот год шла борьба из-за наследования герцогства Мантуи, во владение которым, по смерти Винченцо Гонзага, не оставившего законного потомства, вступил герцог Неверский, ближайший его родственник. Людовик XIII, или, вернее сказать, кардинал Ришелье, поддерживал этого государя, натурализованного француза, к которому он благоволил, а Филипп IV, или, вернее сказать, граф Оливарес (его обычно звали граф-герцог), по тем же соображениям не желал видеть его властелином Мантуи и объявил ему войну.

А так как к тому же герцогство это являлось имперским леном, то обе стороны пускали в ход всевозможные интриги и угрозы, первая — чтобы добиться от императора Фердинанда II согласия на инвеституру нового герцога, а вторая — чтобы добиться отказа от нее и даже поддержки для изгнания герцога Неверского из государства.

— Я склонен думать, — сказал граф Аттилио, — что дела эти могут уладиться. По некоторым верным признакам...

— Не верьте, синьор граф, не верьте, — прервал подеста. — Я здесь, в этой глуши, имею возможность знать все обстоятельства, потому что синьор кастеллан, испанец, который по доброте своей благоволит ко мне и, будучи сыном одного любимца графа-герцога, отлично осведомлен обо всем...

— А я говорю вам, что мне ежедневно приходится беседовать в Милане с целым рядом лиц, и я знаю из надежных источников, что папа, весьма заинтересованный в деле мира, выступил с предложениями...

— Так и должно быть, таков уж порядок; его святейшество выполняет свой долг; папа всегда должен стараться, чтобы христианские государи жили в мире; но у графа-герцога — своя политика, и...

— И, и... и откуда вам знать, синьор мой, что в данный момент думает император? Или вы полагаете, что на свете ничего уж и нет, кроме вашей Мантуи? Таких дел, о которых приходится думать, очень много, синьор мой! Знаете ли вы, например, до какой степени император может в настоящее время полагаться на этого своего князя Вальдистано, или Валлистаи, что ли, или как там его зовут, и...

— Настоящее его имя, — еще раз вмешался подеста, — на немецком языке Вальенштейно, я сам слышал, так не раз называл его наш синьор кастеллан, испанец. Но, однако, будьте уверены, что...

— Вы хотите меня учить? — прервал его граф, но дон Родриго подмигнул ему, давая понять, чтобы он, ради него, Родриго, перестал перечить.

Граф замолчал, а подеста, подобно снятому с мели кораблю, дал ход своему красноречию и помчался на всех парусах.

— Вальенштейно мало меня беспокоит, потому что граф-герцог видит всё и вся, и если Вальенштейно вздумает дурить, он сумеет его направить на путь истинный, — не добром, так силой. Он, повторяю, все видит, и руки у него длинные. И если уж он, как настоящий политик, — а таков он и есть! — задался целью (и правильно!) не дать синьору герцогу Неверскому пустить корни в Мантуе, то, значит, этому и не бывать; и синьор кардинал ди Ричилью только зря воду шпагой колет. Мне просто смешно, как этот милейший синьор кардинал собирается померяться силами с самим графом-герцогом, с самим Оливаресом! Вот уж, поистине, хотелось бы мне вос-

креснуть лет через двести, чтобы послушать, что скажет потомство об этом нелепом притязании. Тут одной зависти мало, — тут голова нужна, а таких голов, как голова графа-герцога, во всем мире только одна и есть. Граф-герцог, синьоры мои... — продолжал подеста, словно несясь на крыльях попутного ветра и сам несколько дивясь тому, что нигде не встречает ни малейшего подводного камня, — граф-герцог — это старая лиса (да будет мне дозволено при всем почтении так выразиться!), которая кого угодно собьет со следа, и если он метит вправо, можно быть уверенным, что удар придется влево. Отсюда и выходит: никто и никогда не мог похвалиться, что знает его намерения, и даже те, кому предстоит приводить их в исполнение, кто составляет депеши, ничего в них не понимают. Я могу говорить с некоторым знанием дела, ибо добрейший синьор кастеллан удостаивает меня своей беседой, я пользуюсь некоторым его доверием... Граф-герцог же, наоборот, подробно знает обо всем, что варится в котлах других дворов. И как только кто-нибудь из этих великих политиков (а надо сознаться, есть среди них и очень ловкие) задумает какой-нибудь ход, граф-герцог, глядишь, уже разгадал его при помощи своего ума и тайных связей, которые у него повсюду. А этот бедняга кардинал Ричилью пробует тут, нюхает там, потеет, из сил выбивается. И что же? Только удастся ему подвести подкоп, а уж у графа-герцога готов встречный...

Одному небу известно, когда подеста собрался бы, наконец, причалить к берегу, если бы дон Родриго, подстрекаемый к тому же гримасами своего кузена, не догадался, словно по внезапному вдохновению, обратиться к слуге с приказанием принести особую бутылочку.

— Синьор подеста и почтенные мои синьоры, — прибавил он, — предлагаю здравицу за графа-герцога, а вы потом скажете, достойно ли такой особы мое вино.

Подеста ответил поклоном, выражавшим чувство сугубой благодарности, ибо все, что делалось или говорилось в честь графа-герцога, он принимал отчасти на свой счет.

— Да живет тысячу лет дон Гаспаро Гусман, граф Оливарес, герцог Сан-Лукар, великий привато короля дона Филиппо Великого, нашего государя! — воскликнул он, поднимая стакан.

Словом «привато», если кто этого не знает, в ту пору было принято обозначать государева любимца.

— Да живет тысячу лет! — подхватили все.

— Налейте падре, — сказал дон Родриго.

— Простите, — ответил монах, — я уж и без того совершил недозволенное и не хотел бы...

— Как?! — сказал дон Родриго. — Дело идет о здравице в честь графа-герцога. Неужели вы хотите, чтобы вас сочли стонником наваррцев?

Так тогда в насмешку называли французов — по наваррским государям, которые в лице Генриха IV начали царствовать во Франции.

В ответ на такой вызов пришлось выпить. У всех сотрапезников вырвались восклицания и похвалы вину, за исключением доктора, который, подняв голову, уставился глазами в одну точку и многозначительно сжал губы, выражая этим гораздо больше, чем мог бы сказать словами.

— А что скажете вы, доктор? — спросил дон Родриго.

Вытащив из стакана свой нос, который алел и блестел сильнее, чем стакан, доктор отвечал, торжественно отчеканивая каждый слог:

— Я говорю, объявляю и устанавливаю, что вино это — Оливарес среди вин: *censui, et in eam ivi sententiam*¹, что подобного напитка не найти ни в одном из двадцати двух царств нашего повелителя короля, да хранит его Бог; и определяю, объявляю, что обеды светлейшего синьора дона Родриго оставляют далеко позади пиры Гелиогабала и что голодуха навеки удалена и изгнана из этого дворца, где восседает и царит великолепие.

— Хорошо сказано! Правильно определено! — в один голос закричали сотрапезники, но слово «голодуха», которое случайно бросил доктор, сразу направило мысль всех на этот печальный предмет, и все заговорили о голоде. Здесь все были согласны, по крайней мере в основном, однако шуму было, пожалуй, больше, чем если бы налицо оказалось разногласие. Все говорили разом.

— Голода нет, — говорил один, — виноваты скупщики...

— И булочки, — говорил другой, — они прячут, прячут зерно. Вешать их!

— Вот именно — вешать их, без всякого снисхождения.

— Суд бы им устроить хороший, — кричал подеста.

— Какой там суд! — еще громче кричал граф Аттилио. — Расправа короткая, — забрать человек трех-четырех, а то и пятерых-шестерых из тех, кого общая молва считает самыми богатыми и самыми свирепыми, и повесить их.

— Нужны примеры, примеры! Без примера ничего не делаешь. Вешать их, вешать! И увидите, зерно посыплется со всех сторон.

Кому случалось, проходя ярмаркой, наслаждаться той гармонией, какую производит оркестр уличных музыкантов, когда в перерыве между двумя пьесами каждый настраивает свой инструмент, заставляя его звучать как можно громче, чтобы самому лучше расслышать его среди шума других, — тот может составить себе понятие о созвучии этих, с позволения сказать, речей. Тем временем все подливали себе да

¹ Я попробовал и пришел к тому мнению (лат.).

подливали знаменитое вино, и похвалы ему перемешивались, как того и следовало ожидать, с суждениями доморощенных законников, так что громче и чаще всего слышались слова: *амброзия и вешать их*.

Дон Родриго тем временем поглядывал на единственного человека, хранившего молчание; держался он все время спокойно, без малейших признаков нетерпения или спешки, по-видимому, нисколько не стремясь напомнить о том, что ведь он дожидается; впрочем, видно было, что он не желает уйти невыслушанным. Дон Родриго охотно избавился бы от него, уклонившись от всякого разговора; но отослать капуцина, не дав ему аудиенции, шло вразрез с его правилами. И так как избегнуть этой неприятности не представлялось возможным, он решил пойти ей навстречу и поскорей от нее избавиться. Дон Родриго встал из-за стола, а с ним поднялась и вся подвыпившая компания, продолжавшая галдеть. Извинившись перед гостями, он принял серьезный вид и, подойдя к монаху, поднявшемуся с остальными, со словами: «Я к вашим услугам», — повел гостя в другую комнату.

Глава шестая

— Чем могу служить? — сказал дон Родриго, остановившись посередине комнаты.

Так прозвучали его слова, но интонация, с которой они были произнесены, ясно говорила: «Помни, кто перед тобой, взвешивай свои слова, и — покороче». Не было более верного и легкого средства, чтобы придать духу нашему фра Кристофоро, как заговорить с ним вызывающим тоном. Он стоял было в нерешительности, подыскивая слова, и на четках, висевших у пояса, отсчитывал пальцами одну молитву за другой, словно надеялся в одной из них найти, с чего бы ему начать, — но при таком обращении дона Родриго он сразу почувствовал, что на языке у него появилось слов даже больше, чем следовало. Однако, подумав, насколько важно не испортить своего дела или, что еще важнее, чужого дела, он исправил и смягчил те фразы, которые пришли ему на ум, и с благоразумным смирением произнес:

— Я пришел просить вас о милости и предложить вам восстановить попорченную справедливость. Какие-то злонамеренные люди злоупотребили именем вашей светлости, чтобы застрашать скромного курато, помешать ему выполнить свой долг и тем обидеть двух безвинных людей. Единым словом вы можете, пристыдив их, восстановить нарушенную справедливость и поддержать тех, над кем совершено такое жестокое насилие. Вы можете сделать это. А раз можете... то, разумеется, ваша совесть, честь...

— О совести вы мне будете говорить, когда я приду к вам исповедоваться. А что касается моей чести, то извольте знать, что ее единственным хранителем являюсь я, и только я, поэтому я считаю наглцом и оскорбителем моей чести всякого, кто заявит о своем дерзком желании разделить со мной эту заботу.

Поняв, что синьор стремится истолковать его слова в дурную сторону, стараясь превратить беседу в ссору и помешать ему перейти к существу дела, падре Кристофоро решил проглотить все, что бы его собеседнику ни вздумалось сказать, и он тут же смиренно ответил:

— Если я сказал что-либо вам неуютное, то это вышло неумышленно. Уж вы меня поправьте, побраните, если я не умею говорить, как полагается; но все-таки соблаговолите выслушать. Ради самого неба, ради Господа, перед которым всем нам суждено предстать... — с этими словами он взял небольшой деревянный череп, прикрепленный к четкам, и поднес его к глазам своего сурового слушателя, — не упорствуйте, не откажите в справедливости, которую так легко и необходимо оказать этим бедным людям. Подумайте, ведь очи Господни всегда устремлены на них, и их вопли, их стечения слышны там, наверху. Невинность — большая сила...

— Будет, падре! — резко прервал его дон Родриго. — Уважение мое к вашему одеянию велико. И только одно может заставить меня позабыть о нем: когда я вижу это одеяние на человеке, который дерзает явиться ко мне в дом в роли соглядастая.

Слова эти вызвали краску на лице монаха. С видом человека, проглотившего очень горькую пилюлю, он продолжал:

— Вы ведь и сами не верите, чтобы это название подходило ко мне. В душе вы сознаете, что мое поведение не является ни низким, ни достойным презрения. Послушайте меня, синьор дон Родриго; да не допустят небеса, чтобы настал день, когда вы станете раскаиваться в том, что не выслушали меня. Не ставьте вы себе в заслугу... да и что за заслуга, синьор дон Родриго? Что за заслуга это пред лицом людей! А пред лицом Господа? Здесь — многое в ваших силах, но...

— Знаете что, — сказал дон Родриго, прерывая его с раздражением и в то же время не без некоторого испуга, — когда мне придет охота послушать проповедь, я не хуже других найду дорогу в церковь. А у себя дома, — благодарю покорно! — И тоном принужденной шутки он продолжал с усмешкой: — Вы меня расцениваете выше моего звания. Домашний проповедник! Это бывает только у государей.

— Бог, требующий у государей ответа на то слово, которое он дает им услышать в их собственных дворцах, Бог, ко-

торый ныне проявляет к вам милосердие, посылая своего служителя — пусть недостойного и ничтожного, но все же своего служителя — просить за невинную...

— В конце концов, падре, — сказал дон Родриго, делая вид, что он собирается удалиться, — я не знаю, что вы хотите сказать; я только понял одно, что тут замешана какая-то девушка, близкая вашему сердцу. Ступайте изливаться кому угодно, а порядочного человека от подобной докуки, пожалуйста, увольте.

Дон Родриго направился было к выходу, но падре Кристофоро преградил ему путь, правда, очень почтительно, и, подняв руки, обратился к нему опять:

— Да, она близка моему сердцу, но не больше, чем вы; здесь две души, и обе мне дорожке моей собственной крови. Дон Родриго! Единственное, что я могу сделать для вас, — молить о вас Бога, и это я сделаю от всей души. Не отказывайте мне, не держите в тревоге и страхе бедную невинную девушку. Единое слово ваше может все исправить.

— Ну что ж, — сказал дон Родриго, — раз вы думаете, что в моих силах многое сделать для этой особы, раз уж она так близка вашему сердцу...

— Ну так что же? — тревожно подхватил падре Кристофоро, ибо весь тон и выражение лица дона Родриго не позволяли ему предаться надежде, которую, казалось бы, могли внушить эти слова.

— А вот что: посоветуйте ей прийти и отдаться под мое покровительство. Она ни в чем не будет знать недостатка, и никто не посмеет ее беспокоить, не будь я рыцарем!

В ответ на подобное предложение негодование монаха, до сих пор с трудом сдерживаемое, вырвалось наружу. Все его соображения о благоразумии и терпении развеялись как дым: в нем одновременно заговорило два человека — прежний и новый, а в таких случаях фра Кристофоро, поистине, стоил двоих.

— Ваше покровительство! — воскликнул монах, отступая на два шага. Горделиво опираясь на правую ногу и подбоченившись правой рукой, он поднял левую и, вытянув указательный палец в сторону дона Родриго, вперил в него свой разгневанный взор. — Ваше покровительство! Хорошо, что вы так заговорили, что вы сделали мне подобное предложение. Вы переполнили чашу, и я больше не боюсь вас.

— Как... что вы сказали, падре?

— Я говорю так, как подобает говорить с человеком, которого Бог оставил и который уже не может утратить. Ваше покровительство! Я хорошо знал, что эта невинная девушка — под Божьим покровительством; но вы, вы дали мне почувствовать это с такой уверенностью, что мне нечего больше церемониться, говоря с вами о ней. Я имею в виду Лючию, —

вы видите, что я произношу это имя с поднятой головой, не опуская глаз.

— Как! У меня в доме?

— Я чувствую сострадание к этому дому: проклятие нависло над ним. Вы увидите, отпрянет ли правосудие Божие перед какими-то каменными стенами, отступит ли оно перед несколькими наемными убийцами. Вы думали, что Бог создал человека по образу и подобию своему, чтобы доставить вам удовольствие мучить его. Вы думали, что он не сумеет защитить его. Вы презрели Божье предостережение! Вы осудили себя. Фараон ожесточился сердцем подобно вам, — и Господь сокрушил его. Вы не страшны больше Лючии, это говорю вам я, я — нищий монах. А что касается вас, то выслушайте меня... Настанет день...

До этого момента дон Родриго пребывал между бешенством и удивлением; изумленный, он не находил слов; но когда он увидел, что начинаются пророчества, к бешенству его присоединилось смутное и таинственное чувство ужаса.

Быстрым движением он схватил грозившую ему руку и, возвысив голос, желая прервать зловещие пророчества, закричал:

— Убирайся вон, дерзкий мужлан, бездельник в сутане!

Эти слова, столь выразительные, мигом успокоили падре Кристофоро. Жестокое обращение и ругань уже настолько крепко связались в его представлении с необходимостью страдать и молчать, что, выслушав эту «любезность», он сразу утратил свой гнев и пыл и твердо решил спокойно выслушать все, что дону Родриго угодно будет прибавить. А потому, мягко вызволив свою руку из когтей благородного дворянина, он опустил голову и остался недвижим, подобно тому как в сильную грозу колеблемое ветром дерево начинает расправлять свои ветви, как только стихнет ветер, и покорно принимает ниспосланный на него небом град.

— Мужик ты неотесанный! — продолжал дон Родриго. — Ты судишь по себе! Благодарю свою сутану, прикрывающую негодные твои плечи, только она тебя и спасает, не то я погладил бы тебя, как полагается гладить тебе подобных, чтобы научить разговаривать. На этот раз убирайся-ка подобру-поздорову, а там посмотрим.

С этими словами он повелительным жестом, исполненным презрения, указал на дверь напротив той, через которую они вошли; падре Кристофоро склонил голову и вышел, оставив дона Родриго в неистовстве шагать, измеряя поле сражения.

Когда монах закрыл за собой дверь, он увидел в том месте, где очутился, какого-то человека, потихоньку удалявшегося, скользившего вдоль самой стены, словно стараясь, чтобы его не заметили из комнаты, где происходил разговор; монах

узнал в нем старого слугу, впустившего его в ворота. Он служил в этом доме, пожалуй, уже лет сорок, поступив еще задолго до рождения дона Родриго в услужение к его отцу, который был человеком совсем иного склада. По смерти родителя новый хозяин разогнал всю прислугу и набрал новую. Однако оставил этого слугу как ввиду его престарелого возраста, так еще и потому, что тот хотя и придерживался совершенно других правил и обычаев, но испунал этот недостаток двумя качествами: высоким мнением о достоинствах дома и большим знанием этикета, причем лучше любого другого знал как исконные его традиции, так и мельчайшие подробности. В глаза своему господину бедный старик никогда не посмел бы заикнуться, а тем более высказать открыто свое недовольство тем, что приходилось ему видеть каждый день; в присутствии других слуг он едва позволял себе процедить сквозь зубы отдельное неодобрительное восклицание, а те потешались над ним и порой доставляли себе развлечение, стараясь задеть в старике эту струну, чтобы заставить его сказать лишнее и послушать, как он станет прославлять прежние порядки этого дома. Его брюзжание всегда доходило до хозяйских ушей, неизменно сопровождаясь рассказом о том хохоте, каким оно было встречено, а поэтому и для самого Родриго служило лишь поводом для смеха, не вызывая, однако, ни малейшего гнева. Зато в дни приема гостей старик становился важной и значительной персоной.

Падре Кристофоро мельком взглянул на него, поклонился и продолжал идти своей дорогой; но старик с таинственным видом подошел к нему, приложил палец к губам и подал знак, приглашая его зайти в какой-то темный закоулок. Когда они очутились там, он сказал вполголоса:

— Падре, я все слышал, и мне нужно поговорить с вами.

— Говорите скорее, добрый человек.

— Только не здесь. Избави Бог, увидит хозяин... А я много чего знаю и постараюсь завтра прийти в монастырь.

— А разве есть какие-нибудь планы?

— Да, что-то тут наверняка затевается, я уже заметил. Но теперь я буду настороже и, надеюсь, раскрою все. Предоставьте это мне. Да, мне приходится видеть и слышать такие вещи... страшные вещи! В хорошем же доме я живу! Но спасение души мне дороже всего.

— Да благословит вас Господь! — С этими словами монах возложил руку на голову слуги, который, хоть и был намного старше, стоял перед ним, склонившись с сыновней почтительностью. — Господь воздаст вам, — продолжал монах, — не забудьте же прийти завтра.

— Постараюсь, — ответил слуга, — вы же ступайте скорее и... ради самого неба, не выдавайте меня! — С этими словами он, осторожно оглядываясь по сторонам, удалился через дру-

гую дверь в небольшую комнату, выходящую во дворик; убедившись, что никого нет, он вызвал во двор монаха, лицо которого красноречивее всяких словесных заверений давало ответ на последние слова слуги. Старик пальцем указал на выход, и монах ушел, не сказав больше ни слова.

Человек этот стоял и подслушивал у дверей своего хозяина: хорошо ли он поступил? И хорошо ли поступил падре Кристофоро, похвалив его за это? Согласно общепринятым и неоспоримым правилам — это весьма дурной поступок; но разве данный случай нельзя рассматривать как исключение? И ведь бывают же исключения из общепринятых и неоспоримых правил? Вопросы важные, но пусть читатель, если ему охота, разрешит их сам. Мы не беремся судить: мы удовлетворяемся простой передачей фактов.

Выйдя на улицу и повернувшись спиной к этому логову, фра Кристофоро облегченно вздохнул и быстро стал спускаться вниз; лицо его пылало, — и каждому нетрудно представить себе, что он был взбудоражен и выбит из колеи как тем, что он слышал, так и тем, что наговорил сам. Но столь неожиданное предложение старика явилось для него сильнейшим подкреплением: казалось, само небо дало ему видимый знак своего покровительства. «Вот нить, — думал он, — нить, которую провидение дает мне в руки. И в этом же самом доме! Меж тем как мне и во сне не снилось обрести ее здесь!» Так размышляя, он поглядел на запад, увидел заходящее солнце, которое вот-вот готово было коснуться вершины горы, и понял, что день клонится к концу. Тогда он, хоть и чувствовал себя утомленным и разбитым от всех происшествий этого дня, все же ускорил шаг, чтобы успеть доставить какое ни на есть известие своим опекаемым и попасть в монастырь до наступления ночи, — таково было одно из самых существенных и наиболее строго соблюдаемых правил капуцинского устава.

Тем временем в домике Люции возникли и подверглись обсуждению планы, о которых необходимо осведомить читателя. После ухода монаха трое оставшихся пребывали некоторое время в молчании. Люция грустно готовила обед; Ренцо ежеминутно собирался уйти, чтобы не видеть ее такой опечаленной, и все-таки медлил. Внимание Аньезе, казалось, было целиком поглощено мотовилом, которое она заставляла вертеться, на самом же деле она обдумывала свой план, и когда последний, по ее мнению, созрел, прервала молчание такими словами:

— Послушайте, детки! Если у вас хватит смелости и осторожности, если вы доверитесь вашей матери (слово «ваша» заставило сердце Люции забиться сильнее), я берусь вызволить вас из этих затруднений, пожалуй, лучше и быстрее падре Кристофоро, хоть он и важная особа.

Люция замерла и посмотрела на нее взглядом, в котором

было больше изумления, чем доверия к столь заманчивому обещанию; а Ренцо порывисто сказал:

— Смелости?.. Осторожности?.. Да говорите же, говорите, что можно сделать?

— Не правда ли, — продолжала Аньезе, — будь вы повенчаны, было бы совсем другое дело? И тогда ведь легче было бы уладить все остальное?

— Да уж что говорить, — сказал Ренцо, — будь мы повенчаны... живи себе где хочешь, как дома; да вот в двух шагах отсюда, на Бергамской территории, там с распростертыми объятиями принимают всякого работника по шелковой части. Вы ведь знаете, сколько раз Бортоло, мой двоюродный брат, сманивал меня уйти туда жить с ним... там я бы разбогател, как он; а если я никак на это не соглашался, так ведь... что ж тут скрывать? Все потому, что сердце мое оставалось здесь. А поженившись, отправились бы мы туда все вместе, обзавелись бы домом и жили бы себе мирно, подальше от этого злодея, и у него не было бы никакого искушения выкинуть какую-нибудь неподходящую штуку. Так ведь, Лючия?

— Конечно, — сказала Лючия, — но как же?..

— А вот, как я сказала, — отвечала мать, — смелость и осторожность, тогда это дело нехитрое!

— Нехитрое?! — в один голос воскликнули Ренцо и Лючия, для которых такое дело казалось очень сложным и мучительно трудным.

— Совсем простое, коль сумеешь его сделать, — продолжала Аньезе. — Слушайте внимательно, а я постараюсь растолковать вам. Знаю я от людей, которые в этом хорошо понимают, — а один случай я даже и сама видела, — что для венчания курато, разумеется, необходим, но вовсе нет нужды, чтобы он желал совершить обряд, только бы он присутствовал, и все тут.

— То есть как же это так? — спросил Ренцо.

— А вот слушайте — тогда поймете! Надо иметь двух свидетелей, очень ловких и согласных помочь. Все вместе идут к курато, — вся суть в том, чтобы захватить его врасплох, чтобы он не успел удрать. Жених говорит: «Синьор курато, она — моя жена»; невеста говорит: «Синьор курато, он — мой муж». Достаточно, чтобы курато это слышал, чтобы слышали свидетели, — и брак совершен, самый законный, такой же нерушимый, как если бы его совершил сам папа. Раз слова произнесены, курато может кричать, шуметь, беситься, — все бесполезно: вы — муж и жена.

— Так ли это? — воскликнула Лючия.

— Да что же, — сказала Аньезе, — вы никак думаете, что за тридцать лет, которые я прожила на свете до вашего рождения, я так-таки ничему и не научилась? Все именно так, как я вам говорю. Недалеко ходить, одна моя подруга, захотевшая выйти замуж против желания родителей, поступила

таким манером и добилась своего. Курато, который и не подозревал такого подвоха, держался все-таки настороже, но эти чертенята сумели все так ловко подстроить, что захватили его в самый подходящий момент, произнесли слова и стали мужем и женой, — правда, бедняжка уже через три дня раскаялась в этом.

Аньезе говорила правду как в отношении выполнимости такого предприятия, так и в отношении его рискованности, потому что, если, с одной стороны, к этому средству прибегали только люди, встретившие какое-нибудь препятствие или отказ быть обвенчанными обычным путем, то и приходские курато, со своей стороны, всячески стремились избежать подобного вынужденного содействия, и когда кто-нибудь из них все же попадался на удочку одной из таких пар, сопровождаемой свидетелями, то всячески старался вывернуться, подобно Протею, ускользавшему из рук тех, кто хотел насильно заставить его пророчествовать.

— Если бы это было так, Лючия! — сказал Ренцо, глядя на нее с мольбой и ожиданием.

— То есть, как это «если бы было так»? — отвечала Аньезе. — Ты что же, думаешь, что я мелю вздор? Я за вас мучаюсь, и мне же не верят! Нечего сказать! Хорошо же! Коли так, выпутывайтесь из этой истории сами — я умываю руки.

— О нет! Не покидайте нас, — сказал Ренцо. — Я говорю так лишь потому, что все это кажется мне чересчур заманчивым. Я в ваших руках, для меня вы все равно что родная мать.

Слова эти заставили улеяться напускное негодование Аньезе, и она выбросила из головы намерение, которое, сказать по совести, и не было серьезным.

— Но почему же, милая мама, — сказала со свойственной ей скромной сдержанностью Лючия, — почему все это не пришло в голову падре Кристофоро?

— Не пришло в голову? — отвечала Аньезе. — Ты думаешь, это не пришло ему в голову? Пришло, да, стало быть, он не захотел говорить об этом.

— Почему же? — разом спросили оба.

— Почему? Да потому, если вы хотите знать, потому что духовные особы считают это дело не очень-то хорошим.

— Как же так, что дело это не очень хорошее, а меж тем считается хорошим, раз оно сделано?

— Что я в этом понимаю? — отвечала Аньезе. — Законы ведь они составляли, как им было угодно, а мы — люди маленькие, всего разуметь не можем. Да и потом сколько таких вещей... Так вот: это — все равно, что дать ближнему хорошего тумака; ведь тоже как будто нехорошо, однако раз дело сделано, то и сам папа уже не может снять его.

— Ну, раз дело это нехорошее, — сказала Лючия, — не следует его и делать.

— Что? — сказала Аньезе. — Неужели, по-твоему, я стану учить чему-нибудь, что противно страху Божьему? Будь это против воли твоих родителей, вздумай ты пойти за какого-нибудь забулдыгу... а раз я согласна и ты выходишь вот за него, то тот, кто чинит всякие помехи, просто разбойник, а синьор курато...

— Да ведь все ясно, всякий это может понять! — прервал ее Ренцо.

— Не надо только говорить об этом падре Кристофоро, пока все не сделается, — продолжала Аньезе, — а когда делается и все пройдет удачно, как ты думаешь, что тебе скажет падре Кристофоро? «Ах, дочь моя, нехорошую вы со мной сыграли шутку». Духовной особе приходится говорить так, а в глубине души, уж поверь мне, и он будет доволен.

Хотя Лючия и не нашла что сказать на подобное рассуждение, все же она, видимо, осталась при своем мнении. Зато Ренцо, окончательно убежденный, сказал:

— Раз это так, значит, все в порядке.

— Не торопись, — сказала Аньезе. — А свидетели-то? Найти двоих, чтобы согласились, да притом еще не проболтались! Да еще сумеь заставить синьора курато, который вот уже два дня хоронится у себя дома! Да удержать его на месте! Ведь он, хоть и тяжел на подъем, а все же, я уверена, как только увидит ваше появление в таком составе — сразу окажется проворнее кошки и удерет, как дьявол от святой воды.

— Я нашел способ, нашел! — воскликнул Ренцо, так стукнув кулаком по столу, что запрыгала посуда, расставленная к обеду.

И он стал излагать свой план, который Аньезе целиком одобрила.

— Все это какие-то уловки, — возразила Лючия, — дело-то не совсем чисто. До сих пор мы поступали честно. Давайте и дальше действовать уповая на Бога, и он нам поможет: так сказал падре Кристофоро. Посоветуемся с ним!

— А ты следуй за теми, кто понимает больше тебя, — сказала Аньезе со строгим выражением лица. — Зачем с кем бы то ни было советоваться? Господь говорит: «Помогай себе сам, помогу тебе и я». Когда дело будет сделано, мы все расскажем падре Кристофоро.

— Лючия, — сказал Ренцо, — неужели вы меня не поддерживаете теперь? Разве мы не сделали все, что подобает добрым христианам? Разве мы не должны были бы уже стать мужем и женой? Разве курато не назначил нам дня и часа? И кто виноват в том, что нам приходится теперь прибегать к некоторым уловкам? Нет, вы не откажете мне в поддержке. Я сейчас пойду и вернусь с ответом. — И, простившись с Люцией умоляющим взглядом, а с Аньезе — выражением взаимного понимания, он поспешно вышел.

Страдания оттачивают ум. И Ренцо, который на ровном и спокойном жизненном пути, до той поры им пройденном, никогда не имел повода изощрять свой ум, в данном случае придумал такую штуку, которая сделала бы честь профессиональному юристу. Выполняя свое намерение, он отправился прямо к некоему Тонио, домик которого стоял неподалеку. Он застал хозяина на кухне; упершись коленом в ступеньку очага и придерживая одной рукой край котелка, поставленного на горячую золу, тот замешивал кривой лопаткой скромную сероватую поленту из кукурузы. Мать, брат и жена Тонио сидели за столом, а трое или четверо ребятишек, обступив отца и уставясь в котелок, дожидались момента, когда поленту подадут к столу. Но во всем этом не было той радости, какую обычно вызывает вид обеда у того, кто заработал его честным трудом. Количество поленты определялось неурожайным годом, а не числом и желанием едоков, и каждый из них, искоса поглядывая с нескрываемой жадностью на общее кушанье, уже думал, казалось, о той доле своего аппетита, которая останется неудовлетворенной. В то время как Ренцо обменивался поклонами со всей семьей, Тонио опрокинул поленту на буковый лоток, стоявший наготове, и она казалась на нем маленькой луной в густых облаках пара. Тем не менее женщины любезно обратились к Ренцо: «Не угодно ли откусить с нами?» В Ломбардии крестьянин, да, думаю, и во многих других странах, неизменно проявит подобную любезность ко всякому, кто застанет его за едой, хотя бы пришедший оказался богатым кутилой, только что вставшим из-за стола, а у него самого оставался последний кусок.

— Благодарю вас, — отвечал Ренцо, — я пришел только сказать словечко Тонио; да если хочешь, Тонио, — чтобы не беспокоить твоих женщин, — пойдем пообедаем в соседнюю остерию, там и поговорим.

Предложение это было для Тонио тем приятнее, чем менее он его ожидал; да и женщины, равно как и дети (ибо в этом они рано обнаруживают сообразительность), с не меньшим удовольствием встретили отстранение одного из претендентов на поленту, к тому же самого страшного. Приглашенный без дальнейших расспросов ушел вместе с Ренцо.

Пришли в деревенскую остерию; уселись совсем вольготно, в полнейшем одиночестве, ибо нищета отвадила всех обычных посетителей этого приюта всяческих радостей; заказали то небольшое, что там нашлось; распили кувшин вина, и тогда Ренцо с таинственным видом обратился к Тонио:

— Если ты окажешь мне маленькую услугу, я готов оказать тебе большую.

— Говори, говори все начистоту, распоряжайся мною, — отвечал, наливая, Тонио. — Нынче я готов за тебя броситься хоть в огонь.

— У тебя есть должок синьору курато в двадцать пять лир за аренду участка, который ты у него снимал под обработку в прошлом году.

— Ах, Ренцо, Ренцо! Ты портишь все свое благодеяние. Зачем ты об этом заговорил? Вот хорошего настроения у меня как и не бывало.

— Если я с тобой заговорил об этом должке, так потому, что я, коли хочешь, дам тебе возможность разделаться с ним.

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно! Ну, как? Ты был бы доволен?

— Доволен? Черт меня побери, если бы я не был доволен! Хотя бы ради того, чтобы не видать больше этих ужимок и покачиваний головой, какими меня каждый раз при встрече угощает синьор курато. А потом эти речи: «Тонио, помните?... Тонио, когда же мы увидимся по тому самому делу?» Это так меня донимает, что даже во время проповеди, когда он на меня этак уставится, я боюсь: ну-ка, он скажет при всех: «А двадцать пять лир?» Да будь они прокляты, эти двадцать пять лир! И женино золотое ожерелье ему пришлось бы вернуть мне, — а сколько бы я на него получил поленты... но только...

— Ну, что — только?... Если ты мне окажешь малюсенькую услугу, двадцать пять лир для тебя приготовлены...

— Да говори же.

— Но смотри!.. — сказал Ренцо, приложив палец к губам.

— К чему все это? Ведь ты же меня знаешь.

— Синьор курато занимается выдумыванием разных нелепых предлогов, чтобы оттянуть мою свадьбу; а я, наоборот, хочу отделаться поскорее. Мне доподлинно известно, что если к нему явятся сами обрученные да двое свидетелей и если я скажу: «Вот моя жена», а Лючия скажет: «Вот мой муж», то брак считается законно совершенным. Ты меня понимаешь?

— Ты хочешь, чтобы я был свидетелем?

— Вот именно.

— И заплатишь за меня двадцать пять лир?

— Вот именно — это я и имел в виду.

— Подлец тот, кто не сдержит обещания.

— Но нужно найти второго свидетеля.

— А я уже нашел. Дурачок-то, братишка мой Жервазо, все сделает, что я ему скажу. Ты его угостишь выпивкой?

— И обедом, — отвечал Ренцо. — Мы его приведем сюда попить с нами. Да сумеет ли он?

— Я его научу: ты ведь знаешь, его мозги целиком достались мне.

— Так до завтра...

— Хорошо!

— К вечеру...

— Отлично!

— Но смотри! — сказал Ренцо, снова приложив палец к губам.

— Ну, вот еще! — отвечал Тонио, склоняя голову к правому плечу и подняв левую руку, с выражением лица, говорившим: «Ты меня обижаешь».

— А если жена тебя спросит, а она, конечно, не преминет...

— По части вранья я у своей жены в долгу, да в таком, что уж и не знаю, удастся ли когда-нибудь с ней рассчитаться. Уж придумаю какую-нибудь чепуху, чтобы утомонить ее...

— Завтра утром, — сказал Ренцо, — мы поговорим обстоятельнее, чтобы хорошенько условиться обо всем.

С этим они вышли из остерии. Тонио направился домой, сочиняя всякий вздор, чтобы рассказать своим женщинам, а Ренцо пошел сообщить о заключенном соглашении.

Тем временем Аньезе выбивалась из сил, тщетно стараясь убедить дочь, которая против любого ее довода выдвигала то одно, то другое положение своей дилеммы: либо это дело нехорошее, и не следует его делать; либо наоборот, а тогда почему не сказать о нем падре Кристофоро?

Ренцо вернулся торжествующий и, рассказав обо всем, закончил восклицанием: «А?», что означало: «Ну, каков я? Разве можно было придумать лучше? Вы небось бы так не сообразили?» и всякое такое прочее...

Лючия тихонько покачивала головой; остальные двое, в чрезмерном волнении, мало обращали на нее внимания; так поступают обычно с ребенком, не рассчитывая, что он сразу поймет смысл происходящего, и от которого позднее просьбами и уговорами удастся добиться того, что нужно.

— Хорошо-то оно хорошо, — сказала Аньезе, — только вы не обо всем подумали.

— Чего же еще не хватает? — спросил Ренцо.

— А Перпетуя? Ее-то вы и забыли. Тонио с братом она, пожалуй, и впустит; а вас, да еще вдвоем! Подумайте! Ей, наверно, приказано и близко вас не подпускать, словно мальчишку к дереву со спелыми грушами.

— Как же быть? — произнес несколько смущенный Ренцо.

— А вот как, — я уж все это обдумала. Пойду с вами и я. У меня есть секрет, чем привлечь ее и так заморозить, что она вас не заметит, — вы и войдете. Я позову ее и затрону такую струнку... вот увидите.

— Как вас благодарить! — воскликнул Ренцо. — Я всегда говорил, что вы во всем нам поддержка.

— Но все это ни к чему, — сказала Аньезе, — если не удастся убедить Лючию: она упорно твердит, что это грех.

Тогда и Ренцо пустил в ход свое красноречие; но Лючию ничем нельзя было сбить с толку.

— Я не могу ответить на все ваши доводы, — говорила она, — одно я вижу: чтобы сделать так, как вы говорите,

приходится пускать в ход уловки, выдумки, ложь. Ах, Ренцо, не так мы с вами начали! Я хочу быть вашей женой (произнося это слово и объясняя это свое намерение, она никак не могла совладать с собой и густо покраснела), но только честным путем, со страхом Божиим, перед алтарем. Предоставим все воле Божьей. Разве не найдет он пути помочь нам лучше, чем это можем сделать мы со всеми своими фокусами и уловками? И зачем скрывать все от падре Кристофоро?

Спор не унимался, и казалось, конца ему не будет, как вдруг торопливое топанье сандалий и звук хлопающей сутаны, похожий на тот, что производят повторные порывы ветра, ударяющие в поникшие паруса, возвестили приближение падре Кристофоро. Все замолкли, а Аньезе едва успела шепнуть на ухо Лючии: «Ну, смотри же, не проговорись ему».

Глава седьмая

При своем появлении падре Кристофоро был похож на хорошего полководца, который проиграл не по своей вине важное сражение и был опечален этим, хотя и не обескуражен, озабочен, но не в растерянности, и со всей быстротой, но без всякой паники, спешил туда, куда звала его необходимость, дабы укрепить уязвимые места, собрать войска и отдать новые распоряжения.

— Мир вам, — сказал он, входя. — От этого человека ждать нечего; тем более надо уповать на Бога, и у меня уже есть некоторый залог его заступничества.

Хотя никто из трех и не возлагал больших надежд на попытку падре Кристофоро, ибо зрелище тирана, отказывающегося от насилия без всякого принуждения, единственно в угоду простым мольбам, было не только редким, а прямо-таки неслыханным явлением, — все же печальная истина была ударом для всех. Женщины опустили головы, но в душе Ренцо гнев пересилил подавленность духа. Известие это застало его уже достаточно ожесточившимся от многочисленных печальных неожиданностей, тщетных попыток, обманутых надежд, а кроме того, в данную минуту он был раздражен упорством Лючии.

— Хотел бы я знать, — закричал он, скрежеща зубами и повышая голос, чего никогда раньше не позволял себе в присутствии падре Кристофоро, — хотел бы я знать, какие доводы приводил этот пес в доказательство... в доказательство того, что моя невеста... не должна быть моей невестой.

— Бедный Ренцо! — печально отвечал монах, кротким взглядом как бы призывая его к умиротворению, — если б насильник, собираясь совершить несправедливость, всегда был обязан давать объяснения, дела шли бы не так, как идут теперь.

— Стало быть, этот-пес заявил, что он не хочет просто потому, что вообще не хочет?

— Он даже и этого не сказал, бедный мой Ренцо. Ведь это уже было бы большим шагом вперед, если бы, совершая беззаконие, тираны открыто признавались бы в нем.

— Но что-то ведь он должен был сказать? Что же говорил он, это исчадие ада?

— Слова его я слышал, но не сумел бы повторить их тебе. Слова несправедливого, но всемогущего человека доходят до нас и испаряются. Он может разгневаться на то, что ты выказываешь подозрение на его счет, и вместе с тем дать тебе почувствовать, что подозрение твое вполне основательно; он может оскорблять — и все же считать себя самого обиженным, издеваться — и требовать удовлетворения, устрашать — и плакаться, быть наглым — и считать себя безупречным. Не расспрашивай больше об этом. Он не произнес ни ее имени, ни твоего, не подал и виду, что знает вас, не заявил никаких притязаний, но... но, увы, я должен был понять, что он непреклонен. Тем не менее будем уповать на Бога. А вы, бедняжки мои, не падайте духом; и ты, Ренцо, поверь мне, что я готов войти в твое положение и чувствую то, что происходит в твоей душе. Но — терпение! Это — суровое слово, горькое для неверующего. Но ты... Неужели ты не захочешь подарить Господу Богу день-другой, вообще — сколько ему понадобится времени для того, чтобы дать восторжествовать справедливости? Время в его власти, и все в Божьей воле! Положись на Всевышнего, Ренцо, и знай... знайте все вы, что у меня в руках уже есть нить, чтобы оказать вам помощь. Ничего больше пока я сказать не могу. Завтра я уж не поднимусь к вам сюда, мне придется весь день пробыть в монастыре, — все ради вас. Ты, Ренцо, постарайся прийти туда; если же по какому-нибудь непредвиденному случаю ты сам не сможешь, тогда пошлите надежного человека, какого-нибудь толкового мальчугана, — я через него дам вам знать обо всем, что произойдет. Однако уже темнеет, мне надо спешить в монастырь. Верьте же и не падайте духом! Прощайте!

С этими словами он поспешно вышел и вприпрыжку, почти бегом, стал спускаться по извилистой и каменистой тропке, лишь бы не запоздать в монастырь, рискуя получить здоровую нахлобучку, либо — что для него было гораздо тягостнее — епитимью, которая лишила бы его возможности на следующий день быть во всеоружии для выполнения того, что потребуют интересы его любимцев.

— Вы слышали, что он сказал про эту... как ее... про нить, которая есть у него для оказания нам помощи? — сказала Лючия. — Надо довериться ему. Это такой человек, что если он обещает десять...

— Если дело только в этом, — прервала Аньезе, — ему бы

следовало выразиться пояснее либо отозвать меня к сторонке и сказать, в чем тут дело...

— Пустая болтовня! Я сам справлюсь, сам! — прервал в свою очередь Ренцо, принявшись ходить взад и вперед по комнате.

Его голос и взгляд не оставляли ни малейшего сомнения насчет смысла этих слов.

— Ренцо! — воскликнула Лючия.

— Что вы хотите сказать? — подхватила Аньезе.

— А что тут говорить? Я разделаюсь с ним сам. Пусть в нем сидит хоть сто, хоть тысяча чертей, в конце концов, ведь и он из костей да мяса...

— Нет, нет, ради самого неба!.. — начала было Лючия, но слезы заглушили ее слова.

— Таких слов не следует говорить даже в шутку! — сказала Аньезе.

— В шутку? — вскричал Ренцо, остановившись перед сидевшей Аньезе и уставившись на нее, вытаращив глаза. — Шутка! Вот увидите, какая это шутка!

— Ренцо, — с усилием, сквозь рыдания, произнесла Лючия, — я никогда не видала вас таким.

— Ради самого неба, не говорите таких вещей, — торопливо заговорила Аньезе, понижая голос. — Вы забыли, сколько рук в его распоряжении? И даже если бы... Да Боже избави! На бедных всегда найдется расправа.

— Я сам справлюсь, поняли? Пора, наконец! Дело не легкое, и я это знаю. Он здорово бережется, пес кроважадный. Знает, в чем дело! Но это неважно. Решимость и терпение... и час его настанет! Да, я справлюсь... я избавлю всю округу... сколько людей станет благословлять меня... А потом — в три прыжка...

Ужас, который охватил Лючию при этих вполне определенных словах, осушил ее слезы и дал силу заговорить. Отняв руки от заплаканного лица, она печально и вместе с тем решительно сказала Ренцо:

— Стало быть, вам уже неохота взять меня в жены. Я дала слово юноше, в котором был страх Божий; а человек, который... Будь он даже огражден от всякой расправы, от всякой мести, будь он хоть королевский сын...

— Ну что ж! — закричал Ренцо с исказившимся лицом. — Вы не достанетесь мне, зато не достанетесь и ему. Я останусь здесь без вас, а он отправится ко всем...

— Нет, нет, Бога ради, не говорите так, не делайте таких глаз!.. Я не могу, не могу видеть вас таким, — воскликнула Лючия, в слезах и мольбе ломая руки; Аньезе тем временем звала юношу по имени, трясла его за плечи, за руки, чтобы как-нибудь успокоить.

Некоторое время он стоял неподвижно и, задумавшись,

вглядывался в умоляющее лицо Люции. Потом вдруг зловеще взглянул на девушку, отступил назад и, указывая на нее пальцем, закричал:

— Да, ее, ее он хочет! Смерть ему!

— А я-то, какое же я вам причинила зло? Почему вы хотите моей смерти? — сказала Люция, бросаясь перед ним на колени.

— Вы? — отвечал он голосом, в котором звучал гнев иного рода, но все же гнев. — Вы? Где же ваша любовь? Чем вы ее доказали? Разве я не умолял вас, не умолял без конца? А вы все «нет» да «нет»!

— Я согласна, согласна, — порывисто отвечала Люция, — пойду к курато, завтра или хоть сейчас, если вам этого хочется. Только будьте прежним Ренцо, — я пойду.

— Вы обещаете мне это? — сказал Ренцо, и лицо и голос его сразу смягчились.

— Обещаю!

— Так помните же свое обещание!

— Благодарю тебя, создатель! — воскликнула Аньезе, обрадованная вдвойне.

Думал ли Ренцо во время этой сильной вспышки гнева о том, какую пользу можно извлечь из испуга Люции? И не постарался ли он несколько искусственно раздуть этот гнев, дабы он оказал свое действие? Наш автор заявляет, что ничего не ведает, а я думаю, что и сам Ренцо хорошенько не знал этого. Несомненно одно, — он действительно был взбешен наглостью дона Родриго и жаждал согласия Люции; а когда две сильных страсти одновременно kloчочут в груди человека, никто, и меньше всего он сам, не в состоянии отчетливо различить голоса бушующих в нем страстей и сказать с уверенностью, которая из них берет верх.

— Я обещала вам, — ответила Люция тоном робкого и любящего упрека, — но и вы обещали мне не буяннить, положить в этом деле на падре Кристофоро.

— Боже мой! Да из-за кого же я так безумствую? Вы, кажется, уже собираетесь идти на попятный, а меня хотите заставить выкинуть какую-нибудь штуку?

— Нет, нет, — отвечала Люция, снова испугавшись. — Я обещала и не отступлюсь. Но посмотрите, как вы меня заставили дать обещание. Не дай только Бог...

— Почему, Люция, вам хочется видеть все в черном свете? Ведь Господь ведает, что мы никого не обидели.

— В последний раз обещайте мне хотя бы это.

— Обещаю честным словом бедняка.

— Но на этот раз сдержите слово, — сказала Аньезе.

Здесь автор признается, что он не знает, была ли Люция все-таки недовольна тем, что ее принудили дать согласие. Мы, со своей стороны, тоже оставляем это под сомнением.

Ренцо хотел было продолжить беседу и подробно договориться обо всем, что предстояло сделать на другой день; но было уже поздно, и женщины пожелали ему спокойной ночи. На их взгляд, неприлично было засиживаться так поздно.

Для всех троих эта ночь оказалась спокойной настолько, насколько это возможно после дня, полного волнений и забот, и в канун другого дня, намеченного для важного дела, исход которого сомнителен. Ренцо объявился рано поутру и подготовил совместно с женщинами, или, точнее сказать, с Аньезе, предстоящее вечером великое предприятие. Они поочередно выдвигали и разрешали всевозможные затруднения, предусматривали всевозможные препятствия и принимались оба разом описывать дело, словно рассказывая об уже свершившемся. Лючия слушала и, не одобряя словами того, чего не могла одобрить в глубине души, обещала сделать все насколько сумеет лучше.

— Ну, а вы спуститесь в монастырь повидаться с падре Кристофоро, как он вам говорил вчера вечером? — спросила Аньезе у Ренцо.

— Как бы не так! — ответил тот. — Вы ведь знаете, какие у него чертовские глаза; он у меня на лице, как в книге, сразу прочтет, что мы что-то затеваем. А уж если начнет задавать вопросы, то мне нипочем не отвертеться. К тому же мне надо остаться здесь налаживать дело. Лучше уж вы пошлите кого-нибудь.

— Я пошлю Менико.

— Отлично, — отвечал Ренцо и ушел, как он сказал, «налаживать дело».

Аньезе пошла в один из соседних домов за Менико. Это был довольно шустрый мальчуган лет двенадцати, который через разных двоюродных братьев и свойственников приходился ей до некоторой степени племянником. Она выпросила его у родителей на весь этот день, так сказать, взаймы «для одной услуги», как она выразилась. Забрав мальчика, она привела его к себе на кухню, накормила завтраком и велела сходить в Пескаренико. Там он должен попасться на глаза падре Кристофоро, а уж тот, когда придет время, отправит его обратно с ответом. «Падре Кристофоро, знаешь, — такой красивый старик с белоснежной бородой, которого зовут святым».

— Понял, — сказал Менико, — тот, который нас, ребят, всегда ласкает, а иногда раздает нам образки.

— Он самый, Менико! И если он велит тебе немного подождать там же, около монастыря, так ты смотри не отлучайся; да только не ходи с товарищами на озеро смотреть, как ловят рыбу, да не балуйся с сетями, развешанными по стене для сушки, и вообще никаких своих обычных игр не затевай...

Надо сказать, что Менико был большой мастер пускать по

воде рикошетом камни. А ведь известно, что все мы, большие и малые, охотно делаем то, в чем набили себе руку, — я не говорю, что только такие, как Менико.

— Ну, само собой, тетенька! Ведь я уже не маленький.

— Хорошо, так будь умником; а когда вернешься с ответом, посмотри-ка: вот эти две новеньких парпальолы — для тебя.

— Так вы мне сейчас их и дайте, какая разница!

— Нет, нет, ты их, пожалуй, проиграешь. Ступай и води себя как следует. Может быть, получишь тогда еще больше.

В оставшуюся часть этого долгого утра обнаружились некоторые новые явления, которые вызвали немалые подозрения у женщин, и без того уже встревоженных. Какой-то нищий, далеко не до такой степени отошавший и оборванный, какими обычно бывают его собратья, с лицом подозрительно мрачным и зловещим, вошел попросить милостыню, оглядываясь по сторонам, точно соглядтай. Ему дали кусок хлеба; он взял его и спрятал с нескрываемым безразличием. Потом задержался и не без наглости, но вместе с тем как-то нерешительно, стал задавать разные вопросы, на которые Аньезе торопливо отвечала, стараясь скрыть истину. Собираясь уходить, нищий притворился, что ошибся дверью, и вошел в ту, которая вела на лестницу, где так же наспех окинул все взглядом, насколько это было возможно. Когда ему крикнули вслед: «Эй, эй, вы куда, почтенный? Сюда надо, сюда!» — он вернулся и вышел, куда ему указали, извинившись с покорностью и деланным смирением, которые никак не вязались с резкими чертами его лица. После него появлялись время от времени другие странные лица. Нелегко было определить, что это были за люди, но не верилось, что это — безобидные прохожие, какими они хотели казаться. Один зашел под предлогом, чтобы ему показали дорогу; другие, проходя мимо дверей, замедляли шаг и искоса заглядывали в комнату через дворик, стараясь что-то высмотреть, не вызывая подозрений. Наконец, к полудню это надоедливое хождение кончилось. Аньезе время от времени вставала и, пройдя дворик, выглядывала из калитки на улицу. Осмотревшись по сторонам, она возвращалась, говоря: «Никого нет» — и произносила эти слова с явным удовольствием, которое разделяла и слушавшая ее Лючия, причем ни та, ни другая не знали толком, почему их это радует. Однако обе все же чувствовали какое-то смутное беспокойство, лишившее их, особенно дочь, значительной доли бодрости, которой они запаслись было для вечера.

Читателю, однако, пора узнать кое-что более определенное относительно этих таинственных бродяг. И дабы осведомить его обо всем, нам придется вернуться назад и снова заняться доном Родриго, которого мы оставили вчера, после ухода падре Кристофоро, в одиночестве в одной из комнат его палатки.

Как мы уже сказали, дон Родриго мерил большими шагами эту комнату, со стен которой на него глядели фамильные портреты нескольких поколений. Когда он подходил вплотную к стене и поворачивался, он видел прямо перед собой одного из своих воинственных предков, грозу врагов и собственных солдат, со свирепым взором, короткими жесткими волосами, длинными, торчащими в стороны, остро закрученными усами и со срезанным подбородком. Герой изображен был во весь рост, в маске, в набедренных латах, панцире, нарукавниках, перчатках — все из железа. Правая рука его упиралась в бедро, левая покоилась на эфесе шпаги. Дон Родриго смотрел на него; когда же подходил к самому портрету и поворачивался, перед ним был уже другой предок — судья, гроза тяжущихся и адвокатов; он сидел в огромном кресле, обитом красным бархатом, облаченный в просторную черную мантию. Весь в черном, за исключением белого воротника с широкими брыжами и горностаевой подкладки, край которой был откинут (что было отличительным признаком сенаторов, которые, разумеется, носили эту подкладку только зимой, — вот почему никогда не встретишь портрета сенатора в летнем одеянии), — тощий, с нахмуренными бровями, он держал в руках какое-то прошение и, казалось, говорил: «Посмотрим». По одну сторону от него была важная дама, гроза своих служанок; по другую — аббат, гроза своих монахов, — словом, все это были люди, которые нагоняли страх, и казалось, от холстов все еще веяло этим страхом. Лицом к лицу с такими воспоминаниями дон Родриго пришел в совершенное бешенство. Он сгорал от стыда и никак не мог успокоиться при мысли, что какой-то монах дерзнул приставать к нему с поучениями в духе пророка Натана. Он строил и отвергал всевозможные планы мести, желая удовлетворить как свою страсть, так и то, что он называл честью. И лишь когда (подумайте только!) у него в ушах вновь звучало недосказанное пророчество и его, что называется, мороз продирали по коже, он почти готов был отбросить всякую мысль о получении этого двойного удовлетворения. В конце концов, чтобы чем-нибудь заняться, он позвал слугу и приказал передать извинение честной компании, поскольку его-де задерживает неотложное дело. Когда слуга вернулся и доложил, что господа ушли, прося засвидетельствовать свое почтение хозяину, дон Родриго спросил, продолжая рассказывать:

— А граф Аттилио?

— Они ушли с другими господами, синьор.

— Хорошо. Шесть человек свиты для прогулки — живо! Шпагу, плащ, шляпу — живо!

Слуга удалился, отвесив поклон. Вскоре он вернулся, принеся роскошную шпагу, которую хозяин пристегнул к бедру; плащ, что был наброшен на плечи; шляпу с пышными перья-

ми, которую он надел на голову, а потом горделиво надвинул на глаза — признак того, что в море неспокойно. Дон Родриго вышел и в дверях увидел шестерых разбойников в полном вооружении; выстроившись в шеренгу и встретив его поклоном, они двинулись за ним следом. Брюзжащий, хмурый, спесивый больше обычного, он отправился на прогулку в сторону Лекко. Крестьяне и мастеровые при виде его жались к стене и издали, обнажив голову, отвечивали ему низкие поклоны, которые он оставлял без внимания. Как подчиненные, кланялись ему и те, кто в глазах остального населения сами считались синьорами; дело в том, что во всей округе не было ни одного человека, который хоть отдаленно мог бы сравниться с ним по своему происхождению, богатству, связям и стремлению использовать все, чтобы возвыситься над другими. К таким людям он выказывал величавое благоволение. В тот день не случилось, — но когда случалось ему встретиться с испанцем, синьором кастелланом, поклон с обеих сторон был одинаково глубокий, словно дело происходило между двумя властителями, которым нечего делить между собой, но которые, приличия ради, оказывают честь достоинству друг друга. Чтобы развеять хандру, чем-нибудь отогнать образ монаха, неотступно тревоживший его воображение, и набраться новых впечатлений, дон Родриго в этот день завернул в один дом, куда обычно ходило много народа и где его приняли с тем суетливым и почтительным радушием, которое берегут для людей, умеющих заставить сильно любить себя и столь же сильно бояться. Лишь с наступлением ночи вернулся он в свое палаццо. Граф Аттилио тоже возвратился к этому времени. Им принесли ужин, за которым дон Родриго был задумчив и мало говорил.

— Кузен, когда же вы заплатите мне пари? — сказал с хитрой усмешкой дон Аттилио, как только слуги убрали со стола и удалились.

— День Сан-Мартино еще не прошел.

— Все равно, можете уплатить хоть сейчас — ведь успеют пройти все святые по календарю, прежде чем...

— А это мы еще посмотрим.

— Кузен, вы напрасно разыгрываете из себя хитреца. Я ведь все понял и настолько уверен в выигрыше, что готов заключить хоть еще одно пари.

— Насчет чего?

— А насчет того, что монах... Ну, словом, этот самый монах обратил вас на путь истинный.

— Вот уж сказали!

— Обратил, милейший мой, несомненно обратил. И я, со своей стороны, даже рад этому. В самом деле, ведь это же будет великолепное зрелище, видеть вас кающимся в своих грехах, с опущенными долу очами. А монах-то как возгордит-

ся! Каким торжествующим, с высоко поднятой головой вернется он в свой монастырь! Не каждый день бывает такой улов! Можете не сомневаться, что он вас станет ставить всем в пример, а когда отправится с проповедью чуть подальше, будет рассказывать о ваших похвальных деяниях. Так вот, кажется, и слышу его. — И он продолжал тоном проповеди, гнусава и сопровождаая слова иронической жестикюляцией: — «В некоторой стране мира сего, которую я, по долгу уважения, не стану называть, проживал, о возлюбленные чада мои, и проживает поныне некий распутный дворянин, скорее друг прелестных женщин, чем доблестных мужей. Привыкши любую траву собирать в пучок, бросил он взор свой на...»

— Довольно, довольно, — прервал его дон Родриго, которого слова кузена не то обозлили, не то рассмешили. — Если хотите удвоить пари, я согласен.

— Черт возьми! Уж не вы ли обратили монаха?

— Не говорите мне о нем. А что касается пари, то дело решится в день Сан-Мартино.

Любопытство графа было возбуждено. Он засыпал кузена вопросами, но дон Родриго сумел уклониться от ответа, ссылаясь все время на решающий день и не желая выдать противной стороне своих намерений, которые еще не только не осуществлялись, но даже и не определились окончательно.

На следующее утро дон Родриго проснулся прежним доном Родриго. Тревога, вызванная словами: «Настанет день», исчезла вместе с ночными сновидениями, осталось лишь бешенство, разжигаемое чувством стыда за минутную слабость. Триумфальная прогулка, поклоны, оказанный ему прием и подзадоривания кузена — все это немало способствовало возврату прежней отваги. Едва поднявшись, он приказал позвать Гризо. «Большие предстоят дела», — сказал себе старик слуга, получивший приказание, ибо человек, носивший эту кличку, был не кто иной, как главарь бравы, тот, на кого возлагались самые рискованные и самые злодейские предприятия, наиболее доверенное лицо из приближенных синьора, преданный хозяйину душой и телом как из благодарности, так и из корысти. Открыто, среди бела дня убив человека, он пришел просить защиты у дона Родриго, и тот, прикрыв Гризо своей ливреей, спас его от всяких розысков со стороны правосудия. Так, ценой участия в любом преступлении, какое ему прикажут совершить, он купил себе безнаказанность за первое, им содеянное. Для дона Родриго это было немаловажным приобретением: не говоря уже о том, что Гризо был, несомненно, самым храбрым из всей банды, он вместе с тем служил живым доказательством того, что его патрон может безнаказанно позволять себе противозаконные поступки, — так что могущество дона Родриго от этого возросло как фактически, так и в сознании всех окружающих.

— Гризо, — сказал дон Родриго, — вот теперь будет видно, чего ты стоишь. До наступления завтрашнего дня Лючия должна быть в этом палаццо.

— Никто никогда не посмеет сказать, что Гризо уклонился от выполнения приказа своего господина.

— Возьми сколько нужно людей, приказывай и распоряжайся, как сочтешь нужным, — лишь бы дело закончилось благополучно. Но главное, смотри — чтобы она при этом не пострадала.

— Синьор, немножко припугнуть ее придется, чтобы она не слишком шумела, — без этого никак не обойтись!

— Припугнуть... ну да, конечно, — это неизбежно. Но только чтобы ни один волосок не упал с ее головы, а главное, окажи ей полнейшее уважение. Понял?

— Синьор, цветка и то нельзя сорвать и принести вам без того, чтобы не тронуть его. Но допущено будет лишь самое необходимое.

— Все под твою ответственность. А все же... как ты за это примешься?

— Я об этом как раз думал, синьор. На наше счастье, ее дом находится на краю деревни. Нам нужно место для засады, и как раз неподалеку стоит одинокий заброшенный домик, среди поля, тот самый дом... — впрочем, ваша светлость об этих вещах ничего не знает... — дом, который несколько лет назад сгорел, а средств на восстановление не было, и его бросили, а теперь туда слетаются ведьмы, ну, да мне наплевать, ведь нынче не шабаш! Наши крестьяне с их предрассудками ни за какие деньги, ни в какую ночь недели не посмеют в него сунуться. Стало быть, мы можем отправиться туда и обосноваться там в полной уверенности, что никто не явится и не испортит нам дела.

— Отлично! А дальше?

Тут Гризо стал излагать свой план, а дон Родриго разбирал его, пока они не договорились о том, как довести предпринятое до конца таким образом, чтобы замести следы. Подумали они и о том, как ложными показаниями отвести подозрения в другую сторону, как принудить к молчанию несчастную Аньезе, как нагнать на Ренцо такого страха, который заглушил бы в нем горе и отогнал мысль прибегнуть к правосудию, отбив всякую охоту жаловаться. Обдумали они и все прочие подлости, необходимые для успеха главной. Мы не станем рассказывать обо всех этих уговорах, ибо они, как увидит читатель, не нужны для понимания нашей истории, да мы и сами рады не вынуждать читателя и дальше слушать совещание двух гнусных мошенников. Достаточно сказать, что, когда Гризо уже собрался уходить, чтобы приступить к выполнению заговора, дон Родриго вернул его словами:

— Слушай, если этот дерзкий невежа случайно попадется

нынче вечером в ваши лапы, недурно было бы ему хорошенько всыпать — для памяти. Тогда назавтра приказание молчать подействует на него вернее. Но нарочно отыскивать его не надо, чтобы не портить того, что поважнее, — ты меня понял?

— Предоставьте дело мне, — почтительно, но не без хвастовства ответил, кланяясь, Гризо. С этим он удалился.

Все утро ушло на разведку с целью изучения места действия. Лженищий, проникший в бедный домик Люции, был не кто иной, как сам Гризо, приходивший лично снять план; лжестранниками были подчиненные ему негодяи, которым да работы под его руководством достаточно было и поверхностного знакомства с местом. Произведя разведку, они больше не показывались, чтобы не вызывать лишних подозрений.

Когда все вернулись в палаццо, Гризо подвел итог и окончательно установил план похищения, распределил роли, дал указания. Все это не ускользнуло от внимания старого слуги, который зорко приглядывался и чутко прислушивался ко всему происходившему и приметил, что затевается нечто крупное. Наблюдая, а кое о чем и расспрашивая; ловя то тут, то там обрывки сведений; стараясь понять неясные слова и истолковать таинственные намеки, он в конце концов хорошо уяснил себе, что же собирались проделать в эту ночь. Но когда ему все удалось выяснить, до наступления ночи было уже недалеко и небольшой авангард брави уже отправился в упомянутый полуразрушенный домишко. Бедный старик, хоть и понимал, с каким риском связана затеянная им игра, а к тому же опасался, подобно пизанцам, опоздать со своей подмогой, все же хотел сдержать свое обещание. Сославшись на желание подышать свежим воздухом, он отлучился из дому и во весь дух пустился бежать в монастырь, сообщить падре Кристофоро обещанное. Немного спустя тронулись в путь и остальные брави; они спускались порознь, чтобы не показаться единым отрядом. Гризо отправился последним. Оставлялись лишь носилки, их должны были доставить на место поздно вечером, что и было сделано. Когда все собрались, Гризо послал троих в остерию: один должен был стать у входа, наблюдая за всем, что происходит на улице, и следить, когда все жители разойдутся по домам; двое других должны были расположиться в самой остерии в роли любителей выпивки и игры и тем временем выслеживать, не обнаружится ли чего-нибудь достойного внимания. Сам Гризо с большинством шайки остался ждать в засаде.

А бедный старик все еще спешил в монастырь. Трое разведчиков заняли свои места. Солнце садилось. В это время Ренцо пришел к женщинам и сказал: «Тонио и Жервазо ждут меня на улице; я иду с ними в остерию закусить; когда зазвонят к вечерне, мы придем за вами. Смелей, Люция! Все зависит от одного мгновения». Люция вздохнула и повто-

рила: «Смелее», — но звук ее голоса противоречил смыслу сказанного.

Когда Ренцо и двое его товарищей пришли в остерию, они увидели неизвестного, стоявшего на страже. Прислонившись спиной к косяку и скрестив руки на груди, он наполовину загораживал дверь и все время поглядывал то вправо, то влево, при этом попеременно сверкали зрачки и белки его хищных глаз. Плоский малинового бархата берет, надетый набекрень, скрывал одну половину его чуба, распадавшегося надвое и ниспадавшего с загорелого лба двумя косицами, которые сходились за ушами на затылке и были сколоты гребнем. На руке у него висела здоровенная дубина; настоящего оружия на нем не было видно, но стоило взглянуть ему в лицо, — и даже младенец догадался бы, что оружие было при нем в несметном количестве. Когда Ренцо, шедший впереди других, собирался войти, тот, не трогаясь с места, в упор посмотрел на него; но юноша, решивший избежать каких бы то ни было споров, подобно всякому, кто замешан в шекотливом деле, не подал вида, что замечает незнакомца, и, не сказав даже: «Посторонитесь», прошел боком вперед, задев за другой косяк, через пространство, оставленное этой оригинальной кариатидой. Обоим его спутникам пришлось, чтобы войти, проделать тот же маневр. В остерии они увидели других, — голоса их были слышны уже с улицы, — тех самых двух брави, которые, сидя на углу стола, играли в мору, крича оба разом (что, впрочем, требуется в этой игре) и поочередно угощаясь из большого кувшина, стоявшего между ними. Они тоже в упор поглядывали на вновь пришедших; особенно один из них, тот, что высоко поднял руку с тремя здоровенными растопыренными пальцами и все еще широко разевал рот, только что громкогласно выкрикнув «шесть», смерил Ренцо с головы до ног; затем он мигнул товарищу, потом тому, который стоял в дверях, — тот ответил кивком головы. Ренцо, почуяв недоброе, нерешительно посмотрел на своих гостей, словно желая прочитать на их лицах объяснение всех этих знаков, однако последние отражали лишь огромный аппетит. Хозяин посмотрел на Ренцо, как бы ожидая его приказаний. Ренцо отозвал его в соседнюю комнату и заказал ужин.

— Кто эти незнакомцы? — спросил он вполголоса, когда хозяин вернулся с грубой скатертью под мышкой и с кувшином в руке.

— Я их не знаю, — ответил хозяин, расстилая скатерть.

— Как? Ни одного?

— Вы же хорошо знаете, — ответил хозяин, продолжая обеими руками расправлять скатерть, — что первое правило нашей профессии — не спрашивать о чужих делах; даже женщины наши и те не отличаются любопытством. Да и где уж тут, при таком множестве людей, которые приходят и ухо-

дят, — у нас ведь словно в морской гавани — то есть, разумеется, когда урожай хороший; но не будем падать духом, авось вернутся хорошие времена. Довольно с нас и того, чтобы посетители были приличными людьми, а кто они такие, это нас не касается. А теперь позвольте предложить вам блюдо биточков, каких вы никогда, наверное, не отведали.

— Почему вы знаете?.. — подхватил было Ренцо, но хозяин уже умчался в кухню.

Пока он брал там сковороду с вышеупомянутыми биточками, к нему потихоньку подошел тот браво, который давеча смерил глазами нашего юношу, и сказал вполголоса:

— Что это за люди?

— Хорошие парни, здешние, — ответил хозяин, выкладывая биточки на блюдо.

— Хорошо, но как их зовут? Кто они такие? — настаивал тот уже несколько грубоватым тоном.

— Одного звать Ренцо, — ответил хозяин тоже вполголоса, — хороший юноша, порядочный; прядильщик шелка, отлично знает свое дело. Другой — крестьянин, по имени Тонио, хороший товарищ, веселый малый; жаль только, что деньжонок у него мало, не то бы он тут все и оставил. А третий — так, простофиля, а есть все-таки горазд, когда его угощают. Позвольте-ка!

И, ловким прыжком проскочив между печкой и собеседником, он понес блюдо по назначению.

— Почему вы знаете, — снова начал Ренцо при его появлении, — что они порядочные люди, если вы не знаете, кто они?

— По повадке, милый мой: человек всегда узнается по повадке. Тот, кто пьет вино без критики, платит по счету не торгуясь, не затевает ссор с другими посетителями, а если и затевает ножевую расправу, так уходит поджидать противника на улицу, подальше от остерии, так, чтобы бедняге хозяину не приходилось впутываться в это дело, — тот и есть порядочный человек. А все же, когда знаешь людей как следует, вот как мы вчетвером знаем друг друга, оно куда лучше. Да какого черта, что вам за охота все разузнавать, когда вы жених и в голове у вас должно быть совсем другое? Да еще перед такими биточками, которые, кажется, и мертвого поднимут на ноги? — Сказав это, он снова помчался на кухню.

Примечая, как по-разному отвечал хозяин на расспросы, наш автор говорит, что такой уж это был человек: во всех своих разговорах он вообще-то выказывал себя большим другом порядочных людей, но на деле проявлял гораздо больше угодливости перед теми, кто имел репутацию или наружность негодяев. Своеобразный характер, не правда ли?

Ужин получился не очень веселый. Обоим приглашенным

хотелось бы получить от него полное удовольствие, но угощавший, озабоченный всем тем, что известно читателю, расстроенный и даже несколько обеспокоенный странным поведением незнакомцев, только и ждал, как бы улизнуть. Разговор из-за незнакомцев велся вполголоса; слова падали отрывисто и вяло.

— А как хорошо, — вдруг ни с того ни с сего выпалил Жервазо, — что Ренцо собрался жениться и что ему нужны...

Ренцо очень строго посмотрел на него.

— Замолчишь ли ты, скотина? — сказал Тонио, сопровождая этот титул толчком в бок.

Беседа становилась все более вялой. Ренцо, отставая в еде, как и в питье, старался подливать обоим свидетелям в меру, чтобы придать им немного духа, но не довести до головокружения. Когда убрали со стола и счет был оплачен тем, кто ел меньше всех, всем троим пришлось снова пройти мимо незнакомцев, которые снова повернулись в сторону Ренцо, так же как и когда он входил в остерию. Отойдя на несколько шагов, Ренцо обернулся и увидел, что те двое, которых он оставил сидящими в кухне, шли за ним по пятам. Тогда он остановил своих товарищей, словно говоря: «Посмотрим, что этим господам от меня угодно». Но двое, заметив, что за ними наблюдают, в свою очередь остановились, поговорили вполголоса и повернули назад. Если бы Ренцо находился поближе к ним и мог расслышать их слова, они показались бы ему весьма странными. Один из разбойников сказал:

— А ведь большая была бы нам слава, не говоря уже о магарыче, если бы, вернувшись в палаццо, мы смогли бы рассказать, как живо пересчитали ему все ребра, вот просто так, сами по себе, без всякого приказа со стороны Гризо.

— И испортили бы этим главное дело, — ответил другой. — Видишь, он что-то заподозрил: останавливается и смотрит на нас. Эх! Кабы было попоздней! Вернемся-ка назад, чтобы не возбуждать подозрений. Смотри, народ идет со всех сторон; дадим им усесться на насест.

Действительно, кругом заметно было движение и стоял тот неумолчный шум, который всегда бывает под вечер в деревне, сменяющийся через несколько минут торжественной ночной тишиной. Женщины возвращались с поля, неся на руках младенцев и ведя за руку детей постарше, которых они учили повторять за собой вечернюю молитву; возвращались мужчины с заступами и мотыгами на плечах. В открытые двери там и сям видно было сверкание огоньков, зажженных к скудному ужину. На улице слышался обмен приветствиями, изредка — слова о плохом урожае, голодном годе; и, заглушая разговоры, раздавались мерные и звонкие удары колоколов, возвещавшие конец дня. Увидав, что двое соглядатаев удалились, Ренцо

пошел своей дорогой; темнота быстро сгушалась, и время от времени он напоминал о чем-либо то одному, то другому из братьев. Когда они подходили к домику Люции, наступила уже ночь.

Промежуток между первой мыслью о страшном предприятии и его выполнением, как сказал один, не лишенный гениальности варвар, — есть сон, наполненный призраками и страхами. Люция уже много часов была во власти такого тревожного сна; и даже Аньезе, сама Аньезе, зачинщица дела, впала в раздумье и с трудом находила слова, чтобы подбодрить дочь. Однако, когда наступает момент действовать, душа пробуждается и совершенно преобразается. Страх и смелость, боровшиеся друг с другом, сменяются иными страхами и иной смелостью; задуманное встает перед нашим умственным взором совсем по-новому: то, что прежде страшило больше всего, кажется вдруг легко исполнимым; и наоборот, препятствие, на которое прежде едва обращали внимание, представляется огромным; воображение в отчаянии бьет отбой; руки и ноги словно отказываются повиноваться, и сердце не держит обещаний, данных с такою уверенностью. Когда Ренцо робко постучался в дверь, Люцию охватил такой ужас, что она решила претерпеть все, что угодно, разлучиться с ним навеки, только бы не выполнять принятого решения. Но когда он показался и сказал: «Вот и мы, — идем!», когда все обнаружили готовность тронуться в путь без колебаний, так как дело было решено бесповоротно, у Люции не хватило духу оказать сопротивление, и, с трепетом взяв под руку мать, она тронулась со всей компанией искателей приключений, словно увлекаемая неведомой силой.

Молча и неторопливо вышли они из своего домика в темноту и пустились в путь стороной от деревни. Проще всего было бы просто-напросто пересечь деревню, — это привело бы их прямо к дому дона Абондио; но они выбрали обходный путь, чтобы остаться незамеченными. Тропинками меж садов и полей приблизились они к дому курато и тут разделились. Обрученные спрятались за углом дома. Аньезе осталась с ними, но держалась несколько впереди, чтобы вовремя перехватить и задержать Перпетую. Тонио с придурковатым Жервазо, который ничего не умел делать без указки, но без которого никак нельзя было обойтись, смело подошли к двери и постучали.

— Кто это в такую поздноту? — раздался голос из растворившегося окна: то был голос Перпетуи. — Больных на деревне, кажись, нет. Уже не несчастье ли какое стряслось?

— Это я, — отвечал Тонио, — я с братишкой, нам надо поговорить с синьором курато.

— Да разве это время для крещеных людей? — отрезала Перпетуя. — Куда как вежливо! Приходите завтра.

— Послушайте-ка: то ли я приду, то ли нет. Я получил кое-какие деньжонки и пришел заплатить долгишко, — вы про него знаете. Я принес двадцать пять новеньких берлинг. Ну, коли нельзя, так уж потерпите, эти я и так сумею истратить, а приду, когда наберу другие.

— Погодите, погодите, — я мигом. Но зачем же приходить в такой час?

— Да ведь я сам только что получил их. Я и подумал, — коли они у меня переночуют, еще неизвестно, как мне насчет них завтра заблагорассудится. Впрочем, что ж поделаешь, — если вам час неудобен, я не возражаю. Я пришел, — ну, а если не вовремя, так я уйду.

— Нет, нет, погодите минутку, я сейчас вернусь с ответом.

С этими словами она закрыла окно. Тут Аньезе отделилась от обрученных и, шепнув Лючии: «Смелей, ведь это всего одна минута, все равно, что зуб вырвать», — присоединилась к двум братьям, стоявшим у входа. Она принялась болтать с Тонио, чтобы Перпетуя, вернувшись отворить дверь, подумала, что она очутилась тут случайно и Тонио на минутку задержал ее.

Глава восьмая

«Карнеад! Кто же это?» — соображал про себя дон Абондио, сидевший в кресле в одной из комнат верхнего этажа, держа перед собой открытую книжицу, когда вошла Перпетуя с докладом. «Карнеад! Где-то я встречал либо слышал это имя; должно быть, это был ученый человек, какой-нибудь знаток литературы в древности, непременно кто-нибудь из таких, однако что же это был за дьявол, в самом деле?» Бедняга был очень далек от того, чтобы предвидеть, какая буря собиралась над его головой.

Следует сказать, что дон Абондио ежедневно немного почитывал для своего удовольствия. Один соседний курато, имевший небольшую библиотеку, давал ему книжку за книжкой из первых попадавшихся под руку. Книга, над которой в данный момент размышлял дон Абондио, оправлявшийся от вызванной перепугом лихорадки, пожалуй, даже более оправившийся (по крайней мере от лихорадки, если не от страха), чем ему хотелось бы это показать, была панегириком в честь Сан-Карло, произнесенным с большим подъемом и выслушанным с восхищением в Миланском соборе два года назад. За любовь свою к науке святой приравнивался здесь к Архимеду, — и до этого места дон Абондио читал не спотыкаясь, потому что ведь Архимед занимался такими любопытными вещами, так много заставил говорить о себе, что, и не обладая большой ученостью, можно было кое-что знать о нем. Но

вслед за Архимедом оратор привлекал к сравнению также и Карнеада — и тут читавший сел на мель. В этот момент и вошла Перпетуя, возвестив о приходе Тонио.

— Так поздно? — удивился в свою очередь дон Абондио, что было вполне естественно.

— Чего же вы хотите? Какой от них можно ждать деликатности? Но если его не поймать на лету...

— Конечно, если я не поймаю его сейчас, кто знает, когда придется его поймать! Пусть войдет... Ой ли? А ты вполне уверена, что это именно он?

— Да ну вас, — ответила Перпетуя и пошла вниз. Она отворила дверь и крикнула: «Где вы там?» Показался Тонио, и тут же выступила вперед Аньезе, окликнув Перпетую по имени.

— Добрый вечер, Аньезе, — сказала Перпетуя, — откуда это вы так поздно?

— Да я из... — и она назвала соседнюю деревушку. — Кабы вы знали, — продолжала она, — я и задержалась-то там из-за вас...

— Как так? — спросила Перпетуя и, обратившись к братьям, произнесла: — Входите же, я мигом за вами.

— А так, — отвечала Аньезе, — одна женщина из тех, что дела не знают, а говорить горазды, — вы только подумайте! — без конца повторяла, что вы не вышли замуж ни за Беппе Суолавеккиа, ни за Ансельмо Лунгинья потому, что они вас не хотели брать. А я доказывала, что вы сами им отказали, и тому и другому...

— Конечно же. Ах она, лгунья, вот лгунья-то! Да кто же это такая?

— Не спрашивайте меня об этом, я не хочу людей ссорить.

— Ну, мне-то уж скажите, вы должны мне сказать, — ах лгунья!

— Ну, словом... вы не поверите, как мне было досадно, что я не знала как следует всей этой истории, я бы ее приперла к стенке.

— Вы только подумайте! — снова воскликнула Перпетуя. — Можно ли так сочинять? — И тут же подхватила: — Уж насчет Беппе все знают, и все могли видеть... Эй, Тонио, притворите-ка дверь и идите себе наверх, я сейчас. — Тонио отозвался изнутри: «Ну что ж», — а взволнованная Перпетуя продолжала свой рассказ.

Против дверей дона Абондио, между двумя жалкими хижинами, пролежала узенькая тропка, которая, обогнув их, сворачивала в поле. Аньезе пошла по ней, делая вид, что ей хочется отойти немного к сторонке, чтобы поговорить на свободе; Перпетуя последовала за ней. Когда они свернули и очутились в таком месте, откуда уже нельзя было видеть того, что происходило перед домом дона Абондио, Аньезе громко

кашлянула. Это был условный знак. Ренцо услышал его, ободрив пожатием руки Лючию, и они потихоньку, на цыпочках, выступили вперед, держась поближе к стене; подойдя ко входу, они легонько толкнули дверь и украдкой, пригнувшись, вошли в переднюю, где их уже поджидали оба брата. Ренцо как можно тише затворил дверь. И все четверо стали взбираться по лестнице, стараясь шуметь не больше, чем один человек. Добравшись до площадки, братья подошли к двери, которая приходилась сбоку от лестницы; жених с невестой прижались к стене.

— Deo gratias!¹ — громко возгласил Тонио.

— Тонио, это вы? Войдите! — произнес голос изнутри.

Позванный приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть ему с братом, друг за дружкой. Полоса света, внезапно упавшая на темный пол площадки, заставила Лючию вздрогнуть, словно ее обнаружили. Когда братья вошли, Тонио затворил за собой дверь. Жених с невестой остались впотьмах, неподвижные; они напряженно прислушивались, сдерживая дыхание. В тишине было слышно, как стучало бедное сердечко Лючин.

Как мы уже сказали, дон Абондио сидел, при скудном свете крошечного светильника, в потертом кресле, закутавшись в поношенную сутану. На голове у него была старенькая папалина, обрамлявшая его лицо. Две пышные прядки, выбивавшиеся из-под шапочки, густые брови, густые усы, густая эспаньолка — все это, седое и разбросанное по смуглому морщинистому лицу курато, походило на усыпанные снегом кустики, торчащие из расщелины скалы и озаренные лунным светом. А приветствовал он Тонио, снимая очки и закладывая ими книжонку.

— Вы, пожалуй, скажете, синьор курато, что я пришел не вовремя, — сказал Тонио с поклоном, который вслед за ним довольно неуклюже повторил Жервазо.

— Разумеется, поздно, — во всех отношениях поздно! Вы же знаете, что я болен?

— О, мне очень жаль!

— Наверное, вы слышали об этом. Я болен и не знаю, когда смогу снова показаться на людях... Но зачем же вы привели с собой этого... этого парнишку?

— Да так, за компанию, синьор курато.

— Ну что ж. Посмотрим!

— Тут двадцать пять новых берлинг, тех самых, со святым Амброджо на коне, — сказал Тонио, вынимая из кармана сверточек.

— Посмотрим, — повторил дон Абондио.

И, взяв сверток, он снова надел очки, развернул его, вы-

¹ Благословен Господь! (лат.)

сыпал берлинги, пересчитал и повертел их во все стороны, но не нашел ни малейшего изъяна.

— Теперь, синьор курато, верните мне ожерелье моей Теклы.

— Правильно, — ответил дон Абондио.

Он подошел к шкафу, вынул из кармана ключ и, оглядевшись кругом, словно желая удержать всяких непрошенных зрителей подальше, слегка приоткрыл дверцу, заполнил отверстие своей особой, засунул внутрь голову, чтобы разглядеть ожерелье, и руку, чтобы взять его, взял и, заперев шкаф, вручил ожерелье Тонио со словами: «Все в порядке?»

— Теперь, — сказал Тонио, — будьте добры, пропишите черным по белому...

— Это еще к чему? — сказал дон Абондио. — Ведь все же и без того знают. Ох! Какие люди стали подозрительные! Вы что же, не верите мне?

— Как можно, синьор курато! Неужто я не верю? Вы меня обижаете! Но ведь поскольку мое имя у вас записано в книжечке, на стороне дебета, если вы уж потрудились записать один раз, так, знаете, ведь никто не волен в животе и в смерти...

— Ну ладно, ладно! — прервал его дон Абондио и, с ворчанием выдвинув из столика ящичек, вынул оттуда бумагу, перо и чернильницу и принялся писать, повторяя вслух слова, по мере того как они выходили из-под пера.

Тем временем Тонио, а по его знаку и Жервазо, расположились перед столиком так, чтобы заслонить от пишущего входную дверь; и, как бы от нечего делать, начали шаркать ногами по полу, чтобы дать знать ожидавшимися за дверью, что пора входить, а вместе с тем заглушить и шум их шагов. Дон Абондио, погруженный в свое писание, ничего не замечал.

Когда зашаркали в четыре ноги, Ренцо взял Лючию за руку, ободряюще пожимая ее, и двинулся, увлекая за собой невесту, которая вся дрожала и была не в силах сойти с места. Они вошли тихо-тихо, на цыпочках, сдерживая дыхание, и спрятались за спиной братьев. Тем временем дон Абондио, окончив писать, стал внимательно перечитывать написанное, не отрывая глаз от бумаги. Затем он сложил ее вчетверо и, со словами: «Теперь вы будете довольны?» — снимая очки с носа одной рукой, другой протянул бумагу Тонио, подняв на него глаза. Тонио, протягивая руку за бумагой, отступил в сторону, Жервазо, по его знаку, — в другую, и между ними, словно при раздвинувшемся занавесе, появились Ренцо и Лючия. Дон Абондио сначала неясно, а потом отчетливо увидел все, испугался, онемел, пришел в бешенство, сообразил, что к чему, принял решение, — и все это за время, которое потребовалось Ренцо для произнесения слов: «Синьор курато, в присутствии этих свидетелей заявляю: она моя жена». Еще не успели сомкнуться его уста, как дон Абондио, бросив бумагу, схватил левой рукой

светильник, а правой стащил со столика ковровую скатерть и, прижав ее к себе, уронив впопыхах наземь книгу, бумагу, чернильницу и песочницу, пробрался между креслом и столиком, приблизившись к Люции. Бедняжка своим милым и в ту пору дрожащим голоском едва успела вымолвить: «А это...», как дон Абондио грубо набросил ей скатерть на голову, закрыв лицо, чтобы помешать произнести до конца всю формулу. И тут же, бросив светильник, который он держал в другой руке, обеими руками так закутал Люцию в ковер, что она чуть не задохнулась. При этом он принялся кричать во все горло: «Перпетуя! Перпетуя! Измена! Помогите!» Светильник, угасавший на полу, слабым мигающим светом освещал Люцию, которая, совершенно растерявшись, не пыталась даже выпутаться из ковра, и могла сойти за изваяние, вылепленное из глины, на которое мастер набросил сырую ткань. Когда свет совсем погас, дон Абондио бросил бедняжку и принялся ощупью искать дверь в другую, внутреннюю комнату: обнаружив ее, он вошел туда и заперся, не переставая кричать: «Перпетуя! Измена! Помогите! Вон из моего дома, вон!»

В соседней комнате царил полнейшее смятение. Ренцо пытался поймать синьора курато и разводил руками, словно играя в жмурки. Добравшись до двери, он начал стучать в нее, громко выкрикивая: «Отоприте, отоприте же, не поднимайте шума!» Прерывающимся голосом Люция старалась остановить Тонио и умоляюще повторяла: «Уйдем, ради Бога, уйдем!» Тонио на четвереньках шарил руками по полу, чтобы все-таки заполучить свою расписку. Жервазо, словно одержимый, орал и скакал, стараясь выбраться и удрать подобру-поздорову.

Среди этой суматохи нам приходится сделать минутную остановку для некоторых размышлений. Ренцо, скандаливший ночью в чужом доме, пробравшийся в этот дом украдкой и осадивший самого хозяина в одной из комнат, являлся как бы завзятым насильником, а между тем он, по сути дела, был обиженным. Дон Абондио, захваченный врасплох, обращенный в бегство и доведенный до ужаса в тот самый момент, когда он мирно предавался своим занятиям, как будто являл из себя жертву — между тем, в сущности, именно он-то и был обидчиком. Так часто бывает на этом свете, — я хочу сказать, так бывало в семнадцатом веке.

Не видя признаков отступления врага, осажденный отворил окно, выходившее на церковную площадь, и принялся кричать: «Помогите! Помогите!» Луна светила вовсю. Тень от церкви, а за ней длинная, остроконечная тень колокольни лежали резким черным пятном на заросшей травой ярко озаренной площади: любой предмет был четко видим почти как днем. Но куда ни кинешь взгляд, нигде ни малейшего признака живого существа. Однако к боковой стене церкви, как раз со стороны, обращенной к приходскому дому, примыкало

небольшое жилье, каморка, где спал пономарь. Разбуженный неистовым криком, он очнулся от сна, поспешно слез с кровати, открыл створку своего оконца, высунул наружу голову и, не успев еще продрать глаза, произнес:

— Что случилось?

— Скорей, Амброджо, на помощь! Люди забрались в дом! — закричал ему дон Абондио.

— Сейчас, — ответил пономарь, пряча голову.

Он затворил окно и, полусонный, здорово перепуганный, тут же нашел способ помочь беде — в большей даже степени, чем его о том просили, не принимая, однако, участия в свалке, какая она там ни будь. Схватив штаны, лежавшие у него на постели, и сунув их под мышку, словно парадную шляпу, он вприпрыжку спустился по деревянной лестнице, подбежал к колокольне, схватился за веревку большего из двух колоколов и ударил в набат.

Дон-дон-дон-дон! Крестьяне с перепугу крестятся, спростывая не спускают ног с кровати; парни, развалившиеся на сеновале, прислушиваются, поднимаются. «Что такое? Набат? Пожар? Воры? Разбойники?» Иные жены увещевают своих мужей, умоляя их не трогаться с места, — пусть идут себе другие. И все же некоторые встают, подходят к окну: трусы делают вид, что сдаются на уговоры жен, и возвращаются; кто полюбопытнее и похрабрее, идет вниз за вилами и мотыгами и устремляется на шум; третьи только глазек.

Но, прежде чем одни оказались на месте происшествия, прежде даже, чем другие успели вскочить на ноги, шум долетел до слуха тех, кто был неподалеку, на ногах и одет. То были — бравы с одной стороны, Аньезе и Перпетуя — с другой. Сначала вкратце расскажем про первых, о том, что они делали с той минуты, как мы их покинули в остерии. Эти трое, заметив, что все двери заперты и улица опустела, поспешно вышли из остерии, словно вдруг сообразив, что засиделись слишком поздно, и заявив, что торопятся домой; они обошли всю деревню, дабы окончательно убедиться, что все уgomонились; и действительно, они не встретили ни живой души, не услышали ни малейшего шороха. Прошли они со всяческими предосторожностями и мимо нашего бедного домика, где царила полнейшая тишина, — ведь в нем уже никого не было. Тогда они, не мешкая, отправились в хижину и доложили обо всем синьору Гризо. Он тут же надел на голову большую старую шляпу, набросил на плечи воощеный полотняный плащ пилигрима, обвешанный ракушками, взял в руки страннический посох и, сказав: «Пошли, смелей! смирно, смотрите вы, слушать мои приказания!» — первым тронулся в путь, остальные за ним.

Мигом добрались они до домика улицей, противоположной той, по которой ушла наша небольшая компания, тоже отправившаяся в свою экспедицию. На расстоянии нескольких

шагов Гризо остановил свою шайку и пошел на разведку один. Видя, что снаружи безлюдно и спокойно, он подозвал двоих из своей своры, приказал им потихоньку перелезть через стену, окружавшую дворик, и, спустившись внутрь, спрятаться в углу за густым фиговым деревом, которое он заметил еще утром. После этого он тихонько постучался, намереваясь притвориться заблудившимся странником и попросить приюта до наступления дня. Никто не отвечал. Он постучал немного сильнее, — полная тишина. Тогда он кликнул третьего разбойника и велел ему, по примеру двух других, спуститься во дворик и потихоньку снять засов, чтобы обеспечить себе свободный вход и выход. Все это было выполнено с большой осторожностью и прошло благополучно. Затем, позвав остальных, он вошел вместе с ними во двор, велел им спрятаться рядом с первыми, бесшумно приблизился к выходу на улицу и поставил там двух караульных с внутренней стороны, после чего, крадучись, подошел ко входу в нижний этаж. Здесь он снова постучался, — жди не жди, толку мало! Тогда он потихоньку открыл дверь. Изнутри никто не спросил: «Кто там?» Никого не было слышно, — словом, все шло как нельзя лучше. Стало быть — вперед. «Пст!» — подозвал он стоявших у фигового дерева и вошел с ними в комнату нижнего этажа, где поутру он коварно выпросил кусок хлеба. Вынув трут, кремень, огниво и серные спички, он зажег свой маленький фонарик и вошел в следующую, самую дальнюю комнату, чтобы убедиться, что там никого нет, — в самом деле, никого! Гризо вернулся назад, подошел к лестнице и, вглядываясь в темноту, стал прислушиваться: безлюдье и молчание. Он поставил еще двух караульных в нижнем этаже и взял с собой Гриньяпока. Это был браво из Бергамского края, — ему одному было поручено угрожать, унимать, приказывать, вообще вести все разговоры, для того чтобы Аньезе могла по его говору подумать, что весь заговор затеян именно в Бергамо. Они двигались бок о бок, остальные шли сзади. Гризо тихо-тихо поднимается наверх, проклиная в душе каждую заскрипевшую ступеньку, каждый шаг этих проходивших, производивших шум. Вот уже он наверху. Здесь залег заяц! Он легонько толкает дверь, ведущую в первую комнату; дверь поддается, образуя щель, он заглядывает в нее: темно; он прислушивается, не храпит ли кто, не вздыхает ли, не копошится ли внутри: все тихо. Стало быть, можно вперед! Подняв фонарь к лицу, направляя свет вперед, чтобы видеть, оставаясь в тени, он распахнул дверь; пред ним кровать, он к ней; постель накрыта и взбита, покрывало наброшено на изголовье. Гризо пожал плечами, повернулся к товарищам, давая им понять, что идет в другую комнату и они должны следовать за ним; войдя в следующую комнату, он видит там то же самое. «Что за чертовщина! — вскрикнул он. — Уж не выдал ли нас какой-нибудь пес-изменник?» Остальные,

уже с меньшей осторожностью, принялись шарить по всем углам, переворачивая все вверх дном. Пока разбойники были заняты, те двое, что караулили у выхода на улицу, услышали частые, быстро приближающиеся шаги; кто бы то ни был, решили они, он непременно пройдет мимо, и, притихнув, брави на всякий случай насторожились. Действительно, шаги затихли как раз у входа. То был Менико, стремглав спешивший по поручению падре Кристофоро предупредить обеих женщин, чтобы они ради самого неба немедленно ушли из своего дома и укрылись в монастыре, потому что... ну, почему, это уж вам известно, читатель! Менико взялся за скобу засова, собираясь постучать, и почувствовал, что он болтается у него в руке, что он выдернут и снят. «Что за оказия?» — подумал он и в страхе толкнул дверь — она сразу открылась. Менико с величайшей осторожностью переступает порог и вдруг чувствует, как его хватают за руки, и слышит, как два тихих, полных угрозы голоса произносят с обеих сторон: «Молчи, не то убьем!» Он испустил страшный крик, но один из разбойников закрыл ему рот рукой, а другой вытащил огромный нож, чтобы припугнуть его. Мальчишка затрясся как осиновый лист и уж не пытался кричать, ибо в то же мгновение тишину прорезал громкий удар набатного колокола, а потом, один за другим, полился целый поток ударов. «На воре шапка горит», — говорит пословица; каждому из двух пройдох в этом звоне почудилось его собственное имя и прозвище; они отпустили Менико и, разинув рты, развели руками, глядя друг на друга, а затем бросились в дом, где находилась большая часть шайки. Менико — прочь без оглядки, прямо к колокольне, где уж наверняка кто-нибудь да был. На других пройдох, обшаривавших дом, страшный набат произвел такое же впечатление. Насторожившись и придя в замешательство, они бросились к выходу, ища кратчайший путь, натывая друг на друга. Между тем все это был народ испытанный и ко всему привычный, но и они не смогли устоять перед неведомой опасностью, к тому же совершенно непредвиденной и свалившейся на них как снег на голову. Потребовалось все самообладание Гризо, чтобы удержат всех вместе и не дать отступлению превратиться в паническое бегство. Подобно тому, как пес, сопровождающий свиней, подбегает то с той, то с другой стороны к отбивающимся от стада, одну ухватит зубами за ухо и втянет обратно, другую толкнет мордой, полагает на третью, которая как раз в этот момент выбегает из рядов, — так и тут наш странник схватил за волосы одного из тех, кто уже был на пороге, и втащил его обратно; посохом загнал назад сунувшихся туда же; обругал других, метавшихся взад и вперед, не зная, куда броситься. В конце концов он согнал всех на середину двора.

— Живо! Пистолеты в руки! Ножи наготове; держаться

вместе и марш за мной! Дурьи вы головы, кто же посмеет нас тронуть, если мы будем держаться вместе? А если дадим пере-хватать себя поодиночке, тогда всякий мужик с нами справится. Стыдитесь! За мной, эй вы, дружно!

Вслед за этим кратким обращением он стал во главе шайки и вышел первым. Дом, как мы уже говорили, стоял на краю деревни. Гризо пошел по улице, ведущей в поле, и все последовали за ним в полном порядке.

Оставим их идти и вернемся немного назад — займемся Аньезе и Перпетуей, которых мы оставили на тропинке. Аньезе старалась насколько возможно подальше увести свою приятельницу от дома дона Абондио, и до известного момента дело шло отлично. Но вдруг служанка вспомнила, что дверь не заперта, и захотела вернуться обратно. Возражать было нечего; чтобы не вызывать лишних подозрений, Аньезе пришлось повернуть вслед за Перпетуей и пойти за ней, стараясь, однако, задерживать ее всякий раз, когда замечала, что та приходила в экстаз, повествуя о вылетевших в трубу брачных проектах. Аньезе приняла вид усердной слушательницы и время от времени, желая показать, что следит за рассказом или чтобы оживить болтовню, произносила: «Так, так... теперь я все понимаю... превосходно... ясное дело. А потом? А он что? А вы?» Тем временем про себя Аньезе думала совсем другое: «Ушли они или все еще там? Какого дурака свалили мы все трое, не условившись, чтобы они подали какой-нибудь сигнал, когда дело благополучно закончится. Большая глупость, но теперь уж ничего не поделаешь. Как бы только изловчиться и, насколько возможно, задержать ее еще, ну, в крайнем случае придется с ней еще поваландаться».

Так, шаг за шагом, то продвигаясь вперед, то останавливаясь, приблизились они к жилью дона Абондио, но дома еще не было видно за поворотом. Подойдя как раз к важному моменту своего рассказа, Перпетуя дала себя остановить, не оказывая сопротивления и даже не заметив этого, как вдруг неподвижный воздух среди безмолвия ночи прорезал отчаянный крик дона Абондио, доносившийся откуда-то сверху: «Помогите, помогите!»

— Господи помилуй! Что случилось? — вскрикнула Перпетуя и бросилась было бежать.

— Что, что такое? — закричала Аньезе, хватая ее за юбку.

— Господи помилуй! Вы разве не слышали? — отвечала та, стараясь вырваться.

— Что такое? Что случилось? — повторила Аньезе, удерживая ее за руку.

— Подите вы ко всем чертям! — крикнула Перпетуя, отталкивая Аньезе и вырываясь, а затем пустилась бежать. В это время донесся отдаленный, еще более пронзительный и неожиданный, страшный крик Менико.

— Господи помилуй! — закричала теперь и Аньезе и помчалась за Перпетуей.

Но не успели, так сказать, сверкнуть их пятки, как вдруг раздался набатный колокол — раз, два, три и дальше, удар за ударом. Эти удары могли бы пришпорить их, будь в том надобность! Перпетуя прибыла на место минутой раньше и бросилась отворять дверь, но дверь сама распахнулась, и на пороге показались Тонио, Жервазо, Ренцо и Лючия, которые, отыскав лестницу, вприпрыжку спускались по ней, а услышав страшный набатный звон, бросились искать спасения в поспешном бегстве.

— Что такое? Что такое? — задыхаясь, спросила Перпетуя братьев, но те ответили ей лишь грубым толчком и удрали. — И вы! Как? Вы что тут делаете? — спросила она затем нашу парочку, узнавая ее.

Однако и они удалились, не дав ответа. Перпетуя, спешившая на помощь туда, где в ней нуждались всего больше, не стала терять времени, быстро вошла в переднюю и, как могла, на ощупь, бросилась к лестнице.

Жених с невестой, так и оставшиеся лишь обрученными, столкнулись лицом к лицу с Аньезе, прибежавшей впопыхах.

— А, вы здесь! — сказала она, с трудом произнося слова. — Как же прошло дело? Что это за звон? Я никак слышала...

— Домой, скорей домой, — проговорил Ренцо, — домой, пока не собрался народ.

И они пустились было наутек. Но тут прибежал Менико и, узнав их, весь дрожа, проговорил охрипшим голосом:

— Куда вы? Назад, назад! Идите туда, в монастырь!

— Так это ты?... — начала была Аньезе.

— Это что еще такое? — спросил Ренцо.

Лючия, совершенно растерявшись, молча вздрагивала.

— Сам дьявол в доме, — задыхаясь, продолжал Менико. — Я видел их, они хотели убить меня. Падре Кристофоро сказал, — да, и вы, Ренцо, — он сказал, чтобы вы тоже приходили сейчас же, и потом — я же их видел воочию, по счастью, я нашел всех вас здесь. Я расскажу вам все потом, когда выберемся отсюда.

Ренцо, растерявшийся меньше других, подумал, что, так или иначе, надо уходить как можно скорее, прежде чем соберется народ, и что всего надежнее было бы поступить по совету или, лучше сказать, по настоянию насмерть перепуганного Менико. А по дороге, избежав опасности, можно будет потребовать у мальчика более толкового объяснения.

— Ступай вперед, — сказал он Менико. — Мы пойдем с ним, — обратился он к женщинам.

Они быстро повернули по направлению к церкви, пересекли площадь, где по милости неба еще не было ни одной живой души, вошли в улочку, пролежавшую между церковью

и домом дона Абондио, пролезли в первую попавшуюся им в изгороди дыру и бросились в поле.

Не успели они пройти, пожалуй, и полсотни шагов, как на площадь стала стекаться толпа, с каждой минутой возрастающая. Люди глядели друг на друга, у каждого на языке вертелся вопрос, ни у кого не было ответа. Прибежавшие первыми бросились к церковной двери, — она была на запоре. Тогда они побежали к колокольне, и один из них, приставив рот к небольшому окошку, вроде бойницы, крикнул внутрь: «Кой черт там звонит?» Услышав знакомый голос, Амброджо бросил веревку и, поняв по гомону, что народу сбежалось много, ответил: «Я сейчас отопру». Наспех надев принесенную с собой под мышкой амуницию, он прошел изнутри к церковной двери и отпер ее.

— Что значит весь этот шум? Что случилось? Где? Кто?

— Как это где? — сказал Амброджо, придерживая одной рукой дверь, а другой ту самую амуницию, которую он наспех напялил. — Как! Вы не знаете? У синьора курато в доме разбойники. Смелей, ребята, на помощь!

Все устремились к дому курато и, подойдя к нему толпой, стали, прислушиваясь, смотреть наверх; в доме стояла полная тишина. Некоторые забежали со стороны двери: она была заперта, и не было заметно, чтобы кто-нибудь к ней прикасался.

Тогда, в свою очередь, поглядели наверх — ни одного открытого окна, ни малейшего шороха.

— Есть там кто внутри? Эй, синьор курато! Синьор курато!

Дон Абондио, который, едва лишь заметил бегство незваных гостей, отошел от окна, запер его и в данную минуту шепотом пререкался с Перпетуей, бросившей его одного в таком затруднительном положении, должен был, по требованию собравшегося народа, снова появиться у окна. Увидав столь огромное подкрепление, он раскаялся в том, что вызвал его.

— Что тут было? Что с вами сделали? Кто они такие? Где они? — кричали ему разом пятьдесят голосов.

— Никого уже больше нет. Спасибо вам, расходитесь по домам.

— Но кто же это был? Куда они ушли? Что случилось?

— Дурные люди, что шлятся по ночам, — но они уже разбежались. Ступайте домой; никого больше нет; еще раз, дети мои, спасибо вам за доброе ваше отношение. — С этими словами он скрылся, затворив окно.

Тут одни принялись ворчать, другие — напевать, третьи — ругаться. Некоторые пожимали плечами и уходили. Вдруг появился новый человек; совсем запыхавшись, он с трудом выговаривал слова. Человек этот жил почти напротив дома Аньезе. Когда начался шум, он выглянул из окна и увидел происходивший во дворике переполох среди бравы, которых Гризо старался успокоить. Переведя дух, он крикнул в толпу:

— Что вы тут делаете, ребята? Дьявол не тут, а в конце улицы. Внизу, в доме Аньезе Монделла, какие-то вооруженные люди, они там, в доме; никак, собираются убить какого-то странника. Кто знает, что там за дьявольщина!

— Что? Что такое? — началось беспорядочное совещание. — Надо идти. Надо посмотреть. Сколько их? А нас сколько? Кто они? Консула сюда, консула!

— Я здесь, — отозвался консул из середины толпы, — я здесь, но вы должны мне помочь и слушаться беспрекословно. Живо! Где пономарь? Звони всюю! Быстро! Бегите кто-нибудь за помощью в Лекко! Идите все сюда...

Кто приблизился, а кто за спиной у других и удрал. Шум стоял страшный, как вдруг появился новый свидетель, видевший собственными глазами, как незнакомцы поспешно удирали, и завопил:

— Спешите, ребята, — воры, либо разбойники, убегают с каким-то странником; они теперь уже за деревней. Держи их!

В ответ на это сообщение вся толпа, не дожидаясь приказаний начальства, пришла в движение и врассыпную бросилась вниз по улице. По мере того как воинство подвигалось вперед, кое-кто из шедших первыми замедлял шаг, давая обогнать себя другим, и застревал в самой гуще боевой массы, задние проталкивались вперед, и, наконец, вся вереница в беспорядке достигла места назначения.

Свежие следы нашествия были налицо: дверь настежь, засов снят, но самих разбойников и след простыл. Вошли во дворик, подошли к двери нижнего этажа — она тоже оказалась отпертой и сорванной. Стали звать:

— Аньезе! Лючия! Странник! Где странник? Знать, Стефано видел его во сне, странника-то!

— Да нет же, нет. Карландреа тоже видела его. Эй, странник! Аньезе! Лючия!

Ответа нет.

— Они утащили их с собой, утащили с собой.

Нашлись такие, что громогласно стали требовать преследования похитителей: ведь это неслыханная гнусность, и было бы позором для всей деревни, если бы любой негодяй мог безнаказанно заявляться и таскать женщин, словно коршун цыплят с покинутого гумна. Новое и более шумное совещание, вдруг кто-то (потом так и не удалось узнать, кто же это был) пустил слух, что Аньезе и Лючия укрылись в одном доме. Слух быстро распространился, ему поверили; о преследовании беглецов сразу перестали говорить, толпа рассыпалась, и все разошлись по домам. Поднялось шушуканье, шум, стучали в двери, отворяли, появлялись и исчезали огоньки, женщины, высунувшись из окон, задавали вопросы, им отвечали снаружи. Когда же улица опустела и все затихло, разго-

воры продолжались по домам, перемежаясь с зевотой, с тем чтобы поутру возобновиться.

Новых событий, впрочем, не произошло, если не считать того, что в это самое утро консул стоял у себя в поле, подперев подбородок рукой и опираясь локтем на рукоятку заступа, наполовину погруженного в землю, а ногою на самый заступ. Он стоял, обдумывая про себя тайны минувшей ночи и сложный вопрос о том, что ему надлежало сделать и как было выгоднее всего поступить. Вдруг он увидел, что навстречу ему идут два человека довольно вызывающего вида, длинноволосые, наподобие первых франкских королей, а в остальном чрезвычайно похожие на тех двух субъектов, что за пять дней до того пристали к дону Абондио, если только это не были те же самые. Они нагло потребовали от консула, чтобы он никоим образом не докладывал синьору подеста о происшедшем, а в случае, если его спросят, не говорил бы правды, да чтобы не болтал зря сам и не поощрял болтовни крестьян, если только ему дорога надежда мирно скончаться в собственной постели.

Наши беглецы довольно долго шли молча, быстрым шагом, поочередно оборачиваясь назад, чтобы поглядеть, нет ли погони: все были удручены утомительным бегством, обеспокоены неизвестностью, в которой очутились, огорчены неудачей предприятия и полны смутным страхом перед новой, неопределенной опасностью. Это тревожное чувство усиливал непрерывно преследовавший их набатный звон, который, по мере удаления, долетал до них все слабее и приглушеннее, но зато, казалось, становился все печальнее и зловещее. Наконец он прекратился. Только тогда беглецы, находясь уже в безлюдном поле и не слыша вокруг ни малейшего шороха, замедлили шаг. Немного отдышавшись, Аньезе первая прервала молчание и принялась расспрашивать Ренцо, как было дело, а Менико — как случилось, что какой-то дьявол проник к ним в дом. Ренцо вкратце рассказал печальную историю, а затем все трое обратились к мальчику, который уже более обстоятельно передал предостережение падре Кристофоро и рассказал обо всем, что сам видел, и об опасности, какой он подвергся. Все это, увы, лишний раз подкрепляло предостережение падре. Слушатели поняли больше того, что сумел рассказать Менико: это открытие заставило их содрогнуться. Все трое сразу остановились, с ужасом глядя в глаза друг другу. И тут же, в единодушном порыве, все трое положили руку — кто на голову, кто на плечи мальчику, словно желая приласкать его и молча поблагодарить за то, что он явился их ангелом-спасителем. Выражая свое сочувствие по поводу пережитого им волнения и опасности, которой он подвергался ради их спасения, они почти готовы были просить у него за это прощения. «А теперь возвращайся домой, чтобы твои

больше не тревожились за тебя», — сказала ему Аньезе и, вспомнив про обещанные две монетки, вынула из кармана целых четыре и отдала ему со словами: «Ну, ладно, моли Бога, чтобы нам скорее увидеться снова, и тогда...» Ренцо дал Менико новенькую берлингу и долго внушал ему ничего никому не говорить о поручении падре Кристофоро; Лючия еще раз приласкала мальчика и простилась с ним взволнованным голосом. Растроганный Менико простился со всеми и повернул назад. А те пошли своей дорогой в глубоком раздумье, — женщины впереди, Ренцо за ними, охраняя их путь. Лючия крепко держала мать под руку, мягко и осторожно отклоняя помощь, которую Ренцо предлагал ей в трудных местах этого путешествия, когда шли по проселкам: ей было стыдно, что она, пусть даже при исключительных обстоятельствах, так долго оставалась наедине с ним и допустила подобную близость, — правда, она надеялась вот-вот стать его женой. Теперь, когда ее мечты так горестно развеялись, Лючия раскаивалась в том, что зашла слишком далеко, и к многочисленным ее волнениям прибавилось теперь еще и чувство стыда, порожденного не печальным познанием зла, а стыда беспричинного, больше похожего на страх ребенка, который дрожит в потемках, сам не зная почему.

— А дом? — вдруг сказала Аньезе.

Но как ни важен был этот вопрос, никто ей не ответил, потому что никто не мог дать удовлетворительного ответа. Молчаливо продолжали они свой путь и немного спустя вышли, наконец, на небольшую площадь перед монастырской церковью. Ренцо подошел к двери и тихонько толкнул ее. Дверь тут же подалась, и луна, прокравшись в отверстие, осветила бледное лицо и серебряную бороду падре Кристофоро, который стоял на пороге и ждал. Увидя всех троих, он произнес: «Слава Богу!» — и жестом пригласил пришедших войти. Рядом с ним стоял другой капуцин, — то был послушник-пономарь, которого падре Кристофоро просьбами и убеждениями уговорил бодрствовать вместе с собой и, оставив входную дверь незапертой, быть на страже, с тем чтобы принять несчастных, которым угрожала страшная опасность. Только немалый авторитет падре Кристофоро и его репутация святого человека помогли добиться от послушника такой опасной и противной уставу уступчивости.

Когда они вошли, падре Кристофоро тихо притворил за ними дверь. Тут уж пономарь не мог сдержаться и, отозвав падре Кристофоро в сторону, зашептал ему на ухо: «Как же это так, падре! Ночью... в церкви... с женщинами запираться... как быть с уставом-то... падре?» И он покачал головой. В то время как он выдавливал из себя эти слова, падре Кристофоро думал: «Вот подите же: будь то преследуемый разбойник, фра Фацио не стал бы чинить ему ни малейших препятствий,

а бедная невинная девушка, которой удалось вырваться из волчьих когтей...»

— *Omnia munda mundis*¹, — произнес он, повернувшись вдруг к фра Фацио и забывая, что тот не понимает по-латыни. Но эта забывчивость как раз и возымела нужное действие. Начни падре Кристофоро спорить, опираясь на доводы, фра Фацио, конечно, нашел бы другие, противоположные, и Бог весть, когда и как закончился бы этот спор. Услыхав же латинские слова, полные таинственного смысла и произнесенные с такою решительностью, он подумал, что в них-то и должно заключаться разрешение всех его сомнений. Он сразу успокоился и сказал:

— Ладно, вам это лучше знать!

— Можете быть уверены, — ответил падре и, подойдя при слабом свете горевшей пред алтарем лампы к беглецам, которые стояли в нерешительном ожидании, сказал им: — Дети мои, возблагодарите Всевышнего, который избавил вас от великой опасности. Быть может, как раз в эту минуту...

Тут он принялся разъяснять то, о чем намеками дал им знать через мальчугана, посланца; они и не подозревали, что они знали обо всем гораздо больше его самого, и считал, что Менико застал их дома, прежде чем разбойники успели туда проникнуть. Никто не стал разуверять его, промолчала даже Лючия, которая, однако, почувствовала тайное угрызение совести: «Такая скрытность пред таким человеком!» Но ведь то была ночь путаницы, уловок и всяких обманов.

— Теперь вы видите, дети мои, — продолжал он, — что оставаться в родной деревне вам небезопасно. Вы в ней родились и никому не причинили зла; но — такова воля Господня. Это испытание, дети мои. Переносите его терпеливо, уповая на Всевышнего, не питая злобы, и будьте уверены: придет время, когда вы будете довольны тем, что происходит сейчас. Я позаботился найти для вас приют на первые дни... Вскоре, надеюсь, вы сможете спокойно вернуться к себе домой: Господь поможет вам во всех ваших делах и сделает все вам на благо. Я же, разумеется, постараюсь оправдать милость, которую он оказывает мне, избрав меня орудием служения вам, его бедным и дорогим истерзанным созданиям. Вы, — продолжал он, обратившись к двум женщинам, — можете остановиться в ***. Там вы будете в достаточной мере защищены от всякой опасности и в то же время не слишком далеко от своего дома. Разыщите наш монастырь, велите вызвать отца настоятеля и передайте ему вот это письмо — он будет для вас вторым падре Кристофоро. Ты, Ренцо, тоже должен избавиться и от чужой ярости и от своей собственной. Снеси это письмо в наш монастырь в

¹ Чистым все чисто! (лат.)

Милане, в тот, что у восточных ворот, к падре Бонаventura из Лоди. Он заменит тебе отца, будет направлять тебя и подыщет тебе работу, пока ты не сможешь вернуться и спокойно жить здесь. Ступайте на берег озера к устью Бионе, что протекает в нескольких шагах от Пескаренико. Там вы найдете у причала лодку; кликните: «Барка!» Вас спросят: «Для кого?» Отвечайте: «Сан-Франческо». Лодка примет вас и переправит на другой берег, где вы найдете повозку, которая доставит вас прямо в ***.

Кто вздумал бы поинтересоваться, каким же образом падре Кристофоро так быстро получил в свое распоряжение эти средства перевозки по воде и по суше, тот обнаружил бы неосведомленность насчет того, как велик авторитет капуцина, который слывет в народе святым.

Оставалось позаботиться о присмотре за домами. Падре Кристофоро принял ключи и взялся передать их тем, кого укажут Ренцо и Аньезе. Последняя, вынимая из кармана свой ключ, тяжело вздохнула, вспомнив, что дом ее сейчас отперт, что в нем побывал сам дьявол, и кто знает, есть ли там что беречь.

— Перед отбытием вашим, — сказал монах, — помолимся все вместе Господу, чтобы в этом странствии он всегда пребывал с вами и прежде всего дал бы вам силы и рвение желать того, что угодно ему самому. — С этими словами он опустился на колени среди церкви, остальные последовали его примеру.

После того как все некоторое время молча молились, падре Кристофоро тихо, но ясным голосом внятно произнес:

— Еще молимся за несчастного, который заставил нас пойти на этот шаг. Мы были бы недостойны милосердия твоего, о Господи, если бы всем сердцем не просили этой милости и для него, — ведь он так в ней нуждается! В страданиях наших у нас есть великое утешение, ибо мы находимся на пути, который указан нам тобой, и когда мы придем к тебе с нашими горестями, они зачтутся нам. Он же — враг твой. О несчастный! Он тягается с тобой! Помилуй его, Господи, умягчи сердце его, да станет он слугою твоим. Воздай ему все блага, каких мы можем желать для самих себя.

Затем, поднявшись, он торопливо сказал:

— Теперь в путь, дети мои, нельзя терять ни минуты времени. Да хранит вас Бог, да будет спутником вашим ангел его, — ступайте.

Когда же они уходили, в волнении, которое трудно передать словами, падре Кристофоро изменившимся голосом прибавил:

— Сердце подсказывает мне, что мы скоро увидимся.

Конечно, сердце всегда говорит человеку, который к нему

прислушивается, о том, что его ожидает. Да много ли знает сердце? Так, разве самую малость из того, что уже случилось.

Не дожидаясь ответа, фра Кристофоро пошел к ризнице. Путники вышли из церкви, и фра Фацио запер дверь, пропустившись с ними взволнованным голосом. В полном молчании направились они к указанному месту на берегу озера. Там они увидели лодку и, обменявшись паролем, уселись в нее. Лодочник, упершись веслом в берег, отчалил. Потом он взялся за второе весло и, гребя обеими руками, выплыл на простор, правя к противоположному берегу. Не было ни малейшего ветерка; озеро расстиралось гладкое и ровное, оно могло бы показаться неподвижным, если бы на нем не дрожал легкий и трепетный луч луны, глядевшей в воду с высоты небес. Слышался лишь ленивый и мерный шум прибоя, ударявшего о береговой гравий, отдаленное журчанье воды, разбивавшейся об устои моста, да размеренный всплеск весел, которые, рассекая лазоревую поверхность озера, дружно поднимались из воды, разбрызгивая капли, и снова погружались в нее. Рассеченная лодкой волна, сливаясь снова за кормой, оставляла сзади полосу ряби, все больше и больше удаляющуюся от берега.

Молчаливые странники, обернувшись, смотрели на горы и местность, освещенную луной и кое-где покрытую густою тенью. Отчетливо выделялись деревни, дома, хижины. Палаццо дона Родриго со своей плоской башней, высившейся над домишками, теснившимися у подошвы горного выступа, казалось лютым злодеем, который, притаившись в темноте среди кучки спящих, бодрствовал, замысливая преступление. Лючия увидела его и вздрогнула. Взор ее скользнул вниз по склону, к месту, где лежала их деревенька; она вгляделась в ее окраину, отыскивала свой домик, густую вершину фигового дерева, свешивающегося через стену дворика, окно своей комнаты и, как сидела в глубине лодки, облокотившись о борт и положив голову на руку, словно собираясь заснуть, так и всплакнула потихоньку.

Прощайте, горы, встающие из вод и поднятые к небесам; изрезанные вершины, знакомые тому, кто вырос среди вас, и запечатленные в его памяти не меньше, чем облик самых близких людей; ручьи, чье журчанье ты различаешь как звук привычных родных голосов; деревни, разбросанные и белеющие по склонам, словно стада пасущихся овец, — прощайте! Как скорбен путь того, кто, выросши среди вас, покидает вас. Даже в воображении того, кто расстается с вами добровольно, влекомый жаждой разбогатеть на стороне, в минуту расставания самые мечты о богатстве теряют свою привлекательность, путник дивится своей решимости и готов повернуть назад, не будь у него надежды когда-нибудь вернуться богачом. Чем дальше продвигается он по равнине, тем чаще взор его, разо-

чарованный и утомленный, отворачивается от этого однообразного простора, воздух кажется ему тяжелым и мертвым; грустный и рассеянный, вступает он в шумные города, где дома тянутся непрерывной цепью, улицы, вливающиеся одна в другую, словно затрудняют ему дыхание, и перед зданиями, которыми восхищается чужеземец, он с беспокойной тоской вспоминает о небольшом поле в родной деревушке, о скромном домике, который он давно уже заприметил и собирается купить, когда вернется, разбогатеет, обратно в горы.

Так каково же той, что никогда не устремлялась за пределы родных гор ни одним, хотя бы мимолетным, желанием, которая связала с ними все надежды на будущее и которую враждебная сила внезапно отбросила далеко от родимых мест! Той, которую разом оторвали от самых дорогих ей привычек, чьи надежды разбились. Покидая родные горы, ей приходится уходить к чужим людям, которых она знать не знает и от которых вернется неизвестно когда! Прощай, родной дом, где, бывало, сидя в одиноком раздумье, она с тайным трепетом училась в шуме людских шагов различать звук шагов желанных. Прощай, дом, пока еще чужой, на который так часто мимоходом поглядывала она украдкой, слегка краснея: дом, в котором рисовалась ей спокойная, мирная жизнь жены и хозяйки. Прощай, церковь, куда столько раз приходила она с ясной душой, вознося хвалу творцу, где готовилось свершение священного обряда, где затаенный сердечный вздох должен был получить торжественное благословение, а узаконенная любовь — свое освящение. Прощай! Тот, кто дал вам столько радости, вездесущ, и если он нарушает счастье детей своих, то лишь для того, чтобы дать им счастье еще более надежное и великое.

Такие или почти такие мысли теснились в голове Люции, и мало чем разнились от них мысли двух других путников, в то время как лодка подвозила их к правому берегу Адды.

Глава девятая

Толчок лодки о берег встряхнул Люцию, которая, утерев украдкой слезы, подняла голову, делая вид, что проснулась. Ренцо высадился первым и подал руку Аньезе; та, выйдя, в свою очередь протянула руку дочери, и все трое с грустью поблагодарили перевозчика. «За что? — ответил он. — Мы для того и существуем на этом свете, чтобы помогать друг другу», и, содрогнувшись, словно ему предложили совершить кражу, отдернул руку, когда Ренцо попытался сунуть ему часть мелких денег, из тех, что он захватил в этот вечер с собой, намекаясь щедро вознаградить дону Абондио, если тот, хотя и против своей воли, сослужит ему службу. Повозка стояла тут

же наготове, возница приветствовал тех, кого он поджидал, усадил их, прикрикнул на лошадь, ударил кнутом, — и повозка тронулась.

Наш автор не описывает этого ночного путешествия, не упоминает он и названия того места, куда фра Кристофоро направил двух женщин; более того, он даже заявляет, что не желает говорить об этом. Из дальнейшего повествования выяснится причина этого умолчания. Судьба Лючии окажется вплетенной в темную интригу, затеянную одним лицом, принадлежавшим, по-видимому, к семье чрезвычайно могущественной в ту пору, когда писал автор. Чтобы объяснить странное поведение этого лица в нашем случае, автор должен будет даже вкратце рассказать его прошлую жизнь; и семья эта выступит в таких красках, которые разглядит всякий, кто прочтет дальнейшее. Но то, что бедняга из осторожности хотел утаить, нам удалось найти в другом месте. Один миланский историк¹, которому пришлось упомянуть о том же самом лице, правда, не называет ни его, ни места действия, — но о последнем говорит, что это было старинное и славное местечко, которому не хватало лишь названия города; в другом месте он говорит, что там протекает Ламбро, наконец, что там есть архиепископство. Из сопоставления этих данных мы заключаем, что это не что иное, как Монца. В обширной сокровищнице ученых индукций найдутся, может быть, более тонкие, но вряд ли более достоверные. Мы могли бы также, опираясь на весьма обоснованные догадки, назвать и самую семью; но, хотя она окончательно вымерла, все же лучше оставить это имя ненаписанным, дабы не рисковать задеть даже мертвых и оставить ученым хоть какой-нибудь повод для изысканий.

Итак, наши странники прибыли в Монцу вскоре после восхода солнца. Возница вошел в остерию и, как знакомый с хозяином, распорядился отвести им комнату, куда и проводил их. Среди излияний благодарности Ренцо хотел было заставить и его принять какое-нибудь вознаграждение, но возница, как и лодочник, имея в виду иную награду, более отдаленную, но и более щедрую, тоже отдернул руку и, словно спасаясь бегством, поспешил к своей упряжке.

После вечера, который мы описали, и ночи, которую каждый может себе легко вообразить, проведенной в невеселых размышлениях, в непрестанном ожидании какого-нибудь неприятного происшествия, при дуновении осеннего холодного ветра и непрерывных толчках неудобной повозки, от которых просыпался каждый, кто чуть-чуть начинал смыкать глаза, — после всего этого им просто не верилось, что они сидят на устойчивой скамье, в какой ни на есть комнате. Путники по-

¹ Джузеппе Рипамонти. Отечественная история. Дек. V, кн. VI, гл. III, с. 358.

завтракали, как то позволяли тяжелые времена и скудные средства, которые необходимо было экономить ввиду неизвестного будущего, — да и есть-то никому не хотелось. Все трое невольно вспомнили про пир, который они собирались задать два дня назад, — и каждый тяжело вздохнул. Ренцо хотел было остаться с женщинами по крайней мере до конца дня: посмотреть, как они устроятся, оказать им необходимые услуги. Но падре посоветовал немедленно отправить юношу своей дорогой; поэтому женщины стали ссылаться на этот совет и высказывать при этом всякие другие соображения: что народ, мол, начинает болтать, что отсрочка сделает разлуку еще горестнее и что он ведь вскоре сможет вернуться и обменяться с ними новостями, так что в конце концов Ренцо решил удалиться. Они сговорились постараться увидеться как можно скорее. Лючия не скрывала слез; Ренцо сдерживался с трудом; крепко-крепко пожимая руку Аньезе, он сказал сдавленным голосом: «До свиданья» — и ушел.

Женщины оказались бы в большом затруднении, если бы не добрый возница, которому дано было распоряжение проводить их в монастырь капуцинов и оказывать им всяческую помощь. Итак, наши путники отправились в монастырь, который, как всем известно, находится в нескольких шагах от Монцы. Когда они подошли к воротам, возница дернул колокольчик и велел позвать отца настоятеля. Тот явился немедленно и с порога принял письмо.

— А, фра Кристофоро! — сказал он, узнав почерк.

Голос и выражение его лица говорили о том, что он прозвездил имя своего большого друга. Следует сказать, что наш добрый падре Кристофоро в своем письме весьма горячо отзывался о женщинах и прочувствованно сообщал их историю, ибо настоятель, читая письмо, временами выражал изумление и негодование и, оторвавшись от бумаги, смотрел на женщин с состраданием и участием. Окончив чтение, он призадумался, а потом сказал: «Тут не обойтись без синьоры: если синьора возьмется за это дело...»

Затем, отозвав Аньезе в сторону, на площадку перед монастырем, он задал ей несколько вопросов, на которые та ответила утвердительно. Вернувшись к Лючии, он сказал им обоим:

— Я попытаюсь, милые сестры, найти вам убежище не только надежное, но и почетное, пока Бог не позаботится о вас наилучшим способом. Угодно вам идти со мной?

Женщины почтительно изъявили свое согласие. Монах продолжал:

— Хорошо, я немедленно отведу вас в монастырь к синьоре. Однако вы следуйте за мной на некотором расстоянии — ведь народ любит позлословить, и Бог знает какие поднимутся сплетни, если отца настоятеля увидят на улице с молодой красавицей... Я хочу сказать, вообще с женщинами.

С этими словами он пошел вперед. Лючия вспыхнула; возница улыбнулся, взглянув на Аньезе, которая не могла удержаться и тоже улыбнулась. Когда монах успел уйти немного вперед, все трое двинулись вслед за ним, держась на расстоянии десяти шагов. Тогда женщины спросили у возницы (расспрашивать отца настоятеля они не решились), кто такая эта синьора.

— Синьора, — отвечал он, — монахиня, но не такая, как все. Не то чтобы она была аббатисой или настоятельницей, наоборот, судя по тому, что говорят, она одна из самых молодых монахинь, но она — от Адамова ребра, и предки ее были люди большие, прибывшие из Испании, откуда родом все власти, — потому-то ее и зовут «синьорой». Этим хотят показать, что она — большая госпожа, и вся округа называет ее так, потому что, говорят, в этом монастыре никогда не видели подобной особы; да и вся ее теперешняя родня, там, в Милане, много значит — это люди, которые всегда во всем правы, а в Монце и подавно: ее отец, хоть и не живет здесь, считается первым в округе, поэтому и она может делать в монастыре все, что ей угодно, да и за монастырскими стенами народ ее очень уважает, и уж если она за что берется, то добьется своего, а потому, если этому доброму монаху удастся препоручить вас ей и она вас примет, то, уж прямо могу вам сказать, вы будете, как у Христа за пазухой.

Поравнявшись с воротами местечка, в те времена защищенными сбоку старинной башней, наполовину обвалившейся, и остатками какой-то крепостцы, тоже обрушившейся (может быть, некоторые из моих читателей припомнят, что видели все это еще в целости), настоятель остановился и обернулся, чтобы посмотреть, идут ли за ним остальные, затем он вошел в ворота и направился к монастырю, где снова остановился на пороге, поджидая небольшую компанию. Он попросил возницу часа через два-три вернуться за ответом; возница обещал и распростился с женщинами, которые засыпали его словами благодарности и поручениями к падре Кристофоро.

Настоятель пригласил мать с дочерью войти в первый дворик монастыря, ввел их в келью привратницы, а сам отправился хлопотать по делу. Спустя некоторое время он вернулся радостный и велел им следовать за собой. Появился он весьма кстати, ибо дочь и мать уж и не знали, как отделаться от назойливых расспросов привратницы. Пока они проходили вторым двориком, монах напутствовал женщин, давая им указания, как надо вести себя с синьорой.

— Она весьма расположена к вам, — сказал он, — и если захочет, может сделать вам много добра. Будьте смиренны и почтительны, отвечайте откровенно на все вопросы, какие ей будет угодно задать вам. Ну, а если вас спрашивать не будут, положитесь во всем на меня.

Они очутились в комнате нижнего этажа, откуда был вход в приемную. Прежде чем войти туда, настоятель, указав на дверь, сказал вполголоса женщинам: «Она здесь», как бы еще раз напоминая о своих наставлениях.

Лючия, никогда не бывавшая в монастыре, попав в приемную, стала оглядываться, ища глазами синьору, чтобы поклониться ей, и, не найдя никого, стояла как завороженная. Но, заметив, что монах и Аньезе направились в угол, она посмотрела туда же и увидела необычной формы окно с двумя толстыми и частыми железными решетками на расстоянии пяди друг от друга, а за решетками — монахиню.

По лицу ей можно было дать лет двадцать пять и на первый взгляд оно казалось красивым, однако это была поблекшая, отцветшая красота, и я бы сказал — носившая следы разрушения. Из-под черного покрывала, наброшенного на голову и ниспадавшего по обе стороны лица, виднелась белоснежная полотняная повязка, до половины прикрывавшая лоб такой же белизны; другая повязка, падавшая складками, обрамляя лицо, переходила под подбородком в белый плат, спускавшийся на грудь и прикрывавший весь ворот черного монашеского одеяния. На чело монахини часто набегали морщины, как бы от мучительной боли, и тогда черные брови сурово сдвигались. Глаза, тоже черные, то впивались в лицо людей с какой-то высокомерной пытливостью, то поспешно вперялись в землю, словно желая укрыться. В иные минуты внимательный наблюдатель нашел бы, что глаза эти искали любви, сочувствия, сострадания; в другой же раз он, пожалуй, подметил бы в них мгновенное выражение давней, но подавляемой ненависти, что-то угрожающее и жестокое. Когда глаза синьоры были неподвижно устремлены вдаль, одни могли увидеть в этом гордое отсутствие всяких желаний, другие — биение затаенной мысли или какую-то внутреннюю тревогу, сведавшую эту душу и владевшую ею сильнее всего на свете. Необыкновенно бледное лицо ее имело тонкие и изящные очертания, заметно пострадавшие, однако, от медленного изнурения. Губы, едва розовеющие, все же резко выделялись на этом бледном фоне, — движения их, как и движения глаз, были внезапны, живы, полны выражения и таинственности. Крупная, хорошо сложенная фигура проигрывала от известной небрежности в осанке либо казалась иногда нескладной от порывистых, угловатых движений, слишком решительных для женщины, не говоря уже о монахине. В самом одеянии кое-где сказывалась какая-то изысканность и прихотливость, говорившие о своеобразии этой монахини: лиф был отделан с каким-то светским изяществом, а из-под повязки на висок спускалась прядь черных волос — обстоятельство, свидетельствовавшее о забвении устава или пренебрежении к нему, ибо правила предписывали всегда но-

силье волосы короткими, как они были обрезаны при торжественном обряде пострига.

Однако все это не произвело впечатления на женщин, не искушенных в монастырских порядках, а настоятель, видевший синьору не в первый раз, подобно многим другим, уже успел привыкнуть к странностям, которые замечались во всей особе и манерах синьора.

Как мы сказали, в эту минуту она стояла у решетки, небрежно облокотившись на нее и сжав своими бескровными пальцами ее перекладины, и в упор глядела на Люцию, нерешительно подходившую к ней.

— Достопочтенная мать и сиятельнейшая синьора, — сказал настоятель, низко склонив голову и сложив руки на груди, — вот бедная девушка, которой вы, по моей просьбе, обещали свое высокое покровительство, а это ее мать.

Обе представленные отвешивали низкие поклоны. Движением руки синьора дала им понять, что довольно, и, обращаясь к монаху, сказала:

— Я счастлива, что могу сделать приятное нашим добрым друзьям, отцам капуцинам. Однако, — продолжала она, — расскажите мне несколько поподробнее историю этой девушки, чтобы стало ясно, что можно для нее сделать.

Люция покраснела и опустила голову.

— Вы должны знать, достопочтенная мать... — начала было Аньезе, но настоятель взглядом прервал ее и отвечал:

— Сиятельнейшая синьора, девушку эту, как я уже вам сказал, поручил мне один из моих собратьев. Чтобы избежать серьезных опасностей, она вынуждена была тайно покинуть родную деревню, и вот теперь она на время нуждается в убежище, где могла бы жить в неизвестности и где никто не дерзнет беспокоить ее, даже если...

— Что же это за опасности? — прервала его синьора. — Пожалуйста, отец настоятель, не говорите загадками. Вы ведь знаете, что мы, монахини, большие охотницы до всяких историй да еще и со всеми подробностями.

— Опасности эти таковы, — отвечал настоятель, — что до слуха достопочтенной матери они должны дойти лишь в виде самых легких намеков...

— Да, конечно, — торопливо сказала синьора, слегка покраснев.

Стыдливость ли заговорила в ней? Тот, кто заметил бы мимолетное выражение досады, сопровождавшее этот румянец, мог бы усомниться в этом, тем более, если бы он сравнил его с тем румянцем, который порой заливал щеки Люции.

— Достаточно сказать, — продолжал настоятель, — что один всемогущий кавалер... — не все великие мира сего употребляют дары Божьи во славу Божию и на пользу ближнему, как это делает ваше сиятельство, — один всемогущий кавалер

некоторое время преследовал эту девушку низменными обольщениями, а затем, видя бесполезность своих попыток, решил прибегнуть к открытому насилию, так что бедняжка принуждена была бежать из собственного дома.

— Приблизьтесь же ко мне вы, та, что помоложе, — сказала синьора Лючия, поманив ее пальцем. — Я знаю, что устами отца настоятеля глаголет истина, но ведь никто не может быть осведомлен в этом деле лучше вас. И ваша обязанность сказать нам, действительно ли этот кавалер оказался гнусным преследователем.

Что касается первого, то Лючия тут же повиновалась и приблизилась к синьоре, но ответить ей — это уж было совсем другое дело. Если бы такой вопрос задал ей даже кто-нибудь из своих, она и то бы сильно смутилась; когда же его поставила эта важная синьора, да притом еще с каким-то оттенком насмешливого сомнения, у Лючии сразу пропала всякая охота отвечать.

— Синьора... достопочтенная... мать... — лепетала она, словно ей нечего было больше сказать.

Тут уж Аньезе сочла себя вправе прийти ей на помощь, как несомненно наиболее осведомленная после самой Лючии.

— Сиятельнойшая синьора, — сказала она, — я могу подтвердить, что дочь моя боялась этого кавалера, как черт лада-на, то есть я хочу сказать, что этот кавалер — сам дьявол. Уж вы меня проеите, если я нескладно говорю, мы ведь люди простые. Дело в том, что моя бедная девочка была просватана за одного парня нашего же звания, богобоязненного скромного парня. И будь наш синьор курато настоящим мужчиной, в том смысле, как я понимаю... я знаю, что говорю об особе духовной, но ведь падре Кристофоро, друг отца настоятеля, тоже особа духовная, как и наш курато, а он человек милосердный, и будь он здесь, он мог бы подтвердить...

— Вы горазды говорить, когда вас не спрашивают, — гордо и гневно прервала ее синьора, при этом она стала почти безобразной. — Молчите, я и без вас знаю, что родители всегда берутся давать ответы за своих детей.

Уязвленная Аньезе бросила на Лючию взгляд, говоривший: «Видишь, как мне достается из-за твоей медлительности».

Настоятель в свою очередь выразительно взглянул на девушку и кивнул головой в знак того, что настало время как-нибудь выпутываться и не оставлять на мели бедную мать.

— Достопочтенная синьора, — промолвила Лючия, — все, что сказала вам моя мать, чистая правда. Юноша, который за мной ухаживал... — она густо покраснела при этих словах, — я за него шла с охотой. Простите, что я так беззастенчиво говорю об этом, но я не хочу, чтобы вы плохо подумали о моей матери. А насчет этого синьора (да простит ему Бог!)... да я готова лучше умереть, чем попасть ему в руки. И если вы бу-

дете столь милостивы и укроете нас, раз уж нам приходится идти на это и искать убежища и беспокоить добрых людей... — да будет, однако, во всем воля Господня!.. — так будьте уверены, синьора, никто не станет молиться за вас горячее нас, бедных женщин.

— Вам я верю, — сказала синьора смягчившимся голосом. — Но мне хочется выслушать вас с глазу на глаз. Не потому, разумеется, что мне нужны дальнейшие разъяснения или доводы, чтобы удовлетворить горячую просьбу отца настоятеля, — продолжала она, — об этом я уже подумала. Вот как, по моему, лучше всего поступить на первое время. Монастырская привратница несколько дней тому назад выдала замуж свою последнюю дочь. Эти женщины могут занять освободившуюся после нее комнату и исполнять те несложные обязанности, которые исполняла она. По правде говоря... — тут она подала знак настоятелю, который подошел к решетке, и продолжала вполголоса: — По правде говоря, ввиду скудного урожая, хотели было никем не заменять ушедшую девушку, но я поговорю с матерью аббатисой, а одно мое слово... да к тому же усердная просьба отца настоятеля... Словом, я считаю дело улаженным...

Настоятель стал было благодарить, но синьора прервала его:

— Не надо никаких церемоний: случись нужда, я тоже сумею прибегнуть к поддержке отцов капуцинов. В конце концов, — продолжала она с улыбкой, в которой сквозила какая-то горькая насмешка, — в конце концов, разве мы не братья и сестры?

Сказав это, она позвала одну из двух послушниц, представленных к ней в виде исключения для личных услуг, и приказала ей уведомить о своем решении аббатису, а потом договориться с привратницей и с Аньезе. Она отослала последнюю, отпустила настоятеля и задержала Лючию. Настоятель проводил Аньезе до ворот, дав ей попутно новые указания, а сам пошел писать уведомительное письмо своему другу Кристофоро.

«Большая чудачка эта синьора! — думал он про себя дорогой. — Любопытная особа! Но кто сумеет задеть ее за живое, может заставить ее сделать все, что угодно. Кристофоро, верно, и не ожидал, что мне удастся так быстро и ловко все устроить.

Чудный он человек! Ничего с ним не поделаешь, — всегда-то он хлопочет, делая добрые дела. Хорошо, что на этот раз он нашел друга, который во мгновение ока все уладил, тихо и без особых хлопот. Добряк Кристофоро будет доволен и увидит, что и мы тут кое на что годимся».

Синьора, которая в присутствии бывалого капуцина взвешивала свои движения и слова, оставшись наедине с моло-

денькой неопытной крестьянкой, не считала более нужным сдерживаться, и речи ее мало-помалу стали настолько странными, что мы, вместо того чтобы приводить их, считаем более удобным кратко рассказать предшествующую историю несчастной, поскольку это необходимо для понимания всего необычайного и таинственного, связанного с ней, и для объяснения ее поведения в дальнейшем.

Она была младшей дочерью князя ***, известного миланского аристократа, который мог считаться одним из самых богатых людей в городе. Но высокое мнение, какое он имел о своем звании, делало в его глазах все его средства едва достаточными, даже скудными для поддержания блеска их древнего рода. Поэтому все его мысли были направлены к тому, чтобы попытаться, по крайней мере поскольку это зависело от него, сохранить эти средства такими, какими они были, — неделимыми на вечные времена. Сколько у него было детей, об этом наша история определенно не говорит: она лишь дает понять, что он обрекал на монашество младших детей обоего пола, чтобы оставить все состояние своему первенцу, предназначенному продолжать род, то есть народить детей, мучиться самому и мучить их тем же способом.

Наша несчастная была еще во чреве матери, когда ее судьба была бесповоротно решена. Оставалось только узнать, будет ли то монах или монахиня, для чего требовалось не согласие ребенка, а лишь появление его на свет. Когда девочка родилась, князь, ее отец, желая дать ей имя, которое непосредственно вызывало бы мысль о монастыре и которое носила святая именитого происхождения, назвал ее Гертрудой. Ее первыми игрушками были куклы, одетые монашенками, потом — маленькие изображения святых в монашеском же одеянии. Подарки эти всегда сопровождались длинными увещаниями беречь их как драгоценность и риторическим вопросом: «Красиво ведь, а?» Когда князь, княгиня или князек — единственный из мальчиков, воспитывавшийся дома, — хотели похвалить цветущий вид девочки, они, казалось, не находили для этого других слов, кроме как: «Что за мать аббатиса!» Никто, однако, никогда не говорил прямо: «Ты должна стать монахиней». Это была мысль, сама собой разумеющаяся; ее затрагивали попутно, при всяком разговоре, касавшемся будущего девочки. Если Гертруда позволяла себе иногда какой-нибудь дерзкий и вызывающий поступок, к чему она по своей натуре была весьма склонна, ей говорили: «Ты — девочка, тебе не подобает вести себя так; когда станешь матерью аббатисой, тогда и будешь командовать и переворачивать все хоть вверх дном». Порой же князь, отчитывая дочь за слишком свободное и непринужденное поведение, над которым она не задумывалась, говорил ей: «Ох-ох! Девочке твоего звания не следует так вести себя; если ты хочешь, чтобы в

свое время тебе оказывали подобающее уважение, учись смолodu владеть собой: помни, что в монастыре ты во всем должна быть первой — ведь знатная кровь должна сказываться всюду».

Все это внушало девочке мысль, что ее удел — стать монахиней. Но слова отца оказывали на нее действие, которое было сильнее всяких иных слов. Князь во всем проявлял себя полновластным хозяином, а когда речь заходила о будущем положении его детей, в лице и в каждом слове его сквозила непоколебимая решимость и неумолимая суровая властность, производившая на окружающих впечатление роковой необходимости.

Шести лет Гертруду отдали на воспитание, вернее, для подготовки к призванию, на которое ее обрекли, — в монастырь, где мы ее встретили. Самое место выбрано было с определенным намерением. Добрый руководитель наших двух женщин сказал, что отец синьоры был первым человеком в Монце. Добавив это, какое ни на есть, свидетельство к некоторым другим указаниям, которые наш аноним как бы нечаянно роняет то тут, то там, мы можем даже утверждать, что он был местным феодалом. Во всяком случае, он пользовался огромным влиянием и, не без основания, полагал, что там скорее, чем где-либо, дочь его будет принята с той отменной любезностью и утонченностью, которые побудят ее избрать этот монастырь местом своего постоянного пребывания. И он не ошибся: аббатиса и некоторые другие монахини-интриганки, которые, что называется, верховодили в монастыре, возликовали, увидя, что к ним в руки попадает залог покровительства, столь ценного при всяких обстоятельствах, столь славного в любое время. Они приняли предложение с изъявлениями благодарности, не чрезмерными, хотя и весьма выразительными, и полностью поддерживали проскользнувшие у князя в разговоре планы насчет постоянного помещения дочери в монастырь, — планы эти полностью совпадали с их собственными.

Как только Гертруда вступила в монастырь, ее стали называть не по имени, а синьориной. Ей отвели почетное место за столом, в спальне, ее поведение ставилось в образец другим; на долю ей выпадали бесконечные подарки и ласковое обращение, приправленное несколько почтительной фамильярностью, которая так привлекает детей к тем, кто у них на глазах относится к другим детям несколько свысока. Не то чтобы все монахини сговорились заманить бедняжку в сети: среди них было много простых женщин, далеких от всяких интриг. Даже сама мысль принести девушку в жертву какому-то корыстным целям вызвала бы у них отвращение. Но все они, поглощенные своими личными делами, либо не замечали всех этих уловок, либо не понимали, сколько в них таится зла. Одни просто не вникали в это дело, другие молчали, не

желая затевать бесполезного шума. Иная из них, вспоминая, как и ее в свое время подобными же приемами довели до того, в чем она позднее раскаивалась, чувствовала сострадание к невинной бедняжке и находила выход своему чувству, оказывая ей нежную и грустную ласку, — а та и не подозревала, что под этим кроется какая-то тайна. И все продолжало идти своим чередом.

Так, пожалуй, все и шло бы до самого конца, если бы Гертруда была единственной девочкой в этом монастыре. Но среди ее подруг по воспитанию было несколько таких, которые знали, что им предстоит замужество. Гертруда, воспитанная в мыслях о своем превосходстве, с гордостью говорившая о своей будущей роли аббатисы, начальницы монастыря, во что бы то ни стало хотела быть предметом зависти для других и с удивлением и обидой видела, что некоторые из девочек несколько ей не завидовали. Картинам величавого, но ограниченного и холодного превосходства, какое могло обеспечить первенство в монастыре, они противопоставляли разнообразные и заманчивые картины свадеб, званых обедов, пирушек, — как выражались тогда, — веселой жизни в поместьях, блестящих туалетов и экипажей. Эти рассказы будоражили Гертруду, как большая корзина только что собранных цветов, поставленная перед ульем, будоражит рой пчел: в голове у нее шумело, мозг лихорадочно работал. Родители и воспитатели усердно развивали в ней прирожденное тщеславие, желая заставить ее полюбить монастырь; но, когда эта страсть нашла себе применение в представлениях более близких натуре девочки, она набросилась на них с увлечением гораздо более живым и непосредственным.

Чтобы не быть хуже своих подруг и вместе с тем следовать своей новой склонности, она отвечала подругам, что ведь, в конце концов, никто не вправе постричь ее без ее согласия; ведь и она может вступить в брак, поселиться во дворце, наслаждаться светской жизнью и даже больше, чем они, и она может сделать это, стоит ей только захотеть, — а она, пожалуй, не прочь; и, наконец, что она прямо-таки хочет этого, — да и в самом деле, она стала желать этого. Мысль о необходимости ее согласия, до той поры таившаяся где-то в дальнем уголке ее сознания, теперь развернулась и обнаружилась во всей своей полноте. Гертруда ежеминутно призывала ее на помощь, чтобы спокойнее наслаждаться образами заманчивого будущего. Однако за этой мыслью всегда появлялась другая: отказать в своем согласии нужно было князю-отцу, который уже заручился им, или, во всяком случае, считал, что оно уже дано; и при этой мысли душа девушки была весьма далека от той уверенности, какую выражали ее слова. Тогда она начинала сравнивать себя с подругами, уверенность которых была несколько иной, и чувствовала к ним ту острую зависть,

какую она первоначально сама хотела внушить им. Завидуя, она ненавидела их; порой ненависть ее изливалась в обидах, в резких выходках, в колких словах, порой общность наклонностей и надежд усыпляла эту ненависть, уступая место непрочной мимолетной близости. Иногда, желая насладиться хоть чем-нибудь подлинным и настоящим, Гертруда находила удовлетворение в тех преимуществах, которыми она пользовалась, и давала почувствовать другим свое превосходство. Иногда, не имея больше сил выносить в одиночестве тяжесть сомнений и несбыточных желаний, она шла к подругам, ища у них отклика, совета, поддержки.

В этой тяжелой борьбе с собой и с другими прошло ее детство, и она вступила в тот критический возраст, когда в душу входит как бы таинственная сила, которая поднимает, украшает, укрепляет все стремления, все мечты человека, а иногда даже преобразает их или дает им непредвиденное направление. Раньше Гертруда в грезах о будущем особенно ярко рисовала себе пышный блеск и великолепие; теперь же что-то трогательное и нежное, прежде лишь легким туманом окутывавшее душу девушки, стало разрастаться и заполнило ее мечты. В самом затаенном уголке ее сознания возникло словно какое-то великолепное убежище: сюда укрывалась она от окружающей действительности, здесь отводила место тем причудливым образам, что возникали из смутных воспоминаний детства, из того немногого, что она успела увидеть в мире, и того, что она узнала из разговоров с подругами. Она сжилась с этими образами, говорила с ними, отвечала себе от их имени, отдавала приказания и принимала всевозможные знаки уважения. Порой мысли о религии смущали эти блестящие и столь утомительные видения. Но религия, в той форме, в какой ее преподносили нашей бедняжке и в какой она ее воспринимала, не устраняла гордыни, а наоборот, скорее освящала ее как средство для достижения земного счастья. Лишенная тем самым своей сущности, это была уже не религия, а призрак, подобный другим. Когда этот призрак выступал вперед и воцарялся в мечтах Гертруды, злосчастная, одолеваемая неясным страхом и смутным сознанием своего долга, воображала, что ее отвращение к монастырю и борьба с внушением своих родителей относительно выбора призвания являются греховными, и давала себе обещание искупить этот грех, добровольно затворившись в монастыре.

Согласно тогдашнему закону, девушка не могла быть пострижена в монахини, пока она не подвергнется испытанию со стороны духовника, называвшегося викарием монахинь, или кого-либо другого, уполномоченного на это, чтобы не было сомнения в том, что она идет на это добровольно. Испытание это могло состояться не ранее как через год после того, как она письменно изложит викарию свою просьбу. Мо-

нахини, коварно взявшиеся добиться, чтобы Гертруда навсегда связала себя, не сознавая, что делает, воспользовались одним из моментов раскаяния, о которых мы говорили, чтобы заставить ее переписать и подписать подобную просьбу. А дабы легче склонить ее к этому, они не преминули сказать ей и неоднократно повторяли, что ведь это, в конце концов, простая формальность, не имеющая никакого значения (и это было на самом деле так) без последующих шагов, которые всецело зависят только от нее. Однако не успела еще просьба Гертруды дойти по назначению, как она уже пожалела о том, что подписала ее. Потом стала раскаиваться в своем отступничестве, проводя дни и месяцы в беспрестанной смене противоречивых настроений. Долгое время она скрывала это от подруг, то опасаясь, что они не одобряют ее благого намерения, то стыдясь признаться в своей слабости. В конце концов победило желание облегчить душу, получить у подруг совет и поддержку.

Существовал и другой закон, согласно которому девушка могла быть допущена к испытанию в своем призвании лишь после того, как она проведет по крайней мере месяц за пределами монастыря, где она воспитывалась. Прошел уже год со времени подачи ею просьбы, и Гертруду предупредили, что скоро ее возьмут из монастыря и отвезут в родительский дом, где она проведет этот месяц и выполнит все необходимое для завершения того, что она уже начала. Князь и остальные родственники считали это делом решенным, словно все уже свершилось; но в голове у девушки было совсем иное: вместо того чтобы готовиться к дальнейшим шагам, она раздумывала над тем, каким бы способом отступить назад. В таком затруднительном положении она решила открыться одной из своих подруг, наиболее прямодушной и всегда готовой дать решительный совет. Та и подсказала Гертруде мысль письменно уведомить отца о своем новом решении, раз у нее не хватает духа открыто бросить ему в лицо дерзкое «не хочу». А так как бесплатный совет на этом свете вещь крайне редкая, то и Гертруде пришлось расплачиваться за него, выслушивая бесконечные насмешки за проявленное малодушие. Письмо было обдумано в обществе четырех-пяти наиболее близких подруг, написано в большой тайне и доставлено по назначению с помощью чрезвычайно обдуманных ухищрений. Гертруда пребывала в большом волнении, ожидая ответа, но его не последовало, если не считать того, что несколько дней спустя аббатиса вызвала ее в свою келью и, не скрывая своего презрения и сострадания, с таинственностью намекнула ей о великом гневе князя и об ошибке, которую она, по-видимому, совершила, но дала понять, что в дальнейшем, при хорошем поведении, она может надеяться на полное прощение. Девушка и не посмела спрашивать дальше.

Наконец пришел этот столь страшный и столь желанный день. Хотя Гертруда знала, что она идет на бой, все же возможность покинуть монастырь, эти стены, в которых она была заключена восемь лет, проехаться в экипаже по открытым полям, вновь увидеть город, отчий дом, — все это наполняло ее ощущением шумной радости. Что касается боя, то бедняжка, по наущению своих наперсниц, уже приняла меры и, как сказали бы ныне, составила план действий. «Либо они захотят принудить меня силой, — думала она, — тогда я буду твердо стоять на своем; буду смиренна, почтительна, но не дам своего согласия; все дело в том, чтобы второй раз не сказать «да», и я не скажу. Либо они станут уговаривать меня добром, — но я буду добрее их, стану плакать, умолять, вызову в них сострадание; в конце концов, я ведь только хочу одного, чтобы меня не приносили в жертву».

Но, как часто бывает с подобными предположениями, не произошло ни того, ни другого. Дни проходили, но ни отец, ни другие ничего не говорили ни о просьбе, ею поданной, ни об отказе от нее, и не делали ей никаких предложений ни в ласковой, ни в угрожающей форме. Родные обращались с ней сурово, были печальны и ворчали, никогда не говоря — почему. Чувствовалось лишь, что они смотрели на нее как на виноватую, недостойную. Казалось, какое-то таинственное отлучение лежало на Гертруде, отделяя ее от семьи и объединяя ее с родными лишь постольку, поскольку надо было дать ей почувствовать ее зависимость. Редко, и только в определенных часы, допускали ее в общество родителей и старшего брата. Между этими тремя, казалось, царила большая близость, которая делала еще чувствительней и горестней ту заброшенность, в какой была оставлена Гертруда. Никто не заговаривал с ней, а если она робко решалась сказать что-либо, выходявшее за пределы необходимого, она ни в ком не встречала поддержки и лишь ловила в ответ взгляд рассеянный, презрительный и строгий. Когда же она, не в силах выносить дольше эту горькую и унижительную отчужденность, пыталась во что бы то ни стало стать близкой своим и умоляла хоть о капле любви, — немедленно затрагивалась, косвенно или открыто, все та же тема о выборе призвания, причем ей давалось понять, что есть средство вернуть себе привязанность родных. И Гертруда, не соглашаясь на эти условия, вынуждена была снова уходить в себя и, отвергая робкие признаки расположения, которых она так жаждала, — возвращаться к своему прежнему положению отлученной. Вдобавок на ней продолжало лежать пятно какой-то вины.

Эти впечатления от окружающего являлись печальной противоположностью тем радужным видениям, которыми так давно жила и все еще продолжала жить Гертруда в тайниках своей души. Она надеялась, что в великолепном и многолюд-

ном отцовском доме ей удастся пережить наяву хоть малую долю того, что она себе воображала, — но она обманулась решительно во всем. Ее затворничество было строгим и полным, как в монастыре; о прогулках не заходило даже речи; а небольшой переход, непосредственно соединявший дом с примыкающей к нему церковью, устранял единственный повод выходить за пределы дома. Общество было еще скучнее, малочисленнее и однообразнее, чем в монастыре. Когда докладывали о приезде гостей, Гертруду отправляли на самый верхний этаж, где оставляли взаперти с несколькими старухами из прислуги; там же она и обедала, если гости еще не расходились. Слуги в обращении и в разговорах следовали примеру и намерениям своих господ, и Гертруда, которая склонна была обращаться с ними с благородной простотой и в своем печальном положении была бы бесконечно благодарна за малейшее проявление хорошего отношения к ней, как к равной, доходила даже до заискивания, — но в конце концов испытывала лишь унижение и горечь, видя, что к ней относились с явным пренебрежением, хотя и сопровождаемым чисто внешним послушанием.

Однако она не могла не заметить, что один паж, в отличие от прочих, проявлял к ней сочувствие и уважение особого рода. В поведении этого мальчика было что-то, напоминавшее ей жизнь, которую она так часто видела в своих мечтах, черты, которые она придавала выдуманному ею образу. Мало-помалу во всей повадке девушки обнаружилось что-то новое: умиротворенность и какое-то томление, столь не похожие на прежнее настроение, словно она нашла нечто такое, что ей дорого, что ей хотелось бы ежечасно лицезреть, не давая, однако, заметить это другим. За ней стали следить еще строже. И однажды в одно прекрасное утро одна из служанок застала ее в то мгновенье, когда она торопливо складывала листок бумаги. Лучше бы она этого никогда не делала! После короткой борьбы, когда каждая тянула записку к себе, она попала в руки служанки, а от нее — к князю.

Ужас Гертруды при звуке его шагов нельзя ни вообразить, ни описать, — ведь это был ее отец, разгневанный отец, а она чувствовала себя виноватой. Когда же он появился, хмурый, со злосчастной запиской в руках, она готова была провалиться на сто локтей в преисподнюю, не только что уйти в монастырь. Не много сказано было слов, но они были ужасны: наказание, тут же наложенное, состояло в том, что ее заперли все в ту же комнату, под надзор той самой женщины, которая все раскрыла; но это было лишь началом, предварительной мерой, ей угрожал другое возмездие, что-то таинственное и поэтому более страшное.

Пажа, само собой разумеется, немедленно выгнали. Ему тоже пригрозили чем-то ужасным, если он хоть когда-нибудь

осмелится заикнуться о происшедшем. Делая это внушение, князь влепил ему две здоровенных пощечины, дабы сопроводить происшествие таким воспоминанием, которое отбило бы у юнца всякую охоту хвастаться им. Найти какой-нибудь предлог, чтобы оправдать увольнение пажа, было нетрудно; что же касается дочери, то говорили просто, что она занемогла.

Итак, на долю Гертруды достались стыд, угрызения совести, страх за будущее и общество ненавистной ей женщины, живой свидетельницы ее проступка и виновницы немилости. Да и та тоже ненавидела Гертруду, из-за которой она на неизвестное время была обречена на нудную жизнь тюремщицы, сделавшись к тому же на всю жизнь хранительницей опасной тайны.

Первая тревога и смятение чувств мало-помалу улеглись. Но затем они поочередно воскресали в душе Гертруды, разрастались и неотступно мучительно терзали ее.

Что же это за возмездие, которым так загадочно угрожали ей? Множество разнообразных и странных наказаний рисовалось пламенному и неопытному воображению Гертруды. Наиболее вероятным казалось ей возвращение в Монцкий монастырь, вторичное водворение в нем, но уже не на положении синьорины, а в роли провинившейся, заключенной там Бог весть на какой срок и в каких условиях. Думая об этой возможности, уже самой по себе столь мучительной, она, пожалуй, больше всего боялась неизбежного позора.

Отдельные фразы, слова, запятые злополучного письма неотступно преследовали ее: она воображала себе, как вглядывается в них, как взвешивает их непредусмотренный читатель, столь не похожий на того, кому они предназначались; она представляла себе, что они могли попасться на глаза также матери или брату, да мало ли еще кому. И в сравнении с этим все остальное казалось ей чепухой. Образ того, кто был источником ее позора, также нередко являлся тревожить бедную заключенную. И подумайте, сколь причудливым должен был казаться этот призрак среди других, столь отличных от него — суровых, холодных, грозных. Но именно потому, что она не могла ни отделить его от них, ни хотя бы на мгновение обратиться к прежним мимолетным радостям без того, чтобы всякий раз тут же не вставали пред нею ее настоящие страдания, — она мало-помалу стала реже возвращаться к этим образам, отталкивая от себя самое воспоминание о них, отвыкая от них. Гертруда уже не отдавалась, как прежде, подолгу и с охотой своим веселым и блестящим мечтаниям, — слишком уж были непохожи они на настоящее и уготованное ей будущее. Единственной твердой, какую Гертруда могла представить себе, убежищем спокойным и почетным — и притом не призрачным — оставался монастырь, прими она решение вступить в него навсегда. Она ни минуты не сомневалась, что

это уладило бы все, принесло бы ей прощение и сразу же изменило бы ее положение. Против такого намерения восставала, правда, мечта всей ее жизни, — но времена изменились; и в той бездне, где оказалась Гертруда, по сравнению с тем, чего она опасалась в иные минуты, положение монахини, окруженной уважением и почетом, которой все послушны, казалось ей прямо сладостным.

К тому же два совершенно различных чувства смягчали временами ее давнее отвращение к монастырю: порой — мучительное сознание своей вины и мечтательно-нежная набожность, порой — гордость, уязвленная и страдавшая от обращения ее тюремщицы, которая (сказать по правде, нередко вызванная на это самой Гертрудой) в отместку то запугивала ее грозной расплатой, то стыдила за совершенный проступок, а затем, желая проявить благосклонность, впадала в покровительственный тон, что было для Гертруды ненавистнее всякого оскорбления. В таких обстоятельствах желание Гертруды вырваться из когтей своей мучительницы и занять положение, которое поставило бы ее выше и гнева и сострадания последней, — это привычное желание становилось настолько сильным и острым, что девушке казалось милым все, что только могло привести его в исполнение.

По прошествии четырех-пяти долгих дней плена, как-то утром, раздраженная сверх всякой меры оскорбительной выходкой своей тюремщицы, Гертруда забилась в дальний угол комнаты и там, закрыв лицо руками, некоторое время старалась молча подавить свое бешенство. Она почуствовала безмерную потребность увидеть другие лица, услышать другие слова, испытать другое обращение. Девушка подумала было об отце, о семье, но мысль ее в ужасе отшатнулась от них. Однако ей пришло в голову, что ведь от нее самой зависело сделать их своими друзьями, и она ощутила неожиданную радость. А вслед за ней — смущение, необычайное раскаяние в своей вине и столь же сильное желание искупить ее. Не то чтобы ее решение было окончательным, но никогда еще она не отдавалась этим мыслям с таким пылом. Она встала, подошла к столу, взяла то самое роковое перо и написала отцу вдохновенное письмо, полное сожаления, скорби и надежды, умоляя о прощении и уверяя в своей беспредельной готовности ко всему, чего пожелает тот, от кого это прощение зависело.

Глава десятая

Бывают мгновения, когда душа, особенно душа людей молодых, настроена так, что при малейшей настойчивости от нее можно добиться всего, что имеет видимость добра и жертвы, — так едва распутившийся цветок мягко нежится на

хрупком своем стебле, готовый отдать свой аромат первому дуновению ветерка, который повеет на него. Такие мгновения должны были бы вызывать у всех благоговейное и робкое удивление, но обычно корыстное коварство внимательно подстерегает их и ловит на лету, чтобы тем самым связать волю, не умеющую уберечься.

Читая письмо Гертруды, князь сразу увидел, что открывается путь к осуществлению его давних и упорных стремлений. Он велел сказать дочери, чтобы она пришла к нему, и, поджидая ее, решил ковать железо, пока горячо. Гертруда появилась и, не поднимая глаз на отца, бросилась пред ним на колени, с трудом вымолвив лишь: «Простите». Он подал ей знак подняться и голосом, вряд ли способным приободрить дочь, сказал ей, что недостаточно желать или просить прощения — это слишком просто и вполне естественно для всякого, кто совершил проступок и боится возмездия за него. Одним словом, он заявил, что прощение надо заслужить. Гертруда, вся дрожа, робко спросила, что же ей надо сделать. Князь (язык не повернется назвать его здесь отцом) не ответил прямо, а начал распространяться по поводу виновности Гертруды, и слова его терзали душу бедняжки, как прикосновение грубой руки к открытой ране. Он продолжал высказываться в том смысле, что если даже... если когда-нибудь прежде у него и было намерение устроить ее в миру, то она сама положила этому непреодолимое препятствие; ведь у благородного человека, каким он является, никогда не хватило бы духу предложить дворянину в жены синьорину, которая показала себя с такой стороны.

Несчастная слушала, вконец уничтоженная. Тогда князь, постепенно смягчая и тон и выражения, заговорил о том, что всякая вина все же исправима; ее же вина — из тех, искупление за которые предуказано вполне ясно. В этом злосчастном случае она должна видеть как бы предупреждение, что мирская жизнь слишком полна для нее всяких опасностей.

— О да! — воскликнула потрясенная Гертруда, сгорая от стыда, охваченная каким-то внезапным приливом покорности.

— О, так, стало быть, и вы понимаете это? — немедленно подхватил князь. — Ну, хорошо же, не будем больше говорить о прошлом, — оно зачеркнуто. Вы приняли единственно правильное решение. Но так как вы идете на это добровольно и чистосердечно, то уж мое дело сделать ваше будущее легким и приятным во всех отношениях, устроить так, чтобы новое положение открыло перед вами все преимущества избранного вами пути. Все это я беру на себя.

С этими словами князь позвонил в колокольчик, стоявший на столике, и сказал вошедшему слуге:

— Княгиню и молодого князя сюда немедленно. — Затем он продолжал, обращаясь к Гертруде: — Я хочу теперь же по-

делиться с ними своей радостью и желаю, чтобы все сейчас же начали обращаться с вами, как подобает. Вы частично испытали на себе отеческую строгость; отныне и впредь вы будете знать только любящего отца.

Слова эти словно оглушили Гертруду. Она старалась понять, как же это вырвавшееся у нее «да» могло приобрести такое огромное значение, и искала предлога взять свое слово назад, сузить его смысл. Однако уверенность князя казалась настолько полной, его радость такой беспредельной, а расположение столь относительным, что Гертруда не решилась вымолвить ни единого слова, которое хоть сколько-нибудь могло помешать свершившемуся.

Через несколько минут явилась княгиня с молодым князем. Увидев Гертруду, они неуверенно и удивленно посмотрели ей в лицо. Но князь с радостным и ласковым видом, призывавшим их к тому же, сказал:

— Вот — заблудшая овца; и да будет это слово последним отголоском печальных воспоминаний. Она — утеха нашей семьи. Гертруда не нуждается больше в советах: она добровольно пожелала того, чего мы хотели для ее же блага. Она приняла решение, она сама заявила мне, что приняла...

Тут Гертруда подняла на отца взор, полный ужаса и мольбы, словно прося его не договаривать до конца, но он уверенно закончил:

— ...решение уйти в монастырь.

— Умица! Отлично! — воскликнули в один голос мать и сын и бросились обнимать Гертруду.

Она отвечала на эти излияния слезами, которые были истолкованы как слезы облегчения. Тут князь принялся странно разъяснять, что он намерен сделать для того, чтобы будущее его дочери было радостным и блестящим. Он говорил о почете, каким она будет пользоваться в монастыре и во всей округе; что она будет там настоящей княгиней, представительницей их рода; что как только позволит ее возраст, она будет возведена в высший сан, а до той поры ее подчиненное положение будет чисто формальным. Княгиня и молодой князь снова и снова поздравляли девушку и одобряли ее решение. Гертруда была точно во сне.

— Придется нам теперь установить день, когда отправить-ся в Монцу с заявлением к аббатисе, — сказал князь. — Как она будет довольна! Уверяю вас, весь монастырь сумеет оценить честь, которую ему оказывает Гертруда. А впрочем... почему бы нам не отправиться туда сегодня же? Гертруда с удовольствием прогуляется.

— В самом деле, поедем, — сказала княгиня.

— Я пойду распоряжусь, — вставил молодой князь.

— Но... — робко произнесла Гертруда.

— Не торопитесь, не торопитесь... — подхватил князь. —

Пусть решает сама: может быть, сегодня она не расположена и ей угодно подождать до завтра. Решайте сами, когда вам угодно ехать. Угодно ли вам сегодня или лучше завтра?

— Завтра, — упавшим голосом ответила Гертруда, надеясь как-нибудь поправить дело даже этой маленькой отсрочкой.

— Завтра, — торжественно произнес князь. — Она назначила отъезд на завтра! А я пока отправлюсь к викарию монахинь с просьбой назначить день для испытания.

Сказано — сделано, и князь в самом деле отправился (что было немалым с его стороны снисхождением) к означенному викарию. Сговорились на том, что священник придет через два дня.

Весь оставшийся день Гертруда не имела ни минуты покоя. Ей хотелось отдохнуть душой от нахлынувших переживаний, собраться, так сказать, с мыслями, отдать себе отчет в том, что она сделала и что из этого последует, разобраться в своих желаниях, задержать движение этого механизма, который, раз пущенный в ход, работал так стремительно, — но это оказалось невозможным. События следовали одно за другим, цепляясь друг за друга. После ухода князя Гертруду тотчас же повели в будуар княгини, где, по указаниям последней, ее причесала и одела собственная камеристка княгини. Едва успели покончить с этим, как уже позвали к столу. Гертруде пришлось пройти мимо рядов прислуги, отвечивавшей низкие поклоны и поздравлявшей ее с выздоровлением. В столовой оказалось несколько ближайших родственников, которых спешно пригласили, желая оказать им честь и вместе с тем отпраздновать в их обществе два счастливых события: выздоровление дочери и окончательный выбор ею призвания.

«Нареченной» (так называли девушек, готовящихся в монахини; и Гертруду при ее появлении теперь все величали этим именем), — нареченной то и дело приходилось отвечать на поздравления, которые сыпались на нее со всех сторон. Она хорошо сознавала, что каждый ответ ее был как бы согласием и подтверждением, — но можно ли было отвечать иначе? Едва успели выйти из-за стола, как пришло время ехать на прогулку. Гертруда села в экипаж с матерью и двумя ее дядями, которые были за обедом. Совершив обычную прогулку, выехали на Страда-Марина, которая в то время пролежала там, где теперь общественный сад, и служила местом, куда синьоры съезжались в экипажах отдохнуть от дневных трудов. Дяди, как полагалось в такой день, разговаривали и с Гертрудой, и один из них, который, видимо, лучше другого знал все лица, экипажи, ливреи, все время рассказывал что-нибудь про синьора такого-то или синьору такую-то. Но вдруг он повернулся к Гертруде и сказал:

— Ну — плутовка! Вы разом разделяетесь со всеми этими глупостями, хитрушка вы этакая! Оставляете нас, бед-

ных мирян, в житейской суете, а сами обращаетесь к праведной жизни и въезжаете, так сказать, в рай в экипаже.

Домой вернулись в сумерках. Слуги, поспешившие к подъезду с факелами, сообщили, что их дожидается много гостей. Весть уже распространилась, и родственники с друзьями явились исполнить свой долг. Вошли в гостиную. Нареченная сразу стала кумиром, игрушкой, жертвой. Каждый старался завладеть ею: кто брал с нее обещанье, что она угостит его конфетами, кто сулил навещать ее, кто говорил о madre такой-то, своей родственнице, кто о другой madre, своей знакомой, кто расхваливал прекрасный воздух Монцы, кто с подъемом рассуждал о той большой роли, какая предстоит ей там. Те, кому еще не удалось пробиться к окруженной со всех сторон Гертруде, выжидали удобной минуты приблизиться к ней и чувствовали себя неловко до тех пор, пока не исполнили своего долга. Мало-помалу общество стало расходиться; все ушли удовлетворенные, и Гертруда осталась одна с родителями и братом.

— Наконец-то, — сказал князь, — я имел утешение видеть, что все обращались с моей дочерью, как с равной. Надо, однако, признаться, что и она держалась отменно и показала, что ей не составит труда играть в монастыре первую роль и поддержать престиж семьи.

Ужинали наспех, чтобы скорее разойтись и на следующее утро быть готовыми уже спозаранку.

Расстроенная, сердитая и в то же время немного возгордившаяся выпавшими на ее долю поздравлениями, Гертруда вспомнила тут же все, что она претерпела от своей тюремщицы, и, видя, что отец готов угождать ей во всем, за исключением одного, захотела воспользоваться своим минутным превосходством, чтобы удовлетворить хотя бы одну из мучивших ее страстей. Она сказала о своем великом отвращении к своей тюремщице и стала всячески жаловаться на ее поведение.

— Как! — воскликнул князь. — Она была с вами недостаточно почтительна? Завтра, завтра же я ее как следует отчитаю. Предоставьте это мне, я ей покажу, как такое она и кто вы. И, во всяком случае, дочь, которой я доволен, не должна видеть около себя лицо, ей неприятное.

С этими словами он велел позвать другую женщину и приказал ей прислуживать синьорине. Между тем Гертруда, упиваясь полученным удовлетворением, с удивлением почувствовала, как мало в нем радости по сравнению с той жадной мести, с какой она к нему стремилась. Вопреки желанию ее душой овладевало сознание того, как быстро она за этот день приблизилась к монастырю, — мысль о том, что теперь для отступления потребовалось бы гораздо больше сил и решимости, которых она уже в себе не находила.

Женщина, которая провожала Гертруду в ее комнату,

давно жила в доме. Она была нянькой молодого князя, которого приняла прямо из пеленок и выхаживала до юношеского возраста. Всячески угождая ему, она видела в нем свою надежду, свою славу. Решение, принятое в этот день, было словно ее личной удачей. И Гертруде, в виде последнего развлечения, пришлось проглотить целый ворох поздравлений, восхвалений и советов старушки, выслушать бесконечные рассказы о всевозможных тетках и двоюродных бабках, которые были очень довольны, постригшись в монахини, так как, происходя из столь знатного дома, они всегда пользовались величайшим почетом, всегда умели показать когти и в монастырской приемной порой достигали того, чего не могли добиться самые важные дамы в своих гостиных. Она говорила ей о всевозможных посещениях, которые ее ожидают в будущем. Вот в один прекрасный день она увидит у себя молодого князя с супругой, которая, разумеется, будет очень знатной синьорой, и тогда всколыхнется не только весь монастырь, но и вся округа. Старушка тараторила, пока раздевала Гертруду и когда Гертруда уже лежала в постели; она все еще болтала без умолку, когда Гертруда уже засыпала. Молодость и утомление оказались сильнее всяких дум. Сон был тревожный, тяжелый, полный мучительных сновидений, и все же его прервал лишь скрипучий голос старушки, которая пришла будить Гертруду: пора готовиться к поездке в Монцу.

— Вставайте, вставайте, синьора нареченная! Уж день на дворе, а пока оденемся да причешемся, пройдет не меньше часу. Синьора-княгиня уже одеваются, их разбудили на четыре часа раньше обычного. Молодой синьор-князь уже сходили в конюшню и вернулись; они готовы ехать хоть сейчас. И проворный же он у нас, разбойник, точно заяц, — такой уж он с детства, уж это я могу вам сказать, ведь я его вынянчила. А уж раз он готов, нельзя заставлять его дожидаться, потому что, хоть он и из самого лучшего теста в мире, а частенько выходит из себя и покрикивает. Бедненький! Жаль мне его: такая уж у него природа. К тому же на этот раз он, пожалуй, и прав, ведь он для вас старается. Не дай Бог, чтоб кто его задел в такую минуту! Все ему нипочем, кроме разве самого синьора-князя. Но ведь когда-нибудь князем будет он сам, — дай-то Бог, чтобы это случилось как можно позднее. Вставайте же скорей, синьорина! Что вы на меня так уставились? Пора бы вам уж давно быть на ногах!

Вместе с образом разгневанного молодого князя разом поднялись, как стая воробьев при появлении коршуна, все другие мысли, теснившиеся в сознании Гертруды. Она повиновалась, поспешно оделась, дала причесать себя и появилась в зале, где уже находились родители и брат. Девушку усадили в кресло и подали ей чашку шоколада, а это в те времена означало то же, что некогда у римлян облачение в мужскую тогу.

Когда доложили, что лошади поданы, князь отвел дочь в сторону и сказал ей:

— Смелей, Гертруда, вчера вы были на высоте, — сегодня вам предстоит превзойти самое себя. Своим появлением вы должны произвести самое приятное впечатление в монастыре и во всей округе, где вам предназначено занимать первое место. Вас ждут... — Стоит ли говорить о том, что еще накануне князь послал аббатисе предупреждение. — Вас ждут, и взоры всех будут обращены на вас. Достоинство и непринужденность! Аббатиса спросит вас, что вам угодно. Это формальность. Вы можете ответить, что просите допустить вас облечься в монашеское одеяние в этом монастыре, где вас воспитали с такою любовью, где вам оказывали столько внимания, — ведь это же чистейшая правда. Постарайтесь сказать эти несколько слов непринужденно, так, чтобы нельзя было подумать, что их вам подсказали и что вы не умеете говорить сама за себя. Добрые монахини ничего не знают о произошедшем, эта тайна должна быть погребена у нас в семье, а потому не делайте сокрушенного, расстроенного лица, которое может внушить подозрение. Покажите свое происхождение: будьте обходительны, скромны, но твердо помните, что среди присутствующих, за исключением нашей семьи, не будет никого равного вам.

Князь стал спускаться, не дожидаясь ответа; Гертруда, княгиня и молодой князь последовали за ним. Все сошли по лестнице и уселись в экипаж. По дороге говорили о мирской суете и заботах, о блаженстве монастырской жизни, особенно для молодых девушек знатного происхождения. Под конец князь напомнил дочери о своих указаниях и несколько раз повторил ей, как надо отвечать.

При въезде в Монцу у Гертруды сжалось сердце, но на мгновенье внимание девушки отвлекли какие-то синьоры, которые остановили экипаж и принесли свои поздравления. Снова тронулись в путь и почти шагом направились к монастырю под любопытными взглядами горожан, сбегавшихся со всех сторон на улицу. Когда экипаж остановился у монастырских стен перед воротами, сердце Гертруды сжалось еще сильнее. Стали высаживаться, толпа теснилась по обе стороны экипажа, а слуги всячески старались осадить ее. Взоры, устремленные на бедняжку, заставляли ее все время следить за собой; но сильнее всего влияла на нее близость отца. При всем своем страхе перед ним, она ежеминутно искала его глазами, их взоры скрещивались, и взгляд отца управлял движениями и лицом девушки, словно посредством невидимых нитей.

Пройдя первый дворик, все вошли во второй и увидели широко распахнутые двери внутреннего здания, переполненного монахинями. В первом ряду стояла аббатиса, окруженная наиболее уважаемыми монахинями, за ними в беспорядке остальные монахини, кто на цыпочках, кто как, а уже совсем по-

зади, взобравшись на табуретки, — монастырские послушницы. То тут, то там иногда поблескивали чьи-то глазки и виднелись среди монашеских одеяний чьи-то рожицы; то были наиболее ловкие и смелые из воспитанниц, которые ухитрились втереться в толпу монахинь и, незаметно пробираясь, устраивали себе подобие небольших окошечек, чтобы тоже что-нибудь увидеть. В толпе раздавались возгласы в знак приветствия и радости, суетливо поднимались бесчисленные руки.

Подошли к вратам. Гертруда очутилась лицом к лицу с аббатисой. После первых приветствий аббатиса, с веселым, но торжественным видом спросила Гертруду, чего она желает в этом месте, где никто ни в чем не может отказать ей.

— Я пришла сюда... — начала было Гертруда, но, уже готовая произнести слова, которые должны были окончательно решить ее судьбу, она на минуту заколебалась и умолкла, глядя на стоявшую перед ней толпу. В это мгновение она увидела одну из своих близких подруг, — та смотрела на нее с состраданием и лукавством. Казалось, она говорила: «Так вот до чего дошла наша гордычка». Этот взгляд пробудил в душе Гертруды былые мечты, вернув ей частицу прежнего мужества, и она уже принялась было подыскивать в ответ что-нибудь совсем непохожее на подсказанное ей. Тут она взглянула в лицо отцу, как бы желая испытать свои силы, и увидела на нем столько мрачного беспокойства и грозного нетерпения, что сразу упала духом и поспешно закончила, словно спасаясь бегством от чего-то страшного.

— Я пришла сюда... с просьбой допустить меня облечься в монашеское одеяние в этом монастыре, где меня воспитали с такой любовью.

Аббатиса отвечала, что ей очень жаль, что при данных обстоятельствах устав не позволяет сразу же дать ответ, который должен исходить из общего согласия сестер, а кроме того, предварительно требуется еще разрешение высших властей; однако, зная о чувствах, которые питают к ней здесь, Гертруда может отлично предвидеть, каков будет ответ; пока же никакой устав не запрещает аббатисе и сестрам проявить чувства восторга и умиления, вызванные в них этой просьбой. Тут поднялся смутный гул поздравлений и приветствий. Немедленно появились большие подносы с конфетами, которые сначала были поднесены нареченной, а потом и родителям. В то время как одни монахини старались окружить Гертруду, другие — приветствовали мать, третьи — молодого князя, аббатиса велела спросить князя, не угодно ли ему пройти к решетке приемной, где она будет ожидать его. Ее сопровождали две старшие монахини. Увидев князя, аббатиса сказала:

— Князь, повинувшись уставу, выполняя необходимую формальность, хотя, конечно, в данном случае... однако я все же обязана сказать вам, что всякий раз, когда девушка просит о

допущении ее к монашеству... настоятельница — в данном случае я, недостойная, — обязана предупредить вас, что если родители ненароком.... допустили насилие над волей дочери, они подлежат за это отлучению. Вы меня извините...

— Прекрасно, прекрасно, достопочтенная матре. Я вполне одобряю вашу добросовестность. Это совершенно правильно... Но вы можете не сомневаться...

— Что вы, что вы, князь... Я говорила в силу своих обязанностей, к тому же...

— Конечно, конечно, матре.

Обменявшись этими немногочисленными словами, собеседники раскланялись и разошлись, словно каждому из них было тягостно долго оставаться с глазу на глаз. Каждый пошел к своим, один — за пределы монастырской ограды, а другая — внутрь.

— Ну, пора, — сказал князь, — скоро Гертруда получит возможность вдоволь насладиться обществом почтенных сестер. А сейчас мы их уже достаточно утомили.

С этими словами он раскланялся; вся семья тронулась за ним; еще раз обменялись любезностями. Наконец, отбыли.

На обратном пути Гертруде не хотелось ни о чем разговаривать. Напуганная сделанным ею шагом, пристыженная сознанием своего ничтожества, досадуя на других и на себя, она печально перебирала в памяти еще оставшиеся у нее возможности сказать «нет» и робко давала себе обещание проявить в других случаях больше твердости и присутствия духа. Однако страх, вызванный хмурым видом отца, еще не прошел, и Гертруда украдкой взглянула на него, чтобы убедиться, что на лице его не осталось ни малейшего следа гнева. Наоборот, она увидела, что он вполне доволен, и на минуту почувствовала какое-то облегчение.

Когда приехали домой, пришлось переодеваться, менять туалеты. Потом обед, несколько визитов, прогулка в экипаже и затем ужин, в конце которого князь поднял новый вопрос: о выборе крестной матери. Так называлась дама, на попечение которой, по просьбе родителей, отдавалась юная кандидатка в монахини на все время от подачи заявления до вступления в монастырь. Время это посвящалось осмотру церквей, дворцов, вилл, святых мест, словом, всех достопримечательностей города и его окрестностей, дабы юные девицы, прежде чем произнести свой обет, хорошенько увидели все то, от чего они навеки отрекались.

— Надо подумать о крестной, — сказал князь, — ведь завтра для испытания явится викарий монахинь, после чего будет поднят вопрос в капитуле, дабы сестры выразили согласие на ее прием.

Эти слова были обращены к княгине, которая, поняв, что ее приглашают высказаться, начала было:

— Пожалуй, лучше всего было бы...

Но князь прервал ее:

— Нет, нет, княгиня, крестная прежде всего должна быть по душе самой нареченной, и хотя по общепринятому обычаю выбор предоставляется родителям, однако Гертруда своей рассудительностью и благоразумием вполне заслужила, чтобы для нее было сделано исключение, — и, обращаясь к Гертруде с видом человека, возвещающего необычайную милость, он продолжал: — Любая из дам, бывших у нас сегодня вечером, обладает всеми качествами, которые необходимы, чтобы быть крестной девушки из нашего дома, и я полагаю, что среди них не найдется ни одной, которая не сочтет за честь оказанное ей предпочтение, — так выбирайте же сами.

Гертруда отлично видела, что этот выбор лишний раз означал ее согласие. Но предложение было высказано с такой торжественностью, что отказ, даже самый робкий, мог бы показаться оскорблением или по меньшей мере своенравным капризом. И вот она решилась и на этот шаг, назвав ту даму, которая в этот вечер пришла к ней по душе, то есть ту, которая больше других ласкала и расхваливала ее, обращаясь с ней с той фамильярностью, сердечностью и предупредительностью, которые в первые моменты знакомства сходят за давнюю дружбу.

— Превосходный выбор, — сказал князь, который именно этого и желал.

Случайно или преднамеренно, но вышло совершенно так, как бывает, когда фокусник шелкает у вас перед глазами колодой карт и предлагает запомнить какую-нибудь карту, а потом вам ее угадывает, но при этом он показывает карты таким манером, что вы замечаете только одну. Эта дама весь вечер столько вертелась вокруг Гертруды, так настойчиво занимала ее своей особой, что девушке стоило бы больших усилий припомнить какую-нибудь другую. Старания этой дамы к тому же были не беспричинны: она давно уже поглядывала на молодого князя, проча его себе в зятя, а потому все дела этого дома считала как бы своими, и вполне естественно, что дорогой Гертруде она уделяла внимания ничуть не меньше, чем ближайшие ее родственники.

На другой день Гертруда проснулась с мыслью о викарии, который должен был прийти. В то время как она раздумывала, нельзя ли воспользоваться этим решительным моментом, чтобы повернуть назад, и как бы это сделать, ее позвали к князю.

— Ну, дочь моя, смелей! — сказал ей отец. — До сих пор вы вели себя отменно, сегодня предстоит увенчать дело. Все, что делалось до этого момента, делалось с вашего согласия. Если бы за это время душой вашей завладело какое-нибудь сомнение, трусливое раскаяние либо какие-нибудь причуды

молодости, — вы должны были сказать об этом; теперь же дело зашло уже так далеко, что ребяческие выходки неуместны. Добрый человек, который должен прийти сегодня, задаст вам сотни вопросов о вашем призвании: по своей ли воле идете вы в монахини, да почему, да как и тому подобное. Если, отвечая ему, вы будете колебаться, он будет водить вас на веревочке Бог весть сколько времени, что будет для вас настоящей пыткой. Но может получиться и гораздо хуже. После всех публичных доказательств, которые уже состоялись, малейшее колебание, замеченное в вас, поставит на карту мою честь, сможет навести на мысль, что я принял вашу скоропалительность за твердое решение, что я ускорил дело, что я... да мало ли что еще можно подумать! В этом случае я оказался бы перед печальной необходимостью выбирать между двумя одинаково тяжкими решениями: либо позволить всему свету составить себе отрицательное мнение о моем поведении — что ни в коей мере не позволяет мне чувство долга перед самим собой; либо — раскрыть истинную причину вашего решения и...

Но тут, увидя, что Гертруда густо покраснела, глаза ее наполнились слезами и все лицо сжалось, словно лепестки цветка в томительный зной перед бурей, князь оборвал свою речь и продолжал тоном утешения:

— Ну, довольно, довольно, все зависит от вас, от вашего благоразумия. Я знаю, что его у вас много и что вы не девочка, чтобы в последнюю минуту испортить столь хорошо налаженное дело; но я должен был предусмотреть всякие возможности. Не будем больше говорить об этом: согласимся, что вы будете отвечать чистосердечно, чтобы в голове этого доброго человека не могло возникнуть и тени сомнения. Так и вы сами скорее отделаетесь от всей этой процедуры.

Затем, подсказав несколько ответов на наиболее вероятные вопросы, князь пустился в свои обычные рассуждения об утехах и радостях, которые уготованы Гертруде в монастыре. Он занимал ее этими разговорами, пока слуга не доложил о приходе викария. Князь наспех повторил наиболее важные указания и, как полагалось, оставил дочь наедине со священником.

Добрый человек явился с почти сложившимся мнением о том, что Гертруда имеет призвание к монашеству, — об этом сказал ему князь, когда пришел приглашать его. Правда, добряк викарий, зная, что сомнение является одной из самых важных добродетелей его призвания, держался правила не очень-то доверять подобным заявлениям и всячески остерегаться предвзятых мнений, однако редко бывает, чтобы настоячивые и убедительные слова авторитетного лица так или иначе не повлияли на того, кто их выслушивает. После первых поздравлений викарий сказал:

— Синьорина, я пришел к вам в роли искусителя, поставить под сомнение то, что вы в своей просьбе объявили твердым решением: я пришел открыть вам все трудности избранного вами пути и увериться в том, хорошо ли вы их взвесили. Позвольте предложить вам несколько вопросов.

— Пожалуйста, — отвечала Гертруда.

Тогда добрый пастырь начал расспрашивать ее по правилам, предписанным уставом:

— Чувствуете ли вы в своем сердце свободное, не вынужденное решение стать монахиней? Не были ли применены угрозы или обольщения? Не было ли пущено в ход чье-либо влияние, чтобы привести вас к этому решению? Скажите это чистосердечно человеку, долг которого узнать вашу подлинную волю, дабы воспрепятствовать применению какого бы то ни было насилия.

Искренний ответ на этот вопрос выступил перед умственным взором Гертруды во всей своей страшной правдивости. Чтобы дать его, нужно было все объяснить, рассказать, кто и как угрожал ей, одним словом, всю историю... В ужасе отшатнулась несчастная от подобной мысли; она поспешно стала подыскивать другой ответ и нашла единственный, который мог быстро и наверняка избавить ее от этой муки, — ответ, наиболее далекий от истины.

— Я иду в монастырь, — произнесла она, стараясь скрыть свое смятение, — по собственному влечению, свободно.

— Давно ли родилась у вас эта мысль? — продолжал добрый пастырь.

— Она была у меня всегда, — отвечала Гертруда, которой, сделав первый шаг, было уже легче лгать перед самой собой.

— Но каково же истинное побуждение, которое толкает вас принять монашество?

Добрый пастырь и не подозревал, какую больную струну он задел. А Гертруда сделала над собой огромное усилие, чтобы как-нибудь не обнаружить смятения, вызванного в ней этими словами.

— Главное побуждение, — сказала она, — это желание служить Богу и избежать мирских соблазнов.

— А не кроется ли за этим какого-нибудь огорчения? Какой-нибудь... простите меня... причуды? Ведь иной раз и мгновенное огорчение может произвести впечатление, которое кажется неизгладимым, вечным, а потом, когда причина его отпадает и настроение меняется, тогда...

— Нет, нет, — поспешила ответить Гертруда, — причина именно та, какую я указала.

Викарий больше из желания до конца выполнить свою обязанность, чем из убеждения в необходимости этого, настойчиво продолжал задавать вопросы, но Гертруда твердо решила обмануть его до конца. Помимо отворачивания, какое вы-

зывала в ней мысль, что про ее колебания узнает этот серьезный и действительно добрый пастырь, который, казалось, был так далек от того, чтобы подозревать ее в чем-либо подобном, — бедняжка подумала, что он, пожалуй, и впрямь мог бы помочь ей сделаться монахиней; но ведь на этом и кончилось бы все его участие в ее судьбе, все его содействие. Ведь после его ухода она осталась бы с глазу на глаз с князем. И добрый пастырь не узнал бы, что потом пришлось бы претерпеть ей в этом доме, а если б и узнал, то при всем своем желании не смог бы ничего сделать, кроме как спокойно и умеренно посочувствовать ей, что обычно из учтивости делают по отношению ко всякому, кто дал основание или предлог для принимаемого ему зла.

Испытующий раньше устал спрашивать, нежели несчастная — лгать, и, слыша ответы, все время согласные между собой, не имея никакого основания сомневаться в их искренности, он, наконец, заговорил по-иному: возрадовался заодно с испытуемой, стал даже извиняться в том, что потратил так много времени на выполнение своего долга, и добавил от себя несколько слов, которые, по его мнению, могли еще более укрепить девушку в ее намерении. На этом они распростились.

Пройдя анфиладу комнат и направляясь к выходу, викарий встретил князя, который, словно случайно, проходил мимо, и поделился с ним радостью по поводу прекрасного умонастроения, в каком нашел его дочь. Князь, пребывавший все время в мучительнейшем страхе, при этом известии облегченно вздохнул и, забыв обычную свою важность, чуть не бегом направился к Гертруде и осыпал ее похвалами, ласками и обещаниями. При этом он обнаружил сердечную радость и нежность в значительной мере искреннюю, — так уж устроена сложная ткань, что зовется человеческим сердцем.

Мы не последуем за Гертрудой в непрерывный круговорот всевозможных зрелищ и развлечений. Не станем мы подробно описывать и смену ее душевных переживаний, ибо получилась бы история непрерывных страданий и колебаний, слишком монотонная, похожая на то, о чем уже говорилось. Красоты природы, разнообразное окружение и всевозможные развлечения, которые она получала, находясь в постоянном движении на открытом воздухе, делали для нее еще более ненавистной самую мысль о том месте, где она в конце концов в последний раз высадится из экипажа и уже останется навсегда. Еще острее были впечатления от всяких празднеств и приемов гостей. Один вид невест, которых при ней называли так в самом обычном и прямом смысле, причинял Гертруде невыносимые страдания и вызывал в ней жгучую зависть. И иногда при взгляде на кого-нибудь ей начинало казаться, что верх блаженства — возможность называться чей-либо невестой. Порой пышность дворцов, блеск обстановки, веселый

гомон и шум празднеств опьяняли ее, вызывая такое нестерпимое стремление к радостям жизни, что она давала себе обещание отречься, претерпеть все, что угодно, лишь бы не возвращаться под мрачную, мертвую сень монастыря. Но все эти намерения разлетались прахом при более серьезном рассмотрении предстоящих трудностей, при одном лишь взгляде на лицо князя. Порой мысль о необходимости навсегда расстаться с мирскими удовольствиями делала для нее горьким и мучительным это краткое прикосновение к ним. Так больной, томимый острой жаждой, с бешенством смотрит на ложку воды и чуть ли не со злобой отталкивает ее от себя, хотя даже и ее врач разрешает ему с трудом.

Тем временем викарий монахинь выдал нужное свидетельство, и пришло разрешение созвать капитул для принятия Гертруды. Капитул состоялся. Как и следовало ожидать, при тайном голосовании набралось две трети голосов, требующихся по уставу, и Гертруда была принята. Сама она, истерзанная бесконечными сомнениями, стала просить ускорить, насколько возможно, ее вступление в монастырь. Конечно, не нашлось никого, кто стал бы сдерживать такое нетерпение, и желание ее было выполнено. Торжественно отвезенная в монастырь, она облеклась в монашеское платье. После годичного послушничества, во время которого она то раскаивалась в сделанном, то раскаивалась в самом раскаянии, настал час произнесения обета, тот час, когда нужно было или сказать «нет», что теперь прозвучало бы более странно и неожиданно, чем когда-либо раньше, или повторить уже столько раз произнесенное «да». Она его повторила и стала монахиней навеки.

Одно из своеобразных и непередаваемых свойств христианской религии состоит в возможности направить и утешить каждого, кто прибегнет к ней с любой целью, при всяких обстоятельствах. Если есть лекарство против прошлого, она его укажет, снабдит им и даст воспользоваться, чего бы то ни стоило; если такого средства нет, она даст возможность действительно осуществить то, что, согласно поговорке, называется «сделать из нужды добродетель». Она мудро научит продолжать то, что начато было по легкомыслию, склонит душу с любовью посвящать себя тому, что было навязано силой, и придаст выбору необдуманному, но бесповоротному всю святость, всю мудрость, скажем прямо — все радости истинного призвания. Это — путь, по которому человек, из какого бы лабиринта или пропасти он ни попал на него, сделав хотя бы один шаг, сможет и дальше идти уверенно и охотно и достигнуть, наконец, радостного конца.

Так и Гертруда, став монахиней, могла бы обрести покой и радость, независимо от того, каким путем она пришла к этому, но несчастная билась в ярме и тем сильнее чувствовала его тяжесть и удары. Непрестанное сожаление об утраченной

свободе, отвращение к своему настоящему положению, утомительная погоня за желаниями, которым не суждено было сбыться, вот чем была полна ее душа. Она снова и снова переживала свое горькое прошлое, перебирала в памяти все обстоятельства, приведшие ее в монастырь, и в тысячный раз тщетно старалась уничтожить в мыслях то, что совершила на деле; Гертруда упрекала себя в ничтожестве, а других — в тирании и вероломстве, и снова раскаивалась. Она боготворила и вместе с тем оплакивала свою красоту, жалела свою молодость, обреченную томиться в медленной муке, а иной раз завидовала тому, что любая слабая женщина с какой угодно совестью, там, за монастырской стеной, может свободно наслаждаться всеми мирскими благами.

Вид монахинь, приложивших руку к тому, чтобы заманить ее сюда, был ей ненавистен. Она припоминала уловки и охаживания, пущенные ими в ход, и теперь платила за них грубостями, оскорблениями и даже прямыми укорами. А тем в большинстве случаев приходилось молча проглатывать все, ибо князю было угодно тиранить свою дочь для того, чтобы запрятать ее в монастырь, но когда его намерение осуществилось, он не склонен был допускать, чтобы кто-либо другой мог осмелиться перечить его детищу; и малейший шум, поднятый монахинями, мог бы послужить причиной утраты ими его высокого покровительства, а, пожалуй, даже и превратить покровителя во врага. Казалось бы, Гертруда должна была чувствовать некоторую симпатию к другим сестрам, которые не принимали участия в этих интригах и не имели желания видеть ее в числе своих подруг, а любили ее просто так, как сверстницу. Набожные, всегда веселые и хлопотливые, они своим примером показывали ей, что даже здесь, в затворничестве, можно не просто жить, но даже и радоваться жизни. Однако и эти были ей ненавистны, но уже по другой причине. Их набожный и довольный вид служил как бы упреком ее беспокойству, ее капризному нраву, и она не упускала случая за глаза высмеять их как ханжей и лицемеров. Может быть, она относилась бы к ним менее враждебно, если бы знала или хотя бы догадывалась, что несколько черных шаров, оказавшихся в избирательном ящике, когда решался вопрос о ее принятии, были положены как раз ими.

Порой она находила некоторое утешение в своем положении повелительницы, в том почтении, каким ее окружали в монастыре, в поздравительных визитах, наносившихся ей разными лицами со стороны, в устройстве какого-нибудь дела, в оказании кому-нибудь покровительства, наконец, в титуловании ее «синьорой». Но что стоили все эти утехы? Сердце, столь мало удовлетворенное, хотело иногда присоединить к ним утешения религии, чтобы насладиться ими. Но это дается лишь тому, кто пренебрегает всякими иными утешениями,

подобно тому, как потерпевший кораблекрушение, если он хочет ухватиться за доску, что может вынести его целым и невредимым на берег, должен сначала разжать кулак и бросить водоросли, за которые он судорожно схватился в инстинктивном порыве.

Скорее после произнесения обета Гертруду сделали наставницей монастырских воспитанниц. Подумать только, как должны были чувствовать себя эти девочки под таким руководством! Былые наперсницы ее уже вышли из монастыря; но в ней самой были живы все страсти той поры, и воспитанницы в какой-то степени должны были испытать на себе их воздействие. Когда ей приходило в голову, что многим из них предстоит жить в том мире, который был для нее уже навсегда закрыт, она начинала испытывать к этим бедняжкам злобу, чуть ли не жажду мести, и всячески притесняла их, тираня и заставляя заранее расплачиваться за те радости, которые предстояли им в будущем. Если бы в такие минуты кто-нибудь послушал, с каким наставническим презрением бранила она их за малейшую провинность, он счел бы ее за женщину фанатического, слепого благочестия. В другие минуты все то же отвращение к монастырю, к уставу, к послушанию изливалось у Гертруды в приступах прямо противоположного настроения. Тогда она не только переносила шумные забавы своих воспитанниц, но даже поощряла их; вмешивалась в игры девочек и вносила в них беспорядок; принимала участие в их разговорах и толкала их далеко за пределы тех намерений, с какими эти разговоры были затеяны. Если одна из них позволяла себе сказать что-нибудь про болтовню матери-аббатисы, Гертруда принималась подражать ей и делала из этого целую комическую сцену; передразнивала лицо одной монахини, походку другой и при этом судорожно хохотала, но этот смех не веселил ее.

Так прожила она несколько лет, не имея возможности проявить себя как-нибудь по-другому. Но на ее беду такой случай представился.

Среди других отличий и преимуществ, предоставленных ей в возмещение за то, что она еще не могла быть аббатисой, ей дано было право жить на особом монастырском участке. По соседству с монастырем стоял дом, в котором проживал молодой человек, преступник по профессии, один из тех, кто с помощью наемных убийц и в союзе с такими же преступниками мог в те времена до известной степени издеваться над властями и законами. Наша рукопись именует его Эджидио, умалчивая о фамилии. Из своего окошка, выходившего прямо на небольшой дворик этого монастырского участка, Эджидио видел иногда Гертруду, проходившую по дворику или гулявшую там на досуге. Скорее подстрекаемый, нежели уstraшенный опасностью и гнусностью своей затеи, он в один прекрасный день дерзнул заговорить с ней. Несчастливая отвечала.

В первые минуты она испытала чувство удовлетворения, правда, не совсем невинного, но зато живого. В томительную душевную пустоту вторглось теперь увлекательное постоянное занятие, можно сказать, жизнь, бьющая ключом. Но это удовлетворение было похоже на подкрепляющий напиток, изобретенный жестокостью древних, который подносили осужденному на смерть, чтобы дать ему силы выносить пытки.

Резкая перемена стала замечаться во всем поведении Гертруды: она сделалась гораздо сдержаннее, спокойнее, бросила насмешки и брюзжание, стала ласковее и обходительнее, так что сестры поздравляли друг друга с такой счастливой переменой; но они, конечно, были очень далеки от того, чтобы догадаться об истинной причине произошедшей перемены и понять, что эта новая добродетель была не чем иным, как лицемерием, дополнившим остальные пороки. Однако эта видимость, эта, так сказать, внешняя белизна продержалась недолго. Очень скоро спокойствие и приветливость иссякли и возобновились привычные причуды и злые выходки. Вернулись и снова стали раздаваться проклятия и насмешки над «монастырской тюрьмой», высказанные порой в выражениях, неуместных в таком месте, да еще в таких устах. Но после каждой подобной вспышки наступало раскаяние, великое старание загладить свою вину с помощью добрых и ласковых слов. Сестры по мере возможности выносили эти приливы и отливы, приписывая их причудливому и изменчивому нраву синьоры.

Некоторое время никто из монахинь, по-видимому, ни о чем не догадывался. Но вот как-то раз синьора заспорила из-за каких-то сплетен с одной послушницей и принялась поносить последнюю сверх всякой меры, никак не желая оставить ее в покое. Послушница терпела-терпела, даже губы прикусила, но в конце концов вышла из себя и обронила словечко насчет того, что она, мол, кое-что знает и в свое время не преминет сказать, где нужно. С этого момента синьора потеряла покой. Но не прошло и нескольких дней, как однажды утром послушница не явилась выполнять свои обычные обязанности. Отправились за ней в келью, там ее не оказалось; стали звать — ответа не было; искали ее повсюду, обыскиали все помещение от чердака до подвала, — нигде ее не оказалось. И кто знает, какие бы возникли предположения, если бы во время поисков не обнаружили отверстия в садовой стене. Это обстоятельство навело всех на мысль, что она исчезла именно этим путем. Произведены были тщательные поиски в Монце и ее окрестностях, особенно в Меде, откуда беглянка была родом; писали в разные концы, но ни разу не получили ни малейших сведений. Пожалуй, кое-что узнали бы, если б вместо дальних поисков заглянули поближе. После всеобщего изумления, — ибо никто не считал ее способной

на это, — и длительных пересудов пришли к заключению, что она, видимо, убежала, и, возможно, далеко-далеко. И так как у одной сестры вырвалось замечание: «Она, верно, укрылась в Голландии», то сразу стали говорить, — и эта версия укрепи-лась на некоторое время и в монастыре и за его пределами, — что она бежала в Голландию. Однако синьора, по-видимому, не разделяла общего мнения. Не то чтобы она не верила этой версии или оспаривала ее по особым соображениям: если они у нее и были, то уж, разумеется, никто не умел так хорошо скрывать их, как она; и не было предмета, от обсуждения ко-торого она воздерживалась охотнее, чем вся эта история, та-инственных глубин которой ей хотелось касаться как можно меньше. Но чем меньше она говорила об этом, тем больше думала. Сколько раз в течение дня образ этой женщины вне-запно рисовался ее воображению, стоял перед ней и не хотел исчезать! Как хотелось ей видеть исчезнувшую живой, ее плоть, а не держать ее образ вечно в мыслях, не быть вынуж-денной дено и ночью находиться во власти этой неулови-мой, страшной и бесплотной тени! Как хотелось Гертруде ус-лышать наяву ее голос, чем бы он ни грозил ей, а не прислушиваться к постоянно звучащему откуда-то из глуби-ны сердца призрачному шепоту и слышать слова, повторяе-мые с таким неутомимым упорством и настойчивостью, на какие не способно ни одно живое существо.

Примерно через год после этого происшествия Лючия была представлена синьоре и вела с ней разговор, на котором оста-новился наш рассказ. Синьору интересовало решительно все, что касалось преследования со стороны дона Родриго, а порой она вникала в отдельные подробности с такой смелостью и страстностью, что все это казалось, и не могло не казаться, со-всем неожиданным для Люции, никогда не думавшей, что лю-бопытство монахинь может возбуждаться подобными сюжета-ми. Не менее странны были и суждения, которыми синьора пересыпала свои вопросы или которые она невольно высказы-вала. Казалось, она почти высмеивала то огромное отвраще-ние, какое питала Лючия к этому синьору, и спрашивала, уж не урод ли он, если внушает такой страх; казалось, она готова была считать глупым само упорство девушки, не будь оно вы-звано предпочтением, отдаваемым ею Ренцо. Да и насчет пос-леднего она пустилась в такие расспросы, которые заставили собеседницу смутиться и покраснеть. Тут, спохватившись, не слишком ли она дала волю языку, следовавшему за причудли-вым полетом ее фантазии, Гертруда попыталась было испра-вить дело и истолковать свою болтовню в хорошую сторону, но было поздно, у Люции так и остался какой-то неприятный осадок и неясный страх. Оказавшись наконец наедине с мате-рью, она рассказала ей все. Но Аньезе, как более опытная, не-сколько рассеяла ее сомнения и по-своему раскрыла этот сек-

рет. «Не удивляйся ты этому, — сказала она, — когда получишь узнаешь свет, как знаю его я, то увидишь, что тут нечему удивляться. Синьоры — они ведь все, кто больше, кто меньше, один так, другой этак, но все немножко полоумные. Надо дать им поговорить, особенно, когда в них нуждаешься, и сделать вид, будто слушаешь их всерьез, словно они говорят дело. Ты слышала, как она меня оборвала, словно я сказала какую-нибудь ерунду? Я же не обратила на это ни малейшего внимания. Все они таковы. А между тем надо благодарить Бога, что эта синьора, видимо, отнеслась к тебе по-хорошему и в самом деле хочет взять нас под свою защиту. А впрочем, дочка, если тебе еще придется иметь дело с синьорами, много чего ты наслушаешься, много».

Желание оказать услугу отцу настоятелю, приятное сознание быть покровительницей других, мысль о том хорошем впечатлении, которое могло сложиться у всех в результате ее вмешательства, предпринятого с таким святым намерением, зародившаяся симпатия к Люции и некоторое утешение от мысли, что делаешь добро невинному существу, поддерживаешь и утешаешь угнетенных, — все это вместе взятое расположило синьору к тому, чтобы принять к сердцу судьбу бедных беглянок. По настоянию синьоры и из уважения к ней их поместили в квартире привратницы по соседству с монастырем и считали как бы в числе монастырских служащих. Мать и дочь всем сердцем радовались тому, что так быстро удалось найти столь надежное и высокочтимое убежище. Общим очень хотелось жить там в полной неизвестности, однако в монастыре это оказалось не так-то просто, тем более что был человек, который крайне настойчиво стремился разузнать про одну из них и в душе у которого к первоначальной страсти и досаде присоединилась теперь еще и злость оттого, что его опередили и провели.

Пока мы оставим женщин в их убежище и вернемся в его палаццотто в тот момент, когда он ожидал исхода затеянного им злодейского предприятия.

Глава одиннадцатая

Подобно своре гончих, которые после неудачной погони за зайцем сконфуженные возвращаются к хозяину, опустив морды и поджав хвосты, возвращались в эту сумбурную ночь брави в палаццотто дон Родриго. Он ходил впотьмах взад и вперед по необитаемой комнатухе верхнего этажа, выходившей на площадку перед замком. Время от времени дон Родриго останавливался, прислушиваясь, и смотрел сквозь щели источенных червем ставней; он был полон нетерпения и отчасти тревоги не только из-за неуверенности в успехе, но и

из-за возможных последствий, ибо это было наиболее серьезное и рискованное из предприятий, за которые когда-либо брался наш отважный герой. Однако он успокаивал себя мыслью о предосторожностях, предпринятых для того, чтобы устранить всякие улики, если не подозрения.

«Что до подозрений, — думал он, — то мне на них наплевать. Хотел бы я знать, найдется ли охотник забираться сюда, чтобы посмотреть, тут ли девчонка или нет. Пусть только явится сюда этот невежа, его хорошо примут. Пусть и монах является, пусть. Старуха? Пусть старуха отправляется себе в Бергамо. Юстиция? Подумаешь, юстиция! Подеста ведь не ребенок и не сумасшедший. А в Милане? Кому какое дело до них в Милане? Кто станет их слушать? Кто знает об их существовании? Они не имеют никаких прав на этом свете, за них даже некому заступиться, — так, ничьи люди. Да что там, нечего бояться! А что-то скажет завтра Аттилио! Уж он увидит, зря я болтаю или нет. И потом... если выйдет какое-нибудь затруднение... почему знать? Какой-нибудь недруг вздумает воспользоваться этим случаем... тот же Аттилио сумеет дать мне совет, — ведь тут затронута честь всей семьи...»

Однако больше всего его занимала одна мысль, в которой он находил одновременно и успокоение и пищу для главной своей страсти. Это была мысль о тех ласках и обещаниях, которые он собирался пустить в ход, чтобы задобрить Лючию. «Ведь ей будет здесь так страшно одной, среди всех этих лиц, что... черт возьми, ведь самое человеческое лицо здесь все-таки у меня... что она должна будет обратиться ко мне, просить меня, а если она станет просить...»

Предвкушая эти сладостные минуты, он вдруг услышал топот, бросился к окну, приоткрыл его и высунулся наружу. Они! «А носилки? Что за черт! Где же носилки? Три, пять, восемь... все налицо, и Гризо тут же, а носилок нет. Черт возьми, Гризо мне за это ответит!»

Когда брави вошли, Гризо поставил в угол одной из нижних комнат свой посох, сложил старую шляпу и пилигримский плащ и, как того требовала его должность, которой в эту минуту никто не завидовал, пошел наверх докладывать дону Родриго. Последний ждал его наверху лестницы, и, когда показалась пристыженная, смущенная физиономия оставшегося в дураках негодяя, он сказал или, вернее, крикнул ему:

— Ну, что же, синьор бахвал, синьор атаман, синьор «всё могущий».

— Тяжело слушать упрёки, — сказал Гризо, не поднимаясь дальше первой ступени, — когда ты верно служил, старался выполнить свой долг, даже рискуя шкурой.

— Как же все это произошло? Послушаем, послушаем, — говорил дон Родриго, направляясь в свою комнату, куда за ним и последовал Гризо, тут же сделавший доклад о том, как

он всем распорядился, как действовал, что видел и чего не видел, что слышал, чего боялся, как старался поправить дело.

Его сбивчивый рассказ был полон сомнений и растерянности, которые в тот момент царили в его мыслях.

— Вижу, что ты не виноват, ты вел себя хорошо, — сказал дон Родриго, — и сделал все, что возможно; но... но нет ли уж в моем доме шпиона? Если это так и мне удастся открыть его, — а мы его непременно откроем, — уж я его отделаю. Уж ты поверь мне, Гризо, будет ему праздник.

— У меня тоже, синьор, мелькнуло в голове такое подозрение, — отвечал Гризо, — и если оно подтвердится, если удастся открыть этого негодяя, синьор должен отдать его в мои руки. Кто доставил себе развлечение, заставив меня пережить такую ночь, тот мне за это заплатит! Однако, сдается мне, что тут какая-то другая интрига, в которой пока еще нельзя разобраться. Завтра, синьор, завтра все это выяснится.

— По крайней мере никто вас не узнал?

Гризо ответил, что, по-видимому, нет. Разговор закончился тем, что дон Родриго отдал распоряжения на следующий день, о чем, кстати, Гризо отлично сообразил бы и без него. Необходимо было утром немедленно отправить двоих бравы к консулу и сделать ему предупреждение, что, как мы видели, и было сделано: двух других — к заброшенному дому, караулить, не подпуская никого, кто случится по соседству, и скрывать носилки от посторонних взглядов до наступления ночи, когда станет возможным послать за ними, ибо пока следовало воздержаться от любых подозрительных действий; наконец, пойти ему самому, а также послать других, наиболее расторопных и смысленых, потолкаться среди народа и разузнать все, что можно, о ночном переполохе. Отдав эти распоряжения, дон Родриго пошел спать и отпустил Гризо, осыпав его похвалами, чем явно хотел загладить опрометчивые оскорбления, какими он его встретил.

— Иди себе спать, бедный Гризо, ты так нуждаешься в отдыхе. Бедняга Гризо! В работе весь день, в работе полночи, не считая риска попасть в лапы крестьян и навлечь на себя обвинение в похищении честной женщины в дополнение к тем, что уже тяготели над тобой, — и встретить такой прием! Но что поделаешь, люди нередко вот так-то и расплачиваются. Однако в данном случае ты сможешь увидеть, что иногда возмездие, если и не сразу, все же рано или поздно настигает и на этом свете. Теперь иди спать, — быть может, настанет день, когда ты дашь нам в руки иное доказательство этого, но уже более достойное внимания.

На следующее утро, когда дон Родриго встал, Гризо уже отправился по делам. Дон Родриго тотчас же отыскал графа Аттилио, который при его появлении скорчил гримасу и насмешливо крикнул ему:

— Сан-Мартино!

— Не знаю, что и сказать вам, — отвечал, подходя к нему, дон Родриго, — я заплачу пари, но не это меня волнует. Я ничего не говорил вам, потому что, признаюсь, рассчитывал сегодня утром заставить вас умолкнуть. Впрочем... довольно... Теперь я вам расскажу все.

— Тут не без того, чтобы монах сунул свой нос, — сказал кузен, выслушав все с гораздо большей серьезностью, чем можно было ожидать от такого пустомели. — Монаха этого, — продолжал он, — с его манерой прикидываться простачком и с этими глупыми его рассуждениями я считаю хитрой лисой и мошенником. А вы вот не доверились мне, скрыв, какую чепуху он приходил тогда молоть вам.

Дон Родриго передал свой разговор с падре Кристофоро.

— И вы все это стерпели? — воскликнул граф Аттилио. — Вы дали ему преспокойно уйти?

— А вы бы хотели, чтоб я накликал себе на голову всех капуцинов Италии?

— Не знаю, — сказал граф Аттилио, — мог бы я помнить в такую минуту о существовании на свете других капуцинов, кроме этого наглеца. Да разве при соблюдении всех мер предосторожности нет способа добиться удовлетворения даже и от капуцина? Надо уметь вовремя проявить щедрость по отношению ко всей корпорации, а потом уж можно безнаказанно всыпать одному из ее членов. Ну, довольно: он улизнул от наказания, самого для него подходящего, — так теперь я возьмусь за него и, чтобы утешиться, научу его, как говорить с нашим братом.

— Смотрите только, чтобы не навредить мне!

— Уж на этот раз доверьтесь мне, и я услужу вам по-родственному и по-дружески.

— А что же вы намереваетесь сделать?

— Еще не знаю. Но уж наверно удружу монаху. Я подумаю об этом... Дядюшка-граф, член Тайного совета, — вот кто должен оказать мне услугу. Дорогой мой дядюшка-граф! Вот уж развлеченье-то всякий раз для меня, когда удается заставить его поработать на меня, — его, этого ловкача высокого полета! Послезавтра я буду в Милане, и так или иначе монаху нашему нагорит.

Тем временем подали завтрак, за которым все продолжался разговор о столь важном деле. Граф Аттилио говорил о нем довольно развязно и хотя относился к нему так, как того требовала его дружба с кузеном и их общая фамильная честь, согласно тем понятиям, какие были у него относительно дружбы и чести, однако порой не мог удержаться и посмеивался себе в ус над такой «удачей» кузена. Дон Родриго же, непосредственно заинтересованный в деле, рассчитывавший было втихомолку осуществить рискованное предприятие и с трес-

ком провалившийся, был охвачен более сильными страстями и тягостными мыслями.

— Хорошенькие сплетни распустят теперь эти голодранцы по всей округе! — говорил он. — А мне какое дело? Правосудие? Плевал я на него. Улик никаких нет. Да и будь они, мне все равно наплевать! На всякий случай я нынче утром велел предупредить консула, чтобы он не вздумал докладывать о случившемся. Ничего не будет, но вот сплетни, если они поползут, — вот что меня злит. А больше всего — что надо мной так нагло посмеялись.

— Вы отлично сделали, — отвечал граф Аттилио. — Этот ваш подеста — настоящий олух, пустая голова, не подеста, а надоеда... Впрочем, он человек благородный, понимающий свой долг. И как раз, когда приходится иметь дело с такими людьми, надо стараться не ставить их в затруднительное положение. Если какой-нибудь негодяй консул сделает доклад, то подеста, при всем своем расположении, все же, конечно, должен будет...

— А вы, — с некоторым раздражением прервал его дон Родриго, — вы мне портите все дело своей манерой вечно во всем ему противоречить, обрывать его, а при случае даже высмеивать. Какого черта, в самом деле! Почему подеста не может быть упрямым ослом, если в остальном он благородный человек?

— Знаете что, кузен, — сказал, взглянув на него с изумлением, граф Аттилио, — я начинаю подозревать, что вы немножко струхнули. Вы начинаете принимать всерьез даже подеста.

— Позвольте, не вы ли сами сказали, что с ним надо считаться?

— Сказал, конечно, — и раз речь идет о серьезном деле, я вам покажу, что я не мальчишка. Вы знаете, как велика моя решимость помочь вам. Я могу собственной персоной посетить синьора подеста. Как, по-вашему, будет он доволен такой честью? И я способен дать ему говорить целых полчаса о графе-герцоге и о нашем синьоре кастеллане — испанце и соглашаться с ним во всем, даже когда он будет нести совершеннейшую чепуху. А потом я оброню словечко насчет дядюшки-графа, члена Тайного совета; вы же знаете, какое впечатление такие словечки производят на синьора подеста. В конце концов, ведь он больше нуждается в нашем покровительстве, чем вы в его снисходительности. Seriously, я пойду к нему, и вы увидите, он станет к вам еще благосклоннее, чем прежде.

Высказав эти соображения, граф Аттилио отправился на охоту, а дон Родриго продолжал с тревогой ожидать возвращения Гризо. Наконец, когда наступил час обеда, тот пришел с докладом.

Переполох минувшей ночи был настолько бурным, исчезновение трех лиц из небольшой деревни — происшествием настолько чрезвычайным, что поиски, как из усердия, так и из любопытства, естественно должны были сделаться горячими и упорными; с другой стороны, слишком много было людей, знавших кое-что, чтобы все они согласились молчать. Перпетуе нельзя было показаться в дверях, чтобы кто-нибудь не пристал к ней с расспросами о том, кто же это так напугал ее хозяина, и Перпетуя, припоминая все обстоятельства дела и сообразив в конце концов, что ведь Аньезе, в сущности, оставила ее в дураках, приходила от подобного вероломства в такое бешенство, которому положительно надо было дать выход. Не то чтобы она стала распространяться со всяким встречным и поперечным, каким образом ее надули, — об этом она и не заикалась; но не говорить про шутку, разыгранную с ее бедным хозяином, она была не в силах, а в особенности умолчать, что подобную штуку задумали и попытались проделать такой славный парень, такая почтенная вдова и такая скромница-недотрога. Как строго-настрою ни приказывал ей дон Абондио, как горячо ни просил он ее держать язык за зубами, как ни твердила ему усердно она сама, что незачем напоминать ей то, что ясно и понятно само собой, — все же эта большая тайна держалась в ней подобно тому, как в старой, плохо стянутой обручами бочке держится очень молодое вино, которое бурлит, шипит и пенится и, если не вышибает затычку, то пускает сок мимо нее и выходит наружу пеной, просачиваясь между клепками бочки, местами выступая каплями, так что его можно попробовать и почти точно определить, что же это за вино.

Жервазо, который никак не мог поверить, что на сей раз он знает больше других; Жервазо, который вменял себе в немалую заслугу пережитый им жуткий страх и думал, что он уподобился всем другим людям, ибо замешан в деле, сильно пахнувшем уголовщиной, — можно сказать, лопался от желания похвастать всем этим. И хотя Тонио, серьезно подумывавший о возможности дознания и суда и необходимости держать ответ, приказал Жервазо, поднося кулаки к самому его лицу, ничего никому не говорить, все же не было средства, способного окончательно зажать ему рот. Впрочем, и сам Тонио, проведя эту необычайную ночь вне дома, вернулся домой не совсем обычной походкой, с таинственным видом и в таком приподнятом настроении, располагавшем к откровенности, что не смог скрыть происшествия от своей жены, а она, разумеется, не была немой.

Меньше всех говорил Менико, потому что, как только он рассказал родителям всю историю и предмет своей экспедиции, они сочли участие их сына в крушении предприятия, затеянного самим доном Родриго, делом настолько опасным,

что не позволили мальчику закончить свой рассказ и тут же дали ему строжайший наказ, подкрепленный угрозами, ни о чем не подавать и виду. А на следующее утро им показалось, что они еще недостаточно себя обезопасили, и они решили держать мальчика взаперти весь этот день и несколько следующих. И что же? Когда позднее они же сами болтали с соседями и, без всякого желания показать, что знают больше них, доходили до темного места о бегстве трех наших бедняг, — как они бежали, да почему, да куда, — сами же сообщили, как нечто всем известное, что те скрываются в Пескаренико. Таким образом, и это обстоятельство стало предметом всеобщих толков.

Из всех этих отрывочных сведений, собранных затем едино и сшитых, как это обычно делается, в придачу с лоскутками, которые естественно образуются при шитье, можно было составить историю настолько правдоподобную и складную, что она устояла бы перед самым острым критическим разбором. Однако как раз налет бравы, — эпизод слишком серьезный и слишком шумный, чтобы его можно было обойти, к тому же такой, о котором никто ничего не знал толком, — этот эпизод положительно запутывал всю историю. Произносили шепотом имя дона Родриго, — на этом сходились все; в остальном все было неясно и строилось на догадках. Много говорилось про двух головорезов, которых видели на улице уже под вечер, и про третьего, который стоял у входа в остерию; но что же можно было выяснить с помощью одного этого голого факта? Допрашивали хозяина остерии, кто был у него вечером накануне; но хозяин, если верить ему, не мог даже припомнить, видел ли он кого-нибудь в этот вечер, и отделялся от всех, говоря, что остерия — все равно, что приморская гавань.

Больше всего вносил путаницы во все головы и расстраивал всякие догадки таинственный странник, которого видели и Стефано и Карландреа, — тот странник, которого разбойники хотели зарезать и который ушел вместе с ними или которого они утащили с собой. Зачем он приходил? Это душа, пришедшая из чистилища на помощь женщинам, говорили одни. Это осужденная душа странника, плута и нечестивца, который постоянно является по ночам, чтобы примкнуть к тем, кто делает то же, что сам он делал при жизни, уверяли другие. По мнению третьих, это был настоящий живой странник, которого разбойники хотели зарезать, опасаясь, что он станет кричать и разбудит всю деревню. Нет, это был (посмотрите, до чего только можно додуматься!) один из числа самих же грабителей, передевшийся странником. Короче, он был то тем, то другим, был чем угодно, так что не хватило бы всей прозорливости и опытности Гризо, чтобы раскрыть, кто же это был, если бы ему пришлось устанавливать эту часть

истории со слов других. Но, как известно читателю, то, что делало всю историю запутанной для других, было как раз более чем ясным для него самого. Пользуясь этим как ключом для истолкования других сведений, собранных им лично или через подчиненных ему разведчиков, он из всего этого мог составить для хозяина достаточно полный доклад.

Гризо немедленно заперся с доном Родриго и сообщил ему о проделке, затеянной несчастными обрученными. Этим, естественно, объяснялось то, что дом оказался пустым, и то, что ударили в набат; отпала надобность предполагать, что в доме завелся предатель, как думали оба этих почтенных синьора. Сообщил он ему и о бегстве обрученных; и для этого тоже не трудно было подыскать объяснение: испуг застигнутых на месте преступления либо какое-нибудь предупреждение о налете, полученное ими, когда о нем стало известно и вся деревня всполошилась. В заключение Гризо сказал, что они укрылись в Пескаренико; дальше этого его осведомленность не шла.

Дону Родриго приятно было удостовериться в том, что никто его не предал, и убедиться, что деяние его не оставило никаких следов. Но то было лишь мимолетное и слабое утешение. «Убежали вместе, — кричал он, — вместе! Ах, этот негодяй монах! Этот монах!» Слова эти, с хрипом вырываясь из его горла, с шипением просачивались сквозь зубы, а так как в это время он грыз зубами палец, то вид его был столь же отвратителен, как и его страсти.

— Монах этот мне ответит, Гризо! Я сам не свой... Я хочу знать, хочу отыскать... нынче же вечером я должен знать, где они. Я потерял покой! Немедленно в Пескаренико, — узнать, увидеть, разыскать... Четыре скуди тебе тут же и мое покровительство навеки! Нынче же вечером я должен все знать. А этот негодяй!.. Этот монах!..

И вот Гризо снова в пути. В тот же день к вечеру он сумел принести достойному своему покровителю желанные сведения. Вот как это произошло.

Одним из величайших утешений в нашей жизни является дружба, а одно из утешений дружбы — то, что есть кому доверить тайну. Но друзья связаны не парами, как супруги; вообще говоря, у каждого бывает больше, чем по одному другу, — так получается цепь, у которой нельзя найти конца. Поэтому, когда кто-нибудь доставляет себе утешение посвятить друга в свою тайну, он тем самым дает последнему возможность доставить и себе самому то же утешение. Правда, он просит его ничего никому не говорить, — и такое условие, если бы придерживались его в самом строгом смысле слова, непосредственно оборвало бы весь поток утешений. Но вообще практика установила обычай не передавать тайну никому, кроме столь же верного друга, связав его лишь тем же условием. Так от

одного верного друга к другому тайна проходит по бесконечной цепи, пока не достигает слуха того или тех, кому первый говоривший как раз собирался никогда ее не сообщать. Все же ей приходилось бы оставаться в пути довольно долго, будь у каждого всего лишь два друга: тот, кто ему доверяет, и тот, кому он в свою очередь передает то, о чем обещал молчать. Но ведь есть люди особо удачливые, насчитывающие друзей сотнями; и когда тайна доходит до ушей одного из таких людей, ее распространение становится столь стремительным и столь запутанным, что уже нельзя найти никаких следов. Наш автор не мог установить, через сколько уст прошла тайна, до которой Гризо получил приказ докопаться. Известно лишь, что добряк, сопровождавший наших женщин до Монцы, вернулся со своей телегой в Пескаренико к одиннадцати часам вечера и, прежде чем попасть домой, столкнулся с задушевым другом, которому и рассказал под большим секретом о сделанном добром деле и обо всем остальном; известно также, что Гризо два часа спустя смог уже прибежать в палаццотто сообщить дону Родриго, что Лючия с матерью укрылась в одном из монастырей в Монце и что Ренцо пошел дальше, направляясь в Милан.

Дон Родриго испытал жгучую радость, узнав об этой разлуке, и почувствовал, как в нем зашевелилась опять преступная надежда достигнуть намеченной цели. Большая часть ночи ушла у него на размышление о том, как это сделать, и он встал рано с двумя намерениями: одним — твердо решенным, другим — лишь намеченным. Первое было таково: безотлагательно послать Гризо в Монцу, чтобы получить более подробные сведения о Лючии и разузнать, нет ли возможности попытаться что-нибудь сделать. Поэтому он велел немедленно позвать своего преданного слугу, вручил ему обещанные четыре скуди, еще раз похвалил за ловкость, с какою он заработал их, и отдал ему заранее обдуманное приказание.

— Синьор... — нерешительно начал было Гризо.

— Что такое? Разве я говорю неясно?

— Если бы вы могли послать кого-нибудь другого...

— Как?

— Сиятельнейший синьор, я готов дать спустить с себя шкуру за своего господина, это мой долг, но я знаю, что вы не захотите слишком рисковать жизнью своих подданных.

— Ну так что же?

— Ваше сиятельство хорошо знает, что у меня на шее не один приказ об аресте, и... Здесь я под вашей защитой, здесь нас целый отряд; синьор подеста — друг дома, полицейские относятся ко мне с почтением; ну, и я тоже... это, конечно, не делает мне большой чести, но, чтобы жить спокойно... я тоже дружу с ними. В Милане ливрею вашей светлости хорошо знают; а вот в Монце... там, наоборот, больше знают меня. И

известно ли вашей светлости, — я ведь не зря болтаю, — что тот, кто сумеет выдать меня властям или принесет мою голову, сделает выгодное дельце. Подумайте только: сотня скуди чистоганом и право на освобождение двух разбойников.

— Черт возьми! — сказал дон Родриго. — Ты, стало быть, всего лишь брехливая собака, у которой едва хватает храбрости бросаться под ноги проходящим мимо ворот, — да и то с оглядкой, помогают ли свои, — а уж одна вперед ни за что не пойдет.

— Мне кажется, синьор, я дал доказательства...

— Стало быть?

— Стало быть, — решительно подхватил Гризо, задетый за живое, — стало быть, прошу ваше сиятельство считать, что я ничего не говорил: храбрость льва, ноги зайца, — и я готов в путь хоть сейчас.

— А я и не требовал, чтобы ты отправлялся один. Возьми с собой двух самых лучших... скажем, Сфреджато и Тирадритто, отправляйся смело и будь снова Гризо. Черт возьми! Три таких молодца, идущих по своим делам, да кто же, по-твоему, посмеет не пропустить вас? Разве полицейским в Монце жизнь настолько надоела, чтобы они так безрассудно поставили ее на карту из-за сотни скуди? А потом... потом вряд ли в тех местах меня знают настолько мало, чтобы звание моего слуги так уж ни во что и не ставилось.

Немного пристыдив таким образом Гризо, дон Родриго дал ему затем пространные и подробные указания. Гризо захватил двух товарищей и отбыл с веселым и отважным видом, проклиная в душе и Монцу, и указы об аресте, и женщин, и хозяйские капризы. Он шел подобно волку, который, гонимый голодом, подтянув живот, обнаруживая все ребра, так что их можно сосчитать, спускается с гор, где нет ничего, кроме снега, осторожно пробирается по равнине, то и дело останавливается, приподняв лапу и помахивая хвостом, — «морду кверху подняв, подозрительный воздух вбирает», — не донесется ли запах человечины или железа, настораживает чуткие уши, ворочает налитыми кровью глазами, в которых светятся и жажда добычи и страх перед травлей. Кстати сказать, этот прекрасный стих, если кто желает знать, откуда он, взят из одной неизданной чертовщины о крестовых походах и ломбардцах, которая вскоре увидит свет и будет иметь шумный успех; заимствовал же я его потому, что он пришелся мне кстати, а источник я указываю для того, чтобы не рядиться в чужое платье: как бы кто-нибудь не счел это хитрой уловкой с моей стороны, чтобы дать почувствовать мою братскую близость с автором этой чертовщины, что позволяет мне рыться в его рукописях.

Другая забота дона Родриго заключалась в том, чтобы найти тот или иной способ не дать Ренцо возможности ни

встретиться снова с Люцией, ни вернуться в свою деревню; и с этой целью он замыслил распространить слухи об угрозах и коварных замыслах, которые, дойдя через посредство какого-нибудь друга до Ренцо, отбили бы у юноши всякую охоту возвращаться в родные края. Однако он думал, что лучше всего было бы добиться изгнания его за пределы государства, а в этом деле, как ему казалось, лучше всякого насилия могло бы помочь ему правосудие. Можно было бы, например, несколько раздуть попытку, предпринятую в доме курато, обрисовав ее как нападение, как мятеж, и с помощью ученого юриста внушить подеста, что случай этот безусловно требует приказа об аресте Ренцо. Но он подумал, что не подобает ему затевать такую грязную историю, а потому решил не ломать себе долго голову, а поговорить с доктором Крючкотвором и дать ему понять о своем желании. «Мало ли указов! — рассуждал дон Родриго. — И доктор ведь не промах: что бы там ни было в моем деле, он уж сумеет найти какой-нибудь крючок и подцепить им этого дрянного парнишку, иначе он не заслужил бы такого прозвища».

Но пока он размышлял о докторе как о человеке, наиболее способном сослужить ему службу (так-то иной раз делаются дела на белом свете!), другой человек, человек, о котором никто и не подумал бы, — попросту говоря, сам Ренцо помогал своему врагу таким быстрым и надежным образом, до чего не додумался бы и сам доктор Крючкотвор.

Мне не раз приходилось видеть одного милого мальчика, правда, не в меру резвого, но все же обещающего стать со временем порядочным человеком; так вот, я не раз видел, как такой мальчик, уже к вечеру, старался загнать под укрытие свою стайку морских свинок, которым он давал днем бегать на свободе в садике. Ему хотелось загнать их в конурку всех разом, но тщетно: одна из свинок отбивается вправо, а пока пастушонок бежит, чтобы вернуть ее в стадо, другая, а то и две и три отбиваются влево и рассыпаются во все стороны. Так что, успев даже немного разозлиться, мальчик принаравливается к их повадкам, проталкивая внутрь сначала тех, что поближе ко входу, а затем уже принимается за остальных, и загоняет их, как придется, поодиночке, по две, по три. То же самое приходится проделать и с действующими лицами нашей истории: пристроив Люцию, мы поспешили к дону Родриго, а теперь должны бросить его и отправиться вслед за Ренцо, которого мы потеряли из виду.

После горестного расставания, о котором мы рассказывали, Ренцо шел из Монцы по направлению к Милану в таком настроении, которое всякий легко может себе представить. Покинуть родной дом, бросить ремесло и — что тяжелее всего — все дальше уходить от Люции, бредя по большой дороге, не зная, где придется приклонить голову, — и все из-за этого не-

годя! Когда Ренцо обращался мыслью ко всему этому, он загорался бешенством и страстным желанием мести, но тут же ему вспоминалась молитва, которую он вознес вместе с добрым монахом в церкви Пескаренико, — и тогда он спохватывался; вновь и вновь закипало в нем негодование, но, завидев на стене распятие, он снимал шляпу и останавливался, чтобы снова помолиться. Так за время своего странствия он мысленно по меньшей мере раз двадцать то убивал, то воскрешал дона Родриго.

Дорога в те времена пролежала глубоко между двумя высокими откосами — грязная, каменистая, изрезанная глубокими колеями, которые после дождя превращались в ручейки; в некоторых наиболее низких местах дорога настолько наполнялась водой, что хоть плыви по ней в лодке. В таких местах обычно небольшая крутая тропинка, ступеньками поднимавшаяся вверх по откосу, показывала, что другие прохожие уже проложили себе дорогу через поля. Взорвавшись по одной из таких тропинок наверх, Ренцо увидел высившуюся на равнине громаду собора, который стоял словно не внутри города, а прямо в пустыне. Ренцо остановился как вкопанный, забыв все свои горести, и погрузился в созерцание этого восьмого чуда света, о котором так много слышал с самого детства. Однако через несколько минут, обернувшись назад, он увидел на горизонте зубчатые гребни гор и среди них различил высокую и резко очерченную свою родную Резегоне. Сердце его утешенно забило; некоторое время он стоял и грустно глядел в ту сторону, потом со вздохом повернулся и зашагал дальше. Мало-помалу перед ним открывались колокольни, башни, купола, крыши; тогда он спустился на дорогу, прошел еще немного и, оказавшись уже вблизи города, подошел к какому-то путнику. Поклонившись со всей учтивостью, на какую был способен, он сказал:

— Окажите милость, синьор.

— Что вам угодно, молодой человек?

— Не сумеете ли вы указать мне, как пройти поближе к монастырю капуцинов, где проживает падре Бонавентуро?

Человек, к которому обратился Ренцо, был зажиточный обыватель из окрестностей Милана, ходивший в это утро по своим делам в город; ничего не добившись, он с большой поспешностью возвращался назад и не чаял, как попасть домой; эта задержка была ему совсем некстати. При всем том, не обнаруживая ни малейшего нетерпения, он чрезвычайно вежливо ответил:

— Сынок дорогой, монастырей у нас ведь не один; надо бы разъяснить получше, какой монастырь вы ищете.

Тогда Ренцо вынул из-за пазухи письмо падре Кристофоро и показал его синьору, который, прочитав: «У Восточных ворот», вернул письмо со словами:

— Вам повезло, молодой человек, — монастырь ваш совсем неподалеку отсюда. Ступайте вот этой дорожкой влево, тут кратчайший путь; через несколько минут вы дойдете до угла длинного низкого здания, это — лазарет; ступайте прямо вдоль рва, который его окружает, и попадете к Восточным воротам. Войдите в них и шагов через триста — четыреста увидите небольшую площадь с огромными вязами, тут и есть монастырь, ошибиться трудно. Бог в помощь, молодой человек.

И, сопроводив последние слова изящным жестом руки, он удалился.

Такое хорошее обращение горожан с деревенскими людьми удивило и озадачило Ренцо. Он не знал, что это был необычайный день, — день, когда плащи склонились перед куртками. Он пошел по указанной дороге и очутился у Восточных ворот. Не следует, однако, чтобы название это вызывало у читателя образы, которые связаны с ним в настоящее время. Когда Ренцо входил в эти ворота, прямая дорога за ними шла лишь вдоль всего лазарета, а дальше она вилась змейкой между двумя изгородями. Ворота состояли из двух столбов, перекрытых навесом для защиты створок; по одну сторону стоял домик таможенных досмотрщиков. Бастионы спускались неровным скатом, и кочковатая неровная поверхность земли была усыпана обломками и черепками. Улицу, открывавшуюся перед тем, кто входил в эти ворота, можно было бы сравнить разве лишь с той, что встречает современного путника, входящего через ворота Тоза. Небольшой ручей бежал посредине улицы почти до самых ворот и таким образом делил ее на две извилистых улочки, вечно покрытых пылью или грязью, смотря по времени года. В том месте, где была и теперь еще находится небольшая улица, называемая Боргетто, ручеек уходил в сточную трубу. Здесь стояла колонна, увенчанная крестом и называвшаяся колонной Сан-Диониджи. Справа и слева тянулись окруженные изгородями сады да небольшие домишки, заселенные преимущественно белильщиками.

Ренцо вошел в ворота и пустился дальше. Никто из таможенных досмотрщиков не обратил на него внимания. Это удивило юношу, потому что от немногих односельчан, которые могли похвастаться тем, что побывали в Милане, он наслушался всяких рассказов об обысках и расспросах, которым неизменно подвергаются прибывающие из деревни. Улица была безлюдна, и, если бы не отдаленный гул, говоривший о большом движении, Ренцо могло бы показаться, что он вступает в необитаемый город. Продвигаясь дальше и все еще недоумевая, он увидел на земле какие-то рыхлые белые полосы, похожие на снег, но это не мог быть снег, — ведь он не ложится полосами, да обычно его и не бывает в эту пору. Ренцо наклонился над одной из полос, посмотрел, пощупал, оказа-

лось — мука. «Большое, видно, изобилие в Милане, — сказал он себе, — коли они так разбазаривают Божий дар. А нам твердят, что повсюду голод. Вон как они поступают, чтобы беднота в деревне сидела смиренно».

Но, пройдя еще несколько шагов и поравнявшись с колонной, он увидел у ее подножия нечто еще более странное: на ступенях пьедестала лежали в беспорядке какие-то предметы, непохожие на булжники; находись они на прилавке булочника, Ренцо без всякого колебания назвал бы их хлебами. Но он все еще не верил своим глазам, потому что, черт возьми, ведь это же не место для хлеба! «Посмотрим-ка, что это за штука», — опять сказал он себе и, приблизившись к колонне, поднял один из этих предметов: в самом деле, это был хлеб, круглый, безукоризненно белый, из тех, что Ренцо приходилось есть лишь по большим праздникам.

— А ведь в самом деле хлеб! — громко произнес он, так велико было его изумление. — Ишь как у них здесь его разбрасывают! В такой-то год! И даже не трудятся подбирать, когда он падает! Уж не в сказочную ли страну я попал?

После десяти миль пути, да еще на свежем утреннем воздухе, хлеб этот вызвал в нем не только изумление, но и аппетит. «Взять, что ли? — раздумывал он про себя. — Еще бы, они ведь его бросили собакам, почему же не попользоваться им и доброму христианину? В конце концов, если объявится хозяин, я заплачу». Рассуждая так, он сунул в карман тот, что держал в руке, взял еще один и сунул в другой; поднял третий и принялся его есть.

Он пошел дальше, все еще ничего не понимая и желая понять, что все это значит. Сделав несколько шагов, он заметил людей, шедших из центра города, и стал внимательно приглядываться к тем, которые показались первыми. То были мужчина, женщина и, в нескольких шагах позади них, мальчуган. Все трое шли с какой-то поклажей, которая, по-видимому, превышала их силы, и у всех троих был очень странный вид. Их платые или, лучше сказать, лохмотья были обсыпаны мукой; в муке были и лица, к тому же чем-то расстроенные и взволнованные; и шли они согбенные не только тяжестью ноши, но и горя, словно у них были переломаны все кости. Мужчина с трудом тащил на плечах огромный мешок муки, местами дырявый, так что всякий раз, как он спотыкался или терял равновесие, мука понемногу сыпалась на землю. Еще безобразнее был вид у женщины: ее согнутые руки с напряжением поддерживали огромный живот, похожий на печной горшок с двумя ручками, а из-под этого живота видны были до колен голые ноги, передвигавшиеся с большим трудом. Ренцо всмотрелся повнимательнее и увидел, что этот огромный живот на самом деле — юбка, которую женщина держала за края, наполнив ее мукой сколько можно и даже сверх того,

так что почти при каждом шаге часть муки уносило ветром. Мальчуган обеими руками поддерживал на голове корзину, доверху наполненную хлебами, и, так как ноги его были покороче родительских, он понемногу отставал от них, а затем, когда он прибавлял шаг, чтобы догнать их, корзина теряла равновесие, и из нее нет-нет да и падал хлеб.

— А ты еще пошвыряй, негодник, — сказала мать, огрызаясь на мальчугана.

— Да я не швыряю, они сами выскакивают, что же мне делать? — отвечал он.

— Твое счастье, что руки у меня заняты, — возразила женщина, потрясая кулаками, словно она задавала изрядную трепку несчастному мальчугану, — и этим движением рассыпала муки больше, чем ее ушло бы на изготовление тех двух хлебов, что обронил мальчик.

— Ну, идем, идем, — сказал мужчина, — потом вернемся и подберем их, либо их подберет кто-нибудь другой. Уж столько времени бедствуем, так хоть теперь, когда свалился избыток, попируем всласть.

Тем временем со стороны ворот подходили другие люди, и один из них, поравнявшись с женщиной, спросил:

— Где тут пройти за хлебом?

— Ступай себе вперед, — отвечала та и, отойдя шагов на десять, ворчливо добавила: — Эти деревенские бездельники очистят все пекарни и лавки, нам ничего и не останется.

— Всем понемножку, заноза ты этакая! — сказал муж. — Благодать так уж благодать!

По этому и по многому другому, что ему пришлось увидеть и услышать, Ренцо начал догадываться, что попал в город, охваченный мятежом, и что это день захвата, когда каждый тащит по мере охоты и сил, расплачиваясь тумаками. Как ни желательно нам представить бедного нашего горца в наилучшем свете, историческая правдивость обязывает нас сказать, что первым чувством его была радость. У него было так мало оснований радоваться обычному порядку вещей, что он невольно склонялся к одобрению всего, что хоть сколько-нибудь могло изменить этот порядок. К тому же, нисколько не будучи выше людей своего времени, он разделял всеобщее мнение или предубеждение, что в высоких ценах на хлеб повинны скупщики и пекари, и был расположен признать справедливым всякий способ вырвать из их рук продовольствие, в котором они, согласно этому мнению, жестоко отказывали всему изголодавшемуся народу. Однако он решил держаться в стороне от бунта и радовался тому, что его направили к капущину, который даст ему убежище и заменит отца. Рассуждая таким образом и попутно приглядываясь к новым захватчикам, которые двигались, отягощенные добычей, он прошел небольшую часть пути, оставшуюся до монастыря.

Там, где теперь высится красивое палаццо с высоким портиком, в то время, да и совсем еще недавно, была небольшая площадь, а в глубине ее — церковь и монастырь капуцинов, скрытые четырьмя могучими вязами. Мы не без зависти радуемся за тех из наших читателей, которые не застали описанной картины, — это значит, что они еще очень молоды и не успели натворить слишком много глупостей. Ренцо пошел прямо к воротам, сунул за пазуху оставшуюся половину хлеба, вынул письмо и, держа его наготове, дернул за колокольчик. Отворилась дверца с решеткой, и в ней показалось лицо брата привратника, спросившего, кто там.

— Я из деревни, принес падре Бонавентуро спешное письмо от падре Кристофоро.

— Давайте его сюда, — сказал привратник, просунув руку в решетку.

— Не могу, — возразил Ренцо, — я должен передать его в собственные руки падре Бонавентуро.

— Его нет в монастыре.

— Тогда впустите меня, я его подожду.

— Делайте, как вам говорят, — отвечал монах, — ступайте дожидаться его в церковь; это, кстати, будет полезно и для души. В монастырь сейчас не пускают.

С этими словами он захлопнул дверцу. Ренцо так и остался с письмом в руках. Он прошел с десятков шагов по направлению к церковному входу, чтобы последовать совету привратника; но потом подумал, не посмотреть ли ему еще раз на бунт. Он пересек площадь, вышел в конец улицы и встал, скрестив руки на груди, глядя влево, по направлению к центру города, где стоял непрерывный гул толпы, становившийся все сильнее. Водоворот притягивал зрителя. «Пойдем-ка посмотрим», — сказал он себе; вынул ломоть хлеба и, покусывая его, двинулся в ту сторону. Пока он идет, мы расскажем, по возможности кратко, о причинах произошедших беспорядков.

Глава двенадцатая

Уже второй год кряду был неурожай. В предыдущем году запасы прошлых лет до некоторой степени восполнили недород, и население, хоть и впроголодь и, конечно, не имея никаких запасов, дотянуло до нового урожая, того самого, к которому относится наш рассказ. И вот этот долгожданный урожай оказался еще скуднее прошлогоднего, отчасти из-за неблагоприятной погоды (и не только в районе Милана, но и в округе), отчасти по вине самих людей. Опустошение и разорение, вызванное войной, о которой мы уже упоминали, было таково, что в провинциях, наиболее близких к месту военных действий, обширные земельные участки дольше, чем

обычно, оставались необработанными. Крестьяне забросили землю и, вместо того чтобы трудом добывать хлеб и себе и другим, вынуждены были выпрашивать его как милостыню. Я сказал: долыше, чем обычно, потому что невыносимые побо-ры, налагаемые с беспредельной алчностью, равно как и по-ведение в мирное время войск, стоявших в деревнях постоем, — поведение, которое скорбные документы тех времен приравнивают ко вражескому нашествию, и всякие другие причины, о которых здесь упоминать не стоит, — всем этим исподволь подготавливалось печальное положение по всей миланской области; особые же обстоятельства, о которых мы сейчас говорим, были как бы внезапным обострением затяж-ной болезни. К тому же, не успели еще закончить уборку этого, какого ни на есть, урожая, как поставка продовольст-вия для войска и неизбежно связанное с ним разорение про-били в урожай такую брешь, что нужда дала себя почувство-вать сразу, а вслед за ней ее прискорбный, хотя и столь же спасительный, как и неизбежный спутник — дороговизна.

Однако, когда нужда усиливается, в народе всегда склады-вается (или по крайней мере до сих пор складывалось, — а если это происходит еще и теперь, после того, как об этом писало столько достойных людей, то подумайте, что же было тогда!) убеждение, что дело тут не в недостатке хлеба. Забы-вают, что этой нехватки боялись, что ее предсказывали; вдруг возникает предположение, что зерно имеется в избытке и что зло происходит лишь от недостаточной продажи его на по-требление; предположение это ровно ни на чем не основано, но оно льстит одновременно и гневу и надежде. Скупщики зерна, подлинные и воображаемые, землевладельцы, которые не сразу продали весь хлеб, пекари, которые его закупали, словом, все те, у кого его было мало или много и у кого пред-полагались запасы, — всех поголовно считали виновниками нужды и дороговизны, все они становились мишенью всеоб-щих жалоб, предметом ненависти толпы, и плохо и хорошо одетой. С уверенностью указывали на склады и закрома, на-полненные доверху и даже заваливающиеся, так что их при-ходится подпирать; называли совершенно немыслимое коли-чество припрятанных мешков, убежденно рассказывали об огромных запасах зернового хлеба, только что тайно отпра-вленного в другие места, где, вероятно, в свою очередь с такою же уверенностью и так же громко кричали, что хлеб оттуда увозится в Милан. От властей требовали мероприятий, кото-рые толпе всегда кажутся, или по крайней мере до сих пор казались, столь справедливыми, столь простыми и способны-ми сделать так, чтобы этот уютный, замуравленный, скоро-ненный хлеб вышел на свет божий и чтобы вернулось изоби-лие. Власти кое-что делали: устанавливали твердые цены на некоторые съестные припасы, грозили наказаниями тем, кто

отказывался продавать по этим ценам, и тому подобное. Однако в силу того, что мероприятия человеческие, при всей своей серьезности, бессильны уменьшить потребность в пище и пополнить запасы продовольствия вне зависимости от времени года, а также ввиду того, что эти указы, в частности, не имели силы извлечь припасы оттуда, где они могли быть в изобилии, — бедствие усиливалось и росло.

Толпа приписывала это недостаточности и слабости применяемых мер и с громким криком требовала мер более твердых и решительных. И на свое несчастье она нашла человека себе по душе.

В отсутствие губернатора дона Гонсало Фернандеса ди Кордова, который руководил осадой Казале-дель-Монферрато, его заменял в Милане великий канцлер Антонио Феррер, тоже испанец. Он видел — да и кто этого не видел! — что справедливая цена на хлеб — вещь сама по себе очень желательная, и решил (в этом и была его ошибка), что достаточно одного его приказа, и такая цена установится. Он назначил «мету» (так называют в Милане таксу на предметы продовольствия) — мету для хлеба по цене, которая была бы справедливой, если бы зерно продавалось в среднем по тридцать три лиры за модий, а она доходила до восьмидесяти. Он поступил подобно пожилой женщине, которая, решив помолодеть, подделала свою метрику.

Приказы менее бессмысленные и менее несправедливые не раз оставались на бумаге в силу сложившихся обстоятельств; но на сей раз за выполнением приказа следил народ, который, увидев, наконец, свое желание воплощенным в законе, не желал, чтобы его обратили в шутку. Люди тут же хлынули к пекарням, требуя хлеба по установленной цене с тем решительным и угрожающим видом, какой дают страсть, сила и закон вместе взятые. Легко можно себе представить, как завопили пекари. Ставить тесто, месить его и без передышки печь (потому что народ, смутно понимая, что это все-таки насилие, непрестанно осаждал пекарни, желая пользоваться этим раем, пока он существует), надрываться и запариваться сверх обычного, да к тому же терпеть убытки, — всякий поймет, сколь велико такое удовольствие. Но, с одной стороны — власть, угрожающая наказанием, с другой — толпа со своими требованиями, начинавшая, чуть только кто из пекарей замешкается, нападать на него и орать во весь голос, да еще пускать в ход угрозу той расправой, хуже которой ничего не может быть на свете. Спасения не было, приходилось снова месить, печь, продавать. Однако, чтобы заставить пекарей продолжать делать свое дело, недостаточно было приказания, необходимо было, чтобы люди были в состоянии работать; а между тем они уже выбивались из сил. Давая понять властям, что бремя, на них возложенное, несправедливо и не-

выносимо, они заявляли, что побросают свои лопаты в печи и уйдут, и, однако, тянули лямку дальше, как могли, все еще надеясь, что великий канцлер в конце концов внемлет голосу рассудка. Но Антонио Феррер, который был, как выразились бы теперь, человеком с твердым характером, отвечал, что пекари достаточно нажились в прошлом, что они несомненно здорово наживутся опять, когда вернется изобилие; что там будет видно, — может быть, и удастся сделать для них кое-какое облегчение, а пока — пусть все идет по-старому. Действительно ли он был убежден в справедливости этих соображений, которые высказывал другим, или же, видя невозможность добиться выполнения своего указа, хотел взвалить на других ответственность, связанную с его отменой, — кто знает, что думал Антонио Феррер. Во всяком случае он продолжал твердо стоять на своем. В конце концов декурионы (муниципальная коллегия, состоявшая из нобилей и процветавшая до девяносто шестого года минувшего века) письменно уведомили губернатора о положении дел: пусть он найдет какой-нибудь выход.

Читатель, конечно, догадывается, как поступил дон Гонсало, по уши погруженный в военные дела: он назначил комитет, который и уполномочил установить подходящую цену на хлеб, — способ, дающий возможность угодить и той и другой стороне. Члены собрались или, как тогда выражались на канцелярском жаргоне в испанском духе, «составили хунту». Начались длительные расшаркивания, любезности, выступления, перерывы, отсрочки, пустые предложения, ухищрения. Однако все сознавали необходимость вынести какое-либо определенное решение, и хотя члены комитета знали, что затевают опасную игру, однако, не видя другого выхода, они все же решили поднять цены на хлеб. Пекари облегченно вздохнули, зато народ озверел.

Вечером накануне того дня, когда Ренцо пришел в Милан, улицы и площади города кишмя кишели людьми. Охваченные всеобщей яростью, увлеченные одной мыслью, знакомые и незнакомые собирались в кружки без всякого на то уговора, почти незаметно для самих себя, подобно каплям, стекающим по одному склону. Каждая речь усиливала решимость и разжигала страсти слушателей, как и самого говорившего. Среди этой возбужденной массы попадались, однако, и более хладнокровные люди, которые с великим удовольствием наблюдали, что вода начинает мутнеть, и даже старались замутить ее еще больше при помощи таких рассуждений и таких рассказов, какие всегда бывают на языке у плутов и каким всегда жадно внимают умы заблуждающихся. И было у мошенников в мыслях не давать этой воде устояться, пока не удастся поймать в ней рыбку. Тысячи людей заснули с неопределенным чувством, что нужно что-то сделать и что что-то произойдет.

Еще затемно на улице снова стали образовываться кучки людей. Дети, женщины, мужчины, старики, рабочие, бедняки объединялись как попало: в одном месте стоял смутный говор многих голосов, в другом — один проповедовал, а остальные ему рукоплескали; кое-кто задавал ближайшему соседу вопрос, который только что задали ему самому; другой повторял восклицание, только что прозвучавшее в его ушах; и повсюду раздавались жалобы, угрозы, возгласы удивления. Немного словны были эти нескончаемые разговоры.

Недоставало лишь искры; толчка, призыва, чтобы претворить слова в действия, — но за этим дело не стало. На рассвете из хлебопекарен стали выходить ребята с корзинами, нагруженными хлебом, который они разносили постоянным заказчикам. Появление первого из этих злополучных пареньков среди столпившейся кучки людей было подобно падению ракеты в пороховой склад. «Вот он где, хлеб-то!» — завопила в один голос толпа. «Да, — для тиранов, которые купаются в изобилии! А нас хотят уморить голодом!» С этими словами кто-то из толпы подошел к мальчугану, схватился рукой за край корзины и, дернув ее, сказал: «А ну, дай-ка посмотреть». Мальчуган покраснел, потом побледнел, задрожал, пытался вымолвить: «Отпустите же меня», — но слова замерли у него на устах. Он опустил руки, пытаясь в спешке освободить их из ремней. «Скидывай корзину!» — раздалось вокруг. Множество рук разом схватили ее, стащили и бросили наземь. Холстина, покрывавшая корзину, промелькнула в воздухе. Теплая струя воздуха разлилась вокруг. «Мы тоже христиане, нам тоже нужен хлеб», — сказал первый, беря круглый хлеб, и, показав его толпе, откусил от каравай. К корзине протянулись со всех сторон руки, хлеб замелькал в воздухе. Не успели оглянуться — как корзина уже была пуста. Те, кому ничего не досталось, с завистью глядели на чужую удачу; воодушевленные легкостью добычи, люди толпами бросились искать другие корзины; попадавшие на глаза тут же опустошались. И не было никакой нужды нападать на разносчиков хлеба: те из них, кто на свою беду уже вышел из пекарни, почуяв недоброе, сами ставили на землю свою ношу и — давай Бог ноги. К тому же тех, кто остался несолоно хлебавши, было гораздо больше, да и те, кому удалось поживиться, не довольствовались столь малой добычей, а в толпу меж тем затесались и такие, чьей задачей было раздуть беспорядки вовсю.

— В пекарню, в пекарню! — раздалось вдруг.

На улице, именовавшейся Корсиа-де-Серви, находилась (и по сей день находится) пекарня, сохранившая свое прежнее название, которое на тосканском наречии означает «Пекарня на костылях», а на миланском состоит из таких необычных, диких, варварских слов, которые нельзя даже передать нашей

азбукой¹. Сюда и устремился народ. В хлебной лавке в это время шел допрос мальчика, вернувшегося без корзины. Растерянный и растрепанный, он, заикаясь, рассказывал свое печальное приключение, как вдруг послышался топот и вместе с тем грозное завыванье; шум все нарастал и приближался, появились первые предвестники бегущей толпы.

— Запирай, запирай живей!

Один бросился звать на помощь капитана полиции, другие торопливо закрыли лавку и загородили двери изнутри. На улице стала собираться толпа, слышались крики:

— Хлеба, хлеба! Отоприте!

Несколько минут спустя появился капитан полиции в сопровождении отряда алебардистов.

— Дорогу, ребята, дорогу; расходись по домам; дайте пройти капитану полиции, — кричали алебардисты.

Толпа, стоявшая еще не совсем вплотную, немного расступилась, и прибывшие смогли добраться до дверей лавки, где и выстроились, хоть и не совсем по порядку.

— Ребятки, — взывал капитан полиции, — что вы здесь делаете? Расходитесь по домам. Где же у вас страх Божий? А что скажет государь, наш король? Мы вам зла не хотим, только расходитесь по-хорошему по домам. И кой черт принесло вас всех сюда? Ничего в этом нет хорошего ни для души, ни для тела. По домам, по домам!

Да если бы те, кто видел лицо говорившего и слышал его слова, и захотели повиноваться, скажите на милость, как могли бы они это сделать, когда на них напирала задняя, а тех в свою очередь тоже теснили, словно волны, набегавшие одна на другую, и так до самого хвоста толпы, все время прибывавшей. Капитан с трудом дышал.

— Осадите-ка их назад, дайте мне перевести дух, — сказал он алебардистам, — только никого не трогайте. Как бы это нам войти в лавку? А ну, постучите-ка, только не давайте им пролезть вперед.

— Осади, осади назад! — закричали алебардисты, наваливаясь все разом на впереди стоявших и толкая их древками алебард.

Те заорали, стали пятиться насколько возможно назад, навалились спинами на стоявших сзади, упираясь локтями им в животы, наступая на ноги. Пошла толкотня, давка, так что попавшие в гущу и не чаяли, как им выбраться. Тем временем у самых дверей стало чуть-чуть попросторнее. Капитан полиции продолжал упорно стучать и кричать во все горло, чтобы его впустили. Находившиеся внутри, выглянув в окна, бегом бросились по лестнице и отперли дверь. Капитан вошел и позвал за собой алебардистов, которые один за другим протис-

¹ «El prestin di scansc».

нулись внутрь, при этом последним пришлось алебардами сдерживать напиравшую толпу. Когда все вошли, двери снова заперли и загородили изнутри. Капитан бегом поднялся наверх и высунулся в окно. Ну, и муравейник!

— Ребятки! — крикнул он; головы многих поднялись вверх. — Ребятки, расходитесь по домам. Кто сейчас же уйдет домой, тому ничего не будет.

— Хлеба, хлеба! Отоприте! Отоприте же! — слова эти резко выделялись в страшном реве, которым отвечала толпа.

— Уймись, ребятки! Опомнитесь, пока еще не поздно. Уходите отсюда, идите по домам. Хлеб вы получите, но нельзя же так действовать. Эй, вы, эй, что вы там делаете? Зачем трогаете дверь? Я ведь вижу. Бросьте-ка. Смотрите вы! Ведь это настоящее преступление! Вот я сейчас спущусь! Эй, вы там, бросьте-ка железо, руки прочь! Стыд-то какой! Вы, миланцы, повсюду слывете добряками. Послушайте, вы же всегда были хорошими ре... Ах, сволочи!

Столь внезапное изменение стиля вызвано было камнем, пущенным одним из этих добряков и угодившим капитану полиции прямо в лоб, как раз в левый бугор метафизического его глубокомыслия. «Сволочи! Сволочи!» — продолжал он орать, с молниеносной быстротой запирая окно и скрываясь. Но кричи он хоть до хрипоты, все было тщетно: и просьбы и брань его тонули в буре воплей, доносившихся снизу. А там продолжалось то, что он смог увидеть: люди упорно работали камнями и всякими железными предметами, подвернувшимися им под руку; трудились над дверью, которую силились высадить, и над окнами, где старались взломать решетки. И дело подвигалось довольно успешно.

Тем временем хозяева и подмастерья пекарни, расположившись у окон верхних этажей с запасом камней (они, по-видимому, размостили двор), криком и жестами хотели заставить собравшихся внизу бросить свою затею; они грозили камнями и кричали, что тоже пустят их в ход. Видя, что все бесполезно, они и в самом деле стали бросать камни, и без промаха, потому что теснота была такая, что, как говорится, и яблоку негде было упасть.

— Ах вы, негодяи, мошенники! Вот какой хлеб вы даете беднякам! Черти! Ай! Вот погодите! — доносилось снизу.

Многим пришлось плохо; двух мальчуганов задавили насмерть. Ярость умножила силы толпы: дверь высадили, решетки выворотили, и поток людей хлынул через все отверстия. Видя, что дело плохо, осажденные бросились на чердак; капитан, алебардисты и кое-кто из обитателей дома забились в разные углы; другие, выбравшись через слуховые окна, лезли по крышам, словно кошки.

При виде добычи победители сразу забыли о кровавой мести. Они бросились к ларям, стали расхватывать хлеб, а

кое-кто кинулся к конторке, сбил замок, схватил посудину с деньгами, выгреб оттуда горстями содержимое и, набив карманы, ушел, нагруженный деньгами, с тем чтобы потом вернуться и поживиться хлебом, если он еще останется. Толпа рассеялась по кладовым. Хватали, волокли мешки, выворачивали их наружу; кто ставил мешок между ног, развязывал его и, чтобы было под силу донести, выбрасывал часть муки; кто с криком: «Стой, погоди!» наклонялся и подставлял передник, платок, шляпу, чтобы всыпать в него дар Божий; один бежал к квашне и хватал кусок теста, который тянулся и расплзался во все стороны; другой, завладев ситом, нес его, высоко поднимая над головой. Одни уходили, другие приходили: мужчины, женщины, дети; повсюду толкотня, крики и белая пыль, которая летела со всех сторон, заволакивая все вокруг. Толпа снаружи состояла из двух встречных течений, которые то разъединялись, то сплетались вновь: одни уходили с добычей, другие спешили за ней.

В то время как происходило это опустошение, владельцы других городских пекарен также не могли чувствовать себя спокойно и в безопасности. Однако ни к одной из них не сбегалось столько народу, чтобы можно было решиться на все. В одних хозяева успели собрать подмогу и приготовились к обороне; в других, где не было сил защищаться, шли на уступки: раздавали хлеб беднякам, которые начинали толпиться у лавок, лишь бы они разошлись. И люди уходили, не столько потому, что были удовлетворены, сколько потому, что алебардисты и стража, державшиеся подалеже от той страшной пекарни, показывались в других местах в количестве, достаточном для того, чтобы внушать страх тем несчастным, которые бродили кучками. Поэтому беспорядки все усиливались у злополучной первой пекарни, ибо те, у кого почесывались руки сделать выгодное дельце, бежали туда, где перевес был на стороне восставших, а безнаказанность обеспечена.

Таково было положение дел, когда Ренцо, дожевывая наконец свой хлеб, шел по предместью Восточных ворот и, сам того не ведая, направлялся прямо к главному очагу беспорядков. Он шел то быстро, то замедляя шаг из-за встречной толпы, на ходу озираясь по сторонам и прислушиваясь к смутному гулу разговоров, чтобы хоть что-нибудь понять. И вот, примерно, что довелось ему услышать по пути.

— Теперь, — кричал один, — обнаружен наглый обман тех негодяев, которые говорили, что нет ни хлеба, ни муки, ни зерна. Теперь все видно, как на ладони, и им уж больше нас не надуть. Да здравствует изобилие!

— А я вам говорю — все это ни к чему, — говорил другой, — это все равно, что дыра в воде; даже еще хуже будет, если не разделаться с ними как следует: хлеб-то будут продавать по дешевке, зато намешают в него яду, чтобы переморить бедных

людей, как мух. И так уж говорят, что нас чересчур много; в хунте так прямо и сказали, это я уж знаю наверняка, потому что собственными ушами слышал об этом от своей кумы, а она подружка родственника кухонного мужика одного из этих господ.

Третий, с пеной у рта, произносил непотребные слова, прижимая рукой обрывок платка к всклоченной и окровавленной голове. А кое-кто из его соседей, словно в утешение, вторил ему.

— Посторонитесь, посторонитесь. синьоры, будьте любезны, дайте пройти бедному отцу семейства, несущему пищу пятерым своим детям. — Так говорил человек, который шел, пошатываясь под тяжестью огромного мешка с мукой; и всякий старался посторониться, чтобы дать ему дорогу.

— Я? — говорил шепотком другой своему соседу. — Я удираю. Я человек бывалый и знаю, как происходят такие дела. Эти дурни, что сейчас так шумят, завтра или послезавтра будут сидеть по домам, дрожа от страха. Я уже видел кое-какие физиономии неких господ, которые прохаживаются, прикидываясь дурачками, а на самом деле все примечают, кто да что. Потом, когда все кончится, подведут итоги и высыпят тем, кому полагается.

— Кто покровительствует пекарям, — кричал звонкий голос, привлечший внимание Ренцо, — так это заведующий продовольствием.

— Все они подлецы, — сказал кто-то поблизости.

— Разумеется, но он всему голова, — возразил первый.

Заведующий продовольствием, ежегодно избираемый губернатором из числа шести нобилей, предлагаемых советом декурионов, был председателем этого совета и Трибунала продовольствия. Трибунал этот, в составе двенадцати лиц, тоже нобилей, наряду с другими обязанностями, был главным образом занят продовольствием. Тот, кто занимал такой пост, в голодные и темные времена неизбежно должен был прослыть виновником всех бедствий, если только он не действовал, как Феррер, что было вне его возможностей, даже если б он и думался до этого.

— Злодеи, — восклицал еще один, — можно ли поступать бессовестнее? До чего дошли! Говорят, что великий канцлер — старик, впавший в детство; хотят подорвать к нему доверие, чтобы распоряжаться самим. Соорудить бы большую клетку да посадить их туда и пусть питаются викой да плевелами, как они хотели заставить делать нас.

— Хлеба! Ишь чего захотели! — торопливо говорил какой-то человек. — Камни фунтовые — вот такие камушки сыпались градом! Что ребер-то переломали! Не чаю, как уж и домой добраться.

Слушая такие речи — не могу сказать, научили ли они его

чему-нибудь, или только оглушили — и получая со всех сторон толчки, Ренцо в конце концов дошел до пекарни. Толпа уже поредела, так что он мог рассмотреть страшную картину недавнего погрома. Стены были повреждены камнями, кирпичами, штукатурка отвалилась, окна сорваны с петель, двери выломлены.

«Нехорошее это дело, — подумал про себя Ренцо. — Если они отделают этак все пекарни, где же они станут печь хлеб? В колодцах, что ли?» Время от времени из лавки выходил кто-нибудь, неся кусок ларя или квашни, остатки решета, рычаг от месилки, скамью, корзину, счетную книгу, словом, что-нибудь из утвари этой злосчастной пекарни, и с громким криком: «Дорогу! Дорогу!» — проходил сквозь толпу. Все шло в одну сторону и, как видно, в определенное место.

«Что же это еще может быть такое?» — снова подумал Ренцо и пошел вслед за каким-то человеком, который, собрав в охапку разломанные доски и щепки, взвалил их себе на спину и направился, вслед за другими, по улице, огибающей северную сторону собора и получившей свое название от ступенек, которые там когда-то были и которых с недавнего времени больше нет. Желание наблюдать события не помешало нашему горцу, когда он очутился перед громадой собора, остановиться и, разинув рот, посмотреть вверх. Потом он ускоро шаг, чтобы догнать того, кто был для него как бы проводником. Завернув за угол и бросив взгляд на фасад собора, в то время в основном еще не отделанный и весьма далекий от завершения, он двинулся дальше — все за тем же человеком, направлявшимся к центру площади. По мере его продвижения вперед толпа становилась все гуще, но она давала дорогу несущему охапку; тот рассекал людской поток, и Ренцо, все время держась за ним, прошел в самую середину толпы. Здесь было свободное пространство, а посерединке — груда угля — остатки вышеупомянутого оборудования пекарни. Кругом раздавались рукоплескания и стоял гул от бесчисленных возгласов ликования и проклятий.

Человек бросил охапку в груду, кто-то поворошил костер полуобгорелым обломком лопаты; дым повалил клубами и стал гуще, показалось пламя, а с ним усилились крики: «Да здравствует изобилие! Смерть морильщикам! Смерть голодовке! Долой трибунал! Долой хунту! Да здравствует хлеб!».

Разумеется, уничтожение сит и квашен, разгром пекарен и разорение пекарей не являются подходящим средством для поднятия хлебопечения. Но это — одна из метафизических тонкостей, недоступных пониманию толпы. Однако, не будучи большим метафизиком, человек иногда сразу разбирается в них, пока он новичок в данном вопросе, и только после разговоров, наслушавшись других, он утрачивает способность их понимать. В самом деле, мысль эта, в сущности, пришла в го-

лову Ренцо с самого начала, и, как мы видели, он ежеминутно возвращался к ней. Однако он держал ее про себя, потому что среди множества лиц, его окружавших, не было ни одного, которое хотя бы своим видом говорило: «Брат мой, если я ошибаюсь, поправь меня, я скажу тебе спасибо».

Пламя опять погасло: не было видно никого, кто подходил бы с новым топливом. Толпе становилось скучно. Вдруг разнеслась молва, что на Кордузио (небольшая площадь и перекресток неподалеку от собора) начали осаду какой-то пекарни.

При подобных обстоятельствах весть о событии нередко может вызвать само событие. При этом слухе толпу охватило желание бежать туда. «Я пойду, а ты? Идем, идемте!» — раздавалось отовсюду. Толпа задвигалась, превращаясь в шествие. Ренцо оставался позади, двигаясь лишь постольку, поскольку его увлекал поток. Он все время раздумывал, как быть: выбраться ли из этой толчеи и вернуться в монастырь разыскивать падре Бонавентуро, или пойти еще поглазеть. Любопытство снова одержало верх. Однако он решил не забираться в гущу этой свалки, рискуя костями да, пожалуй, и головой, а держаться на некотором расстоянии и наблюдать. Находясь уже сравнительно на просторе, он вынул из кармана хлеб и, откусив от него, пошел в хвосте возбужденного воинства.

Шествие с площади уже успело вступить в короткую и узкую улицу Пескериа-Веккиа, а оттуда, через косую арку, на площадь Деи-Мерканти. И когда проходили мимо ниши, которая находится как раз в середине лоджии здания, в ту пору называвшегося Коллегией ученых, редко кто не бросил взгляда на красовавшуюся в ней статую с таким серьезным, недовольным, хмурым, — чтобы не сказать больше, — лицом дона Филиппа II, который, даже из мрамора, внушал к себе какое-то чувство почтения и, вытянув руку, казалось, хотел сказать: «Вот я вас, каналы!»

Статуя эта исчезла при своеобразных обстоятельствах. Примерно через сто семьдесят лет после того года, о котором идет у нас речь, у статуи сменили голову, вынули из руки скипетр, заменили его кинжалом и прозвали статую Марком Брутом. В таком виде она простояла два-три года. Но однажды утром люди, не питавшие склонности к Марку Бруту и даже, по-видимому, тайно имевшие против него какой-то зуб, обмотали статую канатом, стащили ее вниз и всячески глумились над ней, а потом, изувечив и превратив в бесформенный обрубок, волочили ее по улице, высунув языки, и, наконец, изрядно уморившись, где-то бросили. Мог ли вообразить себе что-либо подобное Андреа Биффи, когда работал над изваянием?!

С площади Деи-Мерканти толпа через другую арку хлынула на улицу Фустанайи, а оттуда рассыпалась по Кордузио. Выходя на перекресток, каждый первым делом смотрел в сторону указанной пекарни. Но вместо множества приятелей,

которых рассчитывали найти там уже за работой, увидели лишь нескольких зевак, в какой-то нерешительности толпившихся на известном расстоянии от лавки, которая была заперта и в окнах которой виднелись вооруженные люди, явно готовые защищаться. Это зрелище привело одних в изумление, других заставило выругаться, третьих — рассмеяться. Кто оборачивался, чтобы предупредить вновь подходивших, кто замедлял шаг, собираясь вернуться обратно, кто восклицал: «Вперед, вперед!» Одни напирали, другие сдерживали, получился как бы затор; толпа стояла в нерешительности, доносился смутный гул, кругом гудели споры и разгорались прения — толпа была в нерешительности. И вдруг из середины раздался зловеющий голос: «Тут рядом дом заведующего удовольствием, идемте туда, разделаемся-ка с ним, разнесем его». И вышло так, словно толпа не приняла совсем новое предложение, а вспомнила свое старое, еще ранее принятое решение. «К заведующему, к заведующему!» — этот клич покрыл собой все остальное. Вся толпа разом ринулась по направлению к улице, где находился дом, названный в такую злополучную минуту.

Глава тринадцатая

Злосчастный заведующий в это время с трудом переваривал свой обед, который он глотал безо всякого аппетита и без свежего хлеба. С тревогой ожидал он окончания всей этой бури и был очень далек от подозрения, что она так страшно захватит его самого. Какой-то доброжелатель на всех парах обогнал толпу, чтобы предупредить несчастного об угрожавшей ему опасности. Слуги, привлеченные шумом к дверям, в испуге смотрели вдоль улицы в ту сторону, откуда, все нарастая, доносился гул. Пока они выслушивали донесение, уже появились передовые отряды. Впопыхах хозяину сообщили об опасности, но пока он принял решение бежать и раздумывал, как это сделать, явился другой вестник — сказать, что уже поздно. Слуги едва успели запереть двери. Задвинув засов и поставив изнутри подпорки, они бросились запереть окна, словно заведев черную тучу, которая, быстро приближаясь, грозит градом.

Нарастающая лавина криков, обрушившаяся сверху подобно грому, отдалась гулом в опустевшем дворике и затихшем доме, и среди страшного, беспорядочного гама послышались сильные, частые удары камнями в дверь.

— Заведующего! Тирана! Морильщика! Сюда его живого или мертвого!

Несчастный бегал по комнатам, бледный и задыхающийся. Ломая руки и взывая к Богу, он умолял своих слуг держаться

стойко и найти для него способ улизнуть. Но как и куда? Пробравшись на чердак, он через слуховое окно тревожно выглянул на улицу: она кишмя кишела осаждавшими; доносились голоса, требовавшие его смерти; растерявшись еще больше, он отшатнулся и стал искать убежища понадежнее. Так, согнувшись в три погибели, он все прислушивался: не стихает ли зловещий шум, не успокаивается ли волнение. Но рев толпы делался все свирепее и громче, а удары все сильнее, и он, охваченный новым приливом страха, торопливо затыкал уши. Потом, словно в припадке дикой ярости, он стискивал зубы и с искаженным лицом вытягивал руки, упираясь кулаками в дверь, словно желая удержать ее на запоре... Впрочем, трудно в точности установить, что он делал, ведь он был там один, и история вынуждена строить догадки, — ну, а это для нее дело привычное!

Ренцо на сей раз находился в самой гуще мятежа — и уже не поток людей занес его туда, он сам стремился к этому. При первых криках толпы, жаждавшей крови, он почувствовал, как дрожь пробрала его самого. Что касается грабежа, он не сумел бы сказать, хорошо это в данном случае или дурно, но мысль об убийстве вызвала в нем подлинный и неподдельный ужас. И хотя, по свойственной всем страстным натурам пагубной слабости отзываться на всякое страстное же внушение со стороны толпы, и он был глубоко убежден в том, что заведующий является главным виновником голода, врагом бедных, — однако при первом же натиске толпы он случайно поймал несколько слов, говоривших о желании некоторых приложить все усилия для спасения этого человека, и Ренцо тут же решил помочь этому делу. С таким намерением он и пробился почти к самой двери, которую уже обрабатывали всеми способами. Одни колотили булыжниками по замочным скрепам, чтобы сорвать запор; другие при помощи ломов, долот и молотков старались работать по всем правилам; наконец, третьи камнями, тупыми ножами, гвоздями, палками и, за неимением другого — ногтями обдирали и крошили стенную штукатурку, ухитряясь выколупывать отдельные кирпичи, чтобы пробить брешь в стене. Те, что были бессильны помочь, подбадривали других криками, но вместе с тем своей толкотней только затрудняли работу, и без того уже затрудненную беспотолковым усердием самих работающих — ибо, хвала создателю, порой и в злом деле получается то же, что слишком часто бывает в хорошем, — а именно, наиболее ревностные поборники становятся помехой.

Власти, первыми узнавшие о том, что происходит, немедленно послали просить помощи у коменданта крепости, которая в ту пору называлась крепостью у Юпитеровых ворот. Комендант отрядил некоторое количество солдат. Просьба о помощи, сборы, приказ выступать, отправление, дорога — все

это потребовало времени, и когда солдаты пришли на место, дом был уже осажден со всех сторон. Им пришлось остановиться далеко от дома позади толпы. Командир отряда не знал, как взяться за дело. Кругом была, если можно так выразиться, каша из людей различного пола и возраста. В ответ на требование разойтись и дать дорогу поднялся мрачный и продолжительный ропот; никто не тронулся с места. Открыть огонь по этому сброду показалось офицеру не только жестоким, но и опасным, — это могло бы раззадорить самых смиренных и лишь обозлить головорезов. Да он и не получил такого распоряжения. Врезаться в эту массу, отеснить ее в обе стороны и двинуться вперед, идя войной на тех, кто ее затеял, было бы, пожалуй, лучше всего; но удастся ли это, вот в чем вопрос. Кто знает, смогут ли солдаты продвигаться стройно и в порядке? А что, если они, вместо того чтобы рассеять толпу, сами распьются в ней, окажутся у нее в руках, только раздразнив ее? Нерешительность командира и бездействие солдат были сочтены, правильно или нет, за страх. Люди, стоявшие по соседству с солдатами, довольствовались тем, что смотрели им в лицо с таким видом, словно им было, что называется, наплевать. Те, что находились немного подальше, не переставали подстрекать солдат, передразнивая и всячески насмехаясь над ними. Остальные вообще ничего не знали об их присутствии. Погромщики продолжали разрушать стену, стараясь поскорее добиться успеха. Зрители не переставали подбодрять их выкриками.

Среди них обращал на себя внимание, представляя сам по себе тоже зрелище, какой-то подозрительный старик, который таращил глубоко запавшие горящие глаза, в то время как злая подстрекательская усмешка дьявола кривила его лицо. Воздев руки над нечестивой своей сединой, он размахивал молотком, веревкой и четырьмя большими гвоздями, которыми, по его словам, собирался пригвоздить заведующего, как только его убьют, к парадной двери его собственного дома.

— Какой позор! — вывалось у Ренцо, ужаснувшегося при этих словах, при виде множества лиц, выражавших сочувствие им, и приободренного при взгляде на другие, на которых молчаливо проступал ужас, охвативший его самого. — Позор! Что ж это мы собираемся отбивать хлеб у палача? Убивать крещеного человека! Как же мы хотим, чтобы Бог дал нам хлеба, когда сами идем на такие зверства? Громы и молнии пошлет он вам, а не хлеб!

— А, собака! Изменник родины! — в бешенстве закричал, обернувшись к Ренцо, один из тех, кто расслышал среди шума и гама эти святые слова. — погоди же, погоди! Это слуга заведующего, переодетый крестьянином; это шпион, бей его, бей!

Сотня голосов со всех сторон подхватила:

— Что такое? Где? Кто такой? Слуга заведующего! Шпион! Заведующий, переодетый крестьянином, он хочет удрать! Где он! Где? Бей его, бей!

Ренцо присмирел и весь сжался, ему хотелось провалиться сквозь землю. Стоявшие рядом поспешно окружили его и громкими возгласами старались заглушить враждебные, призывавшие к расправе голоса. Однако более всего выручил Ренцо внезапно раздавшийся где-то неподалеку крик: «Дорогу, дорогу! Расступитесь же!»

Что же случилось? Оказывается, несколько человек тащили длинную переносную лестницу, чтобы подставить ее к стене и через окно влезть в дом. Но, к счастью, это приспособление, которое сразу облегчило бы дело, не так-то легко было пустить в ход. Толпа все время напирала, отталкивала и отрывала от лестницы тех, кто нес ее, уцепившись за оба конца и за обе стороны, так что шествие от этого становилось волнообразным. Один из несших, просунув голову между перекладинами и подпирая плечами бока лестницы, мычал, словно придавленный дергающимся на его шее ярмом; другого толчком оторвали от ноши; брошенная лестница задела плечи, руки, ребра, — можно себе представить, каково пришлось их обладателям. Другие подхватили упавшую тяжесть, подлезли под нее и с криком: «Смелей! Вперед!» взвалили ее себе на плечи. Злополучное сооружение двинулось дальше, раскачиваясь и шатаясь. Появление его было весьма кстати: оно разъединило и расстроило недругов Ренцо, который, воспользовавшись новым замешательством, сначала крадучись, а потом работая во всю мочь локтями, убрался подальше от этого места, воздух которого был для него явно вреден. Он решил как можно скорей выбраться из всей этой суматохи и пойти разыскивать падре Бонавентуро.

Вдруг какое-то необычайное движение, начавшееся где-то в стороне, распространилось по всей толпе вместе с возгласом, переходившим из уст в уста: «Феррер! Феррер!» Изумление, ликование, бешенство, сочувствие, негодование сопровождали повсюду это имя; один выкрикивал его, другой старался заглушить; один ратовал за него, другой — против; тот — благословлял, а этот — слал проклятья.

— Феррер здесь!

— Неправда, неправда!

— Нет, правда: да здравствует Феррер! Он удешевил хлеб! Нет! нет!

— Да вот он, вот — в карете! Ну так что ж? При чем тут он? Никого нам не надо!

— Феррер! Да здравствует Феррер! Друг бедного народа! Он посадит заведующего в тюрьму! Не надо! Мы сами расправимся: назад, назад!

— Нет, давайте сюда Феррера! В тюрьму заведующего!

И все, приподнимаясь на цыпочках, поворачиваясь, глядели в ту сторону, откуда возмещался неожиданный приезд. Приподнявшись, все видели не больше того, чем если бы стояли на земле всей ступней, и все-таки все старались стать на цыпочки. Действительно, к толпе со стороны, противоположной той, где стояли солдаты, подъехал в карете великий канцлер Антонио Феррер. Должно быть, канцлера мучила совесть, что его неразумные распоряжения и упорство явились причиной или по крайней мере поводом к этому мятежу, и теперь, желая использовать для благого дела свою дурно приобретенную популярность, он пытался унять волнение или хотя бы предотвратить наиболее страшные и непоправимые его последствия.

В народных выступлениях всегда участвует определенное число людей, которые, то ли в силу своей пылкости и фанатизма, то ли по злокозненному умыслу и проклятой склонности к беспорядкам, что есть силы стараются направить события в худшую сторону; они дают и поддерживают самые преступные советы, раздувая пламя, как только замечают, что оно начинает затухать; им всего мало, — они хотели бы, чтобы волнение не имело ни конца, ни края. Но в противовес им находится всегда и некоторое число других людей, которые с такой же горячностью и настойчивостью стремятся к противоположным поступкам: одни из дружбы или расположения к лицам, которым грозит опасность, другие — единственно из естественного произвольного ужаса перед кровью и жестокостями. Да благословит их небо! В каждой из этих двух противостоящих сторон, даже при отсутствии предварительной договоренности, единство воли создает внезапную согласованность в действиях. То, что образует потом толпу и как бы самое орудие беспорядков, — это просто случайная смесь людей, которые, с бесконечными, правда, оттенками, так или иначе впадают в ту или иную крайность. Не лишены горячности, плутоватые, склонные к известной справедливости, — как они ее понимают, — жаждущие увидеть что-нибудь из ряда вон выходящее, готовые на жестокость и на милосердие, на обожение и на ненависть, в зависимости от случая, который представится, чтобы проявить то или иное чувство, они каждое мгновение жаждут узнать, поверить во что-нибудь необычайное. Им непременно нужно кричать, рукоплескать кому-нибудь или улюлюкать вслед. «Да здравствует!» и «Смерть ему!» — эти слова они выкрикивают охотнее всего; и если удастся убедить их в том, что такой-то не заслуживает четвертования, то уже немного понадобится слов доказать им, что он достоин триумфа; они — действующие лица, зрители, они то «за», то «против», в зависимости от того, откуда дует ветер. Готовы они и молчать, когда некому больше вторить, готовы и отстать, когда нет налицо подстре-

кателей, и разойтись, когда много голосов, не встречая возражения, скажут: «Идемте!», и вернуться домой, спрашивая друг у друга: «А что такое произошло?» Но так как эта масса, создающая перевес сил, может последовать за кем угодно, то каждая из двух действующих сторон прилагает все усилия, чтобы перетянуть ее к себе, завладеть ею. Словно две враждебные души состязаются в том, чтобы проникнуть в это огромное тело и заставить его двигаться. Все зависит от того, кто сумеет распространить слухи, наиболее способные возбудить страсти, направить чувства к той или иной цели; кто более кстати сумеет подпустить слухи, которые смогут вновь раздуть негодование или, наоборот, ослабить его, внушить надежду или страх; кто сумеет бросить клич, который, звуча все громче в устах все возрастающего числа людей, выражает, подтверждает и тем самым выносит приговор большинства в пользу той или иной стороны.

Все это пустословие понадобилось лишь для того, чтобы сказать, что в борьбе между двумя партиями, которые оспаривали друг у друга приговор народа, собравшегося у дома заведующего, появление Антонио Феррера мгновенно дало решительный перевес сторонникам гуманности, позиция которых была явно слабее, и подожди эта помощь немного позже, у них не было бы больше ни сил, ни цели для борьбы. Этот человек угодил толпе столь выгодным для покупателей хлебным тарифом собственного изобретения и своей героической твердостью, не поддающейся никаким доводам, противоречащим ему. Людей, и без того к нему расположенных, он еще больше восхитил той смелой доверчивостью, с какой он, старик, без всякой охраны, без помпы, явился сюда, чтобы лицом к лицу встретиться с раздраженной, бурлящей толпой. Потрясающее действие произвели и слухи о том, что он явился забрать в тюрьму заведующего продовольствием. Ярость толпы против последнего, которая разгорелась бы еще сильнее, вздумай кто-нибудь пойти ей наперекор, теперь, когда обещано было удовлетворение и брошена, так сказать, кость, чтобы заткнуть ей рот, кое-как улеглась и уступила место другим, противоположным чувствам, которые пробудились у значительного числа людей. Воспрянув духом, сторонники мирного исхода поддерживали Феррера. Оказавшиеся близ него своими одобрительными криками повлияли на настроение всей толпы, причем одни призывали народ посторониться, чтобы дать дорогу карете; другие рукоплескали, повторяя и распространяя слова, уже сказанные канцлером или те, которые он, по их мнению, скорее всего мог сказать. Тем самым они затыкали рот тем, кто упорно продолжал бесноваться, обращая против них новое настроение этого изменчивого собрания людей.

— Кому это не нравится, чтобы кричали: «Да здравствует

Феррер»? Ты что же это, не хочешь, чтобы хлеб был дешев? Негодяи те, кто не хотят христианской справедливости, — они-то больше всех и горланят, чтобы дать заведующему улизнуть. В тюрьму заведующего! Да здравствует Феррер! До-рогу Ферреру!

Число людей, говоривших так, все росло, и соответственно этому шла на убыль отвага противной стороны, так что первые от уговоров перешли к действиям против тех, кто еще продолжал разрушительную работу: стали отгонять их назад, вырывая у них из рук орудия разрушения. Те огрызались, продолжали грозить, пытаясь взять верх, но о кровопролитии уже не могло быть и речи; победу одержали кричавшие: «В тюрьму! Судить его! Феррер!» После непродолжительной перепалки погром-щики были отброшены, их противники овладели дверью, чтобы защитить ее от новых нападений и обеспечить проход Ферреру. Некоторые из них прокричали находившимся в доме (благо пробоин было сколько угодно), предупреждая, что под-ходит подмога и чтобы заведующий был наготове «для немед-ленной отправки в тюрьму, — гм... поняли, что ли?»

— Это что же, тот самый Феррер, который помогает со-ставлять указы? — спросил у своего нового соседа наш Ренцо, припомнив, как адвокат прокричал ему прямо в ухо: «Скре-пил Феррер», показывая ему подпись под бумагой.

— Он самый, великий канцлер, — раздалось в ответ. — Благородный он человек, не так ли?

— Еще бы не благородный! Ведь он пустил хлеб по деше-вой цене, а другие не хотели. А вот теперь он явился забрать в тюрьму заведующего за то, что тот поступал несправедливо.

Нет надобности прибавлять, что Ренцо тут же стал на сто-рону Феррера. Он захотел немедленно пробраться к нему по-ближе. Сделать это было нелегко. Однако, раздавая тумачи направо и налево, работая локтями, как привычный горец, он сумел проложить себе дорогу и пробраться в первый ряд, как раз сбоку кареты.

Карета уже успела врезаться в толпу и в этот момент как раз остановилась вследствие одной из помех, неизбежных в путешествиях подобного рода. Старик Феррер показывал то в одну, то в другую дверцу свое кроткое, улыбающееся лицо, с тем выражением, которое он всегда имел про запас на тот случай, если ему приходилось бывать в присутствии дона Фи-липпа IV; однако он вынужден был и при данной okazji по-казать его. Он что-то говорил, но при шуме и гомоне множе-ства голосов и возгласах «Да здравствует!», которыми встречали канцлера, лишь немногие могли разобрать его слова. Поэтому он помогал себе жестами: то прикасался кон-чиками пальцев к губам, как бы срывая с них поцелуй, кото-рые взмахом обеих рук посылал публике направо и налево в знак благодарности за благосклонный прием; то, высовываясь

из дверцы, медленно помахивал руками, прося дать дорогу, или изящным жестом опускал их, прося минутного молчания. Когда это ему ненадолго удавалось, стоявшие совсем близко могли расслышать и затем повторяли отдельные его слова: «Хлеб, изобилие; я явился навести порядок; пожалуйста, дайте дорогу». Затем, оглушенный и подавленный шумом столько голосов, видом этого скопища людей, стоявших плечом к плечу, утомленный тысячами взоров, устремленных на него, он на мгновение откидывался на спинку кареты, пыхтел, отдувался и шептал про себя: «Por mi vida, que gente!»¹

— Да здравствует Феррер! Не бойтесь. Вы — благородный человек. Хлеба, хлеба!

— Да, да, хлеба, — отвечал Феррер, — изобилие; я обещаю вам его, — и он прижимал руку к груди. — Посторонитесь чуть-чуть, — тут же прибавлял он, — я приехал забрать его в тюрьму, дабы он понес заслуженную кару, — и добавлял про себя: «Si es culpable»². Наклонившись к кучеру, он быстро говорил ему: — Adelante, Pedro, si puedes³.

Кучер тоже улыбался толпе с сердечной приветливостью, словно какая-нибудь важная особа, и с невыразимым изяществом легонько помахивал кнутом вправо и влево, прося мешавших ему проехать немного потесниться и податься в сторону.

— Пожалуйста, синьоры, — говорил он, — посторонитесь немного, совсем чуть-чуть, только бы проехать.

Тем временем наиболее деятельные из числа сочувствующих в ответ на столь вежливую просьбу принялись расчищать дорогу. Одни, двигаясь впереди лошадей, заставляли людей расступаться, действуя уговорами и раздвигая руками толпу, вежливо приговаривали: «Подайтесь, посторонитесь чуть-чуть, синьоры»; другие проделывали то же самое по обе стороны кареты, чтобы она могла продвинуться, не отдавая никому ног и не задев ничьей головы, так как, помимо нанесения вреда отдельным лицам, это могло бы легко подорвать престиж самого Антонио Феррера.

Ренцо, некоторое время с восхищением смотревший на эту величавую старость, несколько встревоженную заботами, подавленную усталостью, но вместе с тем оживленную хлопотами и, так сказать, ободренную надеждой избавить человека от смертельной опасности, Ренцо, говоря, отбросил всякую мысль об уходе, решив помочь Ферреру и не оставлять его, пока тот не добьется своей цели. Сказано — сделано, вместе с другими он принялся расчищать путь и, разумеется, оказался среди самых напористых. Путь был расчищен. «Продвигай-

¹ Боже мой, ну и народ! (исп.)

² Если он виновен (исп.).

³ Вперед, Педро, если сумеешь (исп.).

тес-ка вперед», — говорили кучеру из толпы те, что отходили в сторону. Другие продолжали прокладывать дорогу карете. «Adelante, presto, con juicio!»¹ — понукал его и хозяин, и карета продвигалась. Кроме поклонов, щедро расточаемых публике, Феррер отвешивал, выразительно улыбаясь, особые поклоны в знак благодарности тем, кто особенно хлопотал для него: такие улыбки не раз доставались и на долю Ренцо, который вполне заслужил их, ибо работал в этот день на великого канцлера лучше любого самого добросовестного из его секретарей. Молодому горцу, очарованному такой благосклонностью, казалось, что он чуть ли не подружился с Антонио Феррером.

Тронувшись с места, карета продолжала продвигаться дальше, правда, довольно медленно и не без коротких остановок. Весь путь, пожалуй, занимал расстояние не больше, чем на ружейный выстрел, но в смысле времени, на него затраченного, переезд этот мог показаться длинным путешествием даже тому, кто не спешил с благими намерениями, подобно Ферреру. Народ волновался и впереди и сзади, справа и слева от кареты, подобно морским валам, вздымающимся вокруг корабля в самый разгар бури. Но гул толпы был более резким, разноголосым и оглушительным, чем шум бури. Выглядывая из кареты, принимая соответствующие позы и жестикулируя, Феррер старался разобраться в криках и ответить на них; ему искренне хотелось побеседовать с этой толпой друзей, но это было труднее всех дел, какие выпадали ему на долю за его долголетнее великое канцлерство. Иногда ему удавалось слышать какое-нибудь слово и даже целую фразу, несколько раз повторенную отдельной группой, подобно тому, как взрыв мощной ракеты выделяется среди оглушительной трескотни фейерверка. И он то старался успокоительно ответить на эти крики, то попросту произносил слова, которые, на его взгляд, были всего более кстати. Таким образом, он всю дорогу говорил с народом: «Да, да, синьоры, хлеб, изобилие... я его сам отправлю в тюрьму, он понесет наказание... Si es supable. Да, конечно, я прикажу — дешевый хлеб... Asi es²... вот именно, хочу я сказать: государь, наш король, не хочет, чтобы его верные подданные голодали. Голод. Боже мой! Guardaos!³ Как бы вам не пострадать, синьоры. Pedro, adelante, con juicio!»⁴ Изобилие, изобилие... Посторонитесь чуть-чуть, сделайте милость. Хлеба, хлеба... В тюрьму, в тюрьму... Что такое?» — спрашивал он одного, который влез прямо в окно кареты и что-то выкрикивал, то ли какой-то совет, то ли просьбу. Но тот не успел даже услышать обращенных к нему слов: «Что

¹ Вперед, побыстрей, да осторожно! (исп.)

² Вот именно (исп.).

³ Берегитесь! (исп.)

⁴ Педро, вперед, но осторожней! (исп.)

такое?», так как был тут же стянут вниз кем-то из толпы, заметившим, что его вот-вот придавит колесом. Так, давая на ходу ответы, среди несмолкавших приветственных возгласов, а порой и отдельных враждебных выкриков, правда, сразу же заглушаемых, Феррер в конце концов добрался до осажденного дома благодаря, главным образом, усердию своих добрых помощников.

Те, что уже пробились, как мы сказали, к дверям с подобными же добрыми намерениями, упорно старались расчислить хоть немного места. Пустив в ход просьбы и угрозы, напирая то в одну, то в другую сторону с удвоенной энергией и с новым приливом сил, которые появляются по мере приближения к желанной цели, — им удалось в конце концов разделить толпу надвое, а затем и оттеснить ее назад, так что между дверью и каретой, остановившейся перед нею, образовалось небольшое свободное пространство. Ренцо, играя роль отчасти фореятора, отчасти конвоира, прибыл вместе с каретой и сумел стать в одну из двух шеренг сочувствующих, которые служили и прикрытием для кареты и плотинкой против напиравших людских волн. Помогая своими крепкими плечами сдерживать одну из этих волн, он находился на отличном месте и мог видеть все происходящее.

Феррер облегченно вздохнул, увидев перед собою эту небольшую свободную площадку и еще запертые двери, или, вернее сказать, еще не взломанные, ибо дверные крюки были уже почти выворочены, створки дверей расщеплены, продырявлены, раздвинуты, и через широкую щель виднелась цепь, погнутая, расшатанная и почти оборванная, так что она, можно сказать, едва удерживала дверные створки, не давая им окончательно раскрыться. Какой-то благожелатель крикнул в это отверстие, чтобы отпирали; другой быстро распахнул дверцу кареты; старик высунул голову, поднялся и, опершись правой рукой на плечо человека, распахнувшего дверцу, вылез из кареты и стал на подножку.

Народ теснился со всех сторон, поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть. Тысяча лиц, тысяча бород мелькали в воздухе, любопытство и всеобщее ожидание на мгновение заставили всех замолчать. Остановившись на подножке, Феррер бросил взгляд кругом, приветствуя толпу поклоном, словно с амвона, и, прижимая левую руку к груди, воскликнул: «Хлеба и правосудия!» Затем, смелый и величественный, в своей длинной мантии, спустился на землю среди приветствий, возносившихся к небесам.

Тем временем изнутри отперли, вернее сказать, закончили отпирание, оторвав остатки цепи со скобами, уже наполовину выдернутыми, и расширив отверстие ровно настолько, чтобы впустить столь желанного гостя. «Скорей, скорей, — говорил он, — открывайте же, дайте мне войти; а вы, храбрецы, сдер-

живайте там толпу, чтобы она не ворвалась вслед за мной... ради самого неба! Устройте-ка проход. Да ну же, синьоры, я в одно мгновение! — Потом, обращаясь к находившимся внутри дома: — Полегче вы с этой створкой, дайте мне пройти. Ох, ребра мои! Пожалейте мои ребра! Теперь запирайте, нет, погодите, мантия-то моя, мантия!» — Действительно, ее защемило бы в дверях, если бы Феррер весьма ловко не отдернул шлейф, который и исчез вслед за ним, словно хвост змеи, быстро ускользящей в нору от преследования.

Когда створки дверей захлопнулись, изнутри постарались подпереть их еще крепче. А снаружи те, кто составил как бы лейб-гвардию Феррера, действовали плечами, руками и глоткой, стремясь удержать свободное пространство и вознося в душе молитвы, чтобы все окончилось как можно скорей.

— Скорей, скорей, — торопил Феррер в прихожей слуг, которые тесным кольцом обступили его, ахая и охая на разные лады: «Храни вас Господь, ваше превосходительство!»

— Скорей, скорей! — повторял Феррер. — Где же этот несчастный человек?

Бледный как полотно, заведующий спускался с лестницы: его не то ташили, не то несли другие слуги. Увидев своего спасителя, он облегченно вздохнул. Силы вернулись к нему — он стал несколько тверже стоять на ногах, щеки его порозовели, он бросился к Ферреру со словами:

— Я целиком в руках Божьих и вашего превосходительства. Но как же мне выйти отсюда? Весь этот люд жаждет моей смерти.

— *Venga usted conmigo*¹ и будьте смелей: нас ждет моя карета, — скорей, скорей. — Он взял заведующего за руку и повел к двери, стараясь его подбодрить, а сам все повторял про себя: «*Aquí esta el busilis. Dios nos valga!*»²

Дверь открылась. Первым вышел Феррер, преследуемый — за ним, съездившись, прильнув к спасительной мантии, как ребенок к материнской юбке. Тогда те, что охраняли свободное пространство перед домом, подняли руки и шляпы, образуя как бы завесу, чтобы укрыть заведующего от угрожающих взоров толпы. Он первым вошел в карету и забился в самый дальний угол. За ним вскочил Феррер; дверца быстро захлопнулась. Толпа, в замешательстве наблюдавшая эту сцену, догадалась, что случилось, и разразилась бурей одобрений и проклятий.

Часть пути, которую оставалось сделать, могла оказаться самой трудной и наиболее опасной. Но народ высказался достаточно определенно: заведующего надо отправить в тюрьму. А пока карета стояла у дома, те, кто облегчил проезд Ферреру, настолько расширили проход среди толпы, что карета теперь

¹ Идемте со мной, ваша милость (*исп.*)

² Вот тут-то самый трудный момент. Да поможет нам Бог! (*исп.*)

могла ехать более быстро и без остановок. По мере ее продвижения толпа, расколота надвое и сдерживаемая по бокам, смыкалась позади нее, снова сливаясь.

Едва усевшись, Феррер наклонился к заведующему и предупредил его, чтобы он сидел, запрятавшись в самую глубь кареты и, ради самого неба, не вздумал выглядывать; предупреждение было излишним. Самому же Ферреру, наоборот, необходимо было все время показываться, чтобы занять публику и отвлечь на себя ее внимание. И в течение всего обратного переезда, как и до этого, он держал перед менявшейся все время аудиторией речь, самую продолжительную и самую бессмысленную из всех, что когда-либо произносились. Время от времени он, однако, пересыпал ее испанскими словечками, которые, обернувшись, быстро шептал на ухо своему съездившемуся спутнику. «Разумеется, синьоры: хлеба и правосудия! В замок, в тюрьму, под мой присмотр! Спасибо, спасибо, большое спасибо! Нет, нет, не удерет! Por ablandarlos¹. Вполне справедливо, разберем, увидим... И я желаю вам добра, синьоры. Строгое наказание! Esto lo digo por su bien². Справедливая такса, честная мета и наказание виновных. Пожалуйста, подайтесь в сторону! Да, да, — я честный человек, друг народа. Он будет наказан, разумеется, он негодяй, злодей! Perdone, usted³. Ему плохо придется, плохо... si es culpable⁴. Да, да! Мы их подтянем, этих пекарей! Да здравствует король, да здравствуют добрые миланцы, вернейшие его подданные!.. Плохо придется ему, плохо. Animo; estamos ya casi fuera⁵.

И правда, они уже миновали самое большое скопление народа и были близки к тому, чтобы совсем выбраться на простор. Тут Феррер дал некоторую передышку своим легким, увидав подмогу — тех самых испанских солдат, которые, однако, оказались в конце концов не совсем бесполезными, потому что при поддержке и под руководством кое-кого из граждан помогли отправить с миром по домам некоторое количество народа и обеспечить свободный проезд карете, когда она уже выбиралась из толпы. При приближении кареты они выстроились в шеренгу и взяли на караул великому канцлеру, который и тут раскланялся направо и налево, а офицеру, поспешившему к нему, отдавая честь, сказал, сопровождая свои слова выразительным жестом: «Beso a usted las manos»⁶. Эти слова офицер истолковал в том смысле, какой они и имели на самом деле, а именно: вы мне оказали большую помощь!

¹ Это, чтобы их умаслить (исп.).

² Это я говорю для вашего же блага (исп.).

³ Простите, ваша милость (исп.).

⁴ Если он виновен (исп.).

⁵ Не падайте духом, мы почти уже выбрались (исп.).

⁶ Целую руки вашей милости (исп.).

В ответ офицер еще раз отдал честь и пожал плечами. Был самый подходящий момент сказать: «*Cedant arma togae*»¹, но Ферреру было не до цитат, да, впрочем, зачем бросать слова на ветер, раз офицер не понимал по-латыни.

Вернулась прежняя храбрость и к Педро, когда он проезжал между двумя шеренгами наемников, между мушкетами, столь почтительно взятыми на караул. Он совершенно оправился от недавней растерянности, вспомнил, кто он такой и кого везет, и стал без дальнейших церемоний покрикивать на толпу, теперь уже достаточно поредевшую, чтобы с ней можно было обращаться таким образом, и, понукая лошадей, гнал их по направлению к замку.

— *Levántese, levántese, estamos ya fuera*², — сказал Феррер заведующему; тот, услышав эти слова, успокоенный тем, что крики прекратились и карета ехала полным ходом, разогнулся, расправил онемевшие члены, поднялся и, несколько придя в себя, стал рассыпаться в благодарностях своему спасителю. А канцлер, выразив заведующему свое соболезнование по поводу угрожавшей ему опасности и радость по поводу избавления от нее, воскликнул, хлопнув себя рукой по плешивой голове: — *Qué dirá de esto su excelencia?*³ Он и без того уже в скверном настроении из-за этого проклятого Казале, которое никак не хочет сдаваться. *Qué dirá el conde duque*⁴, который дрожит от страха, лишь только листочек на дереве, зашелестит сильнее обычного? *Qué dirá el rey nuestro señor*⁵, который ведь обязательно хоть что-нибудь да узнает об этом столпотворении. Да и конец ли это? *Dios lo sabe*...⁶

— Ох! что касается меня, то я больше не хочу вмешиваться в это дело, — говорил заведующий, — я умываю руки, сдаю вам, ваше превосходительство, свою должность и уйду жить в пещеру, куда-нибудь в горы, буду жить отшельником, подальше от этих скотов.

— *Usted*⁷ сделает то, что потребует от вас *el servicio de su magestad*⁸, — с достоинством ответил великий канцлер.

— Его величество не пожелает моей смерти, — возразил заведующий. — В пещеру, подальше бы от них!

Что сталося потом с этим его намерением, об этом наш автор умалчивает. Проводив беднягу до замка, он больше о нем не упоминает.

¹ Пусть оружие уступит место тоге (лат.).

² Вылезайте, вылезайте, мы уже выбрались (исп.).

³ Что скажет об этом его превосходительство? (исп.)

⁴ Что скажет граф-герцог? (исп.)

⁵ Что скажет наш повелитель, король? (исп.)

⁶ Бог его знает... (исп.).

⁷ Ваша милость (исп.).

⁸ Служение королю (исп.).

Глава четырнадцатая

Толпа, оставшаяся позади, стала редеть, растекаясь направо и налево, по разным улицам. Кто шел домой, заняться, наконец, и своими делами; кто уходил за город, чтобы немножко подышать на просторе после стольких часов, проведенных в давке; кто искал приятелей поболтать о громких событиях этого дня.

То же происходило и на другом конце улицы, где остатки толпы уже поредели настолько, что упомянутый отряд испанцев мог продвигаться, не встречая сопротивления, и вскоре выстроился у дома заведующего. Неподалеку все еще продолжали стоять плотной кучкой, так сказать, подонки мятежа — шайка негодяев, недовольных таким сравнительно мирным и неудачным исходом столь грандиозной затеи; одни ворчали, другие ругались, третьи держали совет и прикидывали, нельзя ли предпринять еще что-нибудь; для пробы они подходили к злополучной двери, снова прочно припертой изнутри, трясли и толкали ее. При появлении отряда все они — кто быстрее-хонько, а кто и не торопясь, словно он был просто зевакой, постарались улигнуть в другую сторону, уступив поле действия солдатам, которые и заняли его, выстроившись для охраны дома и всей улицы.

Однако на всех окрестных улицах продолжали толпиться люди, и как только сходилось вместе два-три человека, сейчас же около них останавливались еще трое-четверо, целый десяток. Тут кто-нибудь отделялся от кучки, а там целая группа двигалась вместе — словно разорванные облака, оставшиеся после бури и несущиеся в небесной синеве, так что иной, посмотрев на них, скажет: «А ведь поди ж ты, погода-то еще не совсем установилась». Подумайте только, какие пошли толки! Кто с жаром рассказывал о всяких случаях, свидетелем которых он был; кто повествовал о своих собственных деяниях, кто радовался благополучному исходу и восхвалял Феррера, суля великие беды заведующему; кто саркастически замечал: «Не беспокойтесь, его не убьют: волк волчьего мяса не ест»; кто еще более злобно ворчал, что за дело взялись не так, как нужно, что все это — обман и просто безумие поднимать такой шум, чтобы потом дать себя так провести.

Тем временем солнце село, все предметы приняли одну и ту же окраску, и многие, утомленные пережитым за день, не имея больше охоты болтать в потемках, стали расходиться по домам. Наш юноша, помогавший карете продвигаться, пока в этом была нужда, и как бы с триумфом пробравшийся вслед за нею между рядами солдат, обрадовался, увидев, что карета свободно мчалась и была вне всякой опасности. Он прошел немного, замешавшись в толпе, и выбрался из нее на первом же повороте, чтобы и самому вздохнуть на просторе. Сделав

всего несколько шагов, взволнованный таким многообразием чувств и образов, столь неожиданных и смутных, он ощутил сильную потребность в пище и отдыхе и начал глядеть по обеим сторонам улицы, отыскивая вывеску какой-нибудь оsterии, ибо идти в монастырь капуцинов все равно было уже слишком поздно. Шагая таким образом, задрав голову, он подошел к какому-то сборищу. Прислушавшись, он понял, что происходило обсуждение предложений и планов на завтрашний день. Послушав немного, он не мог удержаться, чтобы не высказать и свое мнение: ему казалось, что для человека, столь деятельно участвовавшего в событиях, не зазорно внести и свое предложение. Все виденное им в течение дня привело его к убеждению, что отныне для успешного осуществления какого-нибудь дела достаточно снискать сочувствие тех, кто разгуливает по улицам.

— Уважаемые синьоры! — крикнул он в виде вступления, — позвольте и мне высказать свое скромное мнение. А скромное мое мнение таково, что не только в вопросе о хлебе совершаются всякие несправедливости. Сегодня все мы увидели, что если заставить себя выслушать, то добьешься справедливости, — значит, надо действовать дальше, пока не будут устранены все другие злодеяния и пока люди не заживут по-христиански. Разве вам неизвестно, синьоры мои, что существует шайка тиранов, которые поступают противу десяти заповедям и глумятся над честными людьми, которые к ним никакого отношения не имеют? Они творят над нами всеческие насилия и всегда оказываются правыми. И даже совершив злодеяние из ряда вон выходящее, они разгуливают, еще выше задрав головы, словно они кого-нибудь облагодетельствовали. Наверно, и в Милане их достаточно.

— И даже слишком, — раздался чей-то голос.

— Вот я и говорю, — продолжал Ренцо, — у нас тоже рассказывают всякие истории. Да и дела сами за себя говорят. Допустим, для примера, кто-нибудь из тех, про кого я говорю, живет и в деревне и в Милане: коли он дьявол там, не захочет же он быть ангелом здесь, — я так думаю. Вот и скажите мне, синьоры мои, приходилось ли вам когда-нибудь видеть хотя бы одну такую рожу за решеткой? И, что гораздо хуже (уж это я знаю наверняка), есть и указы, напечатанные и грозящие им наказанием, и не какие-нибудь пустяковые указы, нет, преотлично составленные, так что лучшего и желать нечего. Там все эти мошенничества ясно описаны, именно так, как они и происходят; и за каждое — своя кара. Ведь так и сказано: кто бы там ни был, худородные ли люди и простонародье, ну и так далее, почем мне знать. Теперь пойдите вы и скажите ученым людям — этим книжникам и ханжам, — чтобы они заставили рассудить вас, как гласит указ, — вас послушают не больше, чем папа — мошенников, — голова за-

кружится у всякого порядочного человека. Значит, ясно, что королю и всем, кто у власти, хотелось бы, чтобы негодяи были наказаны, — только ничего из этого не выходит, потому что все они заодно. Значит, надо их разъединить: надо завтра же пойти к Ферреру, так как он порядочный человек, обходительный синьор. Вот сегодня было видно, как ему приятно быть среди бедных людей. Он старался прислушаться к доводам, которые ему приводили, и охотно на них отвечал. Надо идти к Ферреру и все объяснить ему, и я, например, смогу порассказать ему кое-что, потому сам, своими собственными глазами видел один указ, с разными гербами вверху, и составлен он был теми тремя, что сейчас у власти. Под указом стояло имя каждого из них, красиво так напечатанное, и одно из этих имен — Феррер, — я сам видел, своими глазами. Так вот указ этот защищал как раз таких, как я, но один ученый, которому я сказал, чтобы он, значит, похлопотал обо мне, чтобы вышло по справедливости, как того хотели эти три синьора, и среди них опять же Феррер, этот синьор доктор, который мне сам и показал-то этот указ, — в этом-то вся и штука! — сделал вид, будто я мелю чепуху. Я уверен, если этот почтенный старец услышит об этих штуках, — ведь он же не может знать обо всех, особенно о тех, что творятся не в Милане, — он не захочет, чтобы на свете были такие порядки, и найдет против них хорошее средство. Опять же и они, если издадут указы, то для того, чтобы их слушались, — ведь это же наглость, эпитафию с их именем не ставить ни во что. А если насильники не хотят склонить головы и буйствуют, то наше дело явиться тут ему на помощь, как это было сегодня. Я не говорю, что он должен сам ездить повсюду в карете и ловить негодяев, насильников и тиранов — где уж тут, на это, пожалуй, не хватило бы и Ноева ковчега. Нужно, чтобы он приказал тем, кого это касается, и не только в Милане, а везде, чтобы они поступали согласно указам и судили бы всех, кто совершит преступление; где сказано «тюрьма», нужно сажать в тюрьму, а где сказано «каторга», так на каторгу, и всем подеста приказать, чтобы они действовали как полагается, а не хотят — так гнать их взащей и посадить на их место других, а мы со своей стороны подсобим. Да и ученым приказать, чтобы они выслушивали бедных и защищали правду. Что, правильно я говорю, синьоры?

Ренцо говорил с такой искренностью, что с самого начала значительная часть собравшихся, прекратив всякие другие разговоры, повернулась к нему, и мало-помалу все стали слушать молодого горца. Смешанный гул одобрений и выкрики: «Молодец!», «Конечно! Он прав! Все это так!» — были как бы ответом его аудитории. Нашлись, однако, и критики. Один говорил: «Ну, что там, слушать горцев! Все они — краснобай», и, повернувшись, уходил. Другой ворчал: «Нынче уж всякий

оборванец хочет вставить свое словцо; сколько ни подкидывай в костер дров, от этого хлеб не подешевеет; а ведь мы зашевелились лишь из-за этого». Но Ренцо слышал только одобрения. Кто жал ему одну руку, кто другую: «До свиданья, до завтра. Где? — На Соборной площади. — Идет? — Идет. — Что-нибудь да придумаем!».

— А не укажет ли мне кто-нибудь из почтенных синьоров остерию, где бы бедному малому можно было перекусить и переночевать? — спросил Ренцо.

— Я к вашим услугам, молодой человек, — сказал один, внимательно слушавший речь Ренцо, но молчавший до сих пор. — Я знаю остерию как раз для вас и представлю вас хозяину, он мне приятель и честный человек.

— Близко отсюда? — осведомился Ренцо.

— Да неподалеку, — ответил тот.

Толпа стала расходиться, и Ренцо, после многочисленных рукопожатий со стороны своих слушателей, отправился с незнакомцем, выражая ему благодарность за его любезность.

— Пустяки, за что же? — говорил тот. — Рука руку моет, а обе вместе моют лицо. Разве мы не обязаны помогать ближнему?

Дорогой он под видом разговора задавал Ренцо различные вопросы.

— Я не из любопытства спрашиваю, — но у вас такой усталый вид, видно, пришли издалека?

— Я-то? — отвечал Ренцо. — Я пришел из Лекко.

— Из Лекко? Вы и сами из Лекко?

— Из Лекко, то есть из его окрестностей.

— Бедный молодой человек! Насколько я мог понять из вашей речи, вас там, должно быть, тяжело обидели.

— Эх, милый человек! Мне ведь пришлось говорить обидными, чтобы не проболтаться при всем честном народе про свои дела; ну, будет... Когда-нибудь все узнается... Да вот, никак, и вывеска остерии; право, мне что-то неохота идти дальше.

— Да нет же, пойдемте, куда я сказал, тут недалеко, — возразил провожатый, — а здесь вам будет недостаточно хорошо.

— Ничего, — отвечал юноша, — я ведь не барчук, привыкший к роскоши, мне бы только перекусить как следует, да соломенный тюфяк, вот и все. Только бы найти поскорее и то и другое. Ну, всего! — и он толкнул покосившуюся дверку, над которой висела вывеска с изображением полной луны.

— Хорошо, войдемте сюда, раз вам так уютно, — сказал незнакомец и последовал за ним.

— Зачем же вам еще беспокоиться, — отвечал Ренцо. — А впрочем, — прибавил он, — выпейте со мной стаканчик вина, мне будет очень приятно.

— Охотно принимаю ваше приглашение, — ответил тот и,

как человек более знакомый со здешними порядками, прошел впереди Ренцо через небольшой дворик ко входу, ведущему в кухню, поднял щеколду и, отворив дверь, вошел туда со своим спутником.

Два ручных фонаря, подвешенных к жердочкам, которые были привязаны к потолочной балке, тускло освещали помещение. Множество всякого люда, занятого кто чем, сидело на скамьях по обе стороны длинного узкого стола, почти целиком занимавшего половину комнаты: кое-где стол был покрыт скатертью и уставлен блюдами, кое-где на нем шла игра; сдавали и открывали карты, бросали и собирали игральные кости, и повсюду виднелись винные бутылки и стаканы. Мелькали ходившие по рукам берлинги, реалы и парпальолы, которые, умей они говорить, рассказали бы примерно следующее: сегодня поутру лежали мы в чашке у одного пекаря или в кармане какого-нибудь свидетеля беспорядков, который, увлекшись желанием посмотреть, как идут общественные дела, перестал следить за своими личными делишками.

Шум стоял невероятный. Молодой парень, совсем запамятовавший, носился взад и вперед, обслуживая игроков и тех, кто закусывал. Хозяин, сидя на небольшой скамеечке под колпаком очага, казалось, был занят какими-то фигурами, которые он выводил щипцами в золе и тут же уничтожал; на самом же деле он внимательно следил за всем, что происходило вокруг. При стуке щеколды он поднялся и пошел навстречу вновь прибывшим. Увидя провожатого, он сказал себе: «Проклятый! И чего ты вечно путаешься между ног, когда меньше всего тебя хочется видеть!» Быстро окинув взглядом Ренцо, он пробормотал: «Тебя я не знаю, но коли ты пришел с таким охотником, стало быть, ты либо собака, либо заяц; с двух слов все станет ясным». Однако все эти соображения никак не отразились на лице хозяина: оно оставалось неподвижным, словно портрет, — довольно полное и лоснящееся, с густой рыжевато-бородкой и небольшими зоркими глазами.

— Что угодно синьорам? — громко сказал он.

— Прежде всего бутылку доброго вина, — сказал Ренцо, — а потом чего-нибудь закусить.

С этими словами он плюхнулся на скамейку с самого края стола и громко крикнул, словно говоря: «Хорошо посидеть, когда так долго пришлось быть на ногах и все в хлопотах». Но вдруг Ренцо вспомнилась скамья и стол, за которыми он в последний раз сидел с Люцией и Аньезе, — и он тяжело вздохнул. Тряхнув головой, словно стараясь отогнать эти печальные мысли, он увидел хозяина, несшего вино. Провожатый уселся напротив Ренцо, который тут же налил ему вина, говоря:

— Промочите глотку.

Наполнив свой стакан, Ренцо выпил его залпом.

— А что вы дадите мне поесть? — обратился он к хозяину.

— Есть у меня тушеное мясо, угодно вам? — отвечал тот.

— Отлично, давайте сюда тушеное мясо.

— Сию минуту, — сказал хозяин и, подозревая слугу, распорядился: — Накройте для этого гостя, — а сам направился к очагу. — Только вот что, — добавил он, обращаясь к Ренцо, — хлеба у меня нынешний день нет.

— Ну, — громко рассмеялся Ренцо, — о хлебе позаботилось само провидение.

И, вынув третий, последний из хлебов, подобранных им у подножья креста Сан-Диониджи, он поднял его вверх, со словами:

— Вот Божий хлеб!

Многие повернулись, услышав это восклицание, а один, увидя высоко поднятый трофей, крикнул: «Да здравствует дешевый хлеб!»

— Дешевый, — сказал Ренцо, — *gratis et amore*¹.

— Тем лучше!

— Но мне не хочется, чтобы синьоры подумали обо мне плохо, — тут же прибавил Ренцо. — Не то чтобы я его, как говорится, стянул. Он валялся на земле, и попадись мне его хозяин, я готов заплатить.

— Молодец, молодец! — еще сильнее загоготали вокруг: никому и в голову не приходило принять эти слова всерьез.

— Они, может быть, думают, что я шучу? Но это на самом деле так, — сказал Ренцо своему провожатому и, повертев хлеб в руке, добавил: — Видите, во что его превратили — в лепешку: так ведь и народу же было! Если в эту заваруху попали такие, у кого кости понежнее, так им, надо полагать, сильно досталось. — И, откусив раза три-четыре, он быстро запил хлеб вторым стаканом вина.

— Хлеб этот один что-то не лезет в глотку. Никогда еще у меня не было так сухо во рту. Много кричать пришлось.

— Приготовьте этому молодому человеку хорошую постель, — сказал провожатый, — он собирается здесь переночевать.

— Вы хотите здесь заночевать? — спросил у Ренцо хозяин, подходя к столу.

— Разумеется, — отвечал тот, — постель без всяких затей; были бы выстираны простыни, потому что хоть я и бедный малый, но привык к чистоте.

— Ну об этом уж не беспокойтесь! — сказал хозяин и пошел к стойке в углу кухни. Он вернулся с чернильницей и клочком белой бумаги в одной руке, с пером — в другой.

— Что это значит? — воскликнул Ренцо, проглатывая кусок

¹ Бесплатно и полюбовно (лат.).

тушеного мяса, принесенного слугой, и затем, изумленно улыбаясь, добавил: — Это что же, свежевystиранная простыня?

Хозяин молча поставил на стол чернильницу, разложил бумагу и, опершись на стол правым локтем, с пером в руке, поднял глаза на Ренцо:

— Будьте добры сказать мне ваше имя, фамилию, откуда вы родом.

— Что такое? — сказал Ренцо. — Какое отношение имеет все это к постели?

— Я выполняю свою обязанность, — отвечал хозяин, глядя в лицо провожатому, — мы должны давать сведения о каждом новом постояльце: *имя и фамилия, откуда родом, по какому делу прибыл, имеет ли при себе оружие... как долго собирается пробыть в городе...* Так гласит указ.

Прежде чем ответить, Ренцо опорожнил стакан: это был уже третий. А дальше, боюсь, нам их и не сосчитать. Затем он сказал:

— Ага! У вас указ. А я, может быть, хороший законник и прекрасно разбираюсь в указах и что к чему.

— Я всерьез говорю, — продолжал хозяин, все время поглядывая на молчаливого спутника Ренцо, и снова пошел к стойке. Он вынул из конторки большой лист — полный текст указа, — и разложил его перед Ренцо.

— А, так вот он! — воскликнул последний, подняв наполненный стакан и опорожнив его залпом, пальцем показывая на лежащий перед ним указ. — Вот он, этот великолепный лист из требника. Я весьма рад снова видеть его. Мне этот герб знаком; я знаю, что означает это лицо еретика с веревкой на шее (в те времена в заголовке указов помещался герб губернатора, а в гербе дона Гонсало Фернандеса ди Кордова отчетливо выделялся мавританский царь, привязанный цепью за шею). Это лицо говорит: «Приказывает, кто может, и повинуется, кто хочет». Когда это лицо отправит на каторгу синьора дона... ну, ладно, я уж знаю кого... и как говорится в другом листе из требника, под стать этому, — когда он сделает так, чтобы честный малый мог жениться на честной девушке, которая согласна выйти за него, тогда я скажу свое имя этому лицу и даже поцелую его в придачу. У меня могут быть важные соображения не называть своего имени. Ишь чего захотели! Ну, а если какой-нибудь негодяй, у которого в распоряжении целая шайка таких же негодяев, — потому что, будь он один... — тут он закончил свою фразу выразительным жестом, — если бы этот негодяй захотел узнать, где я, чтобы сделать мне какую-нибудь гадость, — я спрашиваю, пошевелило бы это лицо пальцем, чтобы помочь мне? Я, видите ли, должен дать сведения о себе! Вот так новость! Допустим, я пришел в Милан исповедоваться; и я желаю, чтобы меня исповедал монах капуцин, если уж на то пошло, а не хозяин оsterии.

Хозяин молчал и не спускал глаз с провожатого, который решительно никак себя не проявлял. Ренцо — с сожалением приходится отметить это — опрокинул еще стакан и продолжал:

— Я тебе приведу такое основание, дорогой мой хозяин, которое тебя убедит. Если указы, говорящие разумно, на пользу добрых христиан, не имеют силы, тем паче не должны иметь силы те, которые говорят глупости. Стало быть, брось ты все эти происки и принеси-ка вместо этого еще бутылочку, потому что эта треснула. — С этими словами он легонько постучал по ней костяшками пальцев и прибавил: — Слышишь, хозяин, ты слышишь, как она дребезжит?

И на этот раз Ренцо мало-помалу привлек к себе внимание окружающих, и опять аудитория одобрила его.

— Что же мне делать? — сказал хозяин, глядя на незнакомца, который для него вовсе им и не был.

— Довольно, чего там! — закричали многие из компании. — Парень прав, все это лишь притеснения, ловушки, волокита, — нынче закон другой, новый закон.

Среди этих криков незнакомец, поглядев на хозяина с упреком за слишком откровенно затеянный допрос, сказал:

— Дайте ему высказаться, не устраивайте скандала.

— Я исполнил свой долг, — сказал хозяин вслух, и про себя: «Ко мне теперь не придерешься». Потом он забрал бумагу, перо, чернильницу, указ и пустую бутылку, чтобы передать ее слуге.

— Принеси-ка того же винца, — сказал Ренцо, — я его нахожу вполне приличным, мы его и в постель уложим вместе с первым, и не станем спрашивать имя, фамилию, и какого происхождения, да по каким делам, да надолго ли сюда...

— Того же самого, — приказал хозяин слуге, отдавая ему бутылку, и снова уселся под колпаком очага. «Ну, как же не заяц! — думал он, снова выводя узоры в золе. — И в какие руки попал! Осел! Коли хочешь топиться, так топись! Но хозяину «Полной луны» незачем расплачиваться за твои глупости».

Ренцо поблагодарил провожатого и всех остальных, принявших его сторону.

— Дорогие друзья, — сказал он, — теперь я действительно вижу, что честные люди протягивают друг другу руки и поддерживают своих.

Затем, подняв правую руку высоко над столом и снова приняв позу проповедника, он воскликнул:

— Обратите внимание, что все, правящие миром, всюду суются с бумагой, пером и чернильницей. Всегда эти проклятые перья в руках! Великая страсть у этих господ действовать пером!

— Эй, добрый человек из деревни! Желаете вы знать, что

за причина? — сказал, смеясь, один из игроков, который как раз выигрывал.

— Что же! слушаем... — отозвался Ренцо.

— А причина вот такая, — отвечал тот, — эти господа как раз те самые, что кушают гусей. А ведь перья-то остаются, и столько этих самых перьев, что и девать некуда.

Все захохотали, кроме партнера, который проигрывал.

— Ишь ты, — сказал Ренцо, — да он поэт! Вижу, что и здесь есть поэты; они теперь рождаются повсюду. Я тоже не лишен этой жилки и порой говорю забавные вещи... но только, когда дела идут хорошо.

Чтобы понять эту смешную шутку Ренцо, надо знать, что у миланского простонародья, а еще того больше в деревне, слово «поэт» вовсе не вызывает, как у всех просвещенных людей, представление о высшем даре, об обитателе Пинда, о питомце муз; у них поэт — это странный, чудаковатый человек, остро-слов, который в речах и поступках скорее забавен, чем рассудителен. Так, в простонародье этот горе-поэт с большой вольностью обращается со словами и подчас обозначает ими весьма отдаленные от подлинного их смысла предметы. Ибо, спрашиваю я вас, что же общего между поэтом и чудаком?

— А самую настоящую причину скажу вам я, — прибавил Ренцо. — Дело, видите ли, в том, что перо-то у них в руках, и потому слова, которые они скажут, вылетают и исчезают, а к словам, которые скажет бедный малый, внимательно прислушиваются, быстро улавливают этим самым пером и закрепляют на бумаге, с тем чтобы потом в свое время и в надлежащем месте их использовать. Есть у них про запас еще и другая хитрость: когда они хотят запугать бедного малого, который образования не получил, но у которого есть немножко вот тут... ну, вы понимаете, о чем я говорю... — и здесь он, для того чтобы его поняли, многозначительно постучал себя по лбу указательным пальцем, — так вот, когда они замечают, что человек начинает разбираться в путанице, они тут же подпускают какое-нибудь словцо по-латыни, чтобы сбить его с толку и чтобы он сразу потерял нить. Хватит! Пора бы уж выкинуть латынь из обихода! Нынче пока что все сделано на языке простонародья, без бумаги, пера и чернил, а завтра, коли народ сумеет управиться, будет сделано и того больше, — и никого пальцем не тронут. И все будет по закону.

Тем временем некоторые из компании снова принялись за игру, кое-кто занялся едой, остальные кричали; люди уходили и приходили. Хозяин внимательно следил за всеми. Впрочем, все это не имеет никакого отношения к нашей истории. А незнакомый провожатый все еще не собирался уходить; казалось, у него не было здесь никаких дел, однако он не хотел уйти, не поболтав еще немного с Ренцо с глазу на глаз. Обратившись к юноше, он возобновил разговор о хлебе, и после

нескольких фраз вроде тех, что с некоторых пор были у всех на устах, выдвинул свое собственное предложение:

— Вот если бы я распоряжался, я бы нашел способ, как устроить дела по-хорошему.

— А что вы бы сделали? — спросил Ренцо, впиваясь в него глазами, блестящими больше обычного, и даже разинув рот, чтобы слушать повнимательнее.

— Что бы я сделал? — отвечал тот. — Я бы сделал так, чтобы хлеба хватило всем — и бедным и богатым.

— Ага! Вот это так! — сказал Ренцо.

— Послушайте. Я бы вот как сделал: назначил бы правильную мету, всем по карману. А потом стал бы распределять хлеб по числу едоков. А то ведь есть такие прожорливые и жадные, что все готовы забрать себе, — так они все и расхватывают. А бедным-то людям хлеба и не хватает. Стало быть, хлеб надо распределять. Как же это сделать? А вот как: каждой семье дать карточку, прописать там число едоков, с ней и ходить к пекарю за хлебом. Мне, скажем, они должны выдать карточку такую: Амброджо Фузелла, по профессии шпажный мастер, с женой и четырьмя детьми, — все в возрасте, когда уже едят хлеб (это очень важно!), выдавать ему столько-то хлеба, платить столько-то соли. Но чтобы все было по справедливости, — всегда по числу едоков. Вам, скажем, они должны были бы выдать карточку такую... Как вас по имени-то?

— Лоренцо Трамальино, — ответил Ренцо; увлеченный проектом, он не обратил внимания на то, что он весь был построен как раз на бумаге, перо и чернилах и что для его осуществления надо прежде всего всех переписать.

— Отлично, — сказал незнакомец, — а есть у вас жена и дети?

— Да я было собирался... детей нет... и рано еще, а вот жена... конечно, если бы все в мире шло как полагается...

— А, так вы одинокий! Стало быть, потерпите, паек вам поменьше.

— Это справедливо; но если скоро, как я надеюсь... с Божьей помощью... Ну, да ладно. А если у меня будет жена?

— Тогда карточка обменивается, а паек увеличивается. Как я уже сказал вам, всегда — по числу едоков, — произнес незнакомец, вставая.

— Вот это было бы славно, — воскликнул Ренцо и, стуча кулаком по столу, продолжал: — А почему же они не издают такого закона?

— А кто их знает? Ну, пока пожелаю вам покойной ночи, я пойду. Поди жена и дети давно уж меня заждались.

— Еще глоток, еще глоточек, — закричал Ренцо, поспешно наполняя стакан сотрапезника. Проворно вскочив, он уцепился за полу его куртки и сильно потянул вниз, стараясь усадить на место. — Еще глоточек, не обижайте меня.

Но приятель, рванувшись, высвободился и, предоставив Ренцо изливаться в сбивчивых просьбах и попреках, повторив: «Покойной ночи», вышел из остерии. Незнакомец был уже на улице, а Ренцо все еще продолжал упрашивать его. Потом повалился на скамейку, устался на стакан, только что им налитый, и, увидя проходившего мимо слугу, сделал ему знак остановиться, словно желая сказать ему что-то очень важное. Он указал на стакан и медленным, торжественным тоном, как-то по-особенному отчеканивая слова, сказал:

— Я налил его для этого хорошего человека, — видите, как настоящий друг, до самых краев, — но он не захотел его выпить. Станные у людей бывают иной раз фантазии! Я тут ни при чем и сделал это, можно сказать, от всей души. Ну, раз дело сделано, не пропадать же добру, — с этими словами он взял стакан и одним духом опрокинул его.

— Я вас понял, — сказал, уходя, слуга.

— А, и вы поняли, — подхватил Ренцо, — значит, все правильно. Раз доводы основательны...

Далше потребуется вся наша любовь к истине, чтобы заставить правдиво продолжать рассказ, делающий так мало чести такому важному, можно сказать, даже главному действующему лицу нашей истории. Однако то же самое беспристрастие вынуждает нас вместе с тем предупредить читателя, что подобный случай произошел с нашим героем в первый раз. Отсутствие привычки к кутежам и было в значительной мере причиной того, что первый же из них явился для Ренцо столь роковым. Немногие стаканы, которые он в самом начале опрокинул, вопреки своему обыкновению, один за другим, — отчасти вследствие мучившей его жажды, отчасти из-за некоторого душевного волнения, заставившего его потерять всякое чувство меры, — разом ударили ему в голову. А настоящий любитель выпить почувствовал бы при этом лишь некоторое утоление жажды. По этому поводу наш аноним делает некое замечание, которое мы повторим, — и «имеющий уши да слышит». «Хорошие и умеренные привычки, — говорит он, — имеют, между прочим, и то преимущество, что чем прочнее они укоренились в человеке, тем скорее он, немного отступив от них, спохватывается и старается как можно скорее вернуться к ним; и даже ошибка служит ему лишь уроком».

Как бы то ни было, когда опьянение ударило в голову Ренцо, вино и слова так и полились, вино — в него, а слова — из него, без всякой меры и толка, так что к тому времени, когда мы его оставили, он уже ничего не соображал. Юношу разбирало желание поговорить, а в слушателях или по крайней мере в людях, которых можно было принять за таковых, недостатка не было. Какое-то время слова выходили из него сами собой и размещались в положенном порядке. Но вот мало-помалу необходимость заканчивать фразы стала для него

дьявольски трудной. Мысль, представлявшаяся его сознанию живой и определенной, вдруг затуманилась и стала ускользать, а слова, не сразу приходявшие на ум, оказывались не теми, что нужно. В такие трудные минуты он, в силу одного из тех ложных инстинктов, которые в подобных случаях окончательно губят людей, прибежал к злосчастной бутылке. Но какую помощь могла ему в этих обстоятельствах оказать бутылка, понимает всякий, у кого есть хоть капля здравого смысла.

Мы приведем лишь небольшую часть того, что он сказал в этот злополучный вечер. Гораздо более значительное количество слов мы опускаем, слишком уж они резали бы ухо, будучи лишены не только смысла, но даже и видимости его, — условия, необходимого для всякой напечатанной книги.

— Ах, хозяин, хозяин! — говорил Ренцо, провожая глазами хозяина, когда тот ходил вокруг стола или усаживался под колпаком очага. Порой юноша искал его глазами там, где того вовсе и не было, и все говорил и говорил, не обращая внимания на шумевшую компанию. — Хозяин, ты, хозяин! Не могу я стерпеть, что ты испытывал имя, фамилию, занятие... Да еще у такого парня, как я! Ты поступил нехорошо. Что за удовольствие, какой смысл, какая охота... прописать на бумаге бедного малого? Правильно я говорю, синьоры? Ведь хозяева тоже должны держаться хороших ребят... Послушай-ка, послушай... хозяин... я тебе приведу сравнение... так, для примера... Что? Они смеются? Я, конечно, немножко навеселе... но доводы мои правильные. Ты мне скажи только, от кого и от чего твое дело процветает? От бедных ребят, а? Правильно я говорю? Ты только послушай, разве эти синьоры, те, что марают бумагу, хоть когда-нибудь заходят к тебе пропустить стаканчик?

— Всё народ, пьющий воду, — сказал сосед Ренцо.

— Они хотят быть трезвыми, — прибавил другой, — чтобы можно было врать покладнее.

— Ага! — воскликнул Ренцо. — Вот теперь заговорил и поэт! Послушайте же, что я скажу. Так вот, хозяин, отвечай мне: что же, Феррер, — а он, пожалуй, лучше других, — заходил он когда-нибудь сюда выпить, оставить здесь деньжонки? Или вот этот пес и злодей, дон... Молчу, потому что я в своем уме и даже очень... Феррер и падре Кр... преотлично знаю, оба благородные люди; но благородных людей мало. Старые хуже молодых, а молодые... еще хуже старых. Уж и доволен же я, что обошлось без крови. Боже сохрани, пусть палач занимается этим. Хлеб, — вот это — да! Пинков я получил немало... но я в долгу не остался. Дорогу! Изобилие! Да здравствует! И все-таки даже Феррер... нет-нет да и латинское словечко ввернет... сиэс бараос траполорум... Проклятая привычка! Да здравствует! Правосудие! Хлеба! Вот это настоящие

слова!.. Они были бы кстати там, эти господа... когда раздался этот проклятый... дон-дон-дон и потом опять и опять... дон-дон-дон. Вот тогда бы не пришлось убежать, нет! Задержать бы его там, этого синьора курато. Уж я знаю, о ком говорю!

При этих словах он опустил голову и некоторое время был поглощен какой-то мыслью; потом тяжело вздохнул и поднял лицо: глаза его блеснули и были влажны. В них горела такая дикая злоба, что, пожалуй, жутко стало бы при взгляде на него тому, кто был причиной этого. Но окружавшие юношу грубые люди, которых страстное и бессвязное красноречие Ренцо уже начинало забавлять, стали еще больше потешаться над его удрученным видом. Ближайшие соседи говорили другим: «Глядите-ка!» И все поворачивались к нему, так что он сделался мишенью всеобщих насмешек. Нельзя сказать, чтобы все были в твердом рассудке и в своем обычном состоянии; однако, по правде говоря, ни один из них не вышел из него до такой степени, как бедняга Ренцо; да к тому же он был из деревни. Вот и взялись за него наперебой, — кто стал раздражать его грубыми и глупыми вопросами, кто, наоборот, издевательской вежливостью. Ренцо то делал вид, что обижается, то обращал все в шутку, оставляя без внимания эти выпады, говорил совсем о другом, спрашивал и сам же отвечал что-то, и все это сбивчиво и не к месту. К счастью, в этом полубреду он все-таки сохранил какую-то подсознательную осторожность и не называл имен, так что не произнес даже того, которое должно было особенно глубоко засесть у него в памяти. Было бы крайне огорчительно, если бы это имя, к которому и мы чувствуем некоторую любовь и уважение, стали трепать в этой остерии и оно сделалось игрушкой для злых языков.

Глава пятнадцатая

Видя, что игра зашла слишком далеко, хозяин присоседился к Ренцо и, вежливо попросив остальных оставить юношу в покое, стал трясти его за руку, стараясь внушить ему, что пора идти спать. Но Ренцо все возвращался к вопросу об имени и фамилии, к указам, к хорошим ребятам. Однако слова «постель» и «спать», повторяемые над самым ухом, в конце концов дошли до его сознания, заставив более определенно почувствовать необходимость того, что они означали, и на мгновение наступило просветление. Небольшая частица разума, вернувшаяся к нему, заставила его до некоторой степени понять, что значительная его доля улетучилась, подобно тому, как последний горящий факел иллюминации дает возможность увидеть остальные, уже погасшие.

Юноша расхрабрился, вытянул руки, ухватился за стол, попытался подняться раз, другой, вздохнул, покачнулся и на

третий раз, поддерживаемый хозяином, стал на ноги. Хозяин, все время направляя Ренцо, помог ему пробраться между столом и скамьей и, взяв одной рукой свечу, другой с грехом пополам не то повел, не то потащил его к лестнице. Тут, в ответ на шумные одобрения тех, кто гоготал ему вслед, Ренцо быстро повернулся, и, не будь рядом поддержки — ибо хозяин очень ловко сумел подхватить его под руку, — он, вместо того чтобы повернуться, просто-напросто полетел бы кувырком. Итак, он все же повернулся и свободной рукой несколько раз провел по воздуху, вычерчивая в знак приветствия какие-то магические знаки.

— Идем спать, спать! — твердил тащивший его хозяин; он заставил Ренцо войти в дверь и с еще большим трудом дотащил его до верхней площадки маленькой лестницы, а потом и до отведенной ему комнаты. При виде ожидавшей его постели Ренцо повеселел: он дружелюбно поглядел на хозяина сузившимися глазками, которые то вспыхивали, то угасали, точно пара светлячков. Он попытался сохранить равновесие и протянул руку к лицу хозяина, чтобы потрепать его по подбородку в знак дружбы и благодарности, но это ему не удалось. Зато удалось сказать:

— Молодец хозяин! Теперь я вижу, что ты благородный человек. Доброе дело дать постель хорошему парню, а вот эта штука насчет имени и фамилии, скажу я тебе — неблагородно. Хорошо еще, что я человек тоже не без хитрости...

Хозяин и не подозревал, что Ренцо еще способен что-то соображать, и так как он, имея большой опыт, знал, что у людей в таком состоянии настроение быстро меняется, то он решил воспользоваться этим временным просветлением и сделал еще одну попытку.

— Сынок, дорогой, — сказал он с лаской в голосе и в обращении, — ведь я же сделал это вовсе не из желания побеспокоить вас или разведать про ваши дела. Что поделаешь? Закон! Ведь и нам приходится слушаться, иначе нас же первых притянут к ответу. Лучше уж сделать по-ихнему... Да и о чем же в конце концов речь? Подумаешь, великое дело — сказать два слова! Не для них, а для того, чтобы сделать мне удовольствие, — ну-ка, с глазу на глаз, между собой справим все наши дела: скажите мне ваше имя, а потом — потом идите себе спать со спокойным сердцем.

— А, негодяй! — закричал Ренцо. — Мошенник! Ты опять пристаешь ко мне с этим мерзким требованием — имя, фамилия, занятие?

— Тише, дурень ты этакий, иди спать, — попробовал урезонить его хозяин.

Но Ренцо продолжал еще громче:

— Все ясно — ты с ними заодно. Погоди же, погоди, я тебе покажу!

И, повернувшись в сторону лестницы, заорал еще громче:
— Друзья, хозяин тоже из...

— Да я же пошутил, — закричал хозяин прямо в лицо Ренцо, толкая его к кровати, — пошутил. Разве ты не понимаешь, что я сказал это в шутку?

— А, в шутку! Вот теперь ты заговорил правильно. Коли ты сказал в шутку... Действительно, это все шутки.

И он ничком упал на постель.

— Ну, раздевайтесь-ка, да поживее! — сказал хозяин, присоединяя к совету и помощь, в которой действительно была необходимость.

Когда Ренцо стащил с себя куртку (а это только и требовалось), хозяин быстро схватил ее и стал шарить по карманам, нет ли там денег. Обнаружив их и рассудив, что его гостю завтра предстоит, чего доброго, сводить счета не с ним, а со всем с другими людьми, и что наличность эта, вероятно, попадет в такие руки, откуда хозяину остерии едва ли удастся ее выволить, он решил попробовать уладить хоть это дело.

— Вы ведь хороший малый и благородный человек, не правда ли? — сказал он.

— Хороший малый и благородный человек, — отвечал Ренцо.

Пальцы его тщетно боролись с пуговицами одежды, которую он никак не мог снять.

— Так вот что, — сказал на это хозяин, — вы бы теперь, не мешкая, и оплатили свой небольшой счетец, а то мне завтра придется отлучиться из дому по делам...

— Правильно, — сказал Ренцо, — я хоть и с хитрецей, но человек благородный... Только вот деньги... где же их теперь искать?

— Да вот они, — сказал хозяин и, пустив в ход весь свой опыт, терпенье и ловкость, добился-таки своего — подсчитал все и заставил Ренцо уплатить.

— Ты мне помоги, а то я никак не могу раздеться, — сказал Ренцо, — я, видишь, тоже понимаю, что мне чертовски хочется спать.

Хозяин оказал юноше просимую помощь и, кроме того, укрыл его одеялом, грубовато пожелав спокойной ночи; но тот уже храпел вовсю. Затем, движимый своеобразным любопытством, которое порой заставляет нас рассматривать неприятный нам предмет так же внимательно, как предмет любимый, и которое, вероятно, есть не что иное, как желание узнать, что же так сильно волнует нас, он на мгновение задержался и стал разглядывать докучливого гостя, подняв свечу и вытянув руку так, чтобы свет падал прямо на лицо Ренцо — примерно в позе, в какой обычно живописуют Психею, урядкой созерцающую черты неведомого супруга. «Осел! — мысленно обратился он к спящему бедняге. — Сам в петлю

лезешь! Завтра, пожалуй, ты мне расскажешь, как все это тебе понравится. Не учи! Шатаются по свету, не зная, что к чему, только впутывая в истории и себя и других».

Подумав это и пробурчав что-то, он убрал свечу, вышел из комнаты и запер дверь на ключ. На лестничной площадке он окликнул хозяйку, сказал ей, чтобы она оставила ребят под присмотром девочки-служанки, а сама шла на кухню сменить его.

— Мне надо отлучиться по милости одного пришельца. Свалился, дьявол его знает зачем, на мою бедную голову, — прибавил он и рассказал ей вкратце про досадный случай. И заключил: — В такой проклятуший день нужен глаз да глаз, а пуще того — благоразумие. У нас там внизу целая шайка всякого сброда, все они перепились, да и вообще-то любят непристойности — чего только не наговорят! Достаточно одному из них сгоряча...

— Так ведь и я не ребенок, знаю, что мне делать. До сих пор, кажется, нельзя было сказать, чтобы...

— Ну, ладно, ладно! Да смотри, чтобы платили. А вся их болтовня про заведующего продовольствием, про губернатора да про Феррера, декурионов, кавалеров, Испанию, Францию и тому подобные глупости, — делай вид, что ничего не слышишь! Стоит только начать возражать, тебе тут же придется плохо, а станешь поддакивать, плохо придется потом. Сама знаешь, что иной раз те, кто больше всего кричит... Ну, хватит! Как только начнутся эти речи, — поворачивай голову и говори: «Иду!» — словно тебя зовут с другого конца комнаты; я же постараюсь вернуться как можно скорее.

Закончив наставления, он спустился вместе с женой в кухню, попутно осмотрев все вокруг, — не случилось ли чего нового, — снял с колышка шляпу и плащ, взял в углу палку, многозначительно взглянул на хозяйку, подтверждая данные уже распоряжения, и вышел. Но при этом он опять подхватил нить рассуждений, начатую у постели бедняги Ренцо, и развивал ее, идя по улице.

«Упрямый горец! — Ибо как ни старался Ренцо скрыть свое происхождение, оно невольно обнаруживалось во всем его виде, в произношении, в поступках. — Такой денечек, как сегодня... при моей изворотливости и смекалке все обошлось бы благополучно; и нужно же было явиться тебе к концу дня и сразу испортить мне все дело. Мало разве остерий в Милане, что тебя принесло именно ко мне? Да будь ты один, я бы на этот вечер, да и на все закрыл бы глаза, а утречком научил бы тебя уму-разуму. Так нет же, синьор! Ты заявился в компании, да к тому же еще для надежности в компании сыщика».

На каждом шагу хозяину встречались празднующиеся — то парами, то группами, которые шептались между собой. В разгар своего мысленного обращения к Ренцо хозяин остерий

увидел приближавшийся патруль. Посторонившись, чтобы дать солдатам дорогу, он посмотрел на них краешком глаза и продолжал про себя: «Вот они — розги для дураков! А ты, осел ты этакий, увидав, как кучка людей ходит и галдит, тут же вбил себе в голову, что все в мире должно измениться! И на этом прекрасном основании ты и себя погубил и меня хотел загубить, а это уж совсем несправедливо. Я ведь все делал, чтобы спасти тебя, а ты, скотина, в знак благодарности чуть было не перевернул мне всю остерию вверх дном. Теперь тебе и придется выпутываться из беды самому, а уж о себе я сам позабочусь. Как будто я из праздного любопытства хотел узнать твое имя! Какое мне дело до того, зовешься ли ты Таддео или Бартоломео? Подумаешь, охота мне брать в руки перо! Так ведь не вы же одни хотите, чтобы все было по-вашему. Я тоже знаю, что бывают указы, ничего не стоящие — ишь, какая новость, стоило горцу приходиться для этого сюда и сообщать ее нам! Но ты не знаешь того, что указы имеют в виду и хозяев. Туда же, лезешь шататься по свету и разглаговльствовать, а того не знаешь, что коли хочешь действовать по-своему и плевать на указы, перво-наперво следует говорить о них с большей оглядкой. А для бедняги-хозяина, который думал бы так же, как ты, и не спрашивал имени у тех, кто оказывает ему честь своим посещением, знаешь ли ты, скотина, чем это пахнет? *«Под штрафом в триста скуди кому бы то ни было из означенных хозяев, трактирщиков и т. п., как выше указано...»* Триста скуди! Их ведь надо заработать, а тут — отдай их ни за что, ни про что; *две трети из них отчисляются в королевскую казну, а треть — обвинителю или доносчику*, — хорош гусь! *А в случае несостоятельности — пять лет каторги и сверх того денежное или телесное наказание, по усмотрению его превосходительства»*. Покорнейше вас благодарим!»

С этими словами хозяин переступил порог здания полиции.

Здесь, как и в других учреждениях, кипела работа: повсюду отдавались приказания, которые казались наиболее целесообразными, чтобы предотвратить события завтрашнего дня и устранить всякую возможность и повод для подстрекательства к новым беспорядкам со стороны лиц, жаждущих этого, и сосредоточить силу в руках тех, кому полагается охранять порядок. Увеличен был отряд солдат у дома заведующего продовольствием: улица с двух сторон была забаррикадирована бревнами, заставлена телегами. Всем пекарям было приказано бесперебойно печь хлеб; в окрестные селения разослали нарочных с приказом доставлять зерно в город; к отдельным пекарням были прикомандированы знатные граждане, которые отправились туда с раннего утра следить за распределением хлеба и своим присутствием и уговорами сдерживать беспокорных. Но для того чтобы, как говорится, с одной стороны ударить по обручу, а с другой — по бочке, придать большую

силу увещаниям, задумано было для острастки поймать нескольких мятежников. Это дело было возложено, главным образом, на капитана полиции. И всякий без труда может себе представить, какие чувства питал он к мятежу и мятежникам, если один из органов его метафизического глубокомыслия красовался в повязке с целебной примочкой. Его ищейки уже с самого начала волнений были за работой, и мнимый Амброджо Фузелла был на самом деле, как сказал хозяин остерии, переодетым сыщиком, как раз и посланным в обход для того, чтобы застигнуть на месте преступления кого-нибудь, чью личность можно было бы легко установить, запомнить и проследить. А потом, когда наступит ночная тишина, либо же на другой день — схватить замеченное лицо.

Услыхав несколько слов из проповеди Ренцо, сыщик сразу остановил на нем свой выбор: юноша показался ему самым подходящим человеком для роли обвиняемого, именно таким, какой ему и был нужен. Узнав к тому же, что он человек прищипанный, сыщик попытался было нанести мастерский удар, доставив его прямо тепленьким в тюрьму, как в самую надежную гостиницу города, но, как вы видели, это ему не удалось. Однако он смог сообщить в полицию точные сведения об имени, фамилии, происхождении подозрительного лица, помимо сотни других, предположительных сведений. Так что, когда хозяин остерии явился в полицию сообщить все сведения о Ренцо, там уже знали больше него.

Он вошел в знакомую комнату и дал показание о том, как ему пришлось поместить у себя прищельца, который ни за что не хотел назвать себя.

— Вы исполнили свой долг, осведомив полицию, — сказал полицейский уполномоченный, кладя на место перо, — но нам это уже известно.

«Вот тебе и тайна, — подумал хозяин, — большая нужна ловкость, чтобы так все пронюхать».

— Мы знаем также, — продолжал уполномоченный, — и его почтенное имя.

«Черт возьми, даже и имя! И как это они ухитрились?» — подумал на сей раз хозяин.

— Но вы, — снова заговорил тот, сделав серьезное лицо, — вы не совсем с нами откровенны, рассказывайте все начистоту.

— А что ж я еще должен сказать?

— А вот, видите ли, нам достоверно известно, что он принес к вам в остерию большое количество краденого хлеба, притом украденного с применением насилия, путем грабежа и бунта.

— Приходит ко мне человек с хлебом в кармане, — почему мне знать, где он его взял? К тому же я прямо как на смертном одре могу сказать, что видел у него всего-навсего лишь одну булку.

— Ну, конечно, всегда выгораживать, защищать! Послу-

шать вас, — все они хорошие люди. Чем же вы докажете, что этот хлеб приобретен был честным путем?

— А что мне доказывать-то? Я в это дело не вхожу, я ведь всего лишь хозяин остерии.

— Однако вы не посмеете отрицать того, что этот ваш завсегдатай имел дерзость высказываться против указов и позволил себе мерзкие, непристойные выходки по отношению к гербу его превосходительства?

— Помилосердствуйте, ваша милость, как он может быть моим завсегдатаем, когда я и вижу-то его в первый раз? Сам дьявол, извините за выражение, прислал его ко мне в дом, и знай я его хорошо, посудите сами, ваша милость, — зачем было бы мне тогда спрашивать его имя?

— И однако в вашей остерии, в вашем присутствии имело место подстрекательство, раздавались призывы к мятежу, стоял ропот, крики, шум.

— Как же вы хотите, ваша милость, чтобы я уследил за всяким вздором, какой может крикнуть любой из этих горлопанов, которые говорят все разом? Мне ведь приходится блюсти свои интересы, я человек бедный. К тому же ваша милость хорошо знает, кто не сдержан на язык, тот обычно и скор на руку, тем более что ведь их целая шайка, и...

— Да, да... пускай себе кричат и делают, что хотят; завтра, завтра посмотрим, выйдет ли у них дурь из головы. Вы как полагаете?

— Никак я не полагаю!

— Вы думаете, чернь взяла верх в Милане?

— Вот именно.

— А вот увидите!

— Я отлично понимаю: король всегда будет королем, а кто поплатится, туда тому и дорога. Бедному же отцу семейства, конечно, нет никакой охоты расплачиваться за других. Сила на вашей стороне, вам и книги в руки.

— У вас в доме еще много народа?

— Порядочно.

— А что делает этот ваш завсегдатай? Продолжает горланить, подстрекать народ, подготавливать бесчинства на завтрашний день?

— Ваша милость имеет в виду этого незнакомца? Он улегся спать.

— Итак, у вас много народу?... Прекрасно. Смотрите, чтобы он не улизнул.

«Что же это, мне, выходит, изображать полицейского?» — подумал про себя хозяин, однако не сказал ни слова.

— Идите-ка себе домой, да будьте благоразумны, — прибавил уполномоченный.

— Я всегда был благоразумен. Ваша милость сами могут сказать, доставлял ли я когда-либо хлопоты полиции.

— И, пожалуйста, не воображайте, что полиция теперь бессильна.

— Да Боже избави! Мое дело сторона. Я — хозяин остерии, только и всего.

— Старая песня! Вам нечего больше сказать.

— А что же мне еще говорить? Правда-то ведь одна.

— Ну, хватит! Пока останемся при вашем показании. Если потребуется, вы нам подробнее расскажете о том, что нас интересует.

— Что же мне еще-то рассказывать? Я больше ничего не знаю. Моей головы едва хватает, чтобы со своими делами справляться.

— Смотрите в оба, чтобы он не ушел.

— Надеюсь, глубокоуважаемый синьор капитан учтет, что я не замедлил исполнить свой долг. Целую руки вашей милости.

На рассвете, когда бедняга Ренцо, прохрапев уже около семи часов, спал еще крепким сном, два сильных встряхивания за руки и раздавшийся совсем рядом оклик: «Лоренцо Трамальино!» — заставили его проснуться. Он очнулся, потянулся, с трудом открыл глаза и увидел в ногах кровати человека во всем черном, а по обе стороны изголовья двух полицейских. От неожиданности, да еще спросонья и с похмелья из-за вчерашнего вина, про которое вы знаете, он какое-то мгновенье пребывал словно в чад у, полагая, что это сон, да притом сон не совсем приятный, заерзал, чтобы проснуться как следует.

— Так что же, поняли вы, наконец, Лоренцо Трамальино? — сказал человек в черном плаще, тот самый уполномоченный, которого мы видели накануне вечером. — Живей же! Вставайте и следуйте за нами.

— Лоренцо Трамальино! — сказал Ренцо Трамальино. — Что все это значит? Что вам от меня надо? Кто вам сказал мое имя?

— Поменьше болтай да поживей собирайся! — сказал один из полицейских, снова беря его за руку.

— Ого! Это что за насилие? — вскрикнул Ренцо, вырывая руку. — Хозяин, эй, хозяин!

— Заберем его в рубашке? — спросил уполномоченного полицейский.

— Вы слышали? — сказал полицейский, обращаясь к Ренцо. — Так мы и сделаем, если вы сейчас же не встанете и не последуете за нами.

— А зачем? — спросил Ренцо.

— Зачем, это уж вы узнаете у синьора капитана полиции.

— Я? Я честный человек, я ничего не сделал, и удивлен...

— Тем лучше для вас, тем лучше. Вас в два счета отпустят, и вы пойдете себе по своим делам

— Отпустите меня сейчас, — сказал Ренцо, — мне совершенно нечего делать в полиции.

— Ну, будет, пора кончать! — сказал один из полицейских.

— В самом деле, заберем его? — сказал другой.

— Лоренцо Трамальино! — произнес уполномоченный.

— Откуда вы знаете мое имя, ваша милость?

— Исполняйте свой долг, — сказал уполномоченный полицейским, и те сразу взялись за Ренцо, стараясь стащить его с кровати.

— Эй, вы, не трогайте руками честного человека. Я сам сумею одеться.

— Тогда одевайтесь поскорее, — сказал уполномоченный.

— И одеваюсь, — ответил Ренцо и действительно начал собирать одежду, в беспорядке разбросанную по кровати, словно остатки кораблекрушения на берегу. Начав одеваться, он без умолку продолжал говорить: — Я вовсе не желаю идти к капитану полиции, нечего мне там делать. Раз уж меня так незаслуженно оскорбляют, я желаю, чтобы меня отвели к самому Ферреру. Его я знаю, знаю, что он благородный человек и кое-чем мне обязан.

— Конечно, конечно, сынок, мы и отведем вас к Ферреру, — отвечал уполномоченный.

В другое время он от души расхохотался бы, услышав подобное требование, но сейчас ему было не до смеха. Еще по дороге он заметил на улицах какое-то движение. Нелегко было определить, что это — отголоски ли еще не совсем утихшего волнения, или начало нового: отовсюду выползали люди, объединялись, ходили толпами, собирались кучками. И сейчас, не подавая вида, или по крайней мере стараясь не подать его, уполномоченный насторожился, и ему показалось, что гул все растет. Поэтому ему хотелось и отделаться поскорее и вместе с тем увести Ренцо полюбовно, без шума, ибо вступи он с ним в открытую борьбу, он совсем не был уверен, что, очутившись на улице, их окажется трое против одного. Уполномоченный подмигивал полицейским, чтобы они набрались терпения и не раздражали зря парня, а сам пытался уговорить его ласковыми словами.

Между тем Ренцо, неторопливо одеваясь и стараясь припомнить события вчерашнего дня, почти безошибочно догадался, что виной всему были указы и расспросы про имя и фамилию. Но откуда же, черт возьми, этот в черном узнал его имя? И что за дьявольщина случилась в эту ночь, раз полицейские так обнаглели, что пришли наверняка и хотят схватить одного из хороших ребят, что верховодили всем накануне и которые, вероятно, не все же пошли спать, потому что Ренцо тоже услышал все возраставший на улице рев. Взглянув в лицо уполномоченного, он подметил в нем легкое подергивание — признак нерешительности, которую тот тщетно си-

лился скрыть. А потому, с одной стороны, чтобы проверить свои предположения и нащупать почву, а с другой — чтобы выиграть время и, пожалуй, даже попробовать вывернуться, Ренцо заговорил в таком духе:

— Я хорошо вижу, откуда все это пошло, — все из желания узнать мое имя и фамилию. Вчера вечером я, правда, был немножко навеселе; у этих хозяев остерий порой попадают такие предательские вина, а ведь известное дело, что, как говорится, коли вино выпито, то оно и говорит. Но если все дело в этом, я готов теперь же дать вам полное удовлетворение. Да к тому же мое имя вам уже известно. Кой черт сказал вам его?

— Так, так, сынок! — отвечал уполномоченный необыкновенно вкрадчиво. — Я вижу, вы человек разумный, и уж поверьте мне, — а я-то свое дело знаю, — вы куда хитрее других. Это самый лучший способ отделаться и быстро и благополучно: при таком вашем добром расположении вы с двух слов будете отпущены на свободу. Но, видите ли, паренек, у меня ведь руки связаны. Я не могу отпустить вас сейчас же, как мне хотелось бы. Ну, ну, собирайтесь поскорей и ничего не бойтесь. Как только увидят, кто вы... да и я тоже скажу... Вы уж предоставьте мне... Ну, поторапливайтесь же, сынок!

— А! Так вы не можете, я понимаю, — сказал Ренцо и продолжал одеваться, жестами отстраняя всякую попытку полицейских взяться за него и заставить одеться поскорее.

— А мы пройдем по Соборной площади? — спросил он затем уполномоченного.

— Где вам угодно, кратчайшей дорогой, только бы скорее отпустить вас на свободу, — отвечал тот, в глубине души взбешенный невозможностью использовать этот загадочный вопрос Ренцо, который мог послужить поводом для всевозможных расспросов. «Ведь не везет же иному с самого рождения, — думал он. — Вот уж попался в руки молодчик. По всему видно, что ему только и надо, что поразглагольствовать. И если бы хоть маленькая передышка, можно было бы просто так, extra fogtat¹, совсем незаметно, путем простого дружеского разговора, без всякого принуждения, заставить его признаться в чем угодно; это такой человек, которого можно доставить в тюрьму уже обработанным, причем он этого даже и не заметит. И вот этакий-то человек, как нарочно, попадаете мне в такую суматошную минуту! И ведь нет иного выхода, — продолжал он размышлять, прислушиваясь и повертывая голову назад, — и ничего не поделаешь, день-то, чего доброго, будет похуже вчерашнего». Об этом говорил необычный шум, доносившийся с улицы. Уполномоченный не удержался и открыл

¹ Без формальностей (лат.).

окно, чтобы выглянуть наружу. Он увидел сборище горожан, которые на требование патруля разойтись разразились бранью и в конце концов стали расходиться, продолжая ворчать. Тревожным признаком показалось уполномоченному и то, что солдаты были при этом чрезвычайно вежливы. Он закрыл окошко и на минуту оставался в нерешительности, довести ли ему дело до конца, или оставить Ренцо под охраной двух полицейских, а самому бежать к капитану полиции и доложить о происшедшем. «Но ведь мне скажут, — внезапно подумал он, — что я ни на что не годен, что я трус, что я должен исполнять приказания. Мы на балу, — значит, надо танцевать. К черту все это усердие! Проклятое ремесло!»

Ренцо был уже на ногах; телохранители стояли у него по бокам. Уполномоченный кивнул полицейским, чтобы они не слишком подгоняли юношу, а ему сказал:

— Ну, поспеши, сынок, идите поскорее!

Ренцо тоже все слышал и видел, он размышлял. Арестованный уже был совсем одет, за исключением куртки, которую он держал в одной руке, обшаривая другой карманы.

— Эге! — сказал он, весьма выразительно взглянув на уполномоченного — Здесь были денежки и письмо, синьор мой!

— Вы все получите обратно, — сказал уполномоченный, — после выполнения небольших формальностей. Идите же!

— Э, нет, — сказал Ренцо, покачивая головой, — так не пойдет, — я требую вернуть мне мои вещи, синьор! В своих поступках я дам отчет, но я требую свои вещи.

— Я хочу оказать вам полное доверие: получайте и потирайтесь, — сказал уполномоченный, вынимая из-за пазухи и со вздохом передавая Ренцо отобранные у него вещи. А тот, укладывая их на место, пробормотал сквозь зубы:

— Убрать подальше! Вы так много имеете дело с грабителями, что сами невольно усвоили их повадки.

Полицейским уже не стоялось на месте, но уполномоченный глазами сдерживал их рвение, а тем временем думал про себя: «Если ты все же переступишь порог полиции, ты мне с лихвой заплатишь за все — да, заплатишь!»

Пока Ренцо натягивал на себя куртку и брал шляпу, уполномоченный кивком велел одному из полицейских идти вперед по лестнице, затем отправил арестованного и следом за ним другого своего приятеля, позади всех шествовал он сам. Когда спустились в кухню и Ренцо стал спрашивать: «А куда же спрятался проклятый хозяин?» — уполномоченный опять подал знак полицейским. Те схватили юношу — один за правую, другой за левую руку — и быстро перевязали ему запястья особыми приспособлениями, которые в силу лицемерного эвфемизма называются «рукавчиками». Они состояли (нам неприятно опускаться до подробностей, недостойных истори-

ческой серьезности, но это необходимо для ясности), — так вот, они состояли из шнурка, чуть подлиннее среднего обхвата запястья; на концах шнурка были приделаны небольшие кусочки дерева вроде маленьких колышков. Шнурком обхватывали запястье арестованного, а колышки, пропущенные между средним и безымянным пальцами конвойного, были зажаты у него в кулаке, так что, слегка поворачивая их, он мог стягивать шнурок и таким образом не только предупредить побег, но и помучить строптивого арестанта: для этого на шнурке имелось несколько узлов.

Ренцо попытался было вырваться с криком:

— Это что еще за предательство? По отношению к честному-то человеку!

Но уполномоченный, у которого на всякий мерзкий поступок были припасены хорошие слова, стал уговаривать юношу:

— Вы уж потерпите, они исполняют свой долг. Что поделаешь? Все это пустые формальности, мы ведь не можем обращаться с людьми, как нам того хотелось бы. Не исполни мы того, что нам приказано, пожалуй, нам пришлось бы похуже вашего. Уж потерпите немного!

Пока он говорил, двое, от которых это зависело, повернули колышки. Ренцо мигом успокоился, как ретивый конь, почувствовавший удила, и воскликнул:

— Терпенье!

— Молодчина, сынок! — сказал уполномоченный. — Вот так-то все пойдет у нас хорошо. Что поделаешь! Конечно, неприятно все это, разве я сам не вижу? Но ведь при хорошем поведении вы тут же и отделаетесь. Я вижу, вы настроены вполне благонамеренно, и хочу помочь вам, и поэтому я, для вашего же блага, дам вам еще один совет. Уж вы мне поверьте, я в этих делах понаторел: идите прямо-прямохонько, не глядя по сторонам, не привлекая к себе внимания. Тогда вас никто не заметит, ничего не увидят и честь ваша не пострадает. Не пройдет и часу, как вы будете на свободе. Ведь там столько всяких дел, что от вас поспешат избавиться, да, наконец, и я замолвлю словечко... Вы вернетесь к своим делам, и никто и знать не будет, что вы побывали в полиции. А вы там, — продолжал он, обращаясь со строгим выражением лица к полицейским, — смотрите, не обижайте этого парня: я его покровитель. Обязанности свои вы, конечно, должны исполнять, но помните, что он — честный человек, приличный малый, который весьма скоро будет на свободе, и он дорожит своей честью. Идите так, чтобы никто ничего не заметил: будто вы просто благородные люди, прогуливающиеся в компании. — И повелительным тоном, грозно насупив брови, он закончил: — Вы меня поняли? — Затем, уже расправив брови и обратив к Ренцо лицо, сразу повеселевшее и словно говорившее: «О, мы, конечно, друзья», снова шепнул ему:

— Благоразумие прежде всего! Смотрите на меня: идите сосредоточенно и спокойно; положитесь на того, кто желает вам добра. Идемте.

И шествие тронулось.

Однако, слушая все эти хорошие слова, Ренцо не поверил ни одному. Не поверил он и тому, что уполномоченному он дороже его пособников, что тот принял так близко к сердцу его репутацию и собирается помочь ему. Ренцо великолепно понял, что сей благородный человек, опасаясь, как бы во время пути арестованному не представился удобный случай вырваться у него из рук, приводил все эти прекрасные доводы, дабы отклонить его от намерения попытаться найти подходящий случай и воспользоваться им. Так что все увещевания уполномоченного лишь утвердили Ренцо в намерении, возникшем у него уже раньше, а именно — действовать как раз наоборот. Пусть никто не подумает, однако, что уполномоченный был плут, неопытный новичок в своем деле. Такой вывод был бы совсем неправилен. По уверению нашего историка, бывшего, по-видимому, в числе его друзей, плут он был отъявленный, но в данную минуту находился в большом волнении. Поверьте мне, что в другое время он сам бы первый посмеялся над тем, кто, желая подбить другого на подозрительное дело, стал бы с жаром подсказывать ему эту махинацию и настаивать на ней, пустив в ход жалкую попытку придать ей вид бескорыстного, дружеского совета.

Но такова общая всем людям особенность: когда они взволнованы и беспокоены и видят, что другой может вывести их из затруднения, они настойчиво, под разными предлогами просят об этом. Так и плуты, если они беспокоены и напуганы, тоже подчиняются этому людскому закону. И поэтому они в таких случаях представляют собой весьма жалкое зрелище. Хитроумные выдумки и тонкие уловки, с помощью которых они привыкли одерживать победу, которые стали для них как бы второй натурой и которые — если пустить их в ход своевременно, с необходимым душевным спокойствием и ясностью мысли — наносят удар так метко и скрытно, а после удачного завершения дела становятся известны и вызывают общее одобрение, их-то бедняги, попадая в затруднительное положение, применяют кое-как, очертя голову, без всякого изящества и тонкости. Разумеется, у всякого, кто видит все эти ухищрения и старания, они вызывают лишь жалость и смех, и человек, которого хитрецы пытаются провести, стараясь не показать и вида, даже при небольшой осторожности великолепно замечает всю их игру и обращает эти хитросплетения против них же самих. А посему приходится всемерно советовать профессиональным плутам, чтобы они всегда сохраняли полнейшее хладнокровие либо всегда старались быть в большинстве, что, разумеется, еще надежнее.

Итак, как только они оказались на улице, Ренцо стал ози-
раться по сторонам и, подаваясь то вправо, то влево, внима-
тельно прислушиваться. Впрочем, особенного стечения наро-
да не замечалось. И хотя на лицах многих встречных легко
было прочесть какое-то беспокойство, тем не менее всякий
шел своей дорогой, и волнения в собственном смысле слова
не было.

— Спокойно! Спокойно! — нашептывал ему за спиной
уполномоченный. — Помните о своей чести, сынок.

Но когда Ренцо, хорошо присмотревшись к трем прохо-
жим с возбужденными лицами, услышал, что они толковали
о какой-то пекарне, о припрятанной муке, о справедливости,
он подал им знак глазами и покашливанием, которое говори-
ло о чем угодно, только не о простуде. Прохожие повнима-
тельнее присмотрелись к шествию и остановились; заодно с
ними остановились и другие; те, что уже ушли было вперед,
вернулись обратно, привлеченные гулом голосов. Толпа все
нарасталала.

— Берегитесь! Спокойно, сынок! Смотрите, вам же будет
хуже; не портите себе дела! Честь ваша, репутация... — про-
должал нашептывать уполномоченный.

Но Ренцо не сдавался. Полицейские, переглянувшись и
думая сделать лучше (ошибаться ведь свойственно всякому),
слегка сжали рукавчики.

— Ой-ой-ой! — вскрикнул от боли Ренцо; на крик народ
теснее столпился вокруг; сбегались со всех концов улицы; шес-
ствие задержалось.

— Это преступник, — шепотом разъяснял уполномочен-
ный тем, кто стоял поближе к нему, — грабитель, захвачен-
ный на месте преступления. Ушли бы вы лучше, дали бы
пройти начальству.

Но Ренцо, поняв, что настал благоприятный момент, и
увидев, что полицейские побледили от страха, подумал:
«Если я сейчас не помогу себе, буду во всем сам виноват». И
вдруг громко обратился к толпе:

— Братцы! Меня ведут в тюрьму за то, что я вчера кричал:
«Хлеба и правосудия». Я ничего не сделал, я честный человек,
помогите мне, не оставляйте, братцы!

В ответ поднялся одобрителный ропот, отчетливо разда-
лись голоса сочувствующих. Полицейские сначала приказыва-
ли, потом стали требовать и, наконец, просить ближайших к
ним разойтись, дать дорогу. Толпа вместо этого напирала и
давила все сильнее. Поняв, что дело плохо, полицейские бро-
сили рукавчики и поспешили затеряться в толпе, стараясь не-
заметно выбраться из нее. Уполномоченный страстно желал
сделать то же самое, но это было трудноато из-за черного
плаща. Бедняга, здорово перетрухнув и совсем побелев, съе-
жился, стараясь стать незаметным, чтобы хоть как-нибудь

скрыться от толпы, но стоило ему поднять глаза, как он встречался с десятками глаз, устремленных на него. Он всячески старался казаться посторонним человеком, который просто так, случайно, проходил мимо и оказался зажатым в толпе, как соломинка во льду. И, встречаясь взглядом с кем-нибудь, смотревшим на него в упор и хмурившимся при этом грознее других, он, скривив рот в улыбку и принимая глупый вид, спрашивал: «Что тут случилось?» — «У, воронье!» — отвечал тот. «Воронье! Воронье!» загремело вокруг. Возгласы сопровождалась пинками, так что в скором времени уполномоченный, отчасти при помощи собственных ног, а отчасти — чужих локтей, достиг того, что в данный момент было для него важнее всего: выбрался из давки.

Глава шестнадцатая

«Спасайся, спасайся, добрый человек! Вот монастырь, вон там церковь. Сюда! Сюда!» — со всех сторон слышал Ренцо. Что нужно удирать, он, надо полагать, и сам прекрасно понимал. Лишь только у него мелькнула надежда вырваться из когтей полицейских, юноша стал соображать, что же ему делать дальше, и решил, если только удастся, идти без передышки, пока не выберется не только из города, но и за пределы Миланского герцогства. «Ведь как бы то ни было, имя мое, — рассуждал он, — занесено в их поганные списки, а зная имя и фамилию, они заберут меня в любой момент». Что же касается какого-нибудь убежища, то укрыться там ему стоило бы лишь в том случае, если б полицейские гнались за ним по пятам. «Потому что, коли можно быть вольной птишкой в лесу, — рассуждал он, — зачем же становиться птицей в клетке?»

И вот он наметил себе пристанищем то селение Бергамской области, где проживал его двоюродный брат Бортоло, который, если припомните, не раз приглашал его перебраться к нему. Но как найти туда дорогу, вот в чем загвоздка. Очутившись в неизвестной части незнакомого, можно сказать, города, Ренцо не знал даже, через какие ворота нужно выйти, чтобы направиться в Бергамо. А если бы даже он знал это, то не сумел бы пройти к нужным воротам. Он уже хотел было разузнать о дороге у кого-нибудь из своих освободителей, но, так как за короткий промежуток времени, имевшийся у него, чтобы обдумать положение, он мельком вспомнил, между прочим, и об оружейном мастере, этом услужливом человеке, отце четырех детей, то в конце концов ему не захотелось обнаруживать своих намерений перед огромной толпой, где, чего доброго, мог оказаться другой человек той же породы. Юноша тут же решил как можно скорее уйти подальше, а про дорогу расспросить потом, там, где никто не будет знать, кто

он и почему расспрашивает. Сказав своим освободителям: «Благодарю вас, братцы, да благословит вас Бог», и выйдя из толпы, широко расступившейся перед ним, Ренцо бросился со всех ног. Он нырнул за угол, потом помчался по какой-то улочке. Когда ему показалось, что он ушел достаточно далеко, юноша замедлил шаг, чтобы не вызывать подозрений, и начал оглядываться, выбирая лицо, внушающее доверие, к которому можно было бы обратиться с просьбой. Это было не так-то просто. Всякие расспросы сами по себе были подозрительны. Дорога была каждая минута. Полицейские, собравшись с силами, несомненно, снова бросятся за ним вдогонку. Молва о бегстве арестованного могла докатиться и сюда. Поэтому юноше пришлось внимательно присмотреться не меньше чем к десятку физиономий, прежде чем ему удалось найти подходящее лицо. Вон тот толстяк, что стоит на пороге своей лавки, расставив ноги, животом вперед, держа руки за спиной, подняв вверх лицо с жирным двойным подбородком, и от нечего делать то поднимается на цыпочки всей своей колыхающейся громадой, то опускается на каблуки, — вся его физиономия обличает любопытствующего болтуна, который, вместо того чтобы отвечать, пожалуй, начнет его расспрашивать. Вон тот, другой, идущий навстречу распутив губы, с неподвижным взором, не только не сумеет толково объяснить дорогу другому, а и своей-то, видимо, не знает. А этот мальчишка, с виду очень бойкий, похоже, порядочный плутишка и, пожалуй, способен из простого озорства направить бедного крестьянина в обратную сторону. Вот так-то человек, попавший в затруднительное положение, сталкивается кругом все с новыми препятствиями.

Увидев, наконец, кого-то, торопливо шагавшего, Ренцо подумал, что у этого, должно быть, есть какое-нибудь спешное дело, а значит, он сразу, без лишних разговоров, ответит ему. Услыхав же, что тот бормочет себе что-то под нос, юноша решил, что это, должно быть, человек бесхитростный. Ренцо подошел к нему и сказал:

— Скажите, пожалуйста, синьор, в какую сторону надо идти в Бергамо?

— В Бергамо? Через Восточные ворота.

— Благодарю вас. А как пройти к Восточным воротам?

— Ступайте по этой улице, налево, вы попадете на Соборную площадь, потом...

— Довольно, синьор, там я уж найду. Да воздаст вам Господь! — И он поспешил в направлении, которое ему указали.

Прохожий посмотрел ему вслед и, связав быстрое исчезновение юноши с заданным вопросом, сказал себе: «Или он сам выкинул какую-нибудь штуку, или кто-нибудь хочет сыграть штуку с ним».

Ренцо вышел на Соборную площадь, пересек ее, прошел

мимо груды пепла и обгоревших головешек, узнав остатки иллюминации, свидетелем которой он был накануне; миновал соборную лестницу, увидел «Пекарню на костылях», наполовину разнесенную накануне и охраняемую солдатами. Той самой дорогой, которой он шел вместе с толпой, Ренцо подошел к монастырю капуцинов, бросил беглый взгляд на площадь перед ним, на церковную дверь и со вздохом подумал: «А ведь вчерашний монах дал мне все-таки добрый совет — остаться в церкви, дожидаясь падре Бонавентуро и вознося молитвы».

Тут он на мгновение остановился, чтобы получше рассмотреть ворота, через которые ему предстояло пройти, и, издали увидав там многочисленный караул, он, при несколько разгоряченном воображении (приходится посочувствовать ему, — у него были на то основания), испытал нечто вроде нежелания пройти через эти ворота. Ведь вот совсем под рукой надежное убежище, где с письмом от падре Кристофоро его хорошо примут. Искушение войти туда было очень сильным. Но Ренцо тут же опомнился и подумал: «Нет, лучше быть вольной птичкой в лесу, пока хватит сил. Кто меня знает? Ведь не станут же полицейские разрываться на части, чтобы караулить меня у всех городских ворот?» Он обернулся посмотреть, не идут ли они с той стороны, но там не оказалось никого, кто бы обратил на него внимание. Он двинулся дальше, с трудом сдерживая свои ретивые ноги, которые так рвались бежать, в то время как нужно было идти шагом. С беззаботным видом, слегка насмистывая, Ренцо не спеша подошел к городским воротам.

В самом проходе стояла кучка таможенных надсмотрщиков и присланные для подкрепления испанские солдаты. Но все внимание их было обращено в сторону дороги, дабы преградить доступ в город тем, кто при первом же известии о мятеже слетаются со всех сторон, как вороны на поле, где только что стихла битва. Поэтому Ренцо, опустив глаза и двигаясь походкой не то путника, не то человека, гуляющего для своего удовольствия, как ни в чем не бывало вышел за ворота, не обратив на себя внимания. Но сердце у него замирало от страха. Заметив уходящую вправо тропинку, он направился по ней, держась в стороне от большой дороги, и шел так довольно долго, прежде чем решился хотя оглянуться назад.

И вот он все шел и шел — мимо сел и деревень, стремясь вперед, даже не спрашивая их названий. Он был уверен, что удаляется от Милана, и надеялся, что идет по направлению к Бергамо; пока ему только этого и надо было. Время от времени он оглядывался назад, иногда принимался рассматривать и растирать запястья своих рук: они все еще побаливали и сохраняли красноватые полосы — следы веревки. Мысли его, как легко понять, представляли собой пестрое сплетение

раскаяния, беспокойства, бешенства и нежности. Нелегко было разобраться во всем, что было сказано и сделано накануне вечером, раскрыть сокровенную сторону грустной его истории, а пуще всего то, как они могли узнать его имя. Подозрения естественно падали на шпажного мастера: Ренцо хорошо помнил, как он назвал ему свое имя. И припоминая теперь, каким образом тот заставил его проговориться, припоминая всю его повадку, все его ухищрения, с помощью которых он упорно старался что-нибудь выведать, Ренцо от подозрений переходил почти к полной уверенности. Однако он смутно припоминал, что ведь болтать-то он продолжал и после ухода шпажного мастера; а с кем он болтал, — кто ж его знает; и о чем, как он ни старался вспомнить, это ему не удавалось. Память подсказывала ему лишь одно, а именно то, что она все это время была в отлучке. В этих своих поисках бедняга совершенно запутался. Он похож был на человека, подписавшего множество чистых бланков и доверившего их лицу, которое считал воплощением благородства. Когда же лицо это оказалось величайшим мошенником, человек этот захотел узнать положение своих дел. Но что тут узнаешь? — во всем сплошной хаос! Не менее мучительна была и другая мысль — о том, что его ожидало. Он пытался нарисовать себе будущее в самых радужных красках, между тем как все реальные перспективы были весьма плачевны.

Но очень скоро его охватило еще более мучительное беспокойство: нужно было найти дорогу. Пройдя некоторое расстояние, так сказать, наугад, он увидел, что одному ему с этим не справиться. Однако юноше очень не хотелось произносить само слово «Бергамо», словно в нем было что-то подозрительное, неприличное. Меж тем обойтись без этого было никак нельзя. А потому он решил, как он сделал это в Милане, обратиться к первому же прохожему, чья физиономия ему приглянется. Так он и поступил.

— Да вы отбились от большой дороги, — отвечал тот и, немного подумав, объяснил ему, как пройти, чтобы снова попасть на большую дорогу.

Ренцо поблагодарил его и, сделав вид, что послушался совета, пошел в самом деле в указанную сторону, однако старался лишь приблизиться к этой злополучной большой дороге и не терять ее из виду, но по возможности держаться рядом с ней, ни за что не выходя на нее. Однако это легче было задумать, чем выполнить. В результате, уклоняясь то вправо, то влево, продвигаясь, так сказать, окольными путями, руководствуясь отчасти новыми указаниями, которые он осмеливался выуживать то тут, то там, частично исправляя их по собственному своему разумению, приспособляя их к своим планам, отчасти просто идя теми дорогами, на какие попадал, — наш беглец прошел, пожалуй, миль двенадцать, отойдя от Милана не боль-

ше чем на шесть. Что же касается Бергамо — то хорошо, если он вообще еще не удалился от него. Мало-помалу Ренцо убедился, что так он тоже не добьется толку, и стал искать какой-нибудь иной выход. Ему пришло в голову, что хорошо было бы ухитриться выведать название какого-нибудь селения, поближе к границе, куда можно было бы добраться проселками. Расспрашивая о нем, он смело мог бы разузнать дорогу, не осведомляясь то и дело о Бергамо: ему чудилось, что само это слово так и говорит о бегстве, изгнании, преступлении.

Раздумывая над тем, как бы получить все эти сведения, не вызывая подозрений, он заметил зеленую ветку, вывешенную на одиноком домишке, за околицей какой-то деревушки. Ренцо уже почувствовал настоятельную потребность подкрепиться и решил, что это, пожалуй, самое подходящее место справить два дела разом. Он вошел. В доме оказалась лишь старуха за прялкой, с веретеном в руке. Юноша спросил поесть; ему предложили сыру и доброго вина. Он попросил сыру, но от вина отказался (так как возненавидел его за ту глупую шутку, которую оно сыграло с ним накануне). Юноша расположился, попросив женщину поспешить. Та в один миг накрыла на стол и тут же засыпала своего гостя вопросами — кто он такой и что произошло в Милане, ибо молва о беспорядках докатилась уже и до этой деревушки. Ренцо не только весьма ловко уклонился от расспросов, но и воспользовался затруднительным положением, чтобы заставить любопытную старуху кое-что выболтать. Та стала было расспрашивать юношу, куда он держит путь.

— А мне надо попасть во много мест, — отвечал он, — если позволит время, я бы хотел завернуть на минутку и в это село, знаете, большое такое, по дороге в Бергамо, у самой границы, но еще в Миланском герцогстве... Как же оно называется? — «Есть же там какое-нибудь селение», — подумал он про себя.

— Вы имеете в виду Горгонзолу? — спросила старуха.

— Вот именно, Горгонзолу! — повторил Ренцо, словно для того, чтобы лучше запомнить. — Далеко это отсюда?

— Да я как следует не знаю: не то десять, не то двенадцать миль. Будь здесь кто-нибудь из моих сыновей, он бы вам сумел сказать.

— А как вы думаете, можно пройти туда этими прекрасными тропками, не выходя на большую дорогу? Там ведь такая пылица! Столько времени не было дождя!

— А как же, наверно, можно; вы спросите в первой деревне, которая попадется вам, когда пойдете направо. — И она назвала деревню.

— Ладно, — промолвил Ренцо.

Он встал, взяв кусок хлеба, оставшийся у него от скудной трапезы. Хлеб этот сильно отличался от того, что он нашел

накануне у подножья креста Сан-Диониджи. Юноша расплатился, вышел и повернул направо. А чтобы без нужды не удлинять свой путь, он от селенья к селенью, с названием Горгонзолы на устах, добрался-таки до нее примерно за час до наступления темноты.

Еще по дороге он решил сделать там вторую короткую остановку, чтобы закусить поосновательнее. Тело его немного стосковалось по постели, но Ренцо готов был скорее свалиться от усталости на дороге, чем уступить подобному желанию. Он хотел было разузнать в остерии о расстоянии до Адды, умело раздобыть сведения о каком-нибудь ведущем к ней проселке и затем пуститься в дальнейший путь немедленно после еды. Родившись и выросши близ, так сказать, второго истока этой реки, он не раз слышал, что в каком-то месте она на некотором протяжении служит границей между миланскими и венецианскими владениями. Он не знал, в каком именно месте и на каком протяжении находилась граница, но сейчас было необходимо переправиться через реку во что бы то ни стало, если удастся — еще сегодня. Он готов был идти до тех пор, пока хватит времени и сил, а потом переждать до зари где-нибудь в поле, на любом пустыре, где Бог пошлет, только не в остерии.

Пройдя несколько шагов по Горгонзоле, он увидел вывеску какой-то остерии, зашел и попросил у вышедшего ему навстречу хозяина поесть и полбутылки вина: несколько лишних миль, пройденных им, и позднее время рассеяли в нем чрезмерное отвращение к вину. «Прошу вас поторопиться, — прибавил он, — мне нужно сейчас же отправиться дальше». Сказал он это не только потому, что это было на самом деле так, но и из опасения, как бы хозяин, подумав, что он собирается заночевать, не стал спрашивать его имя, фамилию, да откуда он, да по какому делу... Лучше подальше!

Хозяин ответил, что сейчас подаст. Ренцо сел с краю стола, поближе к выходу, — обычное место непритязательных посетителей.

В комнате уже находилось несколько местных празднующихся обывателей, которые, обсудив и растолковав по-своему важные миланские новости предыдущего дня, жаждали узнать, что там происходило сегодня, тем более что вчерашние известия способны были скорее раздражить любопытство, чем удовлетворить его: восстание, не разгромленное, но и не победоносное, скорее прерванное наступлением ночи, нежели законченное; дело незавершенное — скорее конец одного действия, нежели развязка всей драмы.

Отделившись от остальных, один из посетителей подошел ко вновь прибывшему и спросил его, не из Милана ли он.

— Я-то? — спросил озадаченный Ренцо; прежде чем отвечать, ему хотелось выиграть время.

— Да, вы, если позволено будет спросить.

Ренцо, покачивая головой, поджав губы и издав какой-то нечленораздельный звук, отвечал:

— Милан, насколько я слышал... по-видимому, не такое место, куда в настоящее время следовало бы ходить без особой необходимости.

— Стало быть, там и нынче продолжают шуметь? — все настойчивее допрашивал любопытный.

— Надо бы побывать там, чтобы знать это, — сказал Ренцо.

— А вы, значит, не из Милана?

— Я из Лискате, — быстро ответил юноша, уже успевший обдумать свой ответ.

Строго говоря, он и в самом деле пришел оттуда, потому что он проходил через Лискате, название которого он узнал дорогой от одного путника, указавшего ему на это селение — первое, через которое юноше предстояло пройти, добираясь до Горгонзола.

— А! — протянул доброжелатель, словно желая сказать: «Пожалуй, было бы лучше, если б ты пришел из Милана». Однако он не сразу отстал. — А в Лискате ничего не слышно о Милане?

— Возможно, там кто-нибудь и знает кое-что, — ответил горец, — да я-то ничего не слышал.

Слова эти он произнес с особенной интонацией, ясно говорившей: с меня довольно. Любопытный вернулся на свое место, а минуту спустя появился хозяин накрывать на стол.

— Сколько отсюда до Адды? — спросил его Ренцо, процедив это сквозь зубы, с тем заспанным видом, какой мы уже видели у него при других обстоятельствах.

— До Адды — чтобы переправиться? — сказал хозяин.

— То есть... ну да... до Адды.

— А вы хотите переправиться по мосту у Кассано или на пароме у Каноники?

— Да все равно... Я ведь только так спрашиваю, из любопытства.

— Я потому вам так ответил, что тут переправляются порядочные люди, те, у которых все в порядке.

— Понятно! Так сколько же дотуда?

— Да считайте так, что до одного и другого будет одинаково — миль этак около шести.

— Шесть миль! А я и не думал, что это так далеко, — сказал Ренцо, а затем, с полнейшим равнодушием, доведенным до последней степени безразличия, прибавил: — Ну, а если кому надобно пройти кратчайшим путем, так есть же и другие места для переправы?

— Конечно, есть, — отвечал хозяин, устремив на него взгляд, полный лукавого любопытства.

Этого было достаточно, чтобы все другие приготовленные было вопросы замерли на устах у юноши. Он пододвинул к себе блюдо и, глядя на бутылку, поставленную на стол хозяином, спросил:

— Вино-то цельное?

— Как золото, — ответил хозяин, — да вы спросите об этом любого в нашей деревне и по всей округе, кто толк знает. Да вы и сами увидите. — Сказав это, он вернулся к компании гостей.

«Проклятые хозяева! — воскликнул про себя Ренцо. — Чем больше я их узнаю, тем хуже они мне кажутся». Тем не менее он принялся за еду с большим аппетитом. При этом, однако, не подавая виду, что это его касается, он внимательно прислушивался к разговорам, стараясь нащупать почву, выяснить, что здесь думают о великом событии, в котором ему довелось принять немалое участие, а главное — посмотреть, не найдется ли среди присутствующих надежного человека, которому бедняга-парень мог бы довериться и расспросить про дорогу, не опасаясь, что его припрут к стенке и заставят все рассказать про себя.

— Однако! — сказал один. — Видно, на этот раз миланцы решили действовать по-настоящему. Ладно! Не позднее завтрашнего дня что-нибудь да станет известно.

— Жаль, что я не отправился в Милан нынче утром, — заметил другой.

— Если ты отправишься завтра, тогда и я с тобой, — сказал третий, а за ним еще один и еще.

— А я вот что хотел бы знать, — начал снова первый, — подумают ли миланские синьоры и о бедных деревенских людях, или они захотят исправить закон только в свою пользу. Вы же их знаете! Гордецы горожане, все только для себя, а других словно и на свете нет.

— Рот-то небось и у нас имеется, и чтобы поесть, и чтобы слово свое вставить, — сказал другой тихим голосом, совершенно не соответствовавшим столь решительному заявлению, — и раз дело уже начато... — Но он не счел нужным договаривать до конца.

— Зерно припрятано не в одном Милане, — начал было другой с мрачным и коварным выражением лица, но в эту минуту послышался цокот копыт.

Все бросились к выходу и, узнав вновь прибывшего, высыпали ему навстречу. То был миланский купец, который, бывая ежегодно по несколько раз по своим торговым делам в Бергамо, обычно останавливался на ночлег в этой остерии. А так как он почти всегда заставлял там одну и ту же компанию, то он знал всех присутствующих. Его обступили: один подержал узду, другой — стремя.

— С приездом! С приездом!

— Рад вас видеть.
— Хорошо ли съездили?
— Отлично. Ну, а вы как?
— Да живем помаленьку. А что за новости привезли вы нам из Милана?

— Ишь ты! Новости им подавай! — сказал купец, слезая с коня и передавая его слуге. — Да ведь вы, — продолжал он, входя со всей компанией в остерию, — вы сейчас, пожалуй, знаете все лучше меня.

— По правде сказать, ничего мы путем не знаем, — наперебой заговорили завсегдатаи остерии, ударяя себя в грудь.

— Не может быть! — сказал купец. — Ну, так я вам такого порасскажу... прескверная история. Эй, хозяин, всегдашняя моя постель не занята? Хорошо. стакан вина и закуску как обычно, да поживее! Я собираюсь лечь спать пораньше и завтра выехать тоже пораньше, чтобы попасть в Бергамо к обеду. Так, стало быть, вы, — продолжал он, усаживаясь напротив Ренцо, который молча внимательно слушал, — вы ничего не знаете обо всей этой вчерашней чертовщине?

— Про вчерашнее знаем.

— Ну вот, видите, — продолжал купец, — вы же все знаете! Я ведь сказал, что вы вечно тут, чтобы выуживать у проезжих новости.

— Но сегодня-то, сегодня — что было?

— А, сегодня? Так вы про сегодняшнее ничего не знаете?

— Ровно ничего. Никто сюда не заворачивал.

— Так дайте же мне промочить горло, а потом я расскажу вам про сегодняшние дела. Все узнаете. — Он наполнил стакан, взял его в руку, двумя пальцами другой руки приподнял усы, потом разгладил бороду, выпил и продолжал: — Сегодня, дорогие друзья, день чуть было не вышел такой же бурный, как вчера, если не хуже. Я, можно сказать, сам себе не верю, что нахожусь здесь и болтаю с вами, потому что я уж было отбросил всякую мысль о поездке и собирался остаться стеречь свою лавчонку.

— Кой же черт там хозяйничал? — вставил один из слушателей.

— Именно черт, вот услышите. — Разрезая поставленное перед ним кушанье и принимаясь за еду, он продолжал рассказ.

Сотрапезники, расположившись по обе стороны стола, слушали стоя, разинув рты. Ренцо в свою очередь, не подавая вида, что это его касается, тоже слушал очень внимательно, — пожалуй, внимательнее всех, — медленно дожевывая последние куски.

— Так вот, сегодня утром негодяи, которые вчера подняли всю эту ужасную кутерьму, собирались в условленных местах (тут, несомненно, был сговор, все было подготовлено) и снова

завели ту же волынку — стали шляться по улицам и орать, созывая людей. Вот так бывает, когда, с позволения сказать, метут в доме: чем дальше, тем куча мусора все больше. Когда им показалось, что народу набралось достаточно, они направились к дому синьора заведующего продовольствием, — как будто им было мало тех безобразий, что они учинили над ним вчера, — над таким-то синьором! Ах, негодяи! А что о нем только не говорили! И ведь все выдумки, — это прекрасный синьор, аккуратный, — я могу вам это сказать, — я у него свой человек, поставляю сукно на ливреи его слугам. Так вот, направились они к его дому. Надо было видеть, что это за сволочь, такие рожи! Представьте себе, — они прошли мимо моей лавки — ну и рожи... иудеи из Via Crucis ничто в сравнении с ними. А что за слова они изрыгали! Хотя уши затыкай, да только очень уж не хотелось обращать на себя внимание. Так вот, шли они с явным намерением разграбить дом; но... — Тут, высоко подняв левую руку, он растопырил пальцы и приставил большой палец к кончику носа.

— Но... что же? — спросили разом чуть ли не все слушатели.

— Но, — продолжал купец, — улица оказалась перегороженной бревнами и повозками, а за этой баррикадой — стройные ряды испанских солдат с наведенными аркебузами, готовых оказать им достойную встречу. Когда они увидели всю эту махину... Что бы вы сделали на их месте?

— Повернули бы назад.

— Вот именно, — так они и сделали. Но вы послушайте, что было дальше, — ну, разве не сам бес их подмывал? Приходят они на Кордузио и видят пекарню, которую еще накануне собирались разграбить. Что ж там делалось? Распределяли хлеб среди постоянных покупателей. Тут же были и кавалеры, притом кавалеры самые первостатейные, наблюдавшие, чтобы все шло как следует. А те (я вам говорю, что сам бес в них вселился, да к тому же их кое-кто и натравливал), — те, как бешеные, врываются внутрь: хватай кто что может! Вмиг кавалеры, пекари, покупатели, хлебы, прилавки, скамьи, квашни, ящики, мешки, решета, отруби, мука, тесто — все полетело вверх дном.

— А испанские солдаты?

— Солдаты были заняты охраной дома заведующего продовольствием. Нельзя же и на клиросе петь и крест носить. Я ведь вам говорю, что все произошло в один миг: хватай кто может. Растащили все, что могло хоть когда-нибудь пригодиться. А потом опять было хотели приняться за прекрасную вчерашнюю выдумку: снести все оставшееся на площадь и устроить там костер. Разбойники уже взялись было вытаскивать добро, как вдруг один из них — самый отчаянный — сделал веселенькое предложение... А ну, как вы думаете, какое?

— Какое?

— Собрать в лавке все в одну кучу и поджечь ее, а заодно с ней и дом. Сказано — сделано...

— Так-таки и подожгли?

— Погодите. Одного доброго человека из соседей вдруг осенило: он побежал наверх, в жилые комнаты, разыскал распятие, прикрепил его к оконному своду, взял у изголовья кровати две освещенных свечи, зажег их и поставил на подоконнике по обе стороны распятия. Народ стал глядеть наверх. В Милане, надо вам сказать, жив еще страх Божий, — все и образумились. То есть, я хочу сказать, — большинство. Были, конечно, и такие дьяволы, которые грабежа ради готовы были поджечь хоть и сам рай. Однако, увидев, что народ не на их стороне, им пришлось бросить свою затею и приутихнуть. Теперь угадайте, что же вдруг произошло? Все соборное духовенство, в хоральных одеяниях, подъяв крест, двинулось торжественной процессией. И архипастырь, монсиньор Мадзента, стал проповедовать в одном месте, соборный исповедник, монсиньор Сетала — в другом, а за ними и остальные: «Честный народ! Да что же вы хотите содеять? Да это ли пример, подаваемый вами детям вашим? Да ступайте вы себе домой! Да разве вы не знаете, что хлеб подешевел, стал дешевле прежнего? Да подите посмотрите, — ведь объявление на всех углах».

— И верно?

— Черт возьми! Да что же вы думаете, — соборное духовенство вышло в торжественном облачении так себе, чтобы сказки рассказывать?

— А народ что?

— Мало-помалу стали расходиться. Бросились к углам. Кто умел читать, — действительно увидел мету. Вы только подумайте: хлеб восемь унций за сольдо!

— Ну и лафа!

— Что и говорить! Хорош виноградник, только б устоял. Знаете, сколько они растаскали муки за вчерашний день и за нынешнее утро? Все герцогство можно бы прокормить в течение двух месяцев.

— Ну, а для остальной страны, помимо Милана, никакого хорошего закона не издали?

— То, что сделано для Милана, сделано целиком за счет города. Не могу вам сказать, что будет для вас, — на то Божья воля. Пока что волнения прекратились. Я еще не все вам рассказал. Сейчас будет самое интересное.

— Ну, что же еще?

— А вот что: не то вчера вечером, не то нынче утром изрядное количество их сцапали, и тут же стало известно, что главарей повесят. Как только распространился этот слух, люди прямехонько отправились по домам, чтобы не попасть в их число. Милан, когда я уезжал, был похож на монашескую обитель.

— А что, их и в самом деле повесят?

— А то как же! И без задержки, — ответил купец.

— А народ-то, что же он станет делать? — спросил тот же самый, что задал вопрос.

— Народ? Пойдет смотреть, — сказал купец. — Им так хотелось видеть, как крещеный человек помирает на народе, что они, мерзавцы, собирались прикончить синьора заведующего продовольствием. Вместо него им теперь преподнесут нескольких голоштанников с выполнением всех законных формальностей, в сопровождении капуцинов и братьев доброй смерти, — и по заслугам. Это мера, видите ли, предупредительная и совершенно необходимая. А то ведь они уже усвоили себе скверную привычку входить в лавки и запасаться, не прибегая к кошельку. Если б их не остановить, они вслед за хлебом добрались бы до вина, а там и пошло... Сами посудите, захотели бы они добровольно бросить такую удобную привычку? Скажу вам откровенно: для порядочного человека, который держит лавку, это не очень-то веселая мысль.

— Разумеется, — сказал один из слушателей.

— Разумеется, — в один голос подхватили остальные.

— И все это, — продолжал купец, вытирая бороду салфеткой, — все это было задумано давно. Лига такая была, вы знаете это?

— Лига была?

— Да, была лига. Все — коварные замыслы наваррцев, этого французского кардинала, — вы знаете, о ком я говорю: у него еще имя такое полутурецкое. Он каждый день все замышляет что-нибудь новое, только бы причинить какой-нибудь урон испанской короне. Но больше всего ему хочется сделать какую-нибудь каверзу Милану, — потому он отлично видит, мошенник, что главная-то сила короля именно здесь.

— Еще бы!

— Хотите доказательства? Больше всего шумели именно чужеземцы. По городу разгуливали личности, которых никто никогда в Милане не видел. Ах, кстати, я забыл рассказать вам про один достоверный случай, который мне передавали. Полиция изловила в какой-то остерии парня.

Ренцо, который не пропустил мимо ушей ни одного слова из рассказа купца, при этом весь похолодел и даже привскочил, забыв, что ему необходимо сдерживаться. Впрочем, никто этого не заметил, и рассказчик, не прерывая нити своего повествования, продолжал:

— Парня, о котором пока путем неизвестно даже, ни откуда он появился, ни кто его подослал, ни какого он роду и племени. Но, несомненно, это был один из главарей. Уже вчера, в самый разгар беспорядков, он буянил вовсю, а потом — мало ему этого — пустился проповедовать и предложил ни много ни мало, как перебить всех синьоров. Разбойник! Да как же стала

бы жить беднота, если бы все синьоры были перебиты? Полиция, выследившая его, схватила любезного дружка, нашла у него целую пачку писем да и потащила в клетку. Куда там! Его товарищи, сторожившие около остерии, собрались большой толпой и освободили его, разбойника.

— И куда же он делся?

— Неизвестно. Не то удрал, не то спрятался в Милане. Уж это такой народ — ни дома, ни кровя у них нет, а всегда находят, где приютиться и спрятаться. Однако лишь до тех пор, пока им помогает дьявол, а потом они все равно попадают, и как раз, когда меньше всего этого ожидают. Потому что, когда груша поспела, значит, ей пришла пора падать с дерева. Пока достоверно известно лишь, что письма остались в руках у полиции, а в них-то вся крамола и описана. И, говорят, много народу за это поплатится. Тем хуже для них, ведь они пол-Милана перевернули вверх дном, собирались сделать кое-что и похуже. Они кричат, что пекари — разбойники. Правильно. Но надо вешать их в законном порядке. И зерно припрятано. Кто же этого не знает? Так уж дело начальства держать хороших сыщиков и достать его хоть из-под земли, да кстати заставить и спекулянтов болтаться в воздухе, заодно с пекарями. А если начальство ничего не делает, то должен вступить сам город, и если с первого раза ничего не выйдет, надо опять действовать, потому что при повторных обращениях обычно добиваются своего. Вот что надо делать, а не заводить мерзкий обычай влезать в лавки и склады и безнаказанно брать что угодно.

Кусок стал Ренцо поперек горла. Ему сразу захотелось быть как можно дальше отсюда, от этой остерии, от этой деревни. И раз десять, если не больше, он говорил самому себе: «Уходи же, уходи». Но боязнь вызвать подозрение, подавляя все остальное, властно сковала все его мысли и продолжала держать пригвожденным к скамье. Находясь в такой растерянности, он подумал, что болтун ведь когда-нибудь да кончит говорить о нем, и решил подняться с места, как только разговор перейдет на другое.

— Вот потому-то я, — сказал один из компании, — зная, как происходят такие дела, как плохо во время беспорядков приходится порядочным людям, не позволил себе поддаться любопытству и остался сидеть дома...

— А я, — что ж, я пошел, что ли? — сказал другой.

— Я? — подхватил третий. — Да доведись мне быть в Милане, я бы бросил все дела и немедленно вернулся домой. У меня жена и дети. А потом, по совести говоря, терпеть не могу гвалта.

Тут хозяин, который тоже слушал все время, направился к другому концу стола взглянуть, что там делает незнакомец. Ренцо воспользовался случаем, знаком подозвал хозяина,

спросил у него счет и расплатился, не торгуясь, хотя в кошеле у него становилось уже пусто. Без дальнейших расспросов он направился к выходу, переступил порог и, положась на волю Божию, отправился в сторону, противоположную той, откуда пришел.

Глава семнадцатая

Часто бывает достаточно одного желания, чтобы лишить человека покоя. Теперь представьте себе, что появляются сразу два желания, притом явно противоположных. Как вы знаете, в бедняге Ренцо вот уже много часов подряд боролись два таких желания, одно — бежать, другое — скрываться. А злоешие слова купца разом обострили до крайности и то и другое. Его приключение, стало быть, наделало шуму; и какой угодно ценой его хотят схватить. Кто знает, сколько полицейских отряжено в погоню за ним, какие даны распоряжения разыскивать его по деревням, остериям, дорогам! Правда, соображал он, ведь в конце концов полицейских, знавших его, было всего-навсего двое, а имя у него на лбу не написано. Но вместе с тем ему вспомнились разные случаи, о которых приходилось слышать, — как беглецов настигали и открывали самым неожиданным образом, узнавая их по походке, по сомнительному виду, по другим непредвиденным признакам. Поэтому все казалось ему подозрительным. Хотя в тот момент, когда Ренцо уходил из Горгонзолы, как раз пробило двадцать четыре часа и сгушавшиеся сумерки с каждой минутой все уменьшали опасность, он тем не менее неохотно пошел по большой дороге, намереваясь свернуть на первый же проселок, который сможет вывести его туда, куда нужно. Вначале ему встречались отдельные путники. Но так как изображение юноши было полно чудовищных страхов, у него не хватало духу обратиться к кому-либо и расспросить о дороге. «Хозяин сказал шесть миль, — размышлял он, — если, двигаясь в обход, придется сделать восемь или десять, ноги, которые уже прошли столько же, осилят и их... В сторону Милана я, несомненно, не иду, значит, я иду в сторону Адды. Иди себе да иди — рано или поздно выйдешь к ней. У Адды голос громкий, и когда я буду поблизости от нее, мне уже не нужны будут указания. Если найдется лодка, на которой можно будет переправиться, я переправлюсь тут же. А не то просижу до утра где-нибудь в поле, на дереве, как воробы, — лучше уж на дереве, чем в тюрьме».

Скоро он увидел дорожку, уходившую влево. Он пошел по ней. Повстречай Ренцо кого-нибудь в этот час, он без всякого стеснения спросил бы о дороге. Но кругом не было ни души. А потому он шел себе, куда вела его дорога, и рассуждал: «Это

я-то — буянил! Я — и перебить всех синьоров! У меня — пачка писем! Мои товарищи сторожили меня! Дорого бы я дал, чтобы встретиться лицом к лицу с этим купцом по ту сторону Адды (эх, когда только я переправлюсь через эту желанную Адду!), да остановить его, да толком порасспросить, откуда у него все эти достоверные сведения. Знайте же теперь, дорогой синьор мой, что дело происходило так-то и так-то и что бушевал я, помогая Ферреру, как родному брату. Знайте, что разбойники, — если послушать вас, были моими друзьями, потому что в нужную минуту я сказал им доброе слово христианина, — на самом деле хотели сыграть со мной злую шутку. Знайте, что в то время как вы тряслись над своей лавкой, я давал мять себе бока, чтобы спасти вашего синьора заведующего продовольствием, которого я и в глаза-то никогда не видал. Жди теперь, чтобы я еще хоть раз пошевелил пальцем, помогая синьорам!.. Конечно, для спасения души делать это надо: они ведь тоже наши ближние. А эта толстая пачка писем, где изложена вся крамола и которые теперь находятся в руках полиции, как вам, наверно, известно, — хотите, побьемся об заклад, что я покажу вам ее сейчас без всякой помощи нечистой силы? Вот она!.. Как? Всего одно письмо? Так точно, синьор, всего одно письмо. И письмо это, если хотите знать, написано монахом, у которого вам-то во всяком случае есть чему поучиться. Монахом, единый волос из бороды которого, не в обиду будь вам сказано, стоит всей вашей. И написано это письмо, как видите, другому монаху, тоже человеку... Теперь вы видите, что за мошенники мои друзья. И научитесь в другой раз говорить по-иному, особенно, если дело касается ближнего».

Однако через некоторое время эти размышления, как и им подобные, совершенно прекратились: окружающая обстановка целиком захватила внимание бедного странника. Опасение быть настигнутым и опознанным, которое так отравляло ему путешествие в дневное время, теперь уже больше не беспокоило его, зато сколько других обстоятельств делали его путешествие еще более тоскливым! Темнота, одиночество, усталость, усилившаяся и теперь уже тягостная, бесшумный, ровный, легкий ветерок, который был совсем нехоти человеку, все еще одетому в то самое платье, в какое он облекся, чтобы идти венчаться неподалеку и сейчас же в полном торжестве вернуться домой. И, наконец — что было тяжелее всего — это блуждание, так сказать, на авось, в поисках отдыха и безопасности.

Когда ему случалось проходить через какое-нибудь селение, он шел медленно-медленно, поглядывая, нет ли где-нибудь распахнутой двери. Но нигде не видно было признаков того, что жители еще не спали и бодрствовали, и лишь изредка в затененном окошке мерцал одинокий огонек. По дороге,

вдали от жилья, он то и дело останавливался, прислушиваясь, не донесется ли, наконец, столь желанный шум Адды, — но тщетно. Слышалось только далекое завывание собак на какой-нибудь одинокой усадьбе, жалобное и злое. При его приближении завывание превращалось в частый и бешеный лай, а проходя мимо ворот, он слышал и почти мог видеть, как пес, просунув морду в щелку ворот, лаял с удвоенной силой, — и это сразу отбивало у Ренцо всякую охоту постучаться и попросить приюта. Да, пожалуй, даже не будь собак, он не решился бы на это. «Кто там? Что вам нужно в такую пору? Как вы сюда попали? Разве нет остерий для ночлега?» — вот что, рассуждал он, услышу я в лучшем случае, если постучусь. А то, чего доброго, разбужу какого-нибудь пугливого человека, который заорет: «Каравул! Грабят!» Надо иметь наготове ясный ответ, а что я могу ответить? Когда ночью человек слышит шум, ему только и мерещатся что разбойники, злоумышленники, засады. Никому и в голову не придет, что порядочный человек может ночью оказаться в пути, если только это не кавалер в карете». И он приберегал возможность попроситься на ночлег на крайний случай и шел дальше в надежде хотя бы отыскать Адду, если и не переправиться через нее в эту ночь, чтобы не пришлось идти отыскивать ее срьд бела дня.

И вот он идет и идет. Он дошел до места, где возделанные поля сменялись целиной, поросшей папоротником и вереском. Он счел это если и не явным доказательством, то все же несомненным признаком близости реки и пустился вперед, следуя тропинкой, проложенной по целине. Сделав несколько шагов, он остановился послушать: пока — ничего. Тоскливость путешествия усиливалась дикостью местности и полным отсутствием тутовых деревьев, виноградных лоз или других признаков человеческой культуры, которые до сих пор как бы служили юноше спутниками в дороге. Невзирая на это, Ренцо все шел вперед. И так как перед ним начали вставать различные призраки и видения, сохранившиеся в его сознании от рассказов, слышанных еще в детстве, то он, чтобы рассеять и отогнать их, стал на ходу читать вслух молитвы за усопших.

Мало-помалу он оказался среди более высоких зарослей терновника, древесной поросли, боярышника. Продолжая идти вперед и прибавляя шаг, гонимый любопытством, он стал встречать среди кустарника отдельные деревья и, двигаясь все дальше той же тропой, вошел в лес. Он вступил в него не без страха и, пересиливая себя, пошел вперед. Однако, чем дальше Ренцо углублялся в лес, тем сильнее становился его страх, — все вокруг пугало его. Деревья, которые виднелись в отдалении, казались ему странными, безобразными чудовищами; тревожили его и тени слегка трепещущих верхушек, дрожавшие на тропинке, тут и там озаренной луною; даже

шуршанье сухих листьев, по которым он ступал, таило в себе что-то враждебное для его слуха. Ноги так и рвались бежать, но в то же время они словно через силу несли его тело. Ночной ветер все суровее и злее бил ему в лоб и в щеки, забирался под одежду, пронизывал до самых костей, заставлял юношу, и без того уже разбитого усталостью, съеживаться и отнимал у него последние силы. Наконец тоска и безотчетный ужас, терзавшие душу Ренцо, готовы были сломить его. Он совсем растерялся. Но, напуганный больше всего своим собственным страхом, он призвал на помощь измученному сердцу свое прежнее мужество и прибодрился. Встряхнувшись, он на мгновение остановился поразмыслить и решил немедленно вернуться назад, добраться до последнего селения, которое он недавно прошел, вернуться туда, где есть люди, и искать приюта хотя бы и в оsterии. Когда юноша стоял так на одном месте и стихло даже шуршание сухих листьев у него под ногами, кругом воцарилась полнейшая тишина, и вдруг он расслышал шум и рокот бегущей воды. Он прислушался, — сомнений нет. «Это Адда!» — воскликнул он. Ренцо словно нашел друга, брата, спасителя. Усталость как рукой сняло, силы вернулись к нему, кровь горячо и свободно разлилась по жилам, мысли его прояснились, положение уже не казалось ему таким тягостным и безысходным. Он без колебаний стал все дальше углубляться в лес, навстречу желанному шуму.

Через несколько минут он добрался до конца равнины и очутился на краю высокого обрыва. Посмотрев вниз на pokrывавшие его заросли, он увидел блеск водяного потока. Широкая равнина противоположного берега была усеяна селениями, а за ней тянулись холмы, и на одном из них юноша разглядел большое белое пятно, показавшееся ему городом, — не иначе, это был Бергамо! Он немного спустился по откосу и, раздвигая руками заросли терновника, посмотрел вниз, — не плывет ли по реке какая-нибудь лодка, прислушался, не донесется ли всплеск весел, — но ничего не увидел и не услышал. Будь это что-нибудь поменьше Адды, Ренцо сразу спустился бы вниз поискать броду, но он хорошо знал, что Адда не такая река, с которой можно обращаться запросто.

Поэтому он с большим хладнокровием принялся обдумывать, что ему теперь предпринять: забраться на дерево и сидеть там, дожидаясь рассвета, который наступит, пожалуй, не раньше, чем через шесть часов? На таком-то холодном ветру, да еще при инее, в такой легкой одежде, — всего этого хватит, чтобы совершенно заколоться. Даже если весь остаток ночи прохаживаться взад и вперед, вряд ли это будет надежной защитой от пронизывающей ночной сырости, да кроме того и бедные ноги, которым уже досталось сверх всякой меры, отказывались повиноваться. Ренцо вспомнил, что в поле, по со-

седству с целиной, он видел один из тех крытых соломой шалашей, сооруженных из жердей и сучьев и обмазанных глиной, куда летом миланские крестьяне обычно складывают жатву, а ночью укрываются, чтобы стеречь ее. В остальное время года эти шалаши пустуют. Вот там-то он и приютится. Ренцо вернулся на тропинку, прошел через лес, заросли, миновал целину и направился к шалашу. Источенная червями, разошедшаяся дверца без запора притворяла вход. Ренцо открыл ее и вошел. Он увидел какую-то высоко подвешенную плетенку вроде гамака, прикрепленную лыком к жердям шалаша; но не решился залезть в нее. На земле лежало немного соломы, и он подумал, что и тут можно неплохо выспаться.

Но прежде чем растянуться на этом ложе, ниспосланном ему самим провидением, он преклонил колена и возблагодарил Всевышнего за это благодеяние и за оказанную ему поддержку в этот ужасный день. Потом сотворил свои обычные молитвы и попросил у Господа Бога прощения в том, что не молился вечером накануне, а, наоборот, — выражаясь его собственными словами, — отошел ко сну как пес, и даже хуже. «И за это, — прибавил он про себя, укладываясь на соломе, — за это мне утром выпало на долю такое прекрасное пробуждение». Затем он собрал всю солому, какая была вокруг, и навалил ее на себя, устроив по возможности что-то вроде покрывала, чтобы смягчить холод, который и здесь внутри изрядно давал себя чувствовать. Он забился в солому с намерением хорошенько выспаться, — ему казалось, что сон им более чем заслужен.

Но не успел он сомкнуть глаза, как в его памяти или в воображении (где именно — сказать трудно) началось какое-то странное хождение взад-вперед всевозможных лиц, да такое упорное, такое непрерывное, что прощай всякий сон! Купец, уполномоченный, полицейские, шпажный мастер, хозяин остерии, Феррер, заведующий продовольствием, компания в остерии, толпы на улицах, потом дон Абондио, потом дон Родриго — все люди, с которыми Ренцо было о чем потолковать.

Только три образа предстали перед ним без малейшего горького воспоминания, чистые от всякого подозрения, дорогие во всем, особенно два из них, правда, очень различные, но тесно сплетенные в сердце юноши: черная коса Лючии и белоснежная борода падре Кристофоро. Однако утешение, которое он испытывал, мысленно останавливаясь на них, было далеко не полным и безупречным. Думая о добром монахе, он еще острее чувствовал стыд за свои собственные выходы, за позорную свою несдержанность, за то, что так плохо воспользовался его отеческими советами! А видя перед собой образ Люции... мы не будем пытаться передать его чувства — читатель знает все обстоятельства, пусть представит себе их сам! А бедная Аньезе... мог ли он забыть про нее? Про Аньезе,

которая остановила на нем свой выбор и уже считала его чем-то единым со своей единственной дочерью; ему еще не довелось назвать ее матерью, а она уже обращалась с ним, любила его по-матерински, доказав свою заботливость на деле. И новую боль, не менее острую, причиняла ему мысль о том, что как раз из-за этого сердечного участия Аньезе, из-за ее доброго отношения к нему бедная женщина теперь лишилась своего гнезда, превратилась в скиталицу с неизвестным будущим и испытала лишь горе и муки по вине того, кто должен был дать ей покой и радость на старости лет. Что за ночь, бедный Ренцо! А ведь это могла быть пятая ночь со дня свадьбы! Что за комната! Что за брачное ложе! И после какого дня! А что сулит ему завтрашний день и за ним — всё остальное. «Да будет воля Господня, — отвечал он своим мыслям, нагонявшим на него такую тоску, — да будет воля Господня! Он знает, что делает, — и благо нам. Да зачтется все это за мои прегрешения. Лючия такая хорошая, — Господь не допустит, чтобы она страдала слишком долго».

Погруженный в эти мысли, Ренцо потерял всякую надежду задремать. А холод давал себя чувствовать все сильнее, так что юношу время от времени бросало в дрожь, и зуб на зуб не попадал. Он томился в ожидании рассвета и с нетерпением измерял медленный бег времени. Я говорю «измерял», потому что через каждые полчаса он слышал среди мертвой тишины гулкие удары каких-то часов, — вероятно, это били часы в Треццо. В первый раз, когда эти звуки совершенно неожиданно поразили слух Ренцо и он никак не мог понять, откуда они доносятся, бой часов произвел на него таинственное и торжественное впечатление, словно то было предостережение, сделанное каким-то невидимкой, голосом совсем незнакомым.

Когда, наконец, пробило одиннадцать — час, в который Ренцо собирался встать, он поднялся, почти оковеневший, преклонил колени, с большим жаром, чем обычно, прочитал утреннюю молитву, потом встал, потянулся, расправил поясницу и плечи, как бы для того, чтобы собрать воедино свои члены, которые у него работали словно все врозь, подышал на одну руку, потом на другую, потер их, открыл дверку шалаша, но прежде оглянулся во все стороны посмотреть, нет ли кого-нибудь. Не увидев никого, он отыскал глазами вечернюю тропинку, сразу узнал ее и пошел по ней.

Небо обещало погожий день. Низко стоявшая луна, бледная и тусклая, все же выделялась на необъятном серовато-лазорево-небосводе, который по направлению к востоку постепенно становился розовато-желтым. А еще дальше, на самом горизонте, длинными неровными полосами вырисовывались небольшие облака лилового цвета; те, что пониже, были окаймлены словно огненной полосой, становившейся все ярче и резче. К югу клубились другие облака, легкие и рых-

лые, давая тысячу причудливых оттенков, — словом, то было небо Ломбардии, такое прекрасное, такое великолепное, такое мирное. Если бы Ренцо шел, просто прогуливаясь, он, разумеется, посмотрел бы вверх и полюбовался бы на этот рассвет, столь отличный от того, какой он обычно видел у себя в горах. Но он был поглощен своей дорогой и шел быстрыми шагами, чтобы согреться и дойти скорее.

Он прошел полем, целиной, миновал заросли, пересек лес, оглядываясь по сторонам, усмехаясь и вместе с тем стыдясь своего страха, который мучил его несколько часов назад. С края высокого берегового откоса он посмотрел вниз и сквозь чащу увидел лодку рыбака, которая медленно плыла против течения, держась этого берега. Кратчайшим путем через терновник Ренцо быстро спустился вниз. И вот он на берегу. Едва слышным голосом окликнул он рыбака. И делая вид, будто просит о самой незначительной услуге, а на самом деле, не замечая этого, с лицом почти умоляющим, сделал ему знак причалить. Рыбак обвел взглядом весь берег, внимательно посмотрел вдоль реки, обернулся, чтобы взглянуть назад, вниз по течению, и только после этого направил нос лодки к Ренцо и причалил. Ренцо, стоявший на самом берегу, одной ногой почти в воде, схватился за нос лодки, прыгнул в нее и сказал:

— Окажите мне услугу — переправьте меня на ту сторону, я заплачу.

Рыбак догадался, в чем дело, и уже повернул лодку в нужном направлении, а Ренцо, заметив на дне лодки другое весло, наклонился и схватил его.

— Потише, потише! — сказал хозяин. Но, заметив, с какой ловкостью молодой человек взялся за это орудие и приготовился им действовать, прибавил: — Ого, да вы, я вижу, знаете толк в этом деле.

— Немножко, — отвечал Ренцо и принялся за дело с силой и умением несколько большим, чем любительское. Юноша, ни на минуту не переставая грести, нет-нет да и поглядывал недоверчиво на берег, от которого они удалялись, и устремлял нетерпеливый взор на берег, к которому они повернули. Его огорчало, что нельзя добраться до него кратчайшим путем: течение в этом месте было слишком сильно, чтобы можно было пересечь реку напрямик, и лодку, плывшую наперерез течению, относило в сторону, так что она двигалась по диагонали.

Как это бывает при всех сколько-нибудь запутанных обстоятельствах, трудности выступают в общих чертах, а затем, по мере осуществления задуманного, обрисовываются детали. Теперь, когда можно сказать, реку уже переплыли, Ренцо стал сомневаться, здесь ли проходит граница, или, быть может, взяв это препятствие, ему придется преодолеть еще и другое. А потому, окликнув рыбака и кивнув головой в сторону того беловатого пятна, которое он заметил минувшему

ночью, показавшегося ему тогда гораздо более отчетливым, он сказал:

- Что это там, не Бергамо ли?
- Город Бергамо, — ответил рыбак.
- А тот берег — уже бергамазский?
- Земля Сан-Марко.
- Да здравствует Сан-Марко! — воскликнул Ренцо.

Рыбак промолчал.

Наконец, они причалили к берегу. Ренцо спрыгнул на землю, возблагодарив про себя Бога, а потом, вслух, лодочника: он опустил руку в карман и вынул оттуда берлингу, что, принимая во внимание обстоятельства, было немалым для него расходом, и подал ее доброму человеку, который, окинув еще раз взглядом миланский берег и реку вверх и вниз по течению, протянул руку, взял вознаграждение, спрятал его, потом, сжав губы и приложив к ним указательный палец, сопровождая этот жест выразительным взглядом, промолвив: «Счастливого пути!» — повернул обратно. Дабы такая быстрая и молчаливая услужливость рыбака по отношению к незнакомцу не слишком удивила читателя, мы должны осведомить его, что человек этот привык частенько оказывать подобные услуги по просьбе контрабандистов и бандитов, и не столько из любви к тому неверному барышу, который ему иной раз перепадал, сколько из опасения нажить себе врагов среди этих людей. Он это делал всякий раз, когда мог быть уверен, что его не увидят ни таможенники, ни полицейские, ни разведчики. Так, не оказывая одним предпочтения перед другими, он стремился угодить всем с тем беспристрастием, какое свойственно всем, кто вынужден водиться с одними и обязан отчитываться перед другими.

Ренцо на минуту остановился, чтобы взглянуть на противоположный берег, на ту землю, которая еще так недавно горела у него под ногами. «А, наконец-то я действительно выбрался оттуда», — была его первая мысль. «Оставайся там, проклятая страна», — было его второй мыслью, его прощанием с родиной. А третья мысль понеслась к тем, кого покинул он в этой стране. Тогда он скрестил на груди руки, вздохнул, опустил глаза на воду, бежавшую у его ног, и подумал: «А ведь она теперь и под нашим мостом!» Так, употребляя нарицательное имя вместо собственного, называл он, по обычаю своей деревни, мост в Лекко. «О подлый мир! Ну, довольно! Да будет воля Божья!»

Он отвернулся от этих печальных мест и пустился в путь, не теряя из виду беловатого пятна на склоне горы, пока ему не встретится кто-нибудь, кто сможет указать точную дорогу. И надо было видеть, как непринужденно подходил он к прохожим и без всяких ухищрений называл селение, где жил его двоюродный брат. От первого же, к кому он обратился, он узнал, что ему осталось пройти еще миль девять.

Невеселое это было путешествие. Не говоря уже о том, что Ренцо был полон своим горем, ему на каждом шагу попадались печальные признаки того, что в краях, куда он держал путь, он столкнется с той же нуждой, какую оставил на родине. По дороге, а особенно в селеньях и местечках, он повсюду встречал нищих. Это не были настоящие нищие, нищета их сказывалась скорее в облике, чем в одежде. То были крестьяне, горцы, ремесленники, многие целыми семьями, вокруг раздавался смешанный гул голосов, мольбы, жалобы и детский плач. Зрелище это, вызывая сострадание и жалость, наводило юношу на размышления о собственной своей участи.

«Кто знает, — раздумывал он, — удастся ли мне устроиться? Найдется ли работа, как бывало в прошлые годы? Ну, ладно. Бортоло ко мне расположен, он хороший парень, заработал денюгу, звал меня столько раз, — он меня не оставит. А потом, ведь само провидение помогало мне до сих пор. Поможет оно мне и в будущем».

Меж тем аппетит, уже некоторое время дававший о себе знать, возрастал с каждой пройденной милей. И хотя Ренцо, чувствуя его, прикинул, что, пожалуй, можно было бы без большого ущерба потерпеть оставшиеся две-три мили, однако, с другой стороны, он подумал, что не так-то удобно явиться к кузену словно какой-то нищий и сразу же заявить ему: «Дай-ка ты мне поесть». Он вытащил из кармана все свое богатство, перебрал его на ладони и подсчитал. Не Бог вещь такая для этого потребовалась арифметика, но все же подкрепиться хватило бы. Он вошел в остерию заморить червячка. И действительно, когда он расплатился, у него осталось еще несколько сольди.

Уходя, он заметил у самой двери, — и чуть было не споткнулся, — двух женщин, скорее растянувшихся на земле, чем сидевших. Одна была уже в летах, другая помоложе, с младенцем на руках, который, тщетно пососав обе груди, плакал навзрыд. Смертельная бледность покрывала их лица, а рядом стоял мужчина, в лице и фигуре которого еще чувствовались следы былой силы, обескровленной и почти истощенной длительным недоеданием. Все трое протянули руки навстречу человеку, выходявшему из остерии с бодрым видом и твердым шагом. Никто из них не проронил ни слова. Да разве какая угодно мольба могла бы сказать больше?

«Такова, видно, воля провидения», — подумал Ренцо. Он опустил руку в карман, вынул оттуда свои последние сольди и, положив их в протянутую руку, что была поближе, двинулся дальше.

Трапеза и доброе дело (ведь мы состоим из тела и души) привели его в более радостное и бодрое настроение. Во всяком случае, расставшись таким образом с последними деньжонками, он вдруг почувствовал такую уверенность в буду-

щем, какую он вряд ли ощутил бы, попадись ему на дороге вдесятеро больше денег. Ведь если уж провидению было угодно поддержать в этот день бедняков, обессилевших на дороге, сохранив последние гроши какого-то чужеземца, беглеца, неуверенного в своем завтрашнем дне, — как же может быть, чтобы в беде оно покинуло того, кого избрало своим орудием, кому дало столь живое, столь действенное и столь решительное напоминание о себе? Таковы были приблизительно мысли нашего юноши, только, пожалуй, не столь ясные, как это удалось выразить нам. Весь остальной путь он мысленно перебирал свои дела, и ему казалось, что все ему благоприятствует. Голод скоро кончится. Ведь урожай снимают каждый год. А пока что у него есть кузен Бортоло и умелые руки. Кроме того, дома осталось немного денег, пусть их перешлют ему сюда. С ними можно, с грехом пополам, перебиться со дня на день до наступления лучших времен. «А когда, наконец, они вернутся, — продолжал мечтать Ренцо, — опять наступит горячая пора: хозяева наперебой будут гоняться за миланскими рабочими, которые лучше всех знают свое ремесло. Миланские рабочие задерут нос: кому нужны умелые люди, тот пусть и платит хорошо; заработки пойдут такие, что на одного хватит с лихвой, кое-что сумеешь даже отложить на черный день, тогда и напишешь женщинам, чтобы они приехали... А впрочем, зачем же ждать так долго? Разве нельзя нам с небольшими сбережениями устроиться уже в эту зиму? Вот мы и заживем тут. Курато есть повсюду. Приедут мои милые женщины, и мы возьмемся за хозяйство. А какое удовольствие прогуливаться по этой самой дороге всем вместе! Добраться в повозке до самой Адды и пополдничать на берегу, именно на берегу, и показать женщинам место, где я сядился в лодку, терновую заросль, через которую я пробирался, и место, где остановился посмотреть, не видать ли где лодки».

Он подошел к селению, где проживал его кузен. Еще издали, прежде чем переступить порог, он заметил высоченное здание со многими рядами больших окон. Он узнал прядильню, вошел и, среди грохота падающей воды и колес, громким голосом спросил, нет ли здесь некоего Бортоло Кастаньери.

— Синьора Бортоло? Да вот он!

«Синьора? — хороший знак», — подумал Ренцо и, увидев кузена, побежал ему навстречу. Тот обернулся, узнал юношу, подошедшего со словами: «А вот и я». Пошли ахи и охи, оба всплеснули руками и бросились обнимать друг друга. После первых приветствий Бортоло отвел нашего юношу подальше от шума машин и от глаз любопытных в другую комнату и сказал ему:

— Я рад тебя видеть; но ты чудак! Ведь сколько раз я тебя звал, а ты все никак не хотел приезжать; теперь же ты попал в несколько трудную минуту...

— Сказать тебе по правде, я ведь ушел не по своей воле, — сказал Ренцо и в немногих словах, сдерживая волнение, поведал свою печальную историю.

— Да это совсем иное дело, — сказал Бортоло. — Бедный Ренцо! Но раз ты рассчитываешь на меня, я тебя не оставлю. Конечно, сейчас спроса на рабочих нет, — наоборот, всякий с трудом держит своих, чтобы только не растерять их и не свернуть дела. Впрочем, хозяин меня любит, да и деньги у него есть. И, знаешь ли, не хвастаясь, могу сказать, этим он главным образом обязан мне: у него капитал, а у меня — немного уменя. Я — за главного мастера, понимаешь? Ну, а затем, сказать по правде, я у него на все руки... Бедняжка Лючия Монделла! Я ее помню, словно это было вчера, — славная девушка! В церкви всегда такая степенная, а когда, бывало, проходишь мимо их домика... Я как сейчас вижу этот домик, почти за околицей, с прекрасным фиговым деревом, которое свешивается через изгородь...

— Не надо, не надо, Бортоло, прекратим этот разговор.

— Я хотел только сказать, что когда, бывало, проходишь мимо их дома, вечно слышишь, как жужжит мотовило, жужжит себе и жужжит. А этот дон Родриго! Уже в мое время он был на плохой дорожке, а теперь, как вижу, распоясался вовсю, — пока Господь не наденет на него узду. Так вот, значит, как я уже тебе сказал, и здесь голод тоже немножко дает себя знать... А кстати, как у тебя по части аппетита?

— Да я недавно закусывал, еще в дороге.

— Ну, а насчет денег, как у тебя обстоит?

Ренцо протянул руку, поднес ее к губам и слегка дунул на ладонь.

— Пустяки, — сказал Бортоло. — Деньги у меня есть, об этом ты не беспокойся; скоро, скоро, Бог даст, дела поправятся, ты их мне вернешь, да еще и себе отложишь.

— Да у меня дома есть малая толика, я попрошу переслать их сюда.

— Отлично, а пока рассчитывай на меня. Господь благословил мой труд, чтобы я делал добро, так кого же мне поддерживать, как не родственников и друзей?

— Я всегда полагался на провидение, — воскликнул Ренцо, сердечно пожимая руку доброму кузену.

— Так, значит, — продолжал тот, — в Милане изрядно пошумели. Сдается мне, они все немножко сошли с ума. Слухи об этом, разумеется, дошли и до нас, но мне хочется, чтобы ты рассказал мне все поподробнее. Да, есть о чем потолковать! У нас, видишь ли, гораздо спокойнее, все делается более благоразумно. Город закупил у одного купца, живущего в Венеции, две тысячи тюков зерна, — зерно из Турции. Но, знаешь, раз дело идет о хлебе насущном, не приходится быть слишком разборчивым. Теперь послушай,

что же произошло дальше. А произошло вот что: правители Вероны и Брешии закрывают все проходы и заявляют: «Здесь зерно не пропускается». Что же делают наши бергамазцы? Отправляют в Венецию Лоренцо Торре, ученого, да еще какого! Тот спешно отбывает, получает аудиенцию у дожа и говорит ему: «Что за странная фантазия пришла в голову этим синьорам правителям?» И произносит целую речь, да, говорят, такую речь, что хоть прямо печатай! Что значит иметь человека, который умеет говорить! Немедленно приказ: пропустить зерно; и правители не только пропускают, но даже конвой приставляют к обозу. Как раз сейчас он в пути. И об округе тоже позаботились. Джованбатиста Бьява, бергамазский нунций в Венеции (тоже, скажу тебе, человек!), дал понять сенату, что и деревня страдает от голода. И сенат отпустил четыре тысячи стайо проса. Оно подмешивается в хлеб. А потом, знаешь, коли не будет хлеба, станем есть что-нибудь взамен. Господь Бог благословил наш труд... Теперь сведу тебя к хозяину. Я много раз говорил ему о тебе, он примет тебя хорошо. Он настоящий бергамазец старой закалки, натура широкая. По правде сказать, сейчас он тебя не ожидал, но когда он услышит твою историю... А потом, рабочими он дорожит, потому что голод ведь пройдет, а дело останется. Однако прежде всего надо тебя предупредить об одной вещи. Ты знаешь, как они называют здесь всех нас, тех, что из Миланского герцогства?

— Как же?

— Простофилями.

— Не очень-то лестное прозвище!

— А вот называют же! Тому, кто родом миланец и хочет жить у бергамазцев, приходится с этим мириться. Назвать миланца простофилей для них все равно, что величать кавалера вашим сиятельством.

— Я думаю, они позволяют себе называть так того, кто это терпит.

— Эх, мой милый! Если ты не согласен на каждом шагу проглатывать это прозвище, тогда тебе нечего и нос совать сюда. Пришлось бы все время хвататься за нож; ну, допустим, если даже ты зарежешь двух, трех, четырех, в конце концов найдется и такой, что зарежет тебя, — и тогда что за охота предстать пред престолом Всевышнего с тремя или четырьмя убийствами на душе?

— Ну, а если миланец такой, что у него тут немножко есть? — И Ренцо постучал себя по лбу пальцем, как тогда в остерии «Полной луны». — Я хочу сказать — такой, что хорошо знает свое дело?

— Все едино: здесь и такого прозовут простофилей. Знаешь, как говорит мой хозяин, когда заводит речь обо мне со своими друзьями? «Этот простофиля стал в моем деле прямо

десницей Божьей; не будь у меня этого простофили, я бы совсем запутался». Такой уж тут обычай.

— Глупый обычай! А когда они увидят, что мы умеем работать (ведь в конце концов мы же занесли сюда это производство и благодаря нам оно здесь развивается), — неужели это не заставит их измениться?

— Пока нет; со временем, может быть. Разве вот ребятишки, которые подрастают... а с людьми сложившимися ничего не поделаешь. Они уже усвоили эту дурную привычку и не собираются ее бросать. Да в конце концов не велика и беда. А вот те любезности, которые тебе оказали и, что еще важнее, собираются оказать наши дорогие соотечественники, — это уж совсем другое дело.

— Да, конечно. Если все зло только в этом...

— Вот если ты это понял, все сойдет хорошо. Идем к хозяину и не падай духом.

Действительно, все сошло хорошо, совсем как обещал Бортоло, так что мы считаем лишним подробно рассказывать об этом. И поистине, это было помощью провиденья, ибо что касается имущества и денег, оставленных Ренцо дома, мы сейчас увидим, насколько можно было на них рассчитывать.

Глава восемнадцатая

В тот же самый день, 13 ноября, к синьору подеста в Лекко прибыл нарочный и предъявил ему депешу синьора капитана полиции, содержащую приказ произвести всестороннее и самое обстоятельное расследование, дабы выяснить относительно некоего молодого человека, по имени Лоренцо Трамаллино, прядильного мастера, убежавшего из пределов досягаемости *praedicti egregii domini capitanei*¹, не вернулся ли он *palam vel clam*² в свою деревню, в какую точно — *ignotum*, но *verum in territorio Leuci: quod si compertum fuerit sic esse*³, названный господин подеста пусть постарается *quanta maxima diligentia fieri poterit*⁴ — захватить его и, должным образом связанного, *videlizet*⁵ закованного в хорошие кандалы, — поелику недостаточность простых рукавчиков для названного лица доказана на опыте, — препроводить в тюрьму, где и содержать под надежной охраной, с тем чтобы потом передать его лицу, посланному для принятия его. Как в положительном, так и в

¹ ...вышеупомянутого превосходного господина капитана (лат.).

² Явно или тайно (лат.).

³ ...неизвестно, но именно на территории Лекко, и, если установлено будет, что это так (лат.).

⁴ ...произвести это с наибольшим возможным усердием (лат.).

⁵ Сиречь (лат.).

отрицательном случае *accedatis ad domum praedicti Laurentii Tramaliini, et, facta debita diligentia, quidquid ad rem repertum fuerit auferatis; et informationes de illius prava qualitate, vita, et complicitibus sumatis*¹ и обо всем сказанном и сделанном, обнаруженном и не обнаруженном, взятом и оставленном, *diligenter referatis*².

Синьор подеста, уведомленный после тщательных розысков, что лицо это в деревню не возвращалось, призвал к себе сельского консула и приказал отвести себя к указанному дому в сопровождении большой свиты, состоящей из полицейских и чиновников. Дом на запоре. Человека того, в чьих руках ключи, нет на месте, и найти его не удастся. Дверь взламывают и приступают к делу с «должною тщательностью», то есть, попросту говоря, действуют как в городе, взятом приступом. Весть об этом походе немедленно распространяется по всей округе и доходит до слуха падре Кристофоро. Изумленный и не менее того огорченный, он расспрашивает кого только может, чтобы хоть что-нибудь узнать о причине столь неожиданного происшествия. Но ему удастся собрать лишь необоснованные слухи, и он немедленно пишет падре Бонавентуро, в надежде получить от него более верные сведения. Меж тем родственников и друзей Ренцо вызывают дать показания о том, что они знают про его «дурные свойства». Носить имя Трамальяно — это несчастье, позор, преступление. Вся деревня в суматохе. Мало-помалу становится известно, что Ренцо средь бела дня в самом центре Милана ускользнул из рук полиции и скрылся. Поговаривали, что он совершил какой-то тяжелый проступок; но в чём дело — толком никто ничего сказать не мог, лишь на сто ладов обсуждали происшествие. И чем тяжелее проступок приписывали Ренцо, тем меньше верили этому в деревне, где его знали за честного малого. Большинство сходилось на том — и об этом шепотом сообщали друг другу, — что вся эта история была затеяна тираном доном Родриго с целью погубить своего несчастного соперника. Вот что значит делать заключения путем индукции без необходимого знания фактов, — так, пожалуй, можно понапрасну обидеть даже негодяев.

Но мы, как говорится, с фактами в руках можем утверждать, что если он и не принимал участия в злоключениях Ренцо, тем не менее радовался им, словно они были делом его собственных рук, и торжествовал со своими приближенными, в особенности с графом Аттилио. Последний, согласно

¹ имеете вы приступить к дому вышеназванного Лоренцо Трамальяно и с должной тщательностью изыскать все, что найдено будет относящегося к данному делу, равно и собрать справки о дурных свойствах его, о его жизни и сообщниках его (*лат.*)

² обстоятельно доложить (*лат.*)

первоначальным своим намерениям, должен был бы в это время находиться уже в Милане. Но при первых известиях о мятеже, о том, что чернь разгуливает по улицам, притом без обычной готовности получать палочные удары, он предпочел задержаться в деревне, пока все не успокоится. Тем более что, нанеся обиды очень многим, он имел некоторое основание побавиться, что кое-кто из числа обиженных, молчавший до сих пор только потому, что чувствовал свое бессилие, может вдруг набраться духу, видя происходящее вокруг, и сочтет данную минуту самой подходящей, чтобы отомстить за всех.

Впрочем, отсрочка эта была не очень продолжительна. Прибывший из Милана приказ о преследовании Ренцо был уже признаком того, что дела пошли обычным ходом. И почти одновременно пришло и прямое подтверждение этого. Граф Аттилио тут же отбыл, подстрекая своего кузена упорно идти к цели и добиться успеха затеянного, обещая со своей стороны немедленно приложить руку к тому, чтобы избавить его от монаха. Приключившееся так кстати злосчастное происшествие с презренным соперником должно было сыграть большую роль в этом деле.

Не успел Аттилио уехать, как из Монцы целым и невредимым прибыл Гризо. Он доложил своему хозяину обо всем, что смог разузнать: Лючия, оказывается, нашла убежище в таком-то монастыре, под покровительством такой-то синьоры. Она все время скрывается, словно настоящая монахиня. Никогда не выходит за ворота монастыря и присутствует на всех церковных службах, стоя за окошечком с решеткой. Это очень не нравится многим, кто краем уха слышал о ее приключениях и необыкновенной красоте и был бы не прочь рассмотреть ее поближе.

От этого донесения словно бес вселился в Родриго, или, вернее сказать, бес, уже раньше в нем сидевший, разошелся вовсю. Такое благоприятное стечение обстоятельств все сильнее распяляло его страсть, иначе говоря — ту смесь самолюбия, бешенства и наглой прихоти, из которых слагалась его страсть. Ренцо в отсутствии, он — опальный изгнанник, так что по отношению к нему все дозволено, и невесту его можно до известной степени рассматривать как имущество мятежника. Единственный человек в мире, который хотел бы и мог вмешаться в это дело и поднять такой шум, что его услышали бы издали и притом даже лица высокопоставленные, был этот сумасшедший падре Кристофоро, который скоро, вероятно, уже будет лишен возможности вредить делу. И вдруг — новое препятствие, которое не то чтобы сводило на нет все эти преимущества, но, можно сказать, делало их бессильными.

Монастырь в Монце, даже если бы в нем не было синьорины, оказался для дона Родриго костью не по зубам, и, как он мысленно ни кружился вокруг этого убежища, он не мог придумать способа овладеть им силой или коварством. Он уже был

почти готов отказаться от своей затеи и отправиться окружным путем в Милан, чтобы даже не проезжать через Монцу. А там броситься в объятия друзей и всяческих развлечений, дабы веселыми забавами совсем отогнать от себя эту мысль, ставшую для него столь мучительной. Ох уж эти мне друзья! Поосторожнее с этими друзьями! Вместо того чтобы рассеяться, он мог нарваться в их обществе лишь на новые неприятности, потому что Аттилио наверняка уже раззвонил про все и возбудил всеобщее любопытство. Со всех сторон начнут расспрашивать про эту горянку, придется все объяснять. Захотелось — попытались, — а чего добились? Взялись за дело, — по правде говоря, не совсем благовидное дело, — но нельзя же всегда сдерживать свои страсти. Суть в том, чтобы их удовлетворять. И как же выпутаться из этого положения? Оставить поле битвы за мужиком и монахом? Ну-ну! А когда неожиданная удача, без всяких стараний со стороны слабосильного человека, устранила первого, а ловкий друг убрал второго, — этот слабосильный человек не сумел воспользоваться обстоятельствами и позорно бросил свою затею. Этого уже более чем достаточно, чтобы никогда не поднимать глаз в благородном обществе, либо в любой момент быть готовым скрестить шпагу. И потом, как же вернуться и как оставаться в своем поместье, в деревне, где, не говоря уже о беспрестанных и мучительных напоминаниях об этой страсти, будешь носить на себе позорное пятно от провала твоей затеи, где в то же время будет расти всеобщая к тебе ненависть и падать твое могущество? Где на лице каждого обормотца, несмотря на низкие поклоны, можно будет прочитать язвительное: «Что, съел? Ну, и рад же я!»

Путь кривды широк, — замечает по этому поводу наша рукопись, — но это не значит, что он удобен: есть на нем свои тернии, свои скользкие места. Путь этот неприятный и утомительный, хоть и ведет под гору.

Дон Родриго не хотел ни сойти с этого пути, ни повернуть назад, ни остановиться, а дойти до конца один он был не в состоянии. Но ему пришлось в голову одно средство, которое могло бы помочь ему в этом деле, — обратиться к человеку, чья рука часто доставала туда, куда не достигал даже взор других. Для этого человека, настоящего дьявола, трудность предприятия нередко служила лишним основанием взяться за него. Однако тут были свои неудобства и известная доля риска, тем более значительная, чем меньше можно было предусмотреть все заранее, ибо ведь было трудно предвидеть, до чего придется дойти, связавшись с таким человеком, — конечно, очень могущественным сообщником, но и не менее своенравным и опасным кондотьером.

Эти мысли несколько дней не давали покоя дону Родриго: продолжать ли дело, или бросить его. Оба решения были чреватые неприятностями. Тем временем пришло письмо от кузе-

на, сообщавшего, что затеянная интрига налаживается. За молнией вскоре грянул и гром. Надо сказать, что в одно прекрасное утро разнесся слух, что падре Кристофоро отбыл из монастыря Пескаренико. Этот столь быстрый успех и письмом Аттилио, который всячески ободрял кузена, грозя в противном случае всеобщими насмешками, все больше склоняли Родриго к рискованному предприятию. Последним толчком было неожиданное известие, что Аньезе вернулась домой, — одной помехой меньше на пути к Люции.

Дадим отчет о двух этих происшествиях, начав с последнего.

Едва только обе женщины успели устроиться в своем убежище, как в Монце, а стало быть и в монастыре, распространилась весть о великом мятеже в Милане, а вслед за этой главной новостью — бесконечный ряд подробностей, которые ежеминутно множились и видоизменялись. Привратница, которой из своего дома было очень удобно одним ухом обращаться к улице, а другим — к монастырю, собирала новости и тут и там и обо всем докладывала своим гостям: «В тюрьму засадили двоих, шестерых, восьмерых, четверых, семерых... их повесят, одних перед «Пекарней на костылях», других в конце улицы, где дом заведующего продовольствием... Ох-ох-ох! Вы только послушайте: один-то улизнул, родом он не то из самого Лекко, не то из округи. Имени его не знаю, но уж кто-нибудь да явится мне сказать. Посмотрим, не знаете ли его вы».

Известие это, принимая во внимание, что Ренцо прибыл в Милан как раз в роковой день, вызвало некоторое беспокойство у женщин, особенно у Люции. Но подумайте только, что было, когда привратница сообщила им: «Парень-то, который удрал, чтобы не попасть на виселицу, — впрямь из вашей деревни: прядильщик шелка, зовут его Трамальино, — вы его знаете?»

У Люции, которая и подшивала что-то, работа так и вываливалась из рук. Она побледнела, изменилась в лице, так что привратница, разумеется, заметила бы это, будь она к ней поближе. Но она стояла на пороге с Аньезе, а та, хоть и тоже была потрясена, все же не до такой степени, и смогла овладеть собой. Она сказала, лишь бы что-нибудь ответить, что в маленькой деревушке все знают друг друга, и она его тоже знает, одно только ей невдомек, как могла с ним случиться такая штука, потому что он парень смирный. Потом спросила, правда ли, что он удрал, и куда.

— Удрал! Все кругом говорят. Но вот куда — неизвестно; может, его снова схватят, а может быть, он в надежном месте. Но уж если он опять попадет им в когти, этот ваш смирный паренек...

К счастью, привратницу тут позвали, и она ушла. Вообразите себе, что было с матерью и дочерью. В течение нескольких дней бедная женщина и безутешная девушка оставались в полной неизвестности. Как? Почему? Какие будут последствия

столь прискорбного события? Вот что все время вертелось у них в голове. Каждая из них про себя либо, когда это было возможно, друг с другом обсуждали шепотом это страшное известие.

Наконец, как-то в четверг, в монастырь явился неизвестный человек и спросил Аньезе. Это был рыбак из Пескаренико, который, как обычно, направлялся в Милан для сбыта своего товара. Добрый фра Кристофоро попросил его, по пути через Монцу, завернуть в монастырь, откланяться от его имени женщинам, рассказать им то, что известно насчет печального происшествия с Ренцо, посоветовать им запастись терпением и надеяться на бога; и что он, смиренный инок, конечно, их не забудет и будет ждать случая помочь им, а пока что не преминет еженедельно сообщать им все новости либо таким же путем, либо как-нибудь иначе. Относительно Ренцо посланец не сумел сообщить ничего нового и достоверного, кроме того, что в его доме был обыск и приняты меры, чтобы его задержать. Но тут же прибавил, что все поиски кончились ничем, и достоверно известно лишь, что он благополучно укрылся на бергамазской территории. Нечего и говорить, что такая уверенность была для Люции огромным утешением. С этой минуты она уже не плакала такими нескончаемыми и горькими слезами; она находила большое успокоение в задушевных беседах с матерью и в молитвах возносила хвалу господу.

Гертруда часто вызывала ее в свою личную приемную и порой подолгу беседовала с ней, восхищаясь непосредственностью и кротостью бедняжки и постоянным выслушиванием благословений и благодарностей с ее стороны. В порыве откровенности Гертруда рассказала ей также часть своей собственной истории (безупречную ее часть), о том, что она выстрадала, прежде чем уйти страдать в монастырь, — и недоверчивое сначала отношение к ней изумленной Люции постепенно сменилось горячим сочувствием. В этой истории она нашла более чем достаточно оснований для объяснения некоторых странностей в поведении своей покровительницы, тем более что тут приходила на помощь и доктрина Аньезе насчет мозгов у синьоров.

Однако, как ни хотелось девушке ответить полной откровенностью на доверие, оказанное ей Гертрудой, ей даже в голову не приходило поделиться с ней своими новыми тревогами, своим новым несчастьем, сказать о том, кто для нее этот убежавший прядильщик, — до того не хотелось ей разглашать эту новость, столь позорную и горестную. Уклонялась она также, насколько могла, от ответов на полные любопытства расспросы Гертруды о событиях, предшествовавших обручению. Но тут ею руководили не соображения благоразумия: невинной бедняжке вся ее собственная история казалась более щекотливой, более трудной для рассказа, чем все те, какие она слышала или могла услышать из уст синьоры. В последних речь шла о притеснении, коварстве, страданиях, — все это

прискорбные и ужасные вещи, но все же о них можно было говорить. В ее же собственной истории ко всему примешивалось еще одно чувство, одно только слово — любовь, — и ей казалось невозможным произнести его, когда говоришь о самой себе, а между тем выразить его как-то иносказательно она не могла, ибо это непременно показалось бы ей зазорным.

Такая настороженность порою вызывала в Гертруде почти досаду, но сколько в Лючии было привязанности, уважения, благодарности и даже доверия! Иногда, быть может, такая необычайная стыдливость, такая робость не нравились Гертруде и по другой причине, но все это исчезало от сладостной мысли, постоянно возвращавшейся к ней при взгляде на Люцию: «Ведь я делаю ей добро». И так было на самом деле, ибо, не говоря уже об убежище, эти беседы, эти родственные ласки были немалым утешением для Люции. Другое она находила в непрестанной работе. Она все время просила какой-нибудь работы. Даже в приемную она всегда приносила какое-нибудь рукоделие, чтобы руки не оставались праздными. Но как, однако, скорбные мысли врываются всюду! Вот шьет она и шьет, — это занятие было для нее почти совершенно новым, — а в мечтах у нее родное мотовило, а за ним — столько всякого другого!

В следующий четверг опять завернул рыбак, не то какой-то другой посланец, с приветом от падре Кристофоро и снова подтвердил, что бегство Ренцо сошло благополучно. Более определенных сведений о его горестных скитаниях никаких не было, потому что, как мы уже сказали читателям, капуцин рассчитывал получить их от своего миланского собрата, которому он препоручил Ренцо. Но тот ответил, что он так и не видел ни Ренцо, ни письма. Правда, приходил кто-то из деревни, спрашивал его, но, не застав, ушел и больше не появлялся.

В третий четверг уже никто не явился. Для бедных женщин это было не только лишением желанного и долгожданного утешения, но и поводом для беспокойства, для сотни страшных подозрений, как это всегда бывает из-за каждого пустяка с теми, кто находится в тяжелом и запутанном положении. Аньезе еще до этого подумывала о том, как бы побывать дома. Когда обещанный посланец не явился, ее решение окрепло. Но для Люции оторваться от материнской юбки было делом нелегким. Однако страстное желание узнать что-нибудь и уверенность в надежности убежища, столь охраняемого и святого, сломили ее сопротивление. И они порешили между собой, что на следующий день Аньезе выйдет на большую дорогу и станет дожидаться рыбака, который должен был проехать мимо на обратном пути из Милана. Она, в виде одолжения, попросит у него местечка в повозке, чтобы добраться до родных гор. Действительно, Аньезе встретила его, спросила, не давал ли падре Кристофоро ему каких-нибудь поручений к ней. Но рыбак весь день накануне отъезда зани-

мался рыбной ловлей и ничего не знал о монахе. Аньезе не пришлось его долго упрашивать. Она распростилась с синьорой и с дочерью, поплакав, как водится, пообещав немедленно дать знать о себе и скоро вернуться, — и уехала.

В пути ничего особенного не случилось. По обыкновению, переночевали в остерии, до рассвета тронулись дальше и спозаранку прибыли в Пескаренико. Аньезе слезла на небольшой площади перед монастырем и рассталась со своим возницей, без конца повторяя ему вслед: «Да благословит вас Господь». И раз уж она попала сюда, ей захотелось, прежде чем отправиться домой, повидаться со своим благодетелем, падре Кристофоро. Она позвонила в колокольчик. На звонок вышел фра Гальдино, тот самый, что приходил за орехами.

— А, голубушка, каким это ветром занесло вас сюда?

— Мне бы хотелось повидать падре Кристофоро.

— Падре Кристофоро? Его нет.

— Да ну? А скоро он вернется?

— Да как вам сказать... — заявил монах, поднимая плечи и втягивая бритую голову в капюшон.

— А куда же он отправился?

— В Римини.

— Куда?

— В Римини.

— А это где ж такое?

— Далеко! — отвечал монах, проведя по воздуху вертикальную черту, словно желая обозначить этим огромное расстояние.

— Ох, горе мне! Почему же это он вдруг туда отправился?

— Потому что так было угодно падре провинциалу.

— Да зачем же было отсылать его? Ведь он и тут делал так много добра. О Господи!

— Если б старшим приходилось отдавать отчет в своих распоряжениях, где же тогда было бы послушание, голубушка?

— Так-то оно так. Да мне-то это прямо гибель.

— Знаете, в чем дело? Должно быть, в Римини нужен был хороший проповедник (они у нас везде есть, но иной раз требуется такой человек, который прямо для этого создан). Тамошний падре провинциал, надо полагать, и написал здешнему падре провинциалу, нет ли, мол, у него такого-то и такого-то человека, а падре провинциал и подумал: «Тут не обойтись без падре Кристофоро». Вот так-то оно, должно быть, и было.

— Ах, мы несчастные! И когда же он отбыл?

— Позавчера!

— Ну вот! Что бы мне послушаться своего предчувствия и приехать на несколько дней раньше! А неизвестно, когда он может вернуться? Хотя бы приблизительно?

— Эх, голубушка! То ведомо одному лишь падре провинциалу, да и он-то знает ли? Когда у нас падре проповедник

возносится, никому не суждено провидеть, где-то он сядет. То туда его зовут, то сюда, а у нас монастыри во всех четырех частях света. Допустим, что падре Кристофоро в Римини наделает много шуму своими великопостными проповедями, — потому что он не всегда проповедует с ходу, как Бог на душу пошлет, как это он делает тут для рыбаков да крестьян. Для городских кафедр у него есть свои прекрасные проповеди, писанные, и притом самые отменные. Вот по всем местам и распространяется молва о великом проповеднике. Ну, и могут явиться за ним из... да почему я знаю откуда? И тогда придется посылать его, потому что мы ведь живем щедротами всего мира и, поистине, обязаны служить всему миру.

— О Господи, Господи! — снова воскликнула Аньезе, чуть не плача. — Что ж мне делать без этого человека? Ведь он был нам вместо отца! Для нас это прямо гибель.

— Послушайте, голубушка, падре Кристофоро был действительно достойный человек, но ведь у нас есть и другие. Разве вы не знаете? Сердечные и умные, умеющие обходиться и с синьорами и с бедняками. Возьмем падре Атанасио! Или, может быть, вам будет по душе падре Джироламо, а не то — падре Цаккариа! Видите ли, этот падре Цаккариа — очень стоящий человек! И не обращайтесь внимания, как иные невежды, на то, что он такой тщедушный, и голосок у него дребезжащий, и бородка тощая-претоящая. Не скажу, что он в самый раз для проповедей, — ведь у каждого свои дарования, — ну, а чтобы совет подать, я вам скажу, это такой человек!

— Ах, нет, ради Бога! — воскликнула Аньезе с благодарностью, но и с нетерпением, как это всегда бывает, когда отвечают на предложение, которое нам не очень нравится, хоть и делается от души. — Что мне за дело до того, каков один, каков другой падре, раз тот бедняга, которого больше нет, знал обо всех наших делах и все устроил, чтобы помочь нам.

— Ну, тогда придется потерпеть.

— Это я знаю, — ответила Аньезе, — простите за беспокойство.

— Да что вы, голубушка! Мне жаль вас. А если вы решите обратиться к кому-нибудь из нашей братии, то монастырь — вот он, всегда на своем месте. Ох, да и я скоро опять покажусь у вас — приду масло собирать.

— Будьте здоровы, — сказала Аньезе и отправилась в свою деревушку, огорченная, смущенная, сбитая с толку, подобно бедному слепцу, потерявшему свой посох.

Осведомленные несколько лучше, чем фра Гальдино, мы можем рассказать, как же все произошло на самом деле. Едва прибыв в Милан, Аттилио, как и обещал Родриго, отправился навестить их общего дядю, члена Тайного совета. (Это была консульта, состоявшая в ту пору из тринадцати лиц, гражданских и военных: губернатор совещался с ними о делах, а в

случае смерти или смены губернатора к совету временно переходило все управление.) Дядюшка-граф, лицо гражданское и один из старейших членов совета, имел там некоторый вес, а в уменье использовать его в своих целях и извлекать из этого выгоду не имел себе равных. Говорил он всегда загадочно, молчал многозначительно; вечно чего-то не договаривал; прищуривал глаза, что означало у него: «не могу сказать»; льстил напропалую, не давая никаких обещаний; вежливо угрожал, — все у него было направлено к одной цели, и все так или иначе служило ему на пользу. Иной раз он, бывало, изречет: «Я в этом деле ничем не могу вам помочь», и это сущая правда, но скажет он это с таким видом, что ему никто не поверит, и в конце концов создается преувеличенное мнение о его возможностях, а отсюда и рост его влияния: так в аптекарских лавчонках порой еще попадаются коробки с таинственными арабскими надписями, а внутри — пустые, однако они способствуют поддержанию репутации лавчонки. Влияние дядюшки-графа, которое уже давно и непрерывно возрастало, хотя и весьма медленно, в последнее время сделало вдруг, что называется, гигантский скачок в связи с одним чрезвычайным обстоятельством, а именно — его поездкой в Мадрид с поручением ко двору. О том, как его там принимали, надо было послушать из его собственных уст. Достаточно сказать, что граф-герцог оказал-де ему особое внимание, приблизив его к себе до такой степени, что однажды в присутствии, можно сказать, почти всего двора спросил, как ему понравился Мадрид, а в другой раз, стоя с ним в амбразуре окна, с глазу на глаз, сказал ему, что Миланский собор — самый большой храм во владениях короля.

Засвидетельствовав дядюшке-графу свое почтение и приветствовав его от имени кузена, Аттилио сказал с тем серьезным видом, какой он при случае умел принимать:

— Я считаю своим долгом, нисколько не нарушая доверия Родриго, предупредить вас, синьор-дядюшка, об одном деле, которое без вашего вмешательства может принять серьезный оборот и повести к плохим последствиям.

— Могу себе представить, опять какая-нибудь его выходка.

— По совести говоря, на этот раз вина не моего кузена. Но он очень взволнован, и, повторяю, только вы один, синьор-дядюшка, можете...

— Посмотрим, посмотрим.

— Да, есть у них там один монах-капуцин, он что-то имеет против Родриго, и дело дошло до того, что...

— Сколько раз я говорил вам обоим: предоставьте вы этим монахам вариться в собственном соку! Довольно они причиняют хлопот тем, кому приходится... кого это касается... — Тут он запыхтел. — А вы, кажется, могли бы избежать...

— Синьор-дядюшка, в данном случае — и мой долг сказать

это — Родриго рад был бы с ним не связываться, но у монаха зуб против Родриго, и он всячески его задирает.

— Какого же черта этот монах лезет к моему племяннику?

— Прежде всего — это человек занозистый, он уж этим известен. Ссориться с кавалерами — у него это в некотором роде профессия. Он, видите ли, не то опекает, не то наставляет — почем я знаю — какую-то тамошнюю деревенскую девчонку и питает к ней расположение, такое расположение... не скажу — корыстное, но чрезвычайно ревнивое, мнительное, обидчивое.

— Понимаю, — сказал дядюшка-граф, и сквозь тупость, начертанную самой природой на его лице, тупость, искусно замаскированную навыками многолетней дипломатии, вдруг сверкнуло что-то коварное, производившее весьма неожиданное впечатление.

— Так вот, с некоторых пор этот монах вбил себе в голову, что у Родриго есть какие-то виды на эту...

— Вбил себе в голову... вбил себе в голову... ну, я ведь тоже знаю синьора Родриго. Чтобы оправдать его по этой части, пожалуй, понадобился бы адвокат посерьезней вашей милости.

— Уважаемый синьор-дядюшка! Я, конечно, готов поверить, что Родриго, возможно, позволил себе какую-нибудь шутку по отношению к этой девушке, повстречав ее на улице, — он же молод и, наконец, он не капуцин. Но ведь это пустяки, на которых, синьор-дядюшка, не стоит и останавливаться. Важно то, что монах этот принялся говорить о Родриго словно о каком-то проходимце, и старается натравить на него всю округу...

— А как остальные монахи?

— Ну, те в эти дела не вмешиваются, они знают, что это за горячая голова, и к тому же относятся с большим уважением к Родриго. Однако, с другой стороны, монах этот пользуется большим влиянием у мужичья, потому что он, кстати сказать, разыгрывает из себя святого и...

— Я полагаю, он не знает, что Родриго мой племянник?

— Как не знает? Это-то его больше всего и раздражает.

— Как? Почему?

— Да потому, что (по его словам) ему доставляет особенное удовольствие насолить именно Родриго, ибо у него есть естественный покровитель да еще с таким огромным влиянием, как ваша милость. Он говорит, что ему наплевать на всяких вельмож и политиков, и что вервие Сан-Франческо парализует даже мечи, и что...

— Дерзкий монах! Как его имя?

— Фра Кристофоро из ***, — сказал Аттилио.

Дядюшка-граф, взяв из стоявшей на столике коробочки памятную книжечку, сопел, сопел да и записал-таки в нее это злополучное имя. Меж тем Аттилио продолжал:

— Он всегда был такого нрава, этот монах, его жизнь ведь

хорошо известна. Он простого звания, но, имея кое-какие деньжонки, захотел у себя на родине потягаться с кавалерами; взбешенный тем, что это оказалось ему не по плечу, он убил одного из них, а потом, чтобы избежать виселицы, постригся в монахи.

— Ишь, молодец! Отлично! Посмотрим, посмотрим, — говорил дядюшка-граф, все продолжая сопеть.

— А теперь, — подхватил Аттилио, — он взбешен больше чем когда-либо, потому что один план, который он принимал близко к сердцу, вылетел в трубу. Уже по одному этому вы можете, синьор-дядюшка, судить, что это за человек. Он, видите ли, хотел выдать эту особу замуж; то ли чтобы спасти ее от мирских соблазнов, — вы меня понимаете, — то ли по какой другой причине, но он во что бы то ни стало хотел выдать ее замуж; и нашел... подходящего человека — тоже своего любимчика, личность, которую, быть может, и даже почти наверное, вы, синьор-дядюшка, знаете по имени, потому что Тайный совет, я в этом уверен, должен был заняться этой достойной особой.

— Кто же это такой?

— Прядильщик один, Лоренцо Трамальино, тот самый, который...

— Лоренцо Трамальино! — воскликнул дядюшка-граф. — Прекрасно! Ну, и молодец падре! Разумеется... в самом деле... у него там было письмо к одному... Жаль, однако, что... Впрочем, это неважно. Превосходно! А почему синьор дон Родриго ничего не сказал мне обо всем этом? Почему же он дает зайти делу так далеко и не обращается к тому, кто может и хочет направить его и помочь?

— Скажу вам сущую правду и на этот раз, — продолжал Аттилио. — С одной стороны, зная, сколько забот, сколько важных дел в голове у синьора-дядюшки (тут дядюшка, засопев, положил руку на голову, словно желая показать, как трудно вместить туда все эти дела), он постеснялся прибавить вам еще лишнюю заботу. А потом, скажу прямо: насколько я мог понять, он так рассержен, настолько выведен из себя, так все эти подлости со стороны монаха ему опротивели, что он готов с ним сам расправиться, как-нибудь попросту, чем добиваться законного правосудия с помощью благоразумия и поддержки синьора-дядюшки. Я пытался утихомирить его, но, видя, что дело принимает плохой оборот, я счел своим долгом предупредить обо всем вас, синьор-дядюшка, — ведь, в конце концов, вы глава и столп всей нашей семьи.

— Ты сделал бы лучше, поговорив со мной несколько раньше.

— Вы правы! Но я все время думал, что дело уляжется само собой, — монах в конце концов либо образумится, либо покинет этот монастырь; как это у них всегда бывает, нынче они здесь, завтра там; все бы на этом и кончилось. Но...

— Теперь я сам возьмусь уладить это дело.

— Я так и думал, что дядюшка-граф, с его благоразумием, с его авторитетом, сумеет предупредить скандал и заодно спасти честь Родриго, которая ведь является и его собственной честью. Монах этот, говорил я себе, вечно носится с вервием Сан-Франческо, но если уж пользоваться им к месту, этим вервием Сан-Франческо, то нет надобности обязательно носить его вокруг брюха. У синьора-дяди, конечно, найдется сотня средств, которых я не знаю, — знаю только, что падре провинциал — как и полагается — относится к вам с большим почтением; и если синьор-дядя считает, что в данном случае лучшим средством было бы заставить монаха переменить климат, то стоит вам сказать два слова...

— Предоставьте, ваша милость, подумать об этом тем, кого это касается, — несколько грубовато заметил дядюшка-граф.

— Вот это верно! — воскликнул Аггилио, слегка покачав головой со снисходительной усмешкой по собственному адресу. — Мне ли давать советы синьору-дядюшке? Лишь горячая забота о чести нашей семьи заставила меня говорить. И боюсь, не сделал ли я и другой ошибки, — прибавил он с глубокомысленным видом, — боюсь, не повредил ли я в ваших глазах Родриго, синьор-дядюшка? Я потерял бы покой, если бы по моей вине вы стали думать, что Родриго не питает к вам того доверия, того почтения, которые он обязан питать к вам. Поверьте, уважаемый синьор-дядюшка, что как раз в данном случае...

— Ну, будет! Что за чепуха? Как можете вы повредить друг другу, когда вы такие закадычные друзья и останетесь друзьями, пока один из вас не образумится? Повесы вы оба, вот что, вечно что-нибудь выкидываете, а мне потом приходится расхлебывать. Ах, да что уж там... вы чуть было не заставили меня сболтнуть несусазицу... ведь впрямь вы оба причиняете мне гораздо больше хлопот, чем (представьте себе только, какой последовал вздох)... чем все эти проклятые государственные дела.

Аггилио еще раз принес извинения, рассыпался в любезностях, затем откланялся и вышел, сопровождаемый словами: «Ну, будем благоразумны», — это было обычное напутствие, с которым дядюшка-граф отпускал своих племянников.

Глава девятнадцатая

Если бы кто-нибудь, увидя на плохо возделанном поле сочную траву, — скажем, сочный кустик щавеля, — захотел бы узнать в точности, вырос ли он от семени, созревшего на этом самом поле, или от семени, занесенного сюда ветром, или оброненного птицей, то сколько бы он ни думал, он никогда не смог бы прийти к определенному выводу. Так и мы не сумеем сказать, из природного ли мозгового своего запаса, или из на-

ушения Аттилио почерпнул дядюшка-граф решение прибегнуть к падре провинциалу, чтобы наилучшим способом разрубить этот запутанный узел.

Аттилио, разумеется, не случайно обронил словцо, и хотя он должен был ожидать, что против столь откровенного воздействия дядюшка-граф непременно ополчится со свойственной ему амбицией, он всячески старался как бы ненароком внушить ему мысль о таком выходе и, так сказать, направить дядюшку по тому пути, по которому хотел заставить его идти. К тому же этот выход настолько соответствовал нраву дядюшки-графа и настолько подсказывался самими обстоятельствами, что можно было побиться об заклад, что и без всякого внушения с чьей бы то ни было стороны он явился бы сам собой. Ведь дело шло о том, чтобы в столкновении, к сожалению, слишком открытом, один из его родичей, его племянник, не потерпел поражения, — обстоятельство, чрезвычайно существенное для его репутации влиятельного человека, которую он принимал весьма близко к сердцу. Удовлетворение, которого племянник мог добиться на свой риск и страх, было бы лекарством похуже самой болезни, чреватым всякими бедами, и нужно было так или иначе помешать этому, не теряя зря времени.

Если в такой момент приказать Родриго уехать из своей усадьбы, — он может не послушаться, а если и послушается, это ведь значит бежать с поля боя, отступить всему их роду перед монахами. Приказания, воздействие закона, запугивания всякого рода были бессильны по отношению к противнику с таким положением: духовенство, черное и белое, и не только отдельные представители его, но даже и самые места, где они проживали, не подчинялись светской юрисдикции, — что должен знать каждый, даже не читавший никакой истории, кроме этой, с чем я его, кстати сказать, не очень-то поздравляю. Единственно, что могло бы воздействовать на такого противника, это — попытаться удалить его, и орудием для этого мог служить падре провинциал, во власти которого было задержать его тут или отправить куда ему заблагорассудится.

А падре провинциал и дядюшка-граф были связаны давнишним знакомством. Виделись они редко, но всякий раз при встрече оба рассыпались в дружеских чувствах и с чрезмерной готовностью предлагали друг другу всяческие услуги. Ведь порой бывает лучше иметь дело с одним человеком, стоящим над многими другими, чем с одним из этих многих, которые только и знают, что свое дело, только и преследуют, что свои интересы, только и заботятся, что о своем самолюбии, в то время как первый сразу обзревает сотни взаимоотношений, сотни последствий, сотни интересов, сотни обстоятельств, которых надо избежать, и сотни других, которые надо спасти, — и поэтому может подойти к делу широко, с разных сторон.

Хорошенько взвесив все это, дядюшка-граф пригласил в

один прекрасный день падре провинциала к себе откушать в обществе целого сонма сотрапезников, подобранных с самым утонченным расчетом. Кое-кто из наиболее знатных родственников, из тех, у которых фамилия уже сама по себе являлась известным титулом и кто одной своей осанкой, врожденной самоуверенностью, великосветской пренебрежительностью и манерой говорить сквозь зубы о важных вещах умели без всякого умысла ежеминутно вызывать и освежать в собеседниках мысль о своем превосходстве и могуществе; толпились тут и приживальщики, связанные с семьей графа наследственной зависимостью, а с хозяином — пожизненным повиновением. Эти, начав уже за супом поддакивать и губами, и глазами, и ушами, и всей головой, всем телом, всей душой, — к десерту доводили всякого человека до того, что он уже и не представлял себе, как это можно сказать «нет».

За столом граф-хозяин довольно скоро перевел разговор на тему о Мадриде. Все дороги ведут в Рим, так вот, в Мадрид — ему лично открыты все. Он рассказывал о дворе, о графе-герцоге, о министрах, о семье губернатора, о бое быков, который он мог превосходно описывать, потому что смотрел его с почетного места в Эскуриале, а уж о самом Эскуриале он мог дать самый доскональный отчет, потому что один из любимцев графа-герцога водил его по всем закоулкам дворца.

Некоторое время общество, уподобившись внимательной аудитории, слушало только его одного, потом стали завязываться отдельные разговоры, а он все продолжал доверительно рассказывать про всякие чудеса одному только падре провинциалу, который сидел рядом и давал ему говорить и говорить без конца. Но, дойдя до известной точки, граф перевел разговор на другое, перестал упоминать Мадрид и, путешествуя от одного двора к другому, от звания к званию, добрался до кардинала Барберини, который был капуцином и приходился ни более ни менее как родным братом тогдашнему папе Урбану VIII. Тут уж пришлось и дядюшке-графу дать высказаться собеседнику, и послушать, и вспомнить, что на этом свете, в конце концов существуют не только те особы, которые нужны лишь ему самому. Немного спустя, встав из-за стола, он попросил падре провинциала удалиться с ним в другую комнату.

Два авторитета, два седовласых старца, два изощренных дипломата оказались лицом к лицу. Великолепный синьор усадил достопочтенного падре, уселся сам и повел такую речь:

— Принимая во внимание дружбу, связывающую нас, я надумал поговорить с вашим преподобием об одном деле, интересующем нас обоих. Мы могли бы порешить его между собой, не прибегая к иным путям, которые могли бы... А по-сему я скажу вам начистоту, с полной откровенностью, о чем идет речь — и я уверен, что мы договоримся с двух слов. Ска-

жите мне: есть в вашем монастыре в Пескаренико некий падре Кристофоро из ***?

Провинциал кивнул.

— Скажите же мне, ваше преподобие, откровенно, по-дружески... эта личность... этот падре... Я сам его не знаю; конечно, я знаю кое-кого из отцов капуцинов, — золотые люди, ревностные, разумные, смиренные, — я ведь с детских лет был другом ордена... Но ведь во всех сколько-нибудь многочисленных семействах... всегда найдется кто-нибудь, какая-нибудь шальная голова... Да и этот падре Кристофоро, я знаю по некоторым слухам, человек... немножко склонный к раздорам... в нем нет этого благоразумия, этой осмотрительности... Готов биться об заклад, что он не раз причинял беспокойство вашему преподобию.

«Все понял: не поладили в чем-нибудь, — соображал тем временем падре провинциал, — моя вина! Знал же я, что этот блаженный Кристофоро годен лишь на то, чтобы переводить его с одной кафедры на другую, но не давать ему засиживаться на одном месте, особенно в сельских монастырях».

— О, — изрек он потом, — мне, право, очень неприятно слышать, что ваше великолепие имеет такое мнение о падре Кристофоро, тогда как, насколько мне известно, он монах... образцовый и у нас в монастыре и за его пределами пользуется большим уважением.

— Отлично понимаю. Ваше преподобие, разумеется, обязаны... И все же... все же, в знак искренней дружбы, я хочу предупредить вас об одной вещи, которую вам полезно будет знать, и даже если вы уже осведомлены о ней, я все же могу, не нарушая своего долга, представить на ваше усмотрение некоторые последствия... возможные, — и больше ничего не скажу. Этот падре Кристофоро, мы знаем, покровительствовал одному тамошнему человеку, — ваше преподобие, вероятно, слышали о нем, — тому самому, который так позорно ускользнул из рук полиции, натворив в тот ужасный день Сан-Мартино такого... ну, словом, Лоренцо Трамальино.

«Вон оно что!» — подумал падре провинциал и тут же сказал:

— Это для меня новость; но ваше великолепие хорошо знает, что одной из обязанностей нашего звания являются как раз поиски сбившихся с пути, чтобы обратить их...

— Согласен, но не защита заблудшихся такого рода!.. Это дело рискованное, дело тонкое... — Тут он, вместо того чтобы надуть щеки и засопеть, сжал губы и втянул в себя столько воздуха, сколько обычно, пыхтя, выпускал из себя, и продолжал: — Я считал необходимым намекнуть вам на это обстоятельство, потому что, если бы только ваше превосходительство... Можно было бы предпринять некоторые шаги в Риме... я, впрочем, ничего не знаю... а из Рима могло бы прийти к вам...

— Я все же признателен вашему великолепию за это предупреждение. Но я все же уверен, что если будут собраны на этот счет все сведения, то окажется, что падре Кристофоро не имел никакого дела с этим человеком, о котором вы говорите, разве только что желал образумить его. Я ведь знаю падре Кристофоро...

— Вы, конечно, лучше меня знаете, каким он был в миру, знаете про делишки, какие водились за ним в молодости...

— В этом-то, синьор граф, и состоит доблесть нашего одеяния, что человек, который в миру вызывал такие толки, облачившись в сутану, становится совсем иным. И с той поры как падре Кристофоро носит это одеяние...

— Хотел бы верить этому, от души говорю: хотел бы верить этому, но ведь иногда, как гласит поговорка... сутана еще не делает монаха.

Поговорка не совсем точно выражала его мысль, но граф наспех подставил ее вместо другой, вертевшейся на кончике языка: «Волк меняет шерсть, но не норов».

— У меня есть подтверждение, — продолжал он, — есть доказательства.

— Если вы положительно знаете, — сказал падре провинциал, — что монах этот совершил какой-нибудь проступок (все мы грешны), я почту за одолжение, если меня об этом осведомят. Я ведь настоятель, недостойный, конечно, но я на то и поставлен, чтобы исправлять, врачевать.

— Хорошо, я скажу вам. Помимо неприятного обстоятельства, что этот монах открыто взял под защиту ту личность, о которой я уже упоминал, есть еще другое, более досадное обстоятельство, которое могло бы... Впрочем, мы разом все и порешим между собой. Вот видите ли, тот же падре Кристофоро принялся заирать моего племянника, дона Родриго ***.

— Да что вы? Вот это мне действительно неприятно, крайне, крайне неприятно.

— Племянник мой молод, горяч, прекрасно знает себе цену и не привык к тому, чтобы его задирали...

— Я сочту своим долгом навести надежные справки о подобном обстоятельстве. Как я уже сказал вашему великолепию, — а я ведь говорю с синьором, в котором мудрость сочетается с глубоким знанием людей, — плоть наша немощна, всем нам свойственно заблуждаться... то в одном, то в другом, — и если падре Кристофоро нарушил...

— Видите ли, ваше преподобие, это такие дела, как я уже говорил вам, что лучше их покончить между нами, похоронить тут же. Если их слишком долго пережевывать... не было бы хуже. Вы знаете, что бывает в таких случаях: всякие столкновения, ссоры возникают иногда из-за пустяка, а потом все запутываются и запутываются... Как начнешь доискиваться сути, так либо ни к какому результату не придешь, либо воз-

никнут сотни других затруднений Утихомирить, пресечь, достопочтенный падре! Пресечь и утихомирить! Племянник мой ведь молод; да и монах, насколько я слышал, обладает еще всем пылом... всеми склонностями молодого; а мы с вами, к сожалению, ведь уже в летах, достопочтенный падре, а? Нам и надлежит...

Будь кто-либо свидетелем этого разговора, получилось бы то же, что бывает тогда, когда вдруг посреди исполнения серьезной оперы по ошибке преждевременно поднимается занавес и на сцене виден певец, который, забыв в этот момент, что на свете существует какая-то публика, попросту беседует с каким-нибудь своим товарищем. Лицо, поза, голос дядюшки-графа — все было таким естественным, когда он произносил свое «к сожалению». Тут дипломатии не осталось и следа: ему действительно тяжело было сознавать свои годы. Не то чтобы ему жаль было веселых забав и развлечений молодости, — все это легкомыслие, жалкие глупости! Причина его неудовольствия была посерьезнее и поважнее: он рассчитывал получить более высокий пост, когда откроется вакансия, и опасался, что не успеет. Только бы получить его, а там можно быть уверенным, что года его больше не будут тревожить: он не стал бы желать ничего большего, — как все жадно стремящиеся к чему-либо обещают поступить, когда им удастся добиться успеха, — и умер бы спокойно.

Но предоставим говорить ему самому.

— Нам и надлежит, — продолжал он, — подумать за молодых и исправить их промахи. К счастью, время еще не упущено. Дело еще не вызвало шума. Есть еще возможность для «*principiis obsta*»¹. Надо убрать огонь от соломы. Порой личность, непригодная в одном месте и даже способная вызвать всякие неприятности, оказывается на редкость подходящей в другом. Ваше преподобие сумеет надлежащим образом пристроить этого монаха. А тут еще и другое обстоятельство, именно, что он мог бы внушить подозрение тому, кто... теперь был бы как раз заинтересован в его устранении; и, посылая его в какое-нибудь место подальше, мы одним выстрелом убиваем двух зайцев, все устраивается само собой, или, лучше сказать, без всяких осложнений.

Такого заключения падре провинциал ожидал уже с самого начала разговора. «Ишь ты! — подумал он про себя. — Я ведь вижу, куда ты гнешь; знаем мы эти штучки; когда все вы либо один из вас зол на бедного монаха, или когда он внушает вам подозрение, настоящий должен тут же устранить его, не разбирая, прав он или виноват».

И когда граф закончил свою речь и тяжело засопел, что было равносильно точке, провинциал сказал:

¹ Препятствуй началу (лат.)

— Я превосходно понимаю, что хочет сказать синьор граф. Но прежде чем сделать какой-нибудь шаг...

— Правильно ли назвать это шагом, достопочтенный падре, это простое, естественное дело. И если не принять таких мер, и притом немедленно, я предвижу кучу неурядиц, целую эпопею всяких бед. Какая-нибудь глупость... не думаю, чтобы мой племянник... наконец, ведь для этого я тут... Во всяком случае, раз дело зашло так далеко, если мы, не теряя времени, не разрубим узел решительным ударом, то мало вероятно, чтобы оно прекратилось, чтобы все осталось в тайне... И тогда уже не только мой племянник... Мы разворошим целое осиное гнездо, достопочтенный мой падре. Вы же видите — мы одной фамилии, у нас многочисленное родство...

— И знатнейшее!

— Вы меня понимаете, — все это люди с горячей кровью в жилах и притом... на этом свете кое-что да значат. Тут уже затронута честь. Дело становится общим, и тогда даже мирно настроенный человек... Для меня было бы величайшим огорчением, если бы нужно было... если бы пришлось... ведь я же всегда питал такое расположение к отцам капучинам! Да ведь и сами они творят добрые дела с такой назидательностью для нас всех, нуждающихся в мире, в том, чтобы не было ссор, в добром согласии с теми, кто... И потом, ведь и у них есть родственники в миру... А все эти злополучные вопросы чести, чуть только они затягиваются, имеют способность разрастаться, разветвляться, вовлекать... чуть не половину вселенной. Я имею несчастье занимать такую должность, которая обязывает меня соблюдать известное достоинство... Его превосходительство... синьоры коллеги мои... все становится делом корпорации... тем более в связи с тем другим обстоятельством... Вы знаете, как завершаются эти дела.

— Падре Кристофоро ведь в самом деле проповедник, — сказал падре провинциал, — и у меня уже на этот счет были кое-какие соображения. У меня как раз просят... Но в данный момент, при сложившихся обстоятельствах, это могло бы показаться наказанием, а наказывать до полного выяснения...

— Это не наказание, отнюдь нет! Это мудрая предусмотрительность, выход, основанный на взаимном соглашении, с целью помешать несчастьям, которые могли бы... ну, я, кажется, уже все вам разъяснил.

— Нам с вами, синьор граф, дело рисуется именно в таком свете, — согласен. Но раз оно обстоит так, как о нем доложили вашему великолепию, по-моему, невозможно, чтобы кое-какие слухи не проникли и в деревню. Ведь повсюду есть подстрекатели, скандалисты, любопытные сверх меры, которые готовы с ума сойти от радости, если им удастся увидеть схватку синьоров с монахами. Они — все разнохивают, перетолковывают, разбалтывают... Каждому приходится соблюдать свое до-

стоинство, а я как настоящий (увы, недостойный!) несу на себе еще особую обязанность, честь моего сана... Это не мое личное дело... это достояние, от которого... Синьор ваш племянник, раз он уж так раздражен, как вы изволите говорить, мог бы истолковать все дело в том смысле, что ему дано удовлетворение, и стал бы... не скажу — хвастать, торжествовать, но...

— Вы так полагаете, достопочтенный падре? Мой племянник, конечно, кавалер, который безусловно пользуется в обществе уважением... согласно его званию и достоинству, но передо мной он мальчишка и будет делать только то, что я ему прикажу. Скажу вам даже больше: мой племянник ничего об этом и знать не будет. Что за необходимость давать отчет? Все это дела, которые мы улаживаем между собой, чисто по-дружески; все и должно остаться между нами... об этом не беспокойтесь. Мне молчать не привыкать стать. — Тут он опять запыхтел. — А что касается сплетников, — продолжал он, — о чем же, по-вашему, они могут болтать? Монах отправляется на проповедь в другое место, — самая заурядная вещь! И, наконец, мы, которые видим... мы, которые предвидим... мы, которых это касается... что нам за дело до какой-то болтовни?

— А все же, чтобы предупредить всякие разговоры, было бы хорошо в данном случае, если бы ваш синьор племянник как-нибудь публично выразил, оказал знаки дружбы, внимания... не нам лично, а нашему сану...

— Разумеется, разумеется, это вполне справедливо... Однако в этом нет никакой необходимости, — я знаю, что мой племянник всегда оказывает капуцинам подобающий прием. Он это делает по склонности — это у нас семейная черта. И потом он знает, что этим он доставляет удовольствие мне. Впрочем, в данном случае... что-нибудь такое, из ряда вон выходящее... вполне уместно. Предоставьте это мне, достопочтенный падре, я прикажу племяннику... То есть, конечно, надо подступить к нему осмотрительно, чтобы он и не догадался о том, что произошло между нами. Ибо мне вовсе не желательно, чтобы мы ненароком наложили пластырь туда, где и раны-то нет. А что касается нашего уговора, чем скорее все устроится, тем лучше. И если бы нашлось местечко подалее... чтобы устранить всякую возможность...

— У меня как раз спрашивали из Римини относительно проповедника, и я, пожалуй, и без всякого иного повода мог бы остановиться на...

— Весьма кстати, весьма! А когда же?

— Раз уж приходится делать дело, так надо уж делать его поскорее.

— Поскорее, вот именно, поскорее, достопочтенный падре: лучше сегодня, чем завтра. И, разумеется, — продолжал он, поднимаясь, — если только я или моя семья можем сделать что-нибудь для наших дорогих отцов капуцинов...

— Мы знаем по опыту доброту вашей семьи, — сказал падре провинциал, поднимаясь в свою очередь и направляясь к двери вслед за своим победителем.

— Мы загасили искру, достопочтенный падре, — сказал тот, приостанавливаясь, — искру, которая могла вызвать большой пожар. Между добрыми друзьями даже большие дела улаживаются с двух слов.

Подойдя к двери, он распахнул ее и, во что бы то ни стало, пожелал пропустить падре провинциала вперед. Они вошли в другую комнату и присоединились к остальному обществу.

Большое усердие, большое искусство, большие слова пускал в ход этот синьор, когда нужно было уладить какое-нибудь дело. Зато и результаты получались соответствующие. Действительно, благодаря переданной нами беседе ему удалось заставить падре Кристофоро пройти пешком из Пескаренико в Римини, — прогулка изрядная!

Как-то вечером в Пескаренико прибыл из Милана капуцин с пакетом на имя падре настоятеля. Внутри оказалось распоряжение о послушании, наложенном на падре Кристофоро: отправиться в Римини, где и проповедовать в течение всего поста. В письме к настоятелю предписывалось внушить названному брату, чтобы он отложил всякое попечение о делах, которые, может быть, начаты им в местах, откуда ему предстояло отбыть, и не разрешать ему никакой переписки. Фра податель письма назначался ему в сотоварищи по путешествию. Падре настоятель с вечера не сказал ничего, а наутро велел позвать фра Кристофоро, предъявил ему распоряжение о послушании, велел пойти взять суму, посох, плат для утирания пота и пояс и немедленно отправиться в путь с подателем письма, которого он ему тут же и представил.

Каким это было ударом для нашего фра Кристофоро, вы можете судить сами. Он сразу вспомнил Ренцо, Лючию, Аньезе и воскликнул, так сказать, про себя: «Боже мой, что станут делать эти несчастные, когда меня здесь больше не будет!» Но он поднял глаза к небу и стал упрекать себя в недостатке стойкости, в том, что возомнил себя нужным для чего-то. Сложив на груди в знак покорности руки крестом, он склонил голову перед падре настоятелем, который отвел его в сторонку и сделал еще новое внушение: на словах это был совет, по смыслу же — прямое предписание.

Падре Кристофоро пошел в свою келью, взял суму, положил в нее молитвенник, свой сборник великопостных проповедей и хлеб прощения, подпоясал сутану кожаным поясом, попрощался с теми из братии, кто оказался в монастыре, потом пошел напоследок попросить благословения у падре настоятеля и пустился, в сопровождении своего спутника, в назначенный ему путь.

Мы уже упоминали о том, что дон Родриго, вбив себе в

голову во что бы то ни стало довести до конца свою коварную затею, решил прибегнуть к помощи одного ужасного человека. Ни имени последнего, ни его фамилии, ни звания мы не можем сообщить, не можем даже высказать никаких догадок на этот счет, — обстоятельство тем более странное, что упоминание об этой личности мы находим во многих книгах того времени (имею в виду печатные книги).

Что речь идет именно о данной личности, не оставляет никакого сомнения само тождество фактов; но всюду заметно большое поползновение опустить его имя, словно оно жгло руку и перо пишущего. Франческо Ривола в своем жизнеописании кардинала Федерико Борромео, когда ему приходится говорить об этом человеке, называет его «синьором, столь же могущественным по своим богатствам, сколь знатным по своему происхождению», — и только. Джузеппе Рипамонти, который в пятой книге пятой декады своей «Отечественной истории» упоминает о нем более подробно, называет его «один человек», «этот», «тот», «этот человек», «эта личность». На прекрасной своей латыни, с которой мы переводим по нашему скромному разумению, он говорит так: «Я расскажу случай с одним человеком, который, являясь одним из первых среди городской знати, избрал своим местопребыванием селение, расположенное на самой границе, и, укрепившись там при помощи преступлений, не ставил ни во что суды и судей, чиновников и государственную власть. Жизнь он вел совершенно независимую, принимал у себя изгнанников, одно время был изгнанником и сам. Потом вернулся как ни в чем не бывало...» У этого писателя мы позаимствуем и кое-какие другие отрывки, которые пригодятся нам для подкрепления и пояснения рассказа нашего анонима; рука об руку с ним мы и пойдем дальше.

Делать то, что запрещено законом или чему препятствует та или иная сила; быть судьей и хозяином в чужих делах с единственным побуждением — жадной повелевать; внушать всем страх; распоряжаться людьми, которые сами привыкли распоряжаться другими, — таковы были страсти, обуревавшие этого человека. Уже с юных лет насмотревшись и наслушавшись всяких толков о бесконечных насилиях и раздорах, перевидав множество тиранов, он испытывал смешанное чувство негодования и беспокойной зависти. В молодости, живя в городе, он не только не упускал случая, но даже искал его, чтобы иметь возможность столкнуться с наиболее прославленными людьми той же профессии, пойти им наперекор, чтобы померяться с ними и либо проучить их, либо заставить искать с ним дружбы. Превосходя многих других богатством и своими приверженцами, а дерзостью и настойчивостью, пожалуй, и вообще всех, он принудил большинство отказаться от всякого соперничества с ним, со многими круто расправился, а других сделал своими друзьями. Конечно, он не об-

ращался с ними как с равными: только такие друзья и могли прийти к нему по душе. Это были друзья, готовые признавать себя ниже его, стоять по его левую руку. Однако на самом деле он действовал в их же интересах, был орудием в их руках: осуществляя свои замыслы, они не упускали возможности прибегать к содействию такого пособника, а для него уклонение от таких дел было бы равносильно крушению его репутации, отказу от принятой на себя роли. Так что он и сам и с помощью других натворил таких дел, что уже ни имя его, ни родство, ни друзья, ни его личная дерзость не могли защитить его от общественного гнева, и, под давлением всеобщей ненависти, он был вынужден покинуть пределы государства.

Думаю, что к этому обстоятельству отнесится знаменательное место в рассказе Рипамонти: «Когда ему пришлось покинуть страну, вот к какой скрытности прибегнул он, вот какую обнаружил осторожность и робость: он проехал через весь город верхом на коне, со сворой собак, при трубных звуках, и, проезжая мимо королевского дворца, передал страже наглое поручение для губернатора». И пребывая в отсутствии, он не прекращал своих происков, не прерывал даже сношений со всеми своими друзьями, которые остались в единении с ним, «образуя тайную лигу свирепых замыслов и зловещих деяний», — если буквально перевести Рипамонти. По-видимому, именно тогда-то он и задумал вместе с более высокими лицами некоторые новые страшные деяния, о которых вышеупомянутый историк сообщает с таинственной краткостью. «Даже некоторые иностранные государи, — говорит он, — неоднократно прибегали к его содействию для выполнения какого-нибудь важного убийства и часто издали посылали ему на подмогу людей, которые служили под его началом».

В конце концов неизвестно, по истечении какого срока, но благодаря чьему-то могущественному заступничеству, не то с него была снята опала, не то его собственная дерзость делала его неуязвимым, только он решил вернуться домой, и действительно вернулся — правда, не в самый Милан, а в один из своих замков, пограничный с бергамазской территорией, которая, как всякому известно, входила в состав Венецианского государства. «Дом этот, — я опять привожу слова Рипамонти, — был как бы мастерской кровавых деяний: слугами там были люди, за поимку которых была обещана награда, а ремеслом их было рубить головы, — ни повар, ни самый последний слуга не освобождались от совершения убийств. Даже руки мальчиков обгащались кровью». Помимо этой домашней челяди он, по утверждению того же историка, имел еще и других приспешников из подобных же личностей, всегда готовых выполнять его приказания и разбросанных как бы на постой в различных местах обоих государств, на рубеже которых он жил.

Всем тиранам в значительной части окружи пришлось по

тому или иному поводу сделать выбор между дружбой и враждой с этим необыкновенным тираном. Но первым же, которые захотели было выступить против него, пришлось так плохо, что никому уж больше не было охоты предпринимать самому подобные попытки. И даже не выходя за пределы собственных дел, занимаясь только собою, нельзя было остаться в стороне от него. Неожиданно являлся его посланный с требованием бросить такое-то предприятие, перестать беспокоить такого-то должника или что-нибудь в этом роде. Приходилось либо соглашаться, либо отказываться. Если же одна сторона с вассальной преданностью появлялась, чтобы передать на его усмотрение какое-нибудь дело, то другая оказывалась перед трудным выбором: или подчиниться его приговору, или объявить себя его врагом, что было равносильно, как говорили когда-то, чахотке в третьей стадии.

Многие неправые прибегали к нему, чтобы оказаться правыми. Многие же правые поступали так же, чтобы заполучить сильную поддержку и отрезать противнику путь к нему же: те и другие так или иначе становились в зависимость от него. Случалось иногда, что слабый, притесняемый, угнетаемый насильником, обращался к нему, и он принимал сторону слабого, вынуждая насильника прекратить свои преследования, исправить сделанное зло, попросить прощения. В случае же нежелания подчиниться он начинал с ним войну, да такую, что тому приходилось убираться из мест, где он чинил расправу, а иногда даже заставлял расплачиваться еще быстрее и еще ужаснее. В таких случаях его имя, обычно внушавшее ужас и отвращение, надолго благословлялось всеми, потому что, не скажу — такого правосудия, но такой помощи, такого, как-никак, содействия в те времена нельзя было ожидать ни от какой силы, ни частной, ни общественной. Но гораздо чаще, и даже в большинстве случаев, эта сила служила орудием осуществления незаконных притязаний, свирепых желаний, высокомерных прихотей.

Столь разнообразное применение этой силы всегда производило одно и то же впечатление — внушало всем преувеличенное представление о том, как много он мог захотеть и свершить независимо от правоты или неправоты — этим двум началам, ставящим такие преграды воле людей и так часто вынуждающих их отступать. Молва о насильниках обычных в большинстве случаев ограничивалась тесными пределами того местечка, где они слыли самыми богатыми и самыми могущественными; каждый округ имел своих, все они были так похожи друг на друга, что людям не было никакого смысла заниматься теми, кто не сидел у них на шее непосредственно. Но молва об этом выдающемся тиране давно уже распространилась по всем уголкам Миланского герцогства: повсюду в народе ходили рассказы о его жизни, и с его именем связывалось нечто роковое, загадочное, легендарное.

Подозрение, что везде рыскают его приспешники, всякие наемные убийцы, не позволяло ни на минуту забывать о нем. Впрочем, это были лишь подозрения, ибо разве мог кто-нибудь открыто признаться в подобной зависимости? Однако всякий насильник мог быть в союзе с ним, всякий разбойник — членом его шайки; а самая неопределенность лишь умножала догадки и усугубляла ужас перед этим явлением. И всякий раз, когда где-либо показывались таинственные фигуры бравы более гнусного, чем обычно, вида, когда совершалось страшное злодеяние, виновника которого сразу нельзя было указать или угадать, — произносили, шептали имя того, которого мы, благодаря этой досадной, чтобы не сказать больше, осторожности наших авторов, вынуждены называть Безымянным.

Расстояние от его замка до палаццотто дона Родриго не превышало семи миль, и потому Родриго, едва став самостоятельным и сделавшись настоящим тираном, должен был убедиться, что в таком близком соседстве с подобным лицом нельзя заниматься этим ремеслом, не вступив в схватку с Безымянным либо не поладив с ним. А поэтому он предложил ему свои услуги и стал его другом, в том же роде, разумеется, как и все остальные. Он оказал ему не одну услугу (подробностей об этом рукопись не сообщает) и каждый раз уносил от него обещание взаимной поддержки и помощи в любом необходимом случае.

Однако дон Родриго весьма тщательно скрывал эту дружбу или, по меньшей мере, старался не давать заметить, насколько она была тесна и какого она была рода. Он хоть и стремился играть роль тирана, но не тирана необузданного, — это занятие было для него лишь средством, а не целью. Ему хотелось свободно пребывать в городе, наслаждаться удобствами, развлечениями, почестями, связанными с культурной жизнью. А для этого ему нужно было соблюдать известную осторожность, считаться с родственниками, поддерживать дружбу с важными лицами, держать руку на весах правосудия, чтобы в нужный момент склонять их на свою сторону или устранять совсем, а в иных случаях — даже ниспровергнуть с их помощью кого-нибудь, с кем легче было справиться таким образом, чем путем самочинной расправы. И, конечно, тесная дружба, скажем лучше, — союз с человеком такого рода, с открытым врагом власть имущих, не сослужил бы ему хорошей службы, особенно в глазах дядюшки-графа. Все же известные дружеские отношения, которых нельзя было скрыть, могли считаться неизбежными с человеком, чья вражда была слишком опасна, и, таким образом, могли извиняться необходимостью. Тем более что тот, кто должен быть предусмотрительным, если у него нет к этому охоты либо не находится способа для этого, — в конце концов бывает вынужден соглашаться на то, чтобы другой до известной степени выполнял его обязанности и, если не дает на это прямого согласия, то по меньшей мере смотрит сквозь пальцы.

Как-то утром дон Родриго выехал на коне в охотничьем снаряжении, в сопровождении небольшого числа пеших бравы. У стремени его был Гризо, другие четверо — позади. Шествие направилось к замку Безымянного.

Глава двадцатая

Замок Безымянного высился над узкой и угрюмой долиной, на вершине холма, выступающего из суровой горной цепи и, трудно сказать, то ли соединенного с ней, то ли отделенного от нее грудой скал, обрывами и целым лабиринтом пещер и расщелин, которые захватывали также оба его склона. Холм был доступен только со стороны, обращенной к долине. Здесь спускался довольно крутой, но ровный и непрерывный склон. Наверху — луга, а ниже — обработанные поля с разбросанными тут и там хижинами. Дно долины представляло собой ложе из гальки, где бежал, в зависимости от времени года, то мирный ручеек, то бурный поток, в ту пору служивший границей двух государств. На противоположных склонах, образующих, так сказать, другую стену долины, внизу местами тоже попадались возделанные поля. Остальное — скалы и камни, отвесные кручи, непроходимые и голые, разве только по расщелинам и гребням усеянные отдельными кустиками.

С высоты этого мрачного замка, словно орел в своем окривленном гнезде, нелюдимый хозяин царил над всем окрестным пространством, куда только могла ступить нога человека, и никогда не видел никого ни над собой, ни в вышине. Бросая взгляд вокруг, он охватывал все, доступное взору, — и склоны, и долины, и пробегавшие по ним дороги. Та, что, извиваясь, поднималась к страшному жилищу, развеваясь перед тем, кто смотрел на нее сверху, словно змеиная лента: из окон, из бойниц синьор мог спокойно следить за каждым шагом всякого идущего по ней и сотню раз взять его на прицел. А с помощью гарнизона из своих бравы, который он держал наверху, Безымянный мог уложить на тропинке или сбросить с нее в пропасть даже целый отряд, прежде чем хотя бы один человек добрался до вершины. Впрочем, не только наверх, но даже и в долину, даже мимоходом, никто не смел ступить ногой, если не был уверен в добром расположении к нему владыки замка. А полицейский, покажись он там, был бы сочтен вражеским лазутчиком, захваченным в неприятельском стане. Относительно тех, кто рискнул было проделать подобный опыт, рассказывали трагические истории; однако все это были дела давно минувших дней, и никто из молодежи не помнил, чтобы ему довелось видеть в долине хоть одного из этой породы, живого или мертвого.

В таких чертах описывает наш аноним это место, — о на-

звании его он умалчивает. Больше того, чтобы не навести нас на след, он ничего не говорит о путешествии дона Родриго и переносит его прямо в середину долины, к подножию холма, к самому началу крутой и извилистой тропинки. Там была таверна, которую с успехом можно было бы назвать и караульной. На ветхой вывеске, висевшей над входом, нарисовано было с обеих сторон по сияющему солнцу, но народ, который то повторяет имена так, как они ему были преподнесены, то видоизменяет их на свой лад, называл эту таверну не иначе как «Страшной ночью».

Заслышав приближающийся топот копыт, на пороге таверны показался молодцеватый парень, весь обвешанный оружием, как сарацин. Посмотрев на дорогу, он ушел внутрь предупредить троих головорезов, которые играли в карты, засаленные и загнутые наподобие черепицы. Тот, кто, по всей видимости, был атаманом, поднялся, выглянул наружу и, узнав друга своего хозяина, почтительно его приветствовал. Дон Родриго, ответив ему весьма учтивым поклоном, спросил, у себя ли в замке синьор, и, получив ответ от этого начальника караула, что хозяин, кажется, дома, слез с коня и бросил поводья Тирадритто, одному из своей свиты. Затем он снял с себя ружье и поручил его Монтанароло, как бы для того, чтобы избавиться от лишней тяжести при подъеме наверх, а в сущности потому, что отлично знал, что на самый верх ходить с ружьем не разрешалось. Затем он вынул из кармана несколько берлинг и бросил их Танабузо со словами: «Вы подождите меня тут да тем временем повеселитесь с этими добрыми ребятами». Наконец, он вынул несколько золотых скуди и вручил их начальнику караула, сказав, что половина предназначается ему, а другая должна быть разделена между его людьми. И наконец, в сопровождении Гризо, который тоже снял ружье, дон Родриго, уже пешком, стал подниматься наверх.

Тем временем названные выше брави, а с ними четвертый — Сквинтернотто (вы только обратите внимание на прозвища, так старательно сохраненные для нас анонимом) — остались вместе с тремя людьми Безымянного да еще с тем молодым парнем, будущим кандидатом на виселицу. Они принялись играть в карты и поочередно рассказывать про свои подвиги.

Один из людей Безымянного, который тоже шел наверх, вскоре догнал дона Родриго, взглянул на него, узнал и присоединился к нему, избавив последнего тем самым от неприятности называть свое имя и рассказывать о себе каждому встречному, который не знал его в лицо. Подойдя к замку, дон Родриго был введен внутрь (однако ему пришлось оставить Гризо у входа). Затем его повели бесконечными темными коридорами и через анфиладу комнат, где были развешены мушкеты, сабли, алебарды и стояли на страже брави. Спустя некоторое время он был допущен в комнату, где находился Безымянный.

Тот поднялся навстречу гостю, отвечая на приветствие вошедшего и вместе с тем оглядывая его руки и лицо, как он, по привычке, почти произвольно непременно проделывал со всяким, приходившим к нему, будь то даже самый давний и испытанный его друг.

Он был высокого роста, смуглый, плешивый. Уцелевшие волосы — редкие и седые, лицо в морщинах. На первый взгляд ему можно было дать, пожалуй, больше его шестидесяти лет, но его осанка, движения, резкие черты лица, мрачный, но живой блеск глаз указывали на телесную и душевную силу, которая могла бы считаться исключительной даже для человека молодого.

Дон Родриго сказал, что пришел искать совета и помощи; ибо связанный трудно выполнимым обещанием, отказаться от которого ему не позволяет честь, он вспомнил заверения высокопочтительного хозяина, который никогда не давал пустых, напрасных обещаний, — и Родриго принялся излагать свой злодейский замысел. Безымянный, который кое-что уже знал об этом, хотя и смутно, слушал внимательно, как из любопытства к подобным историям, так и потому, что здесь было замешано одно имя, ему известное и крайне ненавистное, имя фра Кристофоро, открытого врага насильников не только на словах, но, при случае, и на деле. Дон Родриго, зная, с кем говорит, принялся всячески преувеличивать трудности своей затеи: дальность расстояния, монастырь, синьора!.. В ответ на это Безымянный, словно по наущению какого-то демона, таившегося в его душе, внезапно прервал дона Родриго, сказав, что берет всю затею на себя. Он записал имя нашей бедной Люции и отпустил гостя со словами: «В скором времени вы получите от меня указание, что вам делать».

Если читатель еще помнит злополучного Эджидио, который жил рядом с монастырем, где укрывалась бедняжка Люция, пусть он знает, что это был один из самых верных и близких сообщников Безымянного в его злодеяниях. Потому-то последний с такою готовностью и решительностью и дал свое согласие помочь дону Родриго. Однако едва он остался один, его взяло, не скажу — раскаяние, но какое-то чувство досады, что он дал слово. С некоторых пор совершенные им злодеяния вызвали в Безымянном если не угрызения совести, то какую-то тревогу. Нагромодившись в большом количестве, если не на его совести, то по крайней мере в его памяти, они пробуждались теперь всякий раз, когда он совершал какое-нибудь новое злодеяние, и все разом вставали в его сознании, мерзкие и страшные, словно бремя их, и без того тягостное, все росло и росло. То отвращение, которое он испытывал, совершая первые преступления, но потом им преодоленное, почти совершенно исчезнувшее, теперь снова давало себя чувствовать. Но если в те далекие времена картина неизвестного будущего и

чувство крепкой живучести наполняли его душу беззаботной уверенностью, то теперь, напротив, как раз мысли о будущем делали настоящее все более тоскливым.

«Старость — смерть — а потом?» И удивительная вещь, образ смерти, который в минуту грозной опасности пред лицом врага обычно удваивал пыл этого человека и разжигал в нем гнев и отвагу, — этот же самый образ, вставая пред ним теперь в молчании ночи, в неприступности его замка, повергал его в состояние внезапной растерянности. То не была угроза смерти со стороны противника, тоже смертного; ее не отразить более острым оружием, более ловкой рукой; она приближалась одна, она зарождалась изнутри; может быть, она была еще далека, но с каждым мгновением подходила все ближе; и в то время как ум мучительно бился над тем, как бы отогнать самую мысль о ней, она все приближалась.

Вначале постоянные примеры, непрерывное, так сказать, лицезрение насилия, мести, убийства вдохновляло его на жестокое состояние и вместе с тем служило ему как бы защитой от угрызений совести. Теперь в его душе порой поднималось смутное, но ужасное представление о личной ответственности, о независимости разума от каких бы то ни было примеров. Теперь он чувствовал иногда страшное одиночество именно оттого, что, выделившись из общей массы злодеев, он стоял впереди их всех. Тот Бог, о котором он слышал, но которого уже давно не считал нужным ни отрицать, ни признавать, ибо был занят лишь тем, как бы прожить, словно его и не существует, теперь, в минуты беспричинной тоски, в мгновенья страха без видимой опасности, чудилось ему, взывал в его душе: «А все же я существую!» В раннем кипении страстей закон, провозглашаемый во имя Бога, казался ему прямо ненавистным. Теперь, когда этот закон неожиданно приходил ему на ум, его разум, наперекор воле, воспринимал этот закон как нечто непреложное. Однако он не только не делился ни с кем этой новой своей тревогой, но, наоборот, глубоко затаил ее и прикрыл видимостью еще более свирепой жестокости. Таким путем он старался утаить ее и от самого себя, если не заглушить совсем. С завистью припоминая те времена (потому что ни уничтожить, ни забыть этого было нельзя), когда он, бывало, творил беззакония без всяких угрызений совести, с одной только мыслью об успехе, он делал все возможное, чтобы возвратить те дни, чтобы сохранить либо вернуть былую волю, живую, гордую, несгибаемую, и убедить самого себя в том, что он все еще тот, прежний.

Так и в данном случае он внезапно дал слово дону Родриго, чтобы отрезать себе путь к отступлению. Но с уходом Родриго он вдруг почувствовал, как слабеет в нем решимость, которую он внушил себе, чтобы дать это обещание. Он почувствовал, как мало-помалу в его сознание проникает искушение нарушить данное слово. Но ведь это означало бы

сыграть жалкую роль в глазах своего друга, в глазах своего ничтожного сообщника. Дабы оборвать разом столь мучительные колебания, он позвал Ниббио, одного из самых ловких и смелых своих пособников в злодеяниях, к которому он обычно прибегал, чтобы сноситься с Эджидио. С самым решительным видом он приказал ему немедленно оседлать коня, отправиться прямо в Монцу, осведомить Эджидио о данном обещании и потребовать помощи для его выполнения.

Гонец-разбойник вернулся гораздо раньше, чем его ожидал хозяин. Ответ Эджидио гласил, что дело это легкое и верное. Пусть только пришлют ему карету с двумя или тремя переодетыми брави. Все остальное он берет на себя и сам будет всем руководить. При этом известии Безымянный, что бы ни происходило у него в душе, спешно отдал приказание самому Ниббио, чтобы он подготовил все, как сказал Эджидио, и отправился в поход с двумя сообщниками, имена которых он ему назвал.

Если бы Эджидио для выполнения страшной услуги, которой от него требовали, пришлось рассчитывать только на свои обычные возможности, он, конечно, не дал бы так быстро столь решительного обещания. Но в самом этом убежище, где, казалось, все должно было служить ему помехой, у этого жестокого преступного человека была поддержка, известная только ему одному. И то, что для других явилось бы величайшим препятствием, было орудием в его руках. Мы рассказывали о том, как злосчастная синьора один раз позволила себе выслушать его, и читатель, надо полагать, понял, что этот раз был не последним, а лишь первым шагом на ее кровавом, отвратительном пути. Этот самый голос, который приобрел над ней власть и, я сказал бы, мог заставить синьору пойти даже на преступление, теперь потребовал от нее принесения в жертву невинного создания, которое было под ее защитой.

Это требование повергло Гертруду в ужас. Потерять Люцию по какому-нибудь непредвиденному случаю, без всякой вины с ее стороны, было бы для Герруды несчастьем, горьким наказанием. А тут ей приказывали расстаться с ней путем низкого вероломства, — и средство искупления становилось для нее новым источником угрызения совести. Несчастная переломала в уме все пути, чтобы отделаться от ужасного приказания, все, кроме единственно верного, который всегда, однако, открыто лежал перед ней. Преступление — суровый и непреклонный хозяин, с которым может совладать лишь тот, кто безоговорочно восстанет против него. А на это Гертруда не могла решиться, — и повиновалась.

Назначен был день. Приближался условленный час. Гертруда, уединившись с Люцией в своей личной приемной, ласкала ее больше, чем обычно, а Люция, принимая ласки, отвечала на них все нежнее и нежнее, подобно тому как овечка без малейшего страха трепещет под рукой пастуха, который

гладит ее и ласково подталкивает вперед, и, поворачиваясь, лижет его руку, не зная того, что перед овчарней ее ждет мясник, которому пастух только что продал ее.

— Я нуждаюсь в большой услуге, и лишь вы одна можете оказать ее мне. Хотя у меня под началом много людей, все же положить их не на кого. Для одного весьма важного дела — я вам расскажу потом — мне необходимо немедленно переговорить с тем отцом настоятелем капуцинов, который привел вас, бедная моя Лючия, ко мне. Но необходимо, чтобы никто не знал, что именно я посылала за ним. Кроме вас, у меня нет никого, кто бы мог выполнить это поручение в полной тайне.

Лючия была поражена такой просьбой. Со свойственной ей застенчивостью, не скрывая, однако, своего величайшего изумления, она тут же, чтобы отделаться от поручения, стала приводить доводы, которые синьора должна была понять и предвидеть: без матери, одной, по глухой дороге, в незнакомой местности... Но Гертруда, прошедшая дьявольскую школу, выказала в свою очередь большое изумление и крайнее неудовольствие по поводу такого упрямства со стороны той, на кого она так твердо рассчитывала, сделав вид, что находит все ее отговорки вздорными... Среда бела дня, всего несколько шагов по дороге, по которой Лючия уже проходила несколько дней тому назад, да если бы даже она никогда ее раньше и не видела, то стоит толком рассказать, — и уж никак не ошибешься! Словом, Гертруда столько всего наговорила, что у бедняжки, расстроганной и вместе с тем обиженной, сорвалось с языка:

— Ну хорошо, — что прикажете мне сделать?

— Ступайте в монастырь капуцинов, — тут она снова принялась описывать дорогу. — Велите позвать отца настоятеля, скажите ему с глазу на глаз, чтобы он не мешкая явился ко мне, да чтобы никому не говорил, что это я посылала за ним.

— А что же я скажу привратнице, которая никогда не видела, чтобы я выходила из монастыря, если она спросит, куда я иду?

— Постарайтесь проскользнуть незаметно. А если не удастся, скажите ей, что идете, мол, в такую-то церковь, куда вы обещали пойти помолиться.

Новое затруднение для бедняжки — придется лгать! Но синьора опять так огорчилась, когда Лючия стала возражать, принялась так горячо убеждать ее, что, мол, нельзя ставить вздорную щепетильность выше признательности, — что девушка, скорее смущенная, чем убежденная, а главное — взволнованная больше чем когда-либо, сказала: «Хорошо, я пойду, да поможет мне Бог». И двинулась в путь.

Когда Гертруда, пристальным и мрачным взглядом следившая за ней из-за решетки, увидела ее уже на пороге, она, словно охваченная непреодолимым чувством, окликнула ее:

— Послушайте, Лючия!

Та оглянулась и подошла к решетке. Но в преступном со-

знании Гертруды уже снова одержала верх другая мысль, мысль, постоянно царившая над остальными. Сделав вид, что не вполне довольна теми указаниями, которые дала, она снова стала объяснять Люции дорогу, которой ей следовало держаться, и отпустила ее со словами: «Сделайте все, как я вам сказала, и возвращайтесь поскорее». Люция ушла.

Незамеченной миновала она монастырские ворота и вышла на улицу, опустив глаза, держась поближе к стене. Полученные указания и собственная память помогли ей найти городские ворота. Она прошла через них и в задумчивости, охваченная страхом, направилась по большой дороге и в несколько минут добралась до той, что вела к монастырю. Она сразу узнала ее.

Дорога эта, — она и по сей день такая же, — подобно речному руслу, проходит между двумя высокими откосами, поросшими кустарником, образующим над ней нечто вроде свода. Вступив на эту совершенно безлюдную дорогу, Люция почувствовала все возрастающий страх и прибавила шагу, но скоро немножко приободрилась, увидя остановившуюся дорожную карету и около нее, перед распахнутой дверцей, двух проезжих, которые оглядывались по сторонам, словно сомневаясь, в какую сторону им ехать. Продолжая путь, она услышала, как один из них сказал: «А вот идет славная девушка, она нам покажет дорогу». Действительно, когда она поравнялась с каретой, тот, что говорил, с любезностью, явно не соответствовавшей его наружности, обратился к ней и сказал:

— Скажите, девушка, не укажете ли вы нам дорогу на Монцу?

— Так вы же едете как раз в обратную сторону, — отвечала бедняжка, — Монца вот там... — и она повернулась, чтобы показать пальцем.

В этот момент другой (это был Ниббио) неожиданно схватил ее за талию и поднял с земли. Люция в ужасе повернула голову и пронзительно закричала. Разбойник силком втиснул ее в карету. Там ее принял браво, сидевший на передней скамейке, и в то время как она вырывалась и кричала, он посадил ее прямо перед собой, а третий старался заглушить ее крики, зажимая ей рот платком. Тем временем и Ниббио проворно вскочил в карету, дверца захлопнулась, и карета понеслась. А человек, который в самом начале обратился к Люции с коварным вопросом, остался на дороге, озираясь по сторонам, не прибежит ли кто на вопли Люции. Однако никого не было. Тогда он вскочил на высокий откос дороги, цепляясь за кусты, и исчез. То был один из подручных Эджидио. Это он стоял с притворным равнодушием в дверях дома своего хозяина, чтобы проследить, когда Люция выйдет из монастыря, и хорошенько рассмотреть ее, дабы узнать потом; затем он кратчайшим путем побегал к условленному месту, чтобы дожидаться ее там.

Кто сумеет описать ужас, тоску Люции, выразить то, что происходило в ее душе? Она широко открывала испуганные глаза, тревожно озираясь, чтобы выяснить свое страшное положение, и тут же закрывала их от омерзения и ужаса перед этими рожами. Девушка вырывалась, но ее крепко держали со всех сторон. Она выбивалась из сил, не раз отталкивая всех и порываясь броситься к дверце, но пара мускулистых рук держала ее, словно пригвожденную, в самой глубине кареты, а еще две пары здоровенных лап пригибали ее. Всякий раз как она открывала рот, чтобы испустить крик, ей затыкали его платком.

Тем временем три дьявольских пасти, изо всех сил стараясь говорить человеческими голосами, без конца повторяли: «Успокойтесь, успокойтесь, нечего бояться, мы вас не обидим!» После нескольких минут мучительной борьбы она, казалось, унялась: руки ее ослабели, голова откинулась назад, она с усилием подняла веки, неподвижно уставившись в одну точку. И ей почудилось, что страшные рожи, торчавшие перед нею, колеблясь, сливаются в какое-то чудовищное пятно. Краски сбежали с ее лица, оно покрылось холодным потом. Люция помертвела и лишилась чувств.

— Ну, не бойтесь же! — говорил Ниббио.

— Не бойтесь! — вторили оба других негодяя.

Но полная потеря чувств избавляла ее в это мгновение от возможности услышать слова утешения, расточаемые этими ужасными голосами.

— Черт возьми, да она, никак, умерла?! — сказал один из них. — А что если и в самом деле умерла?

— Ну да, умерла! — сказал другой. — Просто обморок, с женщинами это бывает. Я хорошо знаю, что когда, бывало, случалось отправлять на тот свет, все равно кого — мужчину или женщину, тут еще кое-что требовалось.

— Ну, хватит, — сказал Ниббио, — делайте что полагается и не суйтесь не в свое дело. Выньте-ка из-под козел мушкеты и держите их наготове, а то в лесу, в который мы теперь въезжаем, постоянно прячутся негодяи. Да не держите вы их на виду, черт вас возьми! Спрячьте их за спину, — разве вы не видите, что она у нас, словно мокрый цыпленок, обмирает от всяких пустяков? Увидит оружие, чего доброго, в самом деле окочурится. Когда она опомнится, смотрите, не пугайте ее. Не трогайте, пока я не подам знака. Чтобы держать ее, хватит меня одного. И молчите — говорить буду я.

Меж тем карета, мчавшаяся во весь дух, въехала в лес.

Спустя некоторое время бедная Люция стала приходить в себя, словно после глубокого и тяжелого сна, и открыла глаза. С большим трудом ей удалось различить все то страшное, что окружало ее, и собраться с мыслями. Однако в конце концов она снова поняла весь ужас своего положения. Первым движением ее было — собрать слабые силы, вернувшиеся к ней,

еще раз ринуться к дверце и выпрыгнуть из кареты. Но ее удержали, и она успела лишь на мгновение увидеть дикую и безлюдную местность, по которой ее провозили. Она снова пронзительно вскрикнула, но Ниббио, поднимая свою ручищу с платком, сказал ей, насколько мог мягче:

— Потихе, потихе. Так будет лучше и вам самим. Мы не собираемся обижать вас, но если вы не замолчите, придется заставить вас.

— Пустите меня! Кто вы такие? Куда вы меня везете? Зачем вы схватили меня? Пустите, пустите меня!

— Я же говорю вам — не бойтесь. Вы же не ребенок, и должны понять, что мы не собираемся обижать вас. Разве вы не видите, что мы сто раз могли бы убить вас, будь у нас дурные намерения? Значит, ведите себя потихе.

— Нет, нет, пустите меня идти своей дорогой. Я не знаю вас.

— Зато мы вас знаем.

— Пресвятая Дева! Откуда же вы меня знаете? Пустите меня ради Бога. Кто вы такие? Зачем схватили меня?

— Затем, что нам так приказано.

— Кто? Кто мог вам приказать?

— Спокойно! — сказал Ниббио со строгим выражением лица. — Таких вопросов нам не задают.

Лючия сделала еще одну попытку неожиданно броситься к дверце, но, увидев, что это бесполезно, снова прибегла к мольбам. Она низко опустила голову, по щекам ее текли слезы, рыдания прерывали голос, и, сложив в мольбе руки, она молила:

— Ради самого Бога, ради Пресвятой Девы, отпустите меня! В чем я виновата? Ведь я бедное существо и ничего вам не сделала. А то, что вы причинили мне, я прошая вам от всего сердца и стану молить за вас Бога. Если есть у вас дочь, жена, мать, подумайте только, как страдали бы они на моем месте. Вспомните, ведь всем нам суждено умереть, настанет день, когда и вы захотите, чтобы Бог оказал вам свое милосердие. Отпустите же меня, оставьте меня здесь. Господь мне поможет найти дорогу.

— Не можем.

— Не можете? Господи! Но почему же? Куда вы хотите отвезти меня? Зачем...

— Не можем и все тут. Вы не бойтесь, мы вас не обидим. Уймись, и никто вас не тронет.

Подавленная, измученная, в отчаянии от того, что слова ее не производили никакого впечатления, Лючия обратилась к тому, в чьих руках сердца человеческие, кто может смягчить даже самые окаменелые из них. Она забилась, насколько было возможно, в угол кареты, сложила на груди руки крестом и некоторое время молилась про себя, а потом вынула четки и принялась творить по ним молитву с такой горячей верой, как никогда еще в жизни. Время от времени, в надежде, что ей удалось вымолить милосердие, к которому она взывала,

Люция принималась снова упрасивать своих мучителей, однако напрасно. Потом снова теряла сознание, и опять приходила в себя, для новых тревог и страданий. Но у нас не хватает духу описывать их дальше: глубокое сострадание торопит нас к концу этого путешествия, длившегося более четырех часов, а ведь нам и после него предстоит пережить много тревожных минут. Перенесемся же в замок, где поджидали несчастную. Безымянный ждал ее с беспокойством, с какой-то необычной для него душевной растерянностью. Странное дело! Человек этот, который хладнокровно распоряжался жизнью стольких людей, который во всех своих деяниях не придавал никакого значения причиняемым им страданиям, разве лишь порой испытывал при этом дикое наслаждение мезтью, теперь, когда ему предстояло соприкоснуться с этой незнакомой ему бедной крестьянкой, почувствовал словно дрожь, я бы сказал, почти страх. Из высокого окна своего замка он уже давно глядел туда, где начиналась долина. Вот показалась карета, медленно подвигавшаяся вперед: первоначальная бешеная скачка истощила пыл лошадей и вымотала их силы. И хотя с места, откуда он наблюдал, карета казалась не больше игрушечной тележки, он сразу узнал ее, и сердце у него забилося сильнее.

«Там ли она? — тут же подумал он и продолжал про себя: — Сколько мне с ней возни! Поскорее бы от нее отделаться». И он собрался было позвать одного из своих подручных, чтобы выслать его навстречу карете и приказать Ниббио, повернув назад, отвезти Люцию во дворец дона Родриго. Но какой-то внутренний голос повелительно заставил его отказаться от этого намерения. Все же нужно было отдать какое-то приказание: невыносимо было стоять и покорно ждать эту карету, которая приближалась черепашным шагом, словно предательство, или — почем знать, — словно возмездие. И он приказал позвать старуху служанку.

Женщина эта родилась в самом замке, где отец ее когда-то давно служил сторожем, и всю жизнь провела тут же. То, что пришлось ей видеть и слышать с самых пеленок, внушило ей величественное и грозное представление о могуществе своих хозяев, и она считала самым главным правилом, усвоенное ею из всяких наставлений и примеров, которое требовало слепого повиновения господам во всяком деле, ибо они могли причинить великое зло и великое благо. Идея покорности, в зародыше живущая в сердцах всех людей, развивалась в ее сердце вместе с чувством уважения, страха, рабской преданности; она срослась с этими чувствами и приноровилась к ним.

Когда Безымянный, став властелином, начал так страшно пользоваться своей силой, она сначала испытала некоторое чувство отвращения, но вместе с тем и еще более глубокой покорности. Со временем она привыкла к тому, что ей приходилось видеть и слышать ежедневно: могучая и необуздан-

ная воля столь большого синьора была для нее чем-то вроде неотвратимого рока. Став взрослой девушкой, она вышла замуж за одного из домашних слуг, который вскоре после этого принял участие в опасной вылазке и сложил свои кости на большой дороге, оставив ее вдовой. Синьор не замедлил отомстить за своего слугу, и эта месть принесла ей кроважидное утешение, а вместе с тем и усилила в ней горделивое сознание того, что она находится под таким высоким покровительством.

С тех пор она очень редко выходила за пределы замка, и мало-помалу у нее не осталось других представлений о жизни людей, кроме тех, какие она получила здесь. У нее не было никакой определенной работы, но постоянно то один, то другой из разбойничьей шайки синьора давал ей какое-нибудь поручение, и это изводило ее. То ей приходилось латать лохмотья, то наспех готовить еду для возвращающихся из какого-нибудь похождения, то ходить за ранеными. К тому же все приказания, попреки и выражения благодарности всегда сопровождалось глумлением и ругательствами. Обычно ее звали просто «старухой». А эпитеты, которые каждый неизменно присоединял к этой кличке, менялись всякий раз в зависимости от обстоятельств и настроения говорившего. Она же, привыкшая к праздности и доведенная до белого каления — два главные ее порока, — иной раз отвечала на эти любезности словечками, в которых сам сатана признал бы себя гораздо скорее, чем в словах тех, кто глумился над ней.

— Видишь вон там карету? — сказал ей синьор.

— Вижу, — отвечала старуха, поднимая свой заостренный подбородок и тараща глубоко запавшие глаза, которые, казалось, готовы были выскочить у нее из орбит.

— Вели сейчас же снарядить носилки, садись в них и прикажи спуститься к «Страшной ночи». Да смотри, живо, чтобы тебе добраться туда раньше кареты: ишь вон, каким черепашьим шагом она подвигается. В карете этой находится... то есть должна находиться... одна девушка. Если она там, так скажи Ниббио от моего имени, чтобы он пересадил ее в носилки, а сам немедленно явился ко мне. Сама же садись вместе с этой... этой девушкой, и когда подниметесь сюда, отведи ее в свою комнату. Если она спросит, куда ты ее ведешь, чей это замок, — смотри, не...

— Что вы! — прервала его старуха.

— Но, — продолжал Безымянный, — ты ее приободри.

— Что же мне ей сказать?

— Как это — «что сказать»? Я же тебе говорю — приободри. Как же это ты дожила до таких лет, а не знаешь, как успокоить человека, когда это нужно? Разве никогда сердце у тебя не замирало от тревоги? Разве ты никогда не чувствовала страха? Неужели ты не знаешь слов, которыми можно уте-

шить в такие минуты? Вот такие слова ты ей и скажи, — придумай их, наконец, черт возьми! Ступай!

После ее ухода он немного постоял у окна, устремив взгляд на карету, которая казалась теперь уже гораздо больше; затем поднял взор к солнцу, спрятавшемуся в эту минуту за горами, потом посмотрел выше, на облака, рассеянные по небу, которые на мгновение из темных сделались почти огненными. И отошел. Потом затворил окно и стал ходить взад и вперед по комнате шагами торопливого путника.

Глава двадцать первая

Старуха поспешила выполнить приказание и действовать от лица того, чье имя, когда оно произносилось кем-либо в этом замке, приводило всех в беспрекословное повиновение, ибо никому и в голову не приходило, что найдется дерзкий, способный злоупотребить им. В самом деле, она очутилась в таверне «Страшная ночь» несколько раньше, чем подъехала туда карета. Увидев ее приближение, старуха вышла из носилок, сделала кучеру знак остановиться и, подойдя к самой дверце, вполголоса передала Ниббио, высунувшемуся из кареты, распоряжение хозяина.

Когда карета остановилась, Лючия вздрогнула, очнувшись от тяжелого оцепенения. Но страх снова овладел ею: глаза и рот ее широко раскрылись, она осматрелась. Ниббио откинулся назад, а старуха, уткнувшись подбородком в дверцу и разглядывая Лючию, проговорила:

— Выходите же, миленькая, выходите, бедняжка! Идемте со мной. Мне приказано быть ласковой с вами и утешить вас.

Звук женского голоса принес несчастной какое-то успокоение и минутный прилив мужества, однако леденящий ужас опять охватил ее.

— Кто вы? — спросила она с дрожью в голосе, вглядываясь с изумлением в лицо старухи.

— Идемте же, идемте, бедненькая, — не переставая, твердила старуха.

Ниббио и оба его сообщника, догадавшись по словам и по голосу старухи, ставшему вдруг столь приветливым, о замыслах синьора, всячески старались убедить свою жертву не противиться. Но Лючия все смотрела по сторонам. Хотя дикая и незнакомая местность и неумолимость ее стражи лишали девушку всякой надежды на помощь, все же она сделала попытку закричать, но, увидя, что Ниббио многозначительно посмотрел на платок, удержалась, вздрогнула и отвернулася. Ее подхватили и перенесли на носилки. Старуха последовала за ней. Ниббио приказал обоим разбойникам идти позади, а сам пустился бежать в гору за новыми распоряжениями своего господина.

— Кто вы? — спрашивала в ужасе Лючия у отвратительной незнакомой образины. — Зачем я с вами? Где я? Куда вы меня везете?

— К тому, кто хочет вас облагодетельствовать, — отвечала старуха, — к важному... Счастливы те, кого он хочет облагодетельствовать. Хорошо вам будет, очень хорошо! Не бойтесь же, развеселитесь, ведь он велел успокоить вас. Вы скажете ему, не правда ли, что я всячески старалась вас успокоить?

— Кто он? Зачем? Что ему от меня нужно? Ведь я же не раба его! Скажите же мне, где я; пустите меня! Прикажите им отпустить меня. Пусть меня отнесут в какую-нибудь церковь. Ведь вы же женщина, — ради Девы Марии!

Это имя, святое и нежное, которое когда-то, давным-давно, произносилось с благоговением, а потом столько лет не только не призывалось, но, пожалуй, было даже совершенно позабыто, вызвало в это мгновение в сознании этой мегеры, до слуха которой оно долетело, странное, неуловимое ощущение — словно воспоминание о свете у глубокого старика, ослепшего еще в детстве.

Тем временем Безымянный, стоя у ворот своего замка, напряженно смотрел вниз: он видел, как шаг за шагом медленно приближаются носилки, совершенно так же, как раньше карета, а впереди них на расстоянии, ежеминутно возраставшем, стремглав бежит Ниббио. Когда он добрался до вершины, синьор дал ему знак следовать за ним. Они вошли в одну из комнат замка.

— Ну, как дела? — спросил синьор, остановившись.

— Все в порядке, — отвечал с поклоном Ниббио, — известие вовремя, женщина — вовремя, на месте ни живой души, только один раз вопль, кругом — никого, кучер — лихой, кони — ретивые, встреч — никаких, но...

— То есть?

— Но... но, по правде говоря, я бы с большей охотой просто пустил ей в затылок пулю, если б мне приказали, лишь бы не слышать ее жалоб, не видеть ее лица.

— Что это значит? Что такое? Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что все это время, все это время... Уж очень мне было ее жалко.

— Жалко? Что понимаешь ты в жалости? Разве ты знаешь, что такое жалость?

— На этот раз я понял это лучше, чем когда-либо: жалость — это такая же штука, как страх. Уж если она тебя заберет, человеку крышка!

— А ну-ка расскажи, как ей удалось разжалобить тебя!

— О благороднейший синьор! Она так долго плакала, так убивалась, и глаза у нее были такие просящие, а сама она белая-пребелая, как смерть... и потом опять все умоляла, и слова у нее все такие особенные...

А Безымянный тем временем думал: «Не хочу, чтобы она оставалась в моем замке. Болван я, что ввязался в эту историю. Но я ведь обещал? Обещал! Когда она будет далеко...» — и, подняв голову, повелительным тоном сказал Ниббио:

— Послушай, выкинь ты из головы всякую жалость; садись на коня, возьми себе спутника, — если хочешь, даже двух, — и скачи что есть духу к дону Родриго, — ты его знаешь. Скажи, чтобы он прислал... слышишь, без промедления, сию минуту, иначе...

Но какой-то внутренний протестующий голос не дал ему договорить.

— Нет, — сказал он решительно, словно стараясь убедить самого себя не противиться велению этого таинственного зова, — нет, ступай отдохни, а завтра утром... ты сделаешь то, что я тебе прикажу.

«Уж не дьявол ли ей помогает?» — подумал он, оставшись один, стоя со скрещенными на груди руками и глядя тяжелым взглядом на тот кусочек пола, где лунный свет, лившийся через высокое окно, образовал светлое четырехугольное пятно. Тень, падавшая от толстой железной решетки, разделила его на квадраты, а переплет оконной рамы разграфил на еще более мелкие клеточки. «Либо черт какой-нибудь, либо ангел ее охраняет... Жалость у Ниббио!.. Завтра утром чтобы духу ее здесь не было, будь что будет, но говорить о ней я больше не желаю, — продолжал он про себя с тем чувством, которым приказывают капризному ребенку, зная, что он все равно не послушается, — и думать о ней я больше не хочу. Пусть это животное, дон Родриго, оставит меня в покое и не лезет со своей благодарностью; не хочу ничего больше о ней слушать. Я оказал ему услугу... Ну, просто... потому, что обещал, а обещал... видно... такова моя судьба! Впрочем, я хочу, чтобы этот негодяй дорого заплатил мне за эту услугу. Подождем — увидим...»

Он стал обдумывать, что бы такое потребовать от Родриго в награду за сделанное, вернее, в отместку. И опять в его сознании всплыли слова: «Жалость у Ниббио!» «Как могло это случиться? — упорно размышлял он, захваченный этой мыслью. — Я хочу ее видеть... Нет, нет... Да, да, хочу ее видеть!»

Он прошел ряд комнат, ощупью поднялся по узкой лестнице и очутился у самой каморки старухи. Тут он ударил ногой в дверь.

— Кто там?

— Отопри.

При звуке знакомого голоса старуха опрометью бросилась открывать; загремел засов, и дверь распахнулась настежь. Безымянный с порога обвел глазами комнату и при свете ночника, горевшего на столике, увидел Лючию, съжившуюся комочком на полу, в самом дальнем углу.

— Кто велел тебе, чертовка, бросить ее туда, словно мешок лохмотьев, — бросил он старухе, гневно насупив брови.

— Где ей было угодно, там она и устроилась, — подобострастно отвечала та, — я просто из сил выбилась, чтобы ее успокоить, она вам это сама скажет, — да только ничего из этого не вышло.

— Встаньте, — сказал Безымянный Люции, подходя к ней поближе.

Стук в дверь, лязг замка, появление этого человека, его слова заставили содрогнуться от ужаса запуганную и без того душу, — и Люция еще глубже забилась в угол, закрыв лицо руками, не шевелясь, дрожа всем телом.

— Встаньте, я не хочу причинять вам зла... наоборот, я могу помочь вам, — повторил синьор. — Встаньте же, — загремел он, разъяренный тем, что оба раза его приказание осталось без ответа.

Бедняжка вдруг приподнялась и упала на колени, словно ужас придал ей силы. Сложив руки точно перед распятием, она подняла глаза на Безымянного, потом, тут же опустив их, сказала:

— Я в вашей воле — убейте же меня.

— Повторяю, я не хочу причинять вам никакого зла, — отвечал Безымянный, стараясь смягчить свой голос, пристально глядя на это лицо, искаженное страхом и горем.

— Бодритесь, бодритесь, — суежилась старуха. — Уж если он сам говорит, что не хочет вас обижать...

— А зачем же он причиняет мне эти адские муки? — подхватила Люция голосом, дрожащим от страха, в котором, однако, звучала какая-то решимость безнадежного отчаяния. — Что я ему сделала?

— Скажите, быть может, с вами дурно обращались? Говорите же!

— О Боже, дурно обращались! Меня заманили, схватили насильно! Зачем? Зачем они меня схватили? Зачем я здесь? Скажите, где я? Я бедная девушка! Что я им сделала? Во имя Бога...

— Бог да Бог, — перебил ее Безымянный, — всегда — Бог! Тот, кто сам не может защитить себя, у кого нет силы, вечно сует этого Бога, словно он с ним советовался. Что вы хотите сказать этим? Заставить меня... — он не закончил фразы.

— О Господи! Что я хочу сказать? Что могу сказать я, несчастная, кроме того, чтобы вы были ко мне милосердны? Бог прощает все грехи за один милосердный поступок! Отпустите меня, умоляю вас, отпустите! Не должен человек, которому суждено тоже умереть, заставлять так страдать бедное существо! О, в вашей власти приказывать отпустить меня! Ведь меня притящили сюда силой. Отправьте меня с этой женщиной в ***, там моя мать. О Пресвятая Дева! Сжальтесь надо мной, — пошлите меня к моей матери! Быть может, она неподалеку отсюда. Я

вижу родные горы! Зачем вы меня мучите? Пусть отведут меня в церковь. Я буду молиться за вас всю жизнь. Что вам стоит сказать одно только слово? О Боже, я вижу, вы готовы сжалиться надо мной: вымолвите только одно слово, скажите же его. Бог так многое прощает за один милосердный поступок!

«Почему она не дочь одного из тех псов, которые заставили меня уйти в изгнание! — подумал Безымянный. — Одного из тех негодяев, которые не прочь были бы видеть меня мертвым. О, как бы я насладился тогда ее стонами, а теперь...»

— О, не гоните же от себя доброго порыва, — горячо продолжала окрыленная Люция, заметив промелькнувшую нерешительность во взгляде и во всем обращении своего мучителя. — Если вы не окажете мне этой милости, ее мне окажет Господь — он даст мне умереть, и все для меня будет кончено. А вы! Наступит когда-нибудь и ваш день... Но нет, нет... Я буду всегда молиться Создателю, да избавит он вас от всякого зла... Что вам стоит сказать только одно слово? Если бы вы могли испытать эти муки!

— Полно, успокойтесь, — прервал ее Безымянный с необычайной мягкостью, заставившей насторожиться старуху — Разве я чем-нибудь обидел вас? Угрожал вам?

— О нет! У вас доброе сердце, и вы ведь пожалеете бедное создание. Если б вы только захотели, вы могли бы нагнать на меня больше страха, чем все остальные, вы могли бы запугать меня так, как никто вокруг, вы могли бы... умертвить меня — а вы, наоборот, вы... немного облегчили мне душу. Будьте же милосердны до конца. Бог воздаст вам за это. Освободите же меня, освободите...

— Завтра утром.

— Нет, сейчас освободите, немедленно...

— Завтра мы увидимся, я обещаю. Ну, полно же, успокойтесь. Отдохните. Вам надо подкрепиться. Сейчас вам принесут поесть.

— Нет, нет, я умру, если кто-нибудь войдет сюда, я умру. Отведите меня в церковь... Господь воздаст вам за это немного.

— Я пришлю женщину, которая принесет вам поесть, — продолжал Безымянный и, сказав это, сам удивился, как могла ему прийти в голову подобная хитрость и зачем понадобилось прибегать к ней, только ради того, чтобы успокоить какую-то девчонку.

— А ты, — сказал он тут же, обращаясь к старухе, — уговори ее поесть, да уложи спать вот в эту кровать; если она захочет лечь с тобой, пусть будет по ее, а если нет, ты прекрасно можешь поспать одну ночь и на полу. Успокой же ее. Я тебе говорю: развесели ее немного, чтобы ей не пришлось жаловаться на тебя!

Сказав это, он быстро направился к выходу. Люция вскочила и бросилась было за ним, но он уже исчез...

— О я несчастная! Запирайте, запирайте же скорей! — и, услышав, как загремел засов и захлопнулась дверь, она вернулась в свой угол и снова опустилась на колени. — О, горе мне! — воскликнула она, захлебываясь от рыданий. — Кого мне теперь умолять? Где я? Скажите мне, ради Бога, скажите, кто этот синьор... тот, что говорил со мной?

— Кто он? Кто он? Вы хотите, чтобы я вам сказала это? Черта с два, чтобы я это сказала! Он к вам милостив, а вы вот невесть что о себе думаете. Вас разбирает любопытство, а отдуваться придется мне. Сами спросите у него! Коли я сделаю по-вашему, пожалуй, мне не услышать тех приятных слов, что он нашептывал вам... Я ведь старуха... старуха, — бормотала она сквозь зубы. — Будьте прокляты все молодые, им все можно: и плакать и смеяться — и всегда они правы.

Но, услышав рыдания Люции и вспомнив грозный наказ своего господина, она наклонилась к бедняжке, забившейся в угол, и уже ласковым голосом продолжала:

— Ну, хватит, успокойтесь, ведь я же ничего дурного вам не сказала, будьте веселей. Не задавайте мне вопросов, на которые я не могу ответить, а главное — не падайте духом. Если б вы только знали, сколько людей сочли бы себя счастливыми, когда бы он разговаривал с ними так, как с вами. Ну, разве веселитесь же. Скоро, скоро вам принесут поесть, и, насколько я понимаю... судя по его разговору с вами, это будут превкусные вещи. А потом вы уляжетесь в кровать, и надеюсь — оставите местечко и для меня, — прибавила она голосом, в котором, помимо ее воли, звучала сдержанная ненависть.

— Я не хочу ни есть, ни спать. Оставьте меня в покое, не подходите ко мне, но и не покидайте меня.

— Да что вы, что вы! — сказала старуха, отходя и усаживаясь в старое кресло, искоса поглядывая на несчастную глазами, полными страха и вместе с тем затаенной злобы.

Потом она посмотрела на свое ложе, в досаде, что ее спугнули с него, чего доброго, на всю ночь, и заворчала на холод. Однако ее радовала мысль о предстоящем ужине и надежда, что и ей перепадет кусочек. Люция не замечала холода, не чувствовала голода и, словно одурманенная, лишь смутно ощущала все свои страдания, весь пережитый кошмар, словно то были видения лихорадочного бреда.

Она вздрогнула, услышав стук в дверь, и, подняв искаженное испугом лицо, закричала:

— Кто там? Кто там? Не впускайте никого!

— Ничего, ничего: добрые вести, — сказала старуха. — Марта принесла вам поесть...

— Запирайте, запирайте! — неистово кричала Люция.

— Да сейчас, сейчас! — отвечала старуха и, взяв корзину из рук Марты, поспешно отпустила ее, заперла за ней дверь и поставила еду на столик посреди комнаты.

Потом принялась уговаривать Люцию отве­дать принесенных яств. Она не скупилась, по ее мнению, на самые заманчивые слова, чтобы вызвать аппетит у бедняжки, рассыпалась в восторженных похвалах по поводу изысканности блюд:

— Это, я вам скажу, такие лакомые кусочки, что, когда они попадают к нашему брату, их надолго запомнишь! А вино-то какое! Сам хозяин распивает его со своими друзьями... Ну, когда случится кому-нибудь из них... просто когда они хотят повеселиться!

И она причмокнула от удовольствия. Но, видя, что все ее ухищрения никак не действуют, сказала:

— А вы вот капризничаете! И, пожалуйста, не вздумайте завтра жаловаться ему, что я вас плохо уговаривала. Ну, а теперь, пожалуй, закушу и я. Не беспокойтесь, и вам хватит, когда вы образумитесь и станете паинькой.

С этими словами она жадно набросилась на еду. Вдоволь насытившись, встала, направилась в угол и, наклонившись к Люции, снова стала уговаривать ее поесть, а потом идти спать.

— Нет, нет, я ничего не хочу, — отвечала Люция словно спросонья, невнятным голосом. Потом более решительно продолжала: — Дверь заперта? Хорошо заперта? — и, окинув взглядом всю комнату, она встала и, с вытянутыми вперед руками, осторожно ступая, направилась к выходу.

Старуха опередила ее, ухвати­лась за засов, подергала его и сказала:

— Слышите? Видите? Хорошо заперта? Теперь вы довольны?

— О Боже, довольна? Разве можно быть довольной здесь? — застонала Люция, забившись снова в свой угол. — Но Господь знает, что я здесь!

— Да полно! Ложитесь-ка лучше: нечего вам валяться на полу, как собака! Виданное ли дело — отказываться от удобств, когда они есть!

— Нет, нет. Оставьте меня в покое.

— Ну, как хотите! А то вот смотрите: я вам хорошее местечко припасла, а сама прилягу как-нибудь на краешке. Теперь, если захотите, сами знаете, как устроиться. Да не забудьте, что я вас долго упрашивала. — Сказав это, она повалилась, не раздеваясь, на кровать, и все стихло.

Люция неподвижно сидела в своем углу, свернувшись клубком. Согнув колени и опершись на них локтями, она закрыла руками лицо. То был не сон и не явь, а быстрая смена, какое-то смутное чередование тревожных мыслей, видений, ужасов. Сейчас, оставшись наедине с собой, она более отчетливо представляла кошмары, пережитые ею за этот день, и скорбно склонялась перед ужасной и суровой действительностью, которая обступала ее со всех сторон; однако мысль ее, проникая в еще более темные глубины, мучительно боролась

с призраками, порожденными страхом и неизвестностью. В таком смятении чувств она пробыла довольно долго. В конце концов, усталая и разбитая, она расправила свое онемевшее тело, потянулась и упала плашмя на пол. Так пролежала она некоторое время в состоянии, похожем на настоящий сон. Но внезапно она очнулась, словно повинувшись какому-то внутреннему зову, и ей захотелось собрать все свои мысли, полностью осознать, где она, как сюда попала, зачем. Она прислушалась к какому-то звуку; то был протяжный, хриплый храп старухи. Люция широко раскрыла глаза и увидела тусклый огонек, который то появлялся, то исчезал: это был фитиль гаснущего ночника, который бросал мерцающий свет и тут же, если можно так выразиться, тянул его обратно, подобно приливу и отливу на морском берегу. Этот свет, убегая от предметов, не успев придать им определенные очертания, являл для глаз лишь быструю смену каких-то призрачных образов.

Однако недавние переживания, всплывшие в памяти Люции, очень скоро помогли девушке разобраться в том, что казалось ей столь загадочным. Пробудившись, несчастная узнала свою тюрьму, и на нее разом нахлынули все страшные воспоминания пережитого дня, все кошмары будущего; даже царившая тишина после стольких волнений, это спокойствие, эта заброшенность, в которой ее оставили, внушили ей опять сильную тревогу, и ее охватил такой страх, что захотелось умереть. Но в этот момент она подумала, что Господь услышит ее молитвы, и тут же в душе ее вдруг вспыхнула надежда. Люция снова взялась за свои четки и стала их перебирать, и вместе со словами молитвы, которые слетали с ее дрожащих губ, в душе ее крепла какая-то неиссякаемая вера. Но тут новая мысль осенила ее: ведь молитва ее будет скорее услышана и будет более угодной Богу, если она в своем безмерном отчаянии даст какой-нибудь обет. Люция стала припоминать, что сейчас и что раньше было ей дороже всего на свете. В этот момент душа ее была охвачена только страхом и другого желания, кроме освобождения, у нее не было. Поэтому она тут же вспомнила о самом для себя дорогом и, не задумываясь, решила принести его в жертву. Она опустилась на колени и, скрестив на груди руки, на которых висели четки, подняв глаза к небу, произнесла:

— О Святая Дева! Сколько раз я к вам прибегала, и сколько раз вы меня утешали! Вы перенесли столько страданий и теперь пребываете в ореоле святости и славы! Вы сотворили столько чудес для несчастных обездоленных, помогите же мне! Дайте мне силы спастись и вернуться невредимой к моей матери. О Божья Матерь, даю вам обет девственности, клянусь вам, я навеки отказываюсь от своего любимого и посвящаю себя навсегда служению вам.

Произнеся эти слова, девушка склонила голову, надела на шею четки в знак посвящения, словно это была ее защита,

доспехи нового воинства, в ряды которого она вступила. Она опустилась на пол и почувствовала, как в душу ее снизошло успокоение, какое-то глубокое упование. Она вспомнила слова всемогущего незнакомца: «Завтра утром», и ей показалось, что в них прозвучало обещание освободить ее. От этих утешительных мыслей чувства ее, утомленные непосильной борьбой, мало-помалу успокоились, и, наконец, уже перед самым рассветом, с именем своей заступницы на устах, Люция заснула крепким и сладким сном.

Но в том же замке был еще один человек, который в эту ночь хотел уснуть и не мог. Уйдя или почти убежав от Люции и приказав подать ей ужин, он по обыкновению обошел посты своего замка, но образ девушки неотступно следовал за ним, не давая ему ни минуты покоя, а в ушах его непрерывно звучали ее слова. Синьор прошел в свою комнату, поспешно заперся в ней, словно ему надо было защищаться от целого полчища врагов, потом, так же торопливо раздевшись, улегся в постель. Но образ девушки, как живой, стоял перед ним и, казалось, говорил: «Тебе не уснуть».

«Что за пустое бабье любопытство взяло меня посмотреть на нее? — подумал он. — Это животное Ниббио, пожалуй, был прав: человеку крышка. Да, это так: человеку крышка! Это мне-то? Крышка мне? Да что же случилось? Какой дьявол попутал меня? Что изменилось? Разве я раньше не знал, что женщины всегда пишат? Иной раз это и с мужчинами случается, когда они не могут защитить себя. Что за чертовщина! Мало, что ли, я слышал женского вытья?»

Однако ему не пришлось долго рыться в своей памяти: непроизвольно всплыли в ней несколько случаев, когда ни мольбы, ни рыдания не могли поколебать его решения. Но воспоминание об этих его деяниях не только не придало ему твердости, не хватавшей для выполнения взятого на себя дела, не только не заглушило в нем мучительного чувства жалости, а наоборот, пробудило в нем какой-то ужас, страстную жажду покаяния. Теперь ему казалось облегчением вернуться к прежнему образу Люции, для противодействия которому он все время старался поддерживать в себе мужество. «Она жива, — подумал он, — и здесь; у меня еще есть время; ведь я же могу сказать ей: ступайте и радуйтесь; я увижу ее изменившееся лицо, скажу ей: простите меня... Простить меня? Я — прошу прощения? У бабы? Это я-то? Да, и все-таки, если бы это слово, единое только слово могло бы принести мне успокоение, сняло бы с меня эту чертовщину, я произнес бы его непременно: ну да, знаю, что произнес бы. До чего я дошел! Я уже больше не человек, мне крышка!.. Хватит! — сказал он, ворочаясь с остервенением в своей кровати, которая вдруг показалась ему жесткой-прежесткой, а одеяло тяжелым-претяжелым. — Ну, будем! Все это глупости, такое со мной случалось и раньше. Пройдет и на этот раз».

И чтобы заставить себя успокоиться, он пытался придумать какое-нибудь важное дело, такое, которое могло бы захватить его, выполнению которого он отдался бы целиком; но он ничего не мог придумать. Ему казалось, что все изменилось. То, что прежде имело для него столь притягательную силу, теперь уже не манило его. Страсть, подобно коню, зартачившемуся перед тенью, не давала ему нестись вперед. Вспоминая о задуманных им делах, он, вместо того чтобы стремиться к их завершению, вместо того чтобы гневаться из-за возможных препятствий (самый гнев в этот момент казался бы ему раем), он чувствовал грусть, почти ужас перед тем, что уже совершил. Будущее представлялось ему бессмысленным, без цели, без желаний; казалось, оно было полно лишь невыносимых воспоминаний; все часы — похожими на этот час, который тянулся сейчас так медленно и так мучительно давил ему голову. Он стал перебирать в памяти своих разбойников и не мог остановиться ни на одном из них, кому бы он рискнул дать какое-нибудь важное поручение; даже самая мысль, что он снова может увидеть их, находиться среди них, была для него невыносимо тяжела и вызывала лишь чувство досады и омерзения. А когда он пытался придумать себе занятие на завтрашний день, какое-нибудь неотложное дело, он неизменно возвращался к мысли, что завтра он отпустит на свободу эту бедную девушку.

«Да, я освобожу ее, непременно освобожу. Как только займется день, приду к ней и скажу: идите, идите. Я дам ей провоза того... А как же обещанье? А слово? А дон Родриго? Но кто такой этот дон Родриго?»

Подобно тому, кто застигнут врасплох затруднительным вопросом старшего, Безымянный вдруг решил ответить на поставленный самому себе вопрос, вернее, не он сам, а тот новый человек, который внезапно вырос, как бы восстал для суда над прежним. И он стал доискиваться причины, почему он, непрощенный, вдруг решился подвергнуть мучениям неизвестную бедную девушку, не питая к ней ни злобы, ни боязни, только из желания угодить дону Родриго, и никак не мог найти подходящего оправдания своему поступку или хоть как-нибудь объяснить самому себе, как могло это случиться. Ведь это решение, вернее, желание, было мгновенным порывом его души, находившейся еще во власти старых, привычных чувств, итогом многих предшествующих событий; и вот теперь, мучительно допрашивая самого себя, стараясь осознать только один свой поступок, он углубился в созерцание прошлой своей жизни. Назад все дальше и дальше, от года к году, от ссоры к ссоре, от кровопролития к кровопролитию, от злодеяния к злодеянию, — каждое из них вставало в его обновленной душе, оторванное от чувств, заставивших когда-то совершить его; вставало во всей чудовищности, которую тогда чувства эти

мешали обнаружить. Но ведь это были его поступки, это был — он сам. Ужас, вызванный мыслью, возникавшей от созерцания этих картин и неразлучной с ними, довел его до полного отчаяния. Он быстро вскочил с кровати, лихорадочно протянул руку к соседней стене, схватил пистолет, нажал курок и... Но в это мгновение, когда он готов был расстаться с жизнью, ставшей для него невыносимой, мысль его, охваченная как бы суеверной тревогой, вдруг перенеслась в будущее, которое последует за его смертью. Он с ужасом представил себе свой обезображенный, недвижимый труп во власти самого низкого из смертных; удивление, переполох в замке на другой день; кругом суматоха, а он — бессильный, безгласный, брошенный неизвестно куда. Он представил себе, какие пойдут толки и здесь, и в округе, и далеко-далеко; ликование своих врагов. Мрак и безмолвие, царившее вокруг, придавали в его глазах этой картине смерти еще большую скорбь, еще больший ужас. Ему казалось, что, будь это днем, на людях, под открытым небом, он без колебания бросился бы в реку и исчез навсегда. И охваченный этими горестными размышлениями, он то взводил, то опускал курок пистолета судорожным движением большого пальца. Но вдруг в его сознании мелькнула новая мысль: «А что, если та, загробная жизнь, о которой мне так много говорили в детстве, о которой постоянно все твердят как о существующей — что если ее нет, и это все — выдумки попов? Что же тогда я делаю? Зачем умирать? Какое значение имеет то, что я сделаю? Какое? Это же чистое безумие!.. А если все-таки «та жизнь» существует?..»

Сомнение и тревога одолели Безымянного, и отчаяние, мрачное и тяжелое, от которого не было спасения даже в смерти, охватило его. Пистолет выпал из рук, он схватился за голову, зубы его стучали, он весь дрожал. И внезапно ему вспомнились слова, которые он несколько раз слышал еще совсем недавно: «Бог прощает все грехи за один милосердный поступок». Эти слова звучали для него теперь не смиренной мольбой, с какой они были произнесены, а властным утверждением, в котором, однако, таилась смутная надежда. На минуту он почувствовал облегчение: он отнял руки от висков и, придя немного в себя, устремился мыслями к той, которая произнесла эти слова, и увидел ее не как свою пленницу, умоляющую о пощаде, а чистым ангелом, дарующим спокойствие и утешение. Он лихорадочно ждал утра, чтобы как можно скорей освободить ее и услышать из ее уст другие живительные слова, призывающие к счастью; он представил, как проводит ее к матери. «А потом? Что будет делать он завтра и весь остальной день? А послезавтра? А в следующие дни? А ночью? Ведь ночь наступит через двенадцать часов! О Боже, ночь! Нет, нет, только не ночь!»

И, видя, что будущее ничего ему не сулит, кроме пустоты,

он тщетно стал искать, чем заполнить свое время — дни и ночи. То он решал бросить свой замок и уйти в дальние края, где бы никто не знал его даже по имени. Но он чувствовал, что ведь от самого себя ему все равно не уйти; то в нем загоралась робкая надежда, что к нему вернется былая воля, былая сила, — а что все настоящее — лишь мимолетный бред; то он страшился наступления дня, когда окружающие увидят его столь жалким; то он жаждал его, словно этот день нес свет в его истерзанную душу. И вот, когда забрезжило утро, вскоре после того как Лючия заснула, а он сидел не шевелясь, до его слуха долетела волна неясных звуков, несущих с собой что-то радостное. Он внимательно прислушался. То был далекий торжественный благовест; а через несколько минут он услышал и горное эхо, которое то вторило этим радостным звукам, то сливалось с ними. Через несколько минут снова раздался звон, но уже ближе и тоже праздничный, потом еще и еще. «Что за веселье? — подумал он. — Чему это люди радуются?» Он вскочил со своего ложа страданий, полуодетый подбежал к окну и выглянул наружу.

Горы были наполовину затянуты туманом: небо было не только облачным, оно казалось сплошной серой тучей. Но при свете занимающегося дня можно было видеть, как по дороге, идущей в глубине долины, шли люди; некоторые выходили из своих домов и потом все устремлялись в одну сторону, по направлению к роще, направо от замка; все были празднично одеты и необычайно оживлены.

«Какой дьявол их разбирает? Что может быть веселого в этой проклятой дыре? Куда торопится вся эта нечисть?» И, позвав верного браво, спавшего в соседней комнате, он спросил у него, что означает вся эта кутерьма. Браво, знавший не больше, чем он сам, отвечал, что немедленно пойдет узнать. Синьор стоял, прислонившись к окну, весь поглощенный этим зрелищем. Шли мужчины, женщины, дети; шли группами, парами, в одиночку. Некоторые, догнав того, кто шел впереди, присоединялись к нему; другие, выйдя из дому, примыкали к первому встречному и дальше шли вместе, как друзья, к условленной цели. Все куда-то торопились и всех объединяла какая-то общая радость. И этот разноголосый, но вместе с тем гармоничный перезвон колоколов, то близких, то далеких, казался как бы говором этой движущейся толпы и служил дополнением тех слов, которые не могли долететь сюда наверх.

Он смотрел, смотрел, и в душе у него разрасталось что-то большее, чем простое любопытство, и побуждало его узнать, чем же вызван столь единодушный порыв такого множества незнакомых друг другу людей.

Глава двадцать вторая

Вскоре вернулся браво и сообщил, что накануне кардинал Федерико Борромео, архиепископ миланский, прибыл в *** и пробудет там весь день; что весть о его приезде распространилась по всей округе в тот же вечер, и всем захотелось пойти посмотреть на этого человека, а звонят не столько для оповещения населения, сколько от радости. Синьор, оставшись один, продолжал в глубокой задумчивости глядеть на долину.

«Ради одного человека! Все спешат, все ликуют, чтобы увидеть одного человека! А ведь небось у каждого из них есть свой искуситель, который не дает ему покоя. Но ни у кого, ни у кого нет такого, как мой; никто, вероятно, не провел такой ночи, как я! Но чем же этот человек сумел вызвать всеобщее ликование? Ну, бросит несколько сольдо, кому попало... Но ведь не все же побегут за этой подачкой? Ну, благословит кого-нибудь, произнесет какое-нибудь слово... О, если бы нашлись у него слова утешения и для меня! Если бы! Почему бы мне тоже не пойти? Почему? Пойду, пойду непременно. Я хочу говорить с ним, говорить с глазу на глаз. Что скажу я ему? Ну, вот то, что... Посмотрим, что скажет мне этот человек». Он принял решение в каком-то хаосе чувств, торопливо закончил одеваться, надев куртку, которая своим покроем напоминала военную одежду, взял валявшийся на постели маленький пистолет и прицепил его к поясу с одного боку, с другого — второй пистолет, сорвав его со стены; заткнул за тот же пояс свой кинжал; снял — тоже со стены — свой карабин, столь же знаменитый, как и его хозяин, и повесил его через плечо; взял шляпу, вышел из комнаты и направился прямо туда, где оставил Люцию. Он поставил карабин снаружи, в углу у самого входа, постучал в дверь и что-то сказал, чтобы дать о себе знать. Старуха одним прыжком соскочила с кровати и бросилась отворять. Синьор вошел и, окинув взглядом комнату, увидел неподвижную Люцию, забившуюся в свой угол.

— Спит? — шепотом спросил он старуху. — Спит там? Так-то ты исполняешь мои приказания, старая карга?

— Уж я всячески старалась, — отвечала та, — но она ни за что не хотела ни поесть, ни сдвинуться с места...

— Пусть себе спит спокойно; смотри не разбуди ее; а когда она проснется... Марта будет в соседней комнате, и ты пошлешь ее, если девушке что-нибудь понадобится. Когда она проснется, скажи, что я... что хозяин, мол, ушел ненадолго, скоро вернется и... сделает все, что она захочет.

Старуха совсем остолбенела и подумала про себя: «Уж не принцесса ли она какая-нибудь?»

Синьор вышел, взял карабин, приказал Марте дожидаться в передней, велел первому попавшемуся навстречу браво стать на страже и не позволять никому, кроме Марты, даже ногой

ступить в эту комнату, потом покинул замок и быстрым шагом стал спускаться в долину.

Рукопись не говорит о том, как далеко было от замка до деревни, где находился кардинал, но, судя по всему ходу событий, о которых нам предстоит рассказать, расстояние это было не больше того, какое проходишь за время продолжительной прогулки. Разумеется, нельзя было сделать такой вывод, лишь опираясь на то, что в деревню эту собирались жители долины, а также и люди из более отдаленных мест, ибо из воспоминаний современников нам известно, что народ толпами сбегался миль за двадцать, а то и больше, чтобы посмотреть на Федериго.

Брави, попадавшие Безымянному при спуске с горы, почтительно останавливались, когда синьор проходил мимо, ожидая, не даст ли он каких приказаний, или не возьмет ли их с собой на какой-нибудь дерзкий набег, не понимая, что означало его поведение и взгляд, который он бросал на них в ответ на их поклоны.

Когда он очутился на большой дороге, прохожие дивились больше всего тому, что видели его без обычного сопровождения. Впрочем, каждый почтительно снимал шляпу и сторонился, уступая ему столько места, что, пожалуй, хватило бы для целой свиты. Добравшись до деревни, он очутился среди огромной толпы; но имя его быстро передалось из уст в уста, и толпа расступилась перед ним. Он подошел к первому встречному и спросил, где кардинал. «В доме курато», — с поклоном отвечал тот и указал где.

Синьор направился туда, вошел во дворик, где собралось много священников, которые, с изумлением рассматривая вновь пришедшего, подозрительно уставились на него. Прямо перед собой он увидел раскрытую настежь дверь, которая вела в небольшую приемную; там тоже толпились священники. Он снял с себя карабин и прислонил его к стене в углу дворика, затем вошел в приемную: и здесь то же — перемигиванье, шушуканье, его имя, произнесенное несколько раз, потом — глубокое молчание. Обратившись к одному из священников, он спросил, где кардинал, с которым ему хочется побеседовать.

— Я здесь человек посторонний, — отвечал спрошенный и, оглядевшись кругом, позвал капеллана-крестоносителя, который как раз перешептывался со своим собеседником в углу приемной: «Он? Этот знаменитый? Что ему здесь нужно? Подальше от него». Однако ему пришлось подойти на зов, громко прозвучавший среди воцарившегося молчания. Он поклонился Безымянному, выслушал его и, с беспокойным любопытством подняв глаза на это лицо, тут же опустил их. Помолчав немного, он сказал или, вернее, пробормотал:

— Не знаю уж, как светлейший монсиньор... в данное время дома ли... как себя чувствует... сможет ли... Позвольте, я схожу узнаю.

И скрепя сердце он отправился выполнять поручение в соседнюю комнату, где находился кардинал.

В этом месте нашего повествования мы не можем не задержаться на некоторое время, подобно путнику, усталому и измученному от долгого странствия по бесплодной и сухой пустыне, которому вдруг захотелось остановиться ненадолго в тени прекрасного дерева, на траве, около ручейка с ключевой водой. Мы сталкиваемся здесь с личностью, память о которой, всплывая в нашем сознании, всякий раз вызывает в душе благоговейное уважение и радостное умиление. Эти чувства всего сильнее именно теперь, после стольких скорбных образов, после созерцания столь многочисленных и губительных превратностей судьбы! Этой личности мы безусловно должны посвятить несколько строк. Кто не имеет желания их выслушать, но все же хочет знать, как развернутся дальнейшие события нашей истории, пусть прямо перейдет к следующей главе.

Федериго Борромео, родившийся в 1564 году, принадлежал к тем редким во все времена людям, которые свои недюжинные способности, свое огромное состояние, все преимущества своего привилегированного положения, всю неукротимую энергию отдают на поиски добра и на служение ему. Жизнь его подобна роднику, который, выбиваясь чистым из скалы, никогда не застаивается и не мутнеет во время долгого пути через различные земли и таким же чистым впадает в реку.

Окруженный довольством и пышностью, он еще с детства прислушивался к тем словам самоотречения и смирения, к тем поучениям о тщетности мирских удовольствий, греховности гордыни, об истинном достоинстве и истинном благе, которые, независимо от того, встречают ли они отклик в сердцах, или нет — неизменно передаются из поколения в поколение в самых простейших заветах религии. Он прислушивался, повторяя, к этим нравоучениям со всей серьезностью, оценил их, признал непогрешимыми и воспринял их. Он понял, что, значит, не могут быть истинными иные, противоположные слова и иные изречения, которые тоже передаются из поколения в поколение с той же уверенностью и порой теми же устами; и он поставил себе целью руководствоваться в своем поведении и образе мыслей теми, которые он считал самой истиной. Убеденный в том, что жизнь вовсе не должна быть ярмом для многих и праздником для некоторых, но одинаково для всех — служением ближнему, в котором каждому придется отдавать отчет, он еще с детских лет стал задумываться над тем, как бы сделать свою жизнь полезной и непогрешимой.

В 1580 году он высказал твердое решение отдать себя служению церкви и принял посвящение из рук своего двоюродного брата Карло, который уже в ту пору слыл в народе святым. Вскоре после этого Федериго вступил в коллегию, основанную в Павии Карло Борромео и поныне носящую имя

его рода. Там, усердно отдаваясь всем предписанным занятиям, он добровольно взял на себя еще два: обучение основам христианского учения наиболее невежественных и отсталых людей и посещение, помощь, утешение и забота о больных. Пользуясь своим авторитетом, который он снискал среди товарищей, он привлекал их на помощь себе в этом благородном деле. И в каждом полезном и честном начинании он всегда был на первом месте, и, даже если бы он занимал самое незначительное общественное положение, это первенство было бы ему обеспечено его личными качествами. Всяких же других преимуществ, связанных с высоким его положением, он не только никогда не искал, но, наоборот, всеми способами старался от них уклониться. Стол у него был скорее скудный, чем простой, и одежду он носил скорее бедную, чем простую. В соответствии с этим был весь уклад его жизни и его поведение. Он никогда и не пытался менять его, сколько ни кричали и ни жаловались его родственники, считая, что этим он унижает достоинство своего дома.

Другую борьбу пришлось ему вести со своими наставниками, которые порой украдкой или как бы невзначай пытались поставить перед ним, навязать ему, окружить его такими предметами обихода, барская роскошь которых отличила бы его от других и позволила бы ему выступить в роли местного владыки. То ли они думали снискать этим в конце концов его благосклонность; то ли их побуждало к этому рабское преклонение, которое любит кичиться, купаясь в блеске чужого великолепия; то ли они принадлежали к тем осторожным людям, которые боязливо сторонятся как добродетели, так и порока и вечно проповедуют, что совершенство — в золотой середине, и помещают ее как раз в той точке, к которой они пришли сами и где почитают себя счастливыми. Федерико не только не поддавался подобным соблазнам, а, наоборот, порицал тех, кто прибегал к ним, — и все это еще в ранней молодости.

Разумеется, не приходится удивляться тому, что при жизни кардинала Карло, который был старше на двадцать шесть лет, Федерико — ребенком и позднее подростком — стремился подражать поведению и образу мыслей такого наставника. На него оказывала огромное влияние эта степенная, величавая личность, живое воплощение святости и своими деяниями подтверждающая это, перед авторитетом которой, если бы только это понадобилось, в любой момент добровольно и почтительно склонились бы все окружающие — кто бы и сколько бы их ни было. Однако достойно внимания, что и после смерти кардинала никто не мог бы подумать, что Федерико, которому в ту пору было двадцать лет, нуждается в руководителе и советнике. Растущая слава о его уме, учености и набожности, родство и связи со многими влиятельными кардиналами, престиж его семьи, самое имя, с которым благодаря кардиналу

Карло привыкли связывать что-то святое и великое, — все то, что должно, и все то, что может привести человека к высокому духовному служению, все предсказывало ему успех на этом поприще. Но он, всем сердцем убежденный в том, чего не может отрицать устами ни один истинный христианин, а именно, что единственным оправданием для возвышения человека над другими людьми может быть лишь служение им, — он страшился высоких чинов и старался уклоняться от них. Не потому, разумеется, что он избегал служения ближнему, — ведь редко чья жизнь была так посвящена этому, как его жизнь, — а потому, что не считал себя ни столь достойным, ни столь способным, чтобы занять какой-либо высокий и ответственный пост. Поэтому, когда в 1595 году папа Климент VIII предложил ему архиепископство в Милане, Федерико был крайне смущен и без всяких колебаний отказался. Позже он уступил лишь настоятельному повелению папы.

Подобные поступки — увы! Кто не знает этого? — дело не трудное и, пожалуй, не столь редкое, и лицемерие, без большого напряжения ума, может ими воспользоваться, так же как зубоскальству есть повод походя высмеять их. Но разве это мешает им быть истинным выражением добродетели и мудрости? Жизнь — пробный камень для слов, а слова, выражающие эти чувства, даже если бы они не сходили с уст всех клеветников и всех насмешников мира, всегда останутся прекрасными, когда им предшествует и сопутствует жизнь, полная бескорыстного самопожертвования.

Став архиепископом, Федерико поставил себе твердым правилом уделять самому себе лишь такую долю своего богатства, времени, забот и всего вообще, какая была строго необходима. Он утверждал, как утверждают это все, что доходы церковные — достояние бедных; однако из следующего видно, как он претворял это правило в жизнь.

Он выразил желание узнать, как велики издержки на него самого и на его слуг; и когда ему сказали, что они выражаются в шестистах скуди (в те времена наименование скудо носила золотая монета, которая, сохраняя все время тот же вес и название, позднее называлась цехином), он распорядился, чтобы эта сумма ежегодно перечислялась из личных его средств в епископскую казну, — считая, что ему, при огромном его богатстве, не подобает жить на церковные доходы. Он был так бережлив и так скуп в отношении себя, что избегал менять одежду, не износив ее совершенно, — и однако, как это отмечено было писателями-современниками, он соединял простоту с щепетильной опрятностью: два свойства, крайне примечательные в тот нечистоплотный и пышный век.

Равным образом, дабы ничто не пропадало из остатков его скудного стола, он отдавал их приюту для бедных, и один из них каждый день, по его распоряжению, приходил в трапезную

и собирал все, что оставалось. Такие заботы могут, пожалуй, вызвать представление о какой-то ничтожной, скупой и суетной добродетели, об уме, совершенно погрязшем в мелочах и неспособном к высоким замыслам, не будь налицо знаменитой «Амброзианы», библиотеки, которую Федерико задумал с таким смелым размахом и воздвиг от самого основания, с огромными затратами. Чтобы обогатить ее книгами и рукописями, он, кроме того, что принес в дар все то, что сам успел собрать с таким великим трудом и издержками, снарядил восемь учнейших и искуснейших людей, каких только мог найти, и отправил их закупать книги по всей Италии, Франции, Испании, Германии, Фландрии, Греции, в Ливане и в Иерусалиме.

Таким путем ему удалось собрать около тридцати тысяч печатных книг и четырнадцать тысяч рукописей. При библиотеке он основал коллегияу ученых (их было девять) и содержал их на свои средства до конца жизни; позднее, когда обычных доходов стало на это не хватать, число коллегий было сокращено до двух; в их задачу входило изучение разных наук: богословия, истории, словесности, церковных древностей, восточных языков, причем каждый был обязан опубликовать работу из той области, какую он взялся изучать. Сюда же он присоединил коллегияу, которую назвал «триязычной», — для изучения греческого, латинского и итальянского языков; коллегияу для воспитанников, которые обучались всем этим предметам и языкам, чтобы впоследствии преподавать их; создал и печатню для восточных языков, то есть еврейского, халдейского, арабского, персидского, армянского; галерею картин, галерею скульптуры и школу трех основных изобразительных искусств. Для последней он мог уже найти искусных учителей; что касается прочего, — мы уже знаем, сколько трудов ему стоило собрать книги и рукописи; конечно, тяжелее было найти шрифты для этих языков, в ту пору гораздо менее распространенных в Европе, чем теперь, а еще труднее было подобрать людей.

Достаточно сказать, что из девяти ученых восемь были молодыми воспитанниками семинарии, — по этому можно судить, какого невысокого мнения он был о глубине знаний и об ученых своего времени; с этим, по-видимому, согласилось и потомство, предав их полному забвению. В правилах, установленных им для пользования и руководства библиотекой, сказывается постоянная забота о пользе, прекрасная не только сама по себе, но и во многих отношениях мудрая и благородная, — далеко опережающая понятия и нравы того времени. Так, библиотекаря он предписывал поддерживать связи с учейшими людьми Европы, чтобы получать от них сведения о состоянии науки, о лучших книгах, выходящих в свет по всем отраслям, и приобретать их; он предписывал также рекомендовать ученым книги, о которых они еще не знают и которые могут им быть полезны; он приказал, чтобы всем,

будь то местные жители или иноземцы, были предоставлены всякие удобства и время для пользования книгами, когда это им только понадобится.

Подобное указание в наши дни покажется всякому вполне естественным, связанным с самой идеей создания библиотеки, но в те времена было по-другому. И в истории «Амброзианы», написанной (в духе того века, с изяществом и четкостью) неким Пьерпаоло Боска, который заведовал библиотекой после смерти Федериги, намеренно подчеркивается как нечто весьма оригинальное, что в этой библиотеке, созданной частным лицом почти целиком на свои средства, книги были выставлены для обозрения публики, выдавались всякому, кто их требовал, причем читателям предлагались стулья, бумага, перья с чернилами для необходимых выписок; между тем как во многих известных публичных библиотеках Италии книги не только не выставлялись, но были заперты в шкафах и вынимались оттуда лишь для того, чтобы бегло перелистать их, да и то лишь благодаря любезности библиотекарей, а об удобствах читателей во время занятий никто даже и не помышлял. Так что пополнять такую библиотеку было все равно, что изымать книгу вообще из пользования — один из тех способов земледелия, которые и прежде бывали, да и теперь попадаютсся нередко, и только истощают почву.

Не спрашивайте о том, каково было влияние этого детища Борромео на общую культуру. Проще всего было бы в двух фразах показать, как это обычно принято, что влияние это было необыкновенно или что его совсем не было; доискиваться и разъяснять, насколько возможно, каково оно было на самом деле, было бы, пожалуй, весьма утомительно, мало интересно и неуместно. Но подумать только, каким же благородным, разумным, благожелательным, каким неутомимым поборником человеческого совершенствования был тот, кто задумал подобное дело, — задумал его с таким размахом и выполнил в обстановке такого невежества, такой косности, такой всеобщей вражды ко всякому культурному начинанию, а значит, и среди разных пересудов, вроде: *«Какой толк от этого?»*, *«Неужели о другом нельзя подумать?»*, *«Ну и затея!»*, *«Этого еще не доставало!»*, и тому подобных, — а числом их, наверно, было много больше, чем тех скуди, которые он затратил на это начинание, — ста пяти тысяч, большею частью его собственных.

Чтобы назвать такого человека весьма щедрым благотворителем, кажется, нет надобности знать о том, раздавал ли он еще множество денег тем, кто в них непосредственно нуждался; и найдутся, пожалуй, люди, которые подумают, что подобные издержки — я готов сказать, все издержки — это лучший и самый полезный вид милостыни. Но Федериги считал милостыню в собственном смысле — первейшим своим долгом, и в этом случае, как во всех остальных, его поступки не рас-

ходились с его образом мыслей. Вся жизнь его была длительной и постоянной милостыней. И в связи с тем голодом, о котором уже шла речь в нашем повествовании, у нас вскоре будет возможность рассказать о некоторых его поступках, из которых видно будет, сколько мудрости и благородства сумел он проявить и на этом поприще. Из многих своеобразных примеров этой его добродетели, собранных его биографами, мы приведем здесь один.

Узнав, что некий дворянин хитростью и всяческими притеснениями хотел принудить одну из своих дочерей постричься в монахини, а она скорее склонялась к замужеству, он призвал к себе ее отца и, заставив его сознаться, что поводом для такого сурового обращения было отсутствие четырех тысяч скуди, которые, по его мнению, были необходимы, чтобы прилично выдать дочь замуж, Федерико дал ей в приданое эти четыре тысячи. Быть может, кое-кому покажется, что такая щедрость чрезмерна, безрассудна, слишком уступчива по отношению к нелепым фантазиям спесивца, — ведь четыре тысячи скуди можно было с большей пользой истратить на сотню других ладов! На это нам нечего возразить, разве только пожелать, чтобы почаще сталкиваться с добродетелью, дошедшей до крайности, столь свободной от господствующих предрассудков (у каждого времени есть свои), независимой от общепринятых суждений, как это было в данном случае, ведь эта добродетель побудила человека дать четыре тысячи скуди, чтобы не принуждать девушку идти в монахини.

Неистощимая доброта этого человека сказывалась не только в его щедрости, но и во всем его поведении. Приятный в обращении со всеми, он считал своим особым долгом встречать с ласковым лицом, с учтивой обходительностью тех, кого обычно зовут людьми низкого звания; тем более что им редко приходится видеть это на свете. И по этой причине у него были столкновения с рыцарями девиза *ne quid nimis*¹, которым хотелось во что бы то ни стало поставить его в известные, иначе говоря, в их собственные, границы.

Так, однажды, когда в одно из своих посещений горной глухой деревушки Федерико наставлял бедных детей и во время беседы с любовью ласкал их, один из этих рыцарей предупредил его, чтобы он был поосторожней и не ласкал ребятшек, слишком они, мол, противны и грязны. Чудак этот, по-видимому, полагал, что у Федерико не хватило бы ума самому сделать такое открытие, или проницательности, чтобы найти столь остроумный выход. Таково уж, в известных условиях времени и обстоятельств, несчастье лиц, облеченных высоким званием, что мало находится людей, которые указывали бы им на их недостатки, и слишком много смельчаков,

¹ Ничего слишком (лат.)

готовых упрекать их за хорошие дела. Но добрый епископ ответил не без некоторой досады: «Ведь это же моя паства; они, может быть, никогда больше не увидят моего лица, — а вы хотите, чтобы я не ласкал их?»

Однако гневался он очень редко, все восхищались мягкостью его обращения, невозмутимым спокойствием, которое, пожалуй, можно было приписать счастливым особенностям его темперамента, тогда как на деле оно было результатом упорной борьбы со своим живым и вспыльчивым характером. Если иногда он бывал строгим и даже резким, то лишь по отношению к подчиненным ему пастырям, когда они оказывались виновными в корыстолюбии, нерадивости или иных недостатках, особенно несовместимых с их священным саном. Все, что могло касаться его собственных интересов или его мирской славы, не волновало его, не вызывало в нем ни радости, ни сожаления, — явление удивительное, если эти чувства не были заложены в душе его, и еще более удивительное, если они в ней были заложены. Не только на многочисленных конклавах, в которых он участвовал, он слыл за человека, никогда не стремившегося занять место, столь желанное для честолюбия и столь опасное для истинного благочестия; но однажды, когда один из его коллег, человек с большим весом, предложил ему свой голос и голоса своей партии (грубое слово, но именно оно и было в ходу!), Федерико наотрез отказался от этого предложения в таких выражениях, что тот изменил свое намерение и обратился по другому адресу.

Та же скромность, то же отвращение к господству равным образом проявлялись и в более обычных житейских делах. Чуткий и неутомимый, он наставлял и руководил тогда, когда считал это своим долгом, но избегал вмешиваться в чужие дела и всеми силами противился даже тогда, когда его просили об этом, — скромность и сдержанность, которые, как всякий знает, не обычны для таких поборников добра, каким был Федерико.

Если бы мы захотели доставить себе удовольствие и заняться собиранием выдающихся черт его характера, получилось бы, несомненно, своеобразное сочетание достоинств, с виду противоположных и, разумеется, трудно совместимых. Однако нам надлежит обратить внимание на другую особенность этой прекрасной жизни: несмотря на то, что ему приходилось и управлять, и руководить, и обучать, разъезжать по епархии, выступать на диспутах, путешествовать, он не только уделял много времени своим научным занятиям, но предавался им с таким усердием, что впору и заправскому ученому. И действительно, наряду со множеством самых разнообразных заслуг Федерико пользовался у своих современников и славой ученого.

Однако мы не должны скрывать, что он с искренним убеждением разделял и с непоколебимым упорством поддерживал такие мнения, которые в наши дни показались бы всякому не

столь мало обоснованными, сколь странными: говорю это для тех, кому очень хотелось бы считать подобные мнения правильными. Кому вздумалось бы защищать его в этом отношении, тот мог бы сослаться на столь ходячее и общепринятое объяснение, что это, мол, были скорее заблуждения его времени, чем его собственные, — объяснение, которое иногда, в особенности если оно вытекает из соответственной проверки фактов, может иметь некоторый и даже значительный вес, но которое ровно ничего не значит, если применять его без всяких оснований и без разбору, как это обычно делается. А посему, не желая ни разрешать сложные вопросы упрощенными формулами, ни слишком растягивать этот эпизод, мы не станем даже останавливаться на них, удовлетворившись лишь беглым замечанием, что человека, столь изумительного в целом, мы не намерены считать вообще лишенным всяких недостатков, дабы не показало, что мы хотели написать ему надгробное слово.

Да не сочтут обидой наши читатели, если мы выскажем предположение, что кто-нибудь из них может спросить, остался ли после этого человека хоть какой-нибудь памятник столь великого его ума и такой учености. Еще бы не остался! Осталось около сотни трудов, больших и малых, латинских и итальянских, печатных и рукописных, тщательно хранящихся в основанной им библиотеке: трактаты о нравственности, проповеди, рассуждения по истории, по древностям церковным и светским, по словесности, искусствам и всякие иные.

«Ну, а как же так, — скажет нам этот читатель, — почему столько его трудов забыты или, во всяком случае, мало известны, мало исследованы? Как же это при таком уме, при такой учености, при таком знании людей и жизни, при таких взглядах, при такой любви ко всему доброму и прекрасному, при такой чистоте души и при всех иных качествах, которые делают писателя великим, как же он в числе ста своих трудов не оставил хотя бы одного, который считался бы выдающимся даже у тех, кто не вполне одобряет его, и был бы известен — хотя бы по заглавию — тем, кто его не читал? Как же случилось, что всех их вместе взятых, хотя бы по числу, оказалось недостаточно, чтобы закрепить за ним славу писателя среди нас, его потомков?»

Вопрос, несомненно, разумный, и обсуждение его было бы крайне интересно, ибо причины этого явления могут быть найдены путем наблюдения над множеством общих фактов, а это в свою очередь повело бы к выяснению многих других аналогичных явлений. Ну а если их окажется много и они будут слишком пространны, и что, если вдруг они не придутся вам по вкусу? И заставят вас недовольно сморщить нос? Так что лучше будет нам подхватить опять нить нашего повествования и, вместо того чтобы разбирать по косточкам этого человека, не лучше ли, под руководством нашего автора, посмотреть его в действии?

Глава двадцать третья

Ожидая часа, чтобы пойти в церковь для совершения богослужения, кардинал Федерико был погружен в занятия, — как он обычно делал это во всякую свободную минуту, — когда к нему вошел со встревоженным лицом капеллан-крестonosитель.

— Странное посещение, поистине странное, монсиньор.

— Кто же? — спросил кардинал.

— Не кто иной, как синьор... — отвечал капеллан и, многозначительно отчеканивая слоги, произнес имя, которого мы не можем сообщить нашим читателям. Потом прибавил: — Он тут собственной персоной, в соседней комнате, и требует ни более ни менее, как быть допущенным к вашей милости.

— Он?! — произнес кардинал, и лицо его просияло; он поднялся с кресла, закрыв книгу. — Просить, просить немедленно!

— Но... — возразил капеллан, не трогаясь с места, — ведь вашей милости хорошо известно, кто он такой, этот бандит, этот знаменитый...

— А разве для епископа не огромное счастье, что у такого человека возникло желание прийти к нему?

— Простите... — настаивал на своем капеллан, — мы никогда не осмеливались касаться некоторых вещей, ибо монсиньор изволил говорить, что это, мол, небылицы; однако при случае, мне кажется, наша прямая обязанность... излишнее усердие порождает врагов, монсиньор, и мы достоверно знаем, — многие разбойники имели дерзость хвастать, что рано ли, поздно ли...

— И что же они сделали? — прервал кардинал.

— Я хочу сказать, что этот человек — зачинщик всяких злодейств, отчаянный головорез, поддерживающий связь с самыми страшными разбойниками, и возможно, что его подослали...

— Ну и дисциплина же у вас, — прервал его, все еще улыбаясь, Федерико, — виданное ли дело, чтобы солдаты уговаривали генерала бежать с поля боя, — потом, становясь задумчивым и серьезным, продолжал: — Думается мне, что Сан-Карло не стал бы долго раздумывать — принять ли такого человека, или нет, — он просто привел бы его сам. Пусть войдет сюда, сейчас же: он и так уже заждался.

Капеллан пошел к двери, бормоча про себя: «Ничего не поделаешь, — все эти святые такие упрямы».

Открыв дверь и заглянув в комнату, где находился посетитель и весь синклит, он увидел, что священники теснятся к одной стороне, шущукаясь и искоса поглядывая в угол, где в одиночестве стоит синьор. Капеллан направился к нему и, косаясь на него уголком глаза, насколько это было возможно, гадал про себя, какое дьявольское оружие может скрываться под этой курткой, и что, право, не мешало бы, прежде чем впустить его, предложить ему по крайней мере... Но решиться

на это капеллан не посмел. Он подошел к Безмянному и сказал:

— Монсиньор ожидает вашу милость. Угодно вам следовать за мной?

Он двинулся вперед, через небольшую кучку людей, расступившихся перед ним, бросая направо и налево взгляды, смысл которых был таков: «Что прикажете делать! Разве вы не знаете, что святой отец наш всегда делает по-своему?»

Увидев входившего Безмянного, Федерико с приветливым и ясным лицом пошел ему навстречу, раскрывая объятия, словно желанному гостю, и немедленно подал капеллану знак удалиться. Тот повиновался.

Оставшись вдвоем, оба некоторое время молчали, — каждый по-своему был смущен. Безмянный, привлеченный сюда скорее какой-то неизъяснимой силой, чем определенным намерением, стоял как бы против воли, терзаемый двумя противоположными чувствами: с одной стороны — желанием и смутной надеждой найти какое-то успокоение своим душевным мукам, а с другой — досадой, стыдом от сознания, что он пришел сюда как кающийся грешник, как покорный, жалкий человек, — пришел признаться в своей вине и молить о прощении. И он не находил слов, да почти и не искал их. Однако, подняв глаза и посмотрев в лицо кардинала, он вдруг ощутил, что его охватывает властное и вместе с тем трогательное чувство почтения к этому человеку, и в нем стало расти доверие, ненависть смягчилась, и это, не оскорбляя его гордости, сковывало ее и, так сказать, смыкало ему уста.

Наружность Федерико, действительно, говорила о его превосходстве и вызывала к нему любовь. У него была от природы непринужденная и спокойно-величественная осанка, к тому же не согбенная годами и не отяжелевшая; глаза серьезные и живые, ясное чело с печатью глубоких дум, и, несмотря на седину, бледность, следы воздержания, размышлений и усталости, — какая-то почти юношеская свежесть. Черты его лица говорили о том, что в прошлом оно было в полном смысле слова прекрасным. Привычка к возвышенным и доброжелательным мыслям, душевное спокойствие в течение долгой жизни, любовь к людям, непрестанная радость неиссякаемой веры заменили ту былую красоту другою, я сказал бы, старческою красотою, которая еще более резко выступала на фоне величавой простоты его красной мантии.

И кардинал тоже некоторое время вглядывался в лицо Безмянного своим пронизательным взглядом, — он давно уже научился читать людские мысли по выражению лица. И на этом мрачном, расстроенном лице промелькнуло, как ему показалось, что-то похожее на надежду, которую и он ощутил в себе самом, когда ему доложили о приходе этого человека. Он с волнением сказал:

— Какое радостное посещение! И как мне благодарить вас за ваше доброе решение, хотя в нем есть и некоторый укор мне.

— Укор вам? — воскликнул в изумлении синьор, растроганный этим обращением, довольный тем, что кардинал сломал лед и заговорил первым.

— Разумеется, приходится укорять меня, — продолжал кардинал, — ведь я допустил вас опередить меня. Мне уже давно и не раз следовало посетить вас.

— Вам меня? Знаете ли вы, кто я? Верно ли вам назвали мое имя?

— Неужели же вы думаете, что радость, которую я чувствую и которая, без сомнения, отражается на моем лице, я мог бы испытывать при появлении неизвестного мне человека? Именно вы заставляете меня переживать ее; повторяю, именно вы, которого я должен был бы искать повсюду; которого я уже так страстно возлюбил и жалел, за которого так горячо молился; вы один из детей моих, впрочем, я люблю всех, и от всего сердца, но вы — тот, кого мне больше всех хотелось обрести и обнять, если б только я мог надеяться на это. Но Бог, один только Бог может творить чудеса, и он снисходит к немощным силам и слабостям своих скромных слуг.

Безымянный был поражен этой пламенной речью, этими словами, которые так определенно отвечали тому, чего он сам еще не сказал, что он еще не вполне решился сказать. Вздвигаясь и смущенный, он хранил молчание.

— Так как же это? — с еще большей теплотой продолжал Федерико. — У вас есть для меня добрая весть, а вы так долго заставляете меня томиться?

— У меня — добрая весть? У меня в душе ад — откуда же взять мне добрую весть? Скажите же, если знаете, что это за добрая весть, которую вы ждете от такого человека, как я.

— А та, что Бог коснулся сердца вашего и хочет обратиться к Себе, — спокойно отвечал кардинал.

— Бог! Бог! Если б увидеть Его! Если б услышать! Где Он, этот Бог?

— Вы меня спрашиваете об этом? Вы? Да кто же к нему ближе вас? Разве не чувствуете вы Его в своем сердце, которого Он коснулся и потряс, взволновал его, не дает ему покоя и в то же время влечет вас к Себе, дав вам проблеск надежды на примирение, на утешение, беспредельное, полное утешение, лишь только вы познаете Господа, станете Его исповедовать, будете молиться Ему.

— Да, правда, что-то томит меня, вот здесь словно гложет. Но Бог? Если это Бог, такой, как о Нем говорят, зачем я Ему?

В словах этих звучало безнадежное отчаяние. Но Федерико отвечал на них торжественным тоном, словно по наитию свыше:

— Зачем вы Ему? Что Ему делать с вами? Вы — знамение

Его могущества и Его благодати. Никто больше вас не может послужить к прославлению Его! Весь мир давно уже вопиет против вас, тысячи и тысячи голосов проклинают поступки ваши. — Безымянный вздрогнул и на мгновение был поражен, услышав столь непривычные для себя речи, а еще более он был потрясен тем, что не испытывал при этом никакого гнева, а, наоборот, даже некоторое облегчение. — Но разве это во славу Божию? — продолжал Федерико. — Ведь все это — голоса ужаса, голоса себялюбия, пожалуй, даже и голоса справедливости, но ведь это справедливость такая ничтожная, такая понятная! Быть может, среди них раздаются, к сожалению, даже голоса зависти к этому вашему злосчастному могуществу, к этой — до нынешнего дня — столь печальной стойкости вашего духа. Но когда вы сами восстанете, чтобы осудить свою жизнь и произнести себе приговор, о, тогда, тогда прославится имя Господне! А вы еще спрашиваете, зачем вы Ему? Пути Господни неисповедимы!.. Разве я, слабый человек, могу знать, на что вы понадобитесь Вседержителю? Куда направит Он могучую вашу волю, непоколебимую твердость, когда Он наполнит, воспламенит вас любовью, надеждой, раскаянием? Кто вы такой, — грешный человек, — если считаете, что могли безнаказанно задумывать и свершать великие злодеяния, а Бог не может вернуть вас на путь истинный? На что вы нужны Богу, спрашиваете вы? А даровать вам прощение? А спасти вас? А совершить через вас дело искупления? Это ли не славные и достойные его дела? Подумайте только: если я, ничтожный, жалкий человек и все же столь преисполненный собой, если я, каков я есть, так сокрушаюсь сейчас о вашем спасении, что рад бы отдать за него — Господь тому свидетель! — весь остаток дней моих, — подумайте, как же велика должна быть благодать Того, кто внушает мне милосердие к вам, столь несовершенное, но столь животворящее; как любит вас, как печется о вас Тот, кто повелевает мною и внушает любовь к вам, снедающую меня.

По мере того как слова эти слетали с уст кардинала, все лицо его, взгляд, все движения подкрепляли их смысл. Лицо слушавшего его, искаженное судорогами, вначале выразило изумление и внимание, потом на нем отразились более глубокие и менее тревожные переживания. Глаза, с детских лет не знавшие слез, увлажнились. Когда кардинал умолк, Безымянный закрыл лицо руками и разразился безудержными рыданиями, которые были как бы последним и самым ясным ответом.

— Боже великий и милостивый! — воскликнул Федерико, поднимая глаза и руки к небесам. — Что сделал я, раб недостойный, пастырь дремлющий? За что призвал Ты меня на этот пир благодати Твоей? За что сделал меня достойным присутствовать при столь радостном чуде! — С этими словами он протянул Безымянному руку.

— Нет! — воскликнул тот. — Нет! Подальше, подальше от меня! Не грязните эту руку, невинную и милосердную. Вы не знаете всего, что сделала рука, которую вы хотите пожать.

— Позвольте мне, — сказал Федерико, порывисто беря за руку Безымянного, — позвольте мне пожать эту руку, которая загладит столько ошибок, расточит столько благодетелей, облегчит столько страданий и, обезоруженная, смиренно и покорно протянется к своим врагам!

— Это уж слишком! — рыдая, произнес Безымянный. — Оставьте меня, монсиньор! Добрый Федерико, оставьте меня! Толпа народа ждет вас. Столько добрых, невинных душ, столько людей, пришедших издалека, чтобы хоть раз взглянуть на вас, услышать вас. А вы задерживаетесь... и ради кого же!

— Оставим девяносто девять овец, — отвечал кардинал, — они в безопасности пасутся на горе, — я же хочу быть с той, которая заблудилась. Эти души, быть может, сейчас гораздо больше радуются, чем если бы им пришлось видеть своего ничтожного епископа. Быть может, Всевышний, сотворивший над вами чудо милосердия, наполняет их радостью, причина которой им еще непонятна. Быть может, эти люди, сами того не зная, пребывают в единении с нами; быть может, Дух Святой пробудил в их сердцах неясное чувство любви к вам, и они возносят за вас молитву, которой Он внимает, внушая им милосердие к вам, неизвестному еще им человеку.

С этими словами он обнял Безымянного; тот, сделав попытку уклониться, на мгновение задумался, но потом уступил, словно покоренный этим великодушным порывом, и тоже обнял кардинала, скрыв на его плече свое взволнованное, изменившееся лицо. Горячие слезы падали на незапятнанную мантию кардинала, и безгрешные руки Федерико с любовью обнимали этого человека, прикасаясь к его куртке, на которой он обычно носил оружие насилия и предательства.

Высвобождаясь из объятий, Безымянный снова закрыл глаза рукой и, подняв вместе с тем лицо, воскликнул:

— Боже истинно великий! Боже истинно милосердный! Теперь я узнаю себя, понимаю, кто я; грехи мои стоят предо мною; я противен самому себе — и все же, все же я испытываю облегчение, радость, да, радость, какой не испытал за всю свою ужасную жизнь!

— Это облегчение, — сказал Федерико, — ниспосланное вам Богом, чтобы обратить вас к Себе, воодушевить вас на бесповоротное вступление в новую жизнь, где вам предстоит столько разрушить, столько исправить, столько пролить слез.

— О я несчастный, — воскликнул синьор, — сколько, сколько... такого, что мне остается только оплакивать! Но зато есть и только что затеянные дела, которые я могу если не уничтожить, то оборвать в самом начале, — и есть одно такое, которое я могу оборвать сию же минуту, расстроить, предотвратить.

Федерико со вниманием стал слушать, и Безымянный рассказал вкратце с омерзением, пожалуй, еще более сильным, чем это сделали мы, всю историю насилия, учиненного над Люцией, все страхи и страдания бедняжки; как она умоляла и какое смятение мольбы эти вызвали в нем и что она все еще находится у него в замке.

— Так не будем же терять времени, — воскликнул Федерико, охваченный состраданием и желанием помочь несчастной. — Счастливый вы! Это для вас залог прощения. Бог сделал вас орудием спасения той, для которой вы хотели стать орудием гибели. Да благословит вас Бог! Бог уже благословил вас! Вы знаете, откуда родом бедная наша страдалница?

Безымянный назвал деревню Люции.

— Это неподалеку отсюда, — сказал кардинал, — хвала Господу, и возможно... — С этими словами он быстро подошел к столу и позвонил в колокольчик. Немедленно вошел с озабоченным видом капеллан и сразу посмотрел на Безымянного. Он увидел изменившееся лицо, глаза, покрасневшие от слез, и, переведя взгляд на кардинала, подметил на его лице, под неизменной сдержанностью, выражение особой серьезной радости и какой-то почти нетерпеливой озабоченности. Капеллан застыл, готовый разинуть рот от изумления, если б кардинал не вывел его из этого созерцательного состояния, спросив, нет ли среди собравшихся курато из ***.

— Он здесь, монсиньор, — отвечал капеллан.

— Позовите его сейчас же сюда, — сказал Федерико, — и вместе с ним местного курато.

Капеллан вышел и направился в комнату, где собралось духовенство. Все взоры обратились к нему. А он, так и оставшись с разинутым ртом, с лицом, все еще полным изумления, произнес, размахивая руками:

— Синьоры, синьоры! Наес mutatio dexterae Excelsi¹. — С минуту он стоял молча. Потом, переходя сразу на деловой тон, прибавил: — Его высокопреосвященство требует местно-го синьора курато и курато из ***.

Названный тут же выступил вперед, и в то же время из гущи толпы раздалось протяжное, изумленное восклицание:

— Меня?

— Не вы ли синьор курато из ****? — переспросил капеллан.

— Именно так, но...

— Его высокопреосвященство требует вас!

— Меня? — повторил тот же голос, явно желая выразить этим: «При чем же тут я?». Но на этот раз вместе с восклицанием выступил вперед и названный человек — дон Абондио собственной своей персоной. Он шел неохотно, его лицо выражало нечто среднее между изумлением и досадой. Капеллан

¹ Сие обращение — дело десницы Всевышнего (лат.)

подал ему рукой знак, который как бы означал: «Прошу следовать за мной, чего же вы мешкаете?» Так, идя впереди обоих курато, он направился к двери, отворил ее и ввел их.

Кардинал выпустил руку Безымянного, с которым успел за это время обсудить, что следует делать дальше. Отойдя немного в сторону, он знаком подозвал к себе местного курато. Вкратце рассказал ему, в чем дело, и спросил, не сможет ли тот быстро найти порядочную женщину, которая согласилась бы в носилках отправиться в замок за Люцией, женщину разумную и сердечную, которая могла бы справиться с таким неожиданным поручением, сумела бы найти наиболее подходящее обращение и наиболее уместные слова, чтобы ободрить, успокоить бедняжку, в душе которой, после стольких тревог и волнений, самое освобождение, чего доброго, вызовет еще большее смятение. Подумав минутку, священник ответил, что он знает такую особу, и вышел.

Подозвав кивком капеллана, кардинал приказал ему немедленно снарядить носилки и носильщиков и оседлать двух мулов. Когда капеллан ушел, кардинал обратился к дону Абондио.

Дон Абондио, который держался поближе к кардиналу, чтобы только быть подальше от другого синьора, все время бросал исподлобья взгляды то на одного, то на другого, продолжая ломать себе голову, что же означает вся эта кутерьма. Подойдя поближе и отвесив поклон, он сказал:

— Мне сообщили, что ваше высокопреосвященство звали меня, но я полагаю, что произошла ошибка...

— Никакой ошибки нет, — отвечал Федерико. — У меня для вас добрая весть и заодно утешительное, приятнейшее поручение. Одна из ваших прихожанок, которую вы, наверное, оплакивали как погибшую, Люция Монделла, отыскалась и находится по соседству, в доме вот этого дорогого моего друга. Вы сейчас же отправитесь с ним и с одной женщиной, которую приведет местный синьор курато, отправитесь, повторяю, за этой вашей прихожанкой и доставите ее сюда.

Дон Абондио хотел скрыть досаду — нет, больше того — тревогу и огорчение, которое вызвало в нем это поручение, или, вернее, приказание. Но было уже поздно. Чтобы не обнаружить гримасу неудовольствия, появившуюся на его физиономии, он низко склонил голову в знак повиновения и поднял ее лишь для того, чтобы отвесить другой глубокий поклон — Безымянному, заодно бросив на него жалобный взгляд, как бы говоривший. «Я в ваших руках, пощадите: *pacere subjectis*¹».

Кардинал спросил его, есть ли у Люции родственники.

— Из близких, с которыми она живет или могла бы жить, есть только мать, — ответил дон Абондио.

¹ Шади покорных (*лат*)

— А она у себя в деревне?

— Да, монсиньор.

— Так как бедная эта девушка, — продолжал Федерико, — не так-то скоро может быть водворена к себе домой, для нее будет большим утешением поскорее свидеться с матерью, а потому, если здешний синьор курато не вернется до моего ухода в церковь, прошу вас — передайте ему, чтобы он подыскал повозку, либо мула или лошадь, и отправил толкового человека за этой женщиной, чтобы привезти ее сюда.

— А что, если поехать мне? — сказал дон Абондио.

— Нет, нет! Вас я просил уже о другом, — отвечал кардинал.

— Я имел в виду, — возразил дон Абондио, — подготовить несчастную мать. Она женщина очень чувствительная, и тут нужен человек, который ее знает, сумеет к ней подойти, а то как бы вместо добра не сделать ей худа.

— Вот для этого я и прошу вас предупредить синьора курато, чтобы он выбрал подходящего человека. Вы более нужны в другом месте, — ответил кардинал.

Ему хотелось прибавить: этой бедной девушке сейчас важнее всего увидеть в замке знакомое лицо, верного человека, после того как она столько часов томилась в такой страшной неизвестности относительно своего будущего. Но он поостерегся открыто высказать эти соображения в присутствии третьего лица. Все же кардиналу показалось странным, что дон Абондио не понял его с полуслова, что самому курато это не пришло в голову. Предложение же дона Абондио и его настойчивость показались кардиналу неуместными, и он сразу заподозрил, что тут что-то неладно. Взглянув в лицо дону Абондио, он без труда догадался, что тот боится поездки с этим страшным человеком, боится войти в его замок даже на несколько минут. Поэтому, желая окончательно рассеять подозрения дона Абондио и вместе с тем считая неудобным отводить в сторону курато и шушукаться с ним в присутствии третьего лица, его нового друга, Федерико решил, что лучше всего поступить так, как поступил бы он и без этого повода: поговорить самому с Безымянным. По его ответам дон Абондио окончательно поймет, что перед ним уже не тот человек, которого надо остерегаться.

Итак, кардинал подошел к Безымянному и с тем неприкрытым и доверчивым видом, который бывает при новой и сильной привязанности, так же как и при давней дружбе, обратился к нему:

— Не подумайте, что с меня довольно на сегодня этого вашего посещения. Вы вернетесь, не правда ли, вместе с этим почтенным отцом церкви?

— Вернусь ли я? — отвечал Безымянный. — Да если бы вы прогнали меня, я, как нищий, упорно стоял бы у ваших дверей. Я должен говорить с вами, слышать, видеть вас! Вы мне необходимы!

Федериго взял Безымянного за руку, пожал ее и произнес: — Сделайте одолжение — останьтесь отобедать с нами. Я буду ждать вас. А пока я пойду молиться и возносить хвалу Всевышнему вместе с народом, вы же идите собирать первые плоды милосердия.

Дон Абондио присутствовал при этих излияниях, подобно робкому мальчику, который видит, как при нем спокойно ласкают огромного злого пса с глазами, налитыми кровью, о котором все знают, что он кусается и наводит страх, — и в то же время слышит, как хозяин говорит, что его собачка — доброе животное, спокойное-преспокойное. Мальчик смотрит на хозяина и не возражает, но и не поддакивает, глядит на пса и не смеет приблизиться к нему из боязни, как бы это доброе животное не оскалило зубы, чтобы расправиться с ним, но вместе с тем не смеет отойти, чтобы его не сочли за труса; сам же думает про себя: «Эх, удрать бы поскорей домой».

Когда кардинал направился к двери, не выпуская руки Безымянного и ведя его за собой, ему снова попался на глаза бедняга дон Абондио, который остался стоять позади, уязвленный, недовольный, с надутой, помимо своего желания, физиономией. Подумав, что это недовольство могло быть вызвано ложной мыслью, что к нему отнеслись без должного внимания и словно забыли в дальнем углу, особенно по сравнению с тем, как тепло приняли и обласкали такого злодея, кардинал на ходу обернулся к курато и, остановившись на мгновение, сказал с приветливой улыбкой:

— Синьор курато, вы всегда со мной в доме всеблаготца нашего; а этот... этот *perierat et inventus est*¹.

— О, я весьма счастлив! — сказал дон Абондио, отвечивая глубокий поклон обоим вместе.

Архиепископ прошел вперед, толкнув дверь, которую снаружи немедленно распахнули двое служителей, стоявших по сторонам, и удивительная пара предстала перед любопытными взорами собравшегося в комнате духовенства. На обоих лицах были написаны разные, но одинаково глубокие переживания: признательная нежность, смиренная радость сквозила в благородном облике Федериго; на лице Безымянного — смятение, умиротворенное надеждой, незнакомая ему робость, раскаяние, сквозь которое, однако, проглядывала сила этой дикой и необузданной натуры. Впоследствии говорили, что некоторым из смотревших на них в ту минуту пришли в голову слова пророка Исайи: *И пастись будут вкупе волк с агнцем... и лев аки вол ясти будет плевы*. На шедшего позади них дона Абондио никто не обратил внимания.

Когда вошедшие были посредине комнаты, появившийся прислужник кардинала подошел к нему и сообщил, что при-

¹ Погибал и снова обретен (лат.)

казания, переданные ему капелланом, выполнены: носилки и два мула уже готовы, остановка за женщиной, которую должен привести курато. Кардинал сказал прислужнику, что как только приедет курато, пусть он немедленно переговорит с доном Абондио и что в дальнейшем следует поступать по распоряжению дона Абондио и Безымянного. Последнему он снова пожал на прощанье руку со словами: «Так я вас жду!» — и, обернувшись, чтобы поклониться дону Абондио, направился прямо к церкви. Духовенство тронулось за ним не то гурьбой, не то вереницей. Товарищи по путешествию остались вдвоем в комнате.

Весь уйдя в себя, Безымянный в задумчивости с нетерпением ожидал минуты, когда он сможет избавить от страданий и вызволить из заключения свою Люцию, — «своей» она была для него теперь совсем в другом смысле, чем накануне. Лицо его выражало сдержанное волнение, но испуганному взору дона Абондио легко могло почудиться в нем и что-нибудь похуже. Курато украдкой поглядывал на Безымянного, ему очень хотелось завязать дружеский разговор. «Но что же мне сказать? — раздумывал он. — Сказать еще раз, что я, мол, очень рад? Рад, собственно, чему? Тому, что вы, дескать, были дьяволом до сих пор, а в конце концов решили стать порядочным человеком, как все другие? Нечего сказать, хороший комплимент! Э-хе-хе! Как ни крути, а из моих поздравлений ничего путного не выйдет. Да, наконец, и правда ли это, что он стал порядочным человеком, — так, здорово живешь! Таких номеров на этом свете проделывают сколько угодно, и по самым различным поводам! Да и что я знаю в конце концов? А ведь мне вот приходится ехать с ним! Да еще в этот ужасный замок! Ох, ну и дела! Ну и дела! Кто бы мог знать это нынче утром? Ну, если выкарабкаюсь благополучно, уж и задам же я синьоре Перпетуе. Ведь она, можно сказать, насильно погнала меня сюда, когда и нужды в этом никакой не было: все окрестные приходские курато, видите ли, собираются, даже дальние, и отставать от других, мол, не следует; и пошла и пошла — вот и впутала меня в этокое дело! Нечастный я! А все-таки нужно же что-нибудь сказать ему».

После долгих размышлений он решил, что неплохо было бы сказать примерно так: «Я никогда не смел надеяться, что буду иметь счастье находиться в столь почтенном обществе». И только он раскрыл было рот, как вошел прислужник с местным курато и, объявив, что женщина уже ждет в носилках, обратился к дону Абондио, чтобы узнать от него о других распоряжениях кардинала. Дон Абондио кое-как справился с этим, принимая во внимание расстроенное состояние его мыслей. Затем, подойдя к прислужнику поближе, он сказал:

— Вы уж дайте мне животное помирнее, потому что, сказать по правде, ездок я плохой.

— Не бойтесь, — не без схиства ответил прислужник, — это мул нашего писца, а он у нас человек ученый.

— Хорошо, — сказал дон Абондио и мысленно продолжал: «Дай Бог, чтобы все сошло благополучно».

Безымянный по первому зову торопливо бросился к выходу и тут только заметил, что дон Абондио остался позади. Он остановился, поджидая его, и когда тот подошел, запыхавшись, готовый рассыпаться в извинениях, синьор с поклоном, вежливо и почтительно пропустил его вперед, — обстоятельство, несколько утешившее перепуганного беднягу. Но, едва вступив во дворик, он увидел нечто такое, что вконец испортило ему это небольшое утешение: Безымянный направился в угол и, схватив свой карабин одной рукой за ствол, а другой за ремень, ловким движением, словно проделывая военное упражнение, перекинул его через плечо.

«Ох! — вздохнул дон Абондио. — И что только он собирается делать с этой проклятой штукой? Нечего сказать, хорошая властница, хорошее бичевание для новообращенного! А ну как ему в голову придет какая-нибудь блажь! Ну, и экспедиция!»

Если б Безымянный хотя бы отдаленно подозревал, какого рода мысли мелькали в голове его спутника, не знаю, что бы он сделал для его успокоения. Но он был за тысячу миль от подобного подозрения, а дон Абондио изо всех сил старался скрыть малейшее движение, которое могло бы разоблачить его затаенную мысль: «А я вашей милости не доверяю».

Подойдя к калитке, выходившей на дорогу, они увидели двух запряженных мулов. Безымянный вскочил на того, которого подвел ему конюх.

— А этот мул не брыкается? — спросил прислужника дон Абондио, опуская ногу, которую он уже было занес в стремя.

— Садитесь смело, это прямо ягненок.

Дон Абондио, вцепившись в седло, при помощи прислужника вскарабкался.

— Гоп! Гоп!

Вот он уже сел верхом.

Стоявшие несколько впереди носилки, запряженные парой мулов, тронулись по команде погонщика, и честная компания двинулась в путь.

Пришлось проезжать мимо церкви, переполненной молящимися, через небольшую площадь, где тоже толпились прихожане, свои и пришлые, которым не удалось попасть в храм. Необыкновенная новость уже успела распространиться, — и при появлении нашей компании, при появлении этого человека, еще недавно вызывавшего у всех ужас и проклятие, а теперь — радостное изумление, в толпе раздался гул чуть ли не одобрения; люди расступились, и вместе с тем началась давка — всем хотелось увидеть его поближе. Проехали носилки, проехал и Безымянный. Перед широко распахнутой две-

рю церкви он снял шляпу и склонил свое столь грозное чело почти до самой гривы мула, при шелесте сотен голосов: «Да благословит вас Бог!» Дон Абондио тоже снял шляпу, поклонился и мысленно предал себя воле Божьей, но, заслышав торжественное, протяжное пение своих собратьев, он ощутил какое-то сожаление, нежную грусть и такую глубокую печаль, что с трудом удержался от слез.

За околицей, когда они очутились в открытом поле, проезжая по безлюдным, извилистым дорогам, еще более мрачная пелена окутала мысли дона Абондио. Единственным существом, на котором он доверчиво мог остановить свой взор, был погонщик. Раз он состоит на службе у кардинала, то, конечно, должен быть малым честным, да к тому же видно, что он неробкого десятка. Время от времени показывались прохожие, тоже группами, спешившие посмотреть на кардинала, но это лишь до некоторой степени успокаивало дона Абондио, который с каждым шагом приближался к той страшной долине, где только и встретишь, что приспешников кардиналова друга, да еще каких приспешников! Ему и сейчас больше чем когда-либо хотелось завязать разговор с этим другом кардинала, дабы раскусить его как следует и вместе с тем привести в хорошее расположение духа. Однако задумчивый вид Безымянного отбивал у дона Абондио всякую к тому охоту. Пришлось поэтому разговаривать с самим собой. Если бы кое-что из того, что бедняга поверял себе во время этого переезда, удалось записать, то получилась бы целая книга.

«А ведь, пожалуй, правильно говорят, что у святых и разбойников словно ртуть разлита по всему телу, — мало того, что они сами вечно крутятся, им бы хотелось, коли возможно, заставить плясать весь род человеческий. И нужно же было самым неумным взяться именно за меня, который никого не трогает, и впитать меня в свои дела, именно меня! Я хочу только одного: чтобы мне дали жить спокойно! Полоумный этот негодяй дон Родриго! Чего ему не хватало, чтобы быть счастливейшим человеком на свете, имей он хоть чуточку здравого смысла? Богат, молод, везде ему почет, уважение. С жиру бесится! Видите ли, ему надоело пребывать в благополучии, так надо непременно навязать себе и другим всякие заботы. Жить бы ему припеваючи — нет, куда там! Придумал себе занятие — преследовать женщин — самое глупое, самое разбойничье, самое безумное занятие на этом свете. Он мог бы в рай въехать прямо в карете, а вот поди же! На одной ноге лезет прямо в чертово пекло! А этот? — Тут он поглядел на Безымянного, словно заподозрив, что тот его подслушивает. — Этот сначала поставил вверх ногами весь мир своими злодеяниями, а теперь ставит все вверх ногами своим обращением... если только это правда... А я должен за все отдуваться! Вот всегда так: коли уж они родились с таким зудом в теле, им только и дела, что

шуметь. Разве уж так трудно прожить жизнь порядочным человеком, — например, вот как я? Нет, где уж тут! Четвертовать им нужно, резать, бесчинствовать... горе мне, бедному!.. А потом — новая затея: покаяние! Ведь покаяться, коли уж на то пришла охота, можно и у себя дома, потихоньку, без всякой помпы, не причиняя беспокойства своему ближнему. А его высокопреосвященство ни с того ни с сего, сразу с распростертыми объятиями: «Друг любезный! Друг любезный!» Принимает за чистую монету все, что тот ему говорит, словно уже видел, как он творит чудеса. И тут же принимает решение, уходит в него целиком, с руками и ногами, да то поскорей, да другое поскорей, а у нас это называется просто опрометчивостью! И без всяких разговоров отдает ему на растерзание бедного курато! Это называется разыграть человека в чет-нечет. Такой святоша епископ, как он, должен был бы беречь своих пастырей, как зеницу ока. Чутьочку хладнокровия, чутьочку благоразумия, чутьочку человеколюбия — все это, думается мне, совместимо и со святостью. А если все это одна видимость? Кто может знать все людские хитрости? И тем более таких, как этот? И подумать только, что мне приходится ехать с ним, в его дом! Уж не дьявол ли тут замешан? Бедный я, бедный! Ох, лучше и не думать об этом. И что за неразбериха такая с Люцией? Уж нет ли тут сговора с доном Родриго? Что за народ! Но тогда по крайней мере дело было бы ясно. Как же она попала к нему в когти? Кто знает! С монсиньором у них какая-то тайна; а меня вот заставляют трястись по дорогам этаким манером и ни слова мне не говорят. Чужие дела меня не касаются, но когда приходится отвечать своей шкурой, кажется, имеешь право кое-что узнать. Ну, если бы дело шло о том, чтобы взять эту бедняжку, это бы еще куда ни шло. Хотя, конечно, он и сам мог бы прекрасно привезти ее. И опять же, если он раскался всерьез и сделался святым, зачем же я-то ему нужен? Ну и содом! Хватит! Богу угодно, чтобы было так, — много будет хлопот, но потерпим! Да и за бедную Люцию я очень рад: она тоже, должно быть, недешево отделалась; одним небесам известно, что она претерпела. Разумеется, мне ее жаль, а все же она родилась на мою погибель... Хотя бы в душу заглянуть этому другу да узнать, о чем он думает. Кто знает? То он разыгрывает из себя святого Антония в пустыне, а то — настоящий Олоферн. Ох, бедный я, бедный! Ну, ладно! Небеса должны помочь мне, потому что ведь не по своей же прихоти я впутался во все это».

Действительно, было заметно, как по лицу Безымянного пробегали мысли, подобно тому, как в бурную погоду тучи мчатся перед солнечным диском, ежеминутно вызывая смену ослепительного света холодным мраком. Его душа, еще опьяненная ласковыми речами Федерико и словно помолодевшая и возродившаяся для новой жизни, возносилась к мыслям о

милосердии, о прощении и любви, а потом снова падала в бездну под тяжестью страшного прошлого. Он лихорадочно перебирал, какие же из его злодеяний еще поправимы, что еще можно оборвать на половине, есть ли средства для этого подходящие и верные, как развязать столько затянутых узлов, что делать с многочисленными соучастниками; можно было растеряться в этом потоке мыслей. Даже вот за это дело, такое легкое и такое близкое к осуществлению, он взялся с нетерпением, смешанным с тревогой. Думал о том, что невинное существо сейчас Бог знает как страдает, и он, жаждающий освободить ее, он-то как раз и заставляет ее мучиться. Там, где дорога раздваивалась, погонщик оборачивался, чтобы узнать, какой ему держаться. Безымянный указывал направление рукой и вместе с тем подавал знак торопиться.

Въехали в долину. Что тут почувствовал бедный дон Абондио! Знаменитая долина, о которой он слышал столько страшных историй, и вот он попал в нее! Знаменитые люди, цвет итальянских брави, люди без страха и жалости, — он видит их воочию, встречает их поодиночке, либо по двое, по трое на каждом повороте дороги! Они низко кланяются синьору. Какие смуглые лица! И какие щетинистые усы! Какие страшные глазищи! Дону Абондио казалось, что они как бы спрашивают: «А не отправить ли этого падре к праотцам?» Так что в минуту особенно удрученного состояния он дошел до того, что произнес про себя: «Повенчать бы мне их тогда! Хуже того, что теперь, ничего не могло со мной случиться».

Тем временем они продвигались вперед по каменистой тропинке вдоль потока. По ту сторону его — теснина суровых, темных, необитаемых скал; по эту — такие обитатели, что какая угодно пустыня покажется желанной: едва ли хуже чувствовал себя Данте среди Злых ям.

Вот едут мимо «Страшной ночи». Брави стоят у входа и низко кланяются синьору, поглядывая на его спутника и на носилки. Они не понимают, что все это означает. Уже утренний отъезд Безымянного, в одиночку, был чем-то загадочным; не менее загадочно было и возвращение. Что за добычу везет он с собой? И как это он один справился? И почему чужие носилки? И чья эта ливрея? Брави смотрели во все глаза, но никто не трогался с места, — таков был приказ, который отдавал им глазами хозяин.

Начался подъем. Вот они уже наверху. Брави, находящиеся на площадке и у ворот, расступаются по сторонам, давая дорогу. Безымянный подает знак не трогаться с места. Удар шпорами, и он обгоняет носилки; погонщику и дону Абондио он подает знак следовать за собой. Въезжает в первый дворик, потом в следующий. Направляется к небольшой дверце, жестом останавливает браву, который подбежал было поддержать стремя, и говорит ему:

— Постереги тут и смотри никого не пускай.

Спешившись, он наскоро привязывает мула к железной решетке, подходит к носилкам и тихо говорит женщине, отдернувшей занавеску:

— Подите и утешьте ее сейчас же, объясните ей поскорей, что она свободна и находится среди друзей; Бог вознаградит вас за это.

Потом он делает знак погонщику, чтобы тот отворил дверцу, приближается к дону Абондио и с просветленным лицом, какого тот еще не видел у него и о каком не подозревал, с выражением глубокой радости от сознания, что наконец-то и он может сделать доброе дело, говорит ему так же тихо:

— Синьор курато, я не прошу у вас извинения за беспокойство, причиненное вам из-за меня; вы его терпите ради того, кто щедро вам заплатит, и ради этой его бедняжки. — С этими словами он одной рукой берется за удила, другой за стремя, чтобы помочь слезть дону Абондио. Выражение лица Безымянного, его слова и обращение вернули жизнь дону Абондио. Он испустил вздох, который вот уже целый час удерживал в груди, не смея вздохнуть, наклонился к Безымянному и, ответив голосом полным почтения: «Что вы! Я сам... сам!» — скатился кубарем со своего мула. Безымянный привязал мула и, сказав погонщику, чтобы он поджидал здесь, вынул из кармана ключ, отпер дверь, вошел, впустил за собой курато и женщину и, идя впереди, направился прямо к маленькой лестнице... Все трое стали молча подниматься.

Глава двадцать четвертая

Люция очнулась всего лишь несколько минут назад. Некоторое время она мучительно боролась, чтобы стряхнуть остатки сна, отделить смутные видения от воспоминаний и картин действительности, слишком похожих на мрачные видения ада. Старуха тут же подошла к ней и притворно ласковым голосом сказала:

— Ну, как поспали? Могли бы спать в кровати, — ведь я же столько раз просила вас об этом вчера вечером. — Не получив ответа, она продолжала все тем же раздраженно-просительным тоном: — Да скушайте же, наконец, кусочек, будьте умницей. Ух, какая вы сердитая! Вам нужно поесть... Да и мне влетит от него, когда он вернется...

— Нет, нет! Я хочу уйти отсюда, хочу уйти к матери. Хозяин мне обещал это, он сказал: завтра утром. Где хозяин?

— Вышел. Он мне сказал, что скоро вернется и сделает все, что вы захотите.

— Он так сказал? Неужели сказал? Так слушайте: я хочу к своей матери, сейчас, сейчас же!

Тут в соседней комнате послышались шаги, потом раздался стук в дверь. Старуха побежала и спросила:

— Кто там?

— Отвори, — мягко произнес знакомый голос.

Старуха отодвинула засов. Безымянный слегка приоткрыл дверь. Приказав старухе выйти, он тут же впустил в комнату дону Абондио вместе с доброй женщиной. Потом снова закрыл дверь и стал снаружи, а старуху отослал в самую дальнюю часть замка, куда он уже отправил женщину, что сторожила комнату.

Вся эта суета, минута ожидания, первое появление незнакомых лиц опять взволновали Люцию, и хотя ее настоящее положение было невыносимым, все же всякая перемена вызывала в ней лишь подозрения и новый испуг. Оглядевшись, она увидела священника и женщину. Это немножко приободрило девушку. Она всмотрелась повнимательнее: он ли это? И вдруг узнала дону Абондио и уставилась на него, не отрывая глаз, точно замороженная. Женщина, подойдя к Люции, наклонилась и, глядя на нее с участием, взяв за руки, как бы лаская и вместе с тем помогая подняться, сказала ей:

— Бедняжка моя, идите, идите с нами.

— Кто вы? — спросила ее Люция и, не дождавшись ответа, еще раз обернулась к дону Абондио, который стоял в двух шагах от нее с совершенно растроганным лицом. Она опять пристально посмотрела на него и воскликнула: — Это вы? Вы? Синьор курато, где мы? Бедная я... я теряю рассудок!

— Нет, нет! — отвечал дон Абондио. — Это действительно я, не бойтесь. Видите? Мы здесь для того, чтобы увести вас отсюда. Я в самом деле ваш курато, нарочно приехал сюда, да еще верхом...

Казалось, все силы разом вернулись к Люции, она порывисто вскочила, потом еще раз впилась глазами в лица пришедших и сказала:

— Значит, Мадонна послала вас сюда.

— Думаю, что да, — сказала добрая женщина.

— Значит, мы можем уйти? Неужели в самом деле уйти? — заговорила Люция, понижая голос, робко и боязливо оглядываясь по сторонам. — А все эти люди? — продолжала она с дрожжами от отвращения и ужаса губами. — А этот синьор? Этот человек... Ведь он обещал мне...

— Он тоже здесь, своей собственной персоной, нарочно пришел вместе с нами, — сказал дон Абондио, — он ждет здесь, за дверью. Пойдем же скорее, не будем заставлять такого важного синьора дожидаться!

Тогда тот, о ком шла речь, толкнул дверь и показался на пороге. Люция, которая еще так недавно хотела видеть его, и даже, не имея никакой другой надежды, хотела видеть только его одного, теперь, заметив вокруг дружеские лица и услышав дружеские голоса, не могла подавить в себе внезапного отвра-

щения. Она вздрогнула, затаив дыхание, и прижалась к доброй женщине, спрятав лицо у нее на груди. При виде этого лица, на которое он еще накануне вечером не мог смотреть открыто, этого лица, побледневшего еще более, испуганного, со следами долгих страданий и голода, Безымянный неподвижно замер почти у самого порога. Прочтя в этих чертах выражение ужаса, он тут же опустил глаза и еще несколько минут стоял молча и неподвижно; потом, как бы отвечая на немой вопрос Люции, воскликнул:

— Все правда; простите же меня!

— Он пришел освободить вас; он уже не тот; он стал хорошим, слышите, он просит у вас прощения, — шептала добрая женщина на ухо Люции.

— Ну, что можно еще сказать? Поднимите-ка выше голову, не будьте ребенком. Скорее бы нам уйти отсюда, — говорил ей дон Абондио.

Люция подняла голову, посмотрела на Безымянного и, увидя его низко склоненное лицо, этот смущенный и растерянный вид, вся охваченная смешанным чувством умиротворения, благодарности и жалости, сказала:

— О синьор мой! Да воздаст вам Бог за ваше милосердие!

— А вам — сторицею за то утешение, какое приносят мне ваши добрые слова.

Сказав это, он повернулся, направился к двери и вышел первым. Люция, вся преобразившаяся, взяв под руку женщину, пошла за ним; дон Абондио замыкал шествие. Они спустились по лестнице и подошли к двери, которая вела во дворик. Распахнув ее, Безымянный направился к носилкам, отворил дверцу и, не без некоторой, почти робкой, учтивости (два совершенно новых для него качества!) взяв Люцию под руку, помог войти ей, а затем и ее спутнице. Отвязав мула, он помог и дону Абондио взобраться в седло.

— Не извольте беспокоиться! — сказал дон Абондио и вскочил на мула гораздо проворнее, чем в первый раз.

Шествие тронулось, когда Безымянный тоже сел верхом. Он поднял голову, и взгляд его стал по-прежнему властным. Брави, встречавшиеся по пути, отлично видели на его лице печать глубокой думы, какой-то необычайной озабоченности, но они не понимали да и не могли понять ничего больше. В замке еще не знали о той огромной перемене, какая произошла в этом человеке, а самим догадаться об этом никому, конечно, и в голову не приходило.

Добрая женщина немедленно задернула занавески носилок, ласково взяла Люцию за руки и принялась нежно и приветливо утешать ее. Заметив, что, помимо усталости от пережитых потрясений, сама запутанность и неизвестность событий мешали бедняжке полностью ощутить радость освобождения, она рассказала ей все, что считала наиболее под-

ходящим, чтобы разъяснить и, так сказать, направить на правильный путь мысли девушки. Она назвала ей деревню, куда они держали путь.

— А! — сказала Лючия, зная, что это поблизости от их деревни. — Благодарю тебя, Пресвятая Мадонна! Мама моя, милая мама!

— Мы сейчас же пошлем за ней, — сказала добрая женщина, еще не зная, что это уже было сделано.

— Да, да! Господь вам воздаст за это... Но кто же вы? Как вы попали...

— Меня послал наш курато, — отвечала та, — потому что синьор этот — Господь тронул его сердце! (слава Господу!) — пришел к нам в деревню поговорить с синьором кардинал-епископом (а он у нас в гостях, этот святой человек), ну и покаялся в своих прегрешениях и хочет изменить свою жизнь. Вот он возьми и расскажи кардиналу, что приказал похитить бедную невинную девушку — это, значит, вас-то — по уговору с другим, который Бога не боится; только курато наш не сказал мне, что это за человек.

Лючия подняла глаза к небу.

— Может быть, вы его и знаете, — продолжала женщина, — ну да ладно; так вот, синьор кардинал и решил, что раз, мол, тут идет дело о молодой девушке, стало быть, нужна для компании женщина, и приказал нашему курато подыскать кого-нибудь, а курато, по доброте своей, обратился ко мне...

— Да наградит вас Господь за доброту вашу!

— Ну, так вот, голубушка моя, что же дальше? Синьор курато мне и сказал, что надо вас утешить да постараться сразу успокоить, ну и растолковать, каким чудом спас вас Господь...

— Да, именно чудом... заступничеством Матери Божьей...

— Стало быть, вам не следует падать духом и простить тому, кто причинил вам зло; надо радоваться, что Бог проявил к нему милосердие, и даже молиться за него; ведь это зачтется и вам, а к тому же и душу себе облегчите.

Лючия отвечала ей взглядом, который красноречивее всяких слов говорил, что она соглашается со всем, причем с такой кротостью, что трудно выразить это словами.

— Славная вы девушка! — продолжала женщина. — Ну, а как ваш курато тоже оказался в нашей деревне (уж и набралось же их со всех сторон! Пожалуй, хватило бы на четыре праздничных обедни), то синьор кардинал придумал послать и его за компанию, да проку-то из этого не вышло никакого. Я уж слышала, что он никудышный человек, а тут уж и сама увидела, что он совсем бестолковый, не лучше цыпленка в пакле.

— А этот... — спросила Лючия, — этот, который стал хорошим... а кто он?

— Как? Вы не знаете? — сказала женщина и назвала его имя.

— О Боже милосердный! — воскликнула Лючия.

Сколько раз слышала она, с каким ужасом упоминалось это имя в бесчисленных рассказах, в которых человек этот неизменно выступал подобно чудовищу из страшной сказки. И вот теперь, при мысли, что она была в его страшной власти, а сейчас находится под его милостивым покровительством; при мысли о такой ужасной опасности и таком неожиданном спасении; думая о том, чье это было лицо, которое она видела сначала угрюмым, потом взволнованным и, наконец, смиренным, — она была совершенно потрясена и лишь изредка восклицала:

— О милосердие Божие!

— Да, это поистине великое милосердие, — говорила ее спутница, — полмира вздохнет с облегчением. Подумать только, сколько народу он держал в вечном страхе, а вот теперь, как мне сказал наш курато... да что там, стоит посмотреть на него, — святой да и только! Ну, и дела его говорят сами за себя...

Сказать, что эта добрая женщина не сгорала от любопытства узнать несколько подробнее о приключениях, в котором ей довелось принять участие, значило бы утаить правду. Однако к чести ее надо добавить, что, проникшись почтительным состраданием к Лючии, чувствуя до некоторой степени важность и значение порученного ей дела, ей и в голову не приходило задать Лючии какой-нибудь нескромный или праздный вопрос. Все слова, которые она произносила в пути, были словами ласки и утешения.

— Ведь вы Бог знает как давно не ели!

— Да уж не помню... порядочное время!..

— Беденькая! Вам бы надо подкрепиться.

— Да, — слабым голосом ответила Лючия.

— У меня дома, благодарение Богу, мы сразу найдем чего-нибудь. Потерпите, теперь уж недалеко.

Лючия в изнеможении откинулась в самую глубь носилок и как будто задремала. Тогда добрая женщина оставила ее в покое.

Для дона Абондио это возвращение, разумеется, было не столь тревожно, как давешняя поездка; однако и это тоже нельзя было назвать увеселительной прогулкой.

Когда неосновательный страх его прошел, он сначала почувствовал полное облегчение, но затем его стали терзать сотни других неприятных мыслей, подобно тому, как бывает, когда вырвут с корнями большое дерево: некоторое время почва остается пустой, но потом вся порастет сорными травами. Он стал восприимчивее к окружающему миру. И в настоящем и в мыслях о будущем у него, к сожалению, было слишком много причин для беспокойства. Он чувствовал теперь гораздо сильнее, чем в первый раз, неудобство этого способа передвижения, к которому он не очень-то был привычен, особенно вначале, при спуске из замка в долину. Погонщик, по-

ощряемый знаками Безымянного, усердно подгонял своих мулов; оба оседланные мула, не отставая, следовали позади тем же аллюром. Отсюда происходило то, что в некоторых наиболее крутых местах бедный дон Абондио раскачивался и валился вперед, словно его поднимали сзади рычагом, и чтобы сохранить равновесие, хватался рукой за седельную луку. Однако он не осмеливался попросить, чтобы ехали потише, да, с другой стороны, ему и самому хотелось как можно скорее выбраться из этих мест. Кроме того, там, где дорога проходила по круче, по гребню, мул, верный своей природе, словно назло, все время старался держаться края и ступал по самому откосу, так что дон Абондио видел под собой почти отвесный скат или, как ему казалось, — пропасть.

«И ты тоже, — говорил он про себя, обращаясь к животному, — по своей проклятой склонности лезешь туда, где опасно, когда есть столько тропинок!» — и он тянул поводья в другую сторону, но тщетно. Дело кончилось тем, что, взбешенный и напуганный, он целиком отдал себя на произвол мула.

Брави уже не внушали ему такого страха с тех пор, как он лучше узнал образ мыслей их господина. «Однако, — при этом рассуждал он, — если весть об этом великом обращении распространится по всей долине, пока мы еще не миновали ее, кто знает, как они ее истолкуют! Кто знает, что из этого произойдет! А ну как они вообразят, что я явился к ним в роли миссионера! Горе мне! Ведь они замучают меня!» Хмурый вид Безымянного не внушал ему беспокойства. «Чтобы держать в повиновении эти рожи, — размышлял он, — нужно по меньшей мере вот такое лицо; я ведь это тоже понимаю; но зачем же именно я оказался в этой компании!»

Но вот, наконец, спуск прекратился, и они выбрались окончательно из долины. Нахмуренное чело Безымянного постепенно прояснилось. Да и дон Абондио принял более подобающий вид, он перестал втягивать голову в плечи, расправил руки и ноги, несколько приободрился и производил совсем другое впечатление; он стал дышать свободнее и, успокоившись душой, предался размышлениям о всевозможных будущих опасностях.

«Что скажет эта скотина, дон Родриго? Этаким манером остаться с длинным носом, потерпеть афронт, да еще с такой издевкой, можно себе представить, какая это для него горькая пилюля. Теперь-то он начнет беситься по-настоящему. Пожалуй, теперь он и за меня возьмется, раз я оказался замешанным в эту передрагу. Если у него тогда хватило духу подослать этих двух чертей, что разыграли со мной такую штуку на дороге, так кто его знает, что он сделает теперь! Со светлейшим синьором ему тягаться не под силу, этот орешек ему не по зубам; тут придется только грызть удила.

А желчь-то в нем кипит, на кого-нибудь захочет же он ее

излить. Чем кончаются такие дела? Удары всегда приходится понизу, а ключья-то разлетаются во все стороны. Лючию светлейший синьор, безусловно, позаботится устроить в безопасности; того незадачливого паренька теперь не достать, да он уж и получил свое; вот от меня одного ключья-то и полетят. Разве не жестоко, если после всех этих напастей и волнений мне, здорово живешь, придется отдуваться за всех. Что же теперь сделает светлейший синьор для моей защиты, после того как он впутал меня в эту историю? Может он поручиться, что этот окаянный не выкинет со мной какой-нибудь штуки почище первой? К тому же у монсиньора столько дел в голове, столько всяких забот, — где уж тут уследить за всем! Ведь иной раз бывает, что оставляют дела в еще более запутанном состоянии, чем когда начинают. Те, что делают добро, делают его оптом: получают кое-какое удовлетворение — и с них довольно. Нет у них охоты утруждать себя и следить за всем делом до конца. А вот те, кто любит творить зло, просто из сил выбиваются, чтобы довести свои козни до конца, ни на миг не находят себе покоя, потому что червяк этот так их и точит.

Пойти, что ли, сказать, что я явился сюда по срочному приказанию светлейшего синьора, а не по своей воле? Тогда, пожалуй, покажется, что я хотел стать на сторону беззакония. О Господи! Это я-то — на стороне беззакония! Много я получаю от этого удовольствия! Ну, ладно, попробую-ка лучше рассказать обо всем, как есть, Перпетуе, а она пусть потом развешивает повсюду. Только бы монсиньору не пришла в голову блажь огласить дело, разыграть какое-нибудь ненужное представление и меня в него впутать. Как бы там ни было, немедленно по приезде, если окажется, что он уже ушел из церкви, побегу к нему откланяться; а если он еще не отбыл, попрошу передать мои извинения, а сам — прямехонько домой. У Лючии опора надежная, я ей больше не нужен, а после такой пертурбации я тоже имею право рассчитывать на отдых. А ну как монсиньор из любопытства вдруг захочет узнать всю историю и мне придется отчитываться в этой заварухе с венчанием... Этого только недоставало! А ну как он вздумает навестить и мой приход!.. Эх, будь что будет! Не стану расстраиваться раньше времени. И без того забот полон рот. На всякий случай запрюсь-ка я дома. Пока монсиньор в наших краях, дон Родриго не посмеет выкинуть какую-нибудь штуку. А потом — что потом? Ох, чувствую, несладки будут мои последние денечки».

Компания прибыла на место, когда церковная служба еще не успела отойти; проехав сквозь ту же толпу, пришедшую в неменьшее волнение, чем в первый раз, шествие разделилось. Оба всадника свернули в сторону, на небольшую площадь, в глубине которой находился дом приходского курато. Носилки двинулись дальше, к дому доброй женщины.

Дон Абондио сделал так, как задумал. Едва спешившись,

он рассыпался в любезностях перед Безымянным и попросил его извиниться за него перед монсиньором — ему-де необходимо незамедлительно вернуться в свой приход по неотложным делам. Он пошел за своим конем, как он выражался, то есть попросту за палкой, которую оставил в углу приемной, и пустился в путь. Безымянный стал дожидаться возвращения кардинала из церкви.

Усадив Люцию на лучшее место у себя в кухне, добрая женщина засуетилась, чтобы приготовить ей кое-что из еды, отмахиваясь, с грубоватой сердечностью, от всяких благодарностей и извинений, которые Люция то и дело старалась ей выразить.

Живо подкинув хворост под котелок, в котором плавал жирный каплун, хозяйка, дождавшись, когда бульон закипел, налила полную миску, положив туда предварительно несколько ломтиков хлеба, и поставила ее, наконец, перед Люцией. При виде того, как к бедняжке с каждой ложкой приливали силы, хозяйка вслух поздравляла себя с тем, что все это произошло в такой день, когда, по ее выражению, кошки не было в печке.

— Теперь все ловчатся приготовить хоть что-нибудь, — прибавила она, — кроме самых последних нищих, которым с трудом удастся иметь хлеб из вики и поленту из кукурузы; нынче, однако, все норовят урвать что-нибудь у такого щедрого синьора. Мы, хвала небу, не в таком положении: при ремесле моего мужа да при том, что дает нам земля, мы кое-как сводим концы с концами. Кушайте себе на здоровье, не стесняйтесь, вот скоро и каплун поспеет, тогда вы подкрепитесь поосновательнее!

С этими словами она снова принялась хлопотать насчет обеда и уборки стола.

Между тем Люция, едва ощутив, что силы к ней возвращаются и на душе становится спокойнее, принялась приводить себя в порядок как по привычке, так и из свойственного ей чувства опрятности и скромности. Она расчесала и заплела потуже сбившиеся и растрепавшиеся косы, поправила на груди платок. И вдруг случайно пальцы ее коснулись четок, которые она в прошлую ночь надела на себя. Взгляд ее упал на них. В сознании вспыхнула мгновенная тревога; воспоминание о данном обете, до этой минуты подавленное и заглушенное столькими переживаниями, сразу воскресло в ней со всей яркостью и отчетливостью. И тогда все силы ее души, только было вернувшиеся к ней, снова покинули несчастную, и, не будь душа ее закалена всей чистотой молодой жизни, покорностью и верой, ужас, охвативший Люцию в эту минуту, мог бы перейти в отчаяние. Среди вихря мыслей, которых нельзя выразить никакими словами, первое, что пришло ей в голову, было: «Несчастливая, что я наделала!» Но не успела она подумать это, как ею овладел ужас.

Она вспомнила, при каких обстоятельствах дала обет, ту невыносимую тоску, полное отсутствие надежды на спасение,

весь жар своей молитвы, всю глубину чувства, с каким она принимала его. И вот теперь, когда она получила избавление, ей казалось кощунственной неблагодарностью раскаяться в данном обещании — изменой Богу и Мадонне. Ей казалось, что такое вероломство навлекло бы на нее новые и еще более страшные беды, когда нельзя будет уповать даже на молитву. И она поспешила отречься от своего мимолетного раскаяния.

С благоговением сняла она с шеи четки и, держа их в дрожащей руке, подтвердила, возобновила свой обет, вознося в то же время скорбные мольбы о том, чтобы Господь дал ей силы выполнить его и уберег от мыслей и дел, которые, если и не смогут поколебать ее душу, то слишком смутят ее. Ренцо далеко, нет никакой надежды на его возвращение. И эта дальность расстояния, которая до сих пор была для нее так горька, теперь показала ей перстом провидения, направлявшего оба эти события к одной и той же цели: Лючия старалась найти в одном оправдание тому, чтобы быть довольной другим. А вслед за этим ей стало казаться, что ведь провидение, чтобы завершить свое начинание, найдет способ сделать так, чтобы и Ренцо тоже смирился, больше не думал о ней. Но при этой мысли, только что пришедшей ей в голову, чувства Люции пришли в полное смятение. Бедная Лючия, чувствуя, что сердце ее готово раскаяться в своем решении, снова обратилась к молитве, к поддержке, к борьбе, из которой она вышла, если позволено так выразиться, подобно усталому и израненному победителю, торжествующему над поверженным — не скажу убитым — врагом.

Вдруг послышался топот ног и шум веселых голосов. То возвращалась домой из церкви небольшая семья хозяйки. Подпрыгивая, вбежали в комнату две девочки и мальчик. Они на мгновение остановились, с любопытством поглядывая на Люцию, потом бросились к матери, окружив ее со всех сторон. Кто спрашивал имя незнакомой гостьи, да как, да что, да почему, кто торопился рассказать про виденные диковинки, — добрая женщина на все это отвечала: «Да тише вы, тише!»

За ними более спокойным шагом, с выражением сердечной заботливости на лице вошел хозяин дома. Он был, мы еще не сказали об этом, портной — один на всю деревню и на всю округу, — грамотей, действительно не один раз перечитавший «Легенды о святых», «Гверино — раба» и «Королевичей французских». Он слыл в тех местах человеком способным и ученым. Однако он скромно отклонял всякие похвалы, причем говорил только, что ошибся в призвании и что, пожалуй, если бы он пошел учиться вместо многих других, то... Вместе с тем это был добряк, каких мало. Когда курато при нем просил его жену согласиться поехать из чувства милосердия, он не только одобрил это, но даже был готов уговаривать ее. А теперь, когда богослужение со всей его пышностью, это огромное стечение народа и особенно проповедь кардинала, что называется, вско-

лыхнули в нем все добрые чувства, он возвращался домой в нетерпеливом ожидании, желая поскорее узнать, как же обошлось дело, и увидеть спасенную невинную бедняжку.

— А вот и мы, — сказала ему, когда он вошел, добрая женщина, указывая на Лючию. Та так и вспыхнула, поднялась и стала лепетать какое-то извинение. Но он, подойдя к ней, прервал ее радушным приветствием:

— Добро пожаловать, добро пожаловать! Вы — Божье благословение в нашем доме. Как я рад видеть вас здесь! Да я был уверен, что вы достигнете надежной гавани, ибо я не знаю еще случая, чтобы Господь, начиная творить чудо, не доводил его до хорошего конца; во всяком случае я рад видеть вас здесь. Бедная вы девушка! И все же это великое дело — пережить чудо.

Да не подумают, что он один называл так это событие, потому что читал «Легенды о святых». По всей деревне и по всей округе, пока жива была память об этом случае, только так о нем и говорили. Да, сказать по правде, вспоминая все трудности, которые сопутствовали событию, другого слова и не подберешь.

Приблизившись незаметно к жене, которая снимала с цепи котелок, он потихоньку сказал ей:

— Ну как, все прошло благополучно?

— Преотлично... я тебе потом все расскажу.

— Ладно, ладно, на досуге!

Быстро собрав обед, хозяйка взяла Лючию за руку, усадила ее за стол и, отрезав крылышко каплуна, положила перед девушкой. Хозяйка с мужем тоже уселись и наперебой стали уговаривать свою усталую и смущенную гостью покушать. Портной, проглотив первый кусок, начал с большим азартом разглагольствовать, прерываемый ребятишками, которые уплетали птицу, сидя вокруг стола. Они действительно перевидали за этот день слишком много занятых вещей, чтобы удовлетвориться ролью простых слушателей. Отец описывал торжественную церемонию, затем перевел разговор на чудесное обращение. Но самое большое впечатление произвела на него проповедь кардинала, и к ней он все время возвращался.

— Такой важный синьор, — говорил он, — и вдруг — стоит перед алтарем, как самый простой курато...

— А какая у него золотая штука на голове... — выпалила одна из девочек.

— Помолчи немного! Подумать только, говорю я, такой важный синьор, такой ученый человек; он, сказывают, прочитал все книги, какие есть на свете — чего не случилось ни с кем другим даже и в Милане. И вот, надо же, он умеет принаровиться и так рассказать обо всем, что все понимают...

— Я тоже поняла, — вставила другая маленькая болтунья.

— Замолчи ты! Туда же! Что ты там поняла?

— Я поняла, что он объяснял евангелие вместо синьора курато.

— Ну и помолчи! — Я не говорю уже про тех, кто кое-что разумеет, те, конечно, поймут. Но даже самые крепкоголовые, самые темные люди и те следили за нитью его речи. Подите теперь и спросите их, сумеют ли они повторить то, что он сказал... Куда уж тут! вы ни одного слова у них не выудите, зато смысл их запал им в душу. Он даже имени синьора ни разу не произнес, а все поняли, что именно его он имел в виду. Да, наконец, достаточно было посмотреть, как у него слезы навертывались на глаза. И тут весь народ — тоже в слезы...

— Это верно, — не удержался мальчик, — чего это они все распустили нюни, совсем как дети?

— Помолчи ты немного... На что уж у нас здесь твердые сердца! А он вразумительно сказал нам, что хоть и голод сейчас, а надо благодарить создателя и не роптать: делать, что можешь, как-нибудь изворачиваться, помогать друг другу, а главное — не роптать. Ибо несчастье не в страдании, не в бедности, несчастье в том, что мы творим зло. И это у него — не только прекрасные слова: все мы знаем, что сам он живет как бедняк и отнимает у себя кусок хлеба, чтобы отдать его голодным, хотя он мог бы больше всякого другого жить в роскоши. И какое же получаешь удовольствие, слушая проповедь такого человека; он не то, что другие: делайте то, что я говорю, не делайте того, что я делаю. А потом он так понятно сказал, что даже простой человек, не синьор, если у него есть больше необходимого, обязан помочь тому, кто в нужде.

Тут он прервал свою речь, словно внезапно охваченный какой-то мыслью. Подумав немного, он наложил на блюдо всякой еды, стоявшей на столе, положил в придачу хлебец, поставил блюдо на салфетку и, взяв ее за четыре уголка, сказал старшей девочке: «На, держи». В другую руку он сунул ей бутылку вина и прибавил:

— Стулай к Марии, вдове, отдай все это и скажи, что это маленькое угощение ей с ребятишками. Да смотри, будь поласковой, чтобы она не подумала, что ты подаешь ей милостыню. А если кого встретишь дорогой, зря не болтай, да поаккуратней — не разбей.

На глазах у Люции показались слезы, и она почувствовала, как сердце ее наполняется бодрящей нежностью: эти слова, так же как и все предыдущие, принесли ей какое-то душевное облегчение, чего не могла бы сделать ни одна намеренно произнесенная речь. Душа ее, увлеченная этими описаниями, этими картинами пышного великолепия, подъемом религиозных чувств и чудом, захваченная пылом самого рассказчика, отрывалась от горестных размышлений о самой себе и, вновь возвращаясь к ним, уже находила в себе больше силы для борьбы. Даже самая мысль о великой ее жертве не то чтобы утратила свою горечь, но таила в себе теперь какую-то суровую и возвышенную радость.

Немного спустя вошел местный курато и сказал, что кардинал поручил ему справиться о состоянии Лючии и известить ее, что монсиньор-де желает видеть ее сегодня же и просит передать благодарность от его имени портному и его жене. Тронутые и смущенные, супруги не знали, что им сказать в ответ на такое внимание со стороны столь высокого лица.

— А разве ваша мать еще не приехала? — обратился курато к Лючии.

— Моя мать! — воскликнула та.

И когда курато сообщил, что послал за ней по приказанию архиепископа, Лючия, закрыв глаза краем передника, громко зарыдала и еще долго после ухода курато не могла успокоиться. Когда, наконец, бурное волнение, пережитое при этом известии, сменилось более спокойными мыслями, бедняжка вспомнила, что близкое в эту минуту утешение увидеть снова мать, утешение, которого она не ожидала всего несколько часов тому назад, ведь о нем она особенно молила в те страшные часы, его-то она как бы ставила в число условий даваемого обета. «Дайте мне спастись и вернуться к моей матери», — сказала она тогда, и слова эти теперь отчетливо вставали в ее памяти. Она решила твердо, как никогда, сдержать свое обещание, и снова, с еще большей горечью, стала упрекать себя за восклицание «Бедная я!», невольно вырвавшееся у нее, хоть и про себя, в первое мгновенье.

Аньезе, на самом деле, пока о ней шла речь, была уже совсем недалеко. Нетрудно себе представить, что сделалось с бедной женщиной, когда она узнала о неожиданном приглашении и услышала известие — по необходимости коротенькое и неточное — об опасности, можно сказать, уже миновавшей, но такой страшной; об ужасном случае, которого посланный не умел ни как следует рассказать, ни объяснить, а она и по-прежнему не знала, с какого конца подойти, чтобы разобраться во всем. Она рвала на себе волосы и без конца восклицала: «О Господи! О Мадонна!», потом, забросав посланного разными вопросами, на которые тот не находил ответа, в попытках уселась в повозку и продолжала всю дорогу охать и распрашивать, без всякого, впрочем, толку. По дороге им вдруг повстречался дон Абондио, который шествовал потихоньку, на каждом шагу выбрасывая вперед свой посох. Оба так и ахнули от неожиданности. Он остановился, она тоже велела остановить повозку и слезла; затем они отошли к сторонке в каштановую рощу, которая тянулась вдоль дороги. Дон Абондио рассказал ей обо всем, что знал и что видел. Не все тут было ясно, но по крайней мере Аньезе убедилась, что Лючия в полной безопасности, и она вздохнула с облегчением.

Дон Абондио после этого хотел было затеять другой разговор и прочесть Аньезе длинное наставление о том, как ей держаться с архиепископом, если тот пожелает — что весьма вероятно —

побеседовать с ней и с дочерью; главное, он хотел внушить ей, чтобы она ни слова не говорила о венчании... Но тут Аньезе, заметив, что наш храбрый пастырь говорит только о своих интересах, попросту взяла да и оставила его, не дав никаких обещаний, не приняв никакого решения на этот счет, — у нее и без того было много хлопот, — и тронулась в дальнейший путь.

Наконец, повозка прибыла на место и остановилась у дома портного. Лючия поспешно встала, Аньезе слезла с повозки и опрометью бросилась в дом; минута — и они в объятиях друг друга. Жена портного, единственная свидетельница этой встречи, старается ободрить обеих, успокоить, радуется вместе с ними, а потом, не желая быть лишней, оставляет их вдвоем, говоря, что идет приготовить им постель, пусть они, мол, не беспокоятся, это ее нисколько не стеснит, и что, во всяком случае, она сама, так же как и муж, готовы лучше спать на полу, чем отпустить их искать ночлега где-либо в другом месте.

Когда прошел первый порыв и кончились объятия и слезы, Аньезе захотела узнать о приключениях Люции, и та с волнением принялась рассказывать ей обо всем. Но, как известно уже читателю, никто не знал эту историю во всех подробностях, да и для самой Люции некоторые моменты оставались темными и совершенно необъяснимыми, особенно то роковое совпадение, в силу которого страшная карета оказалась на дороге как раз в тот момент, когда Лючия проходила мимо по якобы неотложному делу. И мать и дочь строили на этот счет сотни догадок, однако не только никак не попадали в точку, но даже отдаленно не приближались к ней.

Что же касается главного зачинщика козней, то тут они обе сошлись на том, что это был дон Родриго.

— Ах, черная душа! Отродье адаво! — восклицала Аньезе. — Но погоди, пробьет и его час! Господь Бог воздаст ему по заслугам; тогда и он узнает...

— Не надо, не надо, мама! Нет! — прервала ее Лючия. — Не накликайте на него страданий, — ни на кого не накликайте! Если бы вы только знали, что значит страдать! Если бы вы только испытали! Нет, нет, — будем лучше молиться за него Богу и Мадонне, пусть Бог тронет его сердце, как тронул он сердце этого бедного синьора, который ведь был хуже его, а теперь — святой.

Ужас, который охватывал Люцию при воспоминании о своих недавних и столь тяжелых переживаниях, не раз заставлял ее прерывать свой рассказ; не раз говорила она, что у нее не хватает духа продолжать, и, роняя горькие слезы, девушка с трудом принималась рассказывать дальше. Но когда она дошла до определенного места своего рассказа, до своего обета, ее установило уже иное чувство. Она запнулась. Боязнь, что мать назовет ее неосторожной и опрометчивой и что она, подобно тому, как это было в деле с венчанием, будет по-своему, слиш-

ком свободно толковать этот вопрос совести и заставит Люцию против воли считать ее мнение справедливым, или, чего доброго, по секрету разболтает все кому-нибудь, просто из желания кое-что выведать и посоветоваться, и таким образом все предаст огласке — при одной этой мысли краска заливала лицо Люции; наконец, и некоторый стыд перед матерью, какое-то необъяснимое нежелание затрагивать этот вопрос — все эти причины вместе взятые заставили ее скрыть это важное обстоятельство. Она решила в этом деле прежде всего довериться падре Кристофоро. Но что случилось с ней, когда она, спросив, где он, услышала, что его уже нет, что его ушли далеко-далеко, в такие края, которые неизвестно как и называются!

— А Ренцо? — сказала Аньезе.

— Он ведь в безопасности, не правда ли? — с тревогой спросила Люция.

— Должно быть, раз повсюду так говорят. Все уверены, что он укрылся у бергамазцев. Однако где, никто не знает. Сам же он до сих пор никакой весточки о себе не подает. Видно, не нашел еще оказии.

— Ах, если он в безопасности, хвала Всевышнему! — сказала Люция и постаралась переменить разговор; но он был тут же прерван, и самым неожиданным образом, появлением самого кардинал-архиепископа.

Вернувшись из церкви, где мы его оставили, и узнав от Безымянного о прибытии Люции, целой и невредимой, Федерико повел его к столу, усадил рядом, по правую руку, посреди целого сонма священников, которые с жадным любопытством разглядывали этого человека, теперь такого кроткого, но совсем не бессильного, такого смиренного, но не униженного, и сравнивали его с тем представлением, какое давно уже сложилось у всех об этой личности. По окончании трапезы кардинал и его гость удалились.

После беседы, гораздо более продолжительной, чем первая, Безымянный отправился к себе в замок все на том же муле, что и утром. А кардинал приказал позвать курато и объявил ему, что хочет, чтобы его ответили в дом, где нашла приют Люция.

— О, не извольте беспокоиться, монсиньор, — отвечал курато, — я сейчас же пошлю сказать, чтобы они пришли сюда, и девушка и мать, если она уже приехала, и хозяин, если угодно монсиньору, словом, все, кого только пожелает ваша милость.

— Я сам хочу навестить их, — возразил Федерико.

— Вашей милости не следует беспокоиться, я сейчас же пошлю за ними, это дело одной минуты, — настаивал недогадливый курато (впрочем, человек добрый), никак не понимая, что кардинал этим посещением хотел одновременно оказать честь несчастной невинной девушке, гостеприимным хозяевам, а в то же время и своему приходскому священнику.

Но так как архиепископ повторил свое пожелание, подчиненному оставалось только поклониться и выйти.

Когда эти оба лица показались на улице, все прохожие бросились к ним, и через несколько минут со всех сторон посыпались люди: кто мог, шел рядом с ними, другие беспорядочно следовали позади. Курато пытался было уговаривать: «Да отойдите же назад, пропустите, да ну, ну же!» Федериго говорил: «Оставьте их», и шел вперед, то поднимая руку и благословляя народ, то опуская ее, чтобы приласкать ребятисшек, вертевшихся под ногами.

Так добрались они до дома и вошли туда, — толпа, сгрудившись, осталась снаружи. В толпе оказался и портной, который шел позади вместе с другими, вытаращив глаза и разинув рот, не понимая, куда же, собственно, идут. Увидев неожиданно для себя — куда, он стал пробиваться вперед. Можете себе представить, с каким шумом он это делал, то и дело покрикивая: «Дайте же пройти, кому полагается», — и наконец вошел в дом.

Аньезе и Лючия слышали на улице все возраставший гул. Пока они раздумывали, что бы это означало, дверь распахнулась, и показался одетый в пурпур кардинал в сопровождении приходского курато.

— Это она? — спросил он своего спутника и на его утвердительный кивок направился к Люции, которая стояла вместе с матерью.

Обе женщины замерли на месте и молчали от растерянности и смущения. Но звук этого голоса, вид, обращение, а больше всего слова Федериго сразу придали им смелости.

— Бедняжка моя, — начал кардинал, — Богу угодно было подвергнуть вас тяжкому испытанию; но он показал, что не отвел от вас очей своих, не забыл вас. Он даровал вам спасение и через вас содеял великое дело: явил свое великое милосердие одному, а заодно принес облегчение и многим другим.

Тут появилась в комнате и хозяйка, которая на шум тоже выглянула в окошко и, увидав, кто входит к ней в дом, бегом спустилась по лестнице, наскоро принарядившись. Почти одновременно из другой двери появился портной. Увидя, что разговор уже завязался, они отошли в уголок, где и остались в почтительном ожидании.

Кардинал им вежливо поклонился, продолжая разговаривать с женщинами, чередуя слова утешения с вопросами, стараясь из ответов уловить, как лучше помочь тем, кто так много выстрадал.

— Хорошо бы, все священники были вот такими, как ваша милость, чтобы они немного держали сторону бедняков, а не помогали бы их обманывать, лишь бы от них отделаться, — сказала Аньезе, ободренная простым и приветливым обращением Федериго и рассерженная мыслью, что синьор дон

Абондио, всегда жертвовавший другими, вдобавок еще стремился отнять у них единственное маленькое утешение — возможность пожаловаться лицу, стоявшему выше его, когда по редкой случайности вышла такая оказия.

— Да вы не стесняйтесь, говорите все, что думаете, — сказал кардинал, — говорите же!

— Я хочу сказать, что если бы наш синьор курато исполнил свой долг, все дело повернулось бы по-другому.

Но когда кардинал стал настаивать, чтобы она объяснилась пояснее, Аньезе очутилась в затруднительном положении: ведь ей приходилось рассказывать историю, в которой она сыграла такую роль, что признаваться в ней, да еще такому лицу, не очень-то хотелось. Однако она нашла способ выйти из затруднения с помощью маленькой хитрости, а именно: она рассказала об условленном венчании, об отказе дона Абондио, не забыла упомянуть о его ссылке на «начальство», которую он пустил в ход (ну, и Аньезе!), перескочила на покушение дона Родриго, и как, получив предупреждение, им удалось бежать.

— Да, — прибавила она в заключение, — вырваться, чтобы снова попасть в ловушку. Если бы вместо этого синьор курато откровенно рассказал нам, как обстоит дело, и сразу обвенчал бедных моих молодых, мы бы тут же уехали тайком и спрятались в таком месте, что даже ветер ничего б не знал. А теперь столько времени потеряно, и вышло то, что вышло.

— Синьор курато мне за это ответит, — сказал кардинал.

— Нет, нет, синьор, — вдруг заговорила Аньезе. — Я ведь это не к тому говорила. Уж вы его не браните, все равно, сделанного не вернешь. Да и толку никакого не будет, такой уж он человек: случись в другой раз, все равно сделает по-своему.

Но Лючия осталась недовольна тем, как была рассказана вся история, и прибавила:

— Мы тоже плохо поступили; видно, не было воли Божьей на то, чтобы дело наше кончилось благополучно.

— Но что же вы могли сделать плохого, милая моя девушка? — спросил Федерико.

Несмотря на то, что мать украдкой бросала на нее красноречивые взгляды, Лючия рассказала всю историю с покушением, произведенным в доме дона Абондио, и закончила словами:

— Мы поступили плохо, и Бог наказал нас за это.

— Примите из рук Его страдания, вами перенесенные, и не падайте духом, — сказал Федерико. — Ибо кому же радоваться и надеяться, как не тому, кто претерпел и все же готов обвинять себя самого?

Затем он спросил, где находится жених, и, услышав от Аньезе (Лючия стояла молча, склонив голову и потупив глаза), что он бежал из родной страны, почувствовал и дал заметить свое удивление и неудовольствие; он выразил желание узнать причину его бегства.

Аньезе, как умела, рассказала то немногое, что знала про Ренцо.

— Я слышал об этом юноше, — сказал кардинал. — Но как же человек, замешанный в таких делах, мог считаться женихом такой девушки?

— Он был честным юношей, — сказала Лючия, густо покраснев, но твердым голосом.

— Тихий парень, даже чересчур, — прибавила Аньезе, — об этом вы можете спросить кого угодно, даже у синьора курато. Кто знает, какую путаницу, какие козни они там затеяли? Много ли надо, чтобы оклеветать бедного человека?

— К сожалению, это правда, — сказал кардинал, — во всяком случае я справлюсь о нем. — И, узнав имя и фамилию юноши, он записал все в памятную книжку. Затем прибавил, что рассчитывает через несколько дней побывать в их деревне, что тогда Лючия безбоязненно может приехать туда, а он тем временем постарается приискать такое место, где бы она могла быть в полной безопасности до тех пор, пока все не наладится к лучшему.

После этого он обратился к хозяевам дома, которые тут же выступили вперед. Он еще раз выразил им свою благодарность, которую уже раньше передал через курато, и спросил их, согласны ли они на несколько дней приютить гостей, которых Бог послал им.

— О, разумеется, синьор, — ответила жена, причем ее голос и лицо были гораздо выразительнее этого сухого ответа, вызванного ее смущением.

Зато муж, упоенный присутствием столь высокого посетителя, горел желанием отличиться, раз уж выдался такой исключительный случай, и в волнении готовил подходящий цветистый ответ. Он наморщил лоб, отчаянно вращал глазами, сжал губы, напрягал все силы своего ума, искал, рылся в памяти и почувствовал, как у него в голове закружился целый рой разрозненных мыслей и недоговоренных слов — однако время не ждало: кардинал знаками уже дал понять, что это молчание истолковано им в определенном смысле. Тут уж бедняге пришлось открыть рот и произнести: «Представьте себе!» И больше у него так ничего и не вышло. Обстоятельство это не только в данный момент заставило его презирать себя, но и впоследствии тягостное воспоминание об этом немало портило ему удовольствие от выпавшей ему на долю великой чести. И всякий раз, когда он, возвращаясь к этому происшествию, мысленно переносился в ту обстановку, ему, как назло, лезли в голову всевозможные слова, которые были бы во всяком случае лучше этого нелепого: «Представьте себе!» Но, как гласит старинная пословица, «задним умом все ямы полны».

Кардинал отбыл со словами: «Благословение Божие да будет над домом сим!»

Затем, уже вечером, он спросил курато, нельзя ли как-нибудь в приличной форме вознаградить этого человека, судя по всему, небогатого, за оказанное им гостеприимство, которое дорого стоит, особенно в теперешнее время. Курато ответил, что, действительно, ни заработка от ремесла, ни доходов от небольших клочков земли, принадлежащих ему, в этом году, пожалуй, не хватит, чтобы позволить ему быть щедрым к другим, но что ему, мол, удалось сделать сбережения за прошлые годы и он оказался одним из самых зажиточных в округе и может без ущерба позволить себе кое-какие лишние траты, что он охотно и делает, во всяком случае нет никакого способа заставить его принять какое бы то ни было вознаграждение.

— Может быть, — сказал кардинал, — ему должны люди, которые не в состоянии уплатить долга.

— Разумеется, монсиньор. Ведь бедные люди у нас платят обычно из остатков урожая; ну, а в минувшем году остатков никаких не было, — у всех не хватает даже самого необходимого.

— Хорошо, — сказал Федериги, — я беру на себя все эти долги. А вы, будьте так любезны, возьмите у него список этих долгов и оплатите их.

— Это составит изрядную сумму.

— Тем лучше. И, к сожалению, все же найдутся еще более нуждающиеся, у которых нет долгов, потому что никто им в долг не верит.

— О, еще бы! Делаешь, что можешь, но как поспеть всюду в такие времена?

— Пусть он их обошьет за мой счет, а вы заплатите ему подороже. По совести говоря, в нынешнем году мне всякий расход кажется воровством, раз это не идет на хлеб, но данный случай — исключительный.

Мы не хотим, однако, завершить историю этого дня, не рассказав вкратце, как закончил его Безымянный.

На этот раз весть о его обращении предшествовала его появлению в долине; она разнеслась быстро и вызвала повсюду недоумение, тревогу, раздражение, ропот. Первым повстречавшимся ему брави, или слугам (что то же самое), он подал знак следовать за собой, и так подряд всем остальным. Все двинулись за ним с какой-то необычной для них нерешительностью, но с привычным послушанием, пока он, в сопровождении все растущей свиты, не прибыл, наконец, в свой замок. Стоявшим у ворот он подал знак присоединиться к остальным. Въехав в первый дворик, он выбрался на самую середину его, там, все еще сидя верхом, испустил свой громовый клич: то был обычный сигнал, слышав который сбегались все его сообщники. В одну минуту люди, рассеянные по всему замку, явились на зов и присоединились к уже собравшимся, поглядывая на своего хозяина.

— Ступайте и ждите меня в большом зале, — сказал он, глядя

им вслед с высоты своего мула. Потом спешился, отвел мула в конюшню и пошел туда, где его ожидали. При появлении Безымянного всеобщее шушуканье сразу прекратилось, все столпились в одну сторону, оставив для него свободной значительную часть зала. Вероятно, всех было человек тридцать.

Безымянный поднял руку, как бы для того, чтобы сохранить это внезапно наступившее молчание; поднял голову, которая и без того возвышалась над головами собравшихся, и сказал:

— Слушайте все, и пусть говорит только тот, кого я спрошу. Сыны мои! Путь, которым мы шли до сих пор, ведет прямо в преисподнюю. Не мне упрекать вас, когда я шел во главе вас всех, был самым худшим из вас; но выслушайте то, что я хочу сказать вам. Господь милосердный призвал меня изменить жизнь, и я ее изменю, я уже изменил ее, и да будет то же со всеми вами. Знайте же и твердо запомните, что я скорее приму смерть, чем преступлю Его святой закон. Я освобождаю каждого из вас от исполнения моих преступных приказаний, — надеюсь, вы меня понимаете. Более того, я требую от вас не исполнять ни одного из моих прежних приказаний. И запомните раз навсегда, что впредь никто не смеет совершать злодеяния под прикрытием моего имени, на службе у меня. Кто захочет принять эти условия, тот будет мне за родного сына, и я буду счастлив до конца дней своих, когда я откажу себе в последнем куске хлеба, оставшемся в моем доме, чтобы накормить последнего из вас. Кто не согласен, тот получит все свое жалование и в придачу подарок и — пусть идет с Богом; но сюда чтобы больше ни ногой, разве лишь, если кто захочет изменить свою жизнь: тогда я приму его с распростертыми объятиями. Сегодня ночью поразмыслите обо всем; завтра я позову вас, поодиночке, чтобы узнать ответ, и тогда вы получите новые приказания. А теперь расходитесь по своим местам. И Бог, явивший мне свое милосердие, да внушит вам доброе решение.

На этом он кончил. Глубокая тишина царила вокруг. Как ни разнообразны и беспорядочны были мысли, кипевшие в этих буйных головах, внешне они ни в чем не выражались. Брави привыкли воспринимать голос своего синьора как выражение его твердой воли, возражать против которой бесполезно — и голос этот, объявлявший теперь об изменении воли, звучал для них все так же властно. Ни одному из них даже и в голову не пришло, что после обращения Безымянного можно возражать ему, как всякому другому человеку. Они видели в нем святого, одного из тех святых, которых рисуют с высоко поднятой головой и с мечом в руке. Помимо страха, они питали к нему (главным образом те, кто родился у него в замке, а таких было большинство) привязанность как вассалы; все они преклонялись перед ним и в его присутствии испытывали, скажу прямо, какую-то неловкость, которую чувствуют даже самые грубые и дерзкие души перед человеком, чье превосходство

они признают. И хотя слова, что они слышали из его уст, были чужды их слуху, они звучали правдиво и находили отклик в их душах: если они тысячу раз глумились над тем, что он говорил, то не потому, что не верили в это, но потому, что этим глумлением они хотели рассеять страх, который охватил бы их, вдумайся они в это серьезно. И теперь, когда они увидели действие этого страха на душу такого человека, как их господин, все они, кто больше, кто меньше, оказались на некоторое время во власти этого чувства. Помимо всего этого, те, кого утром не было в долине, первыми узнали про великую новость и воочию видели все, а потом и сами рассказывали другим про радость и ликование населения, про любовь и глубокое почтение к Безымянному, которые вытеснили былую ненависть, былой ужас перед ним. Так что в том человеке, на которого они привыкли смотреть, так сказать, снизу вверх, даже тогда, когда они сами были, в огромном большинстве, частью его силы, они видели теперь какое-то диво, кумир толпы. Они видели его вознесенным над людьми, правда, по-иному, чем прежде, но все так же высоко, — как всегда, выходящим из обычных рамок, как всегда, в первой шеренге.

Итак, они стояли в растерянности, неуверенные друг в друге и каждый в самом себе. Кто злобствовал, кто строил планы, куда бы ему пойти искать прибежища и службы; кто раздумывал, сможет ли он приспособиться и стать порядочным человеком; кто, задетый за живое словами Безымянного, чувствовал некоторую склонность последовать им; кто, не принимая никакого решения, собирался на всякий случай обещать все, а пока продолжать есть хлеб, предлагаемый от чистого сердца и такой скудный в те дни, и тем выиграть время. Все затаили дыхание. А когда Безымянный в конце своей речи снова поднял властную руку, подавая знак, что пора расходиться, они удалились гурьбой, понутив головы, словно стадо овец. За ними вслед вышел и он сам, остановился сначала посреди дворика и при слабом сумеречном свете смотрел, как они расходились, направляясь каждый к своему месту. Потом он поднялся наверх за фонарем, снова обошел дворики, коридоры, залы, проверил все входы и, убедившись в том, что все в порядке, отправился, наконец, спать. Да, именно спать, потому что сон одолевал его.

Никогда, ни при каких обстоятельствах у него не было такого множества запутанных и вместе с тем неотложных дел, как сейчас (поскольку он сам всегда искал их), и все же сон одолевал его. Угрызения совести, которые не дали ему сомкнуть глаз в прошлую ночь, не только не улеглись, но, наоборот, голос их становился все громче, все неумолимее, все строже — и все же сон одолевал его. Весь уклад, весь способ управления, установленный им у себя за много лет с такими стараниями, с таким своеобразным сочетанием смелости и

упорства, — все это он сам несколькими словами поставил под сомнение. Беспредельную преданность своих сообщников, их готовность пойти на все, эту верность разбойников, на которую он так давно уже привык опираться, все это он теперь сам же поколебал. В его поступках воцарилась полнейшая путаница, в доме его поселились замешательство и неуверенность, и все же сон одолевал его.

Итак, он вошел в свою комнату, приблизился к своему ложу, которое было для него столь тернистым в прошлую ночь, и опустился тут же на колени, собираясь помолиться. И действительно, в каком-то затаенном и укромном уголке своей памяти он нашел молитвы, которые его приучали повторять еще в детстве. Он начал читать их, и эти слова, так долго лежавшие под спудом, одно за другим приходили ему на память, словно клубок ниток, который постепенно разматывается. Необъяснимое, смешанное чувство овладело им: какая-то сладость в этом зримом возвращении к привычкам невинного детства и невообразимая мука при мысли о той пропасти, которую он сам создал между тем временем и настоящим; пламенный порыв искупить свои дела, прийти к новому сознанию, к новому состоянию духа, приближающемуся к чистому детству, к которому он уже вернуться не может, и, наконец, благодарность, надежда на то милосердие, которое могло привести его к такому состоянию и уже дало ему столько знамений этой своей воли. Встав с колен, он лег на кровать и тут же заснул.

Так закончился этот день, о котором много говорили еще в ту пору, когда писал наш аноним; и не будь его, теперь об этом дне, по крайней мере о его подробностях, ничего бы не знали; правда, вышеназванные Рипамонти и Ривола без конца повторяют, что столь прославленный злодей после свидания своего с Федериги чудесным образом и навсегда изменил свою жизнь. Но много ли таких, кто читал книги обоих этих авторов? Пожалуй, их еще меньше, чем будущих читателей нашей книги. И кто знает, сохранилось ли в самой долине, — если бы даже нашелся кто-нибудь, у кого были бы охота и умение разыскать ее, — хоть какое-нибудь бледное и смутное предание об этом происшествии? Ведь с тех пор произошло так много событий!

Глава двадцать пятая

В деревушке Лючии и во всей округе Лекко на другой день только и было разговору, что о ней, о Безымянном, об архиепископе и еще об одном человеке, который, как ни любил он, чтобы его имя упоминалось людьми, все же при настоящих обстоятельствах предпочел бы, чтобы о нем говорили поменьше, — мы имеем в виду синьора дона Родриго.

Нельзя сказать, чтобы и раньше не говорили о его бесчинствах; но, правда, разговоры эти бывали отрывочны и велись втихомолку. Если только два собеседника уж очень хорошо знали друг друга, они рисковали коснуться столь щекотливой темы. Да и то они не вкладывали в свои обсуждения того пыла, на какой были способны, ибо, вообще говоря, люди, когда их недовольство может навлечь на них серьезную опасность, предпочитают не только меньше показывать или целиком скрывать свои чувства, но и сами переживания их бывают гораздо слабее. Теперь же разве кто-нибудь мог удержаться от расспросов и толков по поводу такого нашумевшего случая, в котором виден был перст Божий и где в столь выгодном свете показали себя два таких человека. Один — у которого горячая любовь к справедливости сочеталась со столь высоким положением; другой — в котором само насилие, казалось, было окончательно повержено, словно наемный убийца сложил оружие и пришел искать мира. По сравнению с такими фигурами синьор Родриго становился слишком незаметной величиной. Теперь все поняли, что значит мучить невинное существо, чтобы потом обесчестить его, преследуя его с такой наглой настойчивостью, с такой грубой жестокостью, с таким отвратительным коварством. Этот случай дал повод вспомнить и о многих других доблестных делах названного синьора: тут уж все высказывались так, как чувствовали, подбодренные тем, что у каждого были единомышленники. Все шептались, все приходили в ужас, но все это на почтительном расстоянии от обители дона Родриго, по причине всяких бравы, которыми окружил себя этот синьор.

Добрая доля этой всеобщей ненависти падала также на его друзей и приспешников. Хорошо попало синьору подеста, неизменно глухому, слепому и немому ко всем выходкам этого насильника, правда, тоже за глаза, ибо если в его распоряжении не было бравы, зато были сбирь. С доктором Крючковым, у которого на уме были лишь сплетни да ябеды, и с другими, ему под стать мелкими подлипалами, церемонились гораздо меньше: на них прямо показывали пальцами и поглядывали искоса, так что они предпочли некоторое время не показываться на улице.

Дон Родриго, как громом пораженный этой неожиданной вестью, столь непохожей на то известие, которого он ждал со дня на день, с минуты на минуту, — целых два дня просидел разгневанный, взаперти в своем палаццотто в компании своих бравь; на третий день он поскакал в Милан. Не будь ничего другого, кроме людского ропота, раз уж на то пошло, он, пожалуй, нарочно остался бы дома, чтобы дать отпор и даже воспользоваться случаем и всыпать кому следует, особенно крикунам; однако его окончательно побудило к бегству полученное из самых верных источников сообщение, что кардинал

прибудет в их края. Дядюшка-граф, который из всей этой истории знал только то, что ему рассказал Аттилио, разумеется, стал бы добиваться ввиду этого, чтобы дон Родриго оказался в центре внимания и был публично принят кардиналом самым отменным образом. Насколько дон Родриго мог теперь на это рассчитывать, ясно всякому. А дядюшка будет не только добиваться этого, но и потребует обо всем подробнейшего отчета, ибо ведь подвернулся исключительный случай показать, в каком почете весь его род у самых высоких представителей власти. Поэтому, чтобы избавиться от такого досадного затруднения, дон Родриго, поднявшись в одно прекрасное утро еще до восхода солнца, сел в карету и, окружив себя со всех сторон бравы, взяв с собой Гризо и распорядившись, чтобы и остальная челядь позднее последовала за ним, поскакал, словно беглец, словно Катилина, бежавший из Рима (да позволено будет нам несколько возвысить действующих лиц нашей истории таким громким сравнением), задыхаясь от злобы и давая клятвы очень скоро вернуться, но уже при иных обстоятельствах и отомстить кому следует.

Тем временем кардинал объезжал приходы по всей территории Лекко, оставаясь в каждом по одному дню. В то утро, когда он должен был прибыть в приход, где жила Лючия, большая часть жителей высыпала на дорогу встречать его. При въезде в деревню, как раз рядом с домиком наших двух женщин, была сооружена триумфальная арка из вертикальных столбов и поперечных перекладин, вся обвитая соломой и мхом и разукрашенная зелеными ветвями рускуса и остролиста, в гуще которых ярко горели багряные ягоды. Фасад церкви был убран коврами. С выступа каждого окна свешивались в виде фестонов развернутые одеяла и простыни, а также детские пеленки, словом, все скромные пожитки, которые в той или иной мере могли создать впечатление некоторого достатка. К двадцати двум часам, к тому времени, когда ожидалось прибытие кардинала, все, кто еще оставался дома, по большей части старики, женщины и дети, тоже потянулись ему навстречу, одни — гуськом, другие — кучками. Во главе шел дон Абондио, мрачный среди общего оживления, ибо шум его ошеломлял, а от постоянного снования людей взад-вперед у него, как он все время твердил, голова шла кругом. При этом он втайне опасался, как бы женщины не сболтнули чего лишнего и не пришлось бы ему отвечать за отказ обвенчать молодую пару.

Но вот, наконец, показался кардинал, или, вернее сказать, толпа, среди которой колыхались его носилки, окруженные свитой, о чем можно было догадаться лишь по тому, что над всеми головами высоко вздымался крест в руках ехавшего на муле капеллана. Люди, шедшие с доном Абондио, в беспорядке бросились навстречу этой толпе, а сам дон Абондио, тщетно повторив несколько раз: «Да тише вы, станьте в ряд, куда

вы? — сердито повернул назад и, продолжая бормотать: — Прямо-таки столпотворение вавилонское», — поспешил войти в церковь, пока еще пустую, и стал там дожидаться прибытия процессии.

Кардинал продвигался вперед, благословляя всех крестным знамением и получая ответные благословения из уст толпившегося народа, с трудом сдерживаемого свитой кардинала. Так как все это были односельчане Люции, вся деревня хотела оказать архиепископу совсем исключительный прием, однако это было не так-то просто, потому что вошло уже в обычай, что всюду, где бы он ни появлялся, все из сил выбивались, чтобы встретить его как можно лучше. Уже в самом начале его епископского служения, при первом торжественном входе в собор, люди так напирали и так теснили его, что опасались за его жизнь, и некоторым кавалерам, находившимся поблизости, приходилось обнажать шпаги, чтобы припугнуть и осадить толпу. Нравы в те времена были настолько дикими и распушенными, что даже восторженные приветствия любимому епископу в церкви приходилось умерять чуть ли не силой оружия. Да и этой защиты, пожалуй, оказалось бы недостаточно, если бы главный церемониймейстер и его помощники, некие Клеричи и Пикоцци, молодые священники, сильные телом и духом, не подняли его на руки и пронесли так от входа до главного алтаря. С той поры и впредь, во время его постоянных епархиальных объездов, его первое вступление в церковь каждый раз не шутя можно было считать одним из его пастырских подвигов, а иной раз так даже счастливо избегнутой опасностью.

Наконец ему удалось пробиться в церковь. Он прошел к алтарю и после краткой молитвы обратился, по своему обыкновению, с небольшой проповедью к народу, сказав о своей любви к нему, о своем желании спасти его, о том, как надо всем готовиться к завтрашней церковной службе. Удалившись после этого в дом приходского священника, кардинал, среди других разговоров, справился у него и относительно Ренцо. Дон Абондио сказал, что он юноша немного горячий, упрямый и вспыльчивый; но на более настойчивые и определенные вопросы должен был ответить, что, впрочем, малый честный и что сам дон Абондио никак не в состоянии понять, как мог Ренцо натворить таких дел в Милане, о чем все говорят.

— Что касается нашей девушки, — продолжал кардинал, — не кажется ли вам, что она теперь может спокойно вернуться и жить у себя дома?

— Пока, конечно, ей можно вернуться и жить здесь, как ей угодно, — отвечал дон Абондио. — Я говорю: пока, но... — вздохнув, прибавил он, — необходимо, чтобы ваша милость постоянно были здесь или хотя бы поблизости.

— Господь всегда близок, — сказал кардинал. — Впрочем, я подумаю о том, как устроить ее в безопасности.

И он тут же распорядился, чтобы на следующий день пораньше за женщинами были посланы носилки с провожатым.

Дон Абондио ушел чрезвычайно довольный тем, что кардинал, упоминая о молодой паре, не спросил ничего об его отказе их повенчать. «Стало быть, он ничего не знает, — успокаивал он себя. — Аньезе не проболталась, — вот чудеса-то! Правда, им придется еще увидеться, но мы дадим ей еще раз наставления, дадим непременно».

Бедняга и не подозревал, что Федерико не касался этого вопроса именно потому, что собирался поговорить с ним подробно обо всем на свободе и, прежде чем воздать ему по заслугам, хотел выслушать и его объяснения.

Но старания доброго прелата обеспечить безопасность Люции оказались излишними: после того как он расстался с ней, произошел ряд событий, о которых нам придется рассказать.

В те немногие дни, которые Люции и ее матери пришлось провести в гостеприимном домике портного, обе женщины, насколько было возможно, вернулись каждая к своим обычным занятиям. Люция сразу попросила работы и, как бывало в монастыре, все шила и шила, уединившись в небольшой каморке, подальше от людских глаз. Аньезе то уходила из дому, то работала вместе с дочерью. Разговоры их были тем печальнее, чем душевнее они становились; обе уже приготовились к разлуке. Ведь нельзя же было овечке снова оказаться в таком близком соседстве с логовищем волка. И когда, каким образом придет конец этой разлуке? Будущее было темно и неясно, в особенности для одной из них. Тем не менее Аньезе тешила себя всякими радостными предположениями: в конце концов Ренцо должен же вскоре дать о себе знать, если только с ним не стряслось какой-нибудь беды. А если он нашел себе работу и устроился и сдержит свое обещание (а разве можно в этом сомневаться?), то почему бы не отправиться жить к нему? Она не раз делилась своими надеждами с дочерью, а той, трудно сказать, что было тяжелей — слушать мать или отвечать ей. Она бережно хранила свою великую тайну и очень огорчалась, что ей приходилось прибегать к разным уловкам в разговоре со своей доброй матерью. Однако какой-то стыд, различные опасения, о которых мы говорили выше, непреодолимо удерживали ее, и она откладывала неизбежный разговор со дня на день, продолжая хранить молчание. Ее виды на будущее совершенно расходились с намерениями матери, или, вернее сказать, у нее не было никаких видов; она целиком предалась провидению. А потому старалась не вести разговоров о будущем, переводя речь на другое, либо в общих словах говорила о том, что у нее на этом свете не осталось больше никаких надежд и желаний, кроме одного: поскорее опять соединиться с матерью. При этом слезы неоднократно прерывали ее слова.

— Знаешь, почему тебе все представляется в таком свете? —

говорила Аньезе. — Ты слишком много выстрадала и уж не ждешь ничего хорошего. Но положишься на волю Божию, и если... Если проглянет хоть проблеск, хоть самый маленький луч надежды, тогда посмотрим, как ты заговоришь.

Лючия обнимала мать и плакала.

К тому же между женщинами и их хозяевами сразу завязалась тесная дружба, да и где же ей и возникнуть, как не между теми, кто расточает добро и кто его получает, в особенности, если те и другие хорошие люди? Аньезе много болтала с хозяйкой. А портной в свою очередь старался развлекать их всевозможными историями и нравоучительными рассуждениями, и в особенности за обедом у него всегда оказывался про запас какой-нибудь занимательный рассказ, либо про Бову-королевича, либо про отцов-пустынников.

Неподалеку от этой деревни проживала в своем поместье одна знатная супружеская чета — дон Ферранте и донна Прасседе; фамилия их, по обыкновению, застряла на кончике пера нашего анонима. Донна Прасседе была пожилая синьора, которая имела большую склонность к благотворительным делам: занятию, бесспорно, весьма достойному из числа тех, которым может предаваться человек, но которое, к сожалению, может приносить также и вред, как и всякое другое. Чтобы делать добро, надо знать, в чем оно заключается, а между тем, подобно многим другим вещам, мы можем постигать его лишь сквозь призму наших страстей, с помощью наших суждений, наших идей, а они у нас часто находятся в полном хаосе. В выборе же идей донна Прасседе поступала так же, как, говорят, надо поступать в выборе друзей: идей было у нее мало, но зато этим немногочисленным своим идеям она была чрезвычайно предана. Среди же этих немногочисленных, к несчастью, было много сумасбродных, и именно они были ей дороже других. А потому часто случалось, что она принимала за добро то, что на самом деле им вовсе не было, или пользовалась средствами, которые приводили скорее к обратному результату, или считала дозволенным то, что никоим образом им не было — и все это в силу сомнительного предположения, будто тот, кто делает больше того, что ему полагается, имеет право поступать, как ему вздумается; часто случалось, что она не видела того, что было в действительности, либо видела то, чего не было вовсе, и много других подобных же вещей; это случалось с ней, как может случиться и случается со всеми, не исключая и лучших; правда, с донной Прасседе эти вещи случались чересчур часто, а главное, нередко все разом.

Услышав о громком происшествии с Люцией и наслушавшись разговоров про молодую девушку, она загорелась любопытством посмотреть на нее и отправила за матерью с дочерью свою карету со старым фореитором. Лючия в ответ на приглашение пожала плечами и попросила портного, передавшего

его, найти какой-нибудь способ отказаться. Пока дело шло о простых людях, стремившихся повидать девушку, с которой произошло чудо, портной охотно оказывал ей помощь; но в данном случае отказ показался ему дерзостью. Он пустил в ход всю свою жестикуляцию, употребил массу восклицаний и наговорил всякой всячины, что так не поступают, и что, мол, это очень важное семейство, и что синьорам отказывать нельзя, и что здесь, может быть, зарыто их счастье, и что, помимо всего прочего, синьора донна Прасседе слывет святой, — словом, столько всего наговорил, что Лючия должна была уступить, тем более что Аньезе, слушая доводы портного, то и дело поддакивала: «Верно, верно».

Когда они предстали перед синьорой, та рассыпалась в любезностях и поздравлениях, расспрашивала их, давала советы; в ее речах сквозило врожденное чувство некоторого превосходства, смягченного, однако, такими приветливыми выражениями, подслащенного такой заботливостью, приправленного такою душевностью, что Аньезе почти сразу, а Лючия очень скоро освободилась от стеснительной почтительности, которую с самого начала внушил было им важный вид этой синьоры. Теперь они даже нашли ее привлекательной. Дело кончилось тем, что донна Прасседе, услышав, что кардинал взял на себя заботу найти убежище для Лючии, вдруг загорелась желанием посодействовать и даже предупредить это доброе намерение, предложив взять девушку к себе в дом, где она, не будучи приставленной ни к какой определенной работе, будет по своему усмотрению помогать другим женщинам. При этом она прибавила, что постарается сама сообщить об этом монсиньору.

Кроме очевидной и непосредственной пользы, заключавшейся в таком добром поступке, донна Прасседе усматривала в нем и нечто более значительное с ее точки зрения, поставив себе целью наставить заблуждающуюся, направить на путь истинный существо, которое в этом сильно нуждалось. Ибо с того момента, когда она впервые услышала о Лючии, она сразу же решила, что молодая девушка, обрученная с бездельником, мятежником, — словом, с висельником, не может быть безупречной и должна иметь какой-то скрытый порок. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Свидание с Люцией укрепило ее в этом убеждении. Нельзя сказать, чтобы Лючия показалась ей дурной девушкой по самому, так сказать, своему существу; но все же многое в ней синьоре не понравилось. Эта низко опущенная голова, подбородок, как бы пригвожденный к груди, нежелание отвечать или отвечать коротко, сухо, словно через силу, быть может, объяснялись застенчивостью, но, конечно, указывали и на большое упорство. Нетрудно было догадаться, что в этой головке приютились свои собственные мысли. А эта привычка постоянно краснеть, эти сдержанные вздохи... И потом эти огромные глаза, — они совсем не нра-

вились донне Прасседе. Она была твердо убеждена, словно знала это из верного источника, что все злоключения Лючии были небесной карой за ее дружбу с бездельником и указанием свыше, дабы заставить ее навсегда с ним разлучиться; а раз это было так, она должна была посодействовать такой высокой цели. Ибо, как она часто говорила другим и самой себе, все ее помыслы были направлены к тому, чтобы следовать велению свыше; однако она часто глубоко ошибалась, принимая за волю небес собственные измышления. Правда, относительно своего второго намерения, о котором мы упомянули, она не сделала ни малейшего намека, руководясь правилом: если хочешь с успехом делать добро людям, старайся прежде всего скрывать от них свои намерения.

Мать и дочь переглянулись. Перед печальной необходимостью разлуки это предложение показалось обоим подходящим хотя бы и потому, что поместье синьоры было совсем близко от их деревни. Поэтому на худой конец они могли жить по соседству и даже свидеться при первой же поездке синьоров в деревню. Прочитав в глазах друг у друга согласие, обе они поблагодарили донну Прасседе и выразили готовность принять ее предложение. Та опять рассыпалась в любезностях и обещаниях, сказав, что немедленно напишет письмо монсиньору.

После ухода женщин она заставила составить письмо дона Ферранте, который, будучи ученым человеком, о чем мы скажем позже, в особо важных случаях исполнял обязанности ее секретаря. Так как теперь случай как раз и представился, дон Ферранте приложил все свое умение и, передавая супруге черновик, особенно горячо расхваливал свою орфографию. Это был один из многих предметов, которые он изучал, и один из немногих, где он мог проявить себя как глава дома. Донна Прасседе старательнейшим образом переписала письмо и отправила его в дом портного. Это было за два или три дня до того, как кардинал послал за женщинами носилки, чтобы отправить их в родную деревню.

Добравшись туда, они вышли у дома приходского священника, где находился кардинал. Заранее был дан приказ ввести их тотчас же по прибытии. Капеллан, первый увидевший женщин, исполнил приказание, лишь немного задержав их, чтобы наспех преподать несколько наставлений, как надо величать монсиньора, и кое-что насчет соблюдения этикета, — что он имел обыкновение делать тайком от кардинала каждый раз, когда представлялся случай. Для бедняги было чистым страданием видеть, как в этом отношении было мало порядка в окружении его высокопреосвященства: «А все из-за чрезмерной доброты этого святого человека, уж очень он прост в обращении», — говорил он своим собратям. И тут он рассказывал, что ему приходилось не раз собственными ушами слышать даже такие ответы: «Да, сударь! Нет, сударь!»

Кардинал в эту минуту был занят разговором о приходских делах с доном Абондио, так что последний не имел возможности, как ему хотелось, дать со своей стороны некоторые наставления женщинам. И только когда дон Абондио выходил и они попались ему навстречу, он успел подмигнуть им в знак того, что, мол, доволен ими и пусть они продолжают держать язык за зубами.

После первых приветствий с одной стороны и первых поклонов — с другой, Аньезе вынула из-за пазухи письмо и подала его кардиналу со словами:

— От синьоры донны Прасседе. Она говорит, что хорошо знает вашу милость, монсиньор, оно и понятно: все большие синьоры должны знать друг друга. Почитайте-ка, увидите сами.

— Хорошо, — сказал Федерико, прочитав письмо и выжав, наконец, смысл из цветов красноречия дона Ферранте. Он знал эту семью достаточно для того, чтобы быть уверенным, что Лючию приглашали туда с добрыми намерениями и что там она будет в полной безопасности от козней и приставаний своего преследователя. Что же касается его мнения об умственных способностях донны Прасседе, то на этот счет у нас нет определенных сведений. Вероятно, она не была той особой, которую он бы выбрал сам для подобной цели; но, как мы уже говорили или намекнули в другом месте, не в его правилах было вмешиваться в чужие дела, чтобы исправлять их к лучшему.

— Примите с миром и эту разлуку и неведение, в каком вы находитесь, — прибавил Федерико потом, — верьте, что это скоро кончится и что Всевышний хочет привести все к концу, какой ему, видимо, угодно было наметить, — и твердо запомните, что его воля — это лучшее, что для вас может быть.

Он отдельно обратился с ласковым напутствием к Люции и, сказав несколько слов утешения обеим, благословил и отпустил женщин.

Не успели они выйти, как их обступила, можно сказать, вся деревня, целый рой друзей и подруг, которые поджидали их и повели домой словно в триумфальном шествии. Женщины наперебой поздравляли Люцию и Аньезе, охали, забрасывали их вопросами и громко выражали неудовольствие, услышав, что Люция на другой день уезжает. Мужчины наперебой предлагали свои услуги. Каждому хотелось в эту ночь посторожить около их домика. По этому поводу наш аноним даже счел нужным сложить поговорку: «Хотите, чтобы к вам спешили на помощь со всех сторон? Старайтесь не нуждаться в этом».

Такой прием смутил и растрогал Люцию, — Аньезе же такие пустяки мало смущали. Но вообще-то эти излияния оказали хорошее воздействие на Люцию, несколько отвлекая ее от мыслей и воспоминаний, которые, увы, среди всего

этого гама воскресли в ней на пороге родного дома, в этих комнатных шкафах, при виде знакомых предметов.

Когда раздался звон колоколов, возвещавший начало службы, все тронулись к церкви, и шествие это превратилось для наших женщин в новый триумф.

По окончании службы дон Абондио, побежавший взглянуть, хорошо ли Перпетуя все приготовила к обеду, был вызван к кардиналу. Он немедленно явился к своему высокому гостю, который, дав ему приблизиться, повел такую речь:

— Синьор курато, — слова эти были сказаны тоном, который сразу давал понять, что это начало длинного и серьезного разговора, — синьор курато, почему вы не сочетали браком эту бедняжку Лючию с ее женихом?

«Ну, значит, выложили все начисто нынче утром!» — успел подумать про себя дон Абондио и невнятно забормотал:

— Ваше высокопреосвященство изволили, разумеется, слышать, какой переполох вызвало это дело: получилась такая путаница, что и по сей день ничего не разобрешь. Вы, ваша милость, можете судить об этом сами хотя бы по тому, что после стольких перипетий девушка эта ныне чудесным образом очутилась здесь, а юноша, тоже после всяческих перипетий, находится неизвестно где.

— Я вас спрашиваю, — перебил кардинал, — правда ли, что еще до всех этих событий вы отказались совершить венчание в установленный день, как вас просили; и что за причина этого?

— Конечно... если бы ваша милость знали... какие запугивания... какие грозные приказания молчать...

И он умолк, не закончив фразы, в позе, которая почтиительно давала понять, что желание узнать больше было бы нескромностью.

— Послушайте, — сказал кардинал голосом более строгим, чем обычно, приняв соответствующий вид, — не забывайте, что ваш епископ, исполняя свой долг и для вашего же оправдания, желает слышать от вас, почему вы не сделали того, что при обычных обстоятельствах вы обязаны были сделать.

— Монсиньор, — отвечал дон Абондио, согнувшись в три погибели, — я вовсе не хотел сказать этим... Но я подумал, что раз дело это такое запутанное да давнее и помочь-то уж ничем нельзя, то незачем его и ворошить. Впрочем, все-таки... я ведь знаю, ваше высокопреосвященство не захочет выдать своего бедного курато. Потому что, видите ли, монсиньор, ваше высокопреосвященство не может всюду поспеть, а я ведь останусь здесь, предоставленный... Все же, если вы мне приказываете, я расскажу, все вам расскажу.

— Говорите! Я хочу только одного — знать, что вы невиновны.

Тогда дон Абондио принялся рассказывать горестную ис-

торию. Но он скрыл имя главного зачинщика, назвав его «важный синьор», прибегнув все же к благоразумию, насколько это было возможно в таком затруднительном положении.

— И никаких иных побуждений у вас не было? — спросил кардинал, когда дон Абондио кончил.

— Я, возможно, не совсем ясно выразился, — ответил последний, — мне было запрещено совершать это венчание под страхом смерти.

— И это кажется вам достаточным основанием для того, чтобы уклониться от выполнения вашего прямого долга?

— Я всегда старался выполнять свой долг, даже если это было сопряжено с значительными для меня трудностями, но когда дело идет о жизни...

— А когда вы предстали перед лицом Церкви, — еще более внушительным тоном сказал Федерико, — с тем чтобы посвятить себя служению ей, сулила ли она вам безопасность вашей жизни? Говорила она вам, что обязанности, связанные с вашим саном, свободны от каких-либо случайностей, ограждены от всякой опасности? Или, быть может, она говорила вам, что там, где начинается опасность, кончается долг? А не говорила ли она вам как раз обратное? Не предупреждала ли она, что посылает вас как агнца в стадо волков? Разве вы не знали, что существуют насильники, которым может не понравиться то, что будет приказано вам? Или Тот, Кто дал нам учение и пример, в подражание Кому мы позволяем называть нас и называемся пастырями, сходя на землю для дела искупления, может быть, тоже ставил условием спасение Своей жизни? Неужели для спасения ее, повторяю, для пребывания нескольких лишних дней на земле ценою милосердия и долга нужно было святое помазание, возложение рук, благодать священства? Чтобы даровать такую доблесть и преподавать такое учение, хватит и мирской жизни. Да что я говорю? О стыд!.. Мир и сам не принимает такого учения — в мире тоже есть свои законы, которые предписывают и зло и добро; в мире тоже есть свое евангелие, но евангелие гордыни и ненависти; и там не допускают утверждения, что любовь к жизни является основанием для нарушения земных заповедей. Не допускают, — и все повинуются. А мы? Мы, сыны и вестники искупления! Что стало бы с Церковью, если бы таким языком заговорили все ваши собраты? Где была бы она, явись она в мир с такими заповедями?

Дон Абондио стоял с низко опущенной головой: дух его, подавленный такими доводами, чувствовал себя словно цыпленок в когтях сокола, который поднял его в неведомую высь, в такие просторы, воздухом которых он никогда не дышал. Понимая, что ведь нужно что-то ответить, он сказал с вынужденною покорностью:

— Монсиньор, выходит — я виноват. Раз жизнь моя не при-

нимается в расчет, не знаю, что и сказать. Но когда приходится иметь дело с людьми известного рода, с людьми, в руках которых сила, и они не хотят слушать никаких доводов, — право, какой толк разыгрывать из себя храбреца! А это такой синьор, которого нельзя ни одолеть, ни даже сквитаться с ним.

— А разве вы не знаете, что для нас пострадать за правое дело значит победить! И если вы не знаете этого, о чем же вы говорите в ваших проповедях? Чему вы учите? Какую благую весть возвещаете вы несчастным? Кто требует от вас, чтобы вы силой побеждали силу? С вас никто, конечно, не спросит в один прекрасный день, сумели ли вы дать отпор власти имущим, — ни такой миссии, ни возможностей для этого вам никто не давал. Но с вас, конечно, спросят, пустили ли вы в ход то оружие, которое было в ваших руках, для выполнения того, что было вам предписано, даже если бы нашлись дерзкие, пытавшиеся помешать вам.

«И чудачи же эти святые! — думал тем временем дон Абондио. — В сущности, смысл его слов сводится к тому, что любовь молодой парочки для него важнее жизни бедного священника». Что касается дона Абондио, он был бы очень доволен, если бы разговор на этом и закончился. Но кардинал при каждой паузе имел вид человека, который ждет ответа: то ли признания, то ли оправдания, то ли чего-либо еще.

— Повторяю, монсиньор, — поспешил ответить дон Абондио, — что по всему я виноват... Откуда же быть храбрости, когда ее нет.

— А тогда зачем же вы, мог бы я сказать вам, приняли духовный сан, который обязывает вас бороться с мирскими страстями? Но как же, — лучше скажу я вам, — как вы могли забыть, что при этом служении Церкви, раз вы на то поставлены, нужно мужество для выполнения ваших обязанностей, и что только один Господь непременно даст его вам, когда вы попросите Его об этом? Или вы думаете, что миллионы мучеников были мужественны от рождения? Что они действительно не дорожили своей жизнью? Все эти юноши, только что вкусившие радости жизни, все эти старики, привыкшие скорбеть при мысли, что она идет к концу, все эти девушки, жены, матери? Все они были мужественны, потому что мужество было им необходимо и вера их была сильна. Зная свои слабости и свои обязанности, думали ли вы о том трудном пути, по которому вам придется идти и на котором вы сейчас оказались? Увы, если б вы за столько лет пастырского служения полюбили свою паству (а как могло быть иначе?), если бы вы отдали ей свое сердце, свои заботы, свои радости, — у вас тогда при надобности не было бы недостатка в мужестве: любовь отважна. Словом, если бы вы любили тех, кто вверен духовному вашему попечению, — тех, кого вы называете своими детьми, — и увидели бы, что двум из них вместе с вами

грозит беда, о, тогда, разумеется, любовь заставила бы вас дрожать за них так же, как немощь плоти заставила вас дрожать за себя. Вы устыдились бы своего первоначального страха, ибо он явился плодом вашего ничтожества, вы вымолили бы себе силу, чтобы преодолеть его, ведь это было искушением: зато святой и благородный страх за других, за ваших детей, — к нему вы должны были бы прислушаться, он не дал бы вам покоя, подстрекал бы вас, заставил бы подумать, сделать все возможное, чтобы защитить их от угрожавшей им опасности... Что же внушил вам этот страх, эта любовь? Что сделали вы для них? О чем вы думали?

И он умолк, ожидая ответа.

Глава двадцать шестая

В ответ на такой прямой вопрос дон Абондио, как-никак умудрявшийся отвечать на вопросы не столь определенные, не мог вымолвить ни слова. Да сказать по правде, даже и мы, сидя с пером в руках перед этой рукописью, — а ведь нам приходится иметь дело лишь с описанием событий и бояться только критики наших читателей, — чувствуем некоторое смущение, мешающее нам продолжать свой рассказ: нам кажется несколько странным касаться с легкостью таких высоких принципов, как стойкость и милосердие, деятельная любовь к ближнему, безграничное самопожертвование. Но, принимая во внимание, что все это сказано было человеком, у которого слова не расходились с делом, мы смело трогаемся дальше.

— Вы молчите? — снова заговорил кардинал. — О, если бы вы, со своей стороны, сделали то, что повелевала вам любовь, чувство долга, тогда сейчас вам было бы что ответить, как бы потом ни обернулось дело. Теперь вы видите сами, что наделали! Вы послушались кривды, пренебрегая тем, что предписывал вам долг. Вы в точности выполнили ее приказания: она предстала перед вами, чтобы заявить вам о своем желании, но захотела укрыться от того, кто сумел бы защититься от нее и был настороже; она боялась огласки и таилась, чтобы спокойно дать созреть коварным и свирепым своим замыслам; она приказала вам нарушить ваш долг и молчать, — и вы нарушили свой долг и молчали. Теперь я спрашиваю вас, не сделали ли вы еще чего-нибудь. Скажите мне, правда ли, что вы придумывали всяческие отговорки, чтобы оправдать свой отказ и не обнаружить подлинной его причины?

Кардинал умолк, снова ожидая ответа.

«Видно, и об этом ему кумушки доложили!» — подумал дон Абондио, но и виду не подал, что ему хочется что-то сказать. А потому кардинал продолжал:

— Если правда, что вы говорили этим беднягам, чего вовсе и не было, чтобы держать их в неведении, в темноте, чего так добивалась кривда... Значит, я должен верить этому, краснеть вместе с вами и надеяться, что вы заодно со мной будете сожалеть о случившемся. Вот видите, куда завел вас этот страх за свою жизнь, которой когда-то ведь тоже наступит конец (Боже мой! а ведь вы только что приводили этот страх себе в оправдание)... Он довел вас... — не бойтесь, возражайте мне на эти слова, если они покажутся вам несправедливыми; смиренно примите их во спасение, если они правильны... — он довел вас до обмана слабых, до лжи вашим духовным детям.

«Вот ведь как все получается, — снова стал сокрушаться про себя дон Абондио, — этому сатане, — он имел в виду Безымянного, — распростертые объятия, а мне — за невольную ложь, произнесенную единственно ради спасения собственной шкуры, — такая взбучка... Ничего не поделаешь: это ведь начальство, а оно всегда право. Видно, такая уж моя планка: от всех мне попадает, даже и от святых». И вслух прибавил:

— Грешен, понимаю, что грешен; но что же мне оставалось делать при столь трудных обстоятельствах?

— И вы еще спрашиваете? Разве я уже не говорил вам этого? И должен ли был говорить вам? Любить, сын мой, любить и молиться. Тогда б вы поняли, что кривда может, разумеется, угрожать, наносить удары, но не отдавать приказаний; вы соединили бы, согласно Божьему велению, то, что человек хотел разъединить; вы совершили бы тот обряд над этими несчастными невинными людьми, который они были вправе требовать от вас: за последствия поручился бы сам Господь, ибо вы избрали бы указанный им путь. Идя же по иному пути, вы уже берете ответственность на себя, — подумайте только, за какие последствия вы отвечаете! Быть может, у вас отняли все человеческие средства защиты? Быть может, все пути спасения для вас были закрыты? Но вам стоило только захотеть, посмотреть вокруг себя, подумать, поискать. Теперь вы отлично знаете, что эти несчастные, повенчавшись, сами подумали бы о своем спасении, они были готовы бежать от этого насильника и уже наметили себе прибежище. Но и помимо этого, неужели вам не пришло в голову, что у вас есть духовный начальник? Как смел бы он взять на себя право упрекать вас за нарушение вашего священного долга, если бы он не сознавал своей обязанности помогать вам при его выполнении? Как же вы не подумали осведомить вашего епископа о препятствии, которое создает какой-то наглый насильник, чтобы помешать вашему служению?

«Рассуждения моей Перпетуи!» — с досадой думал дон Абондио, перед которым во время всех этих речей необычайно живо вставал образ двух брави и которого мучила мысль,

что дон Родриго жив и невредим и в один прекрасный день вернется — гордый, торжествующий и озлобленный. И хотя стоявшее перед ним почтенное лицо всем своим обликом и словами приводило курато в большое смущение и внушало ему некоторый страх, — все же страх этот не очень угнетал его и не мешал ему упорно возвращаться к одной и той же мысли, а именно, что ведь кардинал-то не пустит в ход ни ружья, ни шпаги, ни этих брави.

— Как же не подумали вы, — продолжал кардинал, — что если перед этими попавшими в ловушку людьми было закрыто всякое другое убежище, то ведь помочь им укрыться в безопасное место мог я, стоило вам направить их ко мне, направить этих отверженных людей к моему епископу, — ведь они его достояние, драгоценная доля не скажу его бремени, но его богатства! Что же касается вас, я бы о вас сам побеспокоился, я бы не сомкнул глаз до тех пор, пока не был бы совершенно уверен, что ни один волос не упадет с вашей головы. Разве я не нашел бы, как и куда вас спрятать для спасения вашей жизни? Да и этот столь дерзкий человек, неужели вы думаете, что с него не слетела бы вся его наглость, узнай он, что его козни стали известны за пределами этих мест, известны мне, и что я стою на страже и пушу в ход, защищая вас, все средства, какими только располагаю? Разве вы не знали, что если человек берет на себя больше того, что может выполнить, то нередко и угрозы его гораздо страшнее того, что он собирается сделать? Разве вы не знали, что кривда опирается не только на свои силы, но и на легкоеверие и страх других?

«Точь-в-точь резоны моей Перпетуи», — подумал и тут дон Абондио, не догадываясь, что это единство мнений его служанки с Федериги Борромео насчет того, что можно и что должно было сделать, как раз и говорило очень сильно не в его, дона Абондио, пользу.

— Но вы, — продолжал кардинал, заканчивая свою речь, — вы не видели и не хотели видеть ничего, кроме этой ничтожной опасности; надо ли удивляться, что она в ваших глазах разрослась до таких размеров и вы ради нее пренебрегли всем остальным?

— Да ведь все оттого, что я сам видел эти физиономии, — выпалил вдруг дон Абондио, — сам слышал их слова. Вашему высокопреосвященству хорошо говорить, вы попробовали бы побывать в шкуре бедного курато, очутиться на месте...

Не успел он произнести эти слова, как прикусил язык: он увидел, что слишком далеко зашел в своем раздражении и пробурчал: «Ну, конечно, теперь посыплется град». Но, робко подняв взор, он был крайне изумлен: на лице этого человека, которого ему так никогда и не удалось разгадать и понять, вместо властного и наставительного выражения появилось выражение печали и глубокой задумчивости.

— К сожалению, — сказал Федерико, — таково уж жалкое и тяжелое наше положение. Нам приходится строго взыскивать с других, — а единому Богу ведомо, готовы ли мы сами действовать; нам приходится судить, исправлять, порицать, а ведь единому Богу известно, как поступим мы сами в подобном случае, как поступали мы в таких случаях! Но горе мне, если б я стал принимать свою слабость за меру должного для других, за правило для своих наставлений! И, разумеется, я должен, помимо поучений, показывать другим и живой пример, не уподобляясь ученому книжнику, который предлагает другим нести непосильное бремя, а сам не хочет коснуться его даже пальцем. А посему, сын и брат мой, так как ошибки высокостоящих часто лучше видны другим, чем им самим, то если вы знаете, что я, по малодушию или по другой причине, пренебрег одной из своих обязанностей, скажите мне об этом откровенно, заставьте меня осознать свою ошибку, дабы там, где не оказалось налицо примера, было бы по крайней мере полное признание. Не стесняйтесь укорить меня в моих слабостях, и тогда слова в устах моих приобретут большую силу, ибо вы живее почувствуете, что они не мои, а слова того, кто и вам и мне может дать такую стойкость, чтобы выполнить то, что они предписывают.

«Что за святой человек! Ну и пытка же! — подумал дон Абондио. — Он готов пытать и самого себя: только бы ему рыться, докапываться, расследовать, разбирать по косточкам, и в первую голову самого себя». Затем он прибавил уже вслух:

— Вы изволите шутить, монсиньор. Кто же не знает вашего непоколебимого мужества, неустрашимого вашего усердия?

И прибавил про себя: «Которого у вас даже больше, чем нужно».

— Я ведь не просил вашей похвалы, которая заставляет меня содрогаться, — сказал Федерико, — ибо Господь знает мои прегрешения, и того, что знаю про них я сам, достаточно, чтобы заставить меня покаяться. Но мне хотелось бы, мне хочется, чтобы мы вместе смирились перед ним и вместе же положились на его волю. Мне хочется, из любви к вам, чтобы вы постигли, насколько ваше поведение и все слова ваши противоречат закону, который вы же проповедуете и по которому будете судимы.

— Все сваливают на меня, — сказал дон Абондио, — но разве люди, которые приходили жаловаться на меня, не сказали вам, что они обманным путем проникли в мой дом, чтобы захватить меня врасплох и заставить совершить венчание противно уставу?

— Да, сказали, сын мой; но меня печалит, меня страшит, что вы все еще хотите найти себе оправдание. Вы надеетесь оправдаться, обвиняя. Вы черпаете свои обвинения в том, чему надлежало быть частью вашей исповеди. Кто же поста-

вил их, не скажу перед необходимостью, но перед искушением поступить так, как они поступили? Разве они стали бы искать этот неправильный путь, если бы законный путь не был им заказан? Разве им пришлось бы в голову расставлять сети своему пастырю, если бы он принял их в свои объятия, помог им, подал добрый совет? Захватывать его врасплох, если бы он не прятался? И за это вы еще обвиняете их? И негодуете, что они, после стольких злоключений, — да что я говорю? — в самый разгар их пришли излить душу перед своим и вашим пастырем? Всякое обращение страждущего за помощью, всякая жалоба несчастного противны миру, — так уж создан мир. Но мы-то? И что за польза была бы вам, если бы они промолчали? Разве не лучше для вас, что дело их целиком представало на суд Божий? Разве они не дали вам нового основания полюбить их (а у вас уже было для этого достаточно оснований), дав вам возможность услышать искренний призыв вашего епископа, дав вам средство лучше познать и частично искупить вашу великую вину перед ними? О, если б они бросили вам вызов, оскорбили, мучили вас, и тогда бы я сказал вам (неужели мне пришлось бы говорить это вам?): любите их именно за это. Любите их за то, что они страдали, за то, что они страдают, они ведь ваши, ибо они немощны, ибо вы нуждаетесь в прощении, и чтобы получить его, подумайте, только, какой силой должна обладать их молитва!

Дон Абондио хранил молчание, но то не было уже больше молчание вынужденное и нетерпеливое; он хранил молчание, словно человек, которому надо хорошенько подумать, прежде чем высказаться. Слова, которые он слышал, были неожиданным откровением, новым приложением учения, давно усвоенного им как неоспоримая истина. Чужие несчастья, вникать в которые ему всегда мешала боязнь своих собственных, производили на него теперь совершенно иное впечатление. И если он не испытывал полного раскаяния, какое должна была вызывать в нем проповедь кардинала (все та же боязнь продолжала играть роль его защитника), все же он как-то почувствовал его. Он испытывал недовольство собой, сострадание к другим, сердце его наполнилось нежностью и смущением. Он, да будет дозволено такое сравнение, походил на сплюснутый и влажный фитиль свечи, поднесенный к пламени большого факела: сначала он чадит, брызжет, потрескивает и только, но в конце концов воспламеняется и, хорошо ли, плохо ли, горит. Он уже был готов открыто признаться в своей вине и раскаться, не смущая его мысль о доне Родриго. Но тем не менее было заметно, что он почти растроган, и кардинал, наконец, смог убедить, что увещания его не пропали даром.

— И вот теперь, — продолжал кардинал, — он убежал из дома, она тоже собирается покинуть свой, — у обоих достаточно серьезная причина быть подальше от родного крова, —

без всякой надежды когда-либо соединиться здесь и с упованием на Всевышнего, что он соединит их где-то в другом месте. К сожалению, теперь они больше не нуждаются в вас, сейчас вам не представляется случая оказать им добро, и близорукое предвидение наше не сулит его и в будущем. Но кто знает, быть может, милосердный Бог вам его уготовил? О, не упускайте его, ищите его, стойте на своем посту, молитесь Господа, чтобы он даровал его вам.

— Не упущу, монсиньор, воистину не упущу, — ответил дон Абондио голосом, исходившим в эту минуту действительно от чистого сердца.

— Хорошо же, сын мой! — воскликнул Федерико и с достоинством, полным глубокого чувства, закончил: — Видит небо, мне хотелось бы вести с вами совсем другие разговоры. Оба мы уже прожили немало: одному Богу известно, как тяжело было мне оскорблять упреками ваши седины и насколько было бы мне радостнее разделять с вами наши общие заботы, наши горести, беседуя о блаженном уповании, к которому мы с вами уже приблизились. Бог даст, слова, с которыми я обращался к вам в нашей беседе, пойдут на пользу и вам и мне. Постарайтесь же, чтобы Всевышнему не пришлось в судный день призывать меня к ответу за то, что я удерживал вас на посту, которым вы так злосчастно пренебрегли. Не будем терять времени: полночь близится, жених уже на пороге, будем держать светильники свои зажженными. Принесем Господу жалкие, пустые сердца наши, да наполнит он их той мудрой любовью, которая исправляет прошлое, укрепляет будущее, которая трепещет и верит, плачет и радуется — и становится при всяком случае доблестью, в коей мы все так нуждаемся.

Сказав это, он поднялся; дон Абондио последовал за ним. Тут аноним предупреждает нас, что это была не единственная беседа этих двух лиц и что Лючия была не единственным предметом их разговоров; но что он ограничивается этим, дабы не отклоняться от главной темы своего рассказа. По этой же причине он не станет упоминать о других достойных внимания вещах, сказанных кардиналом во время этого посещения, ни о его щедрости, ни об улаженных распрях, о старинной вражде между отдельными лицами, семьями и даже целыми деревнями, окончательно прекратившейся либо отчасти заглушенной (что, к сожалению, бывает чаще), ни о некоторых головорезах или злодеях, усмирненных либо навсегда, либо на время, — словом, о всех тех вещах, которые так или иначе происходили во всяком местечке епархии, где этот замечательный человек имел даже кратковременное пребывание.

Затем аноним сообщает, что на следующее утро, как было условлено, прибыла донна Прасседе взять Лючию и приветствовать кардинала, который всячески расхваливал и горячо рекомендовал ей Лючию. Вы можете себе представить, с ка-

кими рыданиями Лючия расставалась с матерью. Выйдя из своего домика, она еще раз сказала «прости» родной деревне с тем чувством горечи, которое испытываешь вдвойне, покидая место, которое было единственно дорогим и которое им уж никогда не будет. Но эта разлука с матерью еще не была окончательной, потому что донна Прасседе заявила, что они еще проживут несколько дней в ее поместье, которое было поблизости. И Аньезе обещала дочери навестить ее там, чтобы вновь пережить еще более горькое расставание.

Кардинал тоже собрался было тронуться в дальнейший объезд епархии, когда прибыл курато из прихода, где находился замок Безымянного, и попросил аудиенции. Введенный к Федериги, он подал ему сверток и письмо от этого синьора. В нем содержалась просьба уговорить мать Лючии принять сотню золотых скуди, находившихся в свертке, в приданое девушке или на ее усмотрение, как ей покажется наилучшим. Вместе с тем он просил кардинала передать им, что если когда-либо он им понадобится, — а ведь бедная девушка, к сожалению, слишком хорошо знает, где он живет, — он готов оказать им любую услугу, и это будет для него большим счастьем.

Кардинал немедленно велел позвать Аньезе, передал ей просьбу Безымянного, выслушанную с удовлетворением и не без изумления, и вручил ей сверток, который она взяла без особых отнекиваний.

— Да вознаградит Господь этого синьора, — сказала она, — а уж ваша милость потрудитесь хорошенько, как можно лучше поблагодарить его! И уж, пожалуйста, никому ничего не говорите, — знаете, уж такой у нас народ... Вы уж меня извините, я ведь знаю, такие синьоры, как вы, не будут попусту болтать о таких вещах, но... вы меня понимаете.

Она не спеша пошла домой, заперлась в своей комнате, развернула сверток и, хотя была уже подготовлена, ахнула от изумления при виде целой груды цехинов, да еще ее собственных.

Ей, пожалуй, ни разу не доводилось видеть сразу больше одного, да и то изредка. Она сосчитала монеты и опять сложила их все вместе, на ребро. Это удалось ей с трудом, так как они ежеминутно рассыпались во все стороны и выскальзывали из ее неумелых пальцев. Наконец, сделав кое-как сверточек, она завернула его в тряпку, завязала узлом и, обмотав хорошенько веревочкой, запрятала в угол своего тюфяка. Весь остаток дня она только и делала, что мечтала, строила воздушные замки и вздыхала — что-то будет завтра. Улегшись спать, она еще долго не могла уснуть, мысленно пребывая в окружении той сотни, что лежала под нею; заснув, она продолжала видеть ее и во сне. Встав на заре, она тут же отправилась в поместье, где находилась Лючия.

Лючия, со своей стороны, хотя ей, как и раньше, очень не

хотелось говорить о своем обете, все же решила набраться духу и открыться матери при этой встрече, которая, вероятно, надолго должна была стать последней.

Лишь только им удалось остаться наедине, Аньезе произнесла с чрезвычайным оживлением и вместе с тем понизив голос, словно боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал:

— У меня есть для тебя важная новость, — и она рассказала дочери про неожиданно привалившее счастье.

— Да благословит Господь этого синьора, — сказала Лючия, — теперь вы будете жить безбедно, да и другим сможете помочь.

— Как, — возразила Аньезе, — не видишь ты, что ли, чего мы ни сделаем при таких-то деньгах? Послушай: ведь у меня нет никого, кроме тебя, вернее сказать, кроме вас двоих, потому что, с тех пор как Ренцо стал за тобой приударять, я его все равно уже считала за родного сына. Только бы с ним ничего не случилось, что-то он о себе вестей не подает. Ну, да ничего, неужто ж все должно непременно идти худо? Будем надеяться на лучшее. По мне, конечно, хорошо бы сложить свои кости в родной деревне; но теперь, раз ты не можешь жить здесь по милости этого разбойника, — и подумать только, что он рядом, — теперь мне и деревня-то моя опротивела, а с вами двумя я готова жить в любом месте. Я еще тогда собиралась уйти отсюда вместе с вами хоть на край света, и всегда об этом думала, да без денег-то куда двинешься? Понятно тебе? Наш бедняжка Ренцо с таким трудом, во всем себе отказывая, сколотил небольшие деньжонки, а законники нагрянули и слизнули все начисто. Но Господь вместо этого и послал нам в награду такое счастье. Так вот, когда Ренцо найдет способ дать нам знать, жив ли он, где находится и что собирается делать, я и приеду за тобой в Милан, — непременно приеду сама. Раньше-то я бы еще сто раз подумала, но раз пришла беда — надо ее расхлебывать. До Монцы-то я ведь уже ездила и знаю теперь, что значит путешествовать. Возьму с собой надежного человека, какого-нибудь родственника, ну, скажем, Алессио из Маджанико. Ведь сказать по правде, у нас в деревне надежного человека не найти. С ним и приеду, расходы будут наши, и... понимаешь?

Увидя, однако, что Лючия, вместо того чтобы оживиться, становилась все печальнее и нежнее, не проявляя никакой радости, Аньезе прервала разговор на середине и спросила:

— Что с тобой? Ты со мной не согласна?

— Бедная моя мама! — воскликнула Лючия, обнимая ее и спрятав лицо на груди матери.

— Что случилось? — снова спросила с тревогой Аньезе.

— Я должна была сказать вам это раньше, — отвечала Лючия, поднимая лицо и утирая слезы, — но у меня не хватало духу, пожалейте меня.

- Да говори ж ты, наконец...
- Я теперь не могу стать женой бедняги Ренцо.
- Как? Почему?

Вся в слезах, Люция низко опустила голову и прерывающимся голосом рассказала, без единой жалобы, про свой обет, как рассказывают про вещь, которую все равно уже не изменишь, как бы горька она ни была. Сложив в мольбе руки, она снова просила у матери прощения за то, что до сих пор ничего не сказала ей; она умоляла ее не говорить об этом ни единой живой душе и помочь ей сдержать свое обещание.

Аньезе была поражена и удручена. Она хотела было рассердиться на дочь за ее молчание, но гнетущие мысли подавили в ней обиду, ей хотелось сказать: «Что ты наделала?», но тут же показалось, что это будет вызовом самому небу, тем более что Люция принялась в самых ярких красках изображать ту ночь, свое мрачное отчаяние, когда она и дала обет, столь решительный и торжественный, и свое столь неожиданное освобождение. Между тем и Аньезе стали припоминаться всякие случаи, которые она не раз слышала да и сама рассказывала дочери, — случаи про страшную и ужасную кару, постигшую людей за нарушение данного обета. Некоторое время она сидела словно зачарованная, а затем сказала:

— Что ж ты теперь будешь делать?

— Теперь, — отвечала Люция, — Господь позаботится о нас, Господь и Мадонна. Я предалась в их руки. Они не оставили меня до сих пор, не оставят и теперь, когда... Милость, которую я прошу у Господа, единственная милость после спасения души, — это чтобы он дал мне вернуться к вам. И он окажет мне эту милость, о, разумеется, окажет. Этот день в той карете... Пресвятая Дева!.. Эти люди!.. Кто мог бы сказать тогда, что меня везли к тому, кто на следующий день отправит меня к вам?

— Как же это ты не сказала все сразу своей матери! — воскликнула Аньезе с некоторою досадой, смягченной жалостью и состраданием.

— Сжальтесь надо мной, у меня не хватало духа... да и к чему было огорчать вас раньше времени?

— А Ренцо? — сказала Аньезе, покачав головой.

Люция встрепенулась.

— Я не смею больше думать об этом несчастном. Уж, видно, нам не суждено было... Должно быть, сам Господь не хотел нашего союза... И кто знает?.. Да нет, я верю, Господь убережет его от всяких зол и сделает его гораздо счастливее и без меня.

— А все же, — продолжала мать, — не свяжи ты себя навеки, я бы все уладила. При таких-то деньгах! Только вот боюсь, не случилось ли какой беды с Ренцо.

— А разве эти деньги, — возразила Люция, — попали бы

вам, если бы мне не пришлось пережить этой жуткой ночи? Господу угодно было, чтобы все совершилось именно так! Да будет воля Его!

Рыдания заглушили ее слова.

Такой неожиданный аргумент заставил Аньезе призадуматься.

Через некоторое время Лючия, сдерживая рыдания, продолжала:

— Теперь, когда все кончено, нужно спокойно с этим примириться, и вы, бедная моя мама, можете помочь мне: молитесь прежде всего за несчастную свою дочь, а потом нужно, чтобы и бедный Ренцо узнал все. Уж позаботьтесь об этом вы, окажите мне эту милость, вам ведь не запрещено об этом думать. Когда узнаете, где он, пусть ему напишут, подыщите человека... вот как раз ваш двоюродный брат, Алессио, он человек рассудительный и сердечный, всегда к нам хорошо относился и зря не станет болтать. Пусть он от себя подробно напишет, как все случилось, куда я попала, как я страдала и что на то была воля Божья. Ренцо пусть смиритса душой, а я уж никогда, никогда ничьей быть не могу... Да растолковать ему все это надо поосторожнее, помягче, объяснить, что я, мол, так обещала, что действительно дала обет. Когда он узнает, что я дала обещание Мадонне... в нем ведь всегда был страх Божий. А вы, как получите от него весточку, велите отписать мне, сообщите, здоров ли он, а уж потом... потом мне больше ничего о нем не пишите.

Аньезе, глубоко тронутая, заверила дочь, что все будет сделано, как она хочет.

— И еще о другом хотела я попросить вас, — снова заговорила Лючия. — Если бы бедняга этот на свое горе не связал свою судьбу с моей, не случилось бы с ним того, что случилось. Вот теперь он скитается по белу свету, его оторвали от дела, отняли все имущество, все сбережения, какие он, бедненький, сделал, а для чего — вы сами знаете... А у нас такая уйма денег! О мама! Раз уж Господь послал нам столько добра, а вы его, беднягу, действительно считали за своего... ну да, за своего сына... отдайте ему половину, Господь нас не оставит. Найдите верную оказию и пошлите ему их, ведь одному небу известно, как он нуждается в деньгах!

— А что ж ты думаешь, — отвечала Аньезе, — и в самом деле пошлю!.. Бедный малый! Почему ты думаешь, что меня так уж радуют эти деньги? Оно, конечно, — я сюда пришла такая довольная... Ну, будет! Я ему пошлю, этому бедняге Ренцо! Но и он тоже... уж я знаю, что говорю; оно, конечно, неплохо получить деньги, когда в них нуждаешься; но от этих денег он не очень-то разжиреет.

За столь быструю и щедрую готовность Лючия поблагодарила мать с такой порывистой радостью, что всякому, глядя

на нее, сразу бы стало понятно, насколько она душою была все еще со своим милым Ренцо, быть может, даже больше, чем она сама думала.

— А без тебя что же я, несчастная, буду делать? — сказала Аньезе тоже в слезах.

— А я без вас, бедная моя мама? Да еще в чужом доме? Да еще там, в этом Милане? Но Господь не оставит нас обеих, сделает так, что мы опять будем вместе. Через восемь-девять месяцев мы снова увидимся. За это время, и даже, надеюсь, раньше, он устроит все так, чтобы нам соединиться. Да свершится воля его! Я всегда, всегда буду молить Мадонну об этой милости... Будь у меня еще что-нибудь для принесения ей в дар, я охотно сделала бы это. Но она в милосердии своем и так не откажет мне в этой милости.

После этих и тому подобных без конца повторяемых слов участия и утешения, печали и покорности, после бесконечных советов и обещаний не говорить никому ни слова, после обильных слез и бесчисленных объятий женщины, наконец, расстались, пообещав друг другу увидеться никак не позднее ближайшей осени, — как будто выполнение этого обещания зависело только от них и как, однако, всегда делается в подобных случаях.

Между тем время шло, а Аньезе ничего не могла узнать о Ренцо. Ни писем, ни вестей от него не приходило; а у своих односельчан или у окрестных жителей, кого бы она ни спрашивала, она не могла узнать больше того, что знала сама.

И не только она одна занималась тщетными розысками. Кардинал Федериги, который не из одной только вежливости сказал женщинам, что хочет кое-что разузнать про бедного малого, действительно немедленно написал куда следует. Вернувшись затем после объезда епархии в Милан, он нашел ответ, гласивший, что разыскать местопребывание указанного лица не оказалось возможным; что лицо это действительно пробыло некоторое время в доме своего родственника в такой-то деревне, где его поведение не вызывало никаких толков. Но вдруг в одно прекрасное утро человек этот неожиданно исчез, и его родственник сам не знал, что с ним случилось. Ходили лишь смутные и противоречивые слухи, будто юноша не то завербовался на Восток, не то переправился в Германию, не то погиб при переходе вброд реки. Во всяком случае, гласило письмо, за делом не преминут следить, не удастся ли узнать чего-либо более положительного, о чем немедленно поставят в известность его высокопреосвященство синьора кардинала.

Позднее эти, а также и другие слухи проникли и в район Лекко, дойдя своим чередом и до ушей Аньезе. Бедная женщина просто из сил выбилась, чтобы проверить, который же из них правильный, доискаться истинного источника того

или другого, но ей так и не удалось ничего узнать, кроме неопределенного «так говорят», к которому ведь и в наши дни часто прибегают, утверждая множество вещей. Иной раз, бывало, не успеют ей передать один слух, как тут же является кто-то другой и говорит, что все это ложь, и взамен выкладывает новый, столь же странный и зловеющий. Но все это были рассказы. А на деле произошло вот что.

Губернатор Милана и наместник короля в Италии, дон Гонсало Фернандес ди Кордова, заявил синьору резиденту Венеции в Милане резкий протест по поводу того, что некий негодяй, явный разбойник, зачинщик грабежей и убийства, пресловутый Лоренцо Трамальино, который, находясь уже в руках полиции, поднял мятеж с целью своего освобождения, нашел себе прибежище и укрывается на территории Бергамо. Резидент ответил, что в первый раз слышит об этом и что он отпишет в Венецию, дабы иметь возможность дать его превосходительству необходимое объяснение.

В Венеции придерживались принципа всячески поощрять и поддерживать стремление миланских мастеров шелкового дела перекочевывать на территорию Бергамо и в связи с этим предоставлять им всякие преимущества и прежде всего главное, без которого все остальные не имели никакого значения, а именно — гарантировали беглецам безопасность. Но так как обычно, когда ссорятся двое больших людей и хоть и малую толику пользы всегда получает третий, то и на этот раз — неизвестно от кого Бортоло получил под секретом предупреждение, что пребыванию Ренцо в этих местах грозит опасность и что, пожалуй, лучше ему поступить в другую мастерскую, а кстати и переменить на некоторое время свое имя. Бортоло сразу почуял, чем тут пахнет, и без дальнейших расспросов, поспешив рассказать все своему кузену, усадил его с собой в двуколку, отвез на другую прядильню, на расстоянии миль пятнадцати от прежней, и представил, под именем Антонио Ривольта, хозяину, тоже уроженцу миланского государства и своему старинному знакомому. Хотя год был неурожайный, хозяин не заставил себя долго упрямствовать и оставил у себя честного и умелого работника, по отзыву — человека порядочного, понимавшего толк в деле. Потом он и на деле убедился в этом и никак не мог нахвалиться своим приобретением, — разве только поначалу ему все казалось, что малый немножко рассеянный, потому что, когда его звали: Антонио! — он почти никогда не откликался.

Немного спустя правитель Бергамо получил из Венеции написанный весьма миролюбиво приказ — собрать и сообщить сведения, не проживает ли в подведомственной ему области и именно в таком-то селении, такая-то личность. Правитель, со всем старанием, которое, по его разумению, от него требовалось, ответил отрицательно, что и было передано

миланскому резиденту для донесения дону Гонсало Фернандесу ди Кордова.

Разумеется, не было недостатка в любопытных, которым хотелось узнать от Бортоло, почему не видно больше того молодого парня и куда он девался. На первый вопрос Бортоло неизменно отвечал: «Пропал да и только!» А чтобы успокоить наиболее назойливых, не вызывая в них сомнений насчет истинного положения вещей, он счел за лучшее прибегать то к одной, то к другой версии, которые мы уже приводили выше, причем говорил, что это, мол, сомнительно, но он сам слышал лишь от других, а достоверно ничего не знает.

А когда его запросили по поручению кардинала, не называя, однако, его имени, да еще с особой значительностью и таинственностью, дав понять, что говорят от имени лица весьма высокопоставленного, то Бортоло тут же заподозрил недоброе и решил отвечать по своему обыкновению. Мало того: ввиду того, что на этот раз было замешано лицо высокопоставленное, он разом выложил все версии, которые раньше, смотря по обстоятельствам, преподносил порознь.

Да не подумают, однако, что столь знаменитый синьор, как дон Гонсало, всерьез питал какую-то неприязнь к бедному горцу-прядильщику: быть может, узнав о его непочтительности и бранных словах, высказанных им по адресу мавританского царя, привязанного цепью за шею, он хотел потребовать от него ответа; или считал его человеком столь опасным, чтобы преследовать даже в изгнании, не оставив его в покое даже и вдалеке, подобно тому как римский сенат поступил по отношению к Ганнибалу. В голове у дон Гонсало было и без того слишком много всяких важных дел, чтобы без конца предаваться размышлениям о поступках Ренцо. И если, по-видимому, он все же им занимался, то проистекало это из рокового стечения обстоятельств, в силу которых наш бедняга, помимо своей воли и не узнав об этом ни тогда, ни впоследствии, оказался связанным тончайшей и невидимой нитью со столь многочисленными и столь важными событиями.

Глава двадцать седьмая

Уже не раз приходилось нам упоминать о бушевавшей в то время войне из-за наследства Винченцо Гонзага, второго по счету герцога этого имени; но было это всегда в минуту большой спешки, так что мы могли остановиться на этом лишь мимоходом. Теперь же для понимания нашего рассказа настоятельно требуется сообщить о ней более подробные сведения. Всё это — вещи, известные всякому человеку, знакомому с историей. Но так как мы, зная себе настоящую цену, должны предположить, что этот труд будут читать лишь люди непро-

свещенные, то не бесполезно будет рассказать здесь об этой войне, хотя бы поверхностно, тем, кто в этом нуждается.

Мы уже сказали, что со смертью этого герцога ближайший его наследник, Карло Гонзага, глава младшей линии, переселившейся во Францию, где Гонзага владели герцогствами Невер и Ретель, вступил во владение Мантуей и — прибавим теперь — также и Монферрато: как раз в спешке это осталось у нас на кончике пера. Мадридский двор, который стремился во что бы то ни стало (об этом мы тоже говорили) изъять из владений нового государя эти два феода, а чтобы изъять, надо было иметь какое-то основание (ибо война, затеянная без всяких оснований, была бы несправедливой), объявил себя сторонником притязаний, которые имел на Мантую другой Гонзага, Ферранте, властитель Гвасталлы, а на Монферрато — Карло Эмануэле I, герцог Савойский, и Маргарита Гонзага, вдовствующая герцогиня Лотарингская. Дон Гонсало, происходивший из рода «великого капитана» и носивший его имя, повоевав во Фландрии, стремился изо всех сил затеять войну в Италии и потому, пожалуй, горячился больше всех, добиваясь ее объявления. Пока что, истолковывая по-своему намерения вышеупомянутого двора и опережая его распоряжения, он заключил с герцогом Савойским договор о вторжении и разделе Монферрато, а вслед за этим без труда добился его ратификации графом-герцогом, заверив последнего, что чрезвычайно легко завладеть Казале, одним из наиболее защищенных пунктов герцогства, перешедшего по договору к испанскому королю. Однако он заверял от имени короля Испании, что собирается занять территорию лишь в виде залога, впредь до решения императора, который, частью по настоянию других, частью по личным соображениям, отказал тем временем новому герцогу в инвеституре и потребовал, чтобы спорные владения были отданы в его временное управление, а он, император, выслушав претендентов, передаст их тому, на чьей стороне окажется право. Однако такому решению герцог Неверский не склонен был подчиниться.

У него тоже были влиятельные друзья: кардинал Ришелье, венецианские синьоры и папа, которым тогда был, как мы уже сказали, Урбан VIII. Но первый, занятый в то время осадой Ла-Рошели и войной с Англией, встречая сопротивление сторонников королевы-матери Марии Медичи, которая по каким-то своим соображениям была противницей Неверского дома, ограничивался пока что одними посулами. Венецианцы не желали ни трогаться с места, ни даже определенно выразить свое мнение, пока не вторгнется в Италию французское войско, и, тайно поддерживая герцога, насколько это было в их силах, в то же время засыпали мадридский двор и миланского губернатора всякими протестами, предложениями, посланиями, то мирными, то грозными, смотря по обстоятель-

ствам. Папа рекомендовал герцога Неверского своим друзьям, защищал его интересы в глазах противников, строил проекты соглашения; но о том, чтобы выставить в поле войско, ничего и слышать не хотел.

Таким образом, оба союзника могли с тем большей уверенностью начать свои согласованные действия. Герцог Савойский со своей стороны вступил в Монферрато; дон Гонсало с большим пылом принялся за осаду Казале, но не нашел это таким легким, как ожидал: не думайте, что на войне бывают одни розы. Двор не оказывал ему помощи в желательных для него размерах, подчас оставляя его даже без самого необходимого. Союзник же помогал ему чересчур ретиво, а именно, получив свою долю, он принялся по кусочкам захватывать и ту, которая предназначалась испанскому королю. Можно себе представить, как бушевал дон Гонсало. Но он опасался, что при малейшем шуме с его стороны этот самый Карло Эмануэле, столь же предприимчивый на всякие интриги и вероломный в соблюдении договоров, сколь храбрый в бою, перейдет на сторону Франции, — и потому дону Гонсало приходилось закрывать на все глаза и молча сносить эту обиду. К тому же осада подвигалась медленно, затягивалась, и порою даже казалось, что она идет на убыль: уж слишком много проявляли стойкости, бдительности и решимости осажденные, а у самого Гонсало было мало людей, да и, по мнению некоторых историков, он сам допустил весьма много промахов. Мы охотно верим, что это правда, и даже склонны, если дело действительно обстояло так, радоваться тому, что по этой причине от этого похода осталось меньше убитых, изуродованных, искалеченных и, *ceteris paribus*¹, даже просто меньше поврежденных черепичных крыш в Казале.

Находясь в таких тяжелых обстоятельствах, дон Гонсало получил известие о мятеже в Милане и лично отправился туда. Здесь в докладе, ему сделанном, упомянуто было также о возмутительном и шумевшем побеге Ренцо и об истинной и предполагаемой причине его ареста; не преминули сказать и о том, что человек этот укрылся на территории Бергамо. Это обстоятельство привлекло внимание дона Гонсало. Из совершенно другого источника он был осведомлен о том, что в Венеции задирают нос в связи с миланским бунтом. Поначалу там даже считали, что это вынудит дона Гонсало снять осаду с Казале, и полагали, что он все еще растерян и чрезвычайно озабочен, тем более что как раз вслед за этим происшествием пришло известие о сдаче Ла-Рошели, которого синьория жадно ждала, а он так боялся. Сильно оскорбленный и как человек и как политик тем, что синьоры имели такое пред-

¹ При прочих равных условиях (*лат.*).

ставление о его делах, он всячески искал случая убедить их путем всевозможных доказательств, что он ни в малейшей степени не утратил своей прежней твердости, ибо сказать прямо: я не боюсь, — это все равно, что не сказать ничего. Но есть отличное средство — разыгрывать оскорбленного, жаловаться, заявлять претензии. Вот почему, когда к нему явился венецианский резидент, чтобы выразить ему свое почтение и вместе с тем разведать по его лицу и поведению о тайных его замыслах (обратите внимание на все детали, вот это и есть тонкая политика старого времени), — дон Гонсало слегка коснулся беспорядков, тоном человека, который уже все уладил, и заявил по поводу Ренцо тот резкий протест, о котором читатель уже знает, как и знает, что последовало из этого в дальнейшем. После этого дон Гонсало больше уже не занимался таким пустяковым делом, для него оно было вполне законченным. И когда потом, гораздо позднее, пришел ответ из Венеции в лагерь под Казале, куда он успел вернуться и где был во власти уже других забот, он поднял голову и покачал ею, как шелковичный червь, ищущий листа. На минуту он задумался, чтобы вызвать в памяти этот факт, от которого в ней осталась лишь какая-то тень; вспомнил дело, и в сознании его промелькнуло беглое и смутное представление о виновнике беспорядков; затем он перешел к другим вопросам, бросив думать об этом происшествии.

Зато Ренцо, как ни мало ему удалось разнюхать, должен был предаваться чему угодно, но не добродушной беспечности, и потому некоторое время им владела единственная мысль, или, точнее сказать, единственная забота — жить, скрываясь. Легко представить себе, как он горел желанием дать знать о себе Лючии с матерью и получить весточку от них, но тут на пути у него стояло два затруднения. Одно заключалось в том, что ему пришлось бы довериться писцу, потому что бедняга не умел писать, да, собственно, и читать в широком смысле этого слова. И если на вопрос об этом, заданный доктором Крюкотвором, он — как вы, может быть, помните — ответил утвердительно, то это не было хвастовством и, как говорится, втиранием очков. Правда, по-печатному он читать умел, хотя и очень медленно, а вот по-писанному — это уже дело другое. Стало быть, ему приходилось посвящать в свои дела, в свою столь щекотливую тайну третье лицо, а сыскать человека, который умел бы держать в руках перо и на которого можно было бы положиться, в те времена было трудновато, тем более в деревне, где у него не было никаких старых знакомств. Другое затруднение состояло в том, чтобы найти посланца — человека, который ехал бы именно в те места и согласился бы взять с собой письмо, обязавшись его непременно доставить. Совместить все это в одном человеке тоже ведь дело нелегкое.

Наконец, после долгих поисков он нашел человека, который взялся написать за него письмо. Не зная, однако, находятся ли женщины все еще в Монце, или где-либо в другом месте, Ренцо решил, что, пожалуй, лучше вложить письмо к Аньезе в другое, адресованное падре Кристофоро. Писец взял на себя заботу и по доставке пакета; он передал его человеку, который должен был проезжать поблизости от Пескаренико, а тот с подробными долгими разъяснениями оставил письмо в остерии на большой дороге, в самом ближайшем к месту назначения пункте. Так как дело шло о пакете, адресованном в монастырь, то туда он и был доставлен, но что произошло с ним дальше, это нам навсегда осталось неизвестным. Ренцо, не получая ответа, попросил написать второе письмо, почти такого же содержания, как и первое, и вложил его в другое, на имя одного своего не то друга, не то родственника из Лекко. Стали опять искать, через кого бы доставить письмо; наконец, нашли, и на этот раз письмо дошло по назначению. Аньезе живо сбегала в Маджанико и попросила своего двоюродного брата Алессио прочитать и растолковать ей письмо. Они вместе сочинили ответ, который и написал Алессио. Нашелся способ отправить письмо к Антонио Ривольта по месту его жительства, — однако все это делалось не так быстро, как в нашем рассказе. Ренцо получил ответ и в свою очередь просил отписать. Словом, между обеими сторонами завязалась переписка, не быстрая и не регулярная, с заминками и задержками, однако постоянная.

Но чтобы иметь понятие об этой переписке, надо немножко ознакомиться с тем, как в ту пору делались такие вещи или даже как они делаются и сейчас, ибо по этой части, мне кажется, не произошло ровно никаких изменений или, во всяком случае, мало.

Деревенский житель, который не умеет писать и которому нужно послать письмо, обращается к знающему это искусство. Он останавливается преимущественно на человеке своего положения, так как всякого другого он стесняется либо мало ему доверяет. Он знакомит его, с большей или меньшей последовательностью и ясностью, со всеми предыдущими событиями, а затем излагает ему таким же образом то, о чем нужно написать. Грамотей одно понимает, другое толкует вкривь и вкось, дает кое-какие советы, предлагает кое-какие изменения и, наконец, заявляет: «Уж вы на меня положитесь». Берет перо, облекает, как умеет, в литературную форму чужие мысли, исправляет их, приукрашивает, кое-что прибавит от себя или, наоборот, преуменьшит, а то и совсем опустит, смотря по тому, как, по его мнению, будет лучше. И ничего с этим не поделаешь: тот, кто знает больше, не хочет быть пешкой в руках другого, и если ему приходится вмешиваться в чужие дела, он и хочет повернуть их немножко на свой лад.

К тому же вышеназванному грамотею не всегда удается высказать все то, что ему хочется, иной же раз случается ему высказать совсем обратное: такое несчастье случается ведь порой и с нашей братией, пишущей для печати.

Когда письмо, составленное таким способом, попадает в руки адресата, который тоже не силен в азбуке, он показывает его другому ученому того же покроя, который читает ему и растолковывает письмо. Тут поднимаются споры, как понимать то или другое, ибо заинтересованный, хорошо зная все предыдущие события, считает, что те или иные слова выражают одно; а тец, исходя из своего опыта сочинителя, полагает, что они выражают другое. В конце концов тот, кто не умеет писать, отдает себя в руки умельца и поручает ему написать ответ; сей последний, составленный таким же образом, подвергается потом подобному же истолкованию. А если, сверх этого, само содержание переписки немножко щекотливо и касается интимных дел, в которые не хочется посвящать третьего, на случай если бы письмо попало в чужие руки, если из таких соображений намеренно говорится обо всем не совсем ясно, — тогда, уж раз переписка завязалась, обе стороны в конце концов понимают друг друга не лучше, чем некогда два схоласта, четыре часа спорившие об энтелехии (мы намеренно избегаем сравнения с нашими днями; как бы за это не досталось на орехи).

С двумя нашими корреспондентами дело обстояло именно так, как мы сказали. В первом письме, написанном от имени Ренцо, было много всякой всячины. Прежде всего, помимо рассказа о бегстве, более сжатого, но и более путаного, чем вы читали выше, в письме сообщалось о теперешнем положении Ренцо. Из него ни Аньезе, ни ее толкователь никак не могли составить сколько-нибудь ясной и цельной картины: тайное предупреждение, перемена имени, полная безопасность, а между тем необходимость скрываться — все вещи, уже сами по себе не очень-то понятные, да к тому же еще изложенные в письме несколько сбивчиво. Потом тревожные, взволнованные расспросы о приключениях Люции, с какими-то темными и мрачными намеками, основанными на дошедших до Ренцо слухах. Наконец, робкие и отдаленные надежды, планы, устремленные в будущее, а пока что — обещания и мольбы не нарушать данного слова, набраться терпения и не терять бодрости в ожидании более благоприятных обстоятельств.

В скором времени Аньезе нашла надежный способ переслать на имя Ренцо ответ и пятьдесят скуди, предназначенные ему Люцией. При виде такой уймы золота Ренцо не знал, что и подумать. С душой, взволнованной этим чудом и подозрениями, заглушившими всякую радость, он побежал разыскивать своего писца, чтобы тот растолковал ему письмо и дал ключ к такой странной тайне.

В письме этом писец Аньезе, после нескольких сбивчивых жалоб на неопределенность планов Ренцо, переходил к изложению — почти с такой же ясностью — страшной истории «известной вам особы» (он так именно и выразился); и тут же давал путаное разъяснение насчет пятидесяти скуди; затем коснулся обета, говоря, однако, обвиняками, но присоединив к этому — словами более доходчивыми и определенными — совет успокоиться сердцем и больше об этом не думать.

Ренцо чуть было не подрался с чтецом-толкователем; он весь дрожал от негодования, придя в ужас как от того, что понял, так и — заодно уж — от того, чего понять не мог. Он заставил перечитать ему это ужасное послание три-четыре раза. То ему казалось, что он все уже понимает гораздо лучше, а то вдруг казалось темным местом и то, что раньше представлялось ясным. И в этой крайней степени возбуждения он пожелал, чтобы писец немедленно взял перо в руки и написал ответ. После самых сильных, какие только можно себе представить, выражений сочувствия и ужаса по поводу приключений Люции он продолжал диктовать: «Отпишите, не хочу я, мол, успокоиться сердцем, и никогда не успокоюсь. И нечего давать подобные советы такому парню, как я. К деньгам я и не притронусь, спрячу их и буду держать на хранении, пусть пойдут ей на приданое. А она должна быть моей, и никаких обетов я знать не хочу. Я, мол, всегда слышал, что Мадонна печется о нас и помогает обиженным, добиваясь для них милости, но чтобы она вступилась за обиду и за нарушение слова, такого мне не доводилось слышать. И этому не бывать. С такими деньгами мы сумеем наладить свое хозяйство и здесь, а если сейчас я немного запутался, — то это буря, которая скоро пронесется мимо», — и еще много другого в том же роде.

Аньезе получила это письмо и попросила ответить. Переписка продолжалась все в том же духе, о чем мы уже говорили выше.

Когда мать, не знаю каким способом, дала знать Люции, что некто жив и невредим и обо всем поставлен в известность, Люция почувствовала большое облегчение; и у нее осталось единственное желание, чтобы он забыл ее, или, если уж говорить совсем точно, чтобы он постарался ее забыть. Со своей стороны она сто раз в день принимала такое же решение относительно Ренцо и прибегала к разным уловкам, чтобы только его выполнить. Она прилежно отдавалась работе, стараясь целиком уйти в нее, а когда образ Ренцо вставал перед нею, она принималась повторять про себя или напевать молитвы. Но образ этот словно обладал каким-то лукавством: он никогда не появлялся открыто, а почти всегда тайком, под прикрытием других образов, так что сознание обнаруживало его только тогда, когда он уже долгое время там пребывал. Мысли Люции часто возвращались к матери, да и могло ли

быть иначе? И воображаемый Ренцо потихоньку подкрадывался к ней третьим, так же, как он на самом деле не раз делал в прошлом. Так, вместе со всеми другими лицами, повсюду, во всех воспоминаниях прошлого, неизменно появлялся Ренцо. И если иной раз бедная девушка позволяла себе немного помечтать о будущем, то и тут он заявлял о себе, хотя бы для того, чтобы только сказать: «А ведь меня там не будет». И однако, если она не могла забыть его окончательно, то все же ей до некоторой степени удалось думать о нем меньше и не так упорно, чем того желало ее сердце. Пожалуй, это удалось бы ей еще больше, если бы этого хотелось только ей одной. Но на беду тут была донна Прасседе, которая, целиком увлекшись задачей вырвать Ренцо из сердца Лючии, не находила для этого лучшего средства, как почаще говорить о нем.

— Ну что же, — частенько спрашивала она, — перестали мы думать о нем?

— Я ни о ком не думаю, — отвечала Лючия.

Донну Прасседе, по-видимому, подобный ответ не удовлетворял: она заявляла, что нужны дела, а не слова. И тут же распространялась насчет девушек, которые, говаривала она, «коли заберется к ним в сердце какой-нибудь распутник (а на это они всегда горазды), то уж беда, не вырвешь его оттуда. Вот если по несчастному случаю вдруг расстроится хорошая партия с человеком порядочным, положительным, тут они быстро утешаются; совсем другое дело, если попадется какой-нибудь злодей, тогда рана просто неизлечима».

И тут начиналось похвальное слово отсутствующему бедняге, этому разбойнику, пришедшему в Милан грабить и убивать. И донне Прасседе очень хотелось заставить Лючию признать, в каких темных делах был замешан Ренцо и в своей деревне.

Голосом, дрожащим от стыда, обиды и негодования, на какое только была способна ее кроткая душа, измученная несчастной судьбой, Лючия горячо уверяла, что у них в деревне об этом бедняге все отзывались только хорошо. Ей очень хотелось, говорила она, чтобы попался какой-нибудь земляк, которого она могла бы попросить подтвердить ее слова. Даже при упоминаний о миланских происшествиях, о которых она смутно слышала, она брала Ренцо под свою защиту именно потому, что знала его и образ его жизни с самого детства. Защищала и собиралась защищать из одного только человеколюбия, из любви к правде и, если уж произнести прямо то слово, которым она сама объясняла себе свое чувство, — защищала как своего ближнего. Но в этих защитительных речах донна Прасседе находила новые доводы, чтобы доказать Лючии, что в сердце ее по-прежнему царит Ренцо. И, сказать по правде, в такие минуты я не сумел бы толком объяснить, как обстояло дело.

Отталкивающий портрет бедного Ренцо, который рисовала старая дама, вызывал в силу противодействия в сознании девушки еще более живое и ясное, чем прежде, представление о нем, сложившееся за долгие годы их знакомства. Подавляемые насильно воспоминания вставали живым роем, отвращение и презрение воскрешали прежние поводы для уважения; слепая и неистовая ненависть сильнее возбуждала жалость. А вместе с этими чувствами, кто знает, в какой степени пробралось то чувство, которое вслед за жалостью так легко возникает в человеческой душе. Представьте же себе, что происходит в тех душах, из которых пытаются насильно изгнать это чувство. Как бы то ни было, подобные разговоры никогда не затягивались по милости Люции: слова ее быстро сменялись слезами.

Если бы к такому обращению с Люцией донну Прасседе толкала закоренелая ненависть, быть может, эти слезы тронули бы ее и заставили оставить девушку в покое. Но, отчитывая ее с добрыми намерениями, она неслась вперед, не позволяя себе остановиться. Так стоны и мольбы могут, пожалуй, удерживать кинжал врага, но не нож хирурга. А потому, честно выполнив свой долг, она от укоров и попреков всякий раз переходила к увещаниям и советам, слегка приправленным похвалами, дабы подсластить пилюлю и скорее добиться успеха, действуя на душу всеми возможными способами. В сущности, все эти споры (которые почти всегда имели одинаковое начало, середину и конец) не вызывали у сердобольной Люции постоянного озлобления против суровой проповедницы, которая к тому же во всем остальном обращалась с ней весьма ласково; это тоже говорило о ее добрых намерениях. Все же это приводило Люцию в такое волнение, в такое смятение мыслей и чувств, что она долго не могла успокоиться и с трудом обрела прежнее сравнительное спокойствие.

Люции еще повезло, что она была не единственным предметом добрых устремлений донны Прасседе, так что их споры были не такими уж частыми. Помимо остальной дворни, которая нуждалась так или иначе в наставлении и руководстве, помимо всевозможных случаев, которые она выискивала, если они не представлялись ей сами, донна Прасседе пыталась оказать, по доброте сердечной, ту же услугу многим лицам, которым она ничем не была обязана. Так вот, помимо всего, у нее было еще пять дочек. Правда, все жили отдельно, но приносили ей больше беспокойства, чем будь они при ней.

Три были монахинями, две замужем, и донне Прасседе, разумеется, пришлось верховодить тремя монастырями и двумя семейными домами, — предприятие большое и сложное и тем более утомительное, что оба мужа, при поддержке отцов, матерей, братьев, и три аббатисы, укрепленные с флангов разными сановными лицами и уймой монахинь, вовсе не

желали мириться с ее вмешательством. В результате — война, точнее, пять междоусобных войн, тайных, в какой-то мере безобидных, но очень оживленных и непрерывных. Во всех пяти местах постоянно стремились обходиться без ее опеки, избавиться от ее советов, уклониться от ее расспросов и стараться, насколько возможно, держать ее в неведении относительно всех дел. Я уже не упоминаю о разногласиях, о трудностях, с которыми донне Прасседе приходилось встречаться в расхлебывании других, уже совсем посторонних дел: известно ведь, что часто приходится делать людям добро против их воли. Но вот, где ее рвение могло проявляться совершенно свободно, так это в собственном доме: тут все и во всем были целиком подчинены ее власти, кроме дона Ферранте, с которым у нее были совсем особые отношения.

Человек ученый, он не любил ни распоряжаться, ни повиноваться. Пусть во всех домашних делах хозяйкой будет его супруга, — в добрый час! Но быть рабом — ни за что! И если, при случае, он, по просьбе донны Прасседе, предоставлял к ее услугам свое перо, то лишь потому, что это ему нравилось. Впрочем, он и тут умел отказать, если не был уверен в том, о чем она хотела заставить его писать.

«А вот постарайтесь-ка, — говорил он в таких случаях, — сделайте сами, раз вам все так ясно». Донна Прасседе, пытавшаяся в течение некоторого времени — притом тщетно — заставить его перейти от безделья к делу, часто ограничивалась ворчанием, причем называла его чудачком, человеком, который дальше своего носа ничего не видит, сочинителем; в последнее наименование она вместе с раздражением вкладывала, однако, и некоторую долю самодовольства.

Дон Ферранте целые дни проводил в своем рабочем кабинете, где у него было большое собрание книг, около трехсот томов, — все избранные вещи, самые известные сочинения по разным вопросам, в каждом из которых он в той или иной мере был сведущ. В астрологии он слыл — и с полным основанием — более чем дилетантом, ибо владел в этой области не только общими сведениями и обычной терминологией по части всяких воздействий, аспектов, совпадений, но умел кстати и словно с кафедры рассказать о двенадцати зодиакальных знаках, о больших кругах, о светлых и темных градусах, о кульминации и склонениях, о происхождениях и вращении, словом, о самых точных и самых тайных началах науки. И, пожалуй, уже лет двадцать как он на постоянных и длительных диспутах поддерживал систему Кардано против другого ученого, яростно защищавшего Алкабиция, — просто из упрямства, как говорил дон Ферранте. Он охотно признавал превосходство древних, однако не переносил, если не отдавали должного современным ученым, когда это превосходство было явно на их стороне. Историю науки он знал тоже

более чем посредственно. Он умел при случае процитировать наиболее знаменитые предсказания, уже сбывшиеся, умел и рассуждать тонко и по-ученому по поводу других знаменитых предсказаний, не сбывшихся и канувших в лету, чтобы показать, что тут была вина не науки, а тех, кто не сумел правильно ее применить.

Он усвоил вполне достаточно из античной философии и непрерывно продолжал изучать ее дальше, читая Диогена Лаэртия. Однако, как эти системы ни хороши, их трудно все-таки совместить, и если хочешь быть философом, необходимо остановить свой выбор на одном каком-нибудь определенном авторе, — дон Ферранте избрал Аристотеля, который, по его словам, не был ни античным, ни современным, а философом вне времени. У него были также собраны различные труды самых мудрых и остроумных последователей Аристотеля из современников. Трудов же его противников он никогда не читал, чтобы, как он выражался, не тратить попусту время, и не покупал их, чтобы тоже не тратить попусту денег. Однако, в виде исключения, он отвел в своей библиотеке место знаменитым двадцати двум книгам «*De subtilitate*» и некоторым другим творениям Кардано, направленным против перипатетиков, из уважения к его заслугам в области астрологии. По словам дона Ферранте, тот, кто сумел написать трактат «*De restitutione temporum et motuum coelestium*» и книгу «*Duodecim geniturarum*», заслуживает, чтобы его выслушали, даже когда он ошибается; а самый большой недостаток этого человека заключается в том, что у него слишком много ума; и что никто даже и представить себе не может, чего достиг бы он и в философии, если бы всегда шел по правильному пути. Во всяком случае, хотя в глазах ученых людей дон Ферранте слыл убежденным перипатетиком, все же ему самому казалось, что знания его еще недостаточны, и он не раз говаривал, с покоряющей скромностью, что сущность, универсалии, душа мира и природа вещей совсем не такие простые вещи, как может показаться.

Натурфилософия служила ему скорее развлечением, чем предметом глубокого изучения. Даже труды в этой области Аристотеля, так же как и Плиния, он скорее пробежал, чем изучил. Тем не менее благодаря этому чтению и сведениям, почерпнутым мимоходом из трактатов по общей философии, беглому знакомству с «*Magia naturale*» Порты, с тремя историями — *lapidum*, *animalium*, *plantarum* Кардано, с трактатом Альберта Великого о травах, растениях, животных, и с некоторыми другими менее важными трудами он умел, при случае, блеснуть в обществе, рассуждая о чудеснейших свойствах и редкостных особенностях всевозможных целебных трав; описывать в точности внешний вид и повадки сирен и чудесного феникса; мог объяснить, почему не горит в огне саламандра;

как прилипало, эта крошечная рыбка, обладает силою и способностью неожиданно останавливать в открытом море любой большой корабль; как капли росы внутри раковин превращаются в жемчужины; как хамелеон питается воздухом; как из постепенно затвердевающего льда с течением веков образуются кристаллы — и много других удивительнейших тайн природы.

В тайны магии и колдовства он углублялся сильнее, ибо здесь, говорит наш аноним, дело шло о науке гораздо более модной и нужной, в которой факты являются куда более значительными и их гораздо легче проверить. Нет надобности говорить, что в этих занятиях у него не было другой цели, кроме желания основательно познакомиться с коварным искусством колдунов, дабы, изучив их, знать, как от них уберечься. И под эгидой, главным образом, великого Мартина Дельрио («мужа науки») он достиг того, что мог ex professo¹ рассуждать о пагубных чарах, вызывающих любовь, сон, вражду, и о великом разнообразии этих главных видов волшебства, которые, по словам опять-таки нашего анонима, к сожалению, и по сей день применяются повсюду с такими ужасными последствиями.

Столь же обширны и основательны были познания дона Ферранте по части истории, особенно всемирной: здесь его любимыми авторами были Тарканьота, Дольче, Бугатти, Кампана, Гуаццо, — словом, ученые самые выдающиеся.

«Но что значит история без политики?» — часто говаривал дон Ферранте. Это вожак, который идет и идет вперед, а позади нет никого, кто изучал бы пройденный им путь, и он, стало быть, шагает зря, да и политика без истории то же, что путник без вожака». А посему в его книжном шкафу отведена была специальная полка политикам; там, среди многих малоизвестных и второстепенных, обретались Боден, Кавальканти, Сансовино, Парута, Боккалини. Однако были в этой области две книги, которые дон Ферранте ставил значительно выше других, — две, которым он до некоторого времени отдавал пальму первенства, причем никак не мог решить, какой же из них по праву она принадлежит: одна — «Государь» и «Рассуждения» знаменитого флорентийского канцлера. «Безусловно, он плут, — говорил дон Ферранте, — но умный». Другая — «Государственный интерес» не менее знаменитого Джованни Ботеро. «Безусловно, человек благородный, — говаривал он также, — но хитрый». Однако незадолго до того времени как разыгралась наша история, вышла в свет книга, положившая конец спору о первенстве и оставившая далеко позади даже творения этих двух «матадоров», по выражению дона Ферранте. Книга, в которой заключался как бы экстракт всех видов

¹ Вполне компетентно (лат.).

хитрости, чтобы научиться не попадать впросак, и все добродетели, чтобы научиться их применять, малюсенькая книжка, зато чистейшего золота, — словом, «Правитель у власти» дона Валерьяно Кастильоне, этого знаменитейшего человека, про которого можно сказать, что крупнейшие ученые состязались в восхвалениях ему, а великие мира сего старались привлечь на свою сторону; этого человека, которого сам папа Урбан VIII, как известно, осыпал цветистыми похвалами; которого кардинал Боргезе и вице-король неаполитанский дон Пьетро ди Толедо упрасивали — и оба тщетно — описать: первый — деяния папы Павла V, второй — итальянские войны короля католического; этого человека, которого король Франции, Людовик XIII, по совету кардинала Ришелье, назначил своим историографом; на которого герцог Карло Эмануэле Савойский возложил то же дело; в похвалу которому — если даже опустить все другие громкие славословия — сама герцогиня Христина, дочь христианнейшего короля Генриха IV, могла в одной грамоте, наряду со всевозможными величаниями, отметить «установившуюся за ним в Италии неоспоримую репутацию первого писателя нашего времени».

Но если во всех вышеназванных науках дон Ферранте слыл знающим человеком, то была одна, в которой он заслуженно считался настоящим профессором: это — наука о рыцарской чести. Он не только рассуждал о ней как истинный знаток, но когда к нему, и неоднократно, обращались с просьбой разрешить тот или иной вопрос чести, он всегда давал дельный совет. В библиотеке своей и, можно сказать, прямо в голове он держал сочинения наиболее авторитетных писателей в этой области: Париде даль Поццо, Фаусто да Лонджано, Урреа, Муцио, Ромеи, Альбергато, оба диалога Торквато Тассо, причем они были у него всегда наготове, — так что, при случае, он мог их тут же прочесть наизусть, — все отрывки как из «Освобожденного Иерусалима», так и из «Завоеванного», которые могут служить образцами в вопросах чести. Однако превыше всех авторов был, по его представлению, наш знаменитый Франческо Бираго, с которым ему даже не раз приходилось давать свое заключение по вопросам чести, и тот, со своей стороны, отзывался о доне Ферранте в выражениях особенно почтительных. А как только вышли в свет «Рыцарские разговоры» этого замечательного писателя, дон Ферранте, не раздумывая, предсказал, что это сочинение подорвет авторитет Олевано и вместе с другими родственными ему по духу благородными произведениями станет для потомков первостепенным по своему значению кодексом, — о том, насколько это пророчество оправдалось, говорит наш аноним, может судить всякий.

Отсюда аноним переходит к изящной литературе. Но мы начинаем сомневаться, действительно ли есть у читателя же-

ление следовать за ним в этом обзоре, и даже опасаемся, не заслужили ли уже мы сами клички рабского подражателя и надоеды — заодно с вышеупомянутым анонимом, за то, что в простоте душевной шли по его стопам до сих пор в этом вопросе, не имеющем отношения к главному рассказу, и где он, вероятно, потому так и распространялся, что хотел щегольнуть ученостью и показать, что не отстает от века. А посему, оставив в нетронутом виде то, что уже написано, чтобы даром не пропал наш труд, мы опустим остальное и вернемся на большую дорогу, тем более что нам предстоит пройти еще изрядную часть пути, не встречая никого из наших героев, и идти еще очень долго, прежде чем столкнуться с теми, чьи судьбы для читателя, конечно, более интересны, если только его вообще что-нибудь интересует во всей этой истории.

До осени следующего 1629 года все, кто по своей воле, а кто в силу обстоятельств, оставались почти в том же положении, в каком мы их покинули. Ни с кем из них ничего не произошло, никому не довелось свершить чего-либо достойного внимания. Наступила осень, когда Аньезе и Лючия предполагали встретиться, но одно большое общественное событие нарушило все их расчеты, — это было, разумеется, одно из самых незначительных последствий этого события. Затем последовали другие, тоже важные происшествия, которые, однако, не внесли никакого заметного изменения в судьбу наших героев. Наконец, новые обстоятельства более общего характера, более грозные, более значительные докатились до них, до самых незаметных из них, стоявших на самой последней ступеньке общественной лестницы — подобно тому как яростный вихрь, бешено крутясь, ломает и вырывает с корнем деревья, срывает крыши, сносит колокольни, разрушает стены и, разбрасывая повсюду обломки, вместе с тем поднимает и сухие ветки, скрытые в траве, выметает из закоулков увядшие невесомые листья, занесенные туда слабым порывом ветра, и кружит их, увлекая за собой с непреодолимой силой.

Для того чтобы частные события, о которых нам осталось рассказать, были вполне понятны, мы непременно должны теперь предпослать им подробный рассказ о событиях общественных, начав тоже несколько издалека.

Глава двадцать восьмая

После бунта в день Сан-Мартино и на следующий за ним день казалось, что изобилие, словно чудом, вернулось в Милан. У всех пекарей — хлеба сколько хочешь, цены — как в самые урожайные годы; мука тоже соответственно подешевела. Тем, кто в эти два дня орал без передышки, а то делал и кое-что похуже (кроме тех, кого забрали), было теперь чем

похвастаться, — и не подумайте, что они воздержались от этого, как только прошел первый страх, вызванный арестами. На площадях, на перекрестках, в кабачках стояло открытое ликование, все поздравляли друг друга и шепотом похвалялись тем, что нашли-таки способ спустить цены на хлеб. Однако сквозь торжество и веселье проглядывало (да и могло ли быть иначе?) какое-то беспокойство, предчувствие, что все это скоро кончится. Осаждали пекарей и мучников, как это уже было во время кратковременного мнимого изобилия, вызванного первым тарифом Антонио Феррера. Все закупали без всякого расчета. У кого были кое-какие сбережения, тот обращал их в хлеб и муку. Складами служили сундуки, бочонки, котлы. Так, стараясь взапуски использовать наступившую дешевизну, люди, не скажу чтобы делали ее невозможной на долгое время (это и без того было ясно), но затрудняли ее бесперебойность даже на короткое время. И вот 15 ноября Антонио Феррер, *De orden de Su Excelencia*¹, обнародовал указ, в силу которого всякому, имеющему у себя дома зерно или муку, воспрещалось покупать их еще хоть в самом малом количестве, а также покупать хлеб в размере, превышающем двухдневные потребности, *«под страхом денежного и телесного наказания по усмотрению его превосходительства»*; тем, кого это касалось по службе, а также всякому иному лицу вменялось в обязанность доносить на виновных в нарушении указа; судьям был отдан приказ производить обыски в тех домах, на которые им будет указано; вместе с тем, однако, было дано новое распоряжение пекарям, чтобы лавки были хорошо снабжены хлебом *«под страхом — в случае невыполнения — ссылки на галеры на пять лет или более по усмотрению его превосходительства»*. Если кто-нибудь вообразит себе, что подобный указ был выполнен, значит, он обладает слишком пылким воображением. И в самом деле, если бы все указы, обнародованные в тот момент, соблюдались, то у Миланского герцогства было бы, пожалуй, на море по крайней мере столько же людей, сколько ныне у Великобритании.

Как бы то ни было, отдавая пекарям приказ выпекать столько-то хлеба, надо было обеспечить их достаточным количеством муки. И вот решили (как всегда во время неурожая возникает стремление превращать в хлеб продукты, которые обычно потребляются в ином виде), повторяю, решили вводить рис в состав хлеба, который получил название мистура, то есть *смешанного*. 23 ноября вышел указ о конфискации у каждого жителя половины необрушенного риса и передачи его в распоряжение заведующего и двенадцати членов Трибунала продовольствия («ризоне» называли его тогда, да и сейчас называют так в тех местах). Всякому,

¹ По приказу его превосходительства (лат.).

кто распоряжался рисом без разрешения указанных властей, полагалось наказание в виде отобрания самого продукта и штраф в три скуди за каждый модий. Как всякий видит, мера вполне разумная.

Но за рис этот надо было заплатить, и по цене, слишком несоразмерной с ценою хлеба. Забота о покрытии этой огромной разницы возложена была на город. Но Совет декурионов, который выразил на это согласие от имени города, в тот же день 23 ноября довел до сведения губернатора о полной невозможности долго выдержать такое бремя. Поэтому губернатор указом 7 декабря установил цену на вышеуказанный рис в двенадцать лир за модий, причем у тех, кто хотел продать его подороже, равно как и у тех, кто отказывался вовсе продавать, предписывалось отбирать самый продукт и налагать штраф в размере его стоимости, а также *более высокое денежное наказание, равно и телесное, вплоть до галер, по усмотрению его превосходительства, сообразно с каждым отдельным случаем и званием виновных.*

На обрушенный рис цена была установлена еще до мятежа, вероятно, так же, как тариф, или, если употребить термин, получивший столь громкую известность в современных летописях, — «максимум» на пшеницу и на другие более грубые хлебные злаки, очевидно, был установлен другими указами, о которых нам не довелось слышать.

В результате того, что в Милане цены на хлеб и муку держались низкие, народ из деревень вереницами потянулся в город, чтобы сделать запасы. Дон Гонсало для устранения этого, как он выражался, «неудобства» новым приказом от 15 декабря запретил выносить за пределы города хлеба более чем на двадцать сольди под угрозой отобрания его и наложения штрафа в двадцать пять скуди, а *в случае несостоятельности виновного — двукратное публичное вздергивание на дыбу и еще более значительное наказание, согласно обыкновению, по усмотрению его превосходительства.* 22-го числа того же месяца (неизвестно, почему так поздно) он обнаруживал подобное же распоряжение относительно муки и зерна.

Толпа хотела вернуть изобилие грабежом и поджогами; правительство захотело сохранить его галерами и дыбой. Эти средства стоили друг друга, и читателю ясно, к чему они в конце концов должны были привести, к какому же концу они привели на деле, он скоро узнает. Кроме того, нетрудно видеть и небесполезно обратить внимание и на то, какая все же существует тесная взаимосвязь между этими странными мероприятиями: каждое из них является неизбежным следствием предыдущего и все вместе — следствием первого, установившего цену на хлеб, столь далекую от настоящей, то есть от той, которая естественно диктовалась бы соотношением между спросом и предложением. Массам такое средство всег-

да казалось и всегда должно было казаться как справедливым, так и простым и легким для проведения в жизнь. Отсюда вполне понятно, что в нужде и страданиях голодного времени народ жаждет его, просит о нем и, если возможно, даже принуждает к нему. А затем, по мере того как начинают сказываться последствия, те, кого это касается, пытаются устранить их с помощью закона, воспрещающего людям делать то, что требовал от них предыдущий закон. Да позволено будет нам отметить здесь мимоходом своеобразное совпадение. В одной стране, в эпоху нам близкую, в самую бурную и самую замечательную эпоху новейшей истории, при подобных обстоятельствах прибегнули к подобным же средствам (пожалуй, можно было бы сказать — к тем же по существу, разница лишь в размерах, и почти в том же порядке), вопреки совершенно иным условиям и расцвету знаний в Европе, и в данной стране, пожалуй, в особенности. И это главным образом потому, что широкие народные массы, до которых эти знания не дошли, сумели на долгое время заставить подчиниться своему мнению и, как у них там говорится, направлять руку тех, кто пишет законы.

Итак, возвращаясь к нашему рассказу, нужно сказать, что двумя главными результатами мятежа были: разграбление и действительная потеря съестных припасов во время самого мятежа и широкое, неразумное, неумеренное расходование зерна во время действия тарифа за счет того небольшого количества, которого могло бы, как-никак, хватить до нового урожая. К этим последствиям общего характера надо отнести и тех четырех несчастных, которые были повешены как зачинщики мятежа: двое перед «Пекарней на костылях», двое в начале улицы, где находился дом заведующего продовольствием.

Впрочем, летописи того времени велись настолько случайно, что в них не найдешь даже сообщения о том, как и когда прекратился этот принудительный тариф. Если за отсутствием верных сведений позволено будет сделать догадку, мы склонны считать, что он был отменен незадолго до или после 24 декабря, дня, когда совершена была казнь. Что же касается указов, то после приведенного нами последнего, от 22-го числа того же месяца, мы уже больше не встречаем других относительно съестных припасов, — то ли они утерялись и выпали из поля нашего зрения, то ли правительство, обескураженное, если не наученное, безрезультатностью своих мероприятий и удрученное создавшейся обстановкой, предоставило их собственному течению. Однако в рассказах некоторых историков (при всей их склонности скорее описывать крупные события, чем отмечать их причины и последовательное развитие) мы находим картину страны и особенно города поздней зимой и весной, когда главная причина бедствия, а

именно несоответствие между съестными припасами и потребностью в них, была не только не устранена, а, наоборот, даже обострена средствами, которые лишь на время отдаляли ее действие, — как привоз иноземного зерна в достаточном количестве, чему мешала не только ограниченность общественных и частных средств, но также и нужда окрестных деревень, медленный и малоразвитый товарооборот, да и сами законы с их тенденцией устанавливать и поддерживать низкие цены, — когда, повторяю, истинная причина голода, или, вернее сказать, сам голод свирепствовал безудержно, со всей силой. И вот вам копия этой печальной картины.

На каждом шагу заколоченные лавки, большая часть промышленных предприятий опустела, на улицах неописуемое зрелище, неиссякаемый поток нужды, приют бесконечных страданий. Нищие по профессии, оказавшиеся теперь в меньшинстве, смущенные и затерянные в этой новой массе людей, были вынуждены ссориться из-за милостыни с теми, от кого они ее раньше получали. Мальчики и приказчики, отпущенные на все четыре стороны хозяевами лавок, которые за сокращением или совершенным отсутствием ежедневного дохода кое-как перебивались на сбережения и капитал; сами эти хозяева, которых закрытие дела привело к банкротству и разорению; рабочие и даже мастера всевозможных производств и ремесел, от самых заурядных до наитончайших, от предметов первой необходимости и до предметов роскоши, — бродили от двери к двери, из одной улицы в другую, простаивали на углах, сидели на корточках около домов и церквей и прямо на плитах мостовой, протягивая руку за подаванием, задавленные нуждой и сгорая от стыда, истощенные, обессиленные, дрожащие от голода и холода; люди в изношенной и ветхой одежде, которая у многих, однако, еще носила следы бывшего достатка; они были измучены вынужденным бездельем и безнадёжностью, но в их облике все еще проступали признаки людей, привычных к честному, деятельному труду. С этой жалкой толпой смешивались, составляя немалую ее долю, слуги, отпущенные хозяевами, людьми скромного достатка, теперь впавшими в нужду, а то и такими, которые при всей своей зажиточности оказались не в состоянии в такой год поддерживать обычный роскошный образ жизни; ко всей этой многообразной толпе бедняков присоединилось еще множество других, кормившихся за их счет: детей, женщин, стариков, собравшихся около прежних своих благодетелей или рассыпавшихся во все концы, чтобы просить милостыню.

Попадалось здесь много людей и из породы бравы, которые из-за общих причин потеряли свой преступный хлеб насущный и ходили теперь, выпрашивая его Христа ради. Их можно было узнать по торчащим чубам, по живописным лохмотьям, а также по какой-то особенной повадке и манерам, по той печал-

ти, которую налагают на лицо привычки, — печати тем более заметной и яркой, чем необычнее эти привычки. Укрощенные голодом, соревнуясь с другими лишь в мольбах, запуганные, присмирившие, таскались они по улицам, по которым, бывало, разгуливали с гордо поднятой головой, подозрительно и свирепо поглядывая по сторонам, разодетые в роскошные и пестрые камзолы, с огромными перьями на шляпах, в богатом вооружении, подтянутые, надушенные; смиренно протягивали они теперь руку, которую столько раз дерзко поднимали для наглой угрозы либо для предательского удара.

Но, быть может, самое жуткое и, пожалуй, самое жалкое зрелище являли собою крестьяне, бродившие в одиночку, попарно, а то и целыми семьями: мужья, жены с грудными младенцами на руках либо на привязи за спиной, с детьми, которых тащили за собой, со стариками, плетущимися позади. Одни в отчаянии бежали из своих домов, захваченных и разграбленных солдатней, расположившейся на постой или проходившей мимо; среди них попадались и такие, которые, желая вызвать сострадание и подчеркнуть весь ужас своего положения, выставляли напоказ кровоподтеки и синяки от ударов, полученных, когда они защищали свои последние крохи среди слепого и дикого разгула военщины. Другие, избежав этого необычного бедствия, но гонимые двумя другими, от которых ни один уголок страны не был избавлен, а именно — недородом и налогами, как никогда чрезмерными, взимаемыми с целью покрытия того, что называлось военными нуждами, без конца тянулись в город, как в древнюю крепость и последний оплот богатства и щедрого милосердия. Вновь прибывших можно было узнать не только по их неуверенной походке и растерянному виду, но еще больше по их изумленным и разочарованным лицам, ибо они столкнулись с таким наплывом людей, с таким соперничеством в нужде именно там, где рассчитывали быть предметом особенного сострадания и привлечь к себе всеобщее внимание и поддержку. Другие, более или менее давно бродившие по городу и жившие прямо на улице, кое-как еще держались случайной помощью или подачками (так велико было несоответствие средств с нуждой). В их лицах и движениях сквозило мрачное и тяжелое отупение. Одеты они были по-разному, — те, о которых еще было можно говорить, что они одеты. И наружность у них была тоже разная — бледные лица жителей равнин, загорелые — из мест повыше и холмистых, красноватые — у горцев; но все худые и изможденные, все с глубоко ввалившимися глазами, с остановившимся взглядом, не то безумным, не то зловещим; растрепанные волосы, длинные и щетинистые бороды; тела, выросшие и закаленные в труде, теперь истощенные лишениями; сморщенная кожа на иссохших руках и ногах, на исхудалой груди, еле прикрытой беспорядочными лохмотьями. И

рядом с этим зрелищем поверженной силы иное, но не менее скорбное зрелище являл собой слабый пол и возраст, в которых еще больше чувствовалась надломленность, беспомощная слабость и изнеможение.

Там и сям на улицах, под самыми стенами домов, валялись кучки растоптанной, трухлявой соломы вперемешку с замызганным тряпьем. Однако и эта грязь была даром и проявлением человеколюбия: то были места для спанья, дававшие возможность хоть некоторым из этих несчастных приклонить голову на ночь. Иногда случалось, что даже и днем можно было видеть, как здесь лежал или сидел откинувшись кто-нибудь, у кого усталость или голод отняли последние силы, так что подкосились ноги. Бывало, что на этом жалком ложе лежал уже труп. А иной раз можно было видеть, как человек вдруг падал на землю, словно тряпка, и бездыханный оставался лежать на мостовой.

Порой случалось, что над одним из этих пристанищ склонялся случайный прохожий или сосед, охваченный внезапным приливом сострадания. В некоторых местах появлялась помощь, организованная с более мудрой предусмотрительностью, приведенная в действие щедрой рукой, привычной к широкому размаху в делах благотворительности. То была рука доброго Федериги. Он выбрал шестерых священников, отличавшихся живой и постоянной любовью к ближнему, а также крепким телосложением, разделил их по двое и отвел каждой паре треть города для обхода в сопровождении носильщиков, нагруженных разнообразной пищей и всевозможными более тонкими и быстро восстанавливающими силы средствами и одеждой. Каждое утро три эти пары отправлялись в разные стороны, подходили к тем, кто беспомощно лежал на земле, и оказывали каждому необходимую помощь. Тот, кто метался в предсмертной агонии и был не в состоянии принимать пищу, получал последнее напутствие и утешения религии. Голодным раздавали суп, яйца, хлеб, вино; других, измученных более длительным постом, подкрепляли бульоном, экстрактами, крепким вином, сначала приводя их в себя, а если в этом была необходимость, то даже давали им всевозможные спиртные напитки. Вдобавок оделяли одеждой тех, чья нагота была совершенно неприкрытой и отталкивающей.

Но их помощь не ограничивалась только этим; доброму пастырю хотелось, чтобы по крайней мере там, куда она достигала, она приносила действительное, а не мимолетное облегчение. Тем, кому эта первая поддержка возвращала достаточно сил, чтобы держаться на ногах и ходить, давали немного денег, чтобы нужда и отсутствие всякой поддержки не вернули их очень скоро снова в прежнее состояние; другим подыскивали приют и содержание в каком-нибудь из ближайших домов. Люди зажиточные в большинстве случаев прини-

мали их просто из человеколюбия, как бы из уважения к кардиналу: других же, которые желали помочь, но не имели средств, священники просили принять бедняка на полное иждивение, сами устанавливали цену и тут же выплачивали часть ее наличными. Затем они сообщали приходским священникам об этих иждивенцах и просили навещать их, да и сами в дальнейшем наведывались к ним. Нет нужды говорить о том, что Федерико не ограничивал своих забот только такими исключительными случаями людских страданий и не дожидался их, чтобы прийти на помощь. Его пламенная и всеохватывающая любовь к людям все чувствовала, проявлялась повсюду, спешила на помощь нужде туда, где не было возможности ее предупредить, принимала, так сказать, те формы, в которые облекалась эта нужда. Действительно, он старался накопить побольше средств, еще суровее относился к своим личным расходам и зачастую пускал в ход сбережения, припрятанные на другие цели, которые теперь считал слишком второстепенными по своему назначению, изыскивая всякие способы для добывания денег, чтобы потом отдать все на помощь голодающим. Он закупил много зерна и разослал значительную часть его в самые нуждающиеся округа своей епархии, и так как помощь оказалась гораздо слабее нужды, он отправил и соль, «с помощью которой, — говорит, рассказывая это, Рипамонти¹, — луговые травы и древесная кора превращаются в пищу». Приходским священникам города он также раздал зерно и деньги, сам постоянно обходил город квартал за кварталом, раздавая милостыню; многим бедным семьям он помогал тайно; в архиепископском дворце, как свидетельствует в одном своем «Сообщении» современный писатель, врач Алессандро Тадино², каждое утро раздавали две тысячи мисок рисовой похлебки.

Но эта широкая благотворительность, которую мы, безусловно, вправе назвать грандиозной, принимая во внимание, что она исходила от одного человека и опиралась только на его средства (так как Федерико, по своему обыкновению, отказывался распределять чужие пожертвования), эта благотворительность вместе с приношениями других частных лиц, если и не столь обильными, то все же многочисленными, вместе со средствами, отпущенными Советом декурионов в распоряжение Трибунала продовольствия, которому поручено было распределять их, — оказывалась, однако, слишком незначительной по сравнению с нуждой. В то время как благодаря милосердию кардинала удавалось продлить жизнь некоторым

¹ «Отечественная история», дек. V, кн. VI, с. 386.

² «Сообщение о происхождении и ежедневных успехах заразной, ядовитой и вредоносной великой чумы, происшедшей в граде Милане и т. д.», Милан, 1648, с. 10.

горцам, близким к голодной смерти, другие доходили до последней крайности. Но и первые снова впадали в то же состояние, когда эта скромная помощь иссякала. В других местах, не забытых, а лишь оставленных на вторую очередь, ввиду меньшей остроты их положения, ибо милосердие вынуждено было действовать с отбором, нужда скоро становилась смертельной; народ погибал повсюду, и отовсюду люди бежали в город. Здесь, скажем, две тысячи голодающих, более сильных и ловких в умение побеждать своих соперников и самим пробиться вперед, добывали себе похлебку лишь затем, чтобы не умереть с голоду в этот же день. Но много тысяч других оставалось позади, остро завидуя этим, мы говорим, счастливым, а между тем среди обойденных бывали их жены, дети, отцы. И в то время как в одних кварталах города людей, брошенных на произвол судьбы и доведенных до крайности, поднимали с земли, приводили в чувство, давали приют и обеспечивали на некоторый срок, — в сотне других мест люди падали, изнемогали или даже умирали без помощи, без утешения.

Целый день по улицам раздавалось смутное гудение умоляющих голосов, а ночью — приглушенные стоны, прерываемые время от времени внезапными воплями и проклятиями, идущими из глубины души. Нередко мольба какого-нибудь несчастного завершалась резким пронзительным криком.

Удивительно, что при такой крайней нужде, при таком обилии горьких жалоб не было сделано ни одной попытки к бунту, не вырвалось ни одного мятежного возгласа: по крайней мере на это нет ни малейших указаний. А между тем среди тех, кто жил и умирал в этих условиях, было изрядное число людей, воспитанных совсем не для безропотного терпения. Среди них были сотни тех самых людей, которые показали себя в день Сан-Мартино. Нельзя допустить и того, чтобы пример четырех несчастных, поплатившихся за других, был в состоянии обуздать всех остальных. Какую силу над душами этого бродячего, собранного воедино люда могла иметь теперь даже не казнь, а лишь воспоминание о ней, когда люди чувствовали себя обреченными на медленную казнь и уже переживали ее? Но так уж создан человек: мы с негодованием яростно воюем со злом заурядным и молча склоняемся перед безмерным, перенося не безропотно, но тупо наивысшую степень того, что первоначально объявляли невыносимым.

Опустошение, которое смерть ежедневно производила в рядах этой жалкой толпы, ежедневно с излишком восполнялось. Непрерывный поток лился сначала из окрестных деревень, потом из всей округи, затем из разных городов государства и, наконец, из городов других государств. А наряду с этим Милан ежедневно покидали его коренные жители — одни, чтобы уйти и не видеть этих ужасных бедствий, другие

уходили, обнаружив, что у них, так сказать, отбивали хлеб новые соперники по нищенству. Полные отчаяния, они в последний раз пытались найти поддержку в любом другом месте, где уютно, лишь бы толпа не была так густа, а нищета так напориста. Те и другие скитальцы встречались, идя в разных направлениях, являя друг другу жуткое зрелище и скорбный образец, зловещий предвестник того конца, к которому приближались и те и другие. Но каждый продолжал идти своей дорогой, даже и утратив последнюю надежду изменить свою судьбу, не желая возвращаться под небеса, ставшие столь ненавистными, и видеть снова те места, где он был доведен до отчаяния. Разве только кто-нибудь, теряя последние силы, падал на дороге и тут же умирал: зрелище зловещее для товарищей по несчастью, внушавшее ужас и, пожалуй, укорявшее других спутников. «Я видел, — пишет Рипамонти, — на дороге, идущей вдоль городских стен, труп женщины... Из рта у нее торчала полуизжеванная трава, и губы были сжаты, словно в последнем отчаянном усилии... На плече у нее висел небольшой узелок, а спереди, привязанный пеленками, младенец, который плакал и просил груди... Нашлись сострадательные люди, которые, подобрав бедняжку с земли, взяли его к себе, выполняя пока что первые материнские обязанности».

Контрастов роскоши и лохмотьев, излишества и нищеты, столь частых в обычные времена, в ту пору совершенно не наблюдалось. Лохмотья и убожество царили почти повсюду, а то, что от них отличалось, едва ли было больше чем скромная посредственность. Знатные люди появлялись в простой, скромной одежде, а случалось, и в поношенной и даже ветхой. Одни потому, что общие причины, породившие нищету, довели и их средства до полного упадка либо вызвали крах уже пошатнувшегося состояния, другие — либо боясь бросать роскошью вызов людскому отчаянию, либо стыдясь нанести оскорбление общественному бедствию. Насильники, внушавшие к себе ненависть и почтение, привыкшие разгуливать в сопровождении целого хвоста бравы, теперь ходили почти в одиночку, с опущенной головой, словно предлагая мир и вызывая к нему. Те, которые и в хорошие времена отличались более гуманным образом мыслей и более скромным поведением, казались теперь тоже смущенными, сосредоточенными и словно подавленными постоянным зрелищем нищеты, которая не только исключала всякую возможность помощи, но, можно даже сказать, не оставляла места для сострадания. У кого еще оставалась возможность подавать милостыню, тому приходилось делать печальный выбор между той или иной степенью голода, тем или иным случаем крайней нужды. И как только чья-нибудь милосердная рука приближалась к руке какого-нибудь несчастного, сейчас же вокруг возникала вереница таких же несчастных. Кто был посильнее, пробивался

вперед, чтобы попрошайничать с большей настойчивостью: изнуренные старики и дети протягивали исхудалые руки; матери, стараясь привлечь к себе внимание, высоко поднимали плачущих детей, кое-как обернутых в грязные пеленки, покинувших от слабости у них на руках.

Так прошла зима и весна. Санитарный трибунал с некоторых пор не раз предупреждал Трибунал продовольствия об опасности заразы, грозившей городу из-за такого огромного количества нуждающихся, рассеянных по всем его кварталам, и предлагал распределить нищих по разным богадельням. Пока это предложение обсуждалось, пока утверждалось, пока изыскивались средства, способы и помещения, чтобы привести его в исполнение, число трупов на улицах с каждым днем все росло, а пропорционально возрастали и неразлучные спутники бедствия. Тогда в Трибунале продовольствия предложили другой выход, как более легкий и быстрый, а именно: собрать всех нищих, здоровых и больных, в одно место, в лазарет, где и содержать и лечить их на общественный счет. Так и порешили, вопреки возражениям Санитарного трибунала, считавшего, что при таком огромном скоплении людей опасность, от которой именно и хотели уберечься, неизбежно возрастет.

Миланский лазарет (на случай, если этот рассказ попадет в руки кого-нибудь, кто его не знает ни по виду, ни по описанию) занимает четырехугольный, почти квадратный огороженный участок за пределами города, влево от так называемых Восточных ворот; он отделен от городских стен рвом, наружным валом и небольшой канавой, окружающей его со всех сторон. Две продольные стороны его имеют длину почти в пятьсот шагов, две другие — короче примерно шагов на пятнадцать; все четыре стороны снаружи разделены на маленькие каморки, в один этаж; внутри вдоль трех стен тянется непрерывный сводчатый портик, поддерживаемый небольшими тонкими колоннами.

Комнатушек этих было двести восемьдесят восемь или около того. В наши дни — огромное отверстие, пробитое посредине, и другое, поменьше, в углу фасада, со стороны, выходящей на большую дорогу, привело к уничтожению целого ряда этих каморок. В те времена, к которым относится наш рассказ, было всего два входа: один посреди фасада, обращенного к городским стенам, другой — напротив, с противоположной стороны. В самой середине двора стояла и посейчас еще стоит небольшая восьмигранная церковка.

Первоначальное назначение этого здания, начатого постройкой в 1489 году, на деньги частного лица, продолженно-го затем на общественные средства и пожертвования разных благотворителей, должно было, как показывает само название, служить, при случае, убежищем для заболевших чумой. Чума еще задолго до этой поры и много раз позднее вспыхи-

вала обычно по два, по четыре, по шесть, а то и по восемь раз в столетие то там, то сям в разных странах Европы, захватывая порой значительную ее часть, а иногда проносясь вихрем вдоль и поперек всего материка. В тот момент, о котором идет речь, лазарет служил исключительно складом для товаров, подлежащих карантину.

Теперь же, чтобы освободить его, не очень строго придерживались санитарных правил и, наспех произведя уборку и все предписанные манипуляции, разом выдали все товары. Во всех комнатах настлали солому, сделали запасы продовольствия в таком количестве и в таких размерах, какие оказались возможными, и особым указом оповестили всех нищих, предлагая им воспользоваться этим убежищем. Многие пришли туда добровольно, с площадей и улиц перенесли туда же всех больных, и в несколько дней тех и других набралось более трех тысяч. Однако еще больше нищих осталось без приюта. То ли каждый из них ждал, пока уйдет другой, надеясь, оставшись в меньшинстве, шире пользоваться подаванием горожан; то ли действовал естественный протест против всякого заточения; то ли это было недоверие бедняков ко всему, что исходит от людей, в чьих руках сосредоточены богатства и власть (недоверие, всегда соразмерное с невежеством тех, кто его испытывает, и тех, кто его внушает, с количеством бедных и с несправедливостью законов); то ли истинное знание того, чем было на самом деле это предлагаемое благодеяние; то ли все эти причины вместе взятые и еще другие — одним словом, большинство, не обращая внимания на указ, продолжало терпеть нужду и побираться на улицах. При виде этого решено было от приглашения перейти к принуждению. Во все концы были разосланы сбирьы загонять нищих в лазарет, а тех, кто сопротивлялся, велено было приводить туда связанными: за доставку каждого назначено было вознаграждение в десять сольди; таким образом, даже при самых стесненных обстоятельствах всегда найдутся общественные деньги, чтобы истратить их без всякого толку. И хотя, согласно предположениям, авторитетно высказываемым Продовольственным ведомством, некоторое количество нищих и покинуло город, стремясь прожить или умереть в другом месте, лишь бы на воле, однако охота за ними была настолько успешной, что в короткое время количество призреваемых, как по доброй воле, так и по принуждению, дошло до десяти тысяч.

Надо полагать, что женщин и детей устроили в отдельных помещениях, хотя современные мемуары умалчивают об этом. В правилах и предписаниях о поддержании образцового порядка, разумеется, не было недостатка. Но пусть только представят себе, как можно было установить и поддерживать порядок, особенно в такое время и при таком положении вещей, среди такого огромного и пестрого скопления людей, где

рядом с теми, кто пришел добровольно, было столько приведенных насильно; рядом с теми, для кого нищенство было печальной необходимостью, горем, позором, — такие, для которых оно было ремеслом; рядом со многими, выросшими в обстановке честного труда на полях и в мастерских, множества других, обученных на площадях, в тавернах, во дворцах тиранов безделью, плутням, наглости и насилию.

Что касается жилья и питания для всех этих людей, то тут можно было бы прийти к самым плачевным выводам, даже не будь у нас на этот счет достоверных сведений, но они у нас есть. Спали вповалку по двадцать, по тридцать человек в каждой из этих каморок, либо прикорнувши под портиками, на клочке гнилой и вонючей соломы, а то и на голой земле, ибо хоть и было приказано, чтобы солома была свежая и в достаточном количестве и постоянно менялась, но на деле она была скверная, ее было мало и она не менялась. Приказано было также, чтобы хлеб выпекали хорошего качества, — разве когда-либо какое-нибудь должностное лицо приказывало выпускать и раздавать плохие продукты? К тому же чего так трудно добиться в обычных условиях, даже при меньшем количестве обслуживаемых, разве можно было добиться этого в данном случае и при таком скоплении людей? В ту пору поговаривали, как об этом свидетельствуют мемуары, что к лазаретному хлебу подмешивали тяжелые, непитательные вещества, и, к сожалению, приходится верить, что подобные жалобы имели основания. Даже в воде ощущался недостаток. Я хочу сказать — в хорошей проточной воде: общим колодезем служила мелкая канава, вырытая вокруг стен лазарета, почти стоячая вода в которой была кое-где покрыта тиной и постепенно зацвела от постоянного соприкосновения со столь огромным количеством грязных людей, пользовавшихся ею.

Ко всем этим причинам смертности, действовавшим тем сильнее, что обрушивались они на тела больные или истощенные, надо прибавить еще резкое колебание погоды: упорные дожди, сменившиеся еще более упорной засухой, принесшей преждевременный палящий зной. К этим физическим страданиям присоединились страдания душевные, тоска и отчаяние лишенных свободы, воспоминания о прежней жизни, скорбь о безвозвратно погибших близких, волнение за дорогих отсутствующих, взаимные обиды и отвращение друг к другу — столько всевозможных чувств, порожденных яростью и унынием, принесенных сюда либо здесь возникших. Потом — страх и постоянное лицемерие смерти, которая стала обычным явлением в силу всех этих причин и сама тоже сделалась новой и могучей причиной. И нет ничего удивительного, что за оградой лазарета смертность росла и увеличилась до такой степени, что имела все признаки — а многие так прямо ее и называли — моровой язвы. Может быть, совпадение и обострение всех этих причин

лишь увеличило действие поветрия чисто эпидемического характера, или (как это, по-видимому, случается и во время менее тяжких и длительных голодовок, чем была эта) действительно имела место какая-то заразная болезнь, которая в телах людей слабых и истощенных нуждою и плохим питанием, непогодой, грязью, страданиями и отчаянием нашла себе, так сказать, подходящие условия и среду, — словом, все необходимое для своего зарождения, питания и распространения (если позволительно профану произнести здесь эти слова, следуя предположениям некоторых врачей и недавно вновь повторенным, с различными доводами и всевозможными оговорками, человеком столь же ученым, сколь и проницательным). Может быть, зараза первоначально вспыхнула в самом лазарете, как, по-видимому, думали, судя по туманному и неточному донесению, врачи Санитарного ведомства; или она появилась еще до этого, но не была обнаружена (пожалуй, это покажется более правдоподобным, если учесть, что нужда была уже давняя и всеобщая, смертность — большая), а теперь, занесенная в эту массу людей, стала распространяться там с новой и ужасающей быстротой. Какая бы из этих догадок ни оказалась правильной, но только количество ежедневно умиравших в лазарете в короткий срок перешагнуло за сотню.

В то время как здесь все оставшиеся в живых были охвачены тревогой, страхом, унынием, трепетом — в ведомстве Продовольствия царил позорная растерянность и нерешительность. Вопрос долго обсуждали, выслушали мнение Санитарного ведомства; не оставалось ничего другого, как отметить все, что было сделано с такою торжественностью и сопровождалось такими расходами и такими притеснениями. Открыли лазарет, отпустили всех еще не заболевших бедняков, разбежавшихся на все четыре стороны в бешеном восторге. По городу снова стали раздаваться стоны, но уже более слабые и время от времени стихавшие. Город снова увидел эту толпу, сильно поредевшую и вызывавшую еще большее сострадание, — по словам Рипамонти, — при мысли о том, как могла произойти такая колоссальная убыль людей. Больных перенесли в Санта-делла-Стелла, тогдашнюю богадельню для бедных. Большинство там и умерло.

Тем временем, однако, начали золотиться благословенные поля. Нищие, пришедшие из деревень, разошлись по своим углам, спеша к столь желанной жатве. Добрый Федерико напутствовал их, напрягая последние силы, изыскав новый способ проявить человеколюбие: каждому крестьянину, являвшемуся в архиепископство, выдавали джулио и серп для жатвы.

С жатвой прекратился, наконец, и голод. Однако смертность от эпидемии или заразы хоть и падала с каждым днем, все же не прекращалась до осени. Она была уж на исходе, как вдруг грянула новая беда.

Много важных событий из тех, которым преимущественно дается название «исторических», произошло за этот промежуток времени. Как уже говорилось, кардинал Ришелье после взятия Ла-Рошели, наспех заключив мир с английским королем, внес предложение в Совет французского короля и, пустив в ход веские доводы, настоял, чтобы герцогу Неверскому была оказана действительная помощь, и заодно уговорил короля самолично стать во главе экспедиции. Пока шли приготовления, граф Нассауский, имперский комиссар, потребовал в Мантуе от нового герцога передачи своих владений в руки Фердинанда, предупреждая, что в противном случае последний пошлет войско занять их. Герцог, который и при более тяжелых обстоятельствах отказывался принять такие жестокие и внушающие подозрения условия, тем более отказался от них теперь, подбодряемый близкой помощью Франции. Правда, отказ был сделан, насколько возможно, в словах уклончивых и туманных, причем герцог как будто давал обещание подчиниться тем определеннее, чем меньше собирался его выполнять. Комиссар уехал, заявив, что придется прибегнуть к силе. В марте кардинал Ришелье действительно выступил в поход, с королем во главе войск. Он просил у герцога Савойского разрешения пройти через его владения. Начались переговоры, не давшие определенного результата. После схватки, закончившейся в пользу французов, снова повели переговоры и заключили соглашение, в которое герцог, между прочим, включил условие, чтобы Гонсало ди Кордова снял осаду с Казале, грозя, в случае его отказа, соединиться с французами для нашествия на Миланское герцогство. Дон Гонсало, полагавший, что он еще хорошо отделался, снял осаду с Казале, куда немедленно вступил отряд французов для усиления гарнизона.

Этот случай дал повод Акиллини обратиться к королю Людовику со своим знаменитым сонетом:

Пылайте, горы, — дайте нам металл .

и еще с другим, в котором призывал его к немедленному освобождению Святой земли. Но такова уж судьба, что к советам поэтов не прислушиваются, и, если в истории иной раз вы и столкнетесь с фактами, где чувствуются их указания, можете смело сказать, что все уже было решено заранее. Кардинал Ришелье, наоборот, выражал желание вернуться во Францию из-за дел, которые казались ему более неотложными. Джироламо Соранцо, венецианскому посланнику, чтобы оспорить это решение, пришлось пустить в ход бесчисленное количество доводов, однако король и кардинал, прислушиваясь к его прозе столько же, сколько к стихам Акиллини, вернулись назад с главной частью армии, оставив всего шесть тысяч человек в Сузе, чтобы удерживать за собой проход и обеспечить выполнение договора.

В то время как это войско уходило в одну сторону, с другой приближалось войско Фердинанда. Оно вторглось в область Гриджони и Вальтеллину и собиралось спуститься во владения Милана. Помимо всякого ущерба, которым угрожало его появление, Санитарный трибунал получил достоверное извещение, что в этом войске гнездится чума, отдельные вспышки которой в немецких войсках того времени были обычным явлением, как свидетельствует Варки, рассказывая о чуме, которую они занесли раньше на целое столетие во Флоренцию. Алессандро Тадино, одному из членов Санитарного ведомства (их было шестеро, помимо председателя; четыре должностных лица и два врача), — как рассказывает он сам в своем уже приводившемся нами «Сообщении», — Трибунал поручил доложить губернатору об ужасной опасности, угрожающей всему краю, если эти войска пройдут через него, отправляясь, как гласила молва, на осаду Мантуи. Судя по всем поступкам дона Гонсало, у него, по-видимому, была большая охота занять почетное место в истории, которая и в самом деле не могла оставить его без внимания. Но, как это часто бывает, история не сумела или не позаботилась запечатлеть один из его поступков, поистине достойных памяти, а именно ответ, который он дал Тадино по этому случаю. Он отвечал, что не знает, как тут быть; что побуждения чести и выгоды, ради которых войско это двинулось в поход, гораздо важнее той опасности, на которую ему указывают! При всем том, пусть попытаются найти лучший выход из положения и уповают на провидение.

Так вот, чтобы найти лучший выход из положения, оба врача Санитарного ведомства (вышеупомнутый Тадино и сенатор Сеттала, сын знаменитого Лодовико) внесли в Санитарный трибунал предложение, чтобы под страхом самых тяжелых наказаний было запрещено покупать какие бы то ни было вещи у солдат, которые должны были проходить мимо. Но никак нельзя было убедить в необходимости такой меры президента, «человека очень сердобольного, — говорит Тадино, — совершенно неспособного понять, как от сношения с этими людьми и покупки у них вещей может грозить смерть многим тысячам людей». Мы приводим эту черточку как одну из самых характерных для того времени. Вряд ли с тех пор как существуют санитарные учреждения, какому-нибудь другому президенту такого же ведомства приходило в голову подобное рассуждение, — если вообще это можно назвать рассуждением.

Что касается дона Гонсало, то, дав свой ответ, он вскоре покинул Милан. Отъезд был для него столь же горек, как и причина, его вызвавшая. Он получил отставку за неудачный исход войны, зачинщиком и главой которой был. А народ ставил ему в вину голод, пережитый, когда он был правителем. (Того, что он сделал для вспышки моровой язвы, либо не

знали, либо никого это не беспокоило, как мы увидим дальше, кроме Санитарного трибунала и, особенно, обоих врачей.) И вот, когда он в дорожной карете выезжал из королевского дворца, окруженный стражей алебардистов, с двумя конными трубачами впереди и в сопровождении вереницы карет местной знати, он был встречен резким свистом мальчишек, собравшихся на Соборной площади и гурьбой бежавших вслед за ним. Когда кортеж показался на улице, ведущей к Тичинским воротам, через которые приходилось выезжать, он очутился среди толпы народа; одни уже ждали там, другие сбегались со всех сторон, тем более что трубачи, честно выполняя свои обязанности, не переставая трубили от дворца до самых городских ворот.

Во время происходившего впоследствии судебного разбирательства по поводу этих беспорядков один из трубачей на брошенный ему упрек, что он своим дуденьем способствовал разрастанию толпы, ответил: «Уважаемый синьор, ведь это же наша профессия; и если бы их превосходительству не было угодно, чтобы мы играли, им следовало приказать нам замолчать». Но дон Гонсало, либо не желая подать вида, что он струсил, либо из боязни только усилить этим гнев толпы, либо потому, что происходящее несколько ошеломило его — не дал никакого приказания. Толпа, которую стража тщетно пыталась оттеснить, бежала впереди кареты, по сторонам, сзади, с криками: «Убирайся-ка подальше, ты, голод! Вон, вон, кровопийца!» и еще кое-что похуже. Когда приблизились к воротам, стали вдобавок швырять камни, кирпичи, кочерыжки, всякие корки, — словом, обычные в таких случаях снаряды. Часть толпы взбежала на стены и оттуда дала заключительный залп по удалявшимся каретам. Вскоре после этого она рассеялась.

На место дона Гонсало был прислан маркиз Амброджо Спинола, имя которого успело уже заслужить во Фландрских войнах ту военную славу, которая и посейчас сохраняется за ним.

Тем временем немецкое войско, под верховным командованием графа Рамбальдо ди Коллальто, другого, несколько менее знаменитого итальянского кондотьера, но все же в достаточной мере известного, получило окончательное приказание отправиться в поход на Мантую. В сентябре месяце оно вступило в Миланское герцогство.

Ополчение в те времена по большей части состояло еще из авантюристов, нанятых профессиональными кондотьерами по поручению того или иного государя, а иногда и за свой собственный счет, чтобы потом продаться вместе с ними. Больше жалованья людей привлекала к этому ремеслу надежда на грабежи и всякие соблазны вольницы. Твердой и общей дисциплины там не существовало, да и не так-то легко

было согласовать ее с независимой, отчасти, властью разных кондотьеров. К тому же последние в свою очередь не очень-то тонко разбирались в вопросах дисциплины, да если бы и захотели сделать это, трудно сказать, каким способом удалось бы им ее установить и поддерживать, ибо солдаты такого рода, конечно, восстали бы против кондотьера-новатора, вздумавшего отменить грабежи, и по меньшей мере предоставили бы ему в одиночестве охранять свои знамена.

Кроме того, государи, беря эти шайки, так сказать, внаем, больше заботились о том, чтобы иметь побольше людей для успеха своего предприятия, чем о том, чтобы сообразовывать количество солдат с состоянием своего кошелька, обычно весьма тощего. Ввиду этого жалованье в большинстве случаев выплачивалось с опозданием, в рассрочку и по мелочам, так что ограбление попутных стран было как бы само собой разумеющимся дополнением к жалованью. Пожалуй, не меньшей известностью, чем само имя Валленштейна, пользуется его знаменитое изречение: «Легче содержать войско в сто тысяч человек, чем в двенадцать». И то, о котором мы говорим, состояло по большей части из людей, опустошивших под его командой Германию в войне, прогремевшей среди всех войн и как война сама по себе, и по своим последствиям: за свою продолжительность она получила позднее название Тридцатилетней. А в ту пору шел ее одиннадцатый год. Был здесь и собственный полк Валленштейна во главе с одним из его приспешников. Что же касается других кондотьеров, то большинство служило непосредственно под его началом, и среди них было немало таких, кто четыре года спустя содействовал его печальному концу, который всем известен.

Всего было двадцать восемь тысяч пехотинцев и семь тысяч всадников. Спускаясь из Вальтеллины, чтобы перебраться во владения Мантуи, им приходилось все время следовать по течению Адды, которая образует два рукава озера, а потом течет снова в виде речки до самого устья, где впадает в По. После этого им предстояло пройти еще изрядное расстояние берегом По. В общем по территории Миланского герцогства приходилось идти восемь дней.

Большая часть жителей спасалась в горах, унося с собой все, что получше, и угоняя скот. Другие оставались дома, либо чтобы не бросать кого-нибудь из больных, либо чтобы оберегать от пожаров дом, либо чтобы присматривать за припрятанными вещами поценнее, зарытыми в землю. Некоторые не уходили потому, что им вообще нечего было терять, или потому, что рассчитывали даже кое-что приобрести. Когда передовой отряд приходил к месту, назначенному для дневки, он тут же рассыпался по деревне и ее окрестностям и немедленно принимался за грабеж; все, чем можно было поживиться и унести с собой, тут же исчезало, остальное ис-

треблялось или разрушалось. Мебель превращалась в дрова, жилье — в стойла, уже не говоря об избиениях, ранениях и изнасилованиях. Все уловки и хитрости населения, стремившегося спасти свое имущество, почти всегда оказывались тщетными, а порой даже приводили к еще большему ущербу. Солдаты, — народ, гораздо более сведущий в стратегии войны подобного рода, — обшаривали все потайные уголки домов, разбирали, разрушали стены; в огородах они легко распознавали свеженасыпанную землю; забирались даже в горы, чтобы похищать скот; залезали в сопровождении какого-нибудь негодяя в погреб в поисках спрятавшегося там богача, волокли его в дом и, прибегая к угрозам и побоям, принуждали показать, где у него скрыты его сокровища.

Наконец, солдаты уходили. Вот они ушли совсем. Вдали слышался замирающий звук барабанов и труб. Наступало несколько часов тревожной тишины. А затем снова проклятый барабанный бой и звуки труб извещали о новом эшелоне. Не находя уже больше добычи, солдаты с еще большим остервенением разбрасывали все оставшееся, сжигали бочонки, опустошенные их предшественниками, двери комнат, в которых уже нечего было брать, поджигали и самые дома и, разумеется, с еще большей яростью издевались над жителями, и так с каждым разом все хуже и хуже в течение двадцати дней, — ибо на такое число отрядов делилось войско.

Первой областью герцогства, на которую обрушились эти дьяволы, было Колико. Затем они бросились на Беллано. Потом вступили в Вальсассину, рассеялись по ней и уже оттуда вышли на территорию Лекко.

Глава двадцать девятая

Тут среди бедных напуганных людей и находим мы наших старых знакомых. Кто не видел дона Абондио в тот день, когда сразу со всех сторон поползли слухи о вторжении войска, о его приближении и его повадках, тот по-настоящему не знает, что такое смятение и страх. Уже подходят... их тридцать, сорок, пятьдесят тысяч... это дьяволы, ариане, антихристы... они разграбили Кортенуову... подожгли Прималуну... опустошают Интроббио, Пастуро, Барсио... они уже в Балаббио... завтра будут здесь, — передавалось из уста в уста. И тут началась паника. Люди останавливали друг друга, пошли шумные совещания, бесконечные колебания — не то бежать, не то оставаться, женщины собирались кучками, все в отчаянии хваталось за голову. Дон Абондио, собравшийся бежать, решив это твердо и раньше всех, выискивал, однако, непреодолимые препятствия и ужасные опасности на каждом шагу, куда только не побежишь, во всяком месте, куда не спря-

чешься. «Как быть? — восклицал он. — Куда идти?» В горах, даже не говоря о трудностях пути, было небезопасно: уже докатились слухи, что ландскнехты лазили по ним словно кошки, лишь только узнавали, что там есть чем поживиться. Озеро бушевало, дул сильный ветер, а кроме того, большинство лодочников, боясь, как бы их не заставили перевозить солдат и поклажу, укрылись со своими лодками на другом берегу. Лодок оставалось немного, да и они потом отплыли переполненные людьми и, как поговаривали, им ежеминутно грозила гибель из-за чрезмерной тяжести и шторма. Чтобы отправиться куда-нибудь подальше, за пределы той дороги, по которой должно было пройти войско, нельзя было достать ни двуколки, ни лошади, ни какого-либо иного способа передвижения. Пешком дон Абондио долго идти не мог и боялся, что его настигнут в пути. Территория Бергамо была не так уж далеко, чтобы он не мог добраться туда, двигаясь без передышки. Но было известно, что из Бергамо спешно выслали отряд каппелетти, чтобы охранять пограничную полосу и держать ландскнехтов в повиновении. Эти каппелетти — сущие дьяволы, нисколько не лучше ландскнехтов и, со своей стороны, натворили столько бед, сколько могли. Бедняга в страхе бегал по дому, выпучив глаза; ходил за Перпетуей, чтобы прийти с ней к какому-то решению, но та, занятая выискиванием в доме всякого добра, чтобы запрятать его на чердаке и по всем укромным уголкам, запыхавшись, носилась по дому, озабоченная, нагруженная всякими вещами, и отвечала: «Вот погодите, сейчас кончу, уберу все в надежное место, тогда поступим по примеру других». Дон Абондио пытался остановить ее и обсудить с ней возможности бегства, но она, в хлопотах и в спешке, и сама-то боялась до смерти, да и на хозяина своего злилась за его трусость, — словом, оказалась в подобных обстоятельствах куда менее сговорчивой, чем обычно. «Умудряются же другие, умудрятся и мы. Вы уж меня извините, — но вы умеете только мешать. Что же вы думаете, другим-то не хочется разве спасти свою шкуру? Что же солдаты-то, с вами, что ли, пришли воевать? Кажется, в такую минуту вы бы могли помочь, а вы только под ногами путаетесь — хнычете да мешаете». Такими отповедями она всякий раз спроваживала его, решив про себя, когда закончится вся эта хлопотливая суматоха, взять его, как ребенка, за руку и потащить с собой куда-нибудь в горы. Предоставленный, таким образом, самому себе, дон Абондио подходил к окошку, присматривался, прислушивался и, увидя какого-нибудь прохожего, кричал ему вслед полуслезливым, полуукоризненным голосом:

— Сжальтесь над бедным своим курато, найдите ему какую-нибудь лошадь, мула или осла. Ужели никто не хочет помочь мне? Ну и народ! Подождите меня по крайней мере, чтобы я тоже мог уйти с вами. Погодите же, соберитесь так

человек пятнадцать — двадцать, вот все вместе меня и проводите. Только не бросайте меня. Разве вы хотите оставить меня в руках этих псов? Не знаете, что ли, ведь большинство их лютеране, для них убить священника самое святое дело! Вы хотите бросить меня здесь, чтобы меня замучили. Ну и народ, ну и народ!

Но к кому обращался он с этими словами? К людям, которые проходили мимо, согбенные под тяжестью своего нищенского скарба, занятые мыслями о том, что они оставляли дома, подгоняя своих коровенок, ведя за собой ребятишек, тоже нагруженных сверх всякой меры, и женщин, несших на руках тех, которые еще не умели ходить сами. Иные прибавляли шаг, не отвечая и не поднимая головы. Кое-кто говорил:

— Эх, сударь! Устраивайтесь, как можете. Ваше счастье, что вам не приходится думать о семье. Помогайте себе сами, уж изловчитесь как-нибудь.

— Бедный я! — восклицал дон Абондио. — Что за народ, что за сердца! Куда делась любовь к ближнему! Каждый пещется только о себе, а обо мне никто не хочет и думать. — И он опять принимался разыскивать Перпетую.

— А кстати, — говорила она ему, — где же денежки?

— Зачем они нам?

— Давайте-ка их мне, а я пойду да закопаю их в огороде вместе со столовым серебром.

— Но...

— Это еще что за новости? Давайте-ка их лучше сюда; оставьте несколько солиди на всякий случай, а уж остальное предоставьте мне.

Дон Абондио повиновался, подошел к сундучку, достал свои богатства и отдал Перпетуе, которая сказала: «Пойду закопаю их в огороде под корнем фигового дерева» — и тут же отправилась. Немного спустя она вернулась с корзиной, наполненной съестными припасами, и с небольшой порожней плетенкой и принялась торопливо укладывать на дно ее кое-что из белья, своего и хозяйского, ворча при этом:

— Хоть молитвенник-то несите сами.

— Но куда же мы направляемся?

— А куда все другие? Прежде всего выйдем на дорогу, а там послушаем да поглядим, что надо делать.

В эту минуту вошла Аньезе с небольшой плетенкой за плечами и с таким видом, словно у нее было важное предложение.

Аньезе тоже решила не ожидать прихода незваных гостей, так как была дома одна, да еще с малой толикой золота, полученного ею от Безымянного. Некоторое время она сомневалась относительно места, куда ей спрятаться. И как раз остаток тех самых скуди, которые в голодные месяцы оказались так кстати, был главной причиной ее тревоги и нерешительности, ибо она слышала, что в захваченных деревнях именно

те, кто имел деньги, оказывались в наиболее опасном положении: с одной стороны, им угрожала жестокость иноземцев, а с другой — происки односельчан. Правда, она никому даже по секрету не рассказала о даре милосердия, свалившемся на нее, что называется, с неба, кроме дона Абондио, к которому она иной раз заходила, чтобы разменять скуди, всегда оставляя ему немного мелочи для раздачи тем, кто был беднее ее самой. Но спрятанные деньги, особенно у тех, кто не привык распоряжаться большими суммами, постоянно заставляют их обладателя подозревать, что другие тоже знают об этом. И вот, в то время как она старалась понадежнее рассовать по разным местам то, чего не могла взять с собой, и думала о тех скуди, которые были спрятаны у нее за пазухой, она вспомнила, что, прислав деньги, Безымянный великодушно предлагал ей свои услуги; вспомнила всевозможные рассказы о его замке, расположенном в таком недоступном месте, куда против воли хозяина могли попасть разве только птицы, — и решила искать там убежища. Она все раздумывала о том, как бы устроить так, чтобы этот синьор признал ее. Тут ей сразу пришел в голову дон Абондио, который после своей беседы с архиепископом всегда оказывал ей внимание тем более сердечное, что мог делать это, не компрометируя себя ни в чьих глазах. А так как и Лючия и Ренцо были далеко, то далека была и возможность того, чтобы к нему обратились с такой просьбой, которая могла бы подвергнуть его расположение серьезному испытанию. Она полагала, что в такой суматохе бедняга должен был чувствовать себя еще в большем затруднении и растерянности, чем она сама, и что такое решение, пожалуй, могло оказаться очень подходящим и для него. Вот она и пришла к нему со своим намерением. Найдя его с Перпетуей, она высказала им свое предложение.

— Что вы скажете на это, Перпетуя? — спросил дон Абондио.

— Скажу, что это прямо-таки внушение свыше, что нечего терять время, а надо удирать во все лопатки.

— А потом...

— А потом, потом, когда попадем туда, мы будем очень рады. Теперь у этого синьора — и это всем известно — только и на уме, что помогать ближнему. Да он и сам будет очень рад приютить нас. Туда, к самой границе, да еще на этакую высь, не заберутся, конечно, никакие солдаты. Опять же, и из еды там кое-что найдется, а то ведь в горах, как кончатся эти вот дары Божии, — и с этими словами она стала укладывать съестное в плетенку, поверх белья, — положение наше будет не из легких.

— Обратился... точно ли он обратился-то, а?

— Да как же еще сомневаться после того, что всем известно, что вы видели своими глазами?

— А не лезем ли мы добровольно в клетку к тигру?

— Какая уж там клетка? Со всеми этими вашими страхами, вы уж меня извините, ни к чему никогда не придешь. Молодчина вы, Аньезе! Вам действительно пришла в голову славная мысль. — И, поставив плетенку на столик, она, просунув руки в ремни, надела ее себе на плечи.

— Нельзя ли, — сказал дон Абондио, — найти кого-нибудь, кто пошел бы с нами, чтобы охранять своего курато. Вдруг нам повстречается какой-нибудь разбойник, — а их тут, к сожалению, кругом немало, — какой толк от вас обеих?

— Вот еще что придумали, только время терять! — воскликнула Перпетуя. — Идти теперь искать человека, когда каждый только и думает, что о себе. Будьте же смелей! Ступайте возьмите свой молитвенник да шляпу, и пошли.

Дон Абондио вышел и скоро вернулся с молитвенником под мышкой, со шляпой на голове и посохом в руках. Все трое двинулись через небольшую дверку, выходящую на пьедесту. Перпетуя заперла дом больше для очистки совести, чем полагаясь на крепость замка и дверей, и сунула ключ в карман. Дон Абондио, проходя мимо церкви, мельком взглянул на нее и процедил сквозь зубы:

— Пусть народ ее и охраняет, она ведь ему служит. Если люди хоть немного любят свою церковь, они о ней и позаботятся. Ну, а если нет, тогда уж их дело.

Они пошли полями, в полном молчании, каждый погруженный в свои думы, озираясь по сторонам, в особенности дон Абондио — не покажется ли какая-нибудь подозрительная личность или вообще что-нибудь сверхъестественное. Никто не попадался навстречу: люди либо сидели по домам, охраняя их, укладывая свои пожитки, пряча их, либо шли по дорогам, которые прямоком вели в горы.

После вздохов и всяких нечленораздельных восклицаний дон Абондио принялся брюзжать пуще прежнего. Он сердился на герцога Неверского, которому сидеть бы себе во Франции да наслаждаться жизнью, разыгрывать бы государя, а он вот захотел, назло всему миру, быть герцогом Мантуанским; сердился на императора, которому следовало бы тоже подумать о других, предоставить воде течь в низину — не настаивать на всяких мелочах, ведь он же все равно останется императором, кто бы ни был герцогом Мантуанским, будь то Тицио или Семпронио. Но больше всего сердился он на губернатора: от него зависело предпринять все, чтобы бич этот миновал страну, а он вот, видите ли, сам его сюда и накликал, — и все из-за удовольствия вести войну.

— Надо бы всем этим синьорам, — говорил он, — побывать здесь да посмотреть, да испытать, что это за удовольствие. Нечего сказать, — им есть за что отчитываться! А пока что попадает тем, кто ни в чем не виноват.

— Да полноте, что вам дались эти люди; ведь не они же придут нам на помощь, — говорила Перпетуя. — Все это, извините, обычная ваша болтовня, от которой нет никакого проку. Вот меня гораздо больше беспокоит...

— Что такое?

Перпетуя за этот кусочек пути уже успела хорошенько подумать о наспех припрятанном добре и принялась пенять на себя, что такую-то вещь забыла, а такую-то плохо убрала; тут оставила след, который наведет разбойников, а там...

— Хороша, — сказал дон Абондио, который теперь был настолько спокоен за свою жизнь, что мог уже тревожиться за свое добро, — куда как хороша! Как же это вас утразило? Где же у вас была голова?

— Что? — воскликнула Перпетуя, на мгновение остановившись и упираясь кулаками в бока, насколько это ей позволяла плетенка. — Что? Вы меня теперь попрекаете, когда сами же вскружили мне голову, вместо того чтобы помочь и ободрить меня! Я, может быть, о вашем добре больше думала, чем о своем, и хоть бы одна душа мне помогла, мне пришлось быть сразу и за Марфу и за Магдалину. Если что случится, я уж тут ни при чем. Я сделала больше, чем мне положено.

Аньезе прерывала эти пререкания, принимаясь рассказывать о своих бедах. Она огорчалась не столько лишениями и всякими потерями, сколько тем, что пропала всякая надежда в ближайшее время вновь обнять Лючию. Ведь если вы помните, встреча их как раз была назначена на эту осень: трудно было даже допустить, чтобы в такие времена донна Прасседе пожелала приехать сюда пожить в своем поместье; она скорее скрылась бы отсюда, если бы находилась здесь, как это делали все другие землевладельцы.

Вид мест, по которым они проходили, еще больше обострял эти мысли Аньезе и углублял ее тоску. Простившись с тропками, они вышли на большую дорогу, ту самую, по которой пришлось ехать бедной женщине, когда она, на такое короткое время, везла к себе свою дочь после пребывания с нею в доме портного. Вдали уже виднелась деревня.

— Зайдем откланяться этим добрым людям, — сказала Аньезе.

— А кстати и отдохнем немножко, а то мне эта плетенка уже изрядно надоела, да и перекусить не мешает, — сказала Перпетуя.

— С уговором — не терять времени, мы ведь в пути не для развлечения, — закончил дон Абондио.

Им были очень рады и приняли их с распростертыми объятиями. Еще бы — ведь они напоминали о добром деле. «Делайте добро возможно большему числу людей, — говорит по этому поводу наш автор, — и вам придется чаще встречать лица, которые будут вас радовать».

Обнимая добрую женщину, Аньезе разразилась рыданиями, что принесло ей некоторое облегчение. Всклипывая, отвечала она на расспросы хозяйки и ее мужа насчет Лючии.

— Да ей получше, чем нам, — сказал дон Абондио, — она в Милане, в безопасности, вдали от этой чертовщины.

— Извольте удирать, а? Синьор курато и вся честная компания? — сказал портной.

— Разумеется, — в один голос ответили хозяин и его служанка.

— Весьма вам сочувствую.

— Мы направляемся в замок ***, — сказал дон Абондио.

— Это вы хорошо придумали: безопасно, как в церкви.

— А здесь не страшно? — спросил дон Абондио.

— Я так скажу, синьор курато: собственно погостить, — вы сами знаете, что это значит, выражаясь вежливо, — они сюда не должны бы прийти. Слава Богу, мы им слишком не по пути. Разве что какая-нибудь случайная вылазка, да избавит нас Господь от нее. Но во всяком случае время у нас есть. Вот сначала надо разузнать, что делается в тех несчастных деревнях, куда они пришли на постой.

Решено было тут остановиться, чтобы немного передохнуть, и так как было время обеда, портной сказал:

— Синьоры, прошу вас почтить мою скромную трапезу. Кушайте на здоровье, я предлагаю вам это от чистого сердца.

Перпетуя заявила, что у нее с собой есть чем заморить червячка. После небольших обоюдных церемоний порешили, что называется, устроить общий котел и пообедать вместе.

Ребятишки с большой радостью расселись около Аньезе, своей старой приятельницы.

— Живо, живо, — скомандовал портной одной из девочек (той самой, которая когда-то относила еду вдове Марии, — не знаю уж, помните ли вы этот случай), — пойдй очисти пяток скороспелых каштанов, что лежат в углу, и испеки их. А ты, — обратился он к одному из мальчуганов, — ступай-ка в огород, тряхни разок персиковое дерево, чтобы свалилась парочка-другая, да принеси их сюда, но смотри — ни-ни! А ты, — сказал он другому, — влезь-ка на фиговое дерево да нарви каких поспелей. Небось вы все в этом деле наловчились!

Сам он отправился пробуравить бочонок с вином, а жена — достать столовое белье. Перпетуя вынула свои припасы. Накрыли на стол. Салфетка и фаянсовая тарелка на самом почетном месте для дона Абондио вместе с прибором, прихваченным в плетенке Перпетуей. Сели за стол и пообедали, если и не очень весело, то все же веселей, чем кто-либо из гостей рассчитывал в этот день.

— Что скажете о таком светопреставлении, синьор курато? — спросил портной. — Словно читаешь про нашествие сарацин на Францию.

— Что же я могу сказать? Знать, и этому надо было свалиться на нашу голову!

— А все же вы нашли себе надежное убежище, — продолжал тот, — кого туда понесет не по своей воле? И компанию там найдете. Я слышал, что там укрылось уже много народа и с каждым часом прибывают все новые.

— Смею надеяться, — сказал дон Абондио, — что нас примут там радушно. Я знаю этого превосходного синьора. Как-то раз мне довелось иметь честь быть с ним вместе, он был тогда чрезвычайно любезен.

— А мне, — сказала Аньезе, — он велел через самого светлейшего монсиньора передать, чтобы в случае какой-либо нужды прямо к нему и обращаться.

— Какое великое, чудесное обращение! — подхватил дон Абондио. — И стойко он держится, ведь правда? Весьма стойко.

Портной принялся разглагольствовать о святой жизни Безымянного, о том, как он — бич для всей округи — вдруг сделался для всех примером и благодетелем.

— А где весь этот люд, что он держал при себе... вся его челядь? — спросил дон Абондио, который не раз уже кое-что слышал об этом, но все еще никак не мог вполне успокоиться.

— Большинство отпушено, — отвечал портной, — а те, которые остались, совершенно преобразились, да еще как! Ну, словом, замок этот стал просто Фиваидой, — вы ведь об этих вещах знаете.

Потом он завел с Аньезе разговор о посещении кардинала.

— Великий человек! — говорил он. — Великий человек! Жаль, что он был у нас второпях, мне даже не довелось почтить его как следует. Как бы мне хотелось побеседовать с ним еще раз, в более спокойной обстановке!

Когда встали из-за стола, портной показал всем картинку с изображением кардинала, которую он прибил к дверной створке в знак своего уважения к высокому лицу, а также, чтобы иметь возможность похвастать перед всяким, кто случится, что кардинал на картинке совсем не похож на себя, ему-де довелось видеть кардинала собственной персоной, совсем близко, запросто, вот в этой самой комнате.

— Что же, это они его вот таким и хотели изобразить? — сказала Аньезе. — По одежде он похож, ну, а...

— Правда ведь, не похож? — подхватил портной. — Я вот то же самое всегда говорю: нас ведь не обманешь, а? Ну, ничего, тут вот хоть имя его проставлено, — все-таки память.

Дон Абондио торопился. Портной взялся найти повозку, чтобы подвезти их к самому началу подъема к замку. Он тут же отправился разыскивать ее и немного спустя вернулся сказать, что повозка едет. Затем он обратился к дону Абондио:

— Синьор курато, если вам угодно взять с собой туда на-

верх какую-нибудь книжицу для времяпрепровождения, то я при всей своей бедности могу услужить вам, — ведь я тоже слегка балуюсь, почитываю. Вещи, конечно, не по вашему вкусу, — книжки у меня на народном языке, но все же...

— Спасибо, спасибо, — отвечал дон Абондио, — сейчас такие времена, что едва хватает головы справляться с необходимым.

Пока происходил обмен любезностями, прощальными приветствиями и пожеланиями счастливого пути, приглашениями и обещаниями заехать на обратном пути, повозка подъехала к воротам. В нее уложили плетенки, затем забрались седоки, с несколько большими удобствами и душевным спокойствием пустившиеся во вторую половину своего путешествия.

Портной сказал дону Абондио сухую правду относительно Безымянного. Поистине, он с того самого дня, как мы с ним расстались, непрестанно продолжал делать то, что поставил себе тогда целью, а именно — исправлять причиненный им вред, искать мира со всеми, помогать бедным, словом, постоянно творить добро, где только возможно.

Смелость, которую в былое время он проявлял, нападая сам или защищаясь от других, теперь выражалась в том, что он не делал ни того, ни другого. Он ходил всегда один, безоружный, готовый принять любой удар за то множество злодеяний, которые он свершил, уверенный в том, что применять силу, защищая того, кто был в долгу перед столькими людьми, было бы равносильно новому злодеянию; он был убежден, что всякое зло, ему причиненное, было бы оскорблением по отношению к Богу, но справедливым возмездием ему самому. Карать же за оскорбление он имеет меньше права, чем кто-либо другой.

При всем том он был неуязвим несколько не менее, чем в ту пору, когда для своей безопасности держал при себе такое множество вооруженных людей, не считая себя самого. Память о былой его жестокости и теперешняя очевидная для всех кротость, казалось бы, должны были вызывать: первая — постоянное желание мести, вторая — делать эту месть столь легко осуществимой, а между тем они, наоборот, отгоняли всякую мысль о мести и внушали восхищение, которое и служило для него главным орудием защиты. Ведь это был тот самый человек, которого никто не мог смирить и который смирил себя сам. Затаенные обиды, в былое время разжигаемые его презрением к людям и страхом перед ним, растаяли перед этим его новым кротким видом. Обиженные им получили, вопреки всяким ожиданиям и без всякого риска, такое удовлетворение, которого не могли получить даже от самого успешного отмщения, а именно удовлетворение видеть такого человека раскаявшимся в своих преступлениях и, так сказать,

разделяющим их собственное негодование. Многие, которые в течение долгих лет таили в себе горькое и мучительное чувство от сознания полной невозможности ни при каких обстоятельствах оказаться сильнее его, чтобы отплатить ему за какую-нибудь большую обиду, — теперь, встретив его с глазу на глаз, безоружного, в состоянии человека, который не хочет сопротивляться, чувствовали единственное побуждение — выразить ему свое уважение. В этом добровольном унижении весь его вид и манера держаться приобрели помимо его воли что-то в высшей степени возвышенное и благородное, ибо больше, чем прежде, сказывалось в его поведении полное презрение к опасности.

Ненависть, даже самая грубая и бешеная, была словно связана и сдерживалась всеобщим преклонением перед этим раскаявшимся и милосердным человеком, и преклонение это было так велико, что нередко этот человек попадал в затруднительное положение, ибо ему приходилось отбиваться от проявлений этого чувства и стараться быть сдержанным, чтобы не показать на лице и в поступках своего душевного раскаяния, не слишком унижаться, чтобы не быть слишком превознесенным. В церкви он облюбовал себе самое заднее место. И никто бы не осмелился посягнуть на него, ведь это было бы равносильно захвату почетного поста. Обидеть этого человека или даже отнестись к нему без должного уважения могло бы показаться не столько наглостью и низостью, сколько кощунством, и те самые люди, для которых подобное чувство у других могло служить тормозом, сами в той или иной степени разделяли его. Эти же, а равно и другие причины отводили от него и карающий меч правосудия, обеспечивая ему и с этой стороны безопасность, о которой он даже и не думал. Общественное его положение и родство, которые всегда служили ему некоторой защитой, значили для него именно теперь гораздо больше, ибо за этим именем, прославившимся своей подлостью, уже закрепились репутация человека образцового поведения, освященного величием обращения. Власти и знать выражали по этому поводу свою радость так же открыто, как и народ. И по меньшей мере было бы странно проявить жестокость в отношении человека, который был предметом всеобщего восхищения. Кроме того, власти, занятые постоянными и часто неудачными усмирениями сильных и непрестанно вспыхивающих мятежей, могли быть в какой-то мере удовлетворенными, что избавились, наконец, от самого неукротимого и беспокойного бунтаря, чтобы еще добиваться чего-то, — тем более что это обращение принесло с собой такое перерождение, которое сами власти не привыкли видеть и даже не решались требовать. Беспокоить святого едва ли было хорошим средством для того, чтобы забыть о стыде за свое бывшее неумение образумить преступника, и при-

мерное наказание, будь оно применено, имело бы лишь те последствия, что окончательно отбило бы у ему подобных желание стать вполне безопасными. Вероятно также, что участие, которое принял в этом обращении кардинал Федериги, и имя его, связанное с именем обращенного, служили последнему как бы священным щитом. Да при тогдашнем положении вещей и понятий, при тех своеобразных взаимоотношениях властей духовной и светской, которые так часто бывали на ножах, никогда, однако, не стремясь к взаимному уничтожению, наоборот, постоянно чередуя враждебные действия с актами взаимного признания и свидетельствами уважения, идя часто даже вместе к общей цели, никогда, впрочем, не заключая мира, до известной степени могло казаться, что примирение с духовной властью влекло за собой забвение, если и не полное прощение грехов властью светской, когда первая одна своими усилиями добилась цели, желанной для обеих.

Так вот этого человека, на которого, оступись он, наперербой набросились бы и великий и малый, чтобы растоптать, теперь все щадили, а многие даже склонились перед ним, когда он сам добровольно лег на землю.

Правда, было много и таких, кому это наделавшее шуму обращение доставило все, что угодно, только не удовольствие: то были наемные преступники, многочисленные соучастники злодеяний, терявшие ту огромную силу, на которую они привыкли опираться. Ведь вдруг разом оборвались все нити давно затеянных козней, быть может, в тот самый момент, когда уже ожидалась весть об их завершении. Но мы уже видели, сколь различные чувства вызвало это обращение в наемных убийцах, находившихся в то время при Безымянном и услышавших об этом из его собственных уст: изумление, горе, уныние, досаду — всего понемногу, кроме презрения и ненависти. То же испытывали и другие его приспешники, разбросанные по разным местам, равно как и сообщники более высокого полета, когда они узнали потрясающую новость. Зато сколько ненависти досталось на долю кардинала Федериги, как это видно из приведенных в другом месте слов Рипамонти. На Федериги смотрели как на человека, который вмешался в чужие дела, чтобы расстроить их, Безымянный же хотел только спасения своей души: на это никто не имел права жаловаться.

Мало-помалу большинство наемных убийц, не умея приспособиться к новым требованиям и не надеясь на изменение дел, покинули замок. Кто пошел искать другого хозяина, быть может, даже среди прежних друзей того, от кого он уходил; кто завербовался в какое-нибудь «терцо»¹, как тогда говорили,

¹ Полк (исп.).

испанское или мантуанское, либо еще какой-нибудь сражающейся стороны; кто вышел на большую дорогу заниматься мелким грабежом на собственный риск и страх; кто успокоился на том, что стал мошенничать на свободе. Подобным же образом поступили, надо полагать, и все те, кто раньше состоял у него под началом в других краях. Что касается тех, кто сумел приспособиться к новому жизненному укладу или добровольно принял его, то большинство из них, уроженцы долины, вернулись к своим полям или к ремеслам, изученным еще с детства и потом заброшенным. Пришлые же остались в замке на положении слуг; и те и другие, как бы вновь получившие благодать одновременно со своим хозяином, жили, как и он, не причиняя и не терпя зла, безоружные и всеми уважаемые.

Но когда при вторжении немецких отрядов некоторые беглецы из подвергшихся нашествию и угрожаемых селений пришли наверх в замок просить убежища, Безымянный, довольный тем, что гонимые ищут приюта в тех самых стенах, на которые они так долго взирали издали словно на огромного чудовище, принял этих лишенных крова людей скорее с выражениями благодарности, чем простой любезности; он велел оповестить, что дом его открыт для всякого, кто захочет в нем укрыться, и тут же решил привести в состояние обороны не только дом, но и всю долину на случай, если ландскнехты и каппеллетти сделают попытку зайти сюда похозяйничать. Он собрал оставшихся у него слуг, немногочисленных, но зато полноценных, как стихи Торти, и обратился к ним с речью о том, что Господь посылает им и ему хороший случай порадеть о помощи ближним, которых они некогда так угнетали и заставляли трепетать. Своим обычным повелительным тоном, который выражал уверенность в полном послушании, он сказал в общих чертах о том, чего требовал от них, и особенно подробно рассказал, как вести себя, чтобы люди, которые приходили сюда наверх укрыться, видели в них только друзей и защитников. Затем он приказал принести из комнаты на чердаке огнестрельное, режущее и колющее оружие, которое уже некоторое время валялось там в куче, и роздал его. Своим крестьянам и арендаторам в долине он велел сказать, чтобы всякий желающий приходил с оружием в замок. У кого не было оружия, тем он давал свое; отобрал некоторых, назначив их как бы командирами, и поставил других под их начало; расставил военные посты у всех проходов и в других местах долины, на подъеме в гору, у ворот замка; установил часы и порядок смены караула, как в настоящем лагере и как это привыкли делать в самом замке во времена преступной жизни его владельца.

В одном углу этой самой чердачной комнаты отдельно стояло или лежало на полу оружие, которое носил только он сам.

Здесь был его знаменитый карабин, мушкеты, шпаги, мечи, пистолеты, кривые ножи, кинжалы. Никто из слуг не притронулся к ним; и они решили спросить хозяина, какое оружие он прикажет принести себе. «Никакое», — отвечал он им и, не то в силу обета, не то намеренно, так и оставался безоружным во главе этого своего рода гарнизона.

В то же время он поручил мужчинам и женщинам, бывшим у него в услужении или подвластным ему, устроить во дворце жилье для возможно большего числа людей, расставить кровати, разложить соломенные тюфяки и матрацы по комнатам и покоем, превращенным в общие спальни. Он также распорядился подвозить в изобилии съестные припасы, чтобы прокормить гостей, которых Бог пошлет ему и которых с каждым днем действительно становилось все больше и больше. Сам он никогда не оставался без дела. В замке или вне его, поднимаясь вверх и спускаясь вниз, он обходил всю долину, повсюду отдавал распоряжения, подбадривал людей, сменял караулы, словом и делом и даже просто своим присутствием наводил и поддерживал порядок. В доме и на дороге он встречал прибывающих. И все, видели ли они его впервые, или нет, глядели на него с восхищением, на мгновение забывая те горести и страхи, которые загнали их на эту высокую, и оборачивались еще раз посмотреть ему вслед, когда, расставшись с ними, он продолжал свой путь.

Глава тридцатая

Хотя наибольшее скопление народа было не с той стороны, откуда трое наших беглецов приближались к долине, а с противоположного входа в нее, тем не менее теперь навстречу им попадались попутчики и товарищи по несчастью, которые уже выбрались или начали выбираться с поперечных дорожек и узких проселочных троп на большую дорогу. При подобных обстоятельствах все встречающиеся чувствуют себя как бы давнишними знакомыми. Всякий раз, когда повозка нагоняла какого-нибудь пешехода, путешественники забрасывали друг друга вопросами и ответами. Кто убежал заранее, как и наши путники, не дожидаясь прихода солдат; кто уже слышал звук барабанов и труб; кто даже успел увидеть самих солдат и описывал их так, как обычно описывают что-либо перепутанные люди.

— Мы еще счастливо отделались, — говорили обе женщины, — возблагодарим небо. Пропав пропадом все имущество, хоть сами-то остались целы.

Но дон Абондио вовсе не находил причины радоваться вместе с ними. Наоборот, это скопление народа, и еще боль-

шее с другой стороны долины, о котором он догадывался, начинало внушать ему тревогу.

— Вот так история! — ворчливо говорил он обеим женщинам, когда никого не было поблизости. — Вот так история! Разве вы не понимаете, что собираться такому множеству народа в одном месте — все равно, что нарочно заманивать сюда солдат? Все прячут, все уносят свое добро, в домах ничего не остается; солдаты подумают, что там наверху скопились всевозможные сокровища! И непременно заявятся. Несчастный я человек, надо ж было мне впутаться в это дело!

— Что вы! Зачем же им забираться наверх? — возражала Перпетуя. — У них своя дорога. Опять же я всегда слышала, что в опасности лучше, когда соберется много народу.

— Много! Много! — передразнивал ее дон Абондио. — Несчастливая женщина! Разве вы не знаете, что один ландскнехт съест живьем целую сотню? И потом, если они начнут свои глупые штучки, хорошенькое будет удовольствие. Затеять с ними баталию, а? О я несчастный! Уж лучше бы идти прямо в горы. И приспичило же всем собраться в одном месте!.. Этакие глупцы! — ворчал он несколько потише. — Все так и лезут, так и лезут друг за дружкой, словно овцы, без всякого толку.

— Этак ведь, — заметила Аньезе, — и они могут сказать то же самое про нас.

— Помолчите немножко, — сказал дон Абондио, — болтовней тут не поможешь. Что сделано, то сделано. Раз мы уже здесь, то приходится тут и оставаться. Все будет по воле провидения. Да поможет нам небо.

Но настроение его явно упало, когда при входе в долину он увидел внушительный караул из вооруженных людей, стоявших у дверей какого-то дома и расположившихся в нижнем этаже. Все это походило на казарму. Он уголком глаза взглянул на них. Это были уже не те лица, которые ему довелось увидеть в свою предыдущую горестную поездку, либо, если среди них и попадались кое-кто из бывших брави, то, во всяком случае, они заметно изменились. И все же нельзя сказать, чтобы это зрелище было ему особенно приятно. «О я несчастный! — подумал он. — Вот они и начинаются, эти глупые штучки. Да иначе и быть не могло, — от такого человека этого и надо было ожидать. Однако, что же он собирается сделать? Воевать, что ли? Изображать из себя короля? О я несчастный! При таком положении дел впору спрятаться хоть под землю, а он всячески старается обратить на себя внимание, сам так и лезет на глаза, — пожалуйста, милости просим!»

— Вот видите, хозяин, — сказала ему Перпетуя, — есть же и тут храбрые люди, которые сумеют защитить нас. Пускай-ка придут теперь солдаты, — тут народ не тот, что наши трусишки, которые только и умеют, что улепетывать.

— Да тише вы! — вполголоса, но сердито ответил дон Абондио. — Потихше! Вы сами не знаете, что говорите. Молите Бога, чтобы солдаты спешили и не заглянули сюда узнать, что здесь делается и как из этого места хотят сделать настоящую крепость. Разве вы не знаете, что настоящее занятие солдат именно в том и состоит, чтобы брать крепости? Другого им не надо. Для них пойти на приступ — все равно, что отправиться на свадьбу, — ведь все, что они найдут, — достается им, а людей они просто прикалывают. Бедный я! Ну, все равно, погляжу, нельзя ли спрятаться где-нибудь в этих скалах. Но в сражение они меня не заманят, нет, уж это дудки!

— Ну уж, коли вы боитесь даже, чтобы вас защищали и помогали... — начала было Перпетуя.

Но дон Абондио резко оборвал ее, хотя и вполголоса:

— Молчите вы, да смотрите, не вздумайте передавать эти разговоры. Запомните, что тут всегда надо делать веселое лицо и соглашаться со всем, что ни увидишь.

В «Страшной ночи» они застали другой отряд вооруженных людей, с которыми дон Абондио, однако, любезно раскланялся, мысленно повторяя: «Горе мне, горе, я попал в самый настоящий лагерь!»

Тут повозка остановилась. Все вылезли. Дон Абондио поспешно расплатился и отпустил возницу, а затем стал молча подниматься вверх с двумя своими спутниками. Вид этих мест воскрешал в его памяти воспоминание о тех тревогах, которые он пережил здесь, но теперь к ним присоединялись еще и новые. Аньезе никогда не видела этих мест, но в воображении создала себе о них фантастическую картину, которая и всплывала всякий раз, когда она думала об ужасном путешествии Люции. Теперь, увидев эти места в действительности, она заново и еще более остро переживала жестокие воспоминания.

— Боже, синьор курато! — воскликнула она. — Подумать только, что моей бедной Люции пришлось ехать по этой дороге!

— Да замолчите же, наконец, глупая вы женщина! — прокричал ей на ухо дон Абондио. — Разве можно вести здесь такие разговоры? Не знаете, что ли, ведь мы в его доме? Счастье ваше, что никто вас сейчас не слышит, но если вы будете продолжать в том же духе...

— Это теперь-то, когда он святой?... — сказала Аньезе.

— Молчите, — возразил ей дон Абондио, — вы думаете, святым так-таки и можно без всякого разбору говорить все, что взбредет в голову? Вы лучше подумайте, как поблагодарить его за все добро, что он вам сделал.

— Ну, об этом-то я уж подумала, — или вам кажется, я уж и приличного обращения не понимаю?

— Приличное обращение — это не говорить вещей, которые могут не понравиться, в особенности — тем, кто не при-

вык их слушать. И зарубите себе обе хорошенько на носу, что здесь не место заниматься сплетнями и болтать обо всем, что ни придет в голову. Это дом важного синьора, вам это уже известно. Видите, сколько народу здесь толпится. Сюда приходят всякие люди, а посему — нельзя ли побольше благоразумия: взвешивайте свои слова, и главное — говорите поменьше, только в случае крайней необходимости. Промолчишь — никогда не прогадаешь.

— Вы вот похуже делаете со всеми этими вашими... — подхватила было Перпетуя.

Но дон Абондио в ярости зашипел на нее:

— Да полно вам! — и тут же быстро снял шляпу и отвесил низкий поклон, ибо, взглянув наверх, он увидел, что Безымянный спускается с горы, направляясь к ним. Тот тоже заметил и признал дона Абондио и поспешил к нему навстречу.

— Синьор курато, — сказал он, поравнявшись с ним, — я хотел бы предложить к вашим услугам мой дом при более приятных обстоятельствах. Но, во всяком случае, я очень рад быть вам хоть чем-нибудь полезным.

— Я был уверен в великой доброте вашей милости, — отвечал дон Абондио, — поэтому я взял на себя смелость прийти побеспокоить вас при столь печальных обстоятельствах, и, как видит ваша светлость, я позволил себе прийти к вам в компании. Вот это моя домоправительница...

— Добро пожаловать, — сказал Безымянный.

— А вот это, — продолжал дон Абондио, — женщина, которой вы изволили уже сделать добро, это мать той самой... той самой...

— Лючии, — сказала Аньезе.

— Лючии! — воскликнул Безымянный, обращаясь к Аньезе, низко склонив голову. — Я, добро? Это я-то? Милосердный Боже! Вы... делаете мне добро, что приходите сюда... ко мне... в этот дом... Милости просим! Вы приносите с собой сюда благословение Божие.

— Да что уж там! — сказала Аньезе. — Пришла вас побеспокоить. Ну и кстати, — продолжала она, приблизившись к самому его уху, — мне и поблагодарить вас надо...

Безымянный перебил ее и тут же с интересом стал расспрашивать о Лючии. Узнав все новости, он вернулся назад проводить в замок новых гостей, и сделал это, несмотря на их церемонный отказ. Аньезе подмигнула дону Абондио, словно хотела сказать: «Вот видите, не очень-то нам нужно, чтобы вы тут лезли к нам с вашими советами...»

— А в вашем приходе они уже были? — спросил Безымянный дона Абондио.

— Нет, синьор, я не захотел дожидаться этих дьяволов, — отвечал дон Абондио. — Один Бог знает, удалось бы мне вырваться живым и явиться сюда побеспокоить вашу милость.

— Хорошо, не падайте духом, — сказал Безымянный, — теперь вы в безопасности. Сюда они не придут, а если и захотят попробовать, мы наготове и примем их.

— Будем надеяться, что они не придут, — заметил дон Абондио. — Я слышу, — прибавил он, показывая пальцем на горы, которые замыкали долину с противоположной стороны, — я слышу, как и там кружит другая ватага людей, но... но...

— Это верно, — отвечал Безымянный, — но не сомневайтесь, мы и их готовы встретить.

«Меж двух огней, — думал про себя дон Абондио, — имен-но меж двух огней. И как это я поддался! И кому же? Двум кумушкам! А этот — чувствует себя точно рыба в воде! Что за люди пошли на свете!»

Когда они вошли в замок, синьор приказал проводить Аньезе и Перпетую в одну из комнат помещения, отведенного для женщин и занимавшего три стороны второго двора, в задней части здания, стоящего на удлиннном выступе скалы, прямо над пропастью. Мужчины размещались в правом и левом крыле другого двора и в том, который выходил прямо на эспланаду.

Среднее здание, которое разделяло оба двора, соединявшиеся между собой обширным коридором, находившимся прямо против главных ворот, было частично занято съестными припасами, а также служило складом вещей, которые беглецам хотелось сохранить в целости. В мужском помещении было несколько комнат, предназначенных для духовных особ, которые могли прибыть сюда в замок. Безымянный сам проводил туда дону Абондио, первым обновившего помещение.

Беглецы наши прожили в замке дней двадцать три — двадцать четыре среди непрерывного движения, в большом обществе, которое, особенно в первые дни, все увеличивалось. Впрочем, ничего чрезвычайного не произошло. Пожалуй, дня не проходило без того, чтобы не приходилось братья за оружие. Вон оттуда идут ландскнехты! Вон там показались капеллетти! При всяком движении такого рода Безымянный посылал на разведку и, если было нужно, брал с собой людей, которых всегда держал под ружьем, и направлялся с ними за пределы долины, в ту сторону, откуда грозила опасность. И странно было видеть этот отряд людей, вооруженных с головы до ног, выстроенных в боевом порядке под командой совершенно безоружного человека. В большинстве случаев им попадались лишь фуражиры и кучки мародеров, которые убегали, прежде чем их успевали захватить. Но как-то раз, преследуя нескольких человек, чтобы отучить их на будущее появляться в здешних местах, Безымянный получил известие, что небольшое соседнее местечко подверглось нападению и разграблению. То были ландскнехты из разных отрядов, которые, отстав для разбоя, соединились и стали внезапно на-

падать на деревни по соседству с теми, где расположилось войско. Они обирали и всячески обижали жителей. Безымянный обратился к своим людям с краткой речью и повел их на выручку несчастных.

Пришли они туда неожиданно. Грабители, рассчитывавшие исключительно на легкую добычу, увидев, что им придется иметь дело с регулярным отрядом, готовым сражаться, прервали свой грабеж и, не дожидаясь друг друга, бросились впопыхах туда, откуда пришли. Безымянный преследовал их некоторое время, а затем, сделав привал, подождал, не произойдет ли чего-нибудь нового. В конце концов он повернул домой. Когда он на обратном пути проходил через спасенное от грабителей местечко, трудно передать, какими приветствиями и благословениями провожали жители небольшой отряд своих освободителей и их командира.

В замке, среди этого случайного сборища людей различного положения, привычек, пола и возраста, ни разу не произошло сколько-нибудь значительного беспорядка. Безымянный расставил в разных местах стражу, которая следила за тем, чтобы не возникало никаких недоразумений, причем делалось это с тем усердием, какое каждый обычно прилагает ко всему, в чем предстоит давать отчет хозяину.

Кроме того, он попросил духовных и других наиболее авторитетных лиц, оказавшихся среди нашедших здесь приют, совершать обходы и со своей стороны наблюдать за всем. Насколько возможно часто обходил замок и сам Безымянный. Его можно было видеть повсюду. Но даже и в его отсутствие уже одна мысль о том, в чьем доме находишься, сдерживала всякого, кто в этом нуждался. А впрочем, ведь все это были беглецы, уже по одному этому в общем больше склонные к ничегонеделанью. Мысль о доме и о брошенном имуществе, у иных сверх того о близких и друзьях, оставшихся в большой опасности, вести, приходившие извне, — все это, ослабляя общий дух, постоянно поддерживало и усиливало в собравшихся это настроение подавленности.

Однако были бесшабашные головы, люди более крепкой закалки и бодрого духа, которые старались провести эти дни повеселее. Они покинули свои дома, не имея достаточно сил защищать их, но не находили удовольствия в хныканье и вздохах о том, чего все равно не вернешь. Эти не старались мысленно представить себе то опустошение, которое, к несчастью, им и без того было суждено увидеть воочию. Семьи, знакомые между собой, держались вместе или, теперь очутившись здесь наверху, завязывали новые дружеские связи. Толпа, таким образом, распалась на всевозможные кружки, согласно симпатиям и привычкам каждого. У кого денег было вволю, тот ходил обедать в долину, где по этому случаю наспех открылось несколько остерий. В одних каждый прогла-

тываемый кусок сопровождался вздохами, и только и было разговору, что о разразившемся несчастье; в других — наоборот, о горестях не вспоминали и говорили, что не следует о них и думать. Тем, кто не мог или не хотел тратиться на еду, в замке раздавали хлеб, суп и вино. Помимо того, ежедневно накрывалось несколько столов для тех, кого хозяин приглашал к обеду особо. Наши знакомцы принадлежали к числу последних.

Чтобы не есть хлеба даром, Аньезе и Перпетуя пожелали принять участие в обслуживании беглецов, принятых с таким широким гостеприимством, и на это у них уходила значительная часть дня. Остальное время они проводили в болтовне с приятельницами, приобретенными в замке, и со злополучным доном Абондио. Последнему совершенно нечего было делать, однако он не скучал, ибо страх был его постоянным спутником. Непосредственный страх перед нападением солдат у него, по-видимому, прошел, а если и остался, то не очень-то его беспокоил, ибо, чуточку поразмыслив, дон Абондио смог убедиться, насколько страх этот был неоснователен. Но картина окружи, наводненной со всех сторон солдатней, вид оружия и вооруженных людей, которые вечно сновали перед ним взад-вперед, сам замок, и именно этот замок, мысль о разных вещах, которые могли случиться в любой момент при таком положении вещей, — все это вызывало в нем смутный, невыразимый и постоянный ужас, не говоря уже о той тоске, которая грызла его при мысли о брошенном доме. За все время своего пребывания в этом убежище он никогда не удалялся от него хотя бы на ружейный выстрел и ни разу даже не пытался спуститься вниз. Единственная его прогулка состояла в том, чтобы выйти на эспланаду и покружить вокруг замка, то с одной, то с другой стороны, заглядывая вниз, в пропасти, выискивая, нет ли где хоть какого-нибудь прохода, хоть маленькой тропинки, по которой можно было бы выбраться в поисках укромого местечка, если придется уж очень туго. Всем своим товарищам по убежищу он оказывал величайшее почтение и отвешивал нижайшие поклоны, но водился с очень немногими. Чаще всего, как мы уже сказали, беседовал он с двумя женщинами: с ними он отводил душу, впрочем, не без того, что иной раз Перпетуя покрикивала на него, а Аньезе так даже стыдила. За столом, где он оставался недолго и говорил очень мало, он узнавал все новости о страшном продвижении войск, приходившие ежедневно, то передаваемые от местечка к местечку и из уст в уста, то приносимые каким-нибудь очевидцем, который по первоначальному решил было остаться дома, но в конце концов удирал, не успев ничего спасти и вдобавок еще при самых плачевных обстоятельствах. И каждый день выплывала очередная история про какое-нибудь новое несчастье. Некоторые, рассказчики по

призванию, старательно собирали все слухи, процеживали все донесения и потом преподносили другим уже самые сливки. Затевались споры о том, какие полки самые свирепые, что хуже — пехота или конница, называли, кто как умел, имена известных кондотьеров. Рассказывали про их былые деяния, подробно перечисляли стоянки и переходы: в такой-то день такой-то полк рассыпался по таким-то местечкам, завтра-де он нагрянет на другие, такие-то, где тем временем уже свирепствует и делает вещи еще похуже другой полк. Больше всего принимались в расчет и старались собрать сведения о тех полках, которые один за другим проходили через мост в Лекко, потому что их уже можно было считать ушедшими и в сущности даже за пределами страны. Прошла конница Валленштейна, за ней — пехота Мероде, ангальтская конница, бранденбургская пехота, а там конница Монтекукколи, и следом конница Феррари; прошли Альтрингер, Фюрстенберг, Коллоредо; затем кроаты, Торквато Конти, за ним еще и еще; по воле небес, прошел и Галассо, — он был последним. Удалился и летучий отряд венецианцев, и вся страна наконец-то освободилась. Те, кто были из местечек, захваченных первыми и первыми же освобожденных, покинули замок; и каждый день уходили все новые и новые, подобно тому, как после осеннего урагана из густолиственной кроны большого дерева со всех сторон вылетают укрывшиеся там птицы. Трое наших знакомцев ушли едва ли не последними, и все из-за дона Абондио, который опасался, что если вернуться домой слишком быстро, то непременно наткнешься на бродячих ландскнехтов, отбившихся и отставших от войска. Перпетуя могла сколько угодно распространяться насчет того, что чем больше медлишь, тем больше возбуждаешь в грабителях охоту забраться в дом и унести оставшиеся пожитки; раз дело шло о спасении своей шкуры, дон Абондио неизменно оставался победителем, если только непосредственная опасность не ставляла его совершенно терять голову.

В назначенный для отъезда день Безымянный распорядился приготовить у «Страшной ночи» карету, куда заранее велел положить запас белья для Аньезе. Отозвав ее в сторону, он заставил ее принять также сверточек скуди на исправление тех повреждений, которые она найдет у себя дома, хотя она била себя в грудь и без конца повторяла, что у нее остались еще скуди от прежних.

— Когда увидите свою добрую несчастную Лючию... — сказал он под конец Аньезе, — я, разумеется, уверен, что она молится за меня, потому что я причинил ей столько зла, — так скажите ей, что я благодарю ее и уповаю, что молитва ее принесет также и ей самой благословение Божие.

Затем он пожелал проводить всех трех гостей до самой кареты. Пусть читатель представит себе сам подобострастные и

благодарственные излияния дона Абондио и любезности Перпетуи. Наконец, тронулись. Согласно уговору, сделали коротенькую остановку, даже не присаживаясь, в доме портного, где понаслышались всякой всячины о прохождении войск, — обычные рассказы о грабежах, избиениях, разорении, о всяких мерзостях, но, к счастью, в их краях ландскнехты не появлялись.

— Да, синьор курато! — сказал портной, помогая дону Абондио сесть в карету. — Хорошо было бы пропечатать в книжках про этакий разгром.

Проехав еще немного по дороге, наши путники воочию увидели то, о чем слышали столько рассказов. Опустошенные виноградники, но не так, как это бывает после сбора винограда, а словно после бури с градом; лозы, ободранные и перепутанные, вырванные колья, земля со следами сапог, усыпанная сучьями, листьями, засохшими побегами; поломанные, лишенные верхушек деревья; продырявленные изгороди; унесенные решетки. А в деревнях — взломанные двери, сорванные рамы, обломки, тряпки, сваленные в кучи и разбросанные по улицам; тяжелый воздух и еще более сильное зловоние, несущееся из домов; жители, занятые — кто уборкой нечистот, кто спешной починкой оконных рам, а кто просто, собравшись в кружок, горюет о бедствиях; когда карета проезжала мимо, к дверцам со всех сторон тянулись руки, просящие милостыню.

С такими картинами то перед глазами, то в мыслях и в ожидании найти нечто подобное у себя дома, наши путники, наконец, добрались до своей деревни и действительно нашли то, что ожидали.

Аньезе велела сложить свою поклажу в углу двора, который оказался самым чистым местом во всем доме. Затем она принялась выметать дом, собирать и чистить то небольшое, что ей оставили. Позвала плотников и кузнеца починить наиболее значительные повреждения и, рассматривая пару за парой полученное в подарок белье, пересчитывая новые цехины, говорила про себя: «Я-то еще благополучно отделалась; благодарение Господу Богу и Мадонне да доброму этому синьору, впрямь могу сказать, что благополучно отделалась».

Дон Абондио и Перпетуя проникли в свой дом без помощи всяких ключей. С каждым их шагом по прихожей отравленная чумная вонь становилась все сильнее, заставляя их отшатываться, зажимая носы; они направились к кухонной двери и вошли на цыпочках, выбирая, куда ступить, чтобы случайно не попасть в нечистоты, покрывавшие пол. Бросили взгляд вокруг. Целого ничего не видно; лишь остатки и обломки того, что когда-то стояло по разным местам, виднелись теперь во всех углах; пух и перья от кур Перпетуи, клочья белья, листки из календарей дона Абондио, черепки от кухон-

ных горшков и тарелок — все это валялось кучками либо вразброс. На одном только очаге можно было видеть доказательства жуткого разгрома, собранные воедино, словно множество подразумеваемых мыслей, выраженных в периоде человеком с несомненным литературным вкусом. То были остатки погасших головешек, которые явно свидетельствовали, что некогда они были ручкой кресла, ножкой стола, дверкой шкафа, козлами кровати, клепкой бочонка, в котором хранилось вино, так хорошо действовавшее на желудок дона Абондио. Остальное превращено было в пепел и уголи; с помощью этих же углей громилы, чтобы дать себе некоторый отдых, намалевали на стенах рожи, ухитрившись посредством четырехугольных шапочек, тонзур и широченных брыжей изобразить священников, стараясь при этом сделать их поуродливее и посмешнее, — намерение, которое, по правде говоря, без труда удалось этим художникам.

— Ах, свиньи! — воскликнула Перпетуя.

— Ах, мошенники! — воскликнул дон Абондио; и оба стремглав бросились вон через другую дверь, которая вела в огород. Они вдохнули свежего воздуха и направились прямо к фиговому дереву, но еще издали увидели, что земля перекопана, и оба невольно вскрикнули. Приблизившись, они действительно вместо своих зарытых сокровищ нашли лишь открытую яму. Тут начались попреки: дон Абондио обрушился на Перпетую за то, что та не сумела хорошенько все спрятать. Вы думаете, что Перпетуя осталась в долгу? Накричавшись вдоволь, оба, протягивая руку с указующим перстом в сторону ямы, ворча отправились вместе же восвояси. И будьте уверены, что всюду они нашли почти то же самое. Не знаю уж, сколько времени они мучились, чтобы убрать и вычистить дом, тем более что в те дни трудно было рассчитывать на помощь. И не знаю, сколько времени пришлось им жить как в лагере, приспособляясь так или иначе, постепенно исправляя двери, восстанавливая обстановку и утварь на деньги, одолженные ими у Анъезе.

Вдобавок это несчастье послужило началом для целого ряда других неприятных столкновений. Дело в том, что Перпетуе, с помощью всяких спросов и расспросов, выслеживаний и разнюхиваний, определено удалось узнать, что кое-что из хозяйской утвари, считавшееся похищенным или уничтоженным солдатами, на самом деле обреталось в целости и сохранности в домах кое-кого из местных жителей. Она стала приставать к своему хозяину, чтобы он не постеснялся заявить об этом и потребовал бы вернуть свое добро. Доставить большую неприятность дону Абондио было, пожалуй, невозможно, ибо его вещи находились в руках мошенников, то есть такого рода людей, с которыми ему как нельзя более хотелось жить в ладу.

— Ничего не хочу знать об этих вещах, — говорил он. —

Сколько раз мне вам повторять: что с возу упало, то пропало. Что мне прикажете — еще подвергать себя пытке за то, что мой дом разграбили?

— Так и есть, — отвечала Перпетуя. — Вы и глаза себе позволите выпарапать. Воровать у других — грех, а у вас — грех не воровать.

— И что вам за охота говорить такие глупости! — возражал дон Абондио. — Замолчите, пожалуйста!

Перпетуя умолкала, но не сразу сдавалась и пользовалась всяким случаем, чтобы начать все снова. Дело дошло до того, что бедняга уже и не сокрушался, когда ему не хватало какой-нибудь вещи как раз в ту минуту, когда она ему была всего нужней; ибо не раз доводилось ему слышать от Перпетуи: «Подите сами да спросите ее у того, кто ее имеет, разве он стал бы держать ее до сих пор, не имея он дела с таким ротозеем».

Другое и еще более сильное беспокойство доставляли дону Абондио слухи о том, что ежедневно, как он и предполагал, продолжают проходить поодиночке солдаты; а потому ему все время чудилось, что вот-вот один из них, а то и целая компания покажется в дверях его дома, которые он велел привести в порядок в первую очередь и постоянно держал на запоре. Но, слава Богу, этого ни разу не случилось. Однако не успели еще миновать эти страхи, как грянула новая беда.

Но тут мы расстанемся с нашим беднягой. Речь теперь пойдет уже не о личных его страхах, не о бедствиях нескольких местечек, не о проходящем несчастье.

Глава тридцать первая

Чума, вторжения которой в миланские владения одновременно с немецкими бандами так опасался Санитарный трибунал, как известно, в самом деле появилась; равным образом известно, что она не остановилась тут, но захватила и обезлюдилла значительную часть Италии. Придерживаясь основной нити нашей истории, мы переходим к рассказу о главных эпизодах этого общественного бедствия, — разумеется, только в пределах Миланской области, и даже почти исключительно в Милане, так как мемуары этой эпохи касаются почти исключительно города, как это, хорошо ли, плохо ли, случается едва ли не всегда и повсюду. И в этом рассказе, сказать по правде, мы преследуем цель не только изобразить то положение, в каком окажутся наши герои, но вместе с тем познакомить читателей, возможно более кратко и насколько это окажется нам по силам, со страницей из отечественной истории, больше достопамятной, чем хорошо изученной.

Среди многочисленных современных рассказов нет ни одного, который сам по себе был бы достаточен и мог дать об этом событии сколько-нибудь отчетливое и стройное представление, точно так же, как нет ни одного, который не мог бы помочь составить его. В каждом из этих повествований, не исключая и принадлежащего перу Рипамонти¹, каковой превосходит все остальные по количеству и отбору фактов, а еще более по способу рассмотрения их, умалчиваются существенные факты, записанные другими авторами. В каждом встречаются фактические ошибки, которые можно установить и исправить с помощью какого-либо другого описания или с помощью немногих уцелевших правительственных распоряжений, изданных и неизданных. Часто в одном рассказе находишь причины, результаты которых, словно взятые с воздуха, приходилось находить в другом. Зато во всех царит странная путаница во времени и изложении событий. Это какое-то непрерывное хождение взад-вперед, словно вслепую, без общего плана, без плана в частностях, — впрочем, это одна из наиболее обычных и наиболее очевидных особенностей всех книг той эпохи, особенно книг, написанных на народном языке, по крайней мере в Италии. Так ли обстоит с этим в остальной Европе, про то знают ученые, мы же в этом сомневаемся. Ни один писатель последующей эпохи не ставил себе задачей изучить и сравнить эти мемуары, чтобы составить из них непрерывную цепь событий, последовательную историю этой чумы; так что обычное о ней представление по необходимости должно быть очень неточным и несколько путаным: неопределенное представление о великих бедствиях и великих ошибках (а по правде сказать, и тех и других было свыше того, что можно себе вообразить), представление, построенное скорее на рассуждениях, чем на фактах, на некоторых разрозненных фактах, нередко оторванных от наиболее характерных обстоятельств, без учета эпохи, без понимания причины и действия, то есть последовательности в ходе событий.

Исследуя и сопоставляя с большим старанием все напечатанные воспоминания и некоторые неизданные, а также многие (принимая во внимание небольшое количество уцелевших) из так называемых официальных документов, мы стремились создать из всего этого хоть и не то, что, разумеется, нам хотелось бы, но все же нечто такое, чего до сих пор еще не было сделано. Мы не собираемся приводить все публичные акты и даже не все сколько-нибудь достойные памяти происшествия. Еще меньше притязаем мы на то, чтобы считать чтение оригинальных источников ненужным для того,

¹ Джузеппе Рипамонти — каноник, летописец города Милана. Книга «О чуме, бывшей в 1630 г.». Пять книг. Милан. 1640, Малатеста.

кто хочет составить себе более полное представление об этом событии: мы слишком хорошо чувствуем, какая живая, непосредственная и, так сказать, неиссякаемая сила заключается всегда в произведениях этого рода, как бы они ни были задуманы и построены. Мы только попытались выяснить и установить наиболее общие и важные факты, расположить их в порядке последовательности, насколько это допускает их значение и характер, рассмотреть их взаимоотношения и дать сжатый, но правдивый и связный рассказ об этом бедствии, пока кто-нибудь не сделает этого лучше нас.

Так вот, на всей территории, по которой проходили войска, в домах, а то и прямо на дороге, попадались трупы. Вскоре то в той, то в другой деревне стали заболеть и гибнуть отдельные люди и целые семьи от странных, жестоких болей с признаками, неизвестными большинству окружающих. Однако были люди, которым эти признаки не казались новыми: это те немногие, что еще помнили чуму, опустошившую пятьдесят три года тому назад добрую часть Италии и особенно Миланскую область, где ее называли и поныне называют чумой Сан-Карло. Такова сила милосердия! Среди столь различных, столь грозных воспоминаний о всеобщем бедствии милосердие всегда может заставить хранить память об одном человеке, потому что этому человеку оно внушило чувства и поступки еще более достопамятные, чем самые несчастья; может запечатлеть его в умах как обобщение всех этих страданий, ибо милосердие толкнуло и вовлекло его в самую гущу их, сделав его вожаком, опорой, примером, добровольной жертвой; из всеобщего бедствия могло создать для этого человека словно арену для подвига и назвать его именем самое бедствие это, словно некое завоевание или великое открытие.

Протофизик Лодовико Сеттала, который не только видел эту чуму, но был одним из самых неутомимых, бесстрашных и, несмотря на свою тогдашнюю молодость, одним из известнейших кураторов, теперь сильно подозревал ее приближение. Он был все время на чеку, внимательно следя за всеми известиями о ней, и 20 октября доложил Санитарному трибуналу о том, что в районе Кьюзо (крайнем на территории Лекко, граничащем с Бергамо) несомненно вспыхнула заразная болезнь. Но никакого решения по этому поводу, как это явствует из «Сообщения» Тадино¹, принято не было.

Но вот следом поступили подобные же сообщения из Лекко и Беллано. Тогда Трибунал вынес решение, ограничившись посылкой комиссара, который должен был по дороге захватить в Комо врача и посетить с ним указанные места. Оба они, «по невежеству ли, или еще почему-либо, дали одному

¹ С. 24.

старому и тоже невежественному белланскому цирюльнику убедить себя в том, что подобный вид заболеваний вовсе не чума¹, а обычное в некоторых местах последствие от осенних болотных испарений, в других же случаях результат нужды и лишений, перенесенных за время нашествия немцев. Это мнение было доложено Трибуналу, который, по-видимому, на том и успокоился.

Но так как со всех сторон непрерывно поступали все новые и новые сообщения о растущей смертности, то было отправлено два делегата рассмотреть вопрос и принять меры. Это были вышеназванный Тадино и один из аудиторов Трибунала. Когда они прибыли на место, болезнь получила уже такое широкое распространение, что доказательства были налицо и разыскивать их не приходилось. Объехали территорию Лекко, Вальсассины, берега озера Комо, районы, носившие название Монте-ди-Брианца и Джера д'Адда, и всюду попадались местечки, то загороженные при входе решетками, то почти опустевшие, жители которых разбежались и расположились в чистом поле либо совсем рассеялись; «и они показались нам, — говорит Тадино, — какими-то дикими созданиями, держащими в руках кто мяту, кто руту, кто розмарин, а кто склянку с уксусом».

Делегаты справились о числе умерших, оно было потрясающим; они осмотрели больных и трупы и всюду нашли отталкивающие и страшные следы моровой язвы. Делегаты немедленно в письменной форме сообщили об этих зловещих новостях Санитарному трибуналу, который в самый день их получения, а именно 30 октября, распорядился, как говорит тот же Тадино, ввести обязательные пропуска, чтобы держать подальше от города лиц, прибывающих из мест, где обнаружилась зараза. И, «пока составлялся указ», отдал по этому поводу кое-какие предварительные общие распоряжения таможенным чиновникам.

Тем временем делегаты наспех предприняли меры, которые казались им наилучшими, и вернулись с печальным убеждением, что этих мер недостаточно для того, чтобы лечить и приостановить болезнь, которая уже приняла такую тяжелую форму и так распространилась.

Вернувшись 14 ноября и сделав отчет Трибуналу в устной, а затем и в письменной форме, делегаты получили от него поручение представиться губернатору и доложить ему о положении вещей. Они отправились и принесли следующий ответ: ему, мол, было очень неприятно услышать эти известия, и он был ими глубоко взволнован, однако заботы о войне являются все же более неотложными: *sed belli graviore esse curas*. Так передает Рипамонти, разбиравший реестры Санитарного ве-

¹ С. 24.

домства и беседовавший с Тадино, на которого была специально возложена эта миссия; если читатель припомнит, это была вторая миссия такого рода и с тем же результатом. Два или три дня спустя, 19 ноября, губернатор обнародовал указ, в котором приказывал устраивать общественные празднества по случаю дня рождения принца Карло, первенца короля Филиппа IV, насколько не беспокоясь и не заботясь о той опасности, которой было чревато столь большое стечение народа при таких обстоятельствах. Предписывалось, чтобы все было, как в обычное время, словно он ни о чем и не был предупрежден.

Человек этот, как мы уже говорили, был знаменитый Амброджо Спинола, посланный выправить положение на фронте и загладить промахи дона Гонсало, да кстати взять на себя и управление Миланским герцогством. Мы, тоже кстати, можем напомнить здесь, что он умер через несколько месяцев, во время этой самой войны, которая доставила ему столько волнений, и скончался он не от ран, на поле боя, а в постели, от огорчения и беспокойства, причиняемых ему упреками, нападками и всякого рода придирадками со стороны тех, кому он служил. История оплакала его судьбу и заклеимила неблагодарность этих людей. Она с большим старанием описала его военные и политические подвиги, воздала хвалу его дальновидности, энергии, твердости. Она могла бы также доискаться, куда делись все эти качества, когда чума грозила и обрушилась на население, вверенное его попечению или, вернее, его произволу.

Однако, оставляя в силе порицание этому человеку, надо отметить обстоятельство, несколько ослабляющее изумление перед его поведением и вызывающее вместе с тем изумление другого рода, гораздо более сильное, — это поведение самого населения, я хочу сказать, той его части, которой зараза еще не коснулась и у которой были все основания бояться ее. Когда пришли известия из деревень, где болезнь уже была в полном разгаре, деревень, которые как бы полукругом охватывают город, местами на расстоянии всего лишь восемнадцати — двадцати миль, кто мог бы подумать, что это не вызовет тотчас же всеобщего движения, стремления обезопасить себя всякими мерами, хорошо ли, плохо ли задуманными, что не возникнет, хотя бы и бесплодное, беспокойство? А все-таки если мемуары этой эпохи в чем-нибудь и были вполне единодушны, так это в утверждении, что ничего подобного не произошло. Прошлогодняя нужда, притеснения военщины, душевные потрясения — всего этого казалось более чем достаточным, чтобы объяснить возрастающую смертность. Если на площади, в лавке или дома кто-нибудь заикался о грозящей опасности, ссылаясь на чуму, его слова встречали недоверчивыми насмешками и выражениями презрения. Та же

самая беспечность, та же, лучше сказать, слепота и то же упорство господствовали в сенате, в Совете декурионов, в любом учреждении.

Зато кардинал Федерико, как только ему стало известно о первых случаях заразной болезни, предписал пастырским посланием, чтобы приходское духовенство между прочими делами почаще внушало народу мысль о серьезности приближавшейся опасности и строжайше обязывало всех разоблачать каждый новый случай заболевания, сдавая все зараженные или подозрительные вещи¹. Это, несомненно, тоже может быть отнесено к числу его поступков, достойных похвалы.

Санитарный трибунал просил и умолял о содействии, но получал крайне мало, почти ничего. Да и в самом Трибунале не проявляли той поспешности, какая требовалась настоятельной необходимостью. Как неоднократно утверждает Тадино и как это еще больше следует из всего контекста его сообщения, главным образом оба врача, убежденные в серьезном и непосредственном приближении опасности, все время подстегивали эту почтенную корпорацию, которой надлежало в свою очередь подстегивать других.

Мы уже видели, какая была проявлена медлительность не только в работе, но даже и в собирании сведений при получении первых известий о чуме. А вот еще другой пример медлительности, не менее удивительный, если только, разумеется, она не была вызвана препятствиями, которые ставило высшее начальство: упомянутый указ о пропусках, принятый 30 октября, был оформлен лишь 23-го числа следующего месяца, а обнаружен — 29-го, когда чума уже успела вступить в Милан.

Оба — и Тадино и Рипамонти, непременно хотели знать имя того, кто первый занес ее, и другие обстоятельства, связанные с этой личностью и с этим случаем. Действительно, когда хочешь изучить первопричину огромной смертности, при которой жертвы не только не могут быть переименованы, но даже и подсчитаны лишь приблизительно, в тысячах, появляется какое-то странное любопытство узнать те немногие первые имена, которые могли бы быть отмечены и сохранены. Это своеобразное отличие, это как бы право первородства в гибели заставляет видеть что-то роковое и достопримечательное и в самих жертвах и в их окружении, что в других случаях не вызывает никакого интереса.

Оба историка говорят, что это был итальянский солдат, состоявший на службе у Испании. Во всем остальном они сильно расходятся, начиная с имени. Согласно Тадино, это был некий Пьетро-Антонио Ловато, из войск, расквартированных

¹ «Житие Федерико Борromeо, составил Франческо Ривола», Милан, 1666, с. 582.

на территории Лекко; согласно Рипамонти — некий Пьер-Паоло Локати — из расквартированных в Кьявенне. Расходятся они и относительно дня его прибытия в Милан: первый указывает 22 октября, второй — то же число, но следующего месяца. И ни на того, ни на другого опираться нельзя. Обе эти даты находятся в противоречии с другими, гораздо более достоверными. Однако Рипамонти, писавший по поручению Генерального совета декурионов, должен был иметь в своем распоряжении много способов, чтобы собрать необходимые справки, а Тадино, в силу занимаемой им должности, мог быть осведомлен лучше всякого другого о факте такого рода. Впрочем, из сопоставления других дат, которые, как мы сказали, кажутся нам более точными, вытекает, что это случилось до обнародования указа о пропусках, и, если бы дело того стоило, можно было бы доказать или почти доказать, что это должно было произойти в первых числах того же месяца, но, конечно, читатель избавит нас от этого.

Как бы там ни было, этот злополучный пехотинец и носитель злосчастья вошел в Милан с большим узлом платья, купленного или украденного им у немецких солдат. Он остановился в доме своих родственников, в предместье Восточных ворот, поблизости от монастыря капуцинов. По прибытии он тут же захворал. Его снесли в больницу. Нарыв, появившийся у солдата под мышкой, заставил человека, ходившего за ним, заподозрить, что это было на самом деле. На четвертый день больной скончался.

Санитарный трибунал велел изолировать и не выпускать из дома всю его родню. Одежда его и постель, на которой он лежал в больнице, были сожжены. Двое служителей, которые ухаживали за ним, и монах, напутствовавший его, тоже заболели через несколько дней, — все трое чумой. Подозрение относительно характера болезни, возникшее в больнице с самого начала, и принятые в связи с этим меры предосторожности привели к тому, что зараза здесь дальше не распространилась. Но солдат оставил ее семена вне больницы, и они не замедлили дать ростки. Первый, к кому пристала чума, был хозяин дома, где проживал солдат, некий Карло Колонна, игрок на лютне. Тогда все жильцы этого дома были по приказу Санитарного ведомства отправлены в лазарет, где большинство из них заболело, вскоре некоторые умерли с явными признаками чумы.

Однако то, что уже было посеяно ими, их одеждой, обстановкой, расхищенной родственниками, прислужой, жильцами и укрытой от конфискации и предписанного трибуналом сожжения, а в особенности новые очаги заразы, возникшие в городе в силу несовершенства приказов, небрежности в их выполнении и умения их обходить, — все это, медленно назревая, расползлось повсюду в течение конца этого года и в

первые месяцы следующего 1630-го. Время от времени то в одном, то в другом городском квартале кто-нибудь заражался и умирал. Но так как случаи эти были редки, то никто не догадывался об их истинном значении, и даже наоборот, в народе все более крепла неосновательная вредная уверенность в том, что никакой чумы нет, что ее вообще никогда и не было. К тому же и многие врачи, являясь как бы эхом гласа народного (был ли он и в этом случае гласом Божиим?), высмеивали зловещие предсказания и грозные предупреждения немногих. У них всегда были наготове названия самых обычных болезней для определения каждого случая чумы, лечить который их позвали — безразлично, какие симптомы и какие признаки были налицо.

Сведения об этих случаях если и доходили до Санитарного ведомства, то почти всегда с опозданием и далеко не точные. Страх перед карантинном и лазаретом заставлял людей изощряться: о больных не заявляли, могильщиков и их начальство подкупали, от младших служащих самого Трибунала, посланных для осмотра трупов, получали за деньги подложные удостоверения.

Однако, когда Трибуналу все же удавалось обнаружить какой-нибудь случай, он отдавал приказание сжигать вещи заболевших, запечатывал дома, отправляя людей целыми семьями в лазарет. Отсюда легко сделать вывод, каков должен был быть гнев и ропот населения, «Знати, Купцов и просто-народья», — как говорит Тадино; ведь все были в равной мере убеждены, что все это ненужные и бесполезные придирки. Гнев обрушился прежде всего на обоих врачей: на вышеназванного Тадино и на сенатора Сеттала, сына главного врача, и дошел до такой степени, что стоило им появиться на площади, как на них набрасывались с ругательствами, а то и с камнями. И создалось удивительно своеобразное, достойное, чтобы его запечатлеть, положение, в котором находились в течение нескольких месяцев эти люди: они, увидев приближение ужасающего бедствия, выбивались из сил, чтобы его устранить, но встречали лишь препятствия там, где искали энергичной поддержки, и становились вместе с тем мишенью для негодующей молвы, получив прозвище врагов родины — *pro patriae hostibus*, как говорит Рипамонти.

Эта ненависть частично распространилась и на других врачей, убежденных, как и они, в реальности заразы и настаивавших на всяких предосторожностях, старавшихся передать и другим свою скорбную уверенность. Люди более осторожные обвиняли их в легковерии и упорстве. В глазах всех других тут был явный обман, злонамеренные козни, вызванные желанием нажиться на общем страхе.

Главный врач Лодовико Сеттала, в ту пору почти восьмидесятилетний старик, профессор медицины в Павийском уни-

верситете, а потом моральной философии в Милане, автор многих известнейших в то время трудов, прославившийся тем, что получил приглашения занять кафедру в других университетах, в Ингольштате, Пизе, Болонье, Падуе, и все их отклонил, был, несомненно, одним из самых авторитетных людей своего времени. К его славе ученого присоединялась еще слава его жизни, а к восхищению им — чувство огромного расположения за его великое человеколюбие, проявленное в лечении бедных и в добрых делах. Но есть одно обстоятельство, которое печалит нас и заглушает чувство уважения, внушаемое этими достоинствами, — впрочем, это обстоятельство в то время должно было сделать уважение к нему еще более всеобщим и глубоким: бедняга разделял самые общепринятые и самые пагубные предрассудки своих современников. Несомненно, он был передовым человеком, но не отрывался от толпы, а ведь это-то и влечет за собой всякие беды и часто ведет к потере влияния, приобретенного иными путями. И все же величайшего авторитета, которым он пользовался, оказалось в данном случае не только недостаточно, чтобы одержать победу над мнением тех, кого поэты именуют «невежественной чернью», а директора театров — «почтеннейшей публикой», но он даже не помог ему избавиться от враждебности и поношений со стороны той ее части, которой ничего не стоит перейти от суждений к наступлению и действиям.

Однажды, когда он в носилках направлялся к своим больным, его окружил народ, кричавший, что он главарь тех, кто хочет занести в Милан чуму. Он-де нагоняет страх на весь город своим хмурым видом, своей страшной бородой, и все для того, чтобы дать работу врачам. Толпа и ее ярость все возрастали: носильщики, почуяв недоброе, укрыли своего хозяина в случайно оказавшемся поблизости знакомом доме. Все это случилось с ним потому, что он ясно видел происходившее вокруг, ничего не скрывал и хотел спасти от чумы тысячи людей. А вот когда он в другой раз своим злополучным советом содействовал тому, что одну бедную, несчастную женщину пытали, рвали калеными щипцами и сожгли как колдунью лишь потому, что ее хозяин страдал какими-то странными болями в животе, а другой, старый ее хозяин, безумно в нее влюбился¹, — вероятно, тогда он получил за свою мудрость от публики новые похвалы и — что уже совершенно немыслимо себе представить — новое прозвище — достойнейшего гражданина.

Однако к концу марта, сначала в предместье у Восточных ворот, а затем и во всех остальных кварталах города, начали учащаться случаи заболевания и смертности со страшными явлениями судорог, сердцебиения, летаргии, бреда, со злове-

¹ «История Милана» графа Пьетро Верри, Милан, 1825, т. IV, с. 155.

щими признаками — кровоподтеками и нарывами. Смерть почти всегда наступала скоро, бурно, нередко внезапно, без малейших предварительных указаний на болезнь. Врачи, возражавшие против мнения, что это зараза, теперь не желали признавать того, что высмеивали раньше, однако вынужденные подвести под какое-то общее понятие новую болезнь, которая сделалась слишком распространенной и слишком явной, чтобы обойтись без наименования, остановились на названии: злокачественная лихорадка, моровая лихорадка, — жалкая условность, пустая игра слов, которая, однако, причинила огромный вред, ибо, считая, что истина найдена, она не допускала признания того, что необходимо было признать и видеть, а именно, что болезнь передавалась через прикосновение к больному. Власти, точно очнувшись от глубокого сна, начали несколько больше прислушиваться к указаниям и предложениям Санитарного ведомства, стали выполнять его постановления, требуемые секвестры и карантин, предписанные этим трибуналом. Последний также беспрестанно требовал денег на покрытие все возрастающих ежедневных расходов на лазарет и на всякие другие виды обслуживания и требовал их от декурионов, пока не будет решено (кажется, это так никогда и не было решено, а установилось само собой), касаются ли эти расходы города или королевской казны. На декурионов, в свою очередь, наседали великий канцлер, тоже по распоряжению губернатора, который снова отпирался осадить злополучное Казале; наседали и сенат, требуя, чтобы декурионы подумали, как снабдить город провиантом, прежде чем выйдет запрещение сноситься с другими местами, если, к несчастью, зараза распространится и там, и изыскивали средства на содержание большей части населения, которая осталась без работы. Декурионы старались добывать деньги займами и налогами, и из того, что им удавалось собрать, уделяли кое-что санитарному ведомству, кое-что бедным, а также покупали немного зерна: словом, частично удовлетворяли всевозможные нужды. А дни великих бедствий были еще впереди.

Перед лазаретом, население которого, несмотря на ежедневную убыль, ежедневно возрастало, стояла и другая трудная задача — наладить обслуживание и дисциплину, соблюдать предписанную изоляцию, в общем, поддерживать или, лучше сказать, установить режим, введенный Санитарным трибуналом. Ибо уже с самого начала там царила полнейшая неразбериха из-за своеволия самих заключенных, а также беспечности и попустительства больничной прислуги. Трибунал и декурионы, потеряв голову, надумали обратиться к капуцинам и умоляли падре комиссара провинции, который замещал незадолго до того умершего провинциала, чтобы он соблаговолил дать им людей, способных управлять этим царством от-

чаяния. Комиссар предложил им в начальники некоего падре Феличе Казати, человека уже в летах, который славился своим человеколюбием, энергией, кротостью, соединенной с душевной стойкостью, — что было им вполне заслужено, как это покажет дальнейшее. В товарищи и помощники ему предложили некоего падре Микеле Поццобонелли, человека еще молодого, но серьезного и строгого как по образу мыслей, так и по своему поведению. Их приняли с большой радостью, и 30 марта они появились в лазарете. Президент Санитарного ведомства совершил с ними обход, как бы вводя их во владение, и, созвав больничную прислугу и всех служащих, объявил им, что отныне падре Феличе является начальником всего лазарета и получает высшие и неограниченные полномочия. Мало-помалу, по мере того как несчастное сборище в лазарете все возрастало, в него поспешили и другие капучины. Они становились заведующими, исповедниками, управляющими, братьями милосердия, поварами, гардеробщиками, прачечниками, — словом, всем, чем придется. Падре Феличе, вечно занятый и озабоченный, и днем и ночью обходил портики, палаты, все огромное внутреннее помещение, иногда с посохом в руках, а иногда защищенный одной лишь власяницей. Всюду он вносил бодрость и порядок, успокаивал волнения, разбирал жалобы, угрожал, наказывал, распекал, ободрял, осушал и проливал слезы. В самом начале он схватил было чуму, но выздоровел и с новыми силами принялся за прежнюю свою деятельность. Многие из его собратьев расстались здесь с жизнью — и все сделали это с радостью.

Разумеется, такая диктатура была необычным выходом из положения, — необычным, как и само бедствие, как и сами времена. И не зная мы об этом ничего другого, достаточно только видеть, что те, которым вверено было столь ответственное дело, не нашли ничего лучшего, как перепоручить его, и притом людям, по самому уставу своему стоящим наиболее далеко от таких вещей, — уж одно это может служить доказательством и даже примером беспредельной грубости и неустроенности тогдашнего общества. Но вместе с тем, когда мы видим, как мужественно эти люди несли подобное бремя, это являет нам неплохой пример силы и умения, какое может проявить человеколюбие во всякие времена и при любом положении вещей. Прекрасно было то, что они взялись за это дело лишь только потому, что не нашлось никого, кто пошел бы на это, и не было у них другой цели, кроме служения людям, ни другой надежды на этом свете — кроме смерти, гораздо более завидной, чем желанной. Прекрасно и то, что это дело было предложено им лишь потому, что оно было трудно и опасно, ибо считали, что они должны были обладать той выдержкой и хладнокровием, которые столь необходимы и редки в такие моменты. И потому труды и мужество этих мо-

нахов заслуживают того, чтобы о них вспоминали с восхищением, с благодарностью, с той особой признательностью, которую мы, как бы все сообща, обязаны за великие услуги, оказанные людям людьми же, и тем более обязаны, что они не ждут ее себе в награду. «Не будь там этих Падре, — говорит Тадино, — весь Город наверное оказался бы уничтоженным, ибо дивное было дело, что эти Падре в столь короткий промежуток времени сделали так много для общественного блага, что, не получая от Города никакой помощи, разве лишь очень малую, они своим умением и прозорливостью содержали в лазарете столько тысяч бедняков». Число лиц, призреваемых в этом месте, за те семь месяцев, пока во главе его стоял падре Феличе, доходило до пятидесяти тысяч, согласно Рипамонти. Последний справедливо замечает, что о таком человеке ему все равно пришлось бы упоминать, если бы вместо описания бедствий города ему надо было бы рассказать о делах, послуживших к его прославлению.

Да, среди самого населения это упрямое отрицание чумы, естественно, стало ослабевать и исчезать, по мере того как болезнь распространялась, и притом распространялась путем соприкосновения и общения, — а тем более, когда она, погуляв некоторое время исключительно среди бедноты, начала поражать и людей более известных. Среди них был и главный врач Сеттала. Чрезвычайно популярный уже тогда, он и теперь заслуживает особого упоминания. Признали ли теперь люди, что бедный старик оказался прав? Кто знает. Чумой заболел он сам, его жена, двое сыновей, семь человек прислуги. Сам он и один из сыновей выжили, остальные умерли «Случаи эти, — говорит Тадино, — происшедшие в Городе в Знатных семьях, заставили Знать и плебс призадуматься, а недоверчивые Врачи и невежественная, безрассудная чернь начали поджимать губы, стискивать зубы и поднимать от удивления брови».

Однако хитрости и, так сказать, мстительность уличенного упрямства бывают иногда таковы, что заставляют желать, чтобы уж лучше оно оставалось до конца твердым и непоколебимым, вопреки разуму и очевидности. Вот это и был как раз один из таких случаев. Люди, так решительно и так долго отрицавшие, что рядом с ними, среди них гнездится зародыш болезни, который, естественно, будет развиваться и начнет свирепствовать, уже не могли больше оспаривать факт распространения заразы. Но, не желая признавать действительную причину распространения болезни (ведь это означало бы сознаться в своем большом заблуждении и большой вине), стремились во что бы то ни стало найти какую-нибудь другую причину, и готовы были принять всякую, кем бы она ни была выдвинута

К несчастью, одна такая причина была уже налицо — в понятиях и традициях, господствовавших тогда не только у нас,

но и в каждом уголке Европы: приворотные зелья, козни дьявола, тайные заговоры для того, чтобы привить чуму с помощью всяких заразных ядов и колдовства. Такие или подобные вещи уже предполагались и в них верили и во время многих других эпидемий моровых язв и, в частности, когда у нас вспыхнула чума за полстолетия до этого. К этому надо добавить, что в конце предыдущего года к губернатору прибыла, за подписью короля Филиппа IV, депеша с предупреждением о том, что из Мадрида убежали четверо французов, преследуемых по подозрению в распространении ядовитых заразных мазей. Пусть губернатор смотрит в оба, не объявятся ли они как-нибудь в Милане. Губернатор передал депешу сенату и Санитарному трибуналу, но, по-видимому, тогда ее оставили без внимания. Однако, когда чума вспыхнула и была уже признана, вспомнили и об этом предупреждении, узрев в нем лишнее подтверждение смутных подозрений насчет злодейского умысла; однако это же могло стать и первым поводом для их возникновения.

Но вот два случая, в одном из которых проявился слепой и безудержный страх, а в другом — какой-то злой умысел, превратили это смутное подозрение относительно возможности покушения в действительное подозрение, а для многих — в полную уверенность в существование подлинного покушения и реального заговора. А именно вечером 17 мая некоторым лицам показалось, что какие-то люди мазали чем-то в соборе перегородку, отделявшую места, отведенные порознь мужчинам и женщинам. Они распорядились вынести ночью из церкви перегородку вместе со всеми скамейками. Председатель Санитарного ведомства, явившийся с четырьмя членами коллегии для обследования, осмотрев перегородку, скамьи, чаши со святой водой и не найдя ничего такого, что могло бы подтвердить невежественное подозрение о покушении с ядами, решил, в угоду чужим бредням, и *скорее из излишней предосторожности, чем по необходимости*, решил, повторяю, что достаточно просто вымыть перегородку. Однако такое количество вещей, нагроможденных друг на друга, вызвало ужаснейшую панику в толпе, в глазах которой всякий предмет очень легко становится вещественным доказательством. Пошли разговоры, и все поверили, что в соборе были вымазаны все скамьи, стены и даже веревки у колоколов. И говорили об этом не только тогда: все мемуары современников, упоминающие об этом факте (из которых некоторые были написаны много лет спустя), говорят о нем с одинаковой убежденностью, но о подлинной истории его пришлось бы только догадываться, не будь она рассказана в одном письме Санитарного трибунала губернатору, хранящемся в так называемом архиве Сан-Феделе, откуда почерпнули ее и мы, приведя курсивом взятые оттуда места.

На следующее утро новое и еще более странное, еще более знаменательное зрелище поразило взоры и умы горожан. Во всех частях города двери и стены домов оказались вымазанными какой-то желтоватой мерзостью, набрызганной словно губкой. Не то это было чье-то глупое желание вызвать шумиху и всеобщий страх, не то более преступное намерение увеличить в народе смятение, не то что-нибудь еще. Случай этот засвидетельствован в таком виде, что мы сочли бы более вероятным приписать его не столько массовому психозу, сколько делу рук всего лишь нескольких лиц, — делу, которое, впрочем, явилось не первым и не последним в этом роде. Рипамонти, который по этому поводу часто поднимает на смех, а еще чаще оплакивает народное легковерие, в данном случае утверждает, что сам видел эту пачкотню, и описывает ее¹. В вышеприведенном письме чиновники Санитарного ведомства рассказывают об этом деле в тех же выражениях. Они говорят об осмотрах, об опытах с этим веществом над собаками, не давших никакого дурного результата, и добавляют, что, по их мнению, *подобное безрассудство явилось плодом скорее озорства, чем злонамеренности*: мысль, показывающая, что у них до этого момента было достаточно спокойствия духа, чтобы не видеть того, чего не было. Другие современные мемуары, общая об этом событии, тоже подчеркивают, что на первых порах многие держались того мнения, что это было сделано шутки ради, из озорства. Ни одни мемуары не упоминают кого-либо, кто бы отрицал это, а они, конечно, указали бы на это, если бы такие люди нашлись, хотя бы ради того, чтобы назвать их оригиналами. Я счел здесь вполне уместным привести и сопоставить эти подробности знаменитого умоисступления, частью мало известные, частью совершенно незнакомые, ибо мне представляется, что в заблуждениях, и особенно в заблуждениях массовых, самым интересным и самым полезным для наблюдения являются как раз пути распространения этих заблуждений, те формы и способы, какими им удалось проникнуть в умы и завладеть ими.

В городе, где и без того уже царило возбуждение, все перевернулось вверх дном. Хозяева домов опаливали вымазанные места горячей смолой. Прохожие останавливались, глядя на это, и приходили в ужас. Чужеземцев (уже по одному этому внушавших подозрения), которых в те времена было легко узнать по одежде, народ хватал на улицах и отводил в суд. Производились допросы и дознания и схваченных и тех, кто схва-

¹ «...и мы тоже ходили смотреть. Местами неравномерно разбросаны были пятнистые подтеки, словно кто-то разбрызгивал по стене впитанную губкой жидкость или выжимал эту губку об стену; там и сям видны были двери и входы в жилища, запачканные таким же самым обрызгивателем» (Рипамонти, с. 75).

тил их, и свидетелей. Виновных не оказывалось, — умы еще могли сомневаться, рассуждать, понимать. Санитарный трибунал обнародовал указ, в котором обещал денежную награду и безнаказанность тому, кто найдет виновника или виновников этого дела. *Находя никоим образом недопустимым*, — говорят эти синьоры в приведенном выше письме, которое помечено 21 мая, но написано было, очевидно, 19-го, в день, преставленный на печатном указе, — *чтобы настоящее преступление каким бы то ни было образом осталось безнаказанным, особенно в такое опасное и тревожное время, мы в утешение и успокоение нашего народа и с целью добыть какие-либо указания об этом поступке обнародовали ныне указ и т. д.* В самом указе, однако, нет никакого сколько-нибудь прямого указания на то разумное и успокоительное предположение, которое было высказано губернатору, — полное умолчание, одновременно подтверждающее безумную предубежденность народа и уступчивость самого Трибунала, тем более достойную порицания, чем пагубнее она могла оказаться.

Пока Трибунал доискивался, многие из жителей, как обычно бывает в таких случаях, уже доискались. Те, которые думали, что эта мазь действительно ядовита, усматривали в этом: одни — месть со стороны дона Гонсало Фернандеса ди Кордова за оскорбление, нанесенное ему при отъезде; другие — хитрость кардинала Ришелье, с целью обезлюдить Милан и овладеть им без всяких трудностей; третьи, неизвестно по каким соображениям, считали виновником графа ди Коллальто, Валленштейна, либо кое-кого из миланской знати. Не было, как мы сказали, недостатка и в таких, которые видели в этом поступке не более как глупую шутку и приписывали ее школярам, синьорам, офицерам, которым наскучила осада Казале. А когда оказалось, что никакого заражения и поголовной смертности, которых столь опасались, так и не последовало, то это, по-видимому, повело к тому, что первоначальный страх стал тогда уже понемногу стихать, и все дело было предано или казалось преданным забвению.

Впрочем, некоторые все еще не были убеждены, что чума существует. А так как и в лазарете и в городе кое-кто от нее все же выздоравливал, то (всегда любопытно знать последние доводы точки зрения, опровергнутой очевидностью) — «в народе, а также среди многих предубежденных врачей, стали поговаривать, что это не настоящая чума, иначе все бы перемерли». Чтобы устранить всякое сомнение, Санитарный трибунал нашел средство, отвечавшее необходимости, способ вполне наглядный, из тех, что только могли потребовать и подсказать те времена. В один из дней праздника Пятидесятницы горожане обычно стекались на кладбище Сан-Грегорио за Восточными воротами помолиться за умерших в прошлую эпидемию чумы и похороненных в этом месте. Пользуясь этим благо-

честивым обычаем как поводом для развлечения и зрелища, они отправлялись туда разодетые в пух и прах. В этот день, вместе со многими другими, умерла от чумы целая семья. В час наибольшего скопления народа, посреди экипажей, всадников и пешеходов, появилась повозка: по приказу Санитарного ведомства на вышеназванное кладбище везли обнаженные трупы погибшей семьи, чтобы толпа воочию могла увидеть на них явные следы моровой язвы. Крики отвращения и ужаса раздавались повсюду, где проезжала повозка. Толпа, провожая ее, еще долго гудела вслед, и такой же гул встречал появление повозки в новом месте. В чуму стали верить больше. Впрочем, она и сама с каждым днем все больше давала знать о себе, да и упомянутое скопление людей в немалой степени способствовало ее распространению. Итак, вначале — чумы нет, решительно нет, никоим образом; запрещается даже произносить это слово. Дальше — чумные лихорадки: понятие чумы допускается обходным путем в виде прилагательного. Еще дальше — не настоящая чума; собственно говоря, конечно, чума, но лишь в известном смысле этого слова; не подлинная чума, но что-то, чему нельзя подыскать другого названия. И наконец — несомненная чума, бесспорная; но тут уже к ней привязалось новое понятие, понятие отравления и злого умысла, вносящее путаницу в основное понятие, выраженное словом, которым теперь уже нельзя было пренебречь.

Мне кажется, нет необходимости быть очень сведущим в истории понятий и слов для того, чтобы знать, что многие из них проделали подобный же путь. Благодарение небу, у нас не так уж много понятий и слов такого рода и такой значимости, да еще приобретающих свою очевидность такою дорогой ценою, таких, с которыми можно сочетать обстоятельства подобного рода. Однако как в малых, так и в больших делах можно было бы в большинстве случаев избежать такого длинного и извилистого пути, придерживаясь уже давно испытанного способа: наблюдать, слушать, сравнивать и думать, прежде чем говорить.

Впрочем, говорить — само по себе дело настолько более легкое, чем все остальное вместе взятое, что даже, я повторяю, мы, — ведь и мы люди, — вообще тоже заслуживаем некоторого снисхождения.

Глава тридцать вторая

Так как становилось все труднее удовлетворять тяжелые требования, выдвигаемые обстоятельствами, то в Совете декурионов 4 мая было решено обратиться за помощью к губернатору. И вот 22-го числа в лагерь были отправлены два пред-

ставителя коллегии декурионов с тем, чтобы ознакомить губернатора с тяжелым положением города: огромные расходы, пустая казна, заложенные доходы будущих лет, несобранные текущие налоги из-за общего обнищания, вызванного столь многими причинами и особенно разорением во время войны. Далее предстояло убедить губернатора в том, что, согласно нерушимо действующим законам и обычаям и особому постановлению Карла V, издержки по чуме должны ложиться на казну: так, в чумную эпидемию 1576 года губернатор маркиз Айямонте не только прекратил взимание всех казенных налогов, но даже дал городу субсидию в сорок тысяч скуди из той же казны. Наконец, поручено было просить губернатора о четырех вещах: чтобы он прекратил взимание налогов, как было сделано в тот раз; чтобы казна отпустила денег; чтобы губернатор поставил в известность короля о бедствиях города и провинции; чтобы он освободил от новых военных постоев страну, уже разоренную прежними. Губернатор ответил на это посланием, где высказал свое соболезнование и новые увещания: он-де крайне сожалеет, что не может быть в городе, дабы приложить все свое старание и всячески помочь пострадавшим, но надеется, что усердие господ членов Трибунала возместит это. Время сейчас такое, что требует расходов, не шадя средств, и уменья изворачиваться на все лады. Что же касается высказанных требований, *prosiere en el mejor modo que el tiempo y necesidades presentes permitieren*¹. И внизу каракули, которые должны были обозначать: «Амброджо Спинола», столь же четкие, как и его обещания. Великий канцлер Феррер написал ему, что ответ этот был прочитан декурионами *con gran desconsuelo*². Потом последовали новые поездки туда и обратно, запросы и ответы; но я не думаю, чтобы пришли к более определенным решениям. Некоторое время спустя, в самый разгар чумы, губернатор особой грамотой передал свою власть Ферреру, ибо ему самому приходится, писал он, думать о войне.

Кстати сказать, эта война унесла, не считая солдат, по меньшей мере миллион людей, погибших от заразы в Ломбардии, Венецианской области, Пьемонте, Тоскане и частично в Романье и опустошила, как было видно выше, местности, которых она только коснулась. Можете себе представить, что делалось там, где она была в полном разгаре. Война эта, после взятия и жестокого разграбления Мантуи, закончилась признанием всеми нового герцога, для отстранения которого она была затеяна. Нужно, однако, сказать, что ему пришлось уступить герцогу Савойскому часть Монферрато с доходом в пятнадцать тысяч скуди, а Ферранте, герцогу Гвасталлы, —

¹ Он готов озаботиться наилучшим способом, насколько позволит момент и насущные нужды (*исп*)

² с великим прискорбием (*исп*)

другие земли с доходом в шесть тысяч; был также заключен еще и особый совершенно секретный договор, по которому вышеназванный герцог Савойский уступил Франции Пинероло; спустя некоторое время договор этот был выполнен уже под другим предлогом, причем были пущены в ход всевозможные хитросплетения.

Вместе с этим решением декурионы приняли и другое: просить кардинала архиепископа о том, чтобы торжественная процессия пронесла по городу останки Сан-Карло

Добрый прелат отказал по многим соображениям. Ему было не по душе это упование людей на средство, ими же самими придуманное, и он опасался, как бы эта надежда не стала соблазном, если не получится ожидаемого результата, чего он тоже опасался¹.

Больше же всего он опасался, что *в случае если эти мазуны действительно существуют*, как бы эта процессия не оказалась слишком подходящим моментом для совершения преступления. А если они не существуют, то столь огромное стечение народа лишь поможет еще большему распространению заразы — *опасность гораздо более реальная*². Ибо похороненное было подозрение относительно обмазываний тем временем вновь ожило, стало почти всеобщим и более упорным, чем прежде.

Снова видели, или на этот раз, может быть, только показало, что видели обмазанные стены, подъезды общественных зданий, двери домов, дверные молотки. Молва о подобных открытиях передавалась из уст в уста, и, как это бывает чаще всего, когда уже существует известное предубеждение, люди принимали услышанное за виденное воочию. Люди, все более и более огорчавшиеся таким нашествием бед, ожесточенные упорством опасности, все охотнее прислушивались к этим бредням: ведь гнев стремится наказывать, и, как остро заметил по этому поводу один умный человек, предпочитает приписывать всякие бедствия человеческой извращенности, против которой можно направить острие своей мести, чем признать такую причину, с которой ничего больше не остается делать, как только примириться. Яд тонкий, скородействующий, всепроникающий — этих слов было более чем достаточно, чтобы объяснить неистовую силу и все самые непонятные и неожиданные свойства болезни. Говорили, что яд этот — смесь из жаб, змей, слюны и гноя зараженных

¹ «Памятная записка о примечательных делах, случившихся в Милане в связи с заразной болезнью в 1630 году, и т. д., собранных отцом Пио ла Кроче», Милан, 1730. Извлечена, очевидно, из неизданного сочинения автора, жившего во время моровой язвы, если только это не простое издание первоначального труда, а верней всего, новая компиляция.

² «Если злодейские мази и мазуны существуют в городе. Если их нет тем действительнее зло» (Рипамонти, с. 185).

чумой и еще чего-то худшего, словом, из всего самого грязного и ужасного, что только может придумать дикое и извращенное воображение. Потом сюда же присоединили еще чары колдовства, для которых всякое действие становилось возможным, всякое противодействие теряло силу, всякие трудности оказывались преодолимыми. Если после первого обмазывания результат сказался не сразу, причина этого была ясна: то была неудавшаяся попытка отравителей — еще новичков. Теперь искусство их усовершенствовалось и стремление к выполнению адского замысла сделалось еще более упорным. Отныне всякий, продолжавший поддерживать мнение, что все это шутки, и отрицать существование заговора, считался слепцом и упрямым, если, чего доброго, не попадал под подозрение, что он заинтересован в отвлечении общественного внимания от истины, что он сам тоже соучастник, мазун. Словечко это очень скоро вошло в обиход, приобретая грозный, страшный смысл. При такой убежденности в существовании мазунов их должны были почти неминуемо отыскать, — все смотрели в оба, всякий поступок мог вызвать подозрение. А подозрение легко переходило в уверенность, уверенность — в ярость.

Рипамонти приводит в доказательство этого два случая, предупреждая, что выбрал их не как самые страшные среди происходивших ежедневно, а лишь потому, что, к сожалению, ему довелось быть свидетелем и того и другого.

В церкви Сан-Антонио, в день какого-то торжества, неизвестный старик, лет восьмидесяти, а то и больше, помолившись некоторое время, стоя на коленях, захотел присесть и предварительно смахнул плащом пыль со скамьи. «Вот этот старик обмазывает скамьи!» — закричали в один голос несколько женщин, заметивших его жест. Народ, находившийся в церкви (подумать только, в церкви!), набросился на старика: его схватили за волосы, — за его седые волосы! — стали осыпать ударами кулаков и пинками и поволокли, выталкивая вон. И если его тут же не прикончили, то лишь для того, чтобы потащить полуживого в тюрьму, к судьям, на пытку. «Я видел его в то время, как они тащили его, — говорит Рипамонти, — и больше я о нем ничего не знаю. Думаю, он едва ли мог прожить после этого еще несколько минут».

Другой случай (произошедший на следующий день) был не менее странным, но не столь роковым. Трое молодых друзей-французов — ученый, живописец и механик, приехавшие посмотреть Италию, познакомиться с ее древностями и при случае подработать, подошли уж не знаю к какой из наружных сторон собора и стали внимательно рассматривать ее. Какой-то прохожий, увидя их, остановился и кивнул своему другу, не замедлившему подойти. Образовалась целая кучка, глядевшая на этих людей не отрывая глаз, ибо одежда, прическа и

сумки обличали в них иностранцев, и — что еще хуже — французов.

Они протянули руки, чтобы потрогать стену, как бы желая убедиться, что она из мрамора. Этого было достаточно. Их окружили, схватили, избили и, осыпая ударами, потащили в тюрьму. По счастливой случайности, дворец юстиции находился недалеко от собора, и, по случайности еще более счастливой, их признали невиновными и отпустили.

Такие вещи случались не только в городе: безумие распространялось как зараза. Путник, встреченный крестьянами в стороне от большой дороги или просто плетущийся, зевая по сторонам, или прилегший наземь, чтобы отдохнуть, незнакомый человек, в котором находили что-нибудь странное, подозрительное в лице, в одежде — все это были «мазуны». По первому же случайному указанию, по крику какого-нибудь мальчугана, звонили в набат, со всех сторон сбегались жители, несчастных забрасывали камнями либо хватали и в сопровождении всей толпы вели в тюрьму. Об этом сообщает сам Рипамонти. Таким образом, тюрьма на некоторое время стала прибежищем спасения.

Однако декурионы, не обескураженные отказом мудрого прелата, продолжали настойчиво повторять свою просьбу при шумной поддержке всего населения. Федериги не сдавался еще некоторое время, пытаясь убедить их, — вот все, что мог сделать здравый смысл одного человека против духа времени и упорства многих. Учítывая, что самое представление об опасности было в те времена смутным, сбивчивым, весьма далеким от той очевидности, какую находят в нем сейчас, — нетрудно понять, как здравые доводы Федериги могли, даже в его собственном сознании, подпасть под влияние чужих ошибочных мнений. Была ли уступчивость, какую он проявил, выражением некоторой слабости воли, это остается тайной человеческого сердца. Разумеется, если в каком-либо случае кажется, что ошибку можно всецело приписать разуму и снять ее с совести, то это бывает тогда, когда речь идет о тех немногих (а он, конечно, был из их числа), у которых вся жизнь является сплошным повиновением совести без всякой оглядки на какие бы то ни было житейские интересы. Итак, ему пришлось уступить повторным настояниям и дать согласие на устройство процессии, и кроме того, пойти навстречу горячему желанию, чтобы рака с останками Сан-Карло оставалась после этого в течение восьми дней выставленной в главном алтаре собора.

Я нигде не нашел, чтобы Санитарный трибунал или кто-либо другой выразил неудовольствие или как-то возражал по этому поводу. Вышеупомянутый Трибунал распорядился только принять некоторые меры предосторожности, которые, не устраняя опасности, свидетельствовали лишь о страхе

перед ней. Он предписал более жесткие правила для допуска людей в город, а чтобы обеспечить их выполнение, приказал запереть городские ворота, а также заколотить двери домов, подлежащих карантину, чтобы по мере возможности устранить от участия в процессии подозрительных и зараженных лиц. Таких домов, насколько вообще может быть достоверным в этом случае простое утверждение одного писателя, притом писателя-современника, было около пятисот¹.

Три дня ушло на приготовления. В назначенный день, 11 июня, на заре, процессия вышла из собора. Впереди тянулась длинная вереница людей, главным образом женщин, с лицами, закрытыми широким покрывалом, многие босые, в грубой покаянной одежде. За ними шли цехи, предшествуемые своими знаменами, братства в одеяниях различных покроев и цветов; потом монашеские ордена, дальше — белое духовенство, каждый со знаком своего звания и со свечой или торчетто в руках. Посредине, при ярчайшем свете факелов, под звуки громких песнопений, двигалась под богатым балдахинном рака, которую несли четыре каноника, одетые с большой пышностью, время от времени сменявшиеся. Сквозь хрусталь виднелись чтимые останки, облаченные в великолепное епископское одеяние, с митрой на голове; в изменившихся, искаженных чертах еще можно было различить кое-какие следы прежнего лица, каким его рисовали на портретах и каким помнили его еще те, кому довелось видеть и чтить его при жизни. Первым за останками умершего пастыря (так говорит Рипамонти, у которого мы главным образом и заимствовали это описание) как ввиду его заслуг, происхождения и сана, так в данный момент и из уважения к его особе, шествовал архиепископ Федерико. За ним следовало остальное духовенство, потом — должностные лица в своих самых парадных одеждах, потом знать, кто — в великолепном убранстве, словно желая подчеркнуть этим торжественность обряда, кто — в знак покаяния — во всем черном, а некоторые босые и в плащах с капюшонами, скрывающими лица; и все с торчетти в руках. Шествие замыкала пестрая толпа народа.

Вся улица была убрана по-праздничному. Кто побогаче, выставили напоказ свои самые ценные вещи. Фасады домов победнее были разукрашены зажиточными соседями или на общественный счет, кое-где вместо убранства, а кое-где поверх него свисали зеленые ветви. Повсюду развешаны были картины, надписи, эмблемы; на подоконниках стояли на виду вазы, всевозможные редкости, всякое старье, и везде — свечи. Из многих окон помещенные в карантин больные смотрели на процессию и провожали ее молитвами. На остальных ули-

¹ «Состояние государства Миланского.. и т. д., сочинение Кавацио делла Сомалиа», Милан, 1653, с. 482.

цах города царил тишина; разве только кто-нибудь, тоже выглянув из окна, напряженно прислушивался к замирающему гулу; были и такие — среди них попадались даже монахини, — которые взбирались на крыши, чтобы хоть издали увидеть раку, шествие, вообще что-нибудь.

Процессия прошла по всем кварталам города. У каждого перекрестка, или пьяцетты, откуда главные улицы расходятся в сторону пригородов (тогда они еще сохраняли старинное название *карроби*, ныне удерживавшееся лишь за одним из них), делали остановку и ставили раку около креста, воздвигнутого Сан-Карло в прошлую чуму на каждом таком перекрестке. Иные из этих крестов сохранились еще и поныне. Словом, в собор вернулись далеко за полдень.

И вот, на следующий день, в то время когда появилась дерзкая надежда, а у многих даже фанатичная вера в то, что процессия должна прекратить чуму, количество умерших во всех слоях населения, во всех частях города возросло до такой степени, таким внезапным скачком, что не было человека, который не усматривал бы причины или повода к тому именно в самой процессии. Но сколь изумительны и прискорбны силы всеобщего предубеждения! Большинство приписывало эту вспышку не огромному скоплению людей, долго находившихся бок о бок, не бесконечному множеству случайных соприкосновений, — нет, приписывали все той свободе, какую-де получили «мазуны» для широкого выполнения своего гнусного замысла. Пошли разговоры, что, мол, они, замешавшись в толпу, постарались заразить свою мазью возможно большее количество людей. Но так как этот способ не казался достаточным и пригодным для того, чтобы вызвать столь большую смертность во всех слоях общества, и, насколько можно судить, даже самому внимательному и притом ослепленному подозрительностью взгляду не удалось заметить никаких следов, никаких пятен на стенах или где-либо еще — то для объяснения этого факта пришлось прибегнуть к другому вымыслу, существующему уже давно и в то время принятому в европейской науке, а именно к вымыслу о ядовитых и вредоносных порошках. Стали говорить, что такими порошками были посыпаны улицы и особенно места остановок и они приставали к одежде, а тем более к ногам, ибо люди в этот день в огромном большинстве шли босиком. «Вот так-то самый день процессии, — по выражению одного современного писателя¹, — стал свидетелем борьбы благочестия с нечестивостью, вероломства с чистосердечием, утраты с приобретением». А на самом деле бед-

¹ Агостино Лампуньяно, «Чума, случившаяся в Милане в 1630 году», Милан, 1634, с. 44.

ный здравый смысл человеческий боролся с призраками, им же самим созданными.

С этого дня болезнь стала повальной, — за короткое время почти не осталось дома, не зараженного ею. В несколько дней население лазарета, по словам вышеприведенного Сомалья, увеличилось с двух тысяч до двенадцати. Позднее оно дошло, по единодушному мнению, до шестнадцати тысяч. 4 июля, как я нахожу в другом письме чиновников Санитарного ведомства к губернатору, ежедневная смертность превысила пятьсот душ. Еще позднее, в самый разгар чумы, она дошла, согласно самому общепринятому подсчету, до тысячи двухсот, до тысячи пятисот и даже до трех с половиной тысяч и более, если верить Тадино. Он же уверяет, что «по произведенному подсчету», после чумы население Милана уменьшилось до шестидесяти четырех тысяч душ с небольшим, между тем как раньше оно превышало двести пятьдесят тысяч. Согласно Рипамонти, оно равнялось только двумстам тысячам; по его словам, выходит, что умерших было сто сорок тысяч, согласно спискам гражданского состояния, не считая тех, которых нельзя было учесть. Другие называют большее или меньшее, но еще более случайное число.

Подумайте теперь, в каком отчаянном положении должны были оказаться декурионы, на плечи которых легла вся тяжесть забот об общественных нуждах, об исправлении того, что еще можно было исправить при таком бедствии. Приходилось ежедневно заменять, ежедневно увеличивать число общественных слуг различного рода: *монатти*, *приставов*, комиссаров. Первые из них должны были исполнять самые тяжелые и опасные работы, вызванные чумой: убирать трупы из домов, с улиц, из лазарета; подвозить их к могилам и закапывать; относить или отводить в лазарет больных и ухаживать там за ними; сжигать, очищать зараженные и подозрительные вещи. Самое название их Рипамонти производит от греческого «монос» — один; Гаспаре Бугатти (в одном описании предыдущей чумы) — от латинского *мопеге* — увещевать; но вместе с тем колеблется, и не без основания, не немецкое ли это слово, потому что людей этих в большинстве случаев вербовали в Швейцарии и в Гриджони. Действительно, не было бы нелепостью считать это слово за искаженное немецкое *monathlich* (месячный), ибо при неопределенности того, как долго будет надобность в этих людях, договаривались с ними каждый раз на месяц. Особая обязанность приставов состояла в том, чтобы идти впереди повозок и звоном колокольчика предупреждать прохожих, что надо удалиться. Комиссары распоряжались и теми и другими, непосредственно подчиняясь приказам Санитарного трибунала. Нужно было снабжать лазарет врачами, хирургами, лекарствами, пищей, всеми больничными принадлежностями; нужно было подыс-

кивать и устраивать новые помещения для больных, ежедневно прибывавших. С этой целью наспех сооружены были из дерева и соломы бараки во внутреннем дворе лазарета; был открыт новый лазарет, состоящий из бараков, окруженных простой изгородью, для размещения в них четырех тысяч человек. И так как мест все же не хватало, постановили открыть еще два, приступили к работе, но, за отсутствием всякого рода средств, они так и остались незаконченными. И средства, и люди, и бодрость — все постепенно убывало, по мере роста нужды.

И не только одно выполнение всегда отставало от предположений и приказаний. Не только многие нужды, к сожалению, слишком неотложные, плохо удовлетворялись даже на словах. Дело дошло до такого крайнего бессилия и отчаяния, что многие из этих нужд, вызывающих больше всего сострадания и самых настоятельных, никак не предусматривались. Так, например, умирало очень много беспризорных детей, матери которых погибли от чумы. Санитарное ведомство предложило учредить приют для таких детей и для нуждающихся рожениц, чтобы хоть что-нибудь сделать для них, — и не могло ничего добиться. «Тем не менее, — говорит Тадино, — приходилось до известной степени быть снисходительным к городским декурионам, которых угнетала и терзала своими произвольными распоряжениями недисциплинированная и бесцеремонная военщина. А еще хуже было во всем несчастном герцогстве, принимая во внимание, что от губернатора нельзя было получить никакой помощи, никаких припасов, — у него только и было разговору, что время теперь военное и нужно хорошо содержать солдат»¹. Вот ведь как важно было взять Казале! Столь опьяняющей казалась слава победы, независимо от повода и цели, ради которой сражаются!

При таких условиях, когда огромная, но единственная могила, вырытая по соседству с лазаретом, оказалась переполненной, и когда не только в лазарете, но и повсюду в городе валялись непогребенные трупы, которых с каждым днем становилось все больше, городские власти, после тщетных поисков рабочих рук для выполнения этой печальной работы, были вынуждены признать, что они не знают, что им делать дальше. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б не явилась чрезвычайная помощь. В отчаянии президент Санитарного ведомства обратился со слезами на глазах к тем двум доблестным монахам, которые управляли лазаретом, и падре Микеле взялся в четырехдневный срок очистить город от трупов, а в восьмидневный — вырыть столько могильных ям, что хватит не только для текущих нужд, но и на будущее, прини-

¹ С. 117.

мая во внимание, что может быть еще хуже. В сопровождении одного из братии и нескольких человек из Трибунала, предоставленных ему президентом, он отправился за город, чтобы подыскать крестьян, и, отчасти благодаря авторитету Трибунала, а отчасти своего одеяния и силы своих слов, набрал до двухсот человек, которым и велел вырыть три огромнейших могильных ямы. Потом из лазарета были посланы монахи подобрать мертвых, так что в намеченный день обещание оказалось выполненным.

Однажды лазарет остался совсем без врачей. И лишь после того, как им было обещано хорошее жалование, а также всевозможные почести, с трудом и не сразу удалось заполучить врачей обратно, но все же их было куда меньше, чем требовалось. Часто случалось, что вот-вот могли кончиться съестные припасы, так что людей охватывала тревога, не придется ли им помирать и с голоду. И не раз, когда ломали голову, где бы достать самое необходимое, являлась своевременная щедрая помощь в виде нежданных приношений частных лиц; ведь среди всеобщего потрясения, полного равнодушия к страданиям других, порожденного непрестанною боязнью за себя, всегда находились души, готовые к милосердию; были и иные, в которых милосердие вспыхивает, когда кончаются все земные радости, точно так же, как во время гибели и бегства многих, кому надлежало распоряжаться и принимать всякие меры, встречались все же и такие, здоровые телом и крепкие духом, что оставались на своем посту. И наконец, были люди, движимые состраданием, которые брали на себя и самоотверженно несли заботы, совершенно для них необязательные.

Но вот где бросалась в глаза безраздельная, живая и стойкая преданность тяжелому в данных условиях долгу, — так это среди духовных лиц. В лазаретах, в самом городе, их помощь всегда была налицо. Они появлялись там, где люди страдали, их всегда можно было видеть среди страждущих и умирающих, и порой они сами становились страждущими и гибли. К поддержке духовной они по мере сил присоединяли и мирскую, оказывая всякую услугу, какая требовалась обстоятельствами. Только в городе умерло от заразы более шестидесяти приходских курато — приблизительно восемь девятых всего состава.

Федериго, как этого и следовало ожидать, подбадривал всех своим личным примером. Когда почти все близкие ему люди погибли и родственники, высшие должностные лица, а также окрестные князья настаивали на том, чтобы он укрылся от опасности, уединившись в какой-нибудь вилле, архиепископ отверг эти советы и дал отпор всем настояниям с той же твердостью духа, с какой он писал приходским священникам: «Будьте скорее расположены к тому, чтобы рас-

статься с этой брэнной жизнью, чем с этой семьей нашей, с этими чадами нашими. С любовью идите навстречу чуме, словно к награде, словно к новой жизни, раз вы можете этим привлечь ко Христу хоть единую душу человеческую»¹. Он не пренебрегал мерами предосторожности, если они не мешали ему исполнять свой долг (на этот счет он даже давал наставления и правила духовенству); и вместе с тем не обращал внимания на опасность, казалось, даже не замечал ее, когда творил свои добрые дела и ему приходилось сталкиваться с нею. Не говоря уже о священниках, среди которых он всегда появлялся, чтобы поощрить и направить их рвение, подгоняя тех, кто работал с прохладцей, он посылал их занять места погибших собратьев, — он настаивал, чтобы к нему был открыт доступ всякому, кто в нем нуждался. Он посещал лазареты для утешения больных и для поощрения персонала. Обходя весь город, приносил помощь несчастным, сидящим взаперти в домах, останавливаясь у дверей, под окнами, чтобы выслушать их жалобы, сказать в ответ несколько слов утешения и бодрости. Словом, он жил, целиком уйдя в самую гущу заразы и в конце концов сам дивясь тому, что вышел из нее невредимым.

Так в общественных бедствиях и в длительных потрясениях какого бы то ни было обычного порядка вещей всегда замечается усиление, подъем доблести, но, к сожалению, вместе с тем наблюдается и усиление, — притом обычно почти поголовное, — и всяких пороков. И это тоже было отмечено. Злодеи, которых чума пощадила и не устрасила, усмотрели во всеобщем смятении, в ослаблении власти новую возможность для своей деятельности и в то же время уверенность в безнаказанности. Более того, исполнение приказов, издаваемых властями, оказалось в значительной мере в руках худших из них. На должность монатти и приставов обычно шли лишь те, для которых соблазн грабежей и произвола был сильнее страха перед заразой, сильнее, чем всякое естественное отвращение. Им были предписаны точнейшие правила, объявлены строжайшие наказания, назначены определенные места, в начальники даны комиссары. Над теми и другими, как мы уже сказали, в каждом квартале города были делегаты из должностных лиц и представителей знати, облеченные полномочиями принимать всякие меры общего характера в случаях нарушения порядка.

До поры до времени такая система держалась и действовала с отменным успехом. Но по мере того как с каждым днем все росло количество умирающих, спасавшихся бегством, терявших голову, дело дошло до того, что стало некому держать в узде всех этих людей. Особенно бесчинствовали

¹ Рипамонти, с 164

монатти. Как хозяева и враги входили они в дома, и, не говоря уже о хищениях и о том, как они обращались с несчастными, заболевшими чумой, попадавшими им в руки, они своими зараженными, мерзкими руками хватали здоровых — детей, родителей, жен, мужей, угрожая стащить их в лазарет, если они не откупятся деньгами. В других случаях они торговали своими услугами, отказываясь уносить уже разлагавшиеся трупы меньше чем за столько-то скуди. Говорили (верить или не верить этому — при легковерии одних и коварстве других — одинаково опасно) — и Тадино тоже подтверждает это¹, — что монатти и приставы нарочно роняли с повозок зараженные вещи, чтобы содействовать распространению чумы, ставшей для них доходной статьей, их царством, их праздником. Другие проклятые, выдавая себя за монатти, привязав к ноге, как это было предписано, колокольчик, чтобы давать знать о себе и предупреждать о своем приближении, входили в дома и хозяйничали там вовсю. В некоторые дома, открытые и уже опустевшие либо населенные лишь тяжело больными или умирающими, безнаказанно забирались воры с целью грабежа. Другие дома подвергались внезапному налету полицейских, которые делали то же самое, если не почище. Наряду с извращением нравов возрастал и всеобщий психоз: всякие так или иначе господствовавшие заблуждения под влиянием растерянности и возбуждения умов приобретали чудовищную силу и получали более быстрое и широкое распространение. И все это способствовало углублению и росту того особого страха перед «мазунами», который по своему действию и по своим проявлениям часто являлся, как мы уже видели, другим видом извращения. Страх перед этой мнимой опасностью наполнял и терзал души людей гораздо сильнее, чем подлинная, реально существовавшая опасность. «И в то время как валявшиеся повсюду тела или целые груды тел, — говорит Рипамонти, — постоянно попадавшие на глаза и под ноги, превращали весь город как бы в одни сплошные похороны, было что-то еще более омерзительное и злое в этом взаимном озлоблении, в этой необузданной и чудовищной подозрительности... Заподозрить готовы были не только соседа, друга, гостя. Но даже такие отношения, освященные узами человеческой любви, как между мужем и женой, отцом и сыном, братьями, становились предметом страха и — о горе и стыд! — домашняя трапеза, супружеское ложе внушали ужас, словно западни, таившие в себе отраву».

Воображаемый широкий охват, необычность заговора тревожили все умы, подрывая основы взаимного доверия. Вначале думали, что эти предполагаемые «мазуны» действуют под

¹ С. 102.

влиянием тщеславия и алчности; потом стали воображать и верить, что в этом мазании таится какое-то дьявольское сладострастие, какая-то притягательная сила, побеждающая волю. Бред больных, которые обвиняли самих себя в том, чего опасались от других, казался откровением и, так сказать, делал вероятным в глазах каждого все, что угодно. Но больше всяких слов должны были поражать наглядные примеры, когда случалось, что чумные больные в бреду начинали совершать те действия, которые должны были, как им казалось, совершать «мазуны»: вещь вполне допустимая и способная дать более понятное объяснение этому всеобщему убеждению и утверждениям многих писателей.

Так, в давнюю и печальную эпоху процессов о колдовстве признания обвиняемых, далеко не всегда вырванные путем насилия, немало способствовали распространению и укреплению господствовавшего по этому поводу мнения. Ибо когда какое-нибудь мнение господствует продолжительное время и почти во всем мире, оно в конце концов находит всякие пути для своего выражения, ищет всякие выходы, проходит все стадии убеждения, и трудно предположить, чтобы все или очень многие долго верили в то, что какая-нибудь необычайная вещь может произойти без того, чтобы не появился кто-нибудь, кого можно считать ее виновником.

Среди легенд, порожденных этим бредом о смазываниях, одна заслуживает, чтобы о ней упомянули, ибо она считалась достоверной и была очень распространена. Рассказывали, — не всегда, конечно, в одних и тех же выражениях (что было бы слишком необычным преимуществом для басен), но приблизительно так: будто бы некто, в такой-то день, видел, как на Соборной площади появился запряженный шестерней экипаж, внутри которого, среди других, сидела какая-то важная особа с мрачным и пылающим лицом, с горящими глазами, с волосами, стоящими дыбом, и угрожающе сжатыми губами. Пока этот некто внимательно разглядывал проезжающих, карета остановилась, и кучер пригласил его сесть в нее. Со страху тот не сумел отказаться. Долго кружили они по городу, наконец их высадили у подъезда какого-то дворца, куда вошел и он вместе со всей компанией. Там он видел всякие соблазны и ужасы: пустыни и сады, пещеры и залы, тут же сидели и совещались призраки. В конце концов ему показали огромные сундуки с деньгами и сказали, чтобы он взял сколько ему вздумается, но с тем условием, однако, что ему дадут небольшой сосуд с мазью и он будет ходить по городу и мазать стены домов. Не пожелав дать на это свое согласие, он в мгновение ока очутился на том же самом месте, откуда его взяли. История эта, в которую здесь верил поголовно весь народ и которая, по словам Рипамонти, была недостаточно высмеяна людьми образованными, пошла гулять по всей Ита-

лии и за ее пределами. В Германии она была даже изображена на гравюре. Курфюрст-архиепископ майнцский обратился к кардиналу Федеригио с письмом, расспрашивая о чудесных событиях, произошедших в Милане, о которых идет молва, и получил ответ, что все это небылицы.

Равноценны, если не во всем одинаковы по существу, были и бредни ученых, равно как и злополучны их последствия. Большинство ученых считало предзнаменованием и вместе с тем причиной бедствий появление в 1628 году кометы и сопряжение Сатурна с Юпитером. «Упомянутое сопряжение, — пишет Тадино, — столь явно склонялось к этому 1630 году, что всякий мог понять это». — *Mortales parat morbos, miranda videntur*¹.

Это предсказание, почерпнутое, говорят, из книги под заглавием «Зерцало совершенных предсказаний», напечатанной в Турине в 1623 году, переходило из уст в уста. Другая комета, появившаяся в июне, в самый год чумы, встречена была как новое предзнаменование, даже как явное доказательство существования обмазываний. Выуживали из книги — и, к сожалению, находили там сколько угодно примеров «рукодельной» чумы, как тогда выражались. Цитировали Ливия, Тацита, Диона, да что я говорю — Гомера, Овидия и многих других мужей древности, которые рассказывали или отмечали подобные факты. А современных писателей было куда больше. Цитировали сотни разных авторов, которые по-ученому трактовали или случайно упоминали про яды, чары, зелья, порошки; Чезальпино, Кардано, Грелино, Салио, Парео, Скенкио, Цакиа и, наконец, роковой Дельрио, который, если бы слава авторов создавалась на основании соотношения добра и зла, рожденных их творениями, должен был бы считаться одним из самых знаменитых, — тот Дельрио, чьи ночные бдения стоили жизни гораздо большему числу людей, чем поход инного конкистадора; тот Дельрио, чьи «Магические изыскания» (сжатый очерк всего того, чем бредили в этой области люди вплоть до его времени), сделавшись наиболее авторитетным и неоспоримым источником, более чем столетие служили руководством и могучим вдохновителем к «законным» диким расправам, кошмарным и долго не прекращавшимся.

Из вымыслов простого народа люди образованные брали то, что не шло в разрез с их собственными понятиями; из вымыслов людей образованных простой народ брал то, что мог понять и что понимал по-своему; и из всего вместе образовался огромный и запутанный клубок общественного безумия.

Но еще большее изумление вызывает поведение врачей, —

¹ Готовит смертельные болезни; видны будут дивные дела (лат.).

я говорю о врачах, которые с самого начала допускали реальность чумы, — имею в виду особенно Тадино; он ее предсказал, видел ее появление, наблюдал, так сказать, за ее последовательным развитием, говорил и проповедовал, что это именно чума и что зараза пристаёт путем прикосновения и если с ней не бороться, то она охватит всю страну, — а потом сам же из этих своих впечатлений черпает несомненное доказательство применения ядовитых и вредоносных мазей; он, отметивший бредовое состояние как симптом этой болезни у Карло Колонна, второго человека, умершего в Милане от чумы, — позднее в доказательство обмазываний и дьявольского заговора приводит факт такого рода: двое свидетелей показали, что слышали от своего больного друга рассказ о том, как однажды ночью к нему в комнату вошли какие-то люди и предложили ему исцеление и деньги, если только он согласится обмазывать окрестные дома, и как они после его отказа ушли, а вместо них остался волк под кроватью да три кошки на ней, «которые и ирбывали там до наступления дня»¹.

Если бы только один плел подобную чепуху, можно было бы сказать, что у него голова не совсем в порядке, или, вернее, совсем не стоило бы говорить о нем; но поскольку таких было много, пожалуй, даже все поголовно, то это уж относится к истории человеческого духа и дает повод наблюдать, как стройный ряд разумных мыслей может быть сбит с толку другим рядом мыслей, явно им противоположных. А между тем этот Тадино считался одним из самых авторитетных людей своего времени.

Два знаменитых и заслуженных писателя утверждали, что кардинал Федерико сомневался в самом факте смазываний². Нам хотелось бы иметь возможность воздать еще большую хвалу его славной и дорогой памяти и показать доброго прелата стоящим выше большинства его современников в этом, как и во многих других отношениях, но вместо этого мы вынуждены снова отметить, что в его лице видим пример пагубного воздействия общепринятого мнения на умы даже самые благородные. Нам уже известно, по крайней мере из того, что говорит об этом Рипамонти, как вначале он действительно сомневался. Позднее он всегда придерживался того взгляда, что в этом мнении большую роль сыграли легковерие, невежество, страх, желание найти себе оправдание в столь запоздалом признании заразы и непринятии мер для борьбы с ней; что во всем этом много преувеличения, но вместе с тем все-таки есть какая-то доля истины. В Амброзианской библиотеке хранится небольшое произведение по

¹ С. 123, 124.

² Муратори, «О борьбе с чумой». Молена, 1714, с. 117; П. Верри, цит. соч., с. 261.

поводу этой чумы, написанное им собственноручно, и такая точка зрения проскальзывает там довольно часто, а один раз она даже высказана вполне определенно. «Господствовало мнение, — приблизительно так говорит он, — что эти мази составлялись в разных местах и что существовало много способов их применения; некоторые из них кажутся нам достоверными, другие — вымышленными». Вот его подлинные слова: «Unguenta vero haec aiebant componi conficique multifariam, fraudisque vias fuisse complures; quarum sane fraudum, et artium, aliis quidem assentimur, alias vero fictas fuisse commentitiasque arbitramur»¹.

Были, впрочем, и такие, которые до самой своей смерти думали, что все это — игра воображения. И мы знаем об этом не от них самих, ибо ни у кого не хватило смелости высказать открыто взгляд, столь противоположный общепринятому, — мы знаем об этом от писателей, которые высмеивают этот взгляд, осуждая его или опровергая как косность некоторых лиц, как заблуждение, которое не решались выносить на открытое обсуждение, но которое все же существовало. Знаем об этом также от тех, до кого это дошло в преданиях. «Я нашел в Милане разумных людей, — говорит добряк Муратори в вышеприведенном месте, — которые получили от предков надежные сведения и не очень-то были убеждены в действительном существовании этих ядовитых мазей». Мы видим, что истина тайно прорывалась наружу, ее поверяли друг другу в тесном семейном кругу. Здравый смысл существовал, но ему приходилось скрываться из страха перед господствующим мнением.

Должностные лица, которых с каждым днем становилось все меньше, окончательно растерявшиеся и сбитые с толку, прилагали всю свою, можно сказать, небольшую долю решимости, на какую они были способны, чтобы разыскать этих «мазунов». Среди документов времен чумы, хранящихся в вышеназванном архиве, есть письмо (без каких-либо других сопроводительных документов), в котором великий канцлер всерьез и весьма спешно доводит до сведения губернатора факт получения им извещения, что в одном загородном доме миланских дворян, братьев Джироламо и Джулио Монти, готовится яд в таком количестве, что *en este exercicio*² занято сорок человек при участии нескольких брешианских кавалеров, которые выписывают составы *para la fábrica del venepo*³ из венецианских владений. Он добавляет, что с соблюдением полной тайны предпринял все необходимые дей-

¹ «О чуме, которая унесла в Милане в 1630 году великое множество людей».

² Этим упражнением (исп.).

³ Для изготовления яда (исп.).

ствия для отправки туда миланского подеста и аудитора санитарного ведомства с тридцатью конными солдатами, но, к сожалению, один из братьев был вовремя предупрежден, вероятно, самим же аудитором, его другом, так что успел замести следы преступления, аудитор же прибегнул к разным отговоркам, чтобы не поехать, но, несмотря на то, подеста с солдатами отправился а *reconocer la casa, y a ver si hallará algunos vestigios*¹, а также собрать сведения и арестовать всех виновных.

Дело, должно быть, закончилось ничем, раз современные сочинения, упоминая о подозрениях, павших на этих дворян, не приводят ни одного факта. К сожалению, в другом случае полагали, что такие факты были налицо.

Возникшие вследствие этого процессы были, конечно, не первыми в этом роде; их также нельзя рассматривать как редкость в истории юриспруденции. Так, если даже умолчать о древности и отметить лишь кое-что из времен более близких к тому, о чем у нас идет речь, — в Палермо в 1526 году, в Женеве в 1530, и потом в 1545, и снова в 1574; в Казале-Монферрато в 1536, в Падуе в 1555, в Турине в 1559 и снова все в том же 1630 году, — были судимы и осуждены на казнь, в большинстве случаев очень мучительную, где отдельные лица, а где и сразу много несчастных по обвинению в распространении чумы при помощи порошков, либо мазей, либо колдовства, либо всего этого вместе взятого. Но дело о так называемых обмазываниях в Милане было не только самым громким, но, пожалуй, и самым доступным для изучения, или по крайней мере оно открывало больше возможностей для всяких наблюдений, потому что о нем остались наиболее обстоятельные и достоверные документы. И хотя один писатель, которого мы одобрили несколько выше², занялся этим процессом, однако он поставил себе целью не столько дать собственно его историю, сколько почерпнуть в нем подтверждение своих доводов по вопросу более крупного или, во всяком случае, более непосредственного значения, поэтому нам показалось, что история эта может стать предметом особого труда. Но тут немногими словами не отделаешься, а здесь не место излагать ее так, как она этого заслуживает. К тому же читатель, задержавшись на всех этих событиях, еще, чего доброго, утратил бы всякую охоту узнать про то, что нам еще осталось рассказать. Откладывая поэтому изложение и исследование этих событий до другого раза, мы окончательно вернемся к нашим героям, с тем чтобы уже не расставаться с ними до самого конца.

¹ Установить местонахождение дома и посмотреть, не найдется ли каких-нибудь следов (исл.).

² П. Верри, в уже цитированном произведении.

Глава тридцать третья

Однажды ночью, в конце августа, в самый разгар чумы, дон Родриго возвращался в Милане к себе домой в сопровождении верного Гризо, одного из трех или четырех оставшихся в живых из всей его челяди. Возвращался он после встречи с друзьями, обычно кутившими целой компанией, чтобы разогнать царившее тогда повсюду подавленное настроение, — и каждый раз среди пирующих появлялись новые лица, старых же не досчитывались. В этот день дон Родриго был одним из самых веселых и, между прочим, вызвал дружный смех всего общества своеобразным надгробным похвальным словом графу Аттилио, унесенному чумой два дня тому назад. Однако дорогой он почувствовал какое-то недомогание, упадок сил, слабость в ногах, тяжелое дыхание, какой-то внутренний жар. Ему очень хотелось приписать все это исключительно вину, бессонной ночи, погоде. Всю дорогу он не раскрывал рта, и первое слово, которое он произнес, придя домой, был приказ Гризо зажечь огонь и проводить его в спальню. Когда они вошли туда, Гризо заметил, что лицо хозяина изменилось, — оно так и пылало, глаза немного выкатились и странно блестели. Тогда Гризо отошел подальше, ибо при таких обстоятельствах, как говорится, всякий негодяй должен был иметь наметанный докторский глаз.

— Я здоров, понимаешь? — сказал дон Родриго, который прочел в движении Гризо мысль, промелькнувшую у того в голове. — Совершенно здоров; но, понимаешь, я хватил, и пожалуй даже слишком. Ведь это же была верначча!.. Но стоит только как следует выспаться, и все пройдет. Чертовски хочется спать. Да убери же ты от меня этот свет, он мне режет глаза... и злит меня!..

— Это все от верначчи, — сказал Гризо, держась, однако, все время поодаль. — А вы ложитесь-ка поскорее в постель, сон вас преотлично освежит.

— Ты прав: только бы уснуть... Я, впрочем, чувствую себя совсем хорошо. Поставь-ка на всякий случай поближе колокольчик, — может случиться, нынче ночью мне что-нибудь понадобится... да смотри, не зевай, коли услышишь, что звонят. Впрочем, ничего мне и не понадобится... Да убери ты поскорее этот проклятый свет, — прибавил он. И в то время как Гризо выполнял приказание, избегая, насколько это было возможно, приближаться к хозяину, тот крикнул: — Какого же черта он так меня бесит!

Гризо взял светильник и, пожелав хозяину покойной ночи, быстро исчез, пока дон Родриго залезал под одеяло.

Но одеяло показалось ему прямо-таки горой. Он сбросил его и свернулся клубком, стараясь уснуть. Ему действительно смертельно хотелось спать. Но, не успев сомкнуть глаза, он

пробуждался и вскакивал, словно кто-то назло все время встряхивал его. Он чувствовал, как усиливается у него жар, а вместе с ним растет и беспокойство. Мысленно он обвинял и август месяц, и верначчу, и пьяную оргию, — ему хотелось всю вину свалить на них. Но на место этих мыслей незаметно прокрадывалась та, что в те дни была неразлучна со всеми мыслями, пронизывала, так сказать, все чувства, служила предметом разговоров во всякой веселящейся компании, так что ее, пожалуй, легче было обратить в шутку, чем обойти молчанием, — мысль о чуме.

Он долго ворочался и наконец забылся сном, но тут его обступили самые кошмарные и беспокойные сновидения, какие только бывают на свете. И вот мало-помалу ему стало чудиться, что он стоит в огромной церкви, где-то впереди, в толпе народа, и не понимает, как это он попал туда, как могла ему прийти в голову подобная мысль, особенно в такое время, — и все это приводит его в ярость. Он глядит на окружающих: у всех восковые, обезображенные тленом лица, с тусклыми, остановившимися глазами, с отвисшими губами; все одеты в какие-то рубища, свисающие лохмотьями, и сквозь дыры видны пятна и нарывы. Ему чудится, что он кричит им: «Дорогу, эй вы, сволочи!», и сам смотрит на церковную дверь, а она — далеко-далеко, и крик его сопровождается угрожающим выражением лица, но сам он никак не может сдвинуться с места и только весь съеживается, стараясь не прикоснуться к этим омерзительным телам, которые со всех сторон уже обступают его. Но никто из этих безумцев не подал и виду, что собирается посторониться, и словно даже не слышал его крика. Наоборот, они все больше наступали на него, а главное, ему почудилось, что кто-то из них локтем ли или еще чем толкает его в левый бок между сердцем и подмышкой, и он почувствовал в этом месте мучительный укол, а потом словно какую-то тяжесть. Когда он всячески изворачивался, пытаясь избавиться от этой боли, что-то новое принималось колоть его в то же самое место. В ярости он схватился было за шпагу, но вдруг ему показалось, что шпага его из-за давки поднялась вверх и что как раз головка ее эфеса и давит на него. Но, дотронувшись до этого места рукой, он не нашел там шпаги, а лишь почувствовал еще более сильный укол. Он выбивался из сил, тяжело дышал и хотел вскрикнуть еще громче, как вдруг ему померещилось, что все лица повернулись в одну сторону. Он посмотрел туда же и увидел кафедру, над перилами которой появилось что-то выпуклое, гладкое, сияющее, а потом поднялась и отчетливо обрисовалась лысая голова, затем два глаза, все лицо, длинная седая борода, — из-за перил, высунившись по пояс, показался монах — фра Кристофоро. Дону Родриго почудилось, что он, окинув беглым взглядом всех собравшихся, остановил свой взор на нем и вместе с тем поднял

руку — точь-в-точь, как тогда, в нижнем зале его палат. В ответ он тоже быстро поднял руку, словно сию минуту пробиться вперед, чтобы схватить эту повисшую в воздухе руку; голос, глухо хлокочавший у него в груди, вдруг вырвался пронзительным воплем, — и дон Родриго проснулся. Он опустил руку, которая и в самом деле была поднята вверх; с некоторым усилием пришел в себя и открыл как следует глаза, ибо дневной свет, уже проникавший в окна, так же раздражал его, как и свет свечи накануне. Он узнал свою кровать, свою комнату и понял, что все это был сон: и церковь, и народ, и монах — все исчезло, все, кроме одного, вот этой ужасной боли в левом боку. Вместе с тем он почувствовал сильное сердцебиение, одышку, шум и непрерывный звон в ушах, жар, тяжесть во всех членах, — гораздо сильнее, чем когда ложился спать. Он не сразу решился посмотреть на то место, где ощущалась боль, но, наконец, открыл его, взглянул со страхом и увидел отвратительный лиловато-красный нарыв.

Он понял, что пропал. Его охватил страх смерти, и, пожалуй, еще сильнее — страх сделаться жертвой монахи, боязнь, что его отнесут и бросят в лазарет. И, изыскивая способ избежать этой ужасной участи, он почувствовал, как путаются и теряют ясность его мысли, почувствовал, что приближается мгновение, когда у него останется лишь столько сознания, сколько понадобится, чтобы впасть в отчаяние. Он схватил колокольчик и с силой потряс его. Немедленно появился Гризо, который был на чеку. Он остановился на некотором расстоянии от кровати, внимательно поглядел на хозяина и убедился в том, о чем вечером только догадывался.

— Гризо! — сказал дон Родриго, с трудом поднимаясь и садясь на кровати, — я всегда тебе доверял.

— Так точно, синьор.

— Я всегда хорошо относился к тебе.

— По доброте своей, ваша милость.

— На тебя я могу положиться!..

— Еще бы, черт возьми!

— Мне плохо, Гризо.

— Я вижу.

— Если я поправлюсь, я сделаю для тебя гораздо больше, чем делал до сих пор.

Гризо не отвечал и стоял, выжидая, что последует за этим вступлением.

— Я не хочу доверяться никому, кроме тебя, — продолжал дон Родриго, — сделай мне одолжение, Гризо.

— Приказывайте, — сказал тот, отвечая, как обычно, на необычное обращение своего хозяина.

— Знаешь ли ты, где живет хирург Кьодо?

— Отлично знаю.

— Он порядочный человек, и, если ему хорошо заплатить,

он не выдаст больного. Сходи за ним. Скажи ему, что я заплачу ему четыре, шесть скуди за визит, а то и больше, если он попросит больше. Только чтобы он пришел немедленно. Да смотри, сделай все как надо, чтобы никто не заметил.

— Неплохо придумано, — сказал Гризо, — иду и вернусь сейчас же.

— Послушай, Гризо: дай мне сначала глоток воды. У меня внутри все горит, мочи нет никакой.

— Нет, синьор, — отвечал Гризо, — без совета врача — не могу. Ведь болезни страх как причудливы. Нельзя терять ни минуты. Будьте покойны — я мигом буду здесь вместе с Кьодо.

С этими словами он вышел, притворив дверь. Дон Родриго снова прилег. В мыслях он следовал за Гризо к дому Кьодо, высчитывал шаги, вычислял время. Иногда он снова принимался разглядывать свой нарыв, но тут же с отвращением поспешно отворачивался в другую сторону. Через некоторое время он стал прислушиваться, не идет ли хирург. И это напряженное внимание заглушало чувство боли и сохраняло четкость мысли. Вдруг ему послышался отдаленный звон колокольчика, но ему, однако, казалось, что он доносился из комнат, а не с улицы. Он напряг внимание, позвякивание раздавалось все сильнее, все ближе, и вместе с тем послышался топот ног: страшное подозрение мелькнуло у дон Родриго. Он приподнялся, сел в кровати и насторожился еще больше. В соседней комнате послышался глухой стук, будто осторожно опустили на пол что-то тяжелое. Он спустил ноги с кровати, словно желая встать, взглянул на дверь и увидел, как из отворившейся двери появились и двинулись вперед два потертых и грязных красных балахона, две проклятые физиономии, — словом, два монатти. Он увидел промелькнувшее лицо Гризо, который подглядывал, спрятавшись за приоткрытой дверью.

— А, бессовестный предатель!.. Вон отсюда, негодяй! Бьондино! Карлотто! На помощь! Режут! — закричал дон Родриго.

Он сунул руку под подушку за пистолетом, нащупал его и выхватил. Но при первом же его крике монатти бросились к кровати. Тот, что половчее, навалился на него, прежде чем он смог что-либо сделать, выбил у него из рук пистолет, забросил его подальше, а самого Родриго повалил на спину и, держа его в таком положении, завопил в бешенстве, издеваясь над поверженным:

— Ах ты, негодяй! Против монатти! Против служителей Трибунала! Против тех, кто творит дело милосердия!

— А ну, держи его хорошенько, пока мы не унесем его прочь, — сказал другой, направляясь к сундуку.

Тут вошел Гризо и принялся вместе с ними взламывать замок.

— Злодей! — завопил дон Родриго, выглядывая из-под на-

валившегося на него монатти и стараясь вырваться из этих сильных рук. — Дайте мне убить этого мерзавца, — сказал он, обращаясь к монатти, — а после этого делайте со мной, что хотите.

Потом он снова принялся вопить во всю мочь, призывая других слуг, но все было напрасно, потому что презренный Гризо отослал их подальше якобы по приказанию самого хозяина, а потом уж пошел к монатти и предложил им пуститься в это предприятие, поделившись с ним добычей.

— Тише вы, тише! — говорил несчастному Родриго его мучитель, державший больного пригвожденным к кровати. Затем, повернув лицо к сообщникам, занятым грабежом, крикнул: — Ну, вы там, действуйте по-благородному!

— Ты-то, ты!.. — ревел дон Родриго в сторону Гризо, видя, как тот, взломав замок, тащил вещи, деньги и делил все это на части. — Ты! погоди же!.. А, исчадь ада! Ведь я могу еще выздороветь, могу выздороветь!

Гризо помалкивал и старался даже не поворачиваться в ту сторону, откуда доносились эти слова.

— Крепче держи его, — говорил другой монатти, — он совсем спятил.

Теперь это было правдой. Испутив безумный крик и сделав последнее страшное усилие, чтобы высвободиться, дон Родриго совершенно обессилел и впал в бесчувствие, но все еще продолжал смотреть словно отупевшим взором и время от времени то вздрагивал, то стонал.

Монатти взяли его, один за ноги, другой за плечи, и понесли уложить на носилки, оставленные ими в соседней комнате. Потом один из них вернулся за добычей. Затем, подняв свою жалкую ношу, они унесли его прочь.

Гризо остался отобрать наспех еще кое-что, что могло ему пригодиться. Сложив все в узел, он вышел. Он все время старался не прикасаться к монатти и следил, чтобы и они не коснулись его. Но в последний момент, когда он второпях шарил повсюду, он взял-таки, около самой кровати, одежду своего хозяина и, не задумываясь о последствиях, встряхнул ее, чтобы посмотреть, не окажется ли там денег. Однако задумавшись об этом ему пришлось на следующий день, когда в самый разгар кутежа в каком-то кабаке он вдруг почувствовал озноб, в глазах у него потемнело, силы оставили его и он повалился наземь. Покинутый товарищами, он попал в руки монатти, которые, взяв все, что было у него ценного, бросили его на повозку. Здесь он и испустил дух, не добравшись до лазарета, куда перед этим снесли его хозяина.

Оставив последнего в этом прибежище скорби, мы должны теперь разыскать другого человека, чья история никогда не сплелась бы с его историей, не пожелай он сделать это наильно. И даже можно с уверенностью сказать, что тогда ни

у того, ни у другого не было бы вообще никакой истории, — я имею в виду Ренцо, которого мы покинули в новой прядильне, под именем Антонио Ривольта.

Он оставался там, если не ошибаюсь, месяцев пять-шесть, после чего, когда было объявлено о враждебных отношениях между республикой и королем Испании и тем самым отпадала всякая опасность, что миланская сторона будет требовать выдачи Ренцо или причинять ему какое-либо беспокойство, — Бортоло поторопился отправиться за кузеном и стал снова держать его при себе: сделал он это отчасти из расположения к родственнику, а отчасти и потому, что Ренцо, как юноша способный и ловкий в ремесле, был отличным помощником для мастера на все руки, совершенно не притязая на подобное положение, ибо по счастливой случайности он не умел держать пера в руках. Так как это соображение входило до некоторой степени в расчеты Бортоло, мы должны были остановиться на нем. Быть может, вы предпочли бы более бескорыстного Бортоло?

Не знаю, что вам и сказать на это: попробуйте создать его себе сами. А уж этот был именно таков.

После этого Ренцо все время оставался на работе при кузене. Не раз, в особенности после получения одного из злополучных писем от Аньезе, ему приходила в голову шальная мысль пойти в солдаты и разом со всем покончить. Возможностей было сколько угодно, ибо как раз в этот момент республика стремилась набрать побольше солдат. Для Ренцо это искушение порой становилось тем сильнее, что поговаривали и о вторжении в миланские владения, и, разумеется, ему казалось, что неплохо было бы вернуться к себе домой победителем, снова увидеть Лючию и наконец-то объяснить с нею. Но Бортоло всякий раз каким-либо удачным ходом умел отвлечь его от этого решения.

— Ну, уж если им понадобится пойти туда, — говорил он Ренцо, — так они и без тебя обойдутся, а ты сможешь отправиться туда потом, когда тебе заблагорассудится. А если они вернутся оттуда с намыленной головой, пожалуй, лучше будет, что ты остался дома. В отчаянных людях, готовых пуститься во все тяжкие, недостатка не будет. И прежде чем они успеют поставить туда ногу... Что до меня, я в этих делах маловер: пусть себе лаются, — ведь Миланское государство не такой кусок, чтобы его уж так легко было проглотить. Тут ведь замешана Испания, сынок! А ты знаешь, что за штука Испания? Сан-Марко силен у себя дома, а тут требуется иное. Имей терпение. Разве тебе тут плохо?.. Я вижу, что ты хочешь сказать, но если уж суждено, чтоб твое дело удалось, так будь уверен, что оно удастся даже лучше, если не делать глупостей. Какой-нибудь святой уж тебя выручит. Поверь мне, что этот орешек тебе не по зубам. Что ж, по-твоему, надо бросить на-

матывать шелк и идти убивать? Что у тебя общего с этой породой людей? Тут нужны люди, нарочно для этого созданные.

Случалось иногда, что Ренцо принимал решение отправиться домой тайком, переодевшись и под вымышленным именем. Но и от этого Бортоло умел всякий раз отговорить его, приводя доводы, которые очень нетрудно угадать.

А потом, когда в миланских владениях и, как мы указывали, на самой границе с Бергамо вспыхнула чума, она весьма скоро перекинулась туда и... Не приходите в отчаяние, я не собираюсь рассказывать вам историю и этой чумы. Кто пожелает узнать ее, — она существует, написанная по официальному заданию неким Лоренцо Гиарделли; книга, впрочем, редкая и малоизвестная, хотя она и содержит, пожалуй, больше фактов, чем все самые прославленные описания моровых язв вместе взятые... Мало ли от чего зависит популярность книг! Я только хотел сказать, что Ренцо тоже подхватил чуму и вылечился сам собой, то есть ничего не делая; он был почти на краю могилы, но его крепкая натура победила болезнь, и через несколько дней он был уже вне опасности. С возвращением к жизни в его душе с новой силой воскресли воспоминания, желания, надежды, планы на будущее, — одним словом, он больше чем когда-либо стал думать о Лючии. Что с ней теперь, в такое время, когда остаться в живых — это просто чудо? И на таком близком расстоянии ничего не знать о ней? И оставаться Бог знает сколько времени в такой неизвестности? И даже, если неизвестность потом рассеется, когда всякая опасность минет, ему удастся узнать, что Лючия жива, — все же ведь есть та, другая тайна, эта запутанная история с обетом. «Пойду, непременно пойду и разом во всем удостоверюсь, — говорил он себе еще задолго до того, как смог стоять на ногах. — Только бы она осталась в живых! Найти-то уж я ее найду. Услышу, наконец, от нее самой, что это за обещание такое, растолкую ей, что это дело неладное, и возьму с собой и ее и бедную Аньезе, только бы и она оказалась жива! Она всегда любила меня, и я уверен, что любит и сейчас. А приказ об аресте? Э, да что там! Теперь тем, кто остался в живых, надо думать о другом. Здесь вот тоже разгуливают преспокойно разные люди, а ведь им грозит тоже... Неужели свободный пропуск только и существует, что для мошенников? А в Милане — все говорят — смятение еще большее. Если я упущу такой хороший случай (это чума-то! Вы только посмотрите, как счастливая способность исходить во всем из наших собственных интересов и все подчинять им иногда заставляет нас пользоваться такими словами), другой ведь такой еще не скоро представится!»

Будем надеяться, дорогой мой Ренцо.

Едва став на ноги, он разыскал Бортоло, который пока что сумел избежать чумы и очень оберегался. Ренцо не вошел к нему в дом, но, крикнув с улицы, подозвал его к окну.

— А, — сказал Бортоло, — ты выкарабкался! Рад за тебя.

— Я еще, как видишь, чуточку нетвердо держусь на ногах, но от опасности как будто избавился.

— Хотел бы я быть на твоих ногах. В былое время скажешь: «Чувствую себя хорошо», — и этим все сказано, а нынче это ровно ничего не значит. А вот кому случится сказать: «Я чувствую себя куда лучше», — вот это недурное словечко!

Пожелав своему двоюродному брату всяких благ, Ренцо сообщил ему о своем решении.

— На этот раз — ступай, и да благословит тебя небо, — ответил тот. — Постарайся уклониться от правосудия, как я стараюсь уклониться от заразы; и если Богу будет угодно послать нам обоим удачу, мы еще свидимся.

— Ну, разумеется, я вернусь. И хорошо бы вернуться не одному. Ну, да ладно! Я не теряю надежды.

— Так уж возвращайся не один. Бог даст, работа найдется для всех, и мы славно заживем. Только б ты застал меня в живых да кончилась эта дьявольская зараза.

— Мы увидимся, обязательно увидимся!

— Еще раз скажу: дай-то Бог!

В течение нескольких дней Ренцо все упражнялся, пробуя свои силы и стараясь поскорее восстановить их. Когда ему показалось, что он может пуститься в дорогу, он стал собираться. Он надел на себя, спрятав его под одежду, пояс с зашитыми в нем пятьюдесятью скуди, к которым он так и не притронулся и о которых никогда никому не заикнулся, даже Бортоло. Захватил еще немного деньжонок, что откладывал изо дня в день, экономя на всем. Взял под мышку узелок с платьем, положил в карман свидетельство на имя Антонио Ривольта, которое на всякий случай выпросил у второго своего хозяина, в карман штанов сунул большой нож, — наиболее скромное оружие для всякого порядочного человека в те времена, — и пустился в дорогу в последних числах августа, спустя три дня после того, как снесли в лазарет дона Родриго. Ренцо держал путь на Лекко, не желая идти в Милан наобум, а решив лучше пройти через свою деревню, надеясь застать в живых Аньезе и сначала разузнать у нее хоть что-нибудь о тех вещах, которые ему так не терпелось узнать.

Те немногие, что выздоровели от чумы, поистине казались среди остального населения как бы привилегированным классом. Огромная часть остального люда хирела или умирала. А те, кто до той поры еще не заразились болезнью, жили в постоянном страхе перед ней. Сосредоточенные, настороженные, люди ходили размеренными шагами, подозрительно озираясь, с какой-то поспешностью и вместе с тем нерешительностью, — ведь всюду могло подстергать их смертоносное оружие. А выздоровевшие, наоборот, могли быть

почти совершенно спокойны за себя (потому что повторное заболевание чумой было не только редким, а прямо-таки необычным явлением). Они смело и решительно разгуливали среди заразы, подобно тому как средневековые рыцари, с ног до головы закованные в железо и сидя на конях, тоже сверху донизу одетых в латы, отправлялись в таком виде шататься по свету (откуда и произошло знаменитое их прозвище — странствующие рыцари) в поисках приключений, среди жалкой пешей толпы горожан и вилланов, которые могли отразить и ослабить их удары лишь своими лохмотьями. Прекрасное, мудрое и полезное ремесло! Ремесло, поистине достойное занять первенствующее место в трактате по политической эко-
номии.

С такой уверенностью, умеряемой, впрочем, беспокойством, о котором читатель знает, и смешанной с горечью, вызванной непрестанным зрелищем и неотвязными думами о всеобщем бедствии, направлялся Ренцо к своему дому. Он шел под ясным небом по своей прекрасной стране, не встречая никого на своем пути. И лишь после длинных переходов в грустном одиночестве ему иногда встречались какие-то бродячие тени вместо живых людей, либо трупы, опускаемые в могилу без погребения, без песнопений, без провожающих. Около полудня он остановился в лесочке перекусить хлебом со всякой всячиной, прихваченной с собою. Фруктов вдоль всей дороги было в его распоряжении даже больше, чем достаточно: фиги, персики, сливы, яблоки — всего сколько угодно. Стоило лишь сойти с дороги в сторону и сорвать либо подобрать плоды под деревьями, где их валялось великое множество, словно после града: ибо год был на редкость урожайный, особенно на фрукты, а заниматься ими было почти никому. И гроздья винограда усыпали, как говорится, все лозы и были брошены на произвол первого встречного.

К вечеру показалась родная деревня. При виде ее, хотя Ренцо и был к этому давно подготовлен, он, однако, почувствовал, как сжалось у него сердце: на него нахлынуло множество грустных воспоминаний и печальных предчувствий. Ему казалось, что в ушах у него раздается зловещий звон набата, который словно провожал, преследовал его, когда он убегал из этих мест, и вместе с тем он как бы слышал молчание смерти, царившее вокруг. Еще более сильное волнение испытал он, вступив на площадь перед церковью, а самое худшее опасался найти в конце пути, так как собирался остановиться в том доме, который он когда-то привык называть домом Лючии. Теперь это мог быть, в лучшем случае, дом Аньезе, и он ждал от неба единственной милости — найти ее там живой и здоровой. В этом доме он собирался просить пристанища, правильно предполагая, что его собственный должен был стать местопребыванием мышей и белодушек.

Не желая никому попадаться на глаза, Ренцо пошел огородами, той самой тропинкой, по которой он шел со своими друзьями в памятную ночь, чтобы захватить врасплох дона Абондио. Приблизительно на полдороге с одной стороны тянулся виноградник, с другой — стоял домик Ренцо, так что мимоходом он мог на минутку зайти и к себе — взглянуть, в каком положении его дела.

Шагая, он все время глядел вперед, ожидая и вместе с тем опасаясь встретить кого-нибудь: действительно, пройдя несколько шагов, он увидел человека в рубашке, сидевшего на земле, привалившись спиной к жасминной изгороди, по всем признакам — безумного. По его виду, а также по выражению лица Ренцо показалось, что он узнал несчастного полоумного Жервазо, который выступал вторым свидетелем в злополучной вылазке. Однако, подойдя поближе, он должен был убедиться, что это был как раз Тонио, тот самый живой Тонио, который привел тогда с собой Жервазо. Чума, лишившая его как телесных, так и духовных сил, выявила в его лице и в каждом движении незаметные, скрытые прежде черты сходства с его слабоумным братом.

— Боже мой, Тонио! — воскликнул Ренцо, останавливаясь перед ним. — Ты ли это?

Тонио поднял глаза, не пошевелив головой.

— Тонио! Ты меня не узнаешь?

— Уж коли она возьмется за кого, так уж возьмется, — ответил Тонио, да так и остался с разинутым ртом.

— И тебя прихватило, бедный Тонио, да? Да ты меня совсем не узнаешь?

— Уж коли она возьмется за кого, так возьмется, — повторил тот с какой-то идиотской улыбкой.

Видя, что от него ничего больше не добьешься, Ренцо двинулся дальше, еще более опечаленный. Но вот показалось из-за угла дома и зашагало ему навстречу нечто черное, в чем он сразу признал дона Абондио. Тот едва-едва шел, опираясь на палку так, словно и она нуждалась в его опоре. И по мере того как он приближался, по его бледному, изможденному лицу и по каждому движению все яснее угадывалось, что и ему пришлось перенести свою бурю. Он тоже стал всматриваться: показалось это ему или нет? По одежде как будто чужеземец, но чужеземец именно из Бергамо.

«Не иначе как он!» — решил про себя дон Абондио и в порыве досадного изумления воздел руки к небу, причем палка его, которую он держал в правой руке, так и осталась висеть в воздухе, и показались его тощие руки, болтавшиеся в рукавах, где, бывало, раньше они еле-еле умещались. Ренцо пошел ему навстречу, прибавив шагу, и отвесил почтительный поклон, ибо хотя они и расстались при обстоятельствах, вам известных, все же это был по-прежнему его курато.

— Вы... и здесь? — воскликнул дон Абондио.

— Как видите, здесь. Не знаете ли вы что-нибудь о Люции?

— А что же вы хотите знать о ней? Ничего о ней не известно. Она как будто в Милане, если, конечно, еще на этом свете... Ну, а вы...

— А Аньезе — жива?

— Может статься. Но кто же знает об этом? Ее здесь нет... Впрочем...

— Где же она?

— Она отправилась жить в Вальсассину, к этим своим родственникам, в Пастуро — вы их хорошо знаете. Там, говорят, чума не так беснуется, как здесь. Ну, а вы-то...

— Мне это крайне досадно. А как падре Кристофоро?

— Да его уж давно здесь нет. Ну, а...

— Это я знаю, мне об этом писали. Я только подумал, не вернулся ли он ненароком в наши края.

— Да нет, об этом ничего не слышно. Ну, а вы...

— Это тоже очень досадно.

— Ну, а вы-то, спрашиваю я вас, — скажите, что вы, ради самого неба, собираетесь тут делать? Разве вы не знаете про приказ о вашем аресте? — шутка ли сказать...

— А что мне до этого? У них и без меня хватает дела. Мне вот тоже захотелось прийти разок сюда — поглядеть, как обстоят дела. Значит, ничего так-таки и неизвестно?..

— И что вам здесь нужно? Сейчас тут никого и ничего нет. И повторяю, со всей этой чепухой об аресте являться сюда, прямо в деревню, к волку в пасть, не глупо ли? Послушайтесь вы старика, которому полагается иметь больше здравого смысла, чем вам, и который говорит исключительно из любви к вам: завяжите-ка покрепче свои башмаки, да, пока никто вас не видел, и возвращайтесь туда, откуда пришли. А если вас уже видели, так удирайте во весь дух. Как вам кажется, здешний воздух для вас полезен? Вы разве не знаете, что вас тут искали, шарили по всем углам, перевернули все вверх дном...

— К сожалению, знаю, такие негодяи!

— Так, стало быть...

— Да говорю ж я вам, что я об этом и не думаю. А тот — еще жив? Здесь он?

— Я уже сказал вам, что никого тут нет. И опять говорю вам — бросьте вы думать о здешних делах. Говорю вам, что...

— Я спрашиваю, он здесь, тот?

— Боже праведный! Говорите же путем. Неужели после всего случившегося вы все еще никак не можете унятьсь?

— Здесь он или нет?

— Полно вам, его здесь нет. Ведь чума-то, сын мой, чума! Кто же спокойно разгуливает в такие времена?

— Ох, если бы на свете была только чума... я насчет себя говорю: я ее перенес и ничего не боюсь.

— Тем более! Тем более! Разве это не знамение? Когда избежишь такой штуки, мне кажется, надо благодарить небо и...

— Я и благодарю.

— И не ходите искать других бед, говорю я. Следуйте моему примеру.

— У вас она, если я не ошибаюсь, тоже была, синьор курато?

— Да еще как была-то! Коварная она, проклятая... Я прямо-таки чудом уцелел... Стоит только взглянуть! Видите, как она меня отделала. Теперь мне, собственно, необходимо спокойствие, чтобы совсем поправиться. Да я уж было почувствовал себя немножко лучше... Но, ради самого неба, что вам-то здесь делать? Вернитесь-ка...

— Ну, что вы заладили — «вернитесь» да «вернитесь». Да уж если возвращаться, то лучше было бы и совсем не трогаться с места. Вы все твердите: зачем да зачем вы пришли? Вот это мне нравится! Я ведь пришел к себе домой.

— Дом ваш...

— Скажите, много тут померло народу?

— Э! — воскликнул дон Абондио и, начав с Перпетуи, дал длинный перечень лиц и целых семей.

Ренцо, конечно, ожидал найти нечто подобное, но, услышав так много знакомых имен — друзей, родных, был очень огорчен и стоял с низко опущенной головой, то и дело восклицая:

— Бедняга! Бедняжка! Бедные!

— Вот видите! — продолжал дон Абондио. — И это еще не все. Если те, кто на этот раз уцелел, не образумятся и не выбросят из головы всякую дурь, не иначе как быть светопреставлению.

— Не беспокойтесь, я вовсе и не собираюсь оставаться здесь.

— Ах, хвала Господу, что вы одумались! И, конечно, вы правильно делаете, что возвращаетесь в Бергамо.

— Это уж не ваша забота.

— Как? Уж не собираетесь ли вы выкинуть какую-нибудь штуку почище той?

— Говорю вам, не ваша это забота. Это мое дело. Я уж не младенец, сам сумею сообразить что к чему. Во всяком случае, надеюсь, вы никому не скажете, что видели меня. Ведь вы — пастырь; а я — один из вашей паствы, и вы не захотите предать меня.

— Понятно, — сказал, сердито вздохнув, дон Абондио, — все ясно. Вы хотите погубить себя, а заодно и меня. Мало вам того, что вы претерпели. Мало вам того, что и я-то натерпелся. Понятно, все понятно.

И, продолжая бормотать сквозь зубы последние слова, дон Абондио пошел своей дорогой.

Ренцо остался стоять на месте, грустный и расстроенный, раздумывая, где бы ему остановиться. В перечне умерших, сделанном ему доном Абондио, упоминалась и одна крестьянская семья, целиком унесенная чумой, кроме одного юноши, почти ровесника Ренцо и его товарища с детских лет. Его дом стоял в нескольких шагах за деревней. Он решил пойти туда.

Попутно Ренцо прошел мимо своего виноградника и уже по одному его виду смог сразу определить, в каком он был состоянии. Над стеной не поднималось ни одной верхушки, ни одной зеленой ветки деревьев, что он когда-то оставил. Если что и виднелось, то все это выросло в его отсутствие. Он подошел ко входу (от решетчатой калитки не уцелело даже крюков), глянул вокруг: бедный виноградник! Две зимы подряд жители всей деревни ходили за дровами «в поместье бедного малого», как они выражались. Виноградные лозы, тутовые и всевозможные фруктовые деревья, все были безжалостно повыдерганы либо срублены под самый корень. Все же еще были заметны следы прежнего ухода: молодые побеги своими прерванными рядами еще обозначали места опустошенных насаждений; там и сям отростки и дички тутовых, фиговых, персиковых, вишневых, сливовых деревьев; но все это было разбросано и заглушалось новым, разнообразным и густым поколением, родившимся и выросшим без помощи человеческих рук. То была буйная заросль крапивы, папоротника, плевел, собачьего зуба, лебеды, овсюка, щирицы, львиного зева, щавеля, птичьего проса и других подобных растений, — я хочу сказать, тех, которые крестьянин любой деревни по-своему помещает в особый разряд, называя их сорняками или как-нибудь в этом роде. Получилась путаница из стеблей, тянувшихся вверх друг за другом либо стремившихся вперед, расползаясь по земле, словом, всячески стараясь отвоевывать себе место. Тут было полное смешение листьев, цветов, плодов всевозможной окраски, формы, размеров: колосья, метелки, гроздья, пучки, головки — белые, красные, желтые, лазоревые. Среди этих зарослей виднелось несколько более высоких и бросающихся в глаза растений, впрочем, не представлявших никакой ценности, по крайней мере в большинстве случаев. Выше всех был турецкий виноград со своими раскидистыми красноватыми ветвями, пышными темно-зелеными листьями, кое-где уже тронутыми по краям багрянцем, со своими свисающими гроздьями, унизанными виноградинками, внизу лиловыми, повыше — алыми, потом зелеными, а на самой верхушке — беловатыми цветочками; коровьяк со своими крупными шерстистыми листьями внизу, прямым, высоко вздымающимся стеблем и продолговатыми, рассыпанными по нему колосьями, словно усеянны-

ми звездами ярко-желтого цвета; чертополох, весь в колючках, и на ветвях, и на листьях, и в чашечках, откуда торчали хохолки белых либо красноватых цветов и отделялись, уносимые ветром, легкие перистые, серебристые пушинки. А вот густая масса вьюнков, цепко обвившихся вокруг молодых побегов тутового дерева, сплошь покрывала их своими колеблющимися листочками и свешивающимися с верхушки чистыми нежными колокольчиками; там — дикая тыква со своими ярко-красными зернышками обвилась вокруг молодых отростков виноградной лозы, которая, тщетно поискав более прочную опору, в свою очередь зацепилась за нее усиками; и, сплетая свои слабые стебли и почти одинаковые листья, они тянули друг друга книзу, как это часто бывает со слабыми людьми, принимающими друг друга за опору. Ежевика росла повсюду: она перебегала с одного растения на другое, взбиралась, спускалась, сгибалась или простирала свои ветви, смотря по тому, что ей удавалось, и, перекинувшись через вход в виноградник, казалось, готова была преградить в него доступ даже самому хозяину.

Но у юноши не было никакой охоты входить в такой виноградник, и, пожалуй, он простоял около него меньше времени, чем потратили мы на это небольшое описание. Ренцо пошел дальше. Неподалеку был его дом. Он пересек огород, ступая по колено в густой траве, — огород зарос так же, как и виноградник. Ренцо ступил на порог одной из двух комнат нижнего этажа. Шум его шагов и появление вызвали переполох и бегство нескольких крыс, которые бросились врассыпную и скрылись в навозе, покрывавшем весь пол, — то были остатки логовища ландскнехтов. Он взглянул на стены — они были облуплены, запачканы, прокопчены. Поднял глаза к потолку — настоящее царство пауков. И ничего больше. Он ушел и отсюда, схватившись руками за голову, возвращаясь тропой, которую только что проложил в траве. Сделав несколько шагов, он свернул налево, в другую улочку, которая вела в поле, но, не увидев и не услышав ни единой живой души, направился к домику, где рассчитывал остановиться. Уже стало смеркаться. Друг его сидел у порога дома на деревянной скамеечке, скрестив на груди руки и устремив глаза в небо, как человек, убитый горем и одичавший в одиночестве. Заслышав звук шагов, он обернулся посмотреть, кто бы это мог быть, и, воздев руки, громко сказал тому, кого, как ему показалось, разглядел в сумерках сквозь ветви и зелень:

— Неужели только я один и есть? Разве я вчера не достаточно сделал? Дайте мне немножко отдохнуть — это тоже будет делом милосердия.

Не понимая, что все это значит, Ренцо в ответ назвал его по имени.

— Ренцо! — воскликнул тот полувопросительно.

— Он самый, — сказал Ренцо, и они бросились друг к другу.

— Да это в самом деле ты! — сказал друг, когда они очутились рядом. — Как я рад тебя видеть! Кто бы мог подумать? А ведь я принял тебя за могильщика Паолино, который постоянно приходит мучить меня, посылая идти хоронить умерших. Ты знаешь, что я остался один, совсем один как перст?

— К сожалению, знаю, — сказал Ренцо.

Так, обмениваясь на ходу дружескими приветствиями, перебивая друг друга вопросами и ответами, вошли они вместе в домик. И там, продолжая болтать, друг взялся за дело, чтобы с честью принять Ренцо, насколько то позволяли такая неожиданная встреча и такое время. Он поставил на очаг воду и принялся за приготовление поленты, но потом передал веселку Ренцо, поручив ему размешивать тесто, а сам ушел со словами:

— Вот и остался я один! Ох, совсем один!

Он вернулся с небольшим ведерком молока, куском вяленого мяса, парой козьих сырков, фигами и персиками. Когда все было расставлено и полента выложена в деревянную миску, друзья уселись за стол, взаимно благодаря друг друга, один — за посещение, другой — за прием. И почти после двухлетней разлуки они сразу же почувствовали себя более близкими друзьями, чем в те времена, когда виделись чуть ли не каждый день. Потому что тому и другому — говорит тут наша рукопись — пришлось перенести такие испытания, которые учат людей ценить, каким бальзамом для души является истинное расположение, как то, которое сам чувствуешь к другим, так и то, которое встречаешь с их стороны.

Конечно, никто не мог заменить Ренцо Аньезе, ни вознаградить за ее отсутствие не только в силу его давней и особой привязанности к ней, но и потому, что среди вопросов, которые ему так хотелось поскорее разъяснить, был один, ключ от которого был только у нее в руках. Одно мгновение он даже заколебался, то ли ему продолжать свое путешествие, то ли отправиться сначала на поиски Аньезе, так как до нее было совсем недалеко. Но, поразмыслив, что Аньезе ведь все равно ничего не могла знать о здоровье Лючии, он остался при своем первоначальном намерении идти напрямик, чтобы разрешить все свои сомнения, услышать свой приговор и потом уже самому передать все новости матери.

Однако уже от своего друга он узнал много такого, о чем и не догадывался. Многое стало ему ясно, в чем он раньше сомневался, — и приключения Лючии, и преследования, которым подвергся он сам, и как дону Родриго пришлось удирать, поджав хвост, после чего он уже более не показывался в этих местах, — словом, юноша выяснил себе все сплетение событий. Узнал он также (сведение это имело для него немаловаж-

ное значение) настоящую фамилию дона Ферранте, ибо хотя Аньезе через своего писца и велела сообщить ему эту фамилию, но один Бог знает, как она была написана. Во всяком случае, бергамазский истолкователь, при чтении ему письма, сделал из нее такое словечко, что если б Ренцо пошел разыскивать в Милане дом по этому адресу, пожалуй, не нашлось бы ни одного человека, который догадался бы, о ком идет речь. А между тем ведь это была единственная нить в его руках для розысков Лючии. Что касается правосудия, то он все больше убеждался, что теперь это была опасность довольно далекая и не стоило о ней думать: синьор подеста умер от чумы, — кто знает, когда еще пришлют на его место другого, — большая часть полицейских тоже вымерла; а у тех, что остались в живых, голова была достаточно занята другими делами, чтобы еще думать о старых.

Рассказал и он другу о своих злоключениях, и в ответ выслушал множество всяких историй — про то, как проходили войска, про чуму, про мазунов, про чудеса.

— Ужасные все это вещи, — говорил друг, провожая Ренцо в комнату, оставшуюся после чумы необитаемой, — вещи, которые, казалось, никогда и на свете не увидишь, способные на всю жизнь отнять у тебя всякую радость. А вот как поговорить о них с друзьями, сразу легче станет.

На рассвете оба появились в кухне. Ренцо в дорожных доспехах, в поясе, спрятанном под курткой, с ножом в кармане штанов. Узелок свой он, чтобы легче было идти, оставил на хранение у друга.

— Если все пойдет хорошо, — сказал он ему, — если я найду ее в живых, если... ну да ладно... Тогда я опять пройду через нашу деревню. Сбегаю в Пастуро сообщить добрую весть нашей бедной Аньезе, а потом... потом... Но если, не приведи Бог какое несчастье... Тогда уж я не знаю, что и буду делать, куда пойду. Но только, конечно, в здешних краях вы меня больше не увидите.

Произнося эти слова, он стоял на пороге входной двери и, подняв голову навстречу родной заре, которую так давно уже не видел, смотрел на нее с какою-то нежностью и вместе с тем грустью. Друг, как водится, всячески старался поддержать в нем надежды на будущее, уговаривал взять с собой хоть чуточку еды, проводил его немного по дороге и расстался с ним, еще раз пожелав всяких благ.

Ренцо тронулся в путь не спеша, так как считал, что времени у него достаточно, чтобы добраться в тот же день до Милана, с тем чтобы завтра спозаранку войти в город и немедленно начать свои поиски. Никаких приключений в пути не произошло и ничто не отвлекало Ренцо от его мыслей, кроме привычного уже зрелища нищеты и печали. Как и накануне, он в свое время остановился в лесочке перекусить и

отдохнуть. Проходя в Монце перед открытой лавкой, где были выставлены хлебы, он попросил себе парочку, чтобы при случае не остаться без еды. Булочник не разрешил ему войти, а, поставив на лопатку небольшую миску с водой и уксусом, сказал, чтобы он бросил туда деньги; когда юноша сделал это, он какими-то щипцами подал ему, один за другим, оба хлеба, которые Ренцо и положил в карманы.

К вечеру он добрался до Греко, не зная, впрочем, названия местечка. Но, отчасти по воспоминаниям, сохранившимся у него от прошлого путешествия, отчасти прикинув путь, пройденный от Монцы, он решил, что уже должен был находиться неподалеку от города, а потому свернул с большой дороги поискать в округе что-нибудь вроде кашинотто, чтобы переночевать там, — с остериями ему больше не хотелось связываться. Он нашел нечто лучшее, чем ожидал: увидел отверстие в изгороди, окружавшей дворик какой-то усадьбы. Он вошел туда на всякий случай. Во дворе никого не оказалось. С одной стороны он увидел большой навес, под которым лежала куча сена, и приставленную к ней переносную лестницу. Оглядевшись вокруг, он наудачу полез вверх, устроился там на ночлег, и в самом деле быстро уснул, да так и не просыпался до самого рассвета. Утром он дополз на четвереньках до края своей огромной кровати, высунул голову и, никого не увидев, слез там же, где вчера влезал, вышел тем же ходом, которым пришел, и пустился в путь по маленьким тропкам: Миланский собор служил ему путеводной звездой. Вскоре он очутился у самых стен Милана, между Восточными и Новыми воротами, ближе к последним.

Глава тридцать четвертая

Что касается способа проникнуть в город, то Ренцо понаслышке знал, что существовал строжайший приказ никого не впускать в город без санитарного свидетельства, но что тем не менее туда отлично входил всякий, сумевший хоть немного изловчиться и выбрать подходящий момент. Так оно в действительности и было. И даже оставляя в стороне общие причины, по которым в те времена всякое распоряжение выполнялось плохо; оставляя в стороне причины частные, так затруднявшие неукоснительное его выполнение, — приходится сказать, что Милан находился уже в таком положении, что не было больше смысла оберегать его, да и от чего? Всякий попадавший туда казался скорее легкомысленным в отношении своего собственного здоровья, чем опасным для здоровья горожан.

Учитывая все это, план Ренцо состоял в том, чтобы сделать попытку проникнуть в город через первые же попавшие-

ся ворота, а в случае каких-нибудь затруднений пробираться вдоль наружных стен, пока не встретятся другие ворота, доступ через которые окажется легче. Одному Богу известно, сколько, он думал, было ворот в Милане.

Итак, подойдя к самой стене, он остановился и стал озираться с видом человека, который не знает, в какую же сторону ему направиться, и словно отовсюду ждет и ищет указаний на этот счет. Но и справа и слева он видел лишь две полосы извилистой дороги; прямо перед собой — часть стены; нигде ни малейшего признака жизни, разве только в каком-нибудь месте земляного вала вставал густой столб черного дыма, который, поднимаясь, ширился и обращался в огромные клубы, расплывавшиеся в неподвижном сером воздухе: то жгли одежду, постели и всякий другой зачумленный домашний скarb. И эти скорбные костры беспрестанно вспыхивали не только в этом месте, но и повсюду, на всех городских стенах.

Погода была пасмурная, воздух тяжелый, все небо заволочло тучей или, скорее, ровной неподвижной пеленой, которая, казалось, совсем закрыла солнце, не суля, впрочем, дождя. Вокруг — поля, отчасти невспаханные и сплошь выжженные, зелень — чахлая, на вялых поникших листьях ни капли росы. Вдобавок это безлюдье, эта тишина вблизи большого города вселяли новую тревогу в душу Ренцо, и без того обеспокоенную, и окрашивали его размышления в еще более мрачные тона.

Постояв тут некоторое время, он пошел наугад вправо, направляясь, сам того не зная, к Новым воротам, не замеченным юношей, несмотря на их близость, из-за бастиона, скрывавшего их в то время. Пройдя несколько шагов, он, наконец, услышал позвякивание колокольчиков, которое все время то прекращалось, то возобновлялось, а затем и отдельные человеческие голоса. Он двинулся дальше и, обогнув угол бастиона, сразу же увидел деревянную будку, а на пороге ее — часового, опиравшегося на мушкет с каким-то утомленным и рассеянным видом. Позади был частокол, а за ним ворота, собственно, два выступа в стене с навесом для защиты створок. Ворота были распахнуты настежь, как, впрочем, и решетчатая калитка частокола. Однако как раз перед входом, преграждая путь, на земле стояли зловещие носилки, на которые двое монахты укладывали какого-то беднягу, чтобы унести его прочь. То был начальник таможенной стражи, у которого только что обнаружилась чума. Ренцо остановился, ожидая конца. Когда конвой удалился и никто не пришел запереть калитку, Ренцо, сочтя момент подходящим, поспешно направился к ней. Но тут часовой сердито окликнул его: «Эй, куда?» — Ренцо опять остановился и, подмигнув часовому, вынул и показал ему монету в полдукатона. Часовой, то ли он

уже переболел чумой, то ли страх перед ней был у него слабее любви к полудукатонам, сделал Ренцо знак, чтобы тот бросил ему монету, и, когда последняя упала к его ногам, шепнул: «Ну, живо проходи». Ренцо, не заставив повторять это дважды, прошел через частокол, затем через ворота и — зашагал дальше. Никто его не заметил и не обратил на него внимания. Только один раз, когда он не успел еще сделать и сорока шагов, послышалось снова: «Эй, куда?» Это крикнул ему вслед таможенный надсмотрщик. Но на этот раз Ренцо сделал вид, что ничего не слышит, и, даже не обернувшись, прибавил шагу. «Эй!» — снова крикнул таможенный, однако голосом, в котором слышалось больше раздражения, чем решимости заставить себе повиноваться. Увидев, что ему не повинуются, он пожал плечами и вернулся в свою будку, как человек, для которого было важнее не подходить слишком близко к прохожим, чем их расспрашивать.

Улица, по которой шел Ренцо, вела тогда, как и теперь, прямо к каналу под названием Навильо. По обеим сторонам ее тянулись изгороди или стены огородов, виднелись церкви и монастыри, изредка — дома. В конце этой улицы и по середине той, что тянется вдоль канала, высилась колонна с крестом, известная под названием креста Сант-Эусебио. А так как Ренцо смотрел все время вперед, то он только и видел, что эту колонну. Дойдя до перекрестка, делившего улицу почти пополам, и поглядев по сторонам, он увидел справа, на улице, что зовется большим проспектом Санта-Тереза, какого-то горожанина, направлявшегося прямо к нему. «Наконец-то душа христианская!» — подумал Ренцо и тут же повернул в его сторону, рассчитывая узнать у прохожего, как ему пройти. Тот тоже заметил приближавшегося чужестранца и бросал на него издали подозрительные взгляды, особенно, когда заметил, что тот, вместо того чтобы идти своей дорогой, двинулся ему навстречу. Когда они поравнялись, Ренцо, со свойственной горцу учтивостью, снял шляпу и, держа ее в левой руке, машинально засунув правую в шляпную тулью, направился уже более решительно к незнакомцу. Но тот, вытаращив глаза, попятился назад, поднял суковатую палку и, направив ее железным концом прямо в живот Ренцо, закричал:

— Прочь! Прочь!

— Ого! — воскликнул в свою очередь парень. Он надел шляпу обратно на голову, и так как ему в тот момент, — как говорил он впоследствии, рассказывая про этот случай, — меньше всего хотелось вступать в какие-либо пререкания, он повернулся к этому чудаку спиной и пошел дальше своей дорогой, или, лучше сказать, той дорогой, на которую он попал.

Тот тоже пошел своей дорогой, дрожа от страха и ежеминутно оборачиваясь. А придя домой, рассказывал, что к нему подходил мазун, с видом кротким и обходительным, но с

лицом бесчестного шарлатана, и в руках у него была не то коробочка с мазью, не то пакетик с порошком (он не совсем был уверен, что именно), а одна рука засунута в шляпу, и мазун непременно сыграл бы с ним шутку, не сумей он удержат его подальше от себя. «Подойди он ко мне еще на один шаг, — прибавлял он, — я бы проткнул его без всяких колебаний и прежде чем он успел бы что-нибудь сделать. Этаким негодяй! На беду мы были в таком пустынном месте, а будь это в центре Милана, я бы созвал народ, и мы бы живо его сцапали. Не сомневаюсь, что у него в шляпе было это проклятое снадобье. А там, с глазу на глаз, с меня хватило и того, что я пугнул его без риска навлечь на себя беду, потому что щепотку порошка ведь бросить недолго, да у них на это и особая сноровка, а к тому же им помогает сам дьявол. Теперь он, наверное, разгуливает по Милану: кто знает, каких он там натворил бед!» И до конца своей жизни, — а прожил он еще долго, — всякий раз, когда заходила речь о мазунах, он повторял свою историю, причем добавлял: «Те, кто еще решаются утверждать, что это неправда, пусть мне этого не рассказывают, потому что все это надо было видеть своими собственными глазами».

Ренцо, далекий от малейшего представления о том, какой опасности он избежал, и скорее взбешенный, чем напуганный, продолжая свой путь, размышлял о том, как с ним обошлись, и более или менее догадывался, что мог подумать о нем незнакомец. Но все это казалось ему совершенно невероятным, и он пришел к заключению, что прохожий, очевидно, был просто сумасшедшим. Тем не менее он подумал: «Дело началось скверно. Такая уж, видно, несчастная моя планида в этом Милане. При входе в город мне как будто повезло, а потом, когда я уже очутился внутри, с первого же шага — одни неприятности. Ну что ж! С Божьей помощью... если я найду... если мне удастся найти, — эх, тогда все будет казаться пустяками».

Дойдя до моста, он без колебаний свернул налево, на улицу Сан-Марко, потому что ему — и вполне правильно — показалось, что она должна вести к центру города. И шагая вперед, он смотрел по сторонам, стараясь отыскать хоть какое-нибудь человеческое существо, но увидел лишь разложившийся труп в неглубокой канаве, вырытой между редкими домами (в ту пору их было еще меньше) и улицей.

Пройдя дальше, он услышал крик:

— Постойте, вы! — И, обернувшись на голос, увидел невдалеке, на небольшом балконе одиноко стоявшего домика, бедную женщину, окруженную целым выводком ребятишек. Продолжая звать его, она вместе с тем делала ему рукой знаки. Ренцо опрометью бросился на зов, и, когда он был уже совсем близко, женщина сказала ему:

— Молодой человек, ради дорогих ваших погибших близ-

ких, сделайте милость, сходите к комиссару и сообщите ему, что нас здесь забыли. Нас заперли в доме как подозрительных, потому что мой бедный муж скончался. Вы видите — они забили дверь, и со вчерашнего утра никто даже не принес нам поесть. Вот уже несколько часов мы стоим здесь, и хоть бы одна христианская душа, попавшаяся мне на глаза, сжалилась над нами, а мои невинные бедняжки умирают с голоду.

— С голоду! — воскликнул Ренцо и, запустив руки в карманы, вытащил оттуда два хлеба со словами: — Послушайте, спустите мне сюда что-нибудь, куда бы я мог положить хлеб.

— Да воздаст вам Господь за это! Погодите минутку, — сказала женщина и пошла за корзинкой и веревкой, на которой потом и спустила ее.

Тем временем Ренцо вспомнил о тех хлебах, которые он нашел около креста в свой первый приход в Милан, и подумал: «Вот и получается возврат, и, пожалуй, это лучше, чем если б я вернул их настоящему хозяину, потому что здесь — поистине дело милосердия».

— А вот насчет комиссара, моя милая, — сказал он потом, кладя хлеба в корзину, — я никак не могу вам услужить, потому что, сказать по правде, я не здешний и совсем не знаю города. Но все же, если повстречаю человека любезного и обходительного, с кем можно поговорить, я ему скажу.

Женщина попросила его сделать это и назвала свою улицу, чтобы в случае надобности он смог указать ее.

— А вы ведь тоже, — продолжал Ренцо, — думается, могли бы без всяких хлопот сделать мне одолжение, настоящее благодеяние. Не можете ли вы указать мне, где здесь находится дом одних знатных людей, дом больших здешних синьоров, дом ***?

— Я знаю, что такой дом в Милане есть, но где именно он находится, по правде сказать, не помню. Идите все вперед, вон туда, авось кто-нибудь попадется, кто вам это укажет. Да не забудьте сказать и о нас.

— Будьте покойны, — сказал Ренцо и пошел дальше.

С каждым шагом он слышал, как растет и приближается шум, который он начал различать еще стоя на мостовой и разговаривая: шум колес и лошадей вместе со звоном колокольчиков и время от времени шелканье бичей, сопровождаемое криками. Он напряженно смотрел вперед, но ничего не видел. Когда он дошел до конца улицы и перед ним открылась площадь Сан-Марко, — первое, что бросилось ему в глаза, были два стоячих столба с веревкой и какими-то блоками, и он сразу узнал (в ту пору это была вещь обычная) ненавистное сооружение для пыток. Оно было воздвигнуто на этом месте, и не только на этом, но и на всех площадях и на более широких улицах, дабы депутаты каждого квартала, облеченные самыми неограниченными полномочиями, могли

немедленно пустить в ход пытки в отношении всякого, кто показался бы им заслуживающим наказания, будь то больные, запертые в домах и осмелившиеся выйти, или рядовые служащие, не исполнившие своих обязанностей, или еще кто другой. То было одной из крайних и недействительных мер, которые в те времена, и особенно в такие моменты, применялись с излившейся расточительностью.

И, пока Ренцо разглядывал это сооружение, раздумывая, почему оно могло быть воздвигнуто в этом месте, ему все отчетливее слышался приближавшийся шум, и он увидел, как из-за угла церкви показался человек, размахивающий колокольчиком. Это был пристав, а за ним — две лошади, которые, вытягивая шеи и упираясь копытами, с трудом продвигались вперед. Они тащили повозку с мертвыми, а за ней тянулась другая, а потом еще и еще. По обеим сторонам, рядом с лошадьми, шли монашеские подгоняя их ударами бичей, пинками и бранью. Трупы, почти все обнаженные или едва обернутые в какие-то лохмотья, были навалены как попало, сплетаясь, словно клубок змей, которые медленно разворачиваются под действием весеннего тепла. При каждом толчке, при каждой встряске было видно, как эти зловещие кучи отвратительно вздрагивали и разваливались, при этом болтались головы, рассыпались женские волосы, выпадали руки, принимавшиеся хлопать по колесам, являя взору, уже исполненному ужаса, насколько подобное зрелище может стать еще более скорбным и непристойным.

Юноша остановился на углу площади, у перил канала, и стал молиться за неизвестных покойников. Вдруг ужасная мысль молнией сверкнула у него в уме: «А что, если там, вместе с... под ними... О Боже! Сделай, чтобы этого не было! Сделай так, чтобы я об этом не думал!» Когда похоронное шествие скрылось, Ренцо двинулся с места и пересек площадь, свернув вдоль канала налево только по той причине, что шествие направлялось в сторону противоположную. Пройдя несколько шагов, между боковой стеной церкви и каналом, он увидел направо мост Марчеллино, направился к нему и вышел на Борго-Нуово. И глядя вперед, все с тем же намерением найти кого-нибудь, кто показал бы ему дорогу, он заметил в другом конце улицы священника в камзоле, с палочкой в руке, стоявшего у приоткрытой двери, наклонив голову и прильнув ухом к отверстию, и вскоре затем он увидел, как священник поднял руку для благословения. Он предположил, и правильно, что то был конец чьей-то исповеди, и решил про себя: «Вот такой-то человек мне как раз и нужен. Если уж священник при исполнении своих пастырских обязанностей не проявит хоть каплю милосердия, хоть немного любви и сердечного расположения, придется сказать, что ничего этого уже не существует на свете».

Тем временем священник, отделившись от двери, направился в сторону Ренцо, все время старательнейшим образом придерживаясь середины улицы. Поравнявшись с ним, Ренцо снял шляпу, давая ему понять, что хочет с ним поговорить. Вместе с тем он остановился подальше, желая показать, что не собирается к нему приближаться. Тот тоже остановился, приготовившись слушать, однако поставил перед собой, воткнув в землю, свою палочку, как бы в виде ограждения. Ренцо изложил свою просьбу, которую священник тут же удовлетворил, не только назвав ему улицу, где расположен был нужный дом, но и указав точный маршрут, ибо видел, что бедняга весьма в этом нуждается. Он обозначил ему с помощью разных «направо» и «налево», церквей и крестов те шесть или восемь улиц, которые юноше предстояло пройти, чтобы достигнуть цели.

— Да сохранит вас Господь в добром здравии и в нынешние времена и веки, — сказал Ренцо. И когда тот уже собрался было уходить, Ренцо прибавил: — Сделайте, пожалуйста, еще одно доброе дело, — и рассказал ему о забытой женщине.

Добрый священник поблагодарил его за предоставленную ему возможность совершить столь нужное дело милосердия и, сказав, что предупредит кого следует, удалился. Ренцо тоже тронулся в путь, на ходу стараясь повторять про себя указанный маршрут, чтобы не пришлось снова расспрашивать на каждом углу. Но вы даже представить себе не можете, каким тяжелым оказалось для него это занятие, и не столько потому, что это дело и само по себе было трудным, сколько из-за нового беспокойства, поднявшегося в его душе, когда он узнал название улицы и весь точный маршрут. Но ведь это были указания, которых он сам хотел и добивался, без них он никак не мог обойтись. Да ему и не было сказано ничего такого, что можно было бы истолковать как зловещее прорицание. Но что поделаешь?

Одна мысль о том, что конец близок и скоро все его тягостные сомнения разрешатся, когда он услышит: она жива или, наоборот, — она мертва, — эта мысль так потрясла его, что в это мгновение ему захотелось блуждать в потемках, ничего не зная, быть в самом начале путешествия, к завершению которого он теперь приближался. Но он собрал все свои силы и сказал самому себе: «Эге, если я теперь буду вести себя как мальчишка, то что же будет дальше?» Немного приободрившись, он продолжал свой путь, все дальше удаляясь от окраины города.

Как он выглядел теперь, этот город! И во что он только обратился даже по сравнению с тем, каким был год назад, во время голода!

Ренцо пришлось проходить как раз через одну из самых

мрачных и безлюдных частей Милана, через то пересечение улиц, которое называлось карробио Новых ворот. (В ту пору там посредине стоял крест, а напротив него, рядом с тем местом, где сейчас находится Сан-Франческо-ди-Паола, была старинная церковь Сант-Анастазиа.) В этой округе опасность заразы и смрад от брошенных трупов были так велики, что немногие, оставшиеся в живых, были вынуждены выбраться оттуда. Так что к той грусти, которую вызывало в прохожем это зрелище пустоты и заброшенности, присоединялось чувство ужаса и отвращения к следам и отбросам еще недавней здесь жизни. Ренцо прибавил шагу, стараясь ободрить себя мыслью, что его цель еще далека, и надеясь, что, прежде чем он достигнет ее, картина хоть немного изменится. И действительно, вскоре он попал в такое место, которое можно было бы, пожалуй, назвать городом живых, — но, Боже, что это был за город и что за живые! Все входные двери домов из-за страха или подозрений были на запоре, кроме тех, которые были распахнуты настежь, — в домах, брошенных на произвол судьбы либо подвергшихся расхищению. Одни были заколочены и запечатаны, так как в них лежали мертвые или заболевшие чумой, на других стоял знак креста, сделанный углем, — чтобы указать монатти, что здесь есть мертвецы, которых нужно унести. Все это в большинстве своем носило случайный характер в зависимости от того, в каком месте оказался какой-нибудь комиссар Санитарного ведомства или другой служащий, захотевший выполнить распоряжение или совершить вымогательство. Повсюду тряпье и — что омерзительнее всякого тряпья — гнойные повязки, смердящие подстилки или выброшенные из окон простыни. Кое-где — трупы людей, либо умерших внезапно на улице и оставленных там, пока не проедет и не заберет их повозка, либо скатившихся с повозок, а то и просто выкинутых из окон: до такого одичания довели людей упорство и жестокость бедствия, заглушившие в них всякое чувство сострадания, всякое уважение к общим интересам! Умолк повсюду гомон лавок, стук экипажей, выкрики продавцов, болтовня прохожих. Молчание смерти лишь изредка нарушалось грохотом погребальных повозок, мольбами нищих, горестными жалобами больных, дикими воплями обезумевших, перекликиванием монатти. На рассвете, в полдень и по вечерам соборный колокол призывал к чтению особых молитв, установленных архиепископом. На этот звон отвечали колокола других церквей, и тогда можно было видеть, как люди, выглядывая из окон, сообщая возносили молитвы; можно было слышать шелест голосов и жалобные стоны, от которых веяло печалью, к которой, впрочем, примешивалась и некоторая надежда на утешение.

В эту пору, пожалуй, две трети горожан вымерло, добрая часть остальных покинула город или была больна, ничтожное

количество людей прибывало извне, а среди немногих, которые ходили по улицам, разве только случайно, после длительного хождения, можно было увидеть человека, в котором не было бы заметно некоторых странностей, указывающих на пагубное изменение обстоятельств. Самые именитые люди города появлялись на улице без длинного плаща и капюшона — в ту пору неотъемлемой принадлежности гражданского одеяния. Священники — без сутаны, и даже на монахах были камзолы. Вообще не носили никакой одежды, которая могла бы, развеиваясь, коснуться чего-нибудь или как-то облегчить работу мазунов (этого боялись больше всего). Правда, помимо этого стремления ходить, насколько возможно, подобравшись и подпоясавшись, в облике каждого человека замечалась какая-то распушенность и небрежность: предлинные бороды у тех, кто привык их носить; а те, кто обычно брился, теперь их отрастили; волосы на голове тоже длинные и всклокоченные, не только из-за небрежности, обычно порождаемой непрестанным отчаянием, но и в результате подозрительного отношения к цирюльникам, из числа которых один, Джанджакомо Мора, был схвачен и осужден как заведомый мазун. Имя его, на некоторое время получившее в городе позорную известность, заслуживало бы гораздо более широкой известности и вечной жалости. У большинства людей в одной руке была палка, а у иных даже пистолет для грозного предупреждения всякого, кто вздумал бы слишком приблизиться, а в другой — душистые лепешки либо металлические или деревянные полые шары, в которые были вложены губки, пропитанные лечебным уксусом. Их иногда подносили к носу либо все время держали около него. Некоторые носили привязанный к шее пузырек с небольшим количеством ртути, в полной уверенности, что она обладает свойством поглощать и задерживать в себе всякие заразные испарения, и заботливо меняли эту ртуть через несколько дней. Знатные люди не только появлялись без обычной свиты, но их нередко можно было видеть с корзинкой в руках, когда они шли закупать себе необходимые припасы. Друзья, встречаясь на улице даже один на один, приветствовали друг друга издали, торопливым кивком. У каждого прохожего было много всяких дел — приходилось обходить всевозможные мерзкие и смертоносные препятствия, которыми была усеяна, а местами даже и прямо загромождена земля. Всякий старался держаться середины улицы как из страха перед каким-нибудь новым отбросом или другим еще более страшным грузом, который мог неожиданно вывалиться из любого окна, так и из страха перед ядовитыми порошками, будто бы часто высыпаемыми оттуда на прохожих, равно как и из страха перед стенами, которые могли оказаться обмазанными. Так невежество и не к месту осторожное отчаяние создавало все новые и новые тревоги и внушало

ложные опасения взамен разумных и спасительных, отвергнутых с самого начала.

Мы дали лишь наименее жуткое и наименее грустное из того, что можно было видеть вокруг, мы говорили лишь о здоровых, о зажиточных людях. После такого множества картин страданий и памятуя о еще более тяжких, через которые нам предстоит провести читателя, мы не будем сейчас задерживаться, рассказывая о том, какое зрелище являли зачумленные, едва передвигавшие ноги или валявшиеся на улицах — бедняки, дети, женщины. Зрелище это было таково, что каждый свидетель его мог, пожалуй, найти какое-то безнадежное утешение в том, — что на потомков производит впечатление огромное и удручающее, — утешение, я повторяю, при мысли и созерцании того, как мало людей осталось в живых.

Ренцо совершил уже добрую часть своего пути по этому царству отчаяния, как вдруг, еще на довольно большом расстоянии от улицы, куда ему предстояло свернуть, он услышал доносившийся оттуда смутный гул, среди которого можно было различить знакомый и страшный звон колокольчика.

Дойдя до угла этой улицы, одной из самых широких, он увидел стоявшие посреди нее четыре повозки. Подобно тому как на хлебном рынке люди снуют взад-вперед, нагружая и опрокидывая мешки, было движение и в этом месте: одни монатти входили в дома, другие выходили оттуда с грузом на плечах и клали его на ту или другую повозку. Некоторые трупы были в красной форменной одежде, другие без этой особой приметы, многие с отличием еще более гнусным — с разноцветными султанами и кистями, которыми эти презренные твари украшали себя, веселясь среди огромного всеобщего горя. То из одного, то из другого окошка раздавался зловеющий окрик: «Монатти, сюда!» И из этого грустного сборища еще более зловеще откликался грубый голос: «Сейчас, сейчас!» Возможно, то были жильцы, которые ворчали и торопили, а монатти отвечали им ругательствами.

Выбравшись на улицу, Ренцо прибавил шагу, стараясь не обращать внимания на эти препятствия, разве только по необходимости, чтобы обойти их. Но вдруг взгляд его упал на нечто необычное, вызывающее сострадание, такое сострадание, которое заставляет невольно остановить на нем взор, так что Ренцо задержался почти помимо своей воли.

На пороге одной из дверей показалась, направляясь к печальному кортежу, женщина, наружность которой говорила о поздней, но еще не миновавшей поре молодости. На лице ее сквозь дымку печали и горя проступали следы красоты, не уничтоженной тяжким страданием и смертельной тоской, той красоты, томной и вместе с тем величавой, которая сверкает в людях ломбардской крови. Походка у нее была усталая, но не одряхлевшая, на глазах не было слез, но видно было, что

она пролила их немало; в ее страдании была какая-то кро-
тость и затаенность, обличавшие душу, вполне сознающую
свое горе и готовую претерпеть его. Но не только один ее вид,
посреди этого моря скорби, возбуждал к ней особую жалость
и воскрешал это чувство, в ту пору давно погасшее в усталых
сердцах. Она несла в своих объятиях мертвую девочку лет де-
вяти, нарядную, с волосами, расчесанными на пробор, в бе-
лоснежной одежде, словно эти руки украсили ее к празднику,
уже давно обещанному и теперь полученному ею в награду.
И девочка не лежала у нее на руках, а сидела, прислонившись
грудью к груди матери, словно живая, и только белая, точно
восковая ручонка, тяжелая и безжизненная, свешивалась
сбоку, и голова покоилась на материнском плече в оцепене-
нии более сильном, чем сон. Что это была мать, об этом, по-
мимо сходства, ясно говорило лицо той из них, которая еще
была способна что-либо чувствовать.

Гнусный монатто подошел, чтобы взять из рук женщины
девочку, однако с видом какой-то необычной для него почти-
тельности, с невольным колебанием. Но она, отступив назад,
не выражая, однако, ни негодования, ни презрения, сказала:

— Нет, погодите, не трогайте ее пока. Я сама хочу поло-
жить ее на повозку. Вот возьмите. — С этими словами она
разжала руку, показывая кошелек, и бросила его в руку, под-
ставленную монатто. Потом продолжала: — Обещайте мне не
снимать с нее ни единой ниточки и не допустить, чтобы дру-
гие посмели сделать это. Заройте ее в землю так, как она есть.

Монатто прижал руку к груди и затем торопливо, можно
сказать, почтительно, скорее в силу незнакомого ему чувства,
которое словно покорило его, чем ради неожиданного возна-
граждения, бросился расчищать на повозке местечко для ма-
ленькой покойницы. Поцеловав дочь в лоб, мать положила ее
туда словно в постель, оправила ее, накрыла белым покрыва-
лом и произнесла последние слова:

— Прощай, Чечилия, покойся в мире! Сегодня вечером
придем и мы, чтобы уже никогда не расставаться. Теперь же —
молись за нас, а я буду молиться за тебя и за других. — Потом,
вновь обернувшись к монатто, она сказала: — К вечеру, когда
будете проезжать мимо, поднимитесь наверх захватить меня, и
не одну.

С этими словами она вернулась в дом и минуту спустя по-
казалась в окне, держа в объятиях другую девочку, поменьше,
еще живую, но уже с печатью смерти на лице. Она стояла и
с содроганием смотрела на эти недостойные похороны своей
старшей дочери, пока повозка не тронулась с места и она
могла ее видеть. Потом женщина исчезла. Да и что еще оста-
валось ей делать, как не уложить в постель свое единственное
оставшееся в живых дитя и самой лечь рядом, чтобы вместе
умереть? — подобно тому как под ударом косы, срезающей на

лугу все травы, уже пышно распустившийся на стебле цветок падает вместе с еще только раскрывающимся бутонном.

— О Господи! — воскликнул Ренцо. — Внемли ей, прими к себе и ее и малютку. О, сколько они страдали, сколько страдали!

Придя в себя от этого необычайного потрясения и стараясь снова припомнить свой маршрут, чтобы решить, сворачивать ли ему в первую улицу и куда именно, вправо или влево, он вдруг услышал доносившийся оттуда новый непонятный шум — смешение повелительных окриков, глухих стонов, женского плача, детского визга.

Он двинулся дальше с привычным печальным и смутным ожиданием в душе. Дойдя до перекрестка, он увидел с одной стороны движущуюся беспорядочную толпу и остановился, чтобы пропустить ее. То были больные, которых вели в лазарет. Одни, грубо подталкиваемые, тщетно пытались сопротивляться, крича, что хотят умереть в своей постели, и отвечая бесполезными проклятиями на ругательства и окрики сопровождавших их монахтти. Другие шли молча, не обнаруживая ни скорби, ни какого-либо иного чувства, словно обезумев. Женщины с грудными младенцами на руках; дети, напуганные окриками, стенаниями и всем этим сборищем больше, чем смутным страхом смерти, с громкими воплями призывали матерей, преданные их объятиям, и рвались домой. Увы! быть может, мать, о которой они думали, что она спит дома в своей кровати, повалилась на нее, внезапно настигнутая чумой, и лежит теперь там без сознания, пока ее не отвезут на повозке в лазарет или прямо в могилу, если повозка придет слишком поздно. А возможно, — о несчастье, достойное еще более горьких слез, — эта мать, подавленная собственными муками, забыла обо всем, даже о своих детях, и думала лишь об одном: умереть с миром. И все же и среди этого общего смятения попадались примеры стойкости и человеколюбия: отцы, матери, братья, сыновья, супруги поддерживали дорогих своих близких и сопровождали их словами утешения, и не только одни взрослые, но и маленькие девочки и мальчики, тащившие своих младших братишек, с рассудительностью и состраданием взрослых уговаривали их быть послушными, уверяя, что они идут в такое место, где за ними будут ухаживать, чтобы их вылечить.

При виде этого грустного и трогательного зрелища одна мысль не давала покоя и непрестанно волновала нашего путника. Ведь дом, который он разыскивал, должен был находиться где-то поблизости, и кто знает, быть может, в этой самой толпе... Но когда все шествие прошло мимо и это сомнение рассеялось, Ренцо обратился к шедшему позади монахтто и спросил его про улицу и про дом дона Ферранте. «Ступай к черту, невежа!» — раздалось в ответ. Ренцо и не

подумал ответить на это как следовало бы, но, заметив в двух шагах комиссара, который замыкал шествие и имел несколько более человечный вид, обратился к нему с тем же вопросом. Тот, указав палкой в направлении, откуда шел сам, сказал: «Первая улица направо, последний большой дом слева».

С новой и еще более сильной тревогой в душе юноша направился в указанную сторону. Вот он и на этой улице и сразу заметил дом среди других, пониже и победнее; Ренцо подошел к наглухо запертому подъезду, положил руку на дверной молоток и подержал его некоторое время на весу, словно медля перед урной, прежде чем вынуть билетик, на котором будет стоять: «жизнь» или «смерть». Наконец он поднял молоток, и раздался решительный удар.

Через несколько минут приоткрылось окошко, из которого показалась голова женщины, разглядывающей, кто бы это мог быть. Испуганное выражение ее лица словно говорило: «Монатти? Бродяги? Комиссары? Мазуны? Черти?»

— Милейшая синьора, — глядя на нее, произнес Ренцо не слишком уверенным голосом, — не проживает ли здесь в услужении деревенская девушка, по имени Лючия?

— Ее здесь больше нет, уходите, — отвечала женщина, собираясь закрыть окно.

— Одну минутку, ради Бога. Разве ее здесь больше нет? Где же она?

— В лазарете, — и она снова стала было закрывать окно.

— Повремените минуточку, ради самого неба! У нее чума?

— Ну да. Подумаешь, что же тут удивительного? Идите себе.

— О я несчастный! Погодите! Она очень тяжело больна? Давно ли?..

Но тем временем окно захлопнулось по-настоящему.

— Милейшая синьора, одно только слово, ради Бога! Ради ваших погибших близких! Я ведь ни о чем вас больше не спрашиваю. Послушайте же!

Но все мольбы его остались гласом вопиющего в пустыне. Потрясенный печальным известием и взбешенный таким обращением, Ренцо опять схватился за молоток и, упираясь рукой в дверь, сжимал и вертел его, наконец поднял, чтобы с горя постучать еще раз, да так и остался, держа его на весу. В таком возбужденном состоянии он обернулся — посмотреть, нет ли поблизости какого-нибудь соседа, от которого ему, может быть, удалось бы получить более точные сведения, какое-нибудь указание или намек. Но первой и единственной особой, которую он увидел шагах в двадцати от себя, оказалась другая женщина. Лицо ее выражало ужас, ненависть, нетерпение и злобу, глаза как-то странно блуждали, они в одно и то же время смотрели и на него и куда-то вдаль. Рот ее был широко раскрыт, казалось она вот-вот крикнет во всю мочь,

но вместе с тем женщина как бы затаила дыхание. Она выбрасывала вверх свои тощие руки, то растопыривая, то сжимая морщинистые, похожие на когти пальцы, словно собираясь схватить что-то. По всему было видно, что ей хотелось созвать народ, но так, чтобы незнакомец этого не заметил. Когда взгляды их встретились, она, став еще отвратительней, задрожала, точно захваченная на месте преступления.

— Что за чертовщина, — начал было Ренцо, в свою очередь поднимая руки в сторону женщины, но та, потеряв надежду захватить его врасплох, испустила крик, который до сих пор сдерживала.

— Мазун! Держи его, держи мазуна!

— Кто? Я? Ах ты, лгунья проклятая! Замолчишь ты! — закричал Ренцо и подскочил к ней, чтобы напугать ее и заставить умолкнуть.

Но он тут же сообразил, что, пожалуй, прежде всего следует подумать о себе. На пронзительный крик старухи со всех сторон стали сбегаться люди, правда, не в таком количестве, как бывало в подобных случаях месяца три назад, но все же их было более чем достаточно, чтобы по-своему расправиться с одним человеком. В ту же минуту снова открылось окошко, и давешняя грубиянка, на этот раз совсем высунувшись наружу, тоже принялась кричать:

— Хватайте его, хватайте! Знать, он из тех самых негодяев, что шляются повсюду и мажут двери у добрых людей!

Ренцо не стал долго раздумывать: он сразу сообразил, что лучше удрать от разъяренной толпы, чем объясняться с нею. Он бросил взгляд направо, налево, прикинул, где поменьше народу, и юркнул в ту сторону. Толкнув кого-то, он опрокинул первого, преградившего ему путь, сильным ударом в грудь отбросил шагов на восемь другого, бежавшего ему навстречу, и бросился во весь дух прочь, размахивая своим узловатым кулаком, угрожая всякому, кто вздумает стать поперек дороги. Впереди него улица была пуста, но за спиной он слышал угрожающий топот и еще более грозные отчаянные крики: «Держи, держи его! Держи мазуна!» — Ренцо не знал, когда же его преследователи отстанут, не видел, куда бы можно было от них скрыться. Гнев его перешел в бешенство, тревога сменилась отчаянием. В глазах у него потемнело, он схватился за нож, выдернул его из ножен, остановился и обернулся — лицо его было таким свирепым и злым, каким не бывало еще ни разу в жизни. И, вытянув руку, потрясая в воздухе сверкающим лезвием, закричал:

— У кого хватит духу, выходи вперед, сволочь! Я его вот этой штукой так мазану, что долго будет помнить!

Но он с удивлением и смутным чувством некоторого успокоения увидел, что его преследователи уже остановились и стоят в нерешительности, продолжая орать, размахивая по

воздуху руками, словно одержимые, и подавая какие-то сигналы, по-видимому, людям, находившимся далеко позади него. Ренцо обернулся и увидел приближавшуюся повозку (за минуту до этого он в волнении ее не заметил), и даже целую вереницу погребальных повозок с обычной свитой. А позади, на некотором расстоянии от них, другую кучку людей, которым тоже, видно, хотелось наброситься на мазуна и разделиться с ним, но им мешало все то же препятствие. Очутившись, таким образом, между двух огней, Ренцо пришло в голову, что то самое, что пугало их, могло послужить ему во спасение. Он подумал, что раз так — нечего быть брезгливым: вложив в ножны свой нож, он отступил в сторону и бросился бежать прямо к повозкам. Миновав первую из них, он заметил на второй много свободного места. Ренцо нацелился, прыгнул и очутился наверху, твердо стоя на правой ноге, болтая в воздухе левой, с поднятыми руками.

— Молодец! Молодец! — в один голос воскликнули монатти, из которых одни сопровождали шествие пешком, другие сидели на повозках, третьи (если уж не скрывать самого ужасного и рассказывать, как оно было) прямо на трупах, угощаясь из большой бутылки, ходившей по рукам. — Ну, и молодец! Чисто сделано.

— Ты пришел искать защиты у монатти? Считай, что ты в церкви, — сказал один из двух, сидевших на повозке, куда забрался Ренцо.

Большинство врагов при приближении кортежа обратилось в бегство и скрылось, не переставая кричать: «Держи, держи мазуна!» Иные отступали медленнее, то и дело останавливаясь, и, поворачивая в сторону Ренцо озлобленные лица, угрожающе жестикулировали. А он отвечал им с повозки, потрясая кулаками в воздухе.

— Погоди, вот я ж вам, — сказал один из монатти. Сорвав с какого-то трупа грязный лоскут, он наскоро завязал его узлом и, ухватив за один конец, подняв в виде пращи, направил на этих упорных преследователей. Делая вид, что собирается запустить в них тряпкой, он закричал: — Вот вам, негодяи!

При этом движении угрожавшего все в ужасе бросились врассыпную, и Ренцо увидел лишь вражеские спины да пятки, засверкавшие в воздухе, словно колотушки на сукновалке.

Среди монатти раздался торжествующий крик, взрыв бурного хохота, длительное улюлюканье вслед убегающим.

— Ага! Видишь, как мы умеем защищать добрых людей, — сказал монатто, разогнавший толпу, обращаясь к Ренцо. — Каждый из нас стоит сотни этих трусов.

— И правда, я ведь можно сказать, обязан вам жизнью, — отвечал Ренцо, — благодарю вас от всего сердца.

— За что же? — сказал монатто. — Ты этого заслуживаешь, — сразу видно, хороший малый. Отлично делаешь, что мажешь эту сволочь. Мажь их, истребляй всю. Они лишь тогда чего-нибудь и стоят, когда подохнут. А то вон они в награду за жизнь, которую мы ведем, только проклинают нас да говорят, что всех перевешают, как только мор кончится. Да нет, всем им придет конец раньше, чем чуме. А монатти одни только и уцелеют. Будем ликовать и кутить на весь Милан.

— Да здравствует чума, и смерть черни! — воскликнул другой, и, произнеся столь прекрасный тост, он приставил к губам бутылку, держа ее обеими руками, и, подсакивая на ухабах, изрядно хлебнул, а потом передал бутылку Ренцо, приговаривая: — Выпей-ка за наше здоровье.

— Всем вам его желаю от всего сердца, — сказал Ренцо, — но у меня что-то нет жажды да и большой охоты выпивать в такое время.

— Ты, видать, порядком-таки струхнул, — сказал монатто, — и никак малый простой. Не с твоим лицом ходить в мазунах.

— Всякий ловчится, как умеет, — вставил другой.

— А ну-ка, дай мне, — сказал один из тех, кто шел пешком рядом с повозкой, — я тоже хочу хлебнуть еще разок за здоровье ее хозяина, который попал сюда в эту прекрасную компанию... вон там, как раз в том роскошном экипаже.

И он с дьявольской усмешкой кивнул в сторону повозки, ехавшей впереди той, на которой сидел бедняга Ренцо. Затем, скорчив серьезную мину, что придало ему еще более злоеший и отталкивающий вид, и отвесив почтительный поклон в ту сторону, продолжал:

— Не разрешите ли, уважаемый хозяин, отведать жалкому монаттишке винца из вашего погреба? Извольте видеть, так уж устроена жизнь: мы те самые, что усадили вас в карету и везем теперь на дачу. Опять же, вино плохо действует на синьоров, а вот у бедных монатти желудок будет крепче.

И взяв под хохот товарищей бутылку, он высоко поднял ее, но, прежде чем выпить, повернулся к Ренцо, пристально взглянул на него и сказал тоном какого-то презрительного сострадания:

— Не иначе как дьявол, с которым ты заключил договор, еще очень молод, — не подвернись мы, чтобы спасти тебя, он бы тебя не больно выручил.

И под новый взрыв хохота он присосался к бутылке.

— А мы-то? А мы-то как же? — закричало несколько голов с повозки, ехавшей впереди.

Мошенник, насосавшись вволю, двумя руками вручил бутылку своим братьям, которые стали передавать ее друг другу, пока один, опорожнивший ее до дна, взялся за горлышко, повертел бутылку в воздухе и с возгласом: «Да здравствует чума!» — так швырнул ее на мостовую, что она разле-

телась вдребезги. Потом он затянул песенку монатти, и ее тут же подхватили другие голоса этого гнусного хора. Адский напев, перемежаясь со звоном колокольчиков, скрипом повозок и топотом лошадей, гулко раздавался в пустынном молчании улиц и, отдаваясь в домах, горько сжимал сердца немногих уцелевших жителей.

Но что только не может иной раз прийти кстати? Что только не может в некоторых случаях доставить удовольствие? Только несколько мгновений назад опасность сделала для Ренцо более чем терпимым общество этих мертвых и этих живых. А теперь эта песня, избавлявшая его от столь неприятного общения с монатти, была для его слуха музыкой, — я готов сказать, желанной. Не совсем еще придя в себя, в полном расстройстве чувств, он меж тем в душе горячо благодарил провидение за то, что вывернулся из столь трудного положения, не пострадав сам и не причинив никому вреда. Теперь он молил провидение, чтобы оно помогло ему избавиться и от своих спасителей. Ренцо смотрел в оба, поглядывая и на них и на улицу, ловя момент тихонько спрыгнуть и не дать им возможности поднять шум, устроив скандал, способный навести на подозрение прохожих.

Вдруг на одном углу Ренцо показалось, что это место ему знакомо. Он стал всматриваться внимательнее: так и есть. Знаете, где он был? На проспекте у Восточных ворот, на той самой улице, по которой он месяцев двадцать тому назад так спокойно вошел в Милан и так поспешно из него удалился. Он сразу вспомнил, что дорога отсюда вела прямо к лазарету. И, очутившись без всяких поисков и расспросов на нужной ему улице, он увидел в этом указание провидения и хорошее предзнаменование на будущее. Тут как раз навстречу повозкам вышел комиссар, кричавший монатти, чтобы они остановились, и еще что-то не совсем понятное. Во всяком случае кортеж остановился, и пение сменилось шумной перебранкой. Один из монатти, находившийся в повозке, где ехал Ренцо, спрыгнул на землю, а Ренцо сказал другому:

— Спасибо вам за вашу доброту, да воздаст вам за это Бог, — и спрыгнул в другую сторону.

— Ступай, ступай себе, бедный мазилка, — отвечал тот, — где уж тебе расправиться с Миланом.

К счастью, некому было услышать эти слова. Кортеж остановился по левую сторону проспекта, Ренцо поспешно перешел на другую сторону и, прижимаясь к стене, рысцой побежал к мосту. Перейдя его и двигаясь дальше по предместью, он узнал монастырь капуцинов. Подойдя к самым воротам, он увидел угол лазарета, миновал решетку, и перед ним открылась картина всего огороженного снаружи пространства, — лишь слабый намек, образчик чумного лазарета и все же — огромная, потрясающая, неописуемая картина.

Вдоль двух стен, видных всякому, кто смотрит на лазарет с этой стороны, кишмя кишел народ. Больные группами тянулись в лазарет. Некоторые сидели или лежали на краю рва, который шел вокруг здания. То ли у них не хватало сил добраться до помещения, то ли они, в отчаянии выйдя оттуда, уже не имели больше сил двигаться. Были и такие несчастные, что бродили словно в прострации, и многие из них в самом деле не помнили себя: один с воодушевлением поверял свои бредни какому-то несчастному, который лежал тут же, сраженный болезнью; другой впал в буйство; третий с улыбкой поглядывал по сторонам, словно присутствуя на веселом представлении. Но, пожалуй, самым необычным и самым шумным проявлением этого печального веселья было непрерывное громкое пение. Не верилось, что оно несется из гущи этой жалкой толпы, и, однако, это пение заглушало все другие голоса. То была деревенская песенка про веселую и игривую любовь, из тех, что зовут вилланеллами. И следуя глазами за волной этих звуков, чтобы узнать, кто же может веселиться в такое время, в таком месте, вы могли увидеть несчастного, который, спокойно сидя на дне рва, распевал во всю глотку, задрав вверх голову.

Едва Ренцо сделал несколько шагов вдоль южной стороны здания, как в толпе начался какой-то необычный шум и слышались голоса, кричавшие: «Берегись! Держи его!» Приподнявшись на цыпочки, Ренцо увидел несущуюся вскачь лошаденку, подгоняемую совсем уже странным всадником. Оказывается, какой-то сумасшедший, увидев возле повозки отвязанное и никем не охраняемое животное, быстро вскочил на неоседланную лошадь и, молотя ее кулаками по шее, действуя вместо шпор каблуками, гнал ее во весь опор. За ним с воем неслись монатти, и все заволакивало облако пыли, которое разнеслось далеко по дороге.

Так, потрясенный, уставший от зрелища стольких страданий, юноша добрался до ворот — того места, где их скопилось, пожалуй, гораздо больше, чем было разбросано на всем протяжении пути, уже пройденного им. Очутившись перед воротами, он прошел под свод и на мгновение неподвижно застыл посреди колоннады.

Глава тридцать пятая

Пусть читатель представит себе огороженный двор лазарета, с населением в шестнадцать тысяч зачумленных, сплошь загроможденный где шалашами и бараками, где повозками, где просто людьми. Вправо и влево тянулись две бесконечные анфилады портиков, переполненных, набитых больными вплережку с трупами, лежащими как на тюфяках, а кто и прямо

на соломе. Надо всем этим почти необъятным логовищем стоял непрерывный гул, точно шум волн; взад и вперед сновали люди, останавливались, бежали, наклонялись, приподнимались выздоравливавшие, бредившие, те, кто ухаживал за больными. Такова была картина, сразу захватившая все внимание Ренцо и притормозившая его к месту, подавленного и удрученного. Мы, разумеется, не собираемся описывать эту картину во всех ее подробностях, да вряд ли пожелает этого и читатель; и лишь следуя за нашим юношей в его хождении по мукам, мы будем останавливаться вместе с ним и приводить изо всего, что ему доведется увидеть, лишь необходимое для рассказа о том, что он делал и что с ним приключилось.

От ворот, у которых он остановился, вплоть до часовни, находившейся посредине, и оттуда до противоположных ворот тянулась как бы широкая аллея, свободная от шалашей и каких-либо постоянных сооружений. Вторично бросив взгляд в ту сторону, Ренцо заметил, как по этой аллее движутся повозки и перетаскивают вещи, расчищая место. Он увидел капуцинов и мирян, руководивших этим делом и вместе с тем отгонявших всех, кому там нечего было делать. Боясь, как бы и его самого не услали под тем же предлогом, Ренцо бросился напрямик между шалашами в ту сторону, к которой он случайно оказался обращенным, а именно — вправо.

Отыскивая место, куда бы ступить ногой, он продвигался вперед от шалаша к шалашу, заглядывая в каждый из них, не пропуская и кроватей, стоявших снаружи на открытом воздухе. Всматриваясь в лица, изможденные страданиями, сведенные судорогой, либо застывшие в вечном покое, он отыскивал среди них то, найти которое ему вместе с тем было так страшно. Пройдя уже довольно большое расстояние и упорно продолжая свои скорбные поиски, он, однако, не встретил ни одной женщины. Поэтому он решил, что, по-видимому, они должны находиться в особом месте. Его догадка была правильной, но где это могло быть, об этом у него не было ни малейшего представления и никаких предположений. То и дело ему попадались служители, столь же несхожие между собой по своему облику, поведению и одежде, сколь разнообразны и непохожи были и побуждения, дававшие им одинаковую силу жить и работать в таком месте. У одних это была полная утрата всякого чувства жалости, у других — жалость сверхчеловеческая. Но он не решался обратиться с вопросом ни к тем, ни к другим, опасаясь попасть в затруднительное положение, и решил искать до тех пор, пока ему не удастся найти женщин. На ходу он не переставал разглядывать все вокруг, но время от времени был вынужден отводить свой опечаленный взор, словно затуманенный созерцанием стольких страданий. Но куда было отвести его, на чем отдохнуть, разве только на новых страданиях?

Даже небо и самый воздух усиливали кошмар этих видений, если только что-нибудь еще могло усилить его. Туман мало-помалу сгустился и скопился в грозовые тучи, которые, постепенно темнея, сулили бурную ночь. Только ближе к середине темнеющего нависшего неба, словно сквозь густую пелену, бледно просвечивал солнечный шар, который, распространяя вокруг себя тусклый, рассеянный полусвет, изливал на землю давящий, мертвящий все живое зной. Порой, сквозь непрерывное гуденье этого беспорядочного сборища людей, раздавался раскат грома, отрывистый, нерешительный, и, даже прислушиваясь, трудно было определить, откуда он доносится. Пожалуй, его можно было даже принять за отдаленный грохот повозок, которые внезапно остановились. В окрестных полях не шевелилась ни единая веточка, ни одна птичка не порхала вокруг; лишь ласточка, вдруг показавшись над крышей лазарета, скользнула вниз на распростертых крыльях, словно собираясь коснуться земли, но, испугавшись этого людского муравейника, быстро взмыла в небо и скрылась. Словом, погода стояла такая, когда в компании никому из путников не приходит в голову нарушить молчание; когда охотник бредет в задумчивости, устремив взгляд в землю; когда крестьянка, работая в поле мотыгой, незаметно для себя самой перестает петь. Словом, погода перед бурей, когда природа, внешне как будто притихшая, но встревоженная какой-то внутренней работой, словно давит все живое и делает тягостным всякое действие, отдых и даже само существование. Но в этом месте, самом по себе предназначенном для страданий и смерти, человек, находясь уже в смертельной схватке с болезнью, окончательно сгибался под этой новой тяжестью. Положение сотен и сотен людей стремительно ухудшалось, их последняя борьба становилась все мучительнее, а стоны, несмотря на тяжесть страдания, — все более глухими. Быть может, никогда еще эта юдоль скорби не переживала столь жестокого часа. Ренцо уже довольно долго и бесплодно блуждал среди этого лабиринта шалашей, когда среди разнообразных стонов и смешанных шорохов он стал различать своеобразный крик новорожденных вперемежку с блеянием коз. Он подошел к дыривой, плохо сколоченной перегородке, из-за которой неслись эти странные звуки. Заглянув сквозь широкую щель между двумя досками, он увидел огороженное место с разбросанными по нему шалашами, и в них, так же, как на всей этой небольшой площадке, не обычный лазарет, а младенцев, лежащих на матрацах, подушках, растянутых простынях и пеленках. Около них хлопотали кормилицы и другие женщины; и — что всего более поражало и привлекало взгляд — тут же среди них бродили и помогали им козы. Словом, то были ясли, какие только позволяли создать место и время. И повторяю, странно было видеть, как одно из этих животных,

спокойно стоя над младенцем, подставляло ему свое вымя, а другое прибегало на детский писк с какой-то почти материнской заботливостью и останавливалось около маленького питомца, стараясь поудобнее устроиться над ним, и бляло и вертелось, словно прося, чтобы пришли на помощь им обоим.

Там и сям сидели кормилицы, давая младенцам грудь. Иные делали это с такой любовью, что всякий, кому довелось быть свидетелем этого, начинал сомневаться, привлекло ли их сюда стремление заработать, или то непроизвольное чувство сострадания, которое само разыскивает нужду и горе. Одна из них с досадой отняла от своей истощенной груди плачущую малютку и с грустью пошла искать себе в замену козу. Другая растроганным взглядом смотрела на уснувшего у нее на груди младенца и, нежно поцеловав его, пошла в один из шалашей уложить его на матрасик. А третья, давая свою грудь чужому ребенку, не то чтобы с вызовом, но с какой-то затаенной печалью устремляла свой взгляд в небеса. О чем думала она? О чем говорила вся ее поза и этот взгляд? Быть может, о родившемся из ее собственного чрева, который незадолго до этого сосал эту самую грудь и, быть может, на ней же испустил свой последний вздох.

Женщины более пожилые были заняты другой работой. Одна подбегала на плач проголодавшегося младенца, брала его на руки и несла к козе, которая пощипывала пучок свежей травы, и клала крошку под ее соски, жура и вместе с тем лаская неопытное животное, чтобы оно кротко отдалось своей обязанности. Другая спешила подобрать бедняжку, которого коза, всецело поглощенная кормлением другого, отбрыкивала копытом. Третья носила своего взад-вперед, убаюкивая его, стараясь то усыпить песенкой, то успокоить ласковыми словами, называя его именем, которое тут же сама и придумала. Сюда как раз пришел капуцин с совершенно седой бородой, неся под мышками двух пронзительно визжавших младенцев, только что подобранных возле умерших матерей. Одна из женщин выбежала принять их и пошла поискать среди своих товарок и в козьем стаде, не найдется ли кто-нибудь поскорее, кто бы мог заменить им мать.

Побуждаемый тем, что было первейшей и самой главной его заботой, наш юноша не раз отрывался от щели и собирался было уйти, но каждый раз задерживался, желая понаблюдать еще немного.

Оторвавшись в конце концов от щели, он пошел вдоль перегородки, пока небольшая кучка шалашей, раскинутых тут же, не заставила его свернуть. Тогда он направился вдоль шалашей с тем, чтобы потом опять вернуться к перегородке, дойти до самого ее конца и выйти на новые места. И вот, когда он смотрел вперед, выбирая дорогу, неожиданное, мимолетное, мгновенное явление бросилось ему в глаза и по-

трясло все его существо. В ста шагах от него прошел и тут же затерялся среди шалашей какой-то капуцин, который, даже издали и мельком, своей походкой, движениями, всем своим видом напомнил ему падре Кристофоро. Можете себе представить, с каким волнением бросился Ренцо в ту сторону и стал кружить там в поисках промелькнувшего монаха. Долго блуждал он по этому лабиринту, исколесил его вдоль и поперек, пока к великой своей радости не заметил фигуру того самого монаха. Ренцо увидел его неподалеку, когда тот отошел от котла и с миской в руке направлялся к одному из шалашей. Затем он увидел, как тот присел на пороге, перекрестил миску, держа ее перед собой, и, озираясь по сторонам, словно человек, всегда находящийся настороже, принялся за еду. Это был действительно падре Кристофоро.

Историю его с того момента, как мы потеряли его из виду, и до этой встречи, можно рассказать в двух словах.

Он так и не трогался из Римини, да и не думал трогаться оттуда, пока вспыхнувшая в Милане чума не предоставила ему возможности, которой он всегда так страстно желал, — отдать свою жизнь за ближнего. С большой настойчивостью он стал просить, чтобы его отозвали обратно для помощи и обслуживания зачумленных. Дядюшка-граф умер, да к тому же теперь были больше нужны санитары, чем тонкие политики, так что его просьба была удовлетворена без всяких затруднений. Он немедленно прибыл в Милан, поступил в лазарет и находился там уже около трех месяцев.

Но радость Ренцо от того, что он снова нашел своего доброго падре, не была ни на одно мгновение полной: уже когда он всматривался в него, чтобы убедиться, действительно ли то падре Кристофоро, Ренцо не мог не заметить, как сильно он изменился. Согбенная и утомленная фигура, исхудалое и бледное лицо. По всему было видно, что силы его истощены, тело немощно и одряхлело, и только непреклонная сила духа помогает ему держаться.

Падре Кристофоро тоже устремил свой взгляд на приближавшегося к нему юношу, который, не решаясь его окликнуть, старался жестами обратить на себя внимание и дать возможность узнать себя.

— О падре Кристофоро, — произнес он наконец, приблизившись к монаху настолько, что мог говорить с ним, не повышая голоса.

— Ты... и здесь? — сказал монах, поставив на землю миску и поднимаясь с места.

— Ну как вы, падре, как поживаете?

— Лучше многих бедняг, которых ты здесь видишь, — отвечал монах, и голос его звучал хрипло и глухо, изменившись, как и все остальное. Лишь глаза были прежними, став даже как будто еще более живыми и сияющими. Словно милосердие,

дойдя до предела в этом последнем своем подвиге и радостно сознавая приближение к своему исконному началу, горело в его глазах более пламенным и чистым огнем, чем тот, который понемногу угасал в них под влиянием телесного недуга.

— Но ты-то, — продолжал он, — ты-то как попал сюда? Зачем ты идешь навстречу чуме?

— Я перенес ее уже, благодарение небу. Я пришел... искать... Лючию.

— Лючию? Разве она здесь?

— Здесь. Хочу надеяться, что она еще, с Божьей помощью, здесь.

— Она — твоя жена?

— О дорогой падре! Нет, она не жена мне... Вы ничего не знаете о том, что случилось?

— Нет, сын мой. С тех пор как Господь разлучил меня с вами, я ничего больше не знаю. Но теперь, когда он посылает мне тебя, скажу по правде, мне очень хочется узнать обо всем. Но... приказ об аресте?

— Так, значит, вы слышали, что они со мной сделали?

— Да ты-то, что же ты такое натворил?

— Ну, так слушайте. Скажи я сейчас, что в тот день в Милане я действовал вполне правильно, я солгал бы; но никаких дурных поступков за мной нет.

— Верю тебе, как верил и раньше.

— Теперь, стало быть, я могу рассказать вам все.

— Погоди, — сказал монах и, сделав несколько шагов в сторону от шалаша, позвал:

— Падре Витторе!

Вскоре показался молодой капуцин, которому он сказал:

— Будьте добры, падре Витторе, присмотрите заодно за этими нашими бедняжками, пока я отлучусь, а если я кому-нибудь понадобится, позовите меня. Особенно вон тот, — как только он начнет приходить в себя, немедленно дайте мне знать, ради Бога.

— Будьте покойны, — отвечал молодой монах.

И старик, обернувшись к Ренцо, сказал:

— Войдем сюда. Однако... — прибавил он, останавливаясь, — по-моему, ты изрядно проголодался, тебе надо бы поесть.

— И правда, — сказал Ренцо, — теперь, когда вы мне сказали, я вспомнил, что ведь у меня сегодня еще и крошки во рту не было.

— Погоди, — сказал монах и, взяв другую миску, отправился с ней к котлу. Вернувшись, он подал ее вместе с ложкой Ренцо, усадил его на соломенный тюфяк, служивший постелью, потом подошел к стоявшему в углу бочонку, налил из него стакан вина и поставил его на стол перед гостем. Затем взялся опять за свою миску и сел рядом.

— Ах, падре Кристофоро, — сказал Ренцо, — ваше ли это

дело заниматься такими вещами? Но вы все такой же. Спасибо вам от всей души.

— Не меня благодари, — сказал монах, — это достояние бедных, а сейчас ты ведь тоже бедняк. Теперь поведай про то, чего я не знаю, расскажи мне про нашу страдалицу, да торопись, потому что — времени мало, а дела, как сам видишь, много!

Глотая ложку за ложкой, Ренцо поведал историю Лючии. Как ее спрятали в Монцу, в монастырь, как похитили... Рисуя себе все эти страдания и опасности, думая о том, что ведь именно он направил неповинную бедняжку в это место, добрый монах слушал, затаив дыхание, но сразу же свободно вздохнул, услышав, как она чудесным образом была освобождена, возвращена матери и устроена ею у донны Прасседе.

— Теперь я расскажу про себя, — продолжал Ренцо и коротко рассказал о дне, проведенном в Милане, о своем бегстве, и как он все время жил вдали от дома, а теперь, когда все перевернулось сверху дном, рискнул отправиться туда; как не нашел там Аньезе; как узнал в Милане, что Лючия в лазарете. — И вот я здесь, — закончил он, — хочу разыскать ее, узнать, жива ли она и хочет ли еще пойти за меня... потому что... ведь иногда...

— Но есть ли у тебя, — спросил монах, — какие-нибудь сведения, куда ее дели, когда она попала сюда?

— Никаких, дорогой падре, кроме того, что она здесь, если, конечно, она еще жива, дай-то Боже.

— Боже мой, несчастный ты! Но какие же поиски успел произвести ты здесь?

— Да я уж ходил повсюду; но, между прочим, только везде и видел что мужчин. Я, конечно, решил, что женщины должны находиться в особом месте, но никак не мог до него добраться; вот вы мне теперь и разъясните, так ли это.

— А ты разве не знаешь, сын мой, что мужчинам вход туда воспрещен, если только у них нет какого-нибудь особого дела?

— Ну, а что же со мной может случиться, если я проникну туда?

— Всякий устав свят и справедлив, дорогой мой сын, и если многочисленные тяжкие заботы не позволяют соблюдать его со всей строгостью, то разве это основание для того, чтобы честный человек нарушал его?

— Но, падре Кристофоро! — сказал Ренцо. — Лючия должна была стать моей женой, — вы же знаете, как нас разлучили. Двадцать месяцев страдаю я и все терплю; я добрался сюда, подвергаясь многим опасностям одна хуже другой... и вот теперь...

— Не знаю, что тебе и сказать, — заговорил снова монах, скорее отвечая на свои собственные мысли, чем на слова

юноши. — Ты идешь с добрым намерением, и дай Бог, чтобы все, кто имеет свободный доступ в это место, вели себя там так же, как, надеюсь, будешь вести себя ты... Господь, несомненно благословляющий это постоянство твоей привязанности, эту преданность твою в любви и в поисках той, которую он дал тебе, Господь, который строже людей, но и справедливее, не поставит тебе в вину того, что ты пользовался не совсем правильными средствами, разыскивая ее. Помни только об одном, что за твое поведение в этом месте мы оба будем отвечать: перед людьми, быть может, и нет, но перед Богом несомненно. Следуй за мной.

Сказав это, он поднялся, а вместе с ним и Ренцо, который, не переставая прислушиваться к его словам, все же решил про себя не говорить, как он было собирался, про обет Лючин. «Если он узнает и об этом, — подумал Ренцо, — он, разумеется, поставит мне новые препятствия. Либо я ее найду, и тогда у нас будет время поговорить об этом; либо... ну, тогда зачем и говорить?»

Выведя юношу на порог шалаша, который был обращен к северу, монах снова заговорил:

— Послушай, наш падре Феличе, — он здесь начальником лазарета, — отводит сегодня выдержать карантин в другое место тех немногих, что выздоровели здесь от чумы. Видишь церковь вон там посредине? — и, подняв исхудалую трясущуюся руку, он указал на вырисовывавшийся слева в мутном воздухе купол часовни, поднимавшийся над жалкими шалашами, и продолжал: — Они теперь собираются вон там, во круг церкви, чтобы отправиться потом всей процессией из тех ворот, через которые ты, вероятно, вошел.

— А, понимаю, так вот почему они так усердно расчищали дорогу.

— Вот именно. И ты, наверное, слышал удары колокола?

— Я слышал один удар.

— То был второй. По третьему все они уже соберутся, падре Феличе обратится к ним с кратким словом и затем тронется со всеми в путь. Когда услышишь удар колокола, отправляйся туда. Постарайся стать позади этих людей, с краю дороги, откуда, никому не мешая и оставаясь незамеченным, ты можешь увидеть всех, проходящих мимо. И гляди... во все глаза гляди... нет ли ее там. Если Господу не было угодно, чтобы она оказалась там, то вон та сторона, — и он поднял руку, указывая на то крыло здания, которое было перед ними, — та сторона строения и часть примыкающего к нему участка отведена для женщин. Ты увидишь частокол, отделяющий то место от этого, но он в некоторых местах прерывается, а в других есть лазейки, так что тебе нетрудно будет проникнуть туда. А когда попадешь внутрь, там, по всей вероятности, никто тебе ничего не скажет, если ты не сделаешь ничего, что

может вызвать чье-либо подозрение. Если, однако, встретится тебе какое-нибудь препятствие, то скажи, что падре Кристофоро из *** знает тебя и ручается за тебя. Ищи ее там. Ищи с упованием и... со смирением. Помни, что ты пришел искать здесь не малость: ты ищешь живого человека в чумном лазарете! Знаешь ли ты, сколько раз на моих глазах менялись несчастные здешние обитатели? Сколько я видел людей, которых уносили отсюда, и как мало их вышло! Иди готовый на всякую жертву...

— Да, я все понимаю, — прервал его Ренцо, отводя глаза в сторону и меняясь в лице, — я понимаю. Послушайте, я пойду, буду высматривать, разыскивать в одном месте, в другом, обыщу весь лазарет вдоль и поперек... и если я не найду ее...

— Что, если не найдешь?.. — сказал монах с серьезным и выжидающим видом, со взглядом, который предостерегал.

Но Ренцо, у которого от бешенства, вспыхнувшего при одной мысли о таком неудачном исходе, померк свет в глазах, повторил свои слова и продолжал:

— Если я не найду ее, постараюсь найти кое-кого другого. В Милане, или в проклятом его палаццо, или на краю света, или хоть в самой преисподней, а уж я разыщу этого негодяя, который разлучил нас; этого мерзавца, не будь которого, уже двадцать месяцев как Лючия была бы моей женой. И если нам суждено было умереть, мы бы хоть умерли вместе. Если он еще жив, я его отыщу!..

— Ренцо! — сказал монах, схватив его за руку и еще строже глядя на него.

— И если я найду его, — продолжал Ренцо, совершенно ослепленный гневом, — если чума еще не расправилась с ним... Прошло то время, когда презренный трус, окруженный своими брави, мог доводить людей до отчаяния, да еще издеваться над ними. Пришло нам время встретиться лицом к лицу, и уж я по-своему расправлюсь с ним!

— Несчастный! — закричал падре Кристофоро голосом, к которому вернулась вся его бывшая сила и звучность. — О несчастный!

И голова его, опущенная на грудь, поднялась, щеки загорелись прежней жизнью и в глазах засверкал огонь, в котором было что-то страшное.

— Посмотри, несчастный! — И в то время как одной рукой он стиснул и сильно встряхнул руку Ренцо, другой повел перед собою, указывая, насколько было возможно, на развернувшуюся перед ним скорбную картину. — Смотри, кто наказует! Кто судит, а сам не судим никем! Кто бичует и прощает! А ты, червь земной, ты берешься творить правосудие! Да знаешь ли ты, что такое правосудие? Иди, несчастный, иди отсюда! Я надеялся было... да, я надеялся, что, прежде чем я умру, Господь дарует мне утешение и я услышу, что моя бед-

ная Лючия жива, а может быть, и увижу ее, услышу ее обещание, что она будет возносить молитвы на той могиле, куда меня положат. Уходи, ты отнял у меня эту надежду. Бог не оставил ее на земле для тебя, и ты, разумеется, не имеешь дерзости считать себя достойным того, чтобы Бог подумал ниспослать тебе утешение. А о ней Бог, конечно, подумал, ибо она одна из тех душ, которым суждена вечная радость. Уходи! У меня нет больше времени слушать тебя.

И с этими словами, оттолкнув руку Ренцо, он направился к шалашу, где лежали больные.

— Падре! — воскликнул Ренцо, следуя за ним с умоляющим видом. — Неужели вы вот так и прогоните меня?

— Как? — все тем же суровым голосом продолжал капucin. — Ты смеешь требовать, чтобы я отнимал время у этих страждущих, которые ждут от меня слова о всепрощении Божьем, и выслушивал твои безумные речи, твои мстительные замыслы? Я слушал тебя, когда ты искал утешения и помощи. Я оставил одно дело милосердия ради другого. Но теперь у тебя в сердце царит жажда мести. Чего же ты хочешь от меня? Уходи. Здесь на моих глазах умирали обиженные, которые прощали причиненное им зло, здесь обидчики скорбели о невозможности вымолить прощенье у обиженных ими, и я проливал слезы с теми и с другими. Но что мне делать с тобой?

— О, я прощаю ему, воистину прощаю, прощаю навеки! — воскликнул юноша.

— Ренцо! — произнес монах серьезно и более спокойно. — Подумай об этом. Скажи мне, много ли раз ты прощал его? — И, не получая некоторое время ответа, он вдруг опустил голову и глухим голосом, медленно заговорил снова: — Ты знаешь, почему я ношу эту одежду?

Ренцо ответил не сразу.

— Ты это знаешь! — снова сказал старик.

— Да, знаю, — ответил Ренцо.

— Я тоже ненавидел. Я, упрекнувший тебя только за мысль, за единое слово, — я сам того человека, которого ненавидел всем сердцем, ненавидел очень долго — я убил его.

— Да, но ведь это был насильник, один из тех...

— Молчи! — прервал его монах. — Неужели ты думаешь, что, будь мне за это какое-нибудь оправдание, я не нашел бы его за тридцать лет? О, если бы я мог вложить тебе в душу то чувство, которое я всегда потом питал, да и теперь питаю к человеку, которого я ненавидел! Если бы я мог! Я? Нет. Но Бог может, и да содеет он это!.. Послушай, Ренцо. Он желает тебе больше добра, чем ты себе желаешь сам. Ты мог замыслить месть, но у него достаточно силы и достаточно милосердия, чтобы помешать тебе! Он оказывает тебе милость, которой другой, я грешный, был слишком недостоин. Ты помнишь, — ты не раз говорил, что он может остановить руку

насильника. Но знай, что он может остановить и руку мстителя. Неужели ты думаешь, что раз ты беден и обижен, он не сможет защитить от тебя человека, созданного им по образу и подобию своему? Ты думаешь, он позволит тебе делать все, что ты захочешь? Нет! Но знаешь, что ты можешь наделать? Ты можешь возненавидеть и тем погубить себя. Этим чувством ты можешь оттолкнуть от себя всякое благословение. Ибо, как бы ни обернулись твои дела, какая бы ни выпала тебе удача, знай — все послужит тебе в наказание, пока ты не простишь его так, что уже никогда больше тебе не придется сказать: «Я его прощаю».

— Да, да, — сказал Ренцо, глубоко взволнованный и окончательно смущенный, — я понимаю, что никогда не прощал его по-настоящему. Понимаю, что говорил как скотина, а не как христианин; и вот теперь, по милости Господней, да, я прощаю его от чистого сердца.

— А если б ты увидел его?

— Я буду молить творца, чтобы он даровал мне терпение и тронул его сердце

— Ты вспомни-ка, что Господь наказал нам не только прощать врагов наших, но и любить их. Вспомни-ка, что сам Он любил их так, что принял за них смерть.

— Вспомню, с помощью Его.

— Ну, так следуй за мной. Ты сказал: «Я найду его». И ты его найдешь. Ступай, и ты увидишь того, к кому питал ненависть, кому желал зла и кому хотел сам причинить его, хозяином чьей жизни ты хотел стать.

Взяв Ренцо за руку и сжав ее так, как мог бы сделать цветущий здоровый юноша, он пошел вперед. Ренцо, не смея ни о чем расспрашивать, последовал за ним.

Сделав несколько шагов, монах остановился у входа одного из шалашей, посмотрел в упор на Ренцо с серьезным и вместе с тем нежным выражением и ввел его внутрь.

Первое, что сразу бросалось в глаза, был больной, сидевший на соломе в глубине шалаша. Больной этот был, однако, не в тяжелом положении, и даже могло показаться, что он близок к выздоровлению. Увидев монаха, он покачал головой, как бы желая сказать: «Нет». Монах опустил голову в знак печали и смирения. Тем временем Ренцо, с беспокойным любопытством разглядывая другие предметы, заметил трех-четырех больных, и взгляд его задержался на одном из них. Он лежал в стороне, на матраце, завернутый в простыню, с наброшенным поверх нее нарядным плащом вместо одеяла. Внимательно взглядевшись в него, Ренцо узнал дона Родриго и невольно отступил назад. Но монах, снова сильно сжав его руку, привлек юношу к подножью убогого ложа и, протянув над ним дрожащую руку, указал на человека, лежавшего перед ним.

Несчастный не шевелился. Широко раскрытые глаза его

ничего не видели. Лицо было бледно и сплошь покрыто черными пятнами. Губы вздулись и почернели. Можно было сказать, что это уже лицо трупа, если бы резкие судороги не свидетельствовали о том, что организм все еще цеплялся за жизнь. Грудь его время от времени вздымалась с мучительным вздохом. Скрюченные, бескровные и уже почерневшие на концах пальцы правой руки, высунувшейся из-под плаща, судорожно сжимали грудь у самого сердца.

— Теперь ты видишь! — тихим и торжественным голосом сказал монах. — Быть может, это кара, а может быть — милосердие. Чувством, которое ты проявишь теперь к этому человеку, оскорбившему тебя (я это знаю), — тем же чувством в день суда оплатит тебе Господь Бог, которого ты ведь тоже оскорбил. Благослови его, и будешь благословен. Вот уже четыре дня он здесь, каким ты его видишь, без всяких признаков сознания. Быть может, Господь готов даровать ему час раскаяния, но он хочет, чтобы ты просил его об этом. Быть может, он хочет, чтобы ты просил его вместе с той невинной девушкой. Быть может, Он дарует ему милость за одну только твою молитву, за молитву оскорбленного и смирившегося сердца. Быть может, спасение этого человека и твое собственное зависит теперь от тебя, от твоего чувства прощения, сострадания... любви!

Он умолк, сложил руки и, спрятав в них свое лицо, стал молиться. То же сделал и Ренцо.

На несколько мгновений они застыли в этой позе, как вдруг ударил колокол. Оба, словно сговорившись, поднялись и вышли. Один не спрашивал, другой тоже молчал — их лица говорили за них.

— Теперь ступай, — сказал падре Кристофоро, — иди с готовностью либо получить милость, либо принести жертву, — и воздай хвалу Господу, каков бы ни был исход твоих поисков. И что бы ни случилось, приди сообщить мне, мы вместе вознесем ему хвалу.

Тут они расстались, не говоря ни слова. Один вернулся туда, откуда пришел, другой направился прямо к часовне, до которой было не больше ста шагов.

Глава тридцать шестая

Кто мог бы сказать Ренцо всего несколько часов тому назад, что в разгар его поисков, когда наступят самые тревожные и решительные минуты, сердце его будет разрываться между Люцией и доном Родриго? А между тем это было именно так: образ этот сплетался теперь, пока он шел, со всеми образами, дорогими или страшными, которые поочередно возникали перед ним под влиянием надежды или страха.

Слова, услышанные им у ложа умирающего, властно преследовавшие его «да» и «нет», боролись в его сознании. И он не мог закончить молитву о счастливом исходе своего великого испытания без того, чтобы не вернуться к молитве, начатой там и прерванной ударом колокола.

Приподнятая на несколько ступенек восьмиугольная часовня, возвышающаяся посреди лазарета, при первоначальном своем устройстве была открыта со всех сторон и поддерживалась только пилястрами и колоннами, — строение, так сказать, ажурное. Снаружи каждая сторона представляла собой арку между двумя колоннами. Внутри был портик, охватывающий кольцом то, что можно было бы назвать собственно церковью, состоявшей всего из восьми арок, соответствовавших внешним аркам и увенчанных куполом, так что воздвигнутый в центре ее алтарь можно было видеть из любого окна лазарета и почти с любого места двора. Теперь, когда здание получило совершенно иное назначение, наружные пролеты замурованы, но старый остов, оставшийся нетронутым, отчетливо указывает на первоначальный вид и на прежнее его назначение.

Не успел Ренцо сделать и несколько шагов, как увидел падре Феличе, промелькнувшего в портике часовни и показавшегося в средней арке со стороны, обращенной к городу. Внизу перед часовней, как раз на главной аллее, собралась небольшая толпа. По всему виду падре Ренцо сразу догадался, что он приступил к проповеди.

Ренцо покружил по боковым дорожкам, чтобы встать в хвост собравшихся слушателей, как советовал ему падре Кристофоро. Добравшись туда, он остановился, боясь пошевелиться, и окинул взглядом толпу. Но с его места ему были видны одни лишь головы, я бы сказал, словно мостовая из голов. В середине некоторые были покрыты платками или покрывалами. К ним-то он и устремил с особым вниманием свой взор. Но так как ему и там ничего не удалось разглядеть, он обратил его туда же, куда смотрели, не отрываясь, все остальные. Благообразный облик проповедника растрогал его и наполнил смирением; и со всем вниманием, на какое он еще был способен в минуту такого ожидания, Ренцо выслушал торжественную речь монаха.

— Обратим мысли наши к тем тысячам и тысячам, что ушли вон той дорогой, — и, подняв палец, падре Феличе указал через плечо на ворота, ведущие к так называемому кладбищу Сан-Грегорио, которое в ту пору, можно сказать, стало одной огромной могилой. — Бросим взгляд на тысячи и тысячи остающихся здесь, слишком неуверенных в том, куда им придется уйти. Бросим взгляд на самих себя, столь малочисленных, уходящих отсюда целыми и невредимыми. Благословен Господь! Благословен в правосудии своем, благословен в

милосердии! Благословен в смерти, благословен в жизни! Благословен за то, что он остановил свой выбор на вас! О, для чего же, дети мои, угодно было ему сделать этот выбор? Не для того ли, чтобы сохранить для себя горстку людей, очищенных скорбью, воодушевленных благодарностью? Не для того ли, чтобы мы, сознавая теперь более живо, что жизнь — его дар, научились ценить ее так, как заслуживает все, им дарованное, и употребили ее на дела, с которыми можно предстать перед ним? Не для того ли, чтобы воспоминание о наших муках сделало нас сострадательными и готовыми прийти на помощь нашим ближним? А пока пусть те, вместе с которыми мы страдали, надеялись, трепетали, среди которых мы оставляем друзей и близких, которые в конце концов все нам братья, пусть они увидят сейчас, как мы пройдем среди них, и, быть может, найдут утешение в мысли, что ведь уходят же отсюда иные живыми, и в поведении нашем почерпнут для себя назидание. Богу не угодно, чтобы они могли увидеть нас в шумной радости, земном ликовании, вызванном избавлением от смерти, с которой им еще приходится бороться. Пусть увидят они, что мы уходим, вознося благодарность за себя и молитвы за них. Пусть они скажут: даже и за этими стенами о нас будут помнить, будут продолжать молиться за нас, несчастных. Начнем же с этого нашего странствия, с первых шагов, которые нам предстоит сделать, жизнь, полную милосердия. Те, к кому вернулись прежние силы, да подадут братскую руку слабым. Юноши, — поддержите старцев. Вы, потерявшие детей, посмотрите вокруг себя, сколько детей осталось без родителей! Замените им их! И милосердие это, искупая ваши грехи, смягчит и ваши страдания.

Тут глухой гул сетований и рыданий, все возраставший среди собравшихся, вдруг разом смолк, когда все увидели, что проповедник накинул себе на шею веревку и опустился на колени. Наступила глубокая тишина. Все ждали, что он скажет.

— За себя, — начал он, — за всех моих братьев, которые, без всяких заслуг наших, удостоились быть призванными к высокому служению Христу в лице вашем, я смиренно прошу у вас прощения, если мы не выполнили достойным образом столь высокого назначения. Если леность и слабость плоти делали нас недостаточно внимательными к нуждам вашим, недостаточно быстро откликающимися на призыв ваш; если несправедливое раздражение, если преступная досада иной раз заставляли нас появляться перед вами с недовольным, суровым лицом; если иной раз недостойная мысль о том, что мы нужны вам, приводила нас к тому, что мы относились к вам не с подобающим смирением, если немощность наша заставляла нас прибегать к каким-либо действиям, служившим на соблазн вам, — простите нас! Да отпустит Господь также и вам долги ваши и да благословит вас.

И, осенив слушателей широким крестным знаменем, он поднялся.

Мы смогли передать если не точные слова, то по крайней мере смысл и сущность того, что он в действительности сказал, но состояние его, в котором слова эти были произнесены, не поддается описанию. Это было состояние человека, который называл служение зачумленным великим для себя благодеянием, ибо действительно считал его таковым; который каялся в недостаточной своей подготовленности к этому служению, ибо действительно чувствовал себя недостойным его; который просил прощения потому, что был глубоко убежден, что нуждается в нем. Теперь вообразите себе, какими рыданиями и слезами отвечали на эти слова люди, которые видели вокруг себя отцов-капуцинов, занятых исключительно служением им, видели, как многие из них здесь же умирали, видели того, который говорил теперь от лица всех, всегда первым как в трудах, так и в отдаче приказаний, за исключением того времени, когда он и сам приходился на краю могилы. Достойный удивления монах взял затем большой крест, прислоненный к пилястру, водрузил его перед собой, скинул у внешнего портика сандалии, сошел со ступеней и, пройдя сквозь почтительно расступившуюся толпу, двинулся вперед, чтобы возглавить шествие.

Ренцо, весь в слезах, словно и он сам был одним из тех, у кого выпрашивалось это своеобразное прощение, отошел и стал около какого-то шалаша. Он стоял там и ждал, наполовину скрытый от взоров окружающих, высунув вперед лишь голову, с широко раскрытыми глазами. Сердце его учащенно билось, но вместе с тем в нем зародилась какая-то новая и особенная вера, порожденная, думается мне, тем умилением, которое вызвали в нем проповедь и это зрелище всеобщего умиления.

И вот показался падре Феличе, босой, с веревкой на шее, с высоко поднятым длинным, тяжелым крестом. Бледное и исхудалое лицо его выражает раскаяние и вместе с тем мужество. Он идет медленным, но твердым шагом человека, который только и думает о том, чтобы шадить слабости других. Всем своим видом он напоминает человека, которому чрезмерные труды и лишения придавали силу вынести то, что было связано и неразлучно с его служением. Вслед за ним шли дети постарше, почти все босые, лишь немногие были совсем одеты, а большинство — просто так, в одних рубашках. Затем шли женщины, почти все вели за руку какую-нибудь девочку и попеременно пели «Мизерере». Слабый звук их голосов, бледность и изможденность лиц способны были наполнить состраданием душу всякого, кто бы оказался при этом простым зрителем. Ренцо пристально вглядывался в проходящих, просматривая ряд за рядом, лицо за лицом, не

пропуская ни одного. Процессия двигалась настолько медленно, что давала ему полную возможность сделать это. Люди все шли и шли, а он все смотрел и смотрел, но все напрасно; Ренцо бегло окинул взглядом еще оставшиеся ряды. Их уже немного; вот последний; теперь прошли все. Все лица были незнакомы. С бессильно повисшими руками и поникшей головой провожал Ренцо взглядом последнюю шеренгу женщин, в то время как перед ним уже проходила другая шеренга — мужчин. Он весь напрягся, и новая надежда зародилась в нем, когда за мужчинами показалось несколько повозок, на которых разместились выздоравливающие, но еще неспособные передвигаться. Здесь женщины ехали последними, и все шествие продвигалось настолько медленно, что Ренцо смог рассмотреть буквально всех, ни одна не ускользнула от его взгляда. И что же? Он всматривался в первую повозку, во вторую, в третью и так далее, и все с тем же успехом, вплоть до самой последней, за которой уже никого не было видно, кроме еще одного капуцина с серьезным лицом и палкой в руках, распорядителя всего шествия. Это был тот самый падре Микеле, который, как мы уже говорили, дан был падре Феличе в помощники по управлению лазаретом.

Так разлетелась в прах столь дорогая надежда и, исчезая, не только унесла с собой утешение, которое она доставляла, но, как это почти всегда и бывает, оставила человека в состоянии куда хуже прежнего. Теперь самым лучшим исходом казалось найти Лючию больной. Однако, хотя к этой новой надежде присоединилось теперь чувство все возраставшего страха, бедняга все-таки ухватился всеми силами души за эту жалкую и слабую ниточку. Он пошел по дороге и направился в ту сторону, откуда пришла процессия. Очутившись у подножья часовни, он преклонил колена на последней ступеньке и вознес Богу молитву, или, вернее сказать, какое-то смешение недоговоренных слов, обрывочных фраз, восклицаний, просьб, жалоб, обещаний. Это была одна из тех речей, с которыми не обращаются к людям, ибо у них нет ни достаточного проникновения, чтобы понять их, ни терпения, чтобы их выслушать. Люди не настолько велики, чтобы сочувствовать им, не испытывая презрения.

Он поднялся немного ободренный. Обошел вокруг часовни; очутился на другой дорожке, которой раньше не видел, выходявшей к другим воротам. Пройдя несколько шагов, он увидел частокол, о котором говорил ему монах. Частокол прерывался там и сям, точъ-в-точъ как описывал ему падре Кристофоро. Ренцо пробрался через одну из лазеек и очутился на женском участке. Не успев сделать и шага, он заметил на земле колокольчик, из тех, что привязывают к ноге монахи. Ему пришло в голову, что такая штука могла бы послужить ему здесь своего рода пропуском. Он подобрал его, поглядел,

не наблюдает ли кто за ним, и подвязал колокольчик по примеру монатти. И тут же снова пустился в поиски, которые уже по одному только количеству предметов были страшно затруднительны, будь то даже предметы совсем иного рода. Он начал созерцать и даже разглядывать новые горести, отчасти столь похожие на уже виденные им, отчасти совершенно иные, ибо хотя бедствие было одно и то же, здесь страдали, так сказать, по-другому, по-иному изнемогали, жаловались, переносили горе, по-своему сочувствовали и помогали друг другу. И видевший это испытывал другого рода сострадание и другого рода отвращение.

Не знаю уж, сколько исходил Ренцо без всякого успеха и без всяких приключений, когда услышал у себя за спиной возглас: «Эй!» — обращенный, по-видимому, к нему. Обернувшись, он увидел невдалеке комиссара, который, подняв руку, указывавшую, несомненно, на него, крикнул ему: «Вон там в комнате нужна помощь, а здесь уборка уже закончилась».

Ренцо сразу сообразил, за кого его приняли, и что причиной недоразумения был колокольчик. Он обозвал себя ослом за то, что подумал только о неприятностях, от которых это отличие могло его избавить, а не о тех, которые оно могло на него навлечь. Но он тут же придумал, как ему скорей отделаться от комиссара. Торопливо кивнув ему несколько раз головой, как бы желая сказать, что все понял и готов повиноваться, он скрылся из виду, бросившись в сторону, и исчез между шалашами.

Когда ему показалось, что он уже достаточно удалился, юноша решил освободиться от причины происшедшего недоразумения. Для того чтобы проделать эту операцию незаметно, Ренцо забился в узкое пространство между двумя шалашами, которые были обращены друг к другу, так сказать, спиной. Он наклонился, чтобы отвязать колокольчик, стоя при этом так, что голова его прислонилась к соломенной стенке одного из шалашей, и вдруг оттуда до его слуха донесся голос... Боже мой! возможно ли это? Он обратился в слух и затаил дыхание... Да, да! Это ее голос!

— Чего же бояться? — говорил этот нежный голос. — То, что перенесли мы, сильнее всякой бури. Кто хранил нас доныне, не покинет нас и теперь.

Если Ренцо и не вскрикнул громко, то не из страха быть замеченным, а потому, что у него захватило дух. Колени у него подкосились, в глазах потемнело, но лишь на мгновение. Он тут же вскочил, почувствовав прилив бодрости и силы, в три прыжка обогнул шалаш, очутился у входа и увидел ту, что говорила, склоненной над убогим ложем. Она обернулась на шум; глядит, не обман ли это зрения, не сон ли? Смотрит пристальнее и вскрикивает:

— О Боже милостивый!

— Лючия! Я нашел вас! Неужто это вы! Вы живы! — воскликнул Ренцо, подходя к ней, весь дрожа от волнения.

— Боже милостивый! — повторила Лючия, в еще большем волнении. — Вы? Как же это? Как вы сюда попали? Зачем?.. Ведь кругом чума!

— Она уже была у меня. А вы?..

— Ах! И у меня тоже. А как моя мать?..

— Я не видел ее, она в Пастуро, но думаю, что здорова. Но вы... какая вы еще бледная! И с виду такая слабая! Но все же вы поправились, ведь правда, поправились?

— Господу было угодно оставить меня на этом свете. Ах, Ренцо, зачем вы здесь?

— Зачем? — воскликнул Ренцо, подойдя еще ближе. — Вы еще спрашиваете, зачем? Зачем я пришел сюда? Неужели мне нужно говорить вам об этом? О ком же мне было думать? Разве я не зовусь больше Ренцо? А вы разве больше не Лючия? Да?

— Ах, что вы говорите, что вы говорите! Но разве моя мать не писала вам?

— Писала. К сожалению, она мне писала. Хорошенькие вести сообщила она несчастному, измученному скитальцу, парню, который, во всяком случае, ничем вас не обидел.

— Но, Ренцо, Ренцо! Раз вы знали... зачем же было вам приходить... зачем?

— Зачем приходить? О Лючия! И вы мне еще говорите: зачем приходить? После столько обещаний? Да разве мы уже больше не мы? И вы уже ничего не помните? Чего нам недоставало?

— О всемогущий Боже! — простонала Лючия, скрестив руки и подняв глаза к небесам. — Зачем ты не оказал мне милости и не призвал к себе? О Ренцо, что вы наделали? Ведь я уже стала было надеяться, что... со временем... я забуду...

— Нечего сказать — прекрасная надежда! Хорошенькое дело говорить мне это прямо в лицо.

— Ах, что вы наделали! И в таком месте! Среди всех этих страданий, среди этих картин! Здесь, где только и делают, что умирают, вы могли...

— За тех, кто умирает, надо молить Бога и уповать, что они найдут вечное спасение. Но разве справедливо, даже и ради погибших, чтобы живые люди жили в отчаянии!

— Ах, Ренцо, Ренцо! Вы не думаете о том, что говорите. Обещание, данное Мадонне!.. Обет!

— А я вам говорю, что такие обещания ничего не значат.

— О Господи! Что вы говорите! Где были вы все это время? С кем вы имели дело? Какие вещи вы говорите!

— Я говорю как добрый христианин; и считаю, что Мадонна лучше, чем вы думаете, потому что ей вряд ли угодны

обещания, приносящие вред ближнему. Если бы Мадонна сама заговорила, ну, тогда другое дело. А то, что ж случилось? Все лишь ваша фантазия. Знаете, что вы должны обещать Мадонне? Обещайте, что первую же нашу дочь мы назовем Марией: это и я готов обещать тут же, не сходя с места. Вот этим действительно можно гораздо больше почтить Мадонну. В таком почитании гораздо больше смысла, и к тому же оно никому не приносит вреда.

— Нет, нет, не говорите так, вы не понимаете, что говорите, вы не понимаете, что значит дать обет, вы не были в таком ужасном положении, вы не испытали всего этого. Уходите, уходите, ради самого неба!

И она поспешно отошла от него, вернувшись к убогому ложу.

— Лючия, — сказал Ренцо, не трогаясь с места, — скажите мне по крайней мере, скажите же: если бы не это обстоятельство... вы относились бы ко мне по-прежнему?

— Бессердечный вы человек! — отвечала Лючия, отвернувшись и с трудом сдерживая слезы. — Если бы вам удалось заставить меня говорить ненужные слова, слова, которые причинили бы мне боль, слова, может быть, прямо греховные, тогда вы были бы довольны? Уходите, о, уходите! Забудьте обо мне: видно, не судьба нам быть вместе! Мы свидимся там: ведь не так уж долго оставаться нам на этом свете. Идите же. Постарайтесь дать знать моей матери, что я выздоровела, что Бог и здесь всегда помогал мне, что я нашла добрую душу, вот эту хорошую женщину, которая мне точно мать родная. Передайте ей, что я надеюсь, что болезнь пощадит и ее, и мы скоро свидимся с ней, когда Богу будет угодно и как ему будет угодно... Уходите, умоляю вас, и не думайте больше обо мне... разве только, когда будете молиться Богу.

И с видом человека, которому нечего больше сказать, который ничего больше не хочет слушать, стремясь лишь уйти от опасности, она еще ближе подошла к ложу, где лежала женщина, о которой она только что говорила.

— Послушайте, Лючия, послушайте! — зывал Ренцо, однако уже не приближаясь к ней.

— Нет, нет, Бога ради уходите!

— Послушайте, — падре Кристофоро...

— Ну?

— Он здесь.

— Здесь? Где? Почему вы это знаете?

— Я только что говорил с ним; я побыл с ним немного, и мне кажется, что такой верующий, как он...

— Он здесь? Конечно, чтобы помогать бедным зачумленным. Но как же он сам? Была у него чума?

— Ах, Лючия! Я так боюсь... — и в то время как Ренцо не решался вымолвить слово, столь мучительное для него, кото-

рое могло стать таким же и для Люции, она снова отошла от кровати и приблизилась к Ренцо, — боюсь, что она у него как раз теперь и начинается.

— О несчастный святой человек! Но что я говорю: несчастный человек! Мы — несчастные. Но как он себя чувствует? Лежит? Ходят за ним?

— Он на ногах, вечно в хлопотах, помогает другим. Но если бы вы его видели — у него в лице ни кровинки, он еле держится! Перевидав их такое множество, увы, трудно ошибиться!

— Бедные мы! И он действительно — здесь?

— Здесь, и совсем неподалеку. Не дальше, чем от вашего дома до моего... если вы еще помните!..

— О Пресвятая Дева!

— Ну, ладно, чуточку подальше. И, конечно, понимаете, — мы говорили о вас. Уж он мне порассказал... И если б вы только знали, что он показал мне! Так слушайте: сначала я расскажу то, что он сам первый вымолвил своими собственными устами. Он сказал мне, что я хорошо поступил, отправившись разыскивать вас и что такое мое поведение угодно Господу Богу и что Он поможет мне найти вас, — как оно на самом деле и случилось. Ведь на то он и святой. Так что, сами видите...

— Но если он говорил так, так потому что не знает...

— А откуда же ему было знать о том, что вы там навывдумывали без всякого толку, не спросив ни у кого совета? Серьезный человек, человек разумный, как он, и думать не станет о таких вещах. Но что он мне показал!

И тут Ренцо рассказал о своем посещении того шалаша. И хоть сердце и разум Люции за время пребывания в лазарете должны были привыкнуть к самым сильным впечатлениям, все же ужас и сострадание совершенно потрясли ее.

— Он и тут говорил как святой, — продолжал Ренцо, — он говорил, что, может быть, Господь решил помиловать этого несчастного (я и теперь прямо не могу называть его иначе)... что он собирается призвать его к себе в нужную минуту, но хочет, чтобы мы молились за него... Вместе! Вы понимаете?

— Да, да! Мы будем молиться за него, там, где Господь назначит быть каждому из нас... Господь сам сумеет объединить наши молитвы.

— Но ведь я же передаю вам собственные слова падре Кристофоро!..

— Но, Ренцо, ведь он не знает...

— Но разве вы не понимаете, что, когда говорит святой, его устами говорит сам Господь? И он не стал бы так говорить, если б на самом деле это было не так... А душа этого несчастного? Я, конечно, молился и буду молиться за него от всего сердца, все равно как за родного брата. Но каково же будет бедняге на том свете, если на этом не будет улажено это дело,

если не будет исправлено причиненное им зло? Если вы послушаетесь совета разума, все останется по-прежнему. Сделанного не воротишь; он уже и здесь получил должное возмездие...

— Нет, Ренцо, нет. Господу неудобно, чтобы мы поступали дурно, дабы он проявил потом свое милосердие. Пусть он делает по своему разумению. А мы, — у нас один долг: молиться ему. Умри я в ту ночь, неужели же Господь не смог бы простить его? И если я не умерла, если меня освободили...

— А ваша мать, бедная Аньезе, которая всегда была так ко мне расположена и столько мучилась, чтобы видеть нас мужем и женой, разве и она не говорила вам, что это ложная мысль? Она ведь и в других случаях умела вас образумить, потому что в некоторых вещах она рассуждает правильнее вас...

— Моя мать! Вы хотите, чтобы моя мать посоветовала мне нарушить данный обет? Ренцо, что с вами, да вы не в себе...

— Так вот послушайте, что я вам скажу. Вы, женщины, этих вещей знать не можете. Падре Кристофоро велел мне вернуться к нему и сообщить, если я найду вас. Я пойду сейчас, выслушаю его, и то, что он скажет...

— Да, да. Ступайте к этому святому человеку, скажите ему, что я молюсь за него и чтобы он за меня помолился, я так в этом нуждаюсь. Но ради самого неба, ради спасения вашей души и моей, не возвращайтесь сюда, не делайте мне больно... не искушайте меня. Падре Кристофоро, он сумеет вам все растолковать, поможет вам прийти в себя, вернет мир вашей душе.

— Мир моей душе! Ну, уж это вы выкиньте из головы. Такие словечки вы мне передавали и в письме. И один я знаю, сколько они принесли мне страданий. И теперь у вас хватает духу повторять их мне. А я вот, наоборот, ясно и определенно заявляю вам, что я и не подумаю успокоиться. Вы хотите меня забыть, а я не хочу забывать вас. И предупреждаю, запомните, что если из-за вас я потеряю рассудок, он уже никогда больше ко мне не вернется. К черту ремесло, к черту доброе имя! Вам хочется, чтобы я остался безумным на всю жизнь? Ну что ж, так я и стану безумным. Господь знает, что я простил его от всего сердца, а вот вы... А тот несчастный! Вы, стало быть, хотите заставить меня всю жизнь думать, что не будь его... Лючия! Вы сказали, чтобы я забыл вас, — могли я забыть вас! Как же это сделать? О ком же, как по-вашему, думал я все это время?.. И после всего пережитого! После стольких обещаний! Что я вам сделал после того, как мы расстались? Это за то, что я так страдал, вы так со мной поступаете? За то, что на меня градом сыпались несчастья? За то, что все на свете меня преследовали? За то, что я так долго был в изгнании, полный тоски, вдали от вас? За то, что при первой же возможности я бросился разыскивать вас?

Когда рыдания позволили Лючии заговорить, она воскликнула, скрестив руки и подняв к небу глаза полные слез:

— О Пресвятая Дева, помоги мне! Ты знаешь, что после той ночи я никогда не переживала таких минут, как сейчас. Ты пришла мне на помощь тогда, о, помоги же мне теперь!

— Полно, Лючия, вы хорошо делаете, взывая к Мадонне. Но почему же вам хочется верить, что ей, такой доброй, ей, милосердной матери, угодно заставить страдать нас... по крайней мере меня... из-за одного слова, вырвавшегося в минуту, когда вы не понимали того, что говорили? Вам хочется верить, что она помогла вам тогда, чтобы потом мы очутились в безвыходном положении? Если, конечно, это не пустая отговорка, а может быть, просто я стал вам ненавистен... тогда скажите мне это... говорите прямо.

— Умоляю вас, Ренцо, ради Бога, ради дорогих ваших погибших, оставьте, оставьте это. Не заставляйте меня страдать... Сейчас не время. Ступайте к падре Кристофоро, расскажите ему обо мне и не возвращайтесь больше сюда, умоляю, не возвращайтесь.

— Я уйду, но только не подумайте, что я не вернусь! Я вернусь, хоть на край света, а вернусь непременно.

И он исчез.

Лючия присела, или, скорее, упала наземь возле постели и, уткнувшись в нее головой, безудержно зарыдала. Женщина, которая все видела и все слышала, не смеядохнуть, спросила, что значит это появление, этот страстный разговор, эти рыдания. Но, может быть, читатель с своей стороны спросит, а кто же эта женщина? Для удовлетворения его любопытства не понадобится много слов.

Это была жена зажиточного купца, лет тридцати. В течение нескольких дней у нее на глазах умер ее муж и все дети. Вскоре и она заболела чумой. Ее отвезли в лазарет и поместили в этот крошечный шалаш. Как раз в то время, когда Лючия, незаметно для самой себя, преодолев яростные приступы болезни и переменив — тоже незаметно — большое число товаров, стала выздоравливать и приходить в себя, потому что с самого начала заболевания, еще в доме дона Ферранте, она была словно безумная. Шалаш мог вместить не более двух человек. И между этими двумя женщинами — тяжело больными, брошенными, напуганными, одинокими среди такого множества людей — быстро родилась близость, нежная привязанность, какая едва ли могла бы возникнуть даже при долгой совместной жизни. В скором времени Лючия уже была в состоянии оказывать помощь соседке, которая была в очень тяжелом положении. Теперь, когда обе женщины были уже вне опасности, они сдружились, поддерживая друг друга, и поочередно дежурили одна возле другой. Они дали обещание выйти из лазарета не иначе как вместе и вообще уговорились больше не разлучаться. Вдова поручила одному из своих братьев, санитарному комиссару, оберегать ее дом, лавку и деньги. Все было

в полной сохранности: она являлась теперь единственной, печальной обладательницей средств, гораздо более значительных, чем было ей нужно для безбедной жизни, и ей хотелось оставить Лючию при себе, словно дочь или сестру. Можете себе представить, с какой благодарностью к ней и к промыслу Божьему приняла ее предложение Лючия, но это только до той поры, пока она сможет получить хоть какие-нибудь вести о своей матери и, как она надеялась, узнать ее волю. Впрочем, при своей обычной сдержанности, она ни словом не обмолвилась ни о намечавшейся свадьбе, ни о других своих необычайных приключениях. Но теперь, в таком смятении чувств, у нее явилась столь же большая потребность излить свою душу, сколь велико было желание подруги выслушать ее признания. Сжимая обеими руками ее правую руку, Лючия принялась отвечать на посыпавшиеся вопросы, и только рыдания время от времени прерывали ее рассказ.

Между тем Ренцо поспешил к участку падре Кристофоро. Не без труда, немножко проплутав в разных направлениях, юноша, наконец, добрался до места. Он нашел шалаш, но самого падре там не оказалось. Однако, покружив и поискав вокруг, Ренцо увидел его в одном из барачков: низко склонившись к земле, монах напутствовал умирающего. Ренцо остановился и молча стал дожидаться его. Немного спустя он увидел, как падре Кристофоро закрыл бедняге глаза, затем стал на колени, немного помолился и поднялся. Тогда Ренцо двинулся ему навстречу.

— А! — воскликнул монах, завидя приближавшегося юношу. — Ну что?

— Она жива, я нашел ее.

— И в каком состоянии?

— Выздоровела, во всяком случае уже на ногах.

— Благословен Господь!

— Но... — продолжал Ренцо, подходя настолько близко, что мог уже говорить вполголоса, — есть другое затруднение.

— Что такое?

— Я хочу сказать... Вы ведь знаете, какая она у нас, бедняжка, добрая. Но уж если ей что-нибудь взбредет в голову, с ней ничего не поделаешь. После всех обещаний, после всего того, что и вам достаточно известно, она теперь заладила, что не может пойти за меня, потому что... видите ли, почему я знаю? Она говорит, что в ту страшную ночь у нее в голове помутилось, и она, как бы это сказать, посвятила себя Мадонне. Просто несуразица какая-то, ведь правда? Дело хорошее для тех, у кого есть понятие, а для нас, людей простых, которые даже путем и не знают, что и как полагается... верно ведь, это вещь неподходящая?

— Ты вот что скажи: далеко она отсюда?

— Да нет, всего в нескольких шагах, за церковью.

— Подожди-ка меня здесь минутку, — сказал монах, — а потом мы вместе отправимся туда.

— Вы, значит, ей растолкуете...

— Ничего еще не знаю, сынок, мне нужно выслушать ее.

— Понимаю, — сказал Ренцо.

Потупившись и скрестив руки на груди, стоял он, раздумывая над своим неопределенным положением, которое продолжало оставаться все таким же неясным. Монах снова сходил за тем же падре Витторе, чтобы попросить последнего еще раз заменить его, потом заглянул в свой шалаш, вышел оттуда с торбой в руках, вернулся к Ренцо и, сказав ему: «Идем», — пошел вперед, направляясь к тому шалашу, куда они недавно заходили вместе. На этот раз он вошел туда один и скоро появился со словами:

— Никаких изменений! Будем молиться и молиться! — А затем прибавил: — Ну, теперь води меня ты.

И они отправились, не говоря больше ни слова. Погода становилась все пасмурней и теперь уже несомненно предвещала близость бури. Частые вспышки молнии прорезали сгустившийся мрак и озаряли внезапным светом бесконечные крыши и арки портиков, купол часовни, низкие верхушки шалашей; и удары грома, обрушившиеся с неожиданным треском, перекатывались, грохоча, с одного края неба на другой. Ренцо шел впереди, внимательно выбирая дорогу, горя нетерпением поскорее добраться и все же сдерживая свой шаг, принаравливаясь к силам своего спутника; а тот, утомленный трудами, ослабленный болезнью, изнемогая от зноя, шел с трудом, время от времени поднимая к небу свое изнуренное лицо, как бы для того, чтобы легче дышалось.

Увидя шалаш, Ренцо остановился, обернулся к своему спутнику и сказал дрожащим голосом:

— Здесь.

Они вошли...

— Вот они! — воскликнула женщина со своего ложа.

Лючия обернулась, стремительно поднялась и бросилась навстречу старцу с радостным криком:

— О, кого я вижу! Падре Кристофоро!

— Ну, вот и вы, Лючия! Из скольких бед вызволил вас Господь! Вы должны быть счастливы тем, что всегда уповали на него.

— О, конечно! Но вы-то, падре Кристофоро? Боже мой, как вы изменились! Как вы себя чувствуете? Ну, скажите же, как вы себя чувствуете?

— Как Богу угодно и как, милостью Его, угодно это и мне, — с просветленным лицом ответил монах и, отозвав девушку в сторонку, прибавил: — Послушайте, я могу пробыть здесь всего лишь несколько минут. Согласны ли вы довериться мне, как прежде?

— О, разве вы уже не отец мой?

— Так вот, дочь моя, что это за обет, про который говорил мне Ренцо?

— Это обет, данный мною Мадонне... о, в минуту тяжелой напасти!.. Обет не выходить замуж.

— Бедняжка! А подумали ли вы в тот момент, что вы связаны словом?

— Так ведь тут дело касалось Спасителя и Мадонны! Нет, я об этом не подумала.

— Дочь моя, Господь принимает жертвы и дары, когда мы приносим их от своих щедрот. Он требует нашего сердца, нашей воли. Но вы не могли принести ему в дар волю другого, с которым вы уже были связаны словом.

— Я поступила дурно?

— Нет, милая, не думайте этого. Я даже верю, что Пресвятой Деве был угоден порыв вашего опечаленного сердца, и она, быть может, принесла его за вас Богу. Но скажите мне: вы никогда и ни с кем не советовались по этому поводу?

— Я не думала, что это дурной поступок и мне надо исповедоваться. А если сделаешь, как сумеешь, что-нибудь хорошее, об этом, известное дело, рассказывать не следует.

— И у вас нет никаких других побуждений, удерживающих вас от исполнения обещания, данного вами Ренцо?

— Что касается этого... по мне... какие же еще побуждения? Право, не могу сказать... — отвечала Лючия с нерешительностью, которая указывала на что угодно, только не на сомнительность этой мысли; и лицо ее, еще совершенно бледное от болезни, вдруг расцвело настоящим румянцем.

— Верите ли вы, — продолжал старец, опустив глаза, — что Бог дал церкви право отпускать и разрешать долги и обязательства, взятые на себя людьми по отношению к нему, если только это поведет к несомненному благу?

— Да, я верю этому.

— Так знайте же, что мы, поставленные в этом мире заботиться о душах человеческих, имеем в отношении всех, прибегающих к церкви, самые широкие права и что, значит, я могу, раз вы попросите меня об этом, снять с вас всякое обязательство, которое вы могли взять на себя в связи с этим обетом.

— Но разве не грех идти на попятный, раскаиваться в обещании, данном Мадонне? Ведь я тогда дала его от чистого сердца... — сказала Лючия, сильно взволнованная внезапным проблемом столь неожиданной, — все же приходится сказать, — надежды, и вопреки ей, каким-то внезапным страхом, подкрепляемым теми мыслями, которые вот уже столько времени не оставляли в покое ее душу.

— Грех, дочь моя? — сказал монах. — Грех прибегать к церкви и просить у служителя ее, чтобы он применил власть, полученную им от церкви, а ею от Бога? Я был свидетелем

того, какими путями приведены были вы оба к тем узам, что вас соединили, и, конечно, если когда-либо мне казалось, что двое людей достойны быть соединенными Богом, так эти двое были вы. И вот я не вижу, почему бы Господу Богу было угодно разъединить вас теперь. И я благословляю Его за то, что Он дал мне, недостойному рабу, власть говорить от имени Его и вернуть вам ваше слово. И если вы попросите меня, чтобы я снял с вас этот обет, я без колебания сделаю это. И я даже хочу, чтобы вы попросили меня об этом.

— Тогда, тогда... я прошу об этом, — сказала Лючия, и лицо ее при этих словах выражало уже только смущение.

Монах знаком подозвал юношу, который стоял в самом дальнем углу, пристально следя (ничего другого ему не оставалось делать) за разговором, в котором он был так заинтересован. Когда Ренцо подошел, падре Кристофоро сказал уже более громким голосом, обращаясь к Лючии:

— Властью, полученной мной от Церкви, объявляю вас освобожденной от обета девственности, отпуская то, что могло быть в этом необдуманного, и снимая с вас всякое обязательство, какое вы могли при этом взять на себя.

Пусть представит себе читатель, какой музыкой прозвучали эти слова для слуха Ренцо. Взгляд его горячо благодарил того, кто произнес их, и тут же стал искать встречного взгляда Лючии, но тщетно.

— С уверенностью и миром вернитесь к прежним намерениям вашим, — продолжал, обращаясь к ней, капуцин, — снова просите у Господа благодати, которой вы просили у Него, чтобы стать добродетельной женой; и верьте, что Он еще щедрее даст вам эту благодать теперь, после стольких страданий. А ты, сын мой, — сказал он, повернувшись к Ренцо, — помни, что если церковь вручает тебе эту подругу, то она делает это не для преходящего житейского утешения твоего, которое, будь оно даже полным и без малейшей примеси огорчения, должно завершиться великой болью в минуту расставания. Она делает это, чтобы направить вас обоих на стезю бесконечного утешения. Любите друг друга, как спутники в дороге, с мыслью о предстоящей разлуке и с надеждой соединиться навеки. Возблагодарите небо за то, что оно привело вас к теперешнему состоянию не путем шумных и мимолетных радостей, а путем страданий и бедствий, дабы приготовить вас к сосредоточенной и спокойной радости. Если Господь пошлет вам детей, поставьте себе целью воспитать их для Него, внушить им любовь к Нему и ко всем людям; тогда и все остальное приложится. Лючия! Говорил ли он вам, — и падре Кристофоро кивнул на Ренцо, — кого он видел здесь?

— О, падре, говорил!

— Вы будете молиться за него! Будьте усердны в этих молитвах. Помолитесь и за меня!.. Дети мои! Мне хочется, чтобы

у вас осталась память о бедном монахе, — и с этими словами он вынул из торбы ларец простого дерева, но отделанный и отполированный с отменной тщательностью, отличающей капуцинов, и продолжал: — В нем остаток хлеба... первого, который я выпросил Христа ради, — того хлеба, о котором вы слышали. Я оставляю его вам: храните его, показывайте своим детям. Они вступят в горестный мир и в печальные времена, будут среди гордецов и искусителей. Скажите им, пусть они всегда прощают, всегда и всё, всё! И пусть тоже молятся за бедного монаха.

И он отдал ларец Лючии, которая приняла его с благоговением, словно реликвию. Затем падре продолжал уже более спокойным голосом:

— Теперь скажите мне, есть ли у вас здесь, в Милане, какая-нибудь опора? Где вы думаете найти приют, когда выйдете отсюда? И кто проводит вас к матери, которую, будем надеяться, Бог сохранил в добром здравии?

— Вот эта добрая женщина пока заменяет мне мать: мы выйдем отсюда вместе, вдвоем, и уж она позаботится обо всем.

— Да благословит вас Господь, — сказал монах, приближаясь к ложу больной.

— Я тоже благодарю вас, — отвечала вдова, — за утешение, которое вы доставили этим страдальцам, хоть я и рассчитывала навсегда оставить при себе нашу милую Лючию. Покамест подержу ее у себя, потом провожу в деревню, передам ее матери и, — прибавила она вполголоса, — сделаю ей приданое. У меня много лишнего добра, а из тех, кто должны были пользоваться им вместе со мной, уже никого больше не осталось.

— Этим путем, — ответил монах, — вы можете принести большую жертву Господу и сделать добро ближнему. Мне нет надобности говорить вам об этой девушке: я вижу, она стала для вас родной. Остается лишь славить Господа, который и бичуя умеет показать себя отцом, дав вам обоим найти друг друга и этим явив любовь свою и к той и к другой. — Затем, обращаясь к Ренцо и взяв его за руку, он продолжал: — Ну, а теперь пойдем. Нам с тобой здесь нечего больше делать, мы и так уж оставались тут слишком долго. Идем.

— О падре! — сказала Лючия. — Увижу ли я вас еще? Я выздоровела, а ведь я никакого добра на этом свете не делаю, а вы...

— Давно уже, — ответил старец проникновенным и мягким голосом, — я прошу Господа о милости, об очень большой милости — окончить дни мои в служении ближнему. Если Ему угодно ныне оказать мне эту милость, надобно, чтобы все, относящиеся ко мне с любовью, помогли мне отблагодарить Его. Идем. Передайте Ренцо ваши поручения к матери.

— Расскажите ей то, что вы видели, — сказала Лючия своему жениху, — что я нашла здесь вторую мать, что я приеду вместе с ней как можно скорее и что я надеюсь найти свою маму в добром здравье.

— Если вам нужны деньги, — сказал Ренцо, — я захватил с собой все, что вы мне прислали, и...

— Нет, нет, — прервала вдова, — у меня их более чем достаточно.

— Идем же, — повторил монах.

— До свидания, Лючия! Прощайте и вы, добрейшая синьора, — сказал Ренцо, не находя слов для выражения своих чувств.

— Кто знает, даст ли нам Бог снова свидеться всем вместе! — воскликнула Лючия.

— Да будет Он всегда с вами и да благословит вас, — сказал падре Кристофоро обоим подругам и в сопровождении Ренцо вышел из шалаша.

Близился вечер, и буря, по-видимому, вот-вот готова была разразиться. Капуцин снова предложил юноше приютить его на эту ночь в своем бараке.

— Компанию я тебе не составлю, но ты по крайней мере будешь под кровом.

Однако Ренцо обуревало страстное желание идти, и у него не было никакой охоты оставаться дольше в подобном месте, когда этим даже нельзя было воспользоваться, чтобы видиться с Люцией и хоть немного побыть с добрым монахом. Что же касается часа и погоды, то для него в эту минуту, можно сказать, все было совершенно безразлично: день и ночь, солнце и дождь, зефир и трамонтана. Итак, он поблагодарил падре Кристофоро, сказав, что хочет как можно скорее отправиться разыскивать Аньезе.

Когда они были на главной аллее, монах пожал ему руку и сказал:

— Если ты, Бог даст, отыщешь нашу добрую Аньезе, передай ей привет и от меня, — и ей и всем тем, кто остался в живых и помнит фра Кристофоро. Пусть молятся за него. Да поможет тебе Господь и да благословит Он тебя навеки!

— Дорогой падре!.. Мы еще увидимся? Увидимся ведь?

— Там, наверну, надеюсь.

И с этими словами он расстался с Ренцо, который остался стоять и долго глядел ему вслед, пока не потерял из виду, потом торопливо направился к воротам, в последний раз бросая по сторонам взгляд, полный сострадания к этой юдоли скорби. Вокруг заметно было какое-то необычайное движение: бегали монашки, переносили какие-то вещи, пристраивали навесы у барачных, выздоравливающих тащились туда же и под портики, готовясь укрыться от приближающейся бури.

Глава тридцать седьмая

В самом деле, едва Ренцо переступил порог лазарета и повернул направо, чтобы отыскать тропинку, которая утром привела его к городским стенам, как начали падать редкие капли дождя, крупные и стремительные; ударяясь о белую сухую дорогу, они отскакивали от нее, подымая легкую пыль: через минуту они посыпались чаще, и не успел Ренцо выйти на тропинку, уже лило как из ведра. Ренцо, вместо того чтобы беспокоиться, полоскался в этих потоках, наслаждался этой внезапной свежестью, этим шумом, этим шелестом травы и листьев, дрожащих, блестящих от капелек воды, вновь зазеленевших: он дышал полной грудью, и в этом переломе погоды он свободнее и живее почувствовал тот перелом, который произошел и в его собственной судьбе.

Но насколько же ярче и полнее было бы это ощущение, если б Ренцо мог угадать то, что случилось несколько дней спустя: ведь этот ливень унес с собою и заразу. После него лазарет если не смог вернуть к жизни всех в нем находившихся, то все же перестал поглощать новых. Через неделю снова открылись двери домов и лавок, о карантине почти перестали говорить, а от чумы только и осталось, что мелкие следы там и сям — охвостье, которое всегда остается на некоторое время после такого бедствия.

Итак, наш путник шел весело, не задумываясь, где, когда и как устроиться на ночлег, и нужен ли он ему вообще — до того он спешил вперед, стремясь поскорей добраться до родной деревни, найти там, с кем поговорить, кому все рассказать, а главное — побыстрее отправиться в Пастуро, чтобы разыскать там Аньезе. Он шел, совершенно потеряв голову от событий этого дня. Но над всеми этими горестями, ужасами и опасностями все время парила одна радостная мысль: «Я нашел ее; она здорова; она моя!» И тогда он принимался скакать, так что брызги летели от него во все стороны, как от пуделя, вылезшего из воды; иногда он довольствовался легким потиранием рук, — и шел дальше еще веселее прежнего. Глядя на дорогу, он, так сказать, подбирал те мысли, которые оставил здесь накануне утром, когда направлялся в Милан, и с особенным удовольствием как раз те из них, которые он тогда старался отогнать от себя: сомнения, трудности, как найти ее, а если найдешь, то жива ли она, среди такого множества мертвых и умирающих! «И я нашел ее живой!» — заключал он.

Мысленно он переносился к самым страшным минутам этого дня, представлял себя с дверным молотком в руках: там ли она, или нет? И этот неутешительный ответ; и не успел он еще все понять, как вдруг навалилась эта бешеная свора сумасшедших негодяев. А потом лазарет, целое море, и там он за-

хотел найти ее! И нашел! Он вернулся к тому мгновенью, когда закончилось шествие выздоравливающих; что это был за момент! Какое горе, когда и там ее не оказалось. А теперь ему все равно. А это женское отделение! И там, за этим шалашом, когда он совершенно этого не ожидал, он вдруг услышал этот голос, ее голос! И потом — увидел ее, увидел на ногах! Ну, а дальше? Ведь оставался еще этот неразвязанный узел обета, затянутый туже, чем когда-либо. Теперь развязан и он. И эта ненависть к дону Родриго, эта вечная злоба, которая обостряла всякое горе и отравляла все радости, — исчезла и она. Так что трудно было вообразить себе более живую радость, не будь неуверенности в судьбе Аньезе, печального предчувствия относительно падре Кристофоро и, наконец, сознания, что чума еще в самом разгаре.

Под вечер Ренцо прибыл в Сесто. Ливень, казалось, и не собирався переставать. Однако, чувствуя себя бодрее, чем когда-либо, Ренцо, промокнувший до нитки, зная, как трудно найти приют, да еще в таком виде, не стал даже и думать о ночлеге. Единственно, что его беспокоило, это разыгравшийся аппетит, ибо его радостное настроение помогло бы ему легко переварить не только скудный суп, предложенный каппуцином. Он поглядел по сторонам, не найдется ли где поблизости пекарни, и нашел ее. При посредстве шипцов и всех прочих церемоний он получил два хлеба, сунул один в карман, другой в рот, и — марш вперед.

Когда он проходил через Монцу, уже спустилась ночь. Все же ему удалось найти ворота, которые вывели его на верную дорогу. По правде говоря, это было уже большим достижением, ибо можете себе вообразить, какова была эта дорога и во что она превращалась в такие минуты. Проложенная между двумя откосами (как все тамошние дороги, о чем мы, должно быть, уже говорили в другом месте), наподобие речного ложа, ее теперь можно было бы назвать если не рекой, то настоящей сточной канавой. На каждом шагу попадались такие колдобины, что с большим трудом удавалось вытащить оттуда ноги, не говоря уже о башмаках. Но Ренцо справлялся с этим по мере своих сил, не выражая нетерпения, без брани и досады, рассуждая, что всякий шаг, чего бы он ни стоил, ведет его вперед, и что ливень когда-нибудь да прекратится, и что в свое время наступит же день, и что путь, который он между тем совершает, будет тогда уже пройден.

Скажу также, что он думал об этом лишь тогда, когда уже был не в состоянии думать о чем-либо другом. Это было своего рода развлечением; ибо мысль его, напряженно работая, стремилась припомнить события минувших печальных лет; ведь позади было столько всяких затрунений, столько помех, столько минут, когда он готов был уже оставить всякую надежду и считать все потерянным. И в противовес этому —

мечты о совсем ином будущем: встреча с Люцией, свадьба, устройство хозяйства, обоюдные рассказы о минувших превратностях и вся их дальнейшая жизнь.

Как он выходил из положения, когда перед ним оказывалось две дороги? То ли некоторое знание местности да слабый сумеречный свет помогали ему все время держаться правильной дорогой, то ли он угадывал ее наудачу, — не сумею сказать вам. Сам он, обычно рассказывавший свою историю с большими подробностями и даже несколько длинновато (что заставляет предполагать, что наш аноним слышал ее из его собственных уст и неоднократно), сам он, доходя до этого места, говорил, что об этой ночи он вспоминает словно сквозь сон. Как бы там ни было, к концу этой ночи он очутился на берегу Адды.

С неба лило не переставая, но в какой-то момент ливень перешел в дождь, а потом стал моросить мелкий-премелкий, тихий и ровный дождичек. Высокие поредевшие облака застилали все небо сплошным, но легким и прозрачным покровом, и сумеречный рассвет позволил Ренцо разглядеть окрестности. Там была его деревня, и то, что он почувствовал при виде ее, не поддается описанию. Могу сказать лишь, что все эти горы, эта близость Резегоне, вся территория Лекко, все это стало для него бесконечно дорогим и близким. Взглянул он и на самого себя и убедился в несколько странном своем виде. Говоря по правде, он уже по своему самочувствию догадывался, как он должен сейчас выглядеть: вся одежда пришла в негодность и прилипла к телу; с головы по всему телу текли сплошные потоки, как из водосточной трубы; от пояса до подошв было какое-то грязное месиво, а те места, где его не было, можно было, пожалуй, принять за комья и брызги грязи. И если бы он мог увидеть себя в зеркало во весь рост, с размокшими и обвисшими полями шляпы, с упавшими на лицо и прилипшими к нему волосами, то он показался бы самому себе еще смехотворнее. Что же касается усталости, может статься, она и была, но он ее не чувствовал, а утренняя прохлада после свежей ночи и дождевой ванны лишь подбодряла его и усиливала охоту идти быстрее.

Вот он в Пескате; идет последнюю часть пути вдоль берега Адды, бросая грустный взгляд на Пескаренико; переходит через мост; дорогами и полями быстро добирается до дома своего гостеприимного друга. Тот только что проснулся и, стоя в дверях, смотрел, какова погода. Он поднял глаза на эту промокшую до нитки, сплошь забрызганную грязью фигуру, скажем прямо, на этого замарашку, в то же время такого оживленного и неунывающего: в жизни своей не встречал он человека более невзрачного и более счастливого.

— Эге, — сказал он, — ты уже здесь? В такую-то погоду? Ну, как дела?

— Она жива, — воскликнул Ренцо, — жива!
— Здорова?
— Выздоровела, что гораздо лучше. Всю жизнь буду благодарить за это Господа и Мадонну. Но и дела же, страшные дела! Я потом тебе все расскажу.

— Ну и вид же у тебя!
— Что, разве хорош?
— Пожалуй, если выжать воду с твоей верхней половины, можно вымыть всю нижнюю. Но погоди-ка, погоди, я тебе сейчас разведу огонь.

— Что ж, я не прочь. Знаешь, где меня прихватило? У самых ворот лазарета. Пустяки! У погоды свое дело, а у меня — свое.

Друг ушел и вернулся с двумя охалками хвороста. Одну он положил наземь, другую — в очаг и, с помощью оставшихся с вечера угольков, быстро развел жаркий огонь. Тем временем Ренцо снял шляпу и, встряхнув ее два-три раза, бросил на пол. Не так-то легко было стянуть с себя куртку. Затем он вытащил из кармана штанов нож. Ножны оказались совершенно испорченными, точно они находились некоторое время в воде. Он положил их на скамейку и сказал:

— Ну, им тоже здорово досталось, но зато какой дождь, благодарение создателю! А ведь я вот-вот было... Потом расскажу тебе. — И Ренцо потирал руки. — Теперь сделай мне еще одолжение, — прибавил он. — Помнишь, я оставил у тебя наверху в горнице узелок, сходи, принеси-ка его мне, а то ведь, пока высохнет все, что на мне...

Вернувшись с узелком, друг сказал:

— Думаю, ты не прочь и поесть. Насчет питья, полагаю, у тебя в пути недостатка не было, а вот по части еды...

— Вчера поздно вечером я успел купить два хлеба, но, говоря по совести, заморил этим лишь червячка.

— Так я тобой займусь, — сказал друг. Он налил в котелок воды, подвесил его на цепь и прибавил: — Пойду подою, когда вернусь с молоком, вода будет в самый раз, приготовим добрую поленту. А ты тут пока управляйся.

Оставшись один, Ренцо не без труда стащил с себя остальную одежду, которая прямо-таки прилипла к телу. Обтеревшись как следует, он переоделся с головы до ног. Друг вернулся и принялся за свой котелок. Ренцо уселся в ожидании завтрака.

— Теперь я чувствую, что устал, — сказал он, — ну, и хороший же кус я отмахал. Все это, однако, чепуха. Дня не хватит, чтобы рассказать все, что стало с Миланом! Это надо видеть собственными глазами, потрогать собственными руками. От таких вещей сам себе становишься противен! Я, пожалуй, скажу, что постирушка эта пришлась мне в самый раз. А что эти синьоры собирались там со мной сделать! Услышишь, погоди. Но если бы ты только видел лазарет! Есть от чего рас-

теряться в этой бездне страданий. Ну, будет. Потом все тебе расскажу... Она живехонька, и придет сюда, и будет моей женой, и ты обязан быть в свидетелях, и — чума там или нет, — а мы хоть несколько часочков да повеселимся.

Впрочем, Ренцо сдержал данное своему другу обещание и рассказывал ему обо всем виденном целый день. Тем более что дождь шел не переставая и друг провел весь день дома, то присаживаясь возле гостя, то возясь с небольшим чаном и бочонком и занимаясь всякими другими работами в ожидании предстоящего сбора винограда. Во всем этом Ренцо не преминул помочь ему, потому что, как он говаривал, он был из тех, кто устает больше от безделья, чем от работы. Однако он не удержался, чтобы не сделать небольшой вылазки к дому Аньезе и взглянуть на заветное окошечко, потирая от удовольствия руки. Вернулся он, никем не замеченный, и сразу лег спать. Встал до рассвета и, увидев, что дождь прекратился, хотя еще и не совсем прояснилось, пустился в путь на Пастуро.

Было еще рано, когда он очутился там: ведь желания поскорее добраться до конца было у него, пожалуй, не меньше, чем у читателя. Он справился об Аньезе, узнал, что она здорова. Ему указали уединенный домик, где она проживала. Юноша направился туда и с улицы окликнул хозяйку. Услышав его голос, Аньезе опрометью бросилась к окошку, и, в то время как она, разинув рот, собиралась произнести не то какое-то слово, не то восклицание, Ренцо предупредил ее словами:

— Лючия выздоровела. Я видел ее третьего дня. Она вам кланяется и скоро вернется. А у меня много, очень много чего порассказать вам.

Неожиданное появление Ренцо, радостная весть, нетерпеливое желание узнать все поскорее заставили Аньезе засыпать юношу вопросами и восклицаниями. При этом она толком ничего не могла сказать. Потом, забыв о всех мерах предосторожности, к которым она уже давно прибегала, Аньезе сказала:

— Я вам сейчас отворю.

— Погодите: а чума-то? — сказал Ренцо. — У вас ее, думается мне, не было.

— У меня не было. А у вас?

— Была. Так вам нужно быть поосторожнее. Я прямехонько из Милана. И, как вы еще услышите, можно сказать, по уши залез в эту самую заразу. Правда, я все на себе сменил, с головы до ног. Но ведь эта гадость иной раз пристает прямо как какое-то колдовство. И так как Господь до сих пор охранял вас, мне хочется, чтобы вы были поосторожней, пока эта зараза не кончится. Потому что ведь вы — наша милая мама, и мне хочется, чтобы мы весело пожили вместе, да подольше, в награду за все страдания, какие мы претерпели, — я по крайней мере.

— Но... — начала было Аньезе.

— Э, — прервал Ренцо, — никаких «но» не разрешается. Я знаю, что вы хотите сказать; однако послушайте, никаких «но» уже больше не существует. Пойдемте куда-нибудь на свежий воздух, где можно разговаривать без всякой помехи и без опаски, и вы все узнаете.

Аньезе указала ему на огород позади дома и прибавила:

— Ступайте туда. Вы увидите там две скамейки друг против друга, они словно нарочно там поставлены. Я в один момент

Ренцо вошел в огород и уселся на одной из скамеек. Через мгновенье на другой оказалась Аньезе. И я уверен, что если бы читатель, хорошо осведомленный обо всех предшествовавших событиях, очутился там третьим и увидел бы собственными глазами, как они оживленно разговаривали, услышал бы собственными ушами все эти излияния, вопросы, разъяснения, восторги, соболезнования, поздравления, услышал бы и про дона Родриго, и про падре Кристофоро, и про все остальное, и все эти описания будущей жизни, такие же ясные и определенные, как и описания прошлого, — то я уверен, что он вошел бы во вкус и не захотел бы уходить. Но иметь весь этот разговор перед собой на бумаге, в немых словах, написанных чернилами, и не найти в нем ни одного нового события, мне кажется, ему едва ли будет интересно, и он предпочтет вообразить его себе.

В заключение они решили, что следует устроиться всем вместе в Бергамо, в той деревне, где у Ренцо уже была хорошая зацепка. Что же касается срока, то ничего нельзя было придумать, потому что все зависело от чумы и от всяких других обстоятельств. Как только минует опасность, Аньезе вернется домой и станет поджидать Лючию, или Лючия уже будет ждать ее там. За это время Ренцо не раз сумеет побывать в Пастуро, повидаться со своей матерью и сообщить ей обо всем, что может произойти.

Перед уходом он и Аньезе предложил денег, со словами:

— Вот они все тут, вы видите эти деньги. Я тоже дал обет не дотрагиваться до них, пока все не выяснится. Теперь, если они вам нужны, принесите сюда миску с водой и уксусом. Я брошу в нее все эти пятьдесят скуди, — такие новенькие и блестящие.

— Не надо, не надо, — отвечала она, — у меня еще есть деньги, и даже больше, чем мне нужно. Поберегите свою долю, они вам пригодятся на обзаведение хозяйством.

Ренцо вернулся в Пескато, очень довольный тем, что нашел здоровым и невредимым столь дорогого для него человека. Остаток дня и всю ночь он провел в доме своего друга. На другой день — снова в путь, но уже в другую сторону, иначе сказать, на свою приемную родину.

Он застал Бортоло тоже в добром здоровье и уж не в таком

страхе потерять его, ибо за эти несколько дней дела и там быстро изменились к лучшему. Уже стало заболеть гораздо меньше народу, да и болезнь была уже не та. Больше не было этих смертельных кровоподтеков и бурных приступов, остались лишь легкие лихорадки, в большинстве случаев перемежающиеся, да, самое большее, небольшие бесцветные нарывы, которые поддавались лечению, как простые чирьи. Все вокруг словно внезапно изменилось, — оставшиеся в живых стали выходить из домов, сводить счеты друг с другом, обмениваться взаимными соболезнованиями и поздравлениями. Поговаривали уже о возобновлении работ: хозяева уже подыскивали и задатками обеспечивали себе рабочих, особенно в таких ремеслах, где и до чумы число их было незначительно, как, например, в шелковом производстве. Без долгих упрасиваний Ренцо обещал кузену — оставив, однако, за собой окончательное решение — снова взяться за работу, как только вернется со своими, чтобы поселиться здесь. А пока что он занялся самыми необходимыми приготовлениями: нашел дом побольше, что было теперь, к сожалению, делом легким и не очень дорогим, приобрел мебель и утварь, начав тратить на этот раз из своей казны, впрочем, не очень опустошив ее, так как все было дешево: вещей было гораздо больше, чем охотников покупать их.

Не знаю, через сколько дней он вернулся в родную деревню, которую нашел очень заметно изменившейся к лучшему. Он немедленно побежал в Пастуро. Застал Аньезе совершенно успокоенной и готовой вернуться домой в любое время, так что он сам и проводил ее туда. Мы не станем говорить о том, какие чувства охватили их, какими словами обменивались они, вместе заведя снова знакомые места.

Аньезе нашла все в том же виде, в каком и оставила, и при этом она не преминула сказать, что на сей раз, поскольку дело касалось бедной вдовы и бедной девушки, сами ангелы оберегали их дом.

— А в тот-то раз, — прибавила она, — пожалуй, можно было подумать, что взор Господень был устремлен в другое место и ему не до нас, потому что он дал унести все наши бедные пожитки, — а вон, смотришь, выходит совсем наоборот, послал мне с другой стороны хорошие деньги, и я смогла привести всё в порядок. Я говорю — всё, но, конечно, это не совсем так! Ведь они унесли вместе с остальным и приданое Лючии, хорошее и все с иголки, и его бы нам теперь не хватало. А вот глядите, и оно нам достается — с другой стороны. Ну, кто бы мне сказал, когда я в лепешку разбивалась, готовя первое ее приданое: «Ты думаешь, что работаешь на Лючию; эх, ты, глупая женщина! Работаешь, сама не зная на кого: одному небу известно, каким тварям достанется все это белье, эти платья. А то, что полагается Лючии, ее настоящее

приданое, которое пойдет именно ей, о нем позаботится добрая душа, про которую ты даже и не знаешь, что она существует на свете».

Самой первой заботой Аньезе было приготовить в своем бедном домике самое приличное помещение, какое только возможно, для этой доброй души. Потом она отправилась искать шелк для размотки и стала коротать время за привычной работой.

В свою очередь и Ренцо не проводил в безделье эти дни, и без того такие длинные. К счастью, он знал два ремесла, — и теперь он опять взялся за сельские работы. Отчасти юноша помогал своему хозяину, которому очень повезло, что в такие горячие денечки к его услугам оказалась рабочая сила, да еще такая умелая; отчасти он обрабатывал, а вернее сказать, заново возделывал огорожок для Аньезе, совершенно запущенный в ее отсутствие. Что касается его собственного участка, то он совсем им не занимался, говоря, что этот парик слишком растрепанный и что мало двух рук, чтобы привести его в порядок. Он не ступал в него ногой, так же как и в дом: ему было тяжело видеть все это опустошение, и он уже твердо решил отделаться от своего участка и дома за какую угодно цену и на новой родине пустить в оборот все, что удастся выручить от этой продажи.

Если оставшиеся в живых были друг для друга словно воскресшие из мертвых, то Ренцо для жителей своей деревни воскрес, так сказать, дважды: все радушно принимали и поздравляли его, каждому хотелось услышать его историю от него самого. Вы, пожалуй, спросите: а как же приказ об аресте? Да очень просто: Ренцо почти совсем забыл о нем, считая, что те, кто могли бы привести его в исполнение, вовсе о нем и не думали, — и он не ошибался. И проистекало это не только от чумы, которая похоронила многое, но и вообще в те времена (как можно было это видеть в разных местах настоящей истории) было обычным явлением, что декреты, как общего характера, так и частного, направленные против отдельных лиц, часто оставались без результата, раз в первый момент они не оказывала никакого действия, — разумеется, в том случае, если дело шло не о какой-нибудь чисто личной вражде власть имущего, которая сообщала декретам жизненность и силу, — совсем как ружейные пули, которые, раз они не попали по назначению, валяются на земле, никому не причиняя ущерба, — неизбежное следствие большой легкости, с которой сыпались эти самые декреты. Человеческая энергия имеет свой предел: чрезмерное усердие в отдаче приказаний не оставляло времени для их выполнения. Что идет на рукава, уж не может пойти на ластовицы.

Тому, кто захотел бы узнать также, какие в эту пору ожидания сложились у Ренцо отношения с доном Абондио, мне

придется сказать, что оба сторонились друг друга: дон Абондио — боясь, как бы не заговорили опять о венчании, при одной мысли о котором перед его глазами вставал с одной стороны дон Родриго со своими брави, с другой — кардинал со своими увещаниями; Ренцо — потому, что решил ничего не говорить ему до самого заключения брака, не желая давать дону Абондио повод раньше времени фыркать и придумывать, чего доброго, какие-либо новые трудности, а также усложнять дело ненужной болтовней. Дон Абондио без умолку тараторил с Аньезе. «Как вы полагаете, скоро она прибудет?» — спрашивал один. «Надеюсь, скоро», — отвечала другая. И нередко тот, кто отвечал, минутой спустя сам задавал тот же вопрос. Такими и подобными хитроумными разговорами они умудрялись коротать время, которое казалось им все бесконечнее, по мере того как оно с каждым днем убывало.

Читателя же мы все это время заставим пройти в одно мгновение, — мы расскажем вкратце, что через несколько дней после посещения лазарета Ренцо Лючия вышла оттуда вместе с доброй вдовой, и так как был объявлен всеобщий карантин, то они и отбыли его вместе, сидя взаперти в доме вдовы. Часть времени была затрачена на изготовление приданого Лючии, за которое, предварительно немного поцеремонившись, принялась и она сама. По окончании карантина вдова оставила лавку и дом на хранение все тому же брату-комиссару. Потом начались приготовления к путешествию. Тут мы сразу могли бы прибавить: отбыли, приехали и все, что последовало дальше. Но при всем нашем желании идти в ногу с нетерпеливым читателем, следует отметить три обстоятельства, относящиеся к этому промежутку времени, которые мы не хотели бы обойти молчанием, и касательно хотя бы двух из них, нам кажется, читатель подумает, что мы поступили бы дурно, умолчав о них.

Первое — это то, что когда Лючия стала снова рассказывать вдове о своих злоключениях, уже более подробно и последовательно, чем она была в состоянии это сделать в порыве своего первого признания, и поведала более определенно о той синьоре, которая приютила ее в монастыре в Монце, она узнала от вдовы такие вещи, которые послужили ей ключом для раскрытия многих тайн и вместе с тем наполнили душу девушки скорбным изумлением и ужасом. Она узнала от вдовы, что несчастная, заподозренная в страшных злодеяниях, была переведена по приказанию кардинала в один из миланских монастырей; что там она долго неистовствовала и отпиралась, но, наконец, раскаялась, признала себя виновной, и что теперешняя ее жизнь стала добровольной пыткой столь жестокой, что придумать такое — немислимо, разве только совсем лишить ее жизни. Кто пожелал бы несколько более подробно ознакомиться с этой печальной историей, тот най-

дет ее в той книге и в том месте, которое мы уже приводили выше, по поводу той же самой особы¹.

Второе обстоятельство — это то, что Лючия, расспрашивая о падре Кристофоро всех капуцинов, которых могла видеть в лазарете, узнала, скорее с прискорбием, чем с изумлением, что он умер от чумы.

Наконец, прежде чем уехать, Лючия захотела узнать что-нибудь о своих прежних покровителях и, как она говорила, выполнить свой долг по отношению к ним, если кто-нибудь из них еще остался в живых. Вдова проводила ее в дом, где им сообщили, что оба они отправились к праотцам. Относительно донны Прасседе, если сказано, что она умерла, значит, этим все сказано; что же касается дона Ферранте, то, имея в виду, что он был человеком ученым, наш аноним счел нужным распространиться побольше; и мы, на свой риск и страх, перепишем почти все, что он написал по этому поводу.

Итак, он сообщает, что как только заговорили о чуме, дон Ферранте стал одним из самых рьяных ее отрицателей и что он до самого конца стойко поддерживал это мнение, но не шумными заявлениями, как народ, а рассуждениями, которыми никто не сможет отказать по крайней мере в логической связи.

— *In rebus natura*², — говорил он, — существует лишь два рода вещей: субстанции и акциденции, и если я докажу, что зараза не может быть ни тем, ни другим, то тем самым я докажу, что ее не существует вообще, что она — химера. Итак, приступаю. Субстанции бывают либо духовные, либо материальные. Чтобы зараза была субстанцией духовной, — это такая бессмыслица, которую никто не станет доказывать, поэтому не стоит и говорить об этом. Субстанции материальные бывают либо простыми, либо сложными. Простой субстанцией зараза не является, и это можно доказать в четырех словах: она не есть субстанция воздушная, ибо будь она таковой, она, вместо того чтобы передаваться от одного тела к другому, сразу бы отлетела к своей сфере; она не водная субстанция, ибо тогда она могла бы сама орошать и высушиваться ветрами; она не огненная, ибо тогда она обжигала бы; и не земная, ибо в этом случае она была бы видима. Но она не есть и сложная субстанция, ибо тогда она во всяком случае должна была бы быть осязаемой и для глаза и для осязания. А кто же видел эту заразу? Кто к ней прикасался? Остается рассмотреть, может ли она быть акциденцией. Чем дальше, тем хуже. Синьоры доктора утверждают, что она передается от одного тела к другому: ведь это их козырь, это — предлог для всех их глупейших предписаний. Теперь, принимая заразу за акциденцию, пришлось бы допустить, что она — акциденция пере-

¹ Рипамонти. «Отечественная история». Дек. V, кн. VI, гл. III.

² В природе вещей (лат.).

даваемая, два слова несовместимые между собой: во всей философии нет ничего яснее и отчетливее положения, что акциденция не может переходить с одного предмета на другой. Если же они, для избежания этой Сциллы, оказываются перед необходимостью говорить, что зараза есть акциденция производная, то они попадают к Харибде: ибо, если она производная, то, следовательно, она не передается, не распространяется, как они болтают. Установив эти принципы, какой же смысл приходить и рассказывать нам про кровоподтеки, сыпи, карбункулы?..

— Все это чепуха, — выпалил кто-то из его собеседников.

— Не скажите, — возразил дон Ферранте, — я этого не говорю: наука остается наукой, нужно только уметь применять ее. Кровоподтеки, сыпи, карбункулы, воспаления околоушных желез, багровые бубоны, черные фурункулы — все это очень почтенные слова, которые имеют свое ясное и точное значение, но я говорю, что они не имеют никакого отношения к вопросу. Кто же отрицает, что такие вещи могут быть и что они даже бывают? Все дело в том, чтобы знать их происхождение.

Тут начинались неприятности и для дона Ферранте. До тех пор, пока он только оспаривал мнение о существовании заразы, он везде находил внимательных и благосклонных слушателей, ибо трудно даже выразить, как велик авторитет профессионального ученого, когда он пытается доказывать другим вещи, в которых они уже убеждены. Но когда он захотел этот вопрос выделить и попытаться доказывать, что ошибка этих врачей состояла уже не в утверждении наличия страшной и общей болезни, а в определении ее причины, — тогда (я говорю о первоначальной поре, когда о чуме никто не хотел и слышать) вместо благосклонного уха он встречал лишь строптивые, несговорчивые языки. Пришел конец его длиннейшим проповедям, и учение свое он мог распространять теперь не иначе, как отрывками и выдержками.

— Истинная причина, к сожалению, существует, — говорил он, — и признать ее вынуждены даже те, которые потом поддерживают совсем другую, взятую с потолка... Пусть-ка они попробуют, если могут, отрицать это роковое сопряжение Сатурна с Юпитером. И когда же это было слыхано, чтобы говорили, будто влияния передаются?.. И пусть синьоры эти попробуют мне отрицать влияния!.. Может быть, они даже станут отрицать существование светил? Или им вздумается утверждать, что светила находятся там на небесах так, зря, как головки булавок, воткнутых в подушку?.. Но, простите, кого я уж никак в толк не возьму, так это синьоров медиков: признавать, что мы находимся под таким коварным сопряжением, и потом приходить и заявлять нам с таким невозмутимым

лицом: не прикасайтесь здесь, не прикасайтесь там, и вы будете вне опасности! Как будто подобное уклонение от материального прикосновения с земными телами может помешать скрытому воздействию небесных тел! И так носиться с сожжением каких-то тряпок! Жалкие люди! Что же, вы попытаетесь сжечь Юпитер? Сжечь Сатурн?

His fretus¹, иными словами, полагаясь на свои остроумные умозаключения, он не принимал никаких мер предосторожностей против чумы, заразился ею и слег в постель, чтобы умереть, подобно герою Метастазию, вступив в спор со звездами. А знаменитая его библиотека? Она и сейчас еще, может статься, разбросана по прилавкам букинистов.

Глава тридцать восьмая

Как-то вечером Аньезе услышала, как у ворот остановился экипаж. «Наверно, она!» Действительно, то была Лючия вместе с доброй вдовой. Их взаимные приветствия пусть читатель вообразит себе сам.

На следующее утро, спозаранку, появился Ренцо, который, ни о чем не догадываясь, пришел, чтобы отвести с Аньезе душу по поводу столь затянувшегося приезда Лючии. Все, что он проделал и сказал, очутившись лицом к лицу с ней, мы тоже предоставляем воображению читателя. Наоборот, обращение к нему Лючии было таким, что описание его не займет много времени.

— Здравствуйте, как поживаете? — сказала она, опустив глаза, но без всякого смущения.

Не подумайте, что Ренцо нашел такой прием слишком сухим и истолковал его в дурную для себя сторону. Он принял все очень хорошо, как оно и должно было быть. И подобно тому как среди благовоспитанных людей умеют делать скидку на всякие излишние любезности, так и он отлично понял, что эти слова не выражали всего того, что происходило в сердце Лючии. К тому же нетрудно было подметить, что у нее было два способа произносить эти слова: один — для Ренцо, другой — для всех остальных людей.

— Хорошо, когда вижу вас, — отвечал юноша избитой фразой, которую он, однако, в данную минуту мог придумать и сам.

— Бедный наш падре Кристофоро!.. — сказала Лючия. — Молитесь за спасение его души; хотя можно почти с уверенностью сказать, что сейчас он молится там за нас.

— К сожалению, я предвидел это, — сказал Ренцо.

И это была не единственная печальная струна, которой они

¹ Опираясь на это (лат.).

коснулись в своей беседе. И что же? О чем бы они ни заговорили, всякий разговор казался ему одинаково восхитительным.

Подобно тем резвым скакунам, которые бьют копытом землю, артачатся и перебирают ногами, не сходя с места, продельывают тысячу фокусов, прежде чем сделать первый шаг, а потом сразу срываются с места и мчатся, словно их несет ветром, — таким сделалось время для Ренцо: сначала минуты казались часами, а потом часы минутами.

Вдова не только не нарушала компании, но и вносила много приятного; и, разумеется, когда Ренцо видел ее на жалком ложе в лазарете, он не мог и вообразить себе, что у нее такой общительный и веселый нрав. Но ведь лазарет и деревня, смерть и свобода — не одно и то же. С Аньезе она уже подружилась; а видеть ее с Люцией было просто удовольствием, — как она, нежная и шаловливая, ласково подшучивала над подругой, не обижая ее, позволяя себе ровно столько, сколько требовалось, чтобы заставить Люцию проявить ту радость, которая таилась в ее душе.

Ренцо заявил наконец, что он идет к дону Абондио сговориться насчет венчания. Он отправился туда и заговорил, слегка подтрунивая, но не без почтительности:

— Синьор курато, небось у вас теперь прошла та головная боль, которая, как вы говорили, мешала вам обвенчать нас? Час настал. Невеста здесь, и я пришел, чтобы узнать, когда вам удобнее сделать это. Но на этот раз я прошу вас поторопиться.

Дон Абондио не ответил отказом, но опять стал вилать, приводить разные отговорки, делать какие-то намеки: и к чему лезть всем на глаза, да оглашать свое имя, когда грозит арест? И можно ведь с одинаковым успехом справить все где-нибудь в другом месте. Да то, да се...

— Понимаю, — сказал Ренцо, — у вас до сих пор еще чуточку болит голова. Но послушайте меня, послушайте. — И он начал описывать состояние, в котором видел несчастного дона Родриго. Теперь он уже наверное отправился на тот свет. — Будем надеяться, — заключил он, — что Господь оказал ему милосердие.

— При чем тут это, — сказал дон Абондио, — разве я вам отказал? Я и не думаю отказывать; я говорю... и говорю, имея веские основания. К тому же, видите ли, пока человек еще дышит... Вы посмотрите на меня: я ведь разбитая посуда, и тоже одной ногой стоял скорей на том свете, чем на этом, и все же я здесь, и... если не свалятся на меня всякие напасти... ну, да ладно... я смею надеяться пожить еще немножко. Опять же, представьте себе, бывают ведь иногда такие натуры. Впрочем, повторяю, это тут ни при чем.

После всевозможных пререканий и возражений, столь же мало убедительных, Ренцо учтиво раскланялся, вернулся к своим, доложил им обо всем и закончил такими словами:

— Я ушел, потому что был сыт им по горло и боялся, потеряв терпение, наговорить ему дерзостей. Порой он казался совершенно таким же, как прежде: та же рожа, те же рассуждения. Я уверен, продлись наш разговор еще немного, он наверняка вернул бы латинские словечки. Вижу, что опять будет проволочка. Лучше уж сделать прямо так, как советует он: отправиться венчаться туда, где мы собираемся жить.

— Знаете, что мы сделаем? — сказала вдова. — Я предлагаю пойти нам, женщинам, сделать еще одну попытку. Посмотрим, не будет ли она удачнее. Кстати, и я буду иметь удовольствие узнать этого человека, действительно ли он такой, как вы говорите. Давайте пойдем после обеда, чтобы не сразу наседать на него вторично. А пока что, синьор жених, сводите-ка нас немножко погулять, нас двоих, пока Аньезе занята своими делами. Уж я сойду для Люции за мамашу, да и мне очень хочется получше рассмотреть это озеро, эти горы, о которых я так много слышала. То немногое, что я уже видела, показалось мне замечательно красивым.

Ренцо прежде всего повел их в дом своего хозяина, где по этому поводу состоялось целое торжество. С Ренцо взяли обещание, что не только сегодня, но и в последующие дни он будет по возможности приходить к ним обедать.

Погуляли, пообедали, и Ренцо ушел, не сказав куда. Женщины провели некоторое время за беседой, уговариваясь, как получше взяться за дон Абондио, и, наконец, пошли на приступ. «Вот, пожалуйста, и они тут как тут», — с досадой подумал про себя дон Абондио, но тут же сделал равнодушное лицо. Люцию встретил поздравлениями, Аньезе — поклонами, приезжую — любезностями. Он предложил им сесть и тут же принялся говорить о чуме, пожелав услышать от Люции, как она перенесла ее в этой ужасающей обстановке. Лазарет дал удобный случай вмешаться в разговор и той, с кем Люция там подружилась. Затем, что вполне понятно, дон Абондио заговорил и о пережитой лично им буре, потом рассыпался в поздравлениях по адресу Аньезе, которая отделалась так дешево. По-видимому, дело затягивалось. Уже с первой минуты обе женщины постарше насторожились и ждали, стараясь уловить подходящий момент и заговорить о самом главном. Наконец, не знаю уж которая из двух сломала лед. Но как вы думаете? Что касается этого, дон Абондио был решительно туговат на ухо. Не то чтобы он прямо сказал: «нет!» Но он снова принялся вилять, ходить вокруг да около, перескакивая, подобно птичке, с сучка на ветку.

— Следовало бы, — говорил он, — как-нибудь добиться отмены этого мерзкого приказа об аресте. Вот вы, синьора, как жительница Милана, должны более или менее знать, в чем тут суть дела: несомненно, у вас найдется хорошая протекция, какой-нибудь влиятельный кавалер. Ведь таким путем

можно избавиться от любой беды. А то можно пойти и кратчайшим путем, не впутываясь ни в какие истории. Так как молодые люди, а вместе с ними и Аньезе уже твердо решили эмигрировать (против этого я ничего не могу возразить: отечество — там, где хорошо живет), то, по-моему, хорошо было бы проделать все это там, где над тобой не висит никакого приказа об аресте. Я просто жду не дождусь того часа, когда вы, наконец, породнитесь, но хочу, чтобы это произошло по-хорошему, спокойно. По правде говоря, здесь, при наличии этого приказа, я, пожалуй, не мог бы со спокойным сердцем произнести с амвона имя Лоренцо Трамальино: я слишком расположен к нему и побоялся бы оказать ему плохую услугу. Посудите сами, синьора, посудите и вы.

Тут с одной стороны Аньезе, с другой — вдова принялись отвергать эти соображения, но дон Абондио снова и снова выдвигал их уже под другими предлогами; так все время и начинали сызнова, как вдруг решительным шагом, с лицом, говорящим о какой-то новости, вошел Ренцо и сообщил:

— Прибыл синьор маркезе ***.

— Что это значит? Куда прибыл? — привставая с места, спросил дон Абондио.

— Прибыл в свой замок, принадлежавший ранее дону Родриго, потому что синьор маркезе наследник, как говорится, заповедного имения, так что сомнений больше нет. Я, со своей стороны, был бы счастлив узнать, что несчастный человек этот умер по-христиански. Как бы то ни было, я до сих пор читал за него «Отче наш», а теперь стану читать «De profundis». А этот синьор маркезе очень порядочный человек.

— Несомненно, — сказал дон Абондио, — я не раз слышал, как его называли поистине благородным синьором, человеком старого закала. Но действительно ли это так?..

— Вы службе своему верите?

— А что?

— А то, что он видел его своими глазами. Я там был лишь поблизости и, говоря по совести, пошел туда только потому, что подумал: а ведь они что-нибудь должны знать. И многие говорили мне то же самое. Потом мне попался Амброджо, который как раз спускался сверху и сам видел, повторяю вам, что маркезе распоряжается там как хозяин. Хотите выслушать Амброджо? Я нарочно задержал его во дворе.

— Хорошо, послушаем, — сказал дон Абондио.

Ренцо пошел позвать службу. Тот подтвердил все в точности, добавив еще кое-какие подробности. Рассеяв всякие сомнения, он удалился.

— А, так он, значит, умер! И в самом деле отошел в вечность! — воскликнул дон Абондио. — Видите, дети мои, какой конец уготовало провидение некоторым людям. Знаете ли вы, что это великое дело, великое облегчение для всей

нашей несчастной округи! Ведь от него житья не было. Чума эта была великим бичом, но она же явилась и метлой, — она вымела прочь некоторых субъектов, от которых, дети мои, нам никогда бы не избавиться, — крепких, свежих, процветающих, — пожалуй, можно сказать, что те, кому предстояло отпевать их, сидят еще в семинарии за своей латинской премудростью. И вот во мгновение ока они исчезли, целыми сотнями зараз. Мы не увидим больше дона Родриго, как он разгуливает в окружении своих головорезов, с надутым видом, точно он палку проглотил, спесиво поглядывая на людей, будто все только с его позволения и живут на свете. И вот его нет, а мы живы. Уж больше он не станет засылать к честным людям своих посланцев. Много, много он причинил всем беспокойства, — теперь об этом уже можно говорить открыто.

— Я простил его от всей души, — сказал Ренцо.

— Ты исполнил свой долг, — ответил дон Абондио, — но можно и возблагодарить небо за то, что оно избавило нас от него. Теперь, возвращаясь к нашим делам, я повторяю: поступайте, как находите нужным. Если вы хотите, чтобы я венчал вас, распоряджайтесь мною. Если вам покажется более удобным устроиться иначе, делайте по-своему. Что касается приказа об аресте, то я и сам вижу, что раз нет больше никого, кто на вас точит зуб и собирается вредить вам, то не стоит о нем и задумываться, — тем более что позже был издан милостивый декрет по случаю рождения светлейшего инфанта. А потом и чума! Чума! Хорошо она кое-кого почистила, чумато! Так что, если вам угодно... нынче у нас четверг... в воскресенье я вас оглашу в церкви, — потому что прежнее-то оглашение уже не считается, ведь прошло столько времени, — а потом я буду счастлив повенчать вас.

— Вы же прекрасно знаете, что именно за этим мы и пришли, — сказал Ренцо.

— Превосходно. Я к вашим услугам. И сейчас же сообщу об этом его высокопреосвященству.

— А кто это его высокопреосвященство? — спросила Аньезе.

— Его высокопреосвященство, — ответил дон Абондио, — это наш кардинал, да хранит его Бог.

— Ну, уж на этот раз вы меня извините, — возразила Аньезе, — хоть я и бедная, необразованная женщина, а смею вас заверить, что его так не называют. Вот и когда мы второй раз беседовали с ним, как я с вами сейчас, один из синьоров священников отвел меня к сторонке и научил, как надо обходиться с таким синьором и что ему полагается говорить «сиятельная милость ваша», или «монсиньор».

— А теперь, если бы ему снова пришлось учить вас, он бы сказал вам, что надо говорить «ваше высокопреосвященство». Поняли? Потому что папа, да хранит его Господь, предписал, чтобы с июня месяца кардиналов титуловали именно так. И

знаете, почему он пришел к такому решению? Потому что титулование «сиятельнейший», принадлежавшее исключительно им и некоторым князьям, теперь, вы и сами видите, во что оно обратилось, кто только им не пользуется и как охотно люди присваивают его себе. Что же оставалось сделать папе? Отнять его у всех? Пойдут жалобы, прошения, неудовольствия, обиды, и в конце концов все останется по-прежнему. Вот он и нашел великолепный выход. Мало-помалу высокопреосвященством начнут звать епископов, потом захотят того же аббаты, потом простые настоятели, ибо так уж созданы люди: все-то им хочется возвышаться да возвышаться; потом дойдет очередь до каноников...

— Потом до курато, — вставила вдова.

— Ну уж нет, — возразил дон Абондио, — их дело тащить воз. Не бойтесь, что их избалуют, этих курато; «ваше преподобие» и так до самой кончины мира. Я бы ничуть не удивился, если бы кавалеры, привыкшие к тому, что их называют сиятельнейшими, ставя на одну доску с кардиналами, в один прекрасный день захотели бы для себя титула «высокопреосвященства». А пожелай они этого, поверьте, найдутся люди, которые так и будут их величать. И тогда тот, кто будет тогда папой, найдет для кардиналов что-нибудь другое. Однако вернемся-ка к нашим делам: значит, в воскресенье я оглашу вас в церкви. А тем временем — знаете, что я придумал, чтобы услужить вам? Мы похлопочем о разрешении обойтись без двух остальных оглашений. Им там в канцелярии у архиепископа много возни с этими разрешениями, если дело везде идет, как здесь у нас. На воскресенье у меня уже есть одно... два... три, не считая вас, а может, подвернутся и еще. А потом посмотрите, что будет дальше: ни один не останется без пары. Большая оплошность со стороны Перпетуи, что она умерла именно теперь: ведь сейчас такое время, когда и на нее нашелся бы охотник. И в Милане, синьора, полагаю, будет то же самое...

— Вот именно! Представьте себе, в одном только нашем приходе в прошлое воскресенье было пятьдесят оглашений.

— Я про то и говорю, род человеческий не хочет прекращаться. Ну, а вы, синьора, разве вокруг вас еще не начал увиваться целый рой кавалеров?

— Нет, нет. Я об этом и не думаю, да и думать не хочу.

— А почему бы и нет? Разве что вы захотите быть исключением. И Аньезе тоже, смотрите-ка, и Аньезе...

— Ох! И охота ж вам шутить, — сказала Аньезе.

— Разумеется, мне охота пошутить, и, по-моему, теперь наконец-то для этого и настало время. Нам пришлось пройти через испытания, не так ли, молодые люди? Через испытания мы уже прошли, и, можно надеяться, те немногие дни, которые нам суждено провести на этом свете, будут несколько лучше. Да вы счастливицы, если не случится какой-нибудь

новой беды, у вас еще хватит времени на разговоры о минувших горестях. Мое дело хуже, часы мои показывают уже двадцать три и три четверти, и... Негодяи могут умереть, от чумы можно исцелиться, а от старости лекарства нет. Как говорится, *senectus ipsa est morbus*¹.

— Ну, теперь можете говорить себе по-латыни сколько угодно, мне это совершенно безразлично, — сказал Ренцо.

— Ты, я вижу, все еще в обиде на латынь: хорошо же, я тебе еще покажу! Вот когда ты явишься ко мне с этим вот милым созданием как раз для того, чтобы услышать кое-какие латинские словечки, я возьму да и скажу тебе: ты не любишь латыни, ступай себе с миром. Посмотрим, как это тебе понравится?

— Э, я знаю, что говорю, — отвечал Ренцо, — та латынь меня не пугает. Это латынь честная, священная, как латынь за обедней: они вон, так и то должны уметь читать, что написано в книге. Я говорю о той негодной, не церковной латыни, которая подлым образом встречается в самый порядочный разговор. Примерно, теперь, когда мы здесь, когда все кончилось, — скажем, та латынь, которую вы пускали в ход вот здесь, в этом самом углу, чтобы дать мне понять, что вы не соглашаетесь, да что нужны еще какие-то штуки, а что я понимал? Вы бы теперь перевели мне хоть немного этой латыни на простой язык.

— Замолчи ты, шутник, замолчи же, не вороши старого. Ведь если бы нам пришлось теперь сводить счета, не знаю, кто у кого остался бы в долгу. Я все простил: не будем больше вспоминать об этом, но и вы тоже удружили мне! Что касается тебя, то это меня нисколько не удивляет, ты ведь продурная бестия. Я говорю о ней: с виду — и воды не замутит, сама святость, глядит маленькой мадонной, каждый счел бы за грех опасаться ее! Но я-то хорошо знаю, кто ее подучил, знаю, знаю.

При этих словах он указал на Аньезе тем самым пальцем, который перед этим был направлен на Лючию. И надо было видеть, с каким добродушием, с какой приветливостью делал он эти упреки. Полученное известие развязало ему язык, он стал говорливым, от чего уже давно отвык, и нам оставалось бы очень далеко до конца, если б мы вздумали передавать остальной разговор, который он всячески старался затянуть, не раз удерживая всю компанию, уже готовую уйти, и даже задержал ее немного у самого выхода, не переставая болтать всякий вздор.

На следующий день его посетил гость, тем более приятный, чем менее ожидавшийся. Это был синьор маркезе, о котором уже говорилось, — человек на грани между зрелым возрастом

¹ Старость сама по себе болезнь (*лат.*)

и старостью, всем своим видом наглядно подтверждавший то, что гласила о нем молва: прямодушный, учтивый, спокойный, скромный, полный достоинства и с каким-то отпечатком кроткой печали во всем облике.

— Я пришел передать вам приветствие от кардинала-архиепископа, — сказал он.

— О, какое благоволение и с его и с вашей стороны!

— Когда я прощался с этим исключительным человеком, который утомляет меня своей дружбы, он говорил мне о двух молодых обрученных в вашем приходе, которые пережили много горестей из-за этого несчастного дона Родриго. Монсиньору хотелось бы узнать о них. Живы ли они? И уладились ли их дела?

— Все улажено. Я даже предполагал написать об этом его высокопреосвященству, но теперь, когда я имею честь...

— Они здесь?

— Здесь, и очень скоро станут мужем и женой.

— Я очень прошу вас, скажите, нельзя ли мне сделать для них что-нибудь приятное, и кстати научите меня, как подойти к этому поделикатнее. В постигшем нас бедствии я потерял своих двух сыновей и их мать и получил три солидных наследства. Излишки у меня были и раньше, так что, как видите, предоставляя мне случай пустить их на дело, да еще на такое, как это, вы оказываете мне настоящее одолжение.

— Да благословит вас небо! Почему все другие не такие, как вы?... Но — довольно. Позвольте и мне от всего сердца поблагодарить вас за этих детей моих. И так как сиятельнейшая милость ваша изволит поощрять меня к тому, то я могу, синьор, подсказать вам способ, который, быть может, придется вам по душе. Видите ли, я знаю, что эти хорошие люди порешили обосноваться где-нибудь в другом месте и продать то небольшое, что у них здесь есть: у юноши — виноградничек в девять-десять пертик, если не ошибаюсь, но очень запущенный, так что приходится принимать в расчет лишь самый участок, не больше. Затем у него есть домишко, да и другой — у невесты, — надо сказать, две норы мышиных. Такой синьор, как ваша милость, конечно, не может знать, как туго приходится беднякам, когда они хотят разделаться со своей жалкой собственностью. В конце концов она всегда попадает в пасть к какому-нибудь мошеннику, который, быть может, давненько уже зарился на эти несколько локтей земли, а как узнал, что владельцу пришла нужда продавать ее, так он на попятный, прикидывается, что, мол, потерял всякую охоту покупать; и вот приходится бегать за ним и отдавать все за гроши, — особенно при таких обстоятельствах, как нынешние. Синьор маркеше, надеюсь, вы уже поняли, к чему клонится моя речь. Самое замечательное человеколюбие, какое светлейшая милость ваша может проявить к этим людям, это помочь им вы-

путаться из их затруднений, купив все их небольшое имущество. По совести говоря, я подаю вам этот совет не совсем бескорыстно, потому что мне хочется приобрести такого прихожанина, как синьор маркезе. Но ваша милость решит все это по своему усмотрению: я говорю, лишь повинуясь вашему приказу.

Маркезе вполне одобрил этот совет и, поблагодарив дон Абондио, попросил его быть посредником и установить цену по возможности высокую. А когда маркезе предложил ему сейчас же пойти в дом невесты, где, по всей вероятности, находится и жених, тут уж дон Абондио совершенно остолбенел от изумления.

По пути дону Абондио, который, как вы легко можете себе представить, ликовал, пришла в голову новая мысль, которую он и высказал:

— Раз уж ваша сиятельная милость так склонны сделать добро этим людям, можно было бы оказать им и еще одну услугу. На молодом человеке тяготеет приказ об аресте, нечто вроде заочного осуждения, из-за какой-то глупой выходки, совершенной им в Милане два года тому назад, в самый день большого мятежа. Без всякого злого умысла, просто по неведению, он оказался запутанным в целое дело, попал, как кур во щи. Уверяю вас, ничего серьезного не было: так, ребячество, шалость, сделать что-нибудь действительно дурное он не способен; и я могу подтвердить это, ведь я его крестил, на моих глазах он вырос. Да, впрочем, если вашей милости угодно позабавиться и послушать этих добрых людей, как они за просто рассуждают, вы можете заставить Ренцо самого рассказать вам эту историю, и все узнаете. Ведь все это — дела давно минувшие, и теперь никто его не беспокоит. К тому же, как я сказал, он подумывает уехать из наших краев. Но со временем, почем знать, он может вернуться сюда, или там еще что-нибудь, посудите сами, оно ведь все-таки лучше не числиться в этих списках. Синьор маркезе по справедливости изволит слыть в Милане блестящим кавалером и большим человеком... Нет, нет, уж позвольте мне досказать, — что правда, то правда. Заступничество, одно словечко такой особы, как вы, этого более чем достаточно для получения полного оправдания.

— Никаких серьезных обвинений против этого юноши нет?

— Нет, не думаю. В первую минуту за него здорово принялись, но теперь, мне кажется, только и осталось, что одна пустая формальность.

— Если это так, дело — нетрудное, и я охотно возьмусь за него.

— И после всего этого вы не хотите, чтобы вас называли замечательным человеком? Я так говорю и буду говорить, наперекор вам буду говорить. И даже если б я молчал, это ни к

чему бы не повело, потому что все так говорят, а известно, что *vox populi, vox Dei*¹.

Они действительно застали всех трех женщин и Ренцо. Что тут с ними произошло, об этом предоставляю судить вам самим. Я думаю, что даже эти голые и шероховатые стены и оконницы, и табуреты, и кухонная посуда — все пришло в изумление при виде такого необычайного гостя. Он сам начал беседу, заговорив с чистосердечной откровенностью, но вместе с тем деликатно и осторожно, о кардинале и о других вещах. Затем маркезе перешел к своему предложению, ради которого и явился. Тут выступил дон Абондио, которого синьор попросил установить цену. После некоторых церемоний и извинений, что это, мол, не его ума дело, и что он может идти здесь лишь ощупью, и что говорит он единственно из повиновения, и что он всецело полагается на синьора маркезе, — дон Абондио назвал какую-то уж совсем несуразную сумму. Покупатель сказал, что он со своей стороны вполне удовлетворен, и, сделав вид, что неверно понял, назвал двойную цену. Ни о какой поправке он не хотел и слышать и прекратил всякие дальнейшие разговоры, пригласив все общество на другой день после свадьбы отобедать у него, в его палатце, где можно будет заключить договор по всей форме.

«Да, — говорил потом про себя дон Абондио, вернувшись домой, — вот если бы чума всегда и везде так устраивала дела, ей-Богу, было бы прямо грешно поминать ее лихом. Чего доброго, пришлось бы желать, чтобы она появлялась хоть раз в поколение, и, пожалуй, можно было бы даже скрепить свое согласие договором, но с одним условием — непременно выздороветь».

Пришло разрешение от архиепископа, пришел оправдательный приговор, пришел и благословенный день: торжествующие обрученные со спокойной уверенностью отправились именно в свою приходскую церковь, где и были обвенчаны именно доном Абондио. Другим торжеством, и гораздо более значительным, было для них посещение палаццотто дона Родриго. И я предоставляю вам самим вообразить себе, какие мысли теснились у них в голове, когда они поднимались по этой круче, когда входили в эти ворота, и какие они должны были вести разговоры, каждый согласно своему характеру. Отмечу лишь, что среди всеобщего веселья то один, то другой не раз замечал, что для полного торжества не хватало лишь бедного падре Кристофоро. Впрочем, тут же прибавляли:

— Но ему уж теперь, конечно, лучше, чем нам.

Маркезе устроил для них пир горой. Он привел их в прекрасную людскую, усадил за стол молодых, вместе с Аньезе и вдовой, и, прежде чем удалиться пообедать в другом месте с

¹ Глас народа — глас Божий (*лат*)

доном Абондио, пожелал побыть некоторое время с гостями и даже сам помог обслуживать их. Надеюсь, никому не придет в голову сказать, что гораздо проще было бы прямо устроить один общий стол. Так ведь я представил вам маркезе просто хорошим человеком, а вовсе не оригиналом, как сказали бы в наши дни. Я сказал вам, что он был скромен, а вовсе не сказал, что он чудо скромности. Ее в нем было достаточно для того, чтобы поставить себя ниже этих добрых людей, но не для того, чтобы стать с ними на равную ногу.

Когда оба обеда кончились, ученый юрист составил договор. Это был уже не наш старый знакомый доктор Крючкотвор. Сей последний, лучше сказать — останки его, находились в ту пору, как находятся и посейчас, в Кантерелли. И я сам понимаю, что для тех, кто не из этих мест, необходимо дать разъяснение.

Примерно в полумиле от Лекко и почти на склоне другого местечка, называемого Кастелло, есть урочище по имени Кантерелли, где скрещиваются две дороги. Неподалеку от перекрестка виднеется возвышение, вроде искусственного холмика с крестом наверху. Это не что иное, как наваленные грудой тела умерших от этой моровой язвы. Говоря по правде, предание выражается просто: умершие от моровой язвы, — но умершие не от моровой язвы вообще, а именно от последней, самой смертоносной, память о которой сохранилась до наших дней. Вы знаете, что предания, если не прийти им на помощь, сами по себе всегда говорят слишком мало.

На обратном пути единственным неудобством, несколько стеснявшим Ренцо, была тяжесть денег, которые он уносил с собой. Но, как вы знаете, нашему герою приходилось иной раз и потяжелей этого. Я уж не говорю о работе его мыслей, которая была немалой: ведь нужно было обдумать, как лучше сделать, чтобы деньги эти приносили доход. Потом познаться с разными планами, мелькавшими в голове, с размышлениями, с мечтами; разобрать доводы за и против, за сельское ли хозяйство, или за ремесло, — это было похоже на встречу двух академий минувшего века. Впрочем, для него затруднение было гораздо более реальным, ибо ему, раз он был в единственном числе, нельзя было сказать: зачем это мне выбирать? и то и другое — в добрый час; в конце концов средства по существу одни и те же; эти две вещи подобны ногам: две вместе идут лучше одной.

Теперь только и оставалось что сложить свои пожитки и отправиться в путь: семейству Трамальино — на новую родину, а вдове — в Милан. Конца не было слезам, изъявлениям благодарности, обещаниям приехать повидаться. Не менее трогательно — за исключением слез — было прощание Ренцо и всей семьи с другом-хозяином. И не думайте, что с доном Абондио расставание прошло холодно. Эти добрые создания всегда хранили известную почтительную привязанность к своему курато;

да и он, в сущности, всегда желал им добра. Ведь вот как эти проклятые дела портят хорошие отношения.

Если кто-нибудь спросит, не грустно ли было им разлучаться с родной деревней, с этими горами, — придется сказать: конечно, было грустно. Так ведь горя-то, можно сказать, на свете везде понемножку. Однако надо полагать, что разлучка не была уж столь тяжкой, ведь они могли бы легко избежать ее, оставшись жить дома теперь, когда устранены были два главных препятствия: дон Родриго и приказ об аресте. Но все трое с некоторых пор уже привыкли считать своей ту страну, куда отправлялись. Ренцо сумел расположить к ней женщин, рассказывая им о поблажках, какие дают там рабочим, и о многом, что было хорошего в тамошней жизни. К тому же, все они пережили достаточно горькие минуты в том краю, к которому поворачивались теперь спиной, а печальные воспоминания в конце концов всегда придадут налет горечи местам, с которыми они связаны. А если это места, где мы родились, то в таких воспоминаниях, пожалуй, таится еще что-то более суровое и болезненное. Ведь и младенец, говорит наша рукопись, охотно покоится на груди своей кормилицы, с жадностью и доверием отыскивая сосцы, нежно кормившие его до сей поры. Но если кормилица, чтобы отучить его, натирает их полынью, младенец отдергивает ротик, пробует еще раз, но в конце концов отрывается от них; плачет, конечно, но все же отрывается.

Что же скажете вы теперь, узнав, что, не успев приехать и устроиться на новом месте, Ренцо испытал там неприятности, словно нарочито для него приготовленные? Мелочи, — но много ли нужно для того, чтобы испортить радужное настроение! Вот, вкратце, что произошло.

Разговоры о Лючии ходили по всей деревне еще задолго до ее прибытия. Все знали о том, что Ренцо много претерпел из-за этой девушки и все же оставался всегда стойким и верным ей. Может быть, какое-нибудь пылкое слово одного из друзей, преданных Ренцо и всем его делам, и вызвало всеобщее любопытство поскорее увидеть молодую женщину и всякие ожидания насчет ее красоты. А вы ведь знаете, что такое эти ожидания: они всегда преувеличены, левоверны, упорны, а затем при первом знакомстве — требовательны, привередливы; им всегда чего-нибудь не хватает, да, в сущности, они сами не знают, чего им хотелось, и нередко безжалостно заставляют расплачиваться за то расположение, которое сами же высказывали без всякого основания. Когда, наконец, эта самая Лючия объявилась, многие, должно быть, думавшие, что волосы у нее из чистого золота, а щеки прямо как розы, а глаза — один лучше другого, и мало ли что еще, принялись пожимать плечами, морщить нос и говорить: «Только и всего? Ждать столько времени, наслушаться столько разговоров, хо-

телось бы увидеть что-нибудь получше. А на деле что же оказалось? Простая крестьянка, каких много. Таких-то, и даже получше, повсюду найдешь». Потом принялись разбирать ее по косточкам, кто отмечал один недостаток, кто — другой; нашлись и такие, что сочли ее попросту некрасивой.

Но так как никто не высказывал этого Ренцо прямо в глаза, то до поры до времени ничего плохого из этого и не происходило. Плохое началось, когда кое-кто счел нужным сообщить ему об этом; ну, а Ренцо, как вы думаете? разумеется, был задет этим за живое. Он принялся раздумывать, испытывал досаду и в разговорах с теми, кто ему намекал на это, и еще сильнее — про себя. «Ну какое вам всем до этого дело? Кто вам говорил, что надо вообще чего-то ожидать? Разве я когда-нибудь говорил вам об этом? Говорил, что она красавица? А когда вы сами затевали разговор, разве я не отвечал вам лишь одно, — что она славная девушка? Да, она крестьянка! Разве я говорил вам, что привезу сюда принцессу? Не нравится она вам? Так не смотрите. У вас есть свои красавицы, — ну и любуйтесь на них».

И вот посмотрите только, как иногда достаточно бывает какой-нибудь чепухи, чтобы решить всю дальнейшую судьбу человека. Если бы Ренцо пришлось, согласно его первоначальному намерению, провести всю свою жизнь в этой деревне, вероятно, она не была бы слишком веселой. Раз уж его задело, он стал теперь сам всех задевать. Он стал резок со всеми, потому что ведь каждый мог оказаться в числе недоброжелателей Лючии. Нельзя сказать, чтобы он так-таки и поступал вопреки правилам благовоспитанности, но ведь вы сами знаете, каких только дел можно натворить, не нарушая этих правил: вплоть до вспарывания живота. В каждом его слове теперь звучало что-то язвительное, и он во всем искал, к чему бы придраться. Дошло до того, что если два дня кряду стояла плохая погода, он тут же говорил: «Чего же вы хотите, в такой-то стране!» Можно сказать, что появилось немало таких, которые его просто возненавидели, и даже из людей, которые вначале относились к нему доброжелательно, так что со временем, дальше больше, он оказался бы, так сказать, на ножах чуть ли не со всей деревней, причем, пожалуй, и сам даже не понимал толком, в чем же причина такого серьезного недоразумения.

Но чума, казалось, взяла на себя заботу уладить все его невзгоды. Она унесла хозяина одной прядильни, расположенной почти у самых ворот Бергамо, и наследник, молодой самодур, решительно не находивший во всем этом заведении ничего развлекательного, не то чтобы решил, но прямо-таки загорелся желанием продать все, хотя бы за полцены, но требовал деньги на стол, чтобы тут же и спустить их на пустые затеи. Когда слух об этом дошел до ушей Бортоло, он поспешил ра-

зобратся — в чем дело, и повел переговоры. Более выгодного предложения нельзя было ожидать, но условие уплаты наличными все портило, потому что денег, понемногу накопленных Бортоло, было далеко не достаточно для покрытия всей суммы. Он не дал приятелю окончательного согласия, но спешно вернулся домой, сообщил, в чем дело, своему кузену и предложил ему войти в дело на полонинных началах. Такое заманчивое предложение сразу разрешило все хозяйственные сомнения Ренцо, который немедленно склонился в пользу ремесла и дал свое согласие. Они отправились туда вместе и заключили договор. Когда затем молодые хозяева устроились на новом месте, Лючия, от которой ничего особенного здесь не ожидали, не только не подвергалась ни малейшей критике, но, можно сказать, пришлась как будто ко двору; и Ренцо довелось слышать, как многие не раз говаривали:

— А вы видели красивую простушку, появившуюся у нас? Существование вполне скрашивалось эпитетом.

А из неприятностей, пережитых им на прежнем месте, он извлек полезный урок. Раньше он бывал немного резок в суждениях и охотно позволял себе пускаться в критику чужих жен и всего прочего. Теперь он понял, что одно дело произносить слова, а другое — их выслушивать. И мало-помалу он усвоил привычку сначала внутренне прислушаться к своим словам, а потом уже произносить их.

Не думайте, однако, что и тут все обошлось без каких-либо неприятностей. Человек (как говорит наш аноним; вы уже знаете по опыту, что у него замечалось несколько странное пристрастие к сравнениям, но простите ему это, благо оно последнее), человек, пока он находится на этом свете, — скажем, больной, лежащий на не совсем удобной постели, — видит вокруг себя другие, с виду более удобные, гладкие, ровные, и он воображает, что вот на них-то уж лежать очень хорошо. Но если ему удастся сменить постель, то, как только он устроится на новой, он начинает, принимая ее, чувствовать то соломинку, которая колет, то бугор, который давит. В конце концов получается та же история, что и вначале. Вот потому-то, прибавляет наш аноним, следовало бы больше думать о том, как бы поступать всегда хорошо, чем о том, как хорошо жить, и тогда в конце концов и жить стало бы легче. Сравнение несколько притянутое, от него так и отдает сечентистом, но по существу он прав. Впрочем, продолжает он, горести и затруднения такого рода и такой силы, как уже рассказанные нами, больше не выпадали на долю наших добрых знакомых. Начиная с этого момента и в дальнейшем жизнь их была одной из самых спокойных, самых счастливых, самых завидных, — пожалуй, если бы мне пришлось рассказывать вам о ней, вы бы погибли от скуки.

Дела шли на редкость хорошо: вначале был небольшой застой из-за недостатка рабочих рук и чрезмерных притязаний со стороны тех немногих, что остались в живых. Были обнародованы указы, ограничивавшие заработную плату рабочих. Несмотря на эту поддержку властей, все обернулось по-старому, потому что в конце концов так оно и должно было быть. Из Венеции прибыл новый указ, несколько более разумный: освобождение на десять лет от всякого имущественного и личного обложения всех чужестранцев, которые явятся жить в сие государство. Для наших героев это было новым громадным облегчением.

Не прошло еще и года брачной жизни, как появилось на свет прелестное создание, и, словно нарочно для того, чтобы сразу предоставить Ренцо случай выполнить свое великодушное обещание, это была девочка. И вы не поверите, что ее назвали Марией. Потом со временем ребятишек оказалось уж не знаю сколько, и того и другого пола, и Аньезе целиком была занята тем, что нянчила одного за другим, называла их противными, а сама так крепко целовала их, что на щеках детей от этих поцелуев оставались на некоторое время белые пятна. Дети все оказались с хорошими наклонностями. И Ренцо пожелал, чтобы все научились читать и писать, говоря, что раз уж это плутовство существует на свете, то пусть и они по крайней мере воспользуются им.

И интересно было послушать, как он рассказывал им о своих приключениях, неизменно заканчивая перечислением тех великих вещей, которым он при этом научился, чтобы в будущем лучше владеть собой. «Я научился, — говорил он, — не вмешиваться ни в какие беспорядки; научился не проповедовать на площадях; научился не выпивать лишнего; научился не держать в руках дверной молоток, когда кругом люди с разгоряченной головой; научился не привязывать себе к ноге колокольчика, не подумав предварительно о том, что из этого может выйти». И много тому подобных вещей.

Однако Лючия не то чтобы считала эти поучения по существу ложными, но они не вполне ее удовлетворяли; и ей, хоть и смутно, но казалось, что чего-то в них не хватает. Слушая повторение одной и той же песни и каждый раз задумываясь над ней, она как-то сказала своему моралисту:

— Ну, а я, по-вашему, чему научилась? Я не искала невзгод, они сами искали меня. Если только вы не хотите сказать, — прибавила она с очаровательной улыбкой, — что я сделала ошибку, полюбив вас и дав вам слово.

Ренцо сначала почувствовал смущение. Однако после долгих споров и совместных обсуждений они пришли к заключению, что невзгоды, конечно, часто являются потому, что для них дан повод, но что самого осторожного и невин-

ного поведения иногда бывает недостаточно, чтобы избежать их, а вот когда они обрушиваются по вашей ли вине, или без всякой вины, надежда на Бога смягчает их и делает полезными для лучшей жизни. Это заключение, хоть оно и сделано людьми простыми, показалось нам настолько справедливым, что мы решили поместить его здесь, как суть всей этой истории.

Если она хоть сколько-нибудь понравилась вам, будьте благодарны тому, кто написал ее, и чуточку также тому, кто ее подлатал. Если же, наоборот, нам пришлось нагнать на вас скуку, поверьте, что это было сделано непреднамеренно.

РОМАН МАНДЗОНИ «ОБРУЧЕННЫЕ»

Роман Мандзони «Обрученные» известен у нас только знатокам литературы. В Италии Мандзони признанный классик, «Обрученные» изучаются в школе. И это не случайно. «Обрученные» — один из величайших романов мировой литературы. Чтобы убедиться в том, что это так, приведем высказывание трех величайших писателей его времени. Они являются красноречивыми свидетельствами.

Мандзони встретился в Милане с Вальтером Скоттом и сказал ему, что считает себя его учеником. Великий шотландец ответил: «Если это так, то лучшее мое произведение — роман Мандзони»¹.

Гёте говорил Эккерману: «Я должен сообщить Вам, что роман Мандзони превосходит все, что мы имеем в этом роде... Мне кажется, выше ничего нельзя было бы создать»².

А вот что сообщает Бартенев: «Пушкин, хотя и весьма уважал Вальтера Скотта, но ставил «Обрученных» выше всех его произведений»³.

Алессандро Мандзони (1785—1873), мыслитель и художник, прошел большой и сложный путь, и эволюция его имеет нечто общее с эволюцией нашего Пушкина. Внук видного просветителя Чезаре Беккариа, Мандзони был воспитан на просветительской литературе и был вольнолюбивым сторонником просветительских идей. В зрелые годы он отказался от них, перешел на позиции реальной жизни и при этом стал религиозным человеком. Однако религиозность Мандзони носила особый характер. Он воспринимал религию как служение высокому нравственному идеалу добра и справедливости.

Зрелый Мандзони — патриот, человек, глубоко понимающий народную жизнь. Автор двух трагедий — «Граф Карманьола» и «Адельгиз» — он развенчивает героев из господствующих классов, разоблачает их эгоизм и властолюбие и обращается к народной жизни, которую считает неизбежной основой всего существующего. Народ трудится на полях и у кузнечного горна, трудится терпеливо и смиренно, а на верхах общества происходит эгоистическая борьба за власть.

Мандзони выступил в литературе в эпоху, когда вся культурная Европа зачитывалась историческими романами Вальтера Скотта. Посвященные прошлому Европы, в частности, прошлому Англии и Шотландии, романы эти в увлекательной форме рисовали великие исторические события, раскрывали народную жизнь. Вальтер Скотт показывал деятельность крупных исторических персонажей: королей, полководцев, борцов против феодальной тирании, но в центре его романов, на

¹ Литературный критик. 1937. С. 93.

² Эккерман И. П. «Разговоры с Гёте». М.: Худ. лит., 1981. С. 246.

³ Пушкин-критик. М.: Худ. лит., 1951. С. 546

первом плане — представитель народа, рядовой человек того времени. Именно через изображение судьбы такого рядового человека Вальтер Скотт рисовал и раскрывал смысл исторических событий. Это было великое завоевание литературы, дававшее ей возможность показывать жизнь во всей ее широте, во всех ее противоречиях.

Мандзони глубоко понял достижения Вальтера Скотта, применил их к изображению Италии и во многом превзошел Вальтера Скотта в описании народной жизни и народной психологии. Италия XVII века была страной раздробленной и находилась под властью иноземца, короля Испании. Его войска грабили страну. Притеснения феодалов и междоусобные войны мелких итальянских князьков, бесчинства интервентов, голод и чума — такова историческая картина народных бедствий, нарисованных в романе Мандзони.

В центре романа образы молодой крестьянской пары — Ренцо и Лючии. Они жених и невеста. Но Лючия пригласилась местному феодалу, дону Родриго. И он через своих подручных запретил трусливому священнику дону Аболдио венчать их. Ренцо обращается за советом к юристу, носящему красноречивое прозвание Крючкотвор. Но юрист также защищает интересы сильных, как и священник, и прогоняет Ренцо. Спасаясь от преследований дона Родриго, который хочет разбойничьим образом похитить девушку, обреченные бегут из деревни. Ренцо и Лючия должны расстаться. Каждый из них в отдельности переживает великие бедствия и страдания, тесно связанные с бедствиями и страданиями, которые переживает итальянский народ. Сама их разлука и оторванность друг от друга символизируют разорванность Италии и горести ее народа.

Книга чрезвычайно занимательна. Мы увлечены сюжетом, напряженно следим за похождениями героев, сочувствуем им и боимся за них. Можно сказать, что в романе Мандзони итальянская жизнь того времени предстает во всей ее широте. Так, в романе изображен народный бунт в Милане, когда ремесленники и горожане, лишенные хлеба, поднялись против господствующих классов, причем смирный и богобоязненный парень Ренцо оказался бунтарем и чуть ли не предводителем толпы. Но особенно потрясающими страницами романа являются картины чумы, в которых Мандзони рисует, с одной стороны, страшное одичание людей — грабежи, насилие и предательство, а с другой — благородство, стойкость, красоту и человечность, которые обнаруживают люди в этих страшных и грозящих смертью обстоятельствах. Читатели навсегда запомнят сцену, когда красавица-мать, выносящая мертвую и нарядно одетую девочку, просит не грабить ее тех, кто будет ее хоронить.

Через всю книгу проходит мысль о том, что в человеке надо пробуждать нравственное начало. В нем заключена красота человеческой личности. Этот нравственный идеал Мандзони тесно связывает с религией. Однако замечательная сцена, когда кардинал Борромео приводит феодала Безыменного к покаянию, не просто рисует силу католической религии, она дает глубокое психологическое раскрытие внутреннего мира Безыменного. Под влиянием страданий Лючии, которые он видит, в нем пробуждается совесть и совершается психологический перелом.

Некоторые критики упрекали Мандзони в том, что он, желая привести назидательную тенденцию, вопреки правде привел Лючию и Ренцо к счастливому финалу, помог им спастись от всех бедствий, ко-

торые на них обрушились. Это, конечно, не так. Мандзони убедительно показал те свойства, которые позволили обрученным устоять: физические и нравственные качества. Ренцо — здоровый парень, обладающий сметливостью и осторожностью; Лючия — замкнута и сдержанна. Все это помогло им выжить. Но важно и другое. Ренцо и Лючия — рядовые представители народа. В романе нет и намека ни на какую символику, но эти персонажи воплощают в книге сам народ.

Через судьбу Ренцо и Люции, через счастливое завершение их злоключений, в романе показаны стойкость, неистребимость, бессмертие народа, показано торжество справедливости, которое в конечном счете заключено в самом ходе истории. При всей глубине народных страданий, изображенных Мандзони, книга его далека от пессимизма. Дело не только в том, что Ренцо и Лючия благодаря счастливой случайности обрели друг друга. Дело в том, что жив народ. Вспомните тот благодатный дождь, который увлажнил землю и под который попал Ренцо. Дождь этот смысл следы чумы. Он воплощает торжество жизни. Жива природа, жив народ, неиссякаемы его силы. В этом источник бодрости и мужественного, светлого взгляда на жизнь, которым проникнут роман. Народ снова воспрянет, будет ткать, печь хлеб, строить дома, рожать детей. Река народной жизни потечет дальше.

2

Роман Мандзони — великое произведение итальянской литературы, вошедшее в мировой обиход. К чести итальянской культуры надо сказать, что она нашла возможность дать надлежащую оценку подвигу, совершенному писателем, и обессмертить его имя.

Как известно, итальянская литература XIX—XX веков не играла заметной роли в мировой культуре. Великую роль играла итальянская музыка. А величайший ее представитель и творец Джузеппе Верди испытывал даже страх творческой мощью Мандзони, высоко ценил его книгу: «Вы хорошо знаете, как глубоко я почитаю этого человека, который, по-моему, написал не только величайшую книгу нашей эпохи, но и одну из самых великих книг, созданных человеческим умом. И это не только книга, это утешение для человечества»¹. И объясняет, почему это происходит: «Потому что книга эта правдива, правдива, как сама правда».

Не все знают, что одно из своих величайших созданий — «Реквием» — Верди посвятил памяти Мандзони. Замечательным свойством этого опуса, восходящего к старой католической мессе, является то, что в «Реквиеме» Верди, как и в романе Мандзони, присутствует человек со всеми его муками и надеждами, то, что самые мрачные его части перерастают в просветленную мелодию жизни.

Наша бурная и противоречивая эпоха имеет все данные для того, чтобы понять и оценить правду, заключенную в книге Мандзони. Миллионы людей хотят, чтобы историческое развитие приняло нравственный характер, чтобы исчезли войны и угнетение, чтобы восторжествовал мир, национальная и общественная справедливость.

А. Л. Штейн

¹ Верди Дж. Избранные письма. М.: Гос. муз. изд., 1959. С. 226.

Алессандро Мандзони
ОБРУЧЕННЫЕ
Повесть из истории Милана XVII века

Редактор *И. Славин*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Т. Фатюхина*
Корректор *А. Ключикова*
Компьютерная верстка *А. Диамента, А. Мынко*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г.
Подписано в печать 06.01.99 г.
Гарнитура Таймс. Формат 60×90¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,5.
Уч.-изд. л. 36,25. Заказ № 34

ТЕРРА—Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Щипок, 2, а/я 27.
Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

**«ТЕРРА—Книжный клуб»
в серии «Тайны истории в романах,
повестях и документах»
(Общий лот серии № 3000)
выпустил в свет книги:**

Лот № 2236

Е. Толмачев

АЛЕКСАНДР II И ЕГО ВРЕМЯ

В двух книгах

В монографии рассматривается один из наиболее ярких периодов истории Российского государства, связанный с жизнью императора Александра II. Автор рассказывает о Великих реформах второй половины XIX в.; о присоединении к России Кавказа, большей части Средней Азии, о дальневосточной политике, продаже Аляски, Крымской и русско-турецкой войнах (1877—1878); о революционном движении 60—70-х годов, Польском восстании 1863 г. Используя большой фактический, прежде всего архивный, материал, автор освещает историю трагической жизни Александра II, дает портреты многих государственных и общественных деятелей той эпохи.

*Книги можно заказать по адресу:
150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2.*

В открытке не забудьте указать название книги,
количество экземпляров и ваш адрес
(обязательно с почтовым индексом).

Лот № 2220
Баронесса Орчи
ЦАРСТВО ЮБОК

Ф. Мюльбах
ТРАГЕДИЯ КОРОЛЕВЫ

В сборник включены два романа о Франции XVIII века: «Царство юбок» баронессы Орчи, рассказывающий о дворе Людовика XV, и «Трагедия королевы» Ф. Мюльбах — история жизни Марии Антуанетты.

Книги можно заказать по адресу:
150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2.

В открытке не забудьте указать название книги,
количество экземпляров и ваш адрес
(обязательно с почтовым индексом).

Лот № 2371

В. Лаптухин
РУССКИЙ БОКОНДО

Автор этой книги — Виктор Владимирович Лаптухин — современный российский писатель, журналист-международник, более восьми лет проработавший в странах Южной и Западной Африки.

Повесть «Русский Бокондо» рассказывает о приключениях русского офицера Николая Воронина в Южной Африке на рубеже XIX—XX вв. За мужество и силу туземцы прозвали его Бокондо — «могучий богатырь, поражающий внезапно»...

*Книги можно заказать по адресу:
150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2.*

В открытке не забудьте указать название книги, количество экземпляров и ваш адрес (обязательно с почтовым индексом).

Лот № 2372

ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II

В сборнике дается полный подбор документов и свидетельских показаний, повествующих о том, как и в какой обстановке произошло отречение последнего русского царя. Впервые книга была издана в 1927 г. под редакцией П. Е. Щеголева со вступительными статьями Л. Китаева и М. Е. Кольцова. Книга дополнена новыми материалами.

*Книги можно заказать по адресу:
150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2.*

В открытке не забудьте указать название книги, количество экземпляров и ваш адрес (обязательно с почтовым индексом).

*Широкий выбор книг издательств
и книжного клуба
Холдинговой компании «ТЕРРА»
в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, к. 1
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

113093, Москва, ул. Щипок, 2,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 5.
Тел. 737-04-78

или заказать по адресу:

150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2

ТАЙНЫ

Книга крупнейшего итальянского писателя-романиста Алессандро Мандзони (1785 — 1873) рассказывает об Италии начала XVII века, когда страна находилась под испанским владычеством, страдала от междоусобных войн, голода и чумы. «Обрученные» — это история любви и борьбы за свое счастье Ренцо Трамальино и Лючии Монделла — простых жителей маленького ломбардского селения.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-02410-4



9 785300 024109